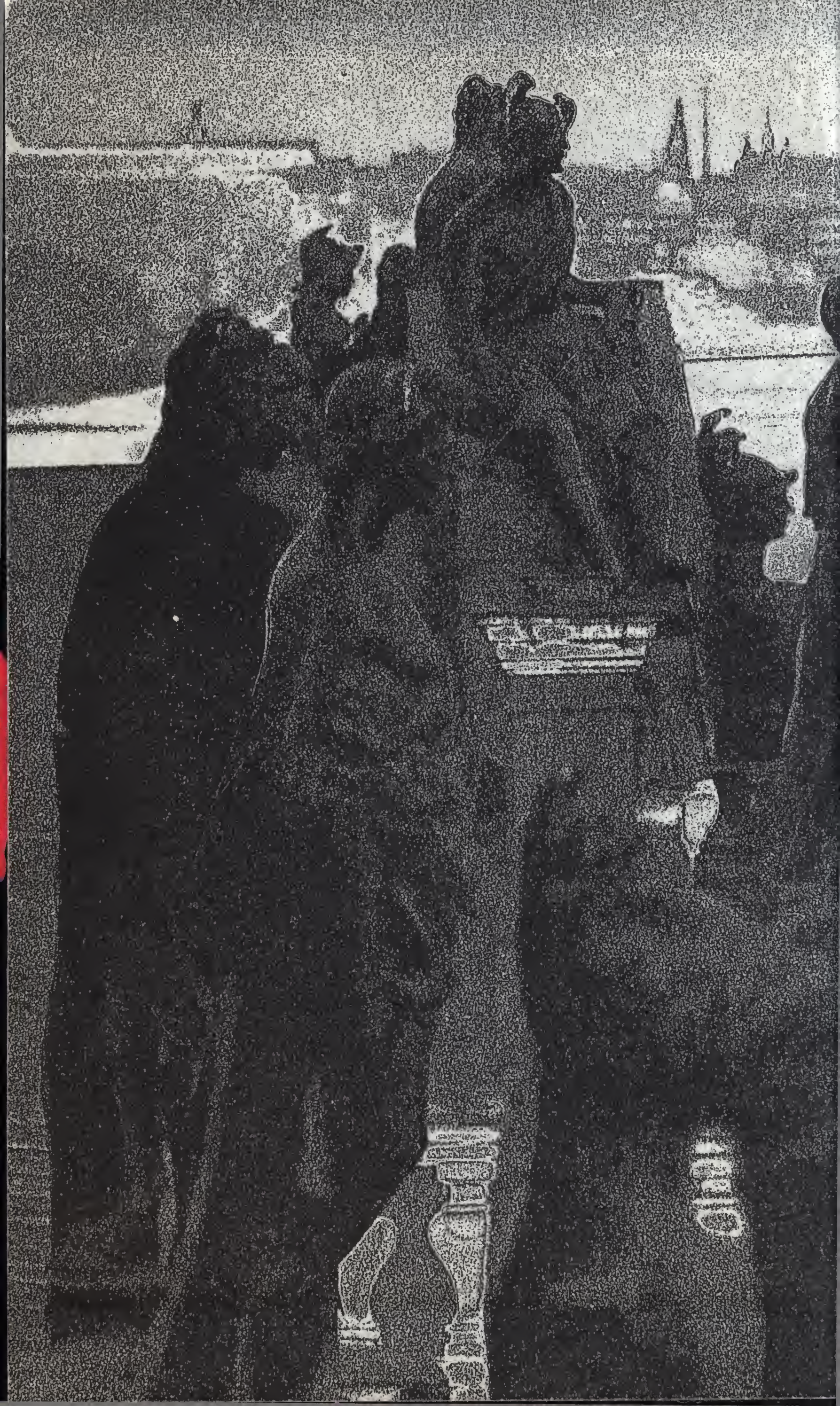
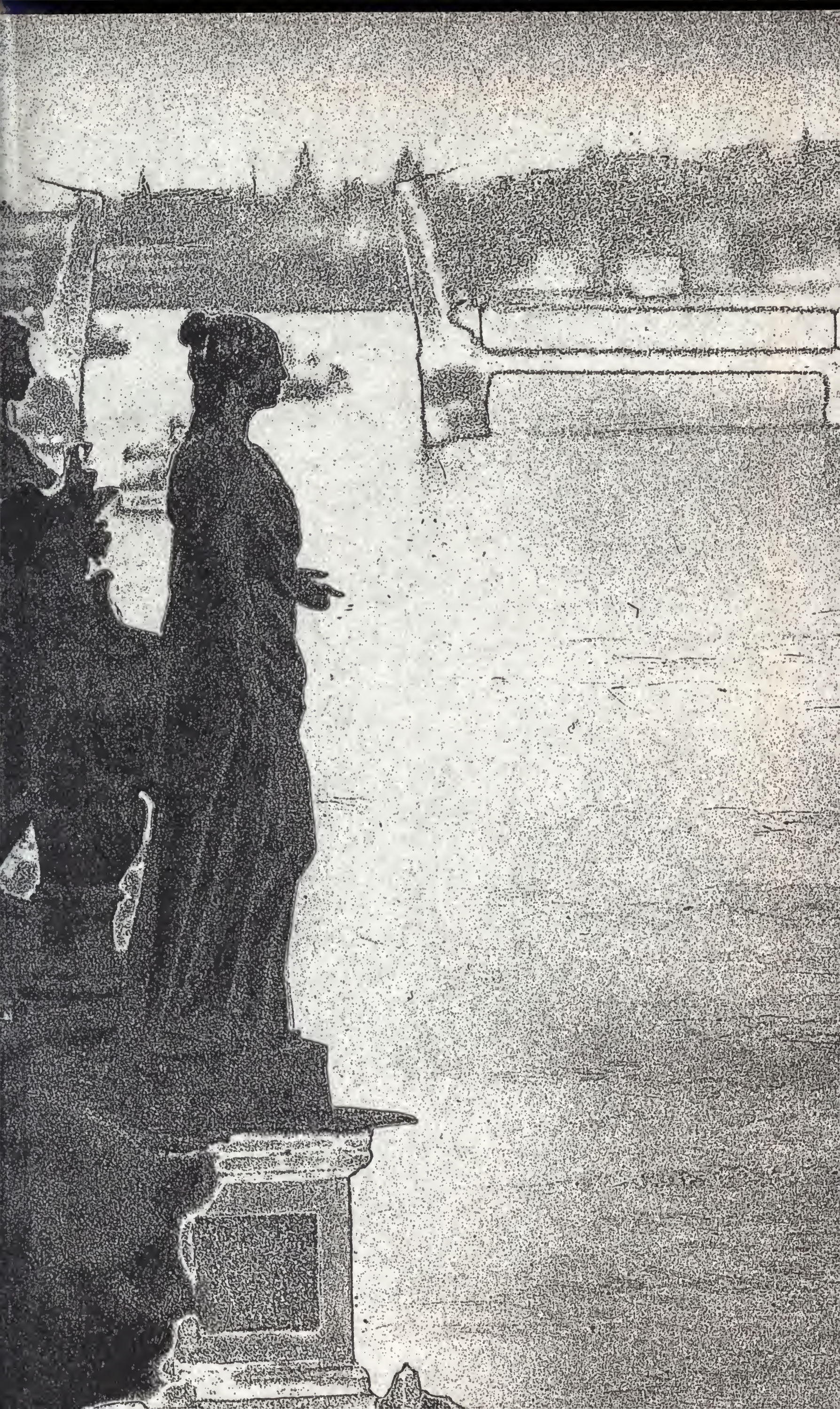
В. ШУЛЬГИН

ГОДЫ. ДНИ. 1920

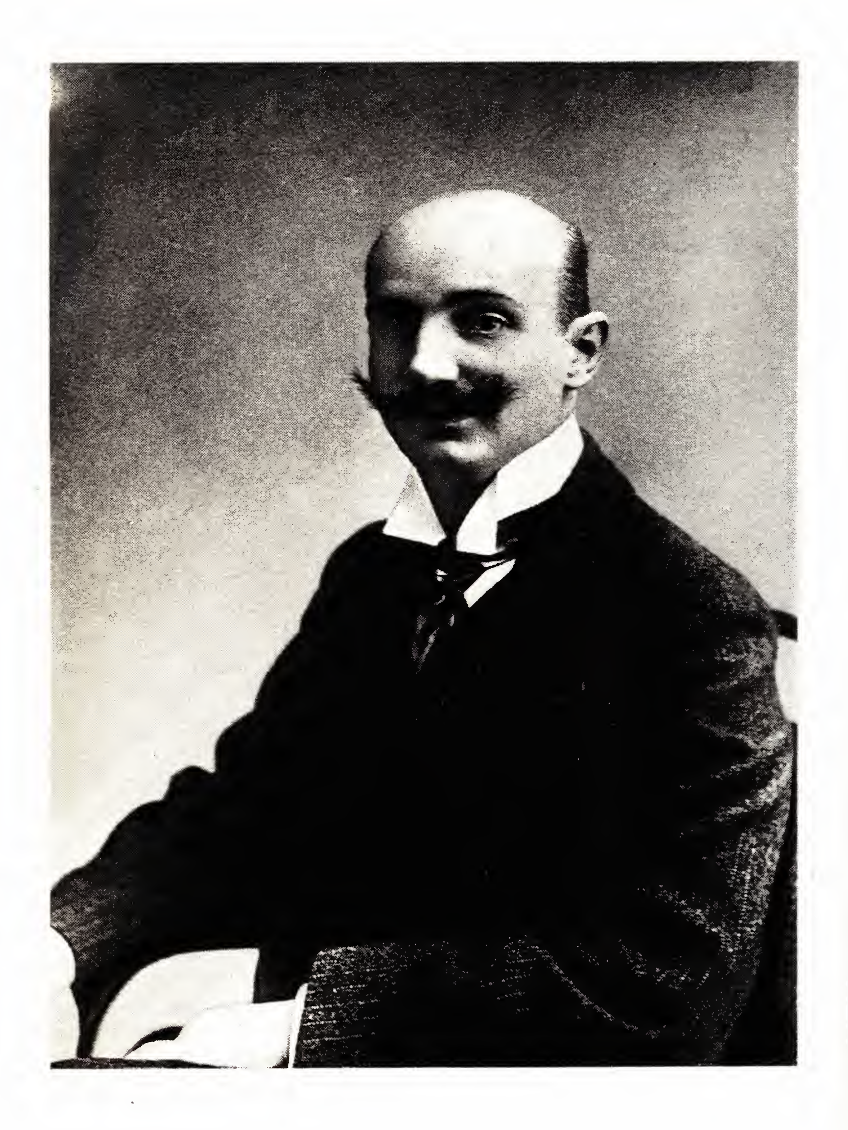




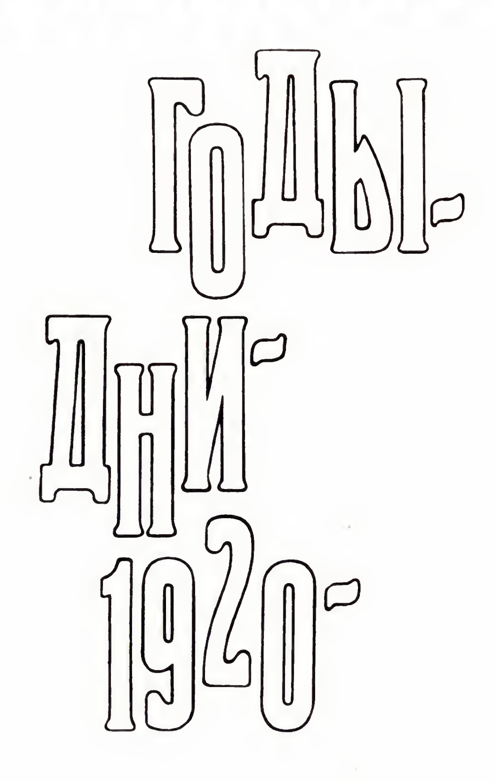


ГОДЫ· ДНИ· 1920·

ГОЛОСА ИСТОРИИ



В. ШУЛЬГИН



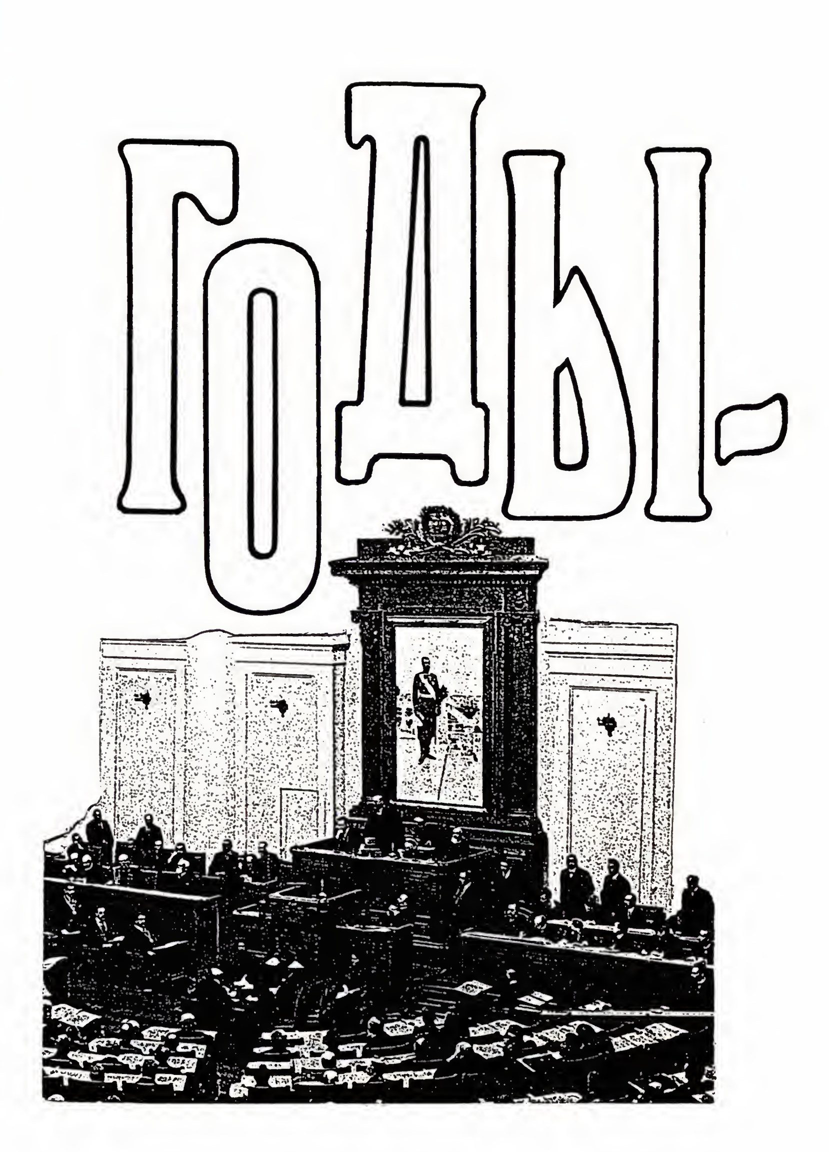


Москва, 1990

ББК 84Р7
Ш95

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Этот сборник объединяет три книги видного русского политического деятеля В.В.Шульгина (1878 — 1976), написанные и изданные с интервалом в полвека.
Повествующие о предреволюционном десятилетии "Годы" выходили лишь однажды ограниченным тиражом в Издательстве АПН в 1979 году. При публикации в этом сборнике в книге "Годы" опущено несколько эпизодов, которые в более полном виде представлены в "Днях".
"Дни", которые рассказывают о событиях Февральской революции 1917 года, а также книга "1920 год" издавались 50-тысячными тиражами в 1927 году в ленинградском "Прибое" с издательским уведомлением, что эти произведения "печатались в ряде номеров издающейся теперь за границей "Русской мысли"; в настоящем издании текст воспроизведен без всяких сокращений и изменений, полностью и целиком". В нашем сборнике этот принцип сохранен в отношении как текста мемуаров, так и предисловий, принадлежащих перу видного советского историка С.А.Пионтковского (1891 — 1937).
Вступительная статья В.Владимирова перепечатана из уже упоминавшегося издания "Годы". В ней сделаны некоторые сокращения, вызванные тем, что "Дни" и "1920 год" также публикуются в нашем сборнике.


ГОДЫ-

О КНИГЕ "ГОДЫ" И ЕЕ АВТОРЕ

15 февраля 1976 года в старинном русском городе Владимире на девяносто девятом году жизни скончался Василий Витальевич Шульгин.

Вряд ли эта фамилия говорит что-либо молодым читателям, но она, по-видимому, хорошо известна людям старших поколений.

Василий Витальевич Шульгин, видный политический деятель царской России, родился 13 января 1878 года в городе Киеве. Его отец — профессор истории Киевского университета Виталий Яковлевич Шульгин, основавший в 1864 году газету "Киевлянин", умер в год рождения своего сына. Мальчика воспитал его отчим Дмитрий Иванович Пихно, тоже профессор Киевского университета, ставший редактором "Киевлянина".

Пихно дал Шульгину обычное в дворянских семьях образование. Очень рано, по окончании юридического факультета, Шульгин стал земским гласным и почетным мировым судьей. Двадцати восьми лет молодой помещик был избран от Волынской губернии в члены II Государственной думы, где с первых же дней яро выступает от фракции правых в поддержку правительства. В 1913 году, после смерти Пихно, в руки Шульгина перешла газета "Киевлянин".

Вскоре после начала Февральской революции Шульгин стал членом Временного комитета Государственной думы. 2 марта 1917 года вместе с Гучковым он поехал в царскую Ставку и принял от Николая II отречение от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Но было уже поздно. Ничто не могло спасти монархию, и на следующий день Шульгину пришлось присутствовать при отказе Михаила принять престол.

Эти и другие исторические события Февральской

революции описаны Шульгиным в книге "Дни", изданной в Советском Союзе издательством "Прибой" в 1927 году. Написанная очевидцем и участником исторических событий, понимавшим обреченность уходящего строя и видевшим в грядущей социальной революции лишь гибель, книга эта проникнута безысходным трагизмом.

После Великой Октябрьской революции Шульгин стал одним из организаторов белогвардейской контрреволюции и идеологом интервенции. А когда вспыхнула гражданская война, он стал одним из основателей Добровольческой армии, членом Особого совещания и активным деятелем в стане Деникина и Врангеля. Он основал газету "Великая Россия", на страницах которой призывал к борьбе против Советской власти.

После разгрома белых в 1920 году в их последнем прибежище в Крыму Шульгин вместе с Врангелем бежал в Югославию. Начались обычные для эмигрантов скитания: Франция, Польша, снова Югославия... Но где бы он ни был, Шульгин продолжал проповедовать разгромленную "белую мысль".

Стараясь обелить "белое движение" и обосновать причины его крушения, Шульгин пишет книгу "1920 год", кстати, тоже вышедшую в Советском Союзе в том же издательстве "Прибой" в том же 1927 году.

Зимой 1925/26 года Шульгин по фальшивому паспорту на имя Эдуарда Эмильевича Шмитта посетил Ленинград, Москву и родной Киев. Позже в книге, которую он напишет, вернувшись в эмиграцию, и назовет "Три столицы", появятся такие строки: "Буду писать письмо. Воображаю, как там, дома, беспокоятся.

"Дома". Вот ирония! Дома — это значит где-то там, во Франции, Сербии, Польше. И это в то время, когда мой настоящий дом тут, под боком.

...Рядом со старым воздвигайте новое, хотя бы и в архистаром стиле. И если новое будет лучше, как оно и должно быть, старое само склонит перед ним свою седую голову.

...Уже сейчас мне было ясно: Россия встает... Я ожидал увидеть вымирающий русский народ, а вижу несомненное его воскресение... Я думал, что еду в умирающую страну, а я вижу пробуждение мощного народа".

Когда Шульгин вернулся "домой", то есть за грани-

цу, его попросили: ”Скажите нам ваши впечатления хоть в двух словах”.

”В двух словах? Хорошо! Когда я шел туда, у меня не было родины. Сейчас она у меня есть”.

Но наряду с этими высказываниями нельзя пройти и мимо таких: ”...Фашизм, который сейчас является противником коммунизма в мировом масштабе, несомненно, в некоторой своей части есть наша эманация”. Что ж, признание откровенное. И тем не менее надо отдать должное Шульгину: в отличие от ”зубров” русской эмиграции всех мастей, видевших в фашизме единственную силу, способную уничтожить ненавидимое ими Советское государство, Шульгин не примкнул к Гитлеру.

По словам Шульгина, он с 1931 года вообще отошел от политической жизни и поселился в Югославии в городке Сремски Карловци, где было расположено последнее прибежище разбитых врангелевцев.

В октябре 1944 года Сремски Карловци были освобождены Советской Армией совместно с югославскими партизанами, а в январе 1945 года Шульгин был арестован, препровожден в Москву и за активную антисоветскую деятельность приговорен судом к длительному тюремному заключению.

В 1956 году он был досрочно освобожден и остался жить в городе Владимире, куда к нему приехала его жена из Сремских Карловиц.

В начале шестидесятых годов мне довелось побывать в Сремских Карловцах. Я отыскал, с помощью какого-то старика, который помнил Шульгина, дом, в котором тот жил, ”штаб” Врангеля и другие белоэмигрантские ”памятники”.

Вскоре, узнав, что Шульгин с женой отдыхают в Доме творчества Союза писателей СССР, в бывшем имении князей Голицыных, я приехал к нему.

В столовой за большим, на старинный лад, табльдотом заканчивался обед. Из столовой вышел секретарь Льва Николаевича Толстого — Николай Николаевич Гусев, с которым мне доводилось неоднократно встречаться по литературной работе.

— Вы к кому?

— К Шульгину!

— Тяжелый орешек, — наклонясь ко мне, сказал Гусев.

В это время из столовой вышли Василий Витальевич

и его жена Мария Дмитриевна, дочь царского генерала Сидельникова, с которой Шульгин познакомился на пароходе во время бегства из Крыма в 1920 году.

— Это к вам, Василий Витальевич, — сказал Гусев, указывая на меня, — прошу любить и жаловать. Мой давний знакомый Владимир Петрович Владимиров. Я ему консультировал телевизионный фильм "Из Нью-Йорка в Ясную Поляну" — о Льве Николаевиче и даже снимался в этой картине.

В какой-то степени лед был сломан. И окончательно растаял, когда Марии Дмитриевне были вручены мною цветы.

— Маша, — сказал Шульгин, — возьми себе в кавалеры Николая Николаевича и погуляйте. После обеда это полезно. А я поговорю с Владимиром Петровичем.

Впервые я внимательно всматривался в облик Шульгина. Лицо его показалось мне удивительно знакомым. Ну, конечно, это же Бернард Шоу или Иван Петрович Павлов. Лицо с аккуратно подстриженной белой квадратной бородой было одинаково похожим и на лицо Шоу, и на лицо Павлова. Ростом и манерой говорить — все же ближе к Шоу. Выше среднего роста, пожалуй, даже высокий, несколько сутуловатый, но при этом стройный старик. Ну совершенно ничего общего с лежавшей у меня в кармане его фотографией, снятой для альбома членов Государственной думы: молодой Шульгин с лихо закрученными вверх усиками. Говорил Василий Витальевич медленно, тихо и размеренно. Голос его звучал так, как будто все слова записаны в одной тональности, и просто не верилось, что этот голос без всякого микрофона сотрясал с трибуны зал Таврического дворца, переливаясь от ласкового урчания до грозного рыка. И только глаза, часто мигающие, колючие, те же, что у Шульгина с усиками.

Обстановка дома Голицыных была сродни привычному быту дореволюционного Шульгина. В его комнате над изголовьями кроватей висели иконы, стол, за которым мы сидели, был покрыт плюшевой скатертью, на которой в рамке стояла фотография Марии Дмитриевны. Как мне перед уходом объяснила директриса дома, убранством комнаты занималась сама Мария Дмитриевна.

Благодаря посещению мною Сремских Карловиц (где я снял много фотографий) сразу нашлась тема для разговора. Этой первой нашей беседе суждено было

стать устьем полноводной реки нашей многолетней дружбы.

Книга воспоминаний В.В.Шульгина "Годы" охватывает его деятельность в Государственной думе в период с 1907 по 1917 год.

Перед читателем проходит красочно выписанная, будто сошедшая с картины Репина "Государственный совет", галерея бывших властителей царской России.

Когда книга закончена и предстает перед читателем, автор уже не остается наедине с самим собой. По своей воле, а иногда и против нее, он приобщает к своим мыслям и чувствам других. Он перестает быть единственным хранителем тайны своих помыслов и поступков, ибо что делаем мы в момент чтения, как не живем интересами персонажей книги, смотрим на мир их глазами, мыслим, как они, и тогда понимаем их? Понимаем — это не значит соглашаемся.

Судьба свела меня с Шульгиным не только по работе над фильмом "Перед судом истории", но и по работе над книгой "Годы". Я журналист, а не историк, и в мои намерения не входит давать исторический анализ книги. Ее научный разбор и оценку дадут специалисты-историки.

Как журналист, я могу сказать, что книга Шульгина написана превосходно. Несколько архаичный местами язык повествования еще больше передает характер эпохи. Книга глубоко публицистична и в отдельных главах достигает большой художественной силы.

Если для литератора изображение будущего — это почти всегда суд над настоящим, попытка показать, к чему приведет развитие начал, действующих сегодня, то рассказ о прошлом — это суд над ним с позиции того, что достигнуто его потомками сегодня.

Главный интерес и значение воспоминаний В.В.Шульгина состоят не столько в их содержании, сколько в авторской концепции причин гибели русского царизма. В этом плане они продолжают ряд воспоминаний бывших белоэмигрантов типа воспоминаний Д.И.Мейснера, изданных АПН двухсоттысячным тиражом. Сходство В.В.Шульгина с указанным автором состоит в том, что он также признал крах "белой мысли", с одной стороны, полезность и нужность Советской власти не только для Советского Союза, но и для всего мира — с другой. Отличие же заключается в том, что В.В.Шульгин был в свое время не рядовым противником этой власти, а од-

ним из идейных вождей монархической контрреволюции. И ему очень не хочется признать историческую обусловленность гибели самодержавия, историческую закономерность Февральской и Октябрьской революций. По его мнению, царизм при других обстоятельствах мог бы выйти победителем в схватке с революционными силами. Его концепция проста и сводится в немногих словах к следующему: если бы последний царь был бы "настоящим" царем — волевым прежде всего, и если бы во главе правительства в канун революции стоял бы такой человек, как Столыпин, никакой революции в России не было бы.

Но одновременно эпиграфом к книге "Годы" Шульгин хотел поставить свои слова из вышедшей в 1961 году книжки "Письма к русским эмигрантам".

"Пусть меня спросят в упор:

— То, что делают коммунисты, полезно ли для людей?

Я отвечу без уверток:

— То, что делают коммунисты в настоящее время, то есть во второй половине XX века, не только полезно, но и совершенно необходимо для 220-миллионного народа, который они за собой ведут. Мало того, оно спасительно для всего человечества, они отстаивают мир во всем мире".

Для Шульгина, задолго до рождения Советской власти ставшего одним из самых ярых противников революции, прийти к этой мысли было совсем не просто. Для этого надо было многое переосмыслить, многое переоценить.

"Штаб контрреволюции, — писал В.И.Ленин в июне 1917 г., — находится в стенах совещания IV Государственной думы, где верховодят Милюков, Родзянко, Шульгин, Гучков, А.Шингарев, Мануилов и К°..."

Прошло шестьдесят лет. Нет Милюкова, нет Родзянко, нет Шульгина, нет Гучкова, нет Шингарева, нет Мануилова, нет и "К°". А есть под Парижем кладбище Сен-Женевье де Буа, бродя по которому, я смотрел на надгробия многих бывших деятелей Российской империи, персонажей книги Шульгина. И есть рукопись последнего из могикан штаба контрреволюции Василия Витальевича Шульгина. Это ему судьба дала редчайшую возможность без малого через шестьдесят лет сравнить мир, против которого он боролся почти всю свою созна-

тельную жизнь, с миром, который он так яростно защищал.

Герцен говорил, что кто мог пережить, тот должен иметь силу помнить. И Шульгин помнит. В его памяти, как он мне говорил, "проходит как бы кинематографическая лента длиною во много тысяч километров. На ней запечатлены люди: умные и глупые, жестокие и добрые, талантливые и бездарные, благородные и коварные, убийцы и спасители, гордые и покорные, властители и рабы, труженики и бездельники, герои и предатели, консерваторы и либералы, верующие и атеисты, индивидуалисты и коммунисты". Шульгин помнит о многих событиях, забытых другими, помнит и рассказывает так интересно и наблюдательно, что это составляет уже некую сумму знаний. И это для нас ценно.

В период работы над книгой Шульгин мне как-то сказал:

"За долгую мою жизнь барьеров было много. Сейчас я беру барьер, быть может, последний, и он не из легких. Этот барьер — книга "Годы". Она будет четвертой моей книгой о русской революции".

Еще одна моя встреча с читателем, вернее, со зрителем, состоялась в 1965 году в кинокартине "Перед судом истории", в которой зритель, не в пример читателю, видел не типографские строчки, а видел меня самого и слышал мой голос. А складывая это вместе, он видел бывшего члена Государственной думы Василия Витальевича Шульгина во всех измерениях".

Шульгин необычайно ценил издание его книг в Советском Союзе и был очень доволен, что появился фильм.

В первые годы существования Страны Советов издательства широко печатали историческую мемуарную литературу. Это было вызвано желанием удовлетворить огромный интерес читателей к прошлому, к фактам, которые были скрыты от народа или освещены не полностью. Это было желанием показать подлинное лицо бывших вершителей политической жизни в их собственных признаниях.

В январе 1920 года В.И.Ленин в своей записке заместителю народного комиссара просвещения М.Н.Покровскому просил поручить всем государственным библиотекам, всем военным и гражданским властям немедленно начать собирать и хранить все белогвардейские газеты.

Особенно В.И.Ленин интересовался мемуарной литературой и, в частности, книгами эмигрантов. На полках его библиотеки в Кремле рядом со стенографическими отчетами Государственной думы стояли книга Набокова "Временное правительство", "История второй русской революции" Милюкова и т.д., а в рабочем кабинете — "Очерки русской смуты" Деникина с многочисленными пометами В.И.Ленина, "Начертание зверя" Врангеля и две книги Шульгина — "Нечто фантастическое" и "1920 год", изданные за рубежом.

Соратник Шульгина по эмиграции И.М.Василевский (Не-Буква) в изданной у нас в 1925 г. книге "Что они пишут" отмечает: "...Книги В.В.Шульгина представляются самыми яркими и наиболее талантливыми в длинном списке белых мемуаров... Это, конечно, вовсе не от той идейной позиции, какую занимает автор, а от той ценной откровенности, какая ему свойственна". И далее: "...Его рассказы о днях Февральской революции — это, быть может, единственное подлинно искреннее слово из правых уст... Ни один самый лютый враг из красного лагеря не мог бы так окончательно и бесповоротно похоронить "белую мечту", не мог бы так глубоко вбить осиновый кол в эту бесславную могилу, как именно профессиональный идеолог правых В.В.Шульгин".

То же самое мы можем сказать и о последней работе Шульгина. Шульгин-литератор вступает в противоречия с Шульгиным-политиком. "Живой материал" сопротивляется "произволу классовых симпатий". Шульгин не отрекается ни от себя, ни от своих взглядов. Он рисует события, веря в свою объективность. И в этом несомненная ценность воспоминаний, ибо для того, чтобы понять события тех дней и поступки Шульгина, мы должны видеть его таким, каким он был тогда, а не таким, каким он стал в наши дни. Шульгин отлично знает материал, о котором он ведет речь. С присущим ему литературным талантом он описывает обреченность царского режима и своего класса. Описывает не как бесстрастный очевидец, а как активный персонаж драматических событий.

"Древняя мудрость гласит: времена изменяются, и мы меняемся вместе с ними", — вспоминает Шульгин. Что верно, то верно. Древняя мудрость не обошла Шульгина. Цицерон говорил, что "заблуждаться может вся-

кий, но надо быть сумасшедшим, чтобы упорствовать в своем заблуждении".

Когда в фильме "Перед судом истории" Шульгину напоминают, что он свинцом хотел загнать в берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя — "его величество русский народ", он отвечает: "Говорил, не отрекаюсь... Но вы как будто бы в данном случае отрицаете течение времени. Что же вы думаете?.. Долголетие... Разве оно дается только для того, чтобы старик повторял слова молодого? Ведь это была бы ужасная перспектива. Дожить почти до ста лет и ничему не научиться?...Разве я могу сейчас, имея бороду, говорить, как тот Шульгин с усиками?"

Да, много, очень много наговорил Шульгин "с усиками". Наговорил злого, жестокого, несправедливого, резко для нас враждебного. Но говоря это, он не всегда был тем слепым, про которого сложена поговорка: "Не тот слепой, кто слеп, а тот, кто не хочет видеть". Шульгин смотрел на жизнь Страны Советов или, по его словам, "подсматривал" ее далеко не всегда объективно, но во всех случаях по-своему искренне.

И теперь, имея "белую бороду", он, бывший вождь "русских националистов", вынужден признать на страницах своей книги: "Позже, это было уже в эмиграции, я увидел изнанку всякого национализма. Мир вошел в полосу, когда национализм перестал быть силой конструктивной. Между другими учителями особенно вышколил меня в этом отношении Адольф Гитлер".

Если Шульгин "с усиками" в книге "Три столицы" грубо выступал против Ленина, то в фильме "Перед судом истории" он говорит: "Я хочу сказать вам о Ленине. Я сейчас отношусь к нему не так, как относился прежде. И поэтому мои высказывания в книге "Три столицы" я нахожу не только оскорбительными, но просто недостойными... Я считаю своим долгом засвидетельствовать, что Ленин стал святыней, святыней для многих, святыней для миллионов. И поэтому его прах покоится в Мавзолее".

Если Шульгин "с усиками" враждебно отрицал революцию, считая ее "концом России", то Шульгин в "Годах" признает, что коммунизм на основе марксизма со времени Октябрьского переворота есть Мысль, которая находится в действии. Что ж, для Шульгина это высказывание знаменательно.

В своих "Письмах к русским эмигрантам" он заявляет: "По многим причинам я давным-давно ушел от политики и не имею желания и сейчас к ней возвращаться". В статье В.И.Ленина "Ценные признания Питирима Сорокина" есть такие слова: "...Открытое заявление видного, т.е. занимавшего известный всему народу и ответственный политический пост человека об его отказе от политики — есть тоже политика".

В одной из глав своих новых воспоминаний Шульгин пишет: "Латинское юридическое изречение гласит: «Если тот, кто обязан и может говорить, молчит, то это означает, что он соглашается. Но если он не может говорить, то его молчание не есть знак согласия».

Применим эту формулу ко мне. Рассмотрим случай с Шульгиным.

Шульгин обязан был и мог говорить в Государственной думе. И он говорил, Шульгин, а в наши дни не обязан говорить, но он говорит. Однако это не значит, что он со всем соглашается".

И было бы, конечно, наивным полагать, что такой человек, как Шульгин, полностью переродился. Он во многом остался во власти старых, привычных ему представлений и субъективных взглядов. Но главный вывод о том, что невозможно оставаться на старых рельсах, коль стало очевидным, что поезд идет по новому пути, он сделал. И Шульгин, любя Родину и желая ей счастья, находит в себе мужество признать многие свои ошибки.

В.В.Шульгин очень любил Ф.М.Достоевского и говорил:

"Вспоминайте чаще пророческие слова Федора Михайловича, сказанные им еще сто лет назад: "Нищая земля наша, может быть, в конце концов скажет новое слово миру". И его пророчество сбылось. Он хорошо знал душу русского народа и потому говорил, что "наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей".

В заключение мне хочется вспомнить слова Шульгина, сказанные им 4 мая 1917 года в Петрограде на частном совещании членов IV Государственной думы: "Мы предпочитаем быть нищими, но нищими в своей стране. Если вы можете нам сохранить эту страну и спасти ее, раздевайте нас, мы об этом плакать не будем". И пророческий ответ В.И.Ленина: "Не запугивайте, г.Шуль-

гин! Даже когда мы будем у власти, мы вас не "разденем", а обеспечим вам хорошую одежду и хорошую пищу, на условии работы, вполне вам подсильной и привычной!"

Обещание В.И.Ленина выполнено. А "подсильная" работа Шульгина — это его литературные труды, в том числе книга "Годы".

Перелистываешь рукопись, и оживающие перед тобой образы прошлого еще ярче подчеркивают величие настоящего.

В. Владимиров

Если бы юность знала,
если бы старость могла!

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДУМА

Выборы

Поощренные относительным успехом своим в первой Думе, где польское коло насчитывало около сорока депутатов, польские помещики замыслили провести во вторую Государственную думу гораздо больше своих представителей. В Варшаве собрался съезд. На него явились представители от всех губерний, где имеются поляки, от всей Западной России, Литвы и Царства Польского. На съезде было постановлено:

Попытаться довести число депутатов-поляков во второй Думе до максимального предела, с таким расчетом, чтобы польское коло составило сто человек. Для этой цели везде, где поляки будут выбирать совместно с русскими, последних в Думу не пропускать.

Свое решение неизвестно для чего поляки распечатали в газетах. Это было, как говорится, ”немножко множко” и вызвало отпор.

Спящие русские помещики проснулись. Инициативу взяли подоляне. Они созвали в Киеве съезд русских землевладельцев ”Юго-Западного края”, то есть губерний: Киевской, Подольской и Волынской. Это было в октябре 1906 года. Приглашались все, но приехало не так много, человек полтораста.

В нашем Острожском уезде было более пятидесяти человек, которые имели право участвовать в избирательном собрании уезда. В Киев приехали двое: Сенкевич и я.

Двое! Значит, из пятидесяти проснулось только 4%. К этому нелишне прибавить, что с Ефимом Арсеньевичем Сенкевичем я познакомился только на этом съезде, хотя от моего имения Курганы до его имения Лисичье всего пятнадцать верст, то есть час езды в хорошую погоду. Остальных помещиков, участников съезда, я тоже не знал никого.

Съезд избрал председателем егермейстера Двора его величества брацлавского уездного предводителя дворян-

ства Петра Николаевича Балашева. Бывший гвардейский гусар, рано вышедший в отставку в чине поручика, он принадлежал к петербургской аристократии и по отцу и по матери. Предок его был сподвижником Петра Великого. Мать, Екатерина Андреевна, урожденная графиня Шувалова. Ее сестра, статс-дама Елизавета Андреевна, была замужем за наместником Кавказа и главнокомандующим Кавказским военным округом генерал-адъютантом графом Илларионом Ивановичем Воронцовым-Дашковым. Его роскошная резиденция в Тифлисе (Тбилиси) сохранилась доныне. Там находится Дворец пионеров и школьников.

Балашевы были очень богаты, имели несколько имений в разных губерниях. Петр Николаевич жил в Подольской губернии, где был влиятелен. Он женился на княжне Марии Григорьевне Кантакузен, в гербе которой были две императорские короны. Кантакузены принадлежали к высокой международной знати.

Итак, съезд избрал председателем Балашева. Но избрал и почетного председателя. Кого же? Какого-нибудь великого князя? Нет, сына деревенского мельника, моего отчима, профессора Киевского университета Дмитрия Ивановича Пихно. Почему? Потому что он был, кроме того, редактором газеты "Киевлянин". Все эти помещики, не знавшие друг друга, хорошо знали "Киевлянина". Эта газета выражала их чувства и формировала сознание. "Киевлянин" был и программа и утешение в трудные дни 1905 года, только что пережитые.

Съезд постановил:

Принять вызов поляков и употребить все усилия, чтобы во вторую Государственную думу поляки не явились единственными представителями Юго-Западного края.

Поручить всем явившимся на съезд организовать выборы в своих уездах.

Так как от Острожского уезда явилось двое — Сенкевич и я, то нас двоих и уполномочили работать в сем уезде по крайнему своему разумению. Это поручение мы приняли всерьез.

Я не имел никакого влечения к политике, хотя и вырос в политической семье. Меня притягивала история Волыни. Это выразилось в том, что я начал писать исторический роман из жизни XVI века под заглавием "Приключения князя Воронецкого". Я пишу его с 1903 года, то есть свыше шестидесяти лет. Не дописал и уже не допишу, естественно. Да и те тома, что были на-

писаны, и даже два тома, что были напечатаны, находятся "в безвестном отсутствии". Что ж, приключения так приключения!

Два генерала

Мы, русские помещики Острожского уезда Волынской губернии, начисто провалились на выборах в первую Государственную думу по этому уезду. Мы были совершенно не организованы. Поляки же явились все как один, в числе пятидесяти пяти, если не ошибаюсь, и с некоторой торжественностью закидали черными шарами наших кандидатов. Меж тем они не были так плохи. Их называли "два генерала" и про них повторяли песенку, тогда модную:

Мы два генерала,
судьба нас связала,
на остров послала...

Генерал Ивков был настоящий генерал, то есть военный в отставке. Старик тихонько жил в своем имении, где построил обсерваторию. Днем отдыхал, ночью рассматривал звезды в телескоп. Он был один из тех, кто предчувствовал случившееся в наши дни, то есть что человечество, и Россия в частности, предпримут "кампанию" в космос. Земными делами он мало интересовался, передав все управляющему.

Другой генерал имел высокие чины, но носил узкие погоны.

Его звали Георгий Ермолаевич Рейн. Все думали, что он из немцев. На самом деле он был чистокровный русак. Его настоящая фамилия была не Рейн, а Реин. И внешность этому соответствовала. Доктор медицины, он с 1874 года, как профессор-акушер, читал лекции в Петербургской военно-медицинской академии. В течение двадцати лет, с 1880 по 1900 год, занимал кафедру Киевского университета по гинекологии и акушерству, а затем снова перешел в Петербург, где был близок к высшим сферам. Как известный хирург, он оперировал сестру императрицы Александры Федоровны, великую княгиню Елизавету Федоровну. Человек большой энергии и работоспособности, он построил в Петербурге образцовую клинику. Целью его жизни было создать в России мини-

стерство народного здравия, которого не было. Это ему удалось. 1 сентября 1916 года он был назначен главноуправляющим государственным здравоохранением, но не пробыл на этом посту и полугода. За несколько дней до падения империи 22 февраля 1917 года Главное управление народного здравия по причине чрезвычайных обстоятельств военного времени и наступившей разрухи было аннулировано.

Конечно, такого кандидата, как генерал Рейн, поляки не имели. Тем не менее его провалили. Два генерала знали, что их провалят. Но они исполняли свой гражданский долг и провал не считали унижением.

Так было в Острожском уезде в 1906 году.

План кампании

Возвращаясь из Киева на Волынь, еще в поезде мы с Сенкевичем определили, что, начиная план кампании, прежде всего необходимо иметь карту. Карта у меня была и очень подробная. Масштаб три версты в дюйме. Карта эта занимала стену в моем кабинете в Курганах. Еще важнее были "списки избирателей". Они были напечатаны, мы их достали, равно как текст закона. Когда мы изучили эти материалы, план кампании стал нам ясен.

Выборы в Государственную думу не были по "четыреххвостке", как этого требовали кадеты и партии их левее. Из четырех хвостов ("всеобщая, тайная, равная, прямая подача голосов") сохранился один — "тайная". Выборы не были всеобщие. Кроме умалишенных и преступников лишены были избирательного права женщины. Впрочем, женщины могли передоверять свой голос мужьям и ближайшим родственникам. Не участвовали в выборах лица, находящиеся на действительной военной службе.

Выборы в Государственную думу были не равными, а цензовыми. Избиратели должны были иметь имущество. И в зависимости от величины ценза были их избирательные права.

Не были эти выборы и прямыми, потому что они были многостепенными, что тоже будет рассказано на примере Острожского уезда.

* * *

Членов Государственной думы выбирали выборщики, присланные в губернское собрание из уездных собраний. Таких собраний в каждом уезде было два. Одно состояло из выборных от "волостей".

Русская деревня с незапамятных времен имела свое самоуправление, называвшееся волостным. Волостной сход составляли все "хозяева" данной волости. Хозяином почитался каждый, кто владел "наделом", то есть участком земли, полученным в 1861 году при освобождении крестьян. Надел переходил по наследству. Волость как старинная форма самоуправления, хорошо знакомая крестьянам, и была положена в основу крестьянских выборов в Государственную думу. Волостные сходы выбирали делегатов в уездное избирательное собрание. Это последнее выбирало делегатов в губернское, в данном случае в Житомир, где уже выбирались члены Государственной думы от губернии.

Второе уездное собрание составляли землевладельцы, чьи выборные права основывались на личной собственности. Всякий, кто имел хоть какой-нибудь клочок личной земли, мог участвовать в этом уездном избирательном собрании, но далеко не на одинаковых правах. Закон различал полноцензовиков от более мелких собственников. В законе слова "помещик" не было. Но обычно, житейски, в то время помещиками называли лиц, имевших полный ценз. Величина ценза определялась законом для каждого уезда. В Острожском уезде ценз был определен в двести десятин. Так как у меня по купчей считалось триста десятин, то я был полноцензовик и имел те же права, как и помещик Герман, самый крупный в нашем уезде. У него было около десяти тысяч десятин. Те же лица, которые не имели полного ценза, то есть двухсот десятин, не имели и голоса в собрании цензовиков. Но они могли "складывать" свою землю. Эта сложенная земля давала неполноцензовикам столько голосов, сколько выходило, если общее число десятин "сложенной" земли разделить на двести. Так было в Острожском уезде.

Все это показалось нам поначалу чрезвычайно сложным. Но, изучив списки избирателей, мы поняли, что победа над польскими помещиками таится именно в этой сложности.

Делегаты от "сложенной" земли назывались "уполномоченными" от землевладельцев, не имевших ценза. Сколько же их явилось в Острожское избирательное собрание на выборах в первую Думу? Всего семь уполномоченных. А сколько их могло явиться, если бы они полностью использовали свои возможности?

В списках избирателей указывалось, сколько каждый имеет земли. Проделав утомительную арифметику по сложению этих клочков, мы узнали, что у всех "мелких" (для простоты так их называли) в совокупности имеется свыше шестнадцати тысяч десятин. Разделив сию цифру на двести, мы сделали потрясающее открытие: если мелкие используют всю свою землю, то их уполномоченные явятся в Острожское губернское избирательное собрание в числе восьмидесяти человек. Восемьдесят! Это обозначало, что в этом случае не цензовики будут хозяевами выборов, а уполномоченные.

Действительно, если бы даже все цензовики действовали сообща, русские и поляки, то, по нашим расчетам, у них восьмидесяти голосов все же не было бы. Но так как часть русских помещиков будет с нами, то нам не надобно восьмидесяти уполномоченных (цифра эта теоретическая), а достаточно и меньшего числа, чтобы забаллотировать поляков. На выборах в первую Думу их было пятьдесят пять человек, и это их максимальная возможность.

* * *

Но как из семи перводумских уполномоченных сделать, скажем, сорок втородумских?

Мы стали еще внимательнее изучать избирательные списки. Мелкие оказались очень пестрыми по размеру своих владений. Два-три полупомещика, около ста десятин каждый. Много средних и туча мелких. Как подойти к этим людям?

При дальнейшем разглядывании выделились три группы. Во-первых, деревенские священники. Исторически в нашем крае каждая церковь была наделяема землей. Это началось с давних времен. Русские, а иногда и польские паны наделяли церкви, построенные в их владениях, участками земли, с которых батюшки и жили. Закон о выборах в Государственную думу определил, что церковные земли дают право духовенству быть избирателями в уездном собрании наравне с личными собствен-

никами. В Острожском уезде было свыше ста приходов. Размер земельного обеспечения церквей был разный, но в среднем можно считать сорок десятин на приход. Итого, если бы батюшки использовали полностью свои права, они могли бы прислать двадцать уполномоченных.

Вторая группа мелких были чехи. Императрица Екатерина II в предположении, что живой пример положительно подействует на русских крестьян, пригласила крестьян, немцев и чехов, которым было тесно у себя, переселяться в Россию. Эта царица думала, что русские крестьяне начнут подражать колонистам, убедившись, что культурное земледелие дает больше, чем первобытное. Колонисты наделялись мелкими участками, близкими к крестьянским.

Мысль Екатерины II была плодотворной. К началу XX века у нас на Волыни оказалось достаточно колонистов немцев и чехов. Они благоденствовали. Считалось, что колонист, имеющий шесть десятин, живет, как маленький помещик. Но часть этих колонистов, начав с малого, становилась богатыми помещиками, покупая землю.

Самым ярким примером этому был Фальцфейн в Херсонской губернии. Он был очень богат и основал в херсонских степях колоссальный заповедник, где жили самые разнообразные звери и птицы, в том числе страусы.

На Волыни тоже бывали разбогатевшие колонисты. Я знал милейшего Арндта. Его дед был рядовой колонист, но Иван Юлианович имел уже тысячу десятин... Он жил богато, но деловито, без ненужной роскоши и тунеядства. Его роскошью были дочери, здоровые на загляденье барышни, получавшие образование, но не отрывавшиеся для наук от деревни и домашнего хозяйства, как наши русские барышни. Последних воспитывали, очевидно, в предположении, что они всегда будут иметь горничных и кухарок, что не оправдалось.

В Острожском уезде возобладали не немцы, а чехи. Из них только один разбогател настолько, что перешел в цензовики. Остальные были в разряде мелких, то есть могли попасть в уездное избирательное собрание через уполномоченных.

Третью группу составляли крестьяне, владевшие личной, то есть купленной землей помимо наделов. Эти имели двойные выборные права: в волостных собраниях по наделам и как личные землевладельцы. Состав их был

чрезвычайно пестрый. Я знал одного, едва грамотного старика. Он нажил шестьсот десятин хорошей земли и четырем своим сыновьям дал университетское образование. Этот, разумеется, был цензовик.

Были и другие цензовики из крестьян. Но сейчас я говорю о крестьянах личных собственниках, но мелких. Среди них преобладали мелкие собственники, начиная с одной десятины. Но по количеству земли сообща они составляли группу весьма значительную.

Но как до них добраться?

Батюшки

Обмозговав положение, мы поняли, что создавать какой-то собственный агитационный аппарат немыслимо. У нас нет ни людей, ни денег, ни времени. В этом отношении я имел уже некоторый опыт. Конь Васька потому явился одним из участников в выборах во вторую Думу, что я на нем летом 1906 года поездил немало по Острожскому уезду. Я, как Чичиков, гонялся за мертвыми душами, которых надо было воскресить или пробудить для общественной жизни. Мой опыт показал: душа — это минимум день. Этих душ несколько сот. До выборов осталось четыре месяца. И каких месяцев! Грязных и снежных. Дождь и вьюга. Ясно, что тут чичиковские методы неприложимы.

Печать? Но эти люди газет не читают. Печатные прокламации? И не прочтут и не поймут. Что же остается?

Остаются батюшки! Их не меньше ста лиц в нашем уезде. Они есть в каждом селе, и все в совокупности они знают чуть ли не поименно всю толщу народа. Кроме того, они сами по закону являются участниками в выборах. Батюшки — это ключ к положению.

Наш батюшка, то есть священник прихода, к которому мы относились, был отец Петр. Человек весьма достойный. Однажды он сказал мне, что духовенство местное очень хорошо ко мне относится, но есть нечто, что батюшек смущает.

— Что именно?

— Зачем вы ездите польской четверкой?

— А если я вам скажу, что я езжу не польской четверкой, а архиерейской?..

— Как это?

— Разве вы не знаете, что митрополит Киевский и Галицкий спокон веков ездил и ездит именно такой четверкой?

Тут ничего нельзя было возразить, потому что это было правдой. Но дело не в этом, а в том, что если достойный человек и иерей отец Петр выказал себя не только русским националистом, но и шовинистом, то значит батюшки поддержат всякую акцию против польских помещиков.

Так оно и оказалось. Мы создали некий предвыборный комитет, в который вошел и Острожский протоиерей Ястржемский. Надо сказать, что духовенство было самым дисциплинированным сословием в России. Мнение протоиерея, высшего священника в уезде, было если не все, то очень много. Можно было надеяться, что батюшки исполнят то, о чем комитет их попросит. А что комитет хотел просить у священников? Ничего противного их сану. Никакой агитации. Главный противник наш обозначился на выборах в первую Думу. Это был абсентеизм избирателей. И вот здесь могли помочь батюшки.

Я написал и послал свыше ста открыток одинакового содержания.

"В Вашем приходе, уважаемый отец такой-то, проживают такие-то лица. Им надлежит прибыть на выборы в Государственную думу туда-то тогда-то. Предвыборный комитет просит Вас напомнить им об этом их долге в ближайший к выборам праздничный день, после службы".

Эти невинные открытки и решили дело по существу.

* * *

Перехожу к выборам.

Не успели оглянуться, как настал решающий день: выборы уполномоченных от мелких землевладельцев.

Что даст наша тактика и стратегия?

Когда утром этого решительного дня я посмотрел на градусник, то подумал:

— Чего можно ожидать, если мороз 30 градусов? Кто поедет? Мороз в 30 градусов по Реомюру, по Цельсию около сорока, для Волыни вещь исключительная.

Но вечером приехали Сенкевич и Лашинские и привезли радостные вести.

Мороз не испугал. Явились! Приехали тучами. Но вы-

боры едва не сорвались на том, что трудно было предвидеть.

Во всех трех избирательных пунктах уезда было одно и то же. Огромное численное превосходство наиболее мелких избирателей, назовем их для простоты однодесятинниками. Они быстро сообразили, что в их руках сила, и решили выбирать уполномоченных только из своей среды, то есть от бедноты. Тогда более зажиточные сказали:

— Если так, то чего же нам ждать, мерзнуть тут? Едем домой? Они и без нас сами себя выберут.

И вот тут и спасли положение наши агитаторы. Они пошли к однодесятинникам и сказали им:

— Вас-то много, да земли у вас мало.

— Ну так что?

— А то, что перед самыми выборами будут считать землю. Сколько у вас ее есть всего. Будут считать только землю тех, кто вот тут в собрании присутствует. А землю тех, что вот уже коней закладывают, чтобы домой уехать, тех землю считать не будут. Они уедут и землю свою увезут с собой. Посчитают только вашу землю бедняцкую. И вы выберете уполномоченных, кого хотите, но сколько? Мало, потому что вас много, а земли у вас мало. И эти наши уполномоченные в Остроге, на уездном собрании, не смогут осилить панов, и никто из вас не пройдет в Думу.

Однодесятинники поняли. И послали сказать зажиточным:

— Не уезжайте, не увозите землю. Как-нибудь сговоримся.

* * *

— И сговорились?

— Сговорились.

— И что же?

— А то, что не поверите! Избрано в трех пунктах шестьдесят уполномоченных! Шестьдесят!!! А в первую Думу было семь! Кто мог думать?

* * *

Действительно, это была победа, в которую и верить было трудно. Если бы приехали все, кто в списках, до последнего, то уполномоченных было бы восемьдесят че-

ловек. Шестьдесят — это 78% от высшей теоретической возможности.

Сейчас, когда в выборах участвует до 99,9%, этим никого не удивишь. Но тогда было иначе. Незадолго перед этим на городских выборах в Брюсселе, столице Бельгии, число явившихся к урнам достигало 75% возможного. Этот результат был отмечен повсеместно как результат высокой гражданственности.

Но то Брюссель, а то Волынь. Совершенно неподготовленное население. Мороз в 30 градусов, и притом ни денег, ни людей для агитации.

* * *

— Это дело батюшек, — сказал я.

— Это ваши открытки! — ответили мне.

— Батюшек и ваше! Вы блестяще помирили бедных и богатых. Слава миротворцам!

Так мы хвалили друг друга на радостях. Затем я сказал:

— Будем торжествовать, но не слишком. У нас шестьдесят уполномоченных. У нас, кроме того, двадцать цензовиков русских, что, вероятно, пойдут за нами. У поляков предельное число пятьдесят пять голосов. Восемьдесят бьют пятьдесят пять наголову, если...

— Если не поссорятся!..

Помещики

Наступил день уездных выборов. Было много опасений, что из шестидесяти уполномоченных многие не приедут. Но приехали все. Прибыли и двадцать русских цензовиков, хотя их могло бы быть около шестидесяти, если бы явились все, кто был в списках. Но как один прибыли все пятьдесят пять поляков.

Они гордились не без основания:

— Мы заставили приехать даже тех, кто был в Париже, Ницце и Монте-Карло.

А русские, как всегда: часть герои, остальные обломовы.

Один был такой помещик подолянин, впоследствии член третьей Думы и мой друг. С ним случился такой казус. Во время каких-то выборов в Подольской губернии он с женой был на Цейлоне. Муж стрелял тигров, она

любовалась ловлей жемчуга. Они получили телеграмму от друзей: "Присутствие на выборах необходимо".

Он оставил жену ловить жемчуг, а сам поехал. В то время самолетов еще не было. Надо было переплыть океаны и моря и мчаться курьерскими поездами. Он приехал в день выборов, не сказал ни слова, так как был очень молчалив от природы, бросил шар в урну и на следующий день отправился обратно на Цейлон, снова переплыл моря и океаны и дострелил недострелецного тигра.

У нас в Острожском уезде не было героев таких "цейлонских", но Георгий Ермолаевич Рейн приехал из Петербурга, бросив академию и клинику. А астроном генерал Ивков, хотя и остался в своей обсерватории, но передал свой голос управляющему Лашинскому, что законом разрешалось.

Барон Меллер-Закомельский приехал острить, как всегда. Год тому назад он послал телеграмму другому барону, Штакельбергу, который был волынским губернатором, такого содержания: "Если Ваше превосходительство не потрудитесь прекратить анархию во вверенной Вам Волынской губернии, то я объявляю себя диктатором Острожского уезда и наведу здесь порядок собственными силами".

Послав эту телеграмму, он основательно закусил в обществе собственного сына в городе Ровно. Возвращаясь домой в имение Витково, он решил испробовать свои диктаторские способности на юном собутыльнике, так как мальчишка стал дерзить отцу. В десяти километрах от дома он выбросил сынка в снег, а кучеру сказал:

— Гони!

Это мне рассказал Андрей, который до меня был кучером у Меллер-Закомельского.

* * *

Я хочу сказать несколько слов о мальчике, подававшем надежды. Он их оправдал. Товарищ его по университету, сын известного профессора, вздумал на последнем курсе жениться. Пригласив шафером молодого барона, он поручил ему отвезти невесту в церковь. Блестящий шафер исполнил просьбу и отвез невесту в церковь, но только в другую, где и обвенчался с нею сам. Потом молодожены инсценировали бегство, хотя их никто не преследовал. Но это нужно было для романтики. Они бе-

жали в ”дремучий лес”, где были хорошие дубы, мимо которых я нередко проезжал. В некотором отдалении от дороги стояла белая хатка лесника. Там молодые супруги провели медовый месяц довольно спокойно, потому что лес принадлежал барону Меллер-Закомельскому-отцу.

По окончании медовой луны юная баронесса переехала в Витково, стала хорошей наездницей и лихо скакала вместе с мужем. Потом...

Потом пришла война. ”Герой” в кавычках превратился в героя без кавычек. Он поступил добровольцем в армию, получил два ”Георгия” и был убит.

* * *

А старый барон — это было, конечно, до потери сына — делал свое дело, то есть острил.

Выборы во вторую Государственную думу он начал тем, что, приехав в Острог, пошел в конюшню ”Европейской” гостиницы, проще сказать, к Шрайеру. Все мы там останавливались. Барон интересовался лошадьми. Увидев мою ”польскую” четверку золотистых коней, которую я подобрал на ярмарках, а кучер сильно раскормил, несмотря на гоньбу, Закомельский, заметив Андрея, сказал ему:

— Чем ты их кормишь? Наверное, ”Киевлянином”?

После этого он вошел в гостиницу. Там его жена бранила Рухцю Шрайер, еврейку чрезвычайно умную. Она держала в руках не только своего малоэнергичного мужа, но и самого Зусьмана, главного лесопромышленника уезда, а через него оказывала влияние на всю округу. Баронесса бранила Рухцю за то, что она отдала ”перший (первый) номер” не ей, баронессе, а Рейну. Все номера в гостинице были дрянь, но ”перший” был чуточку побольше. Однако Рухця поступила так потому, что она знала все, что было и будет и что выберут сегодня отнюдь не барона. На эту ссору пришел сам барон и сказал что-то жене по-французски. Рухця не знала по-французски, но все же как-то поняла, что барон сказал своей жене. И рассказывала впоследствии:

— Он ей сказал: почему ты так кричишь? Не потому ли, что ты баронесса? Но ты баронесса только потому, что я барон.

Затем последовал завтрак. Мы, несколько человек, завтракали в этом самом ”першем номере”, у Рейна. Ку-

шали яичницу. Закомельский острил. И говоря об Ивкове, сказал:

— Он не только астроном, но и приличный человек. Но избирать его нельзя: у него в голове яичница!

На завтрак был приглашен и Лашинский, управляющий Ивкова. Ему было неловко это слушать. Он сказал:

— Вы так говорите, барон, а генерал очень вас любит!

Барон несколько смутился. Но сейчас же нашелся:

— Любит? Любит меня? Так ведь я тоже... я ужасно люблю... яичницу!

* * *

Словом, каждый делал то, что ему свойственно. А положение все же было не такое простое. Предстояло выбрать пять человек от Острожского уезда.

Острог

Итак, пятеро поедут в Житомир и там вместе с другими выберут членов Государственной думы. Каждый из этих пяти, быть может, будет депутатом.

Пять! Но дело в том, что избиратели, которых было семьдесят девять, состоят из четырех групп, совершенно разных, хотя численно почти равных. Уполномоченные от мелких представляли такую любопытную картину: двадцать батюшек, девятнадцать чехов, двадцать один крестьянин-хлебороб. Затем было девятнадцать русских полноцензовиков.

Все четыре группы собирались для разговоров отдельно, но все пришли к тому мнению, что батюшки, чехи, хлеборобы и помещики должны получить каждые по одному, итого четыре. Но что делать с пятым? Великодушно было бы отдать пятого меньшинству, то есть полякам. Но великодушного настроения в отношении поляков не было. Великодушие проявилось в другом направлении.

После долгих совещаний между уполномоченными к нам, полноцензовикам, пришли делегаты от крестьян и сказали так:

— Нас больше других, нас двадцать один. Некоторые думали, что пятого надо отдать нам. Но, поразмыслив, все мы на том стали, что так будет неправильно. Пятое

место надо отдать русским помещикам, чтобы, значит, помещиков избирать двух, а от остальных по одному. Почему мы на это решились? Потому что хорошо понимаем, что все вы сделали, что без вас ничего бы не было, а поляки избрали бы одних поляков, вот почему.

* * *

Этот барьер казался мне самым трудным. Четыре дружины могли перессориться из-за пятого места. Когда теперь на старости лет я наблюдаю международную грызню государств, мне иногда кажется, что некоторым вождям и правителям еще далеко до того духа уступчивости и миролюбия, который обнаружили волынцы в конце января месяца 1907 года в городе Остроге.

* * *

Теперь остались только персональные вопросы. Кто будут эти несчастные счастливцы, которых пошлют в Житомир?

Четыре группы предоставили друг другу в этом отношении полную свободу, то есть без права отвода. Поэтому нам, полноцензовикам, оставалось только наметить двух кандидатов "от помещиков". И тут произошло то, чего я опасался.

* * *

Мне было двадцать девять лет. Я до сих пор, то есть до Государственной думы, мало занимался общественными делами и ничем другим тоже не выдвинулся. Кроме того, было и такое соображение. По закону достаточно было иметь двадцать пять лет, чтобы быть избранным в Государственную думу. Но был и другой закон, неписаный, по которому на важные общественные должности обыкновенно выдвигают людей постарше. Я думал, что эти два обстоятельства достаточно гарантируют меня от тяжелых неприятностей. Таковыми я считал избрание меня в Думу. У меня не было ровно никакого желания закабалять себя в политику. Я хотел жить в деревне. Немножко хозяйничать, немножко писать роман "Приключения Воронецкого". Не прочь был что-нибудь делать и по земству. Меня назначили попечителем по пожарно-страховым делам. Мне нравилось скакать на Ваське всюду, где произошел пожар, и там на месте составлять протокол. Это ускоряло получение

страховой премии, что было важно для погорельцев. О более широкой и "высокой" деятельности я не мечтал и тушить всероссийский пожар не собирался. Я не был рожден "для распрей и для битв". Но судьба распорядилась мною иначе. Возня с выборами в Острожском уезде выдвинула меня против воли.

* * *

— Было в первую Думу семь уполномоченных. Сейчас шестьдесят! Кто это сделал? Шульгин и Сенкевич. Их послать! — таков был глас помещичьего народа.

Я не хотел, я просил пощадить. Но меня заставили следующими соображениями:

— Не хотите в Думу? До Думы еще далеко. Проведите выборы в Житомире. Там тоже будет всего.

Сенкевич был счастливее. Ему удалось отбиться. Кроме того, Г.Е.Рейн, академик-профессор, крайне энергичный, работоспособный и со связями в столице был кандидатура блестящая. И притом он явственно хотел пройти в российский парламент. Это его устраивало. Таким путем ему легче будет создать министерство народного здравия, что было целью его жизни.

В заседаниях, предшествовавших выборам, он неизменно выбирался председателем, а я секретарем. Было ясно: этим двум надо ехать в Житомир.

Однако поляки тоже не дремали. Они составили план сорвать выборы. Я это понял слишком поздно, и они выборы сорвали. Сделали они это довольно любопытно. В имении Оженино Еловицкие сидели очень давно, столетия. Они вели свой род от князей Святополя-Четвертинских и некогда жили в Четвертне. Тогда они были русские, православные, но потом ополячились. Во всяком случае, это была коренная волынская аристократия. Молодой Витольд Грацианович Еловицкий окончил со мной юридический факультет в Киеве. Он работал и у моего отчима по кафедре политической экономии. Еловицкий был чуть ли не единственный поляк, который однажды летом приехал с визитом к своему профессору. И именно он сорвал выборы хитрым образом.

Председательствовал в уездном собрании в Остроге за отсутствием предводителя дворянства мировой посредник. Этой должности не было в Восточной России, там они назывались земскими начальниками. Илья Павлович Ивашкевич был милейший человек. Между прочим, он любил, объезжая уезд, заезжать к нам в Курга-

ны. И каждый раз рассказывал один и тот же случай. Он, Илья Павлович, когда-то почему-то ехал вместе в карете с высокопреосвященнейшим Платоном, митрополитом Киевским и Галицким. Когда ехали через какое-то местечко мимо католического костела, зазвонили в колокола, что не могло быть не чем иным, как приветствием высокой духовной особе. При отношениях между католиками и православными это было необычно. Митрополит остановил карету и, войдя в костел, благословил ксендза, выслушав краткое богослужение. Затем поехал дальше.

Но этот случай произвел на Илью Павловича неизгладимое впечатление. И каждый раз, когда он это рассказывал, глаза его увлажнялись, и голова тряслась как-то преждевременно. Он не был дряхлый старик. По натуре своей он мог бы быть именно "мирный посредник", а не председательствовать в собрании, где люди сошлись под знаком национальной борьбы. Илья Павлович несколько растерялся, у него не было привычки председательствовать в такого рода собраниях. На это Витольд Грацианович и рассчитывал.

* * *

Собрание открылось чтением закона о выборах в Государственную думу. Когда законы были прочитаны, Еловицкий попросил слова и потребовал некоторых "разъяснений" от председателя. Илья Павлович, давая разъяснения закона, запутался. После задавали новые вопросы — он запутался еще больше. Мне стало ясно, что Еловицкий устраивает все это, чтобы иметь повод для кассации выборов. Он недаром стал адвокатом. Я попросил слова и дал разъяснения закона, чтобы помочь Илье Павловичу. Но я был рассержен на поляков и в особенности на Еловицкого за то, что он занимается провокацией. И тут у меня вырвалось несколько слов, которых не следовало говорить.

Дело было в том, что закон категорически запрещал всякую агитацию в день выборов. Все такое должно было кончаться накануне. А мои слова, которых, впрочем, не помню, в самом избирательном собрании, очевидно, можно было изобразить как агитацию. Как только я начал в этом стиле, поляки закричали:

— Слушайте, слушайте!

Я понял и замолчал. Но слово не воробей: вылетит — не поймаешь. Дело было сделано.

После этого поляки перестали просить разъяснений закона. И выборы прошли гладко.

Поставили пять ящиков с нашими именами. И мы получили точно: 79 белых шаров и 55 черных. Теперь оставалось ехать в Житомир. Выборы членов Государственной думы были назначены на 6 февраля.

Но Витольд Грацианович оказался ловчее меня. Его предки занимались выборным искусством уже целые столетия в сеймах и сеймиках. Словом, Еловицкий подал кассационную жалобу в том смысле, что выборы совершились с нарушением закона. И губернатор кассировал выборы и назначил новые. Срок для новых выборов был указан очень краткий. Обычным казенным путем, то есть через публикацию, было невозможно довести до сведения выборщиков, что им надо ехать в Острог вторично. И этот срок и не мог быть более долгим, так как в таком случае острожане не попали бы в Житомир к 6 февраля.

На этом и был основан хитрый расчет Витольда Грациановича. Но он упустил из виду одно обстоятельство. Во время сеймов и сеймиков не было телеграфа. А в 1906 году телеграф действовал, и неплохо. Каждый телеграфный пункт обслуживался, между прочим, мальчишками из села. Эти юные вестники пешком во всякую погоду днем и ночью доставляли телеграммы во всякое село или имение. Они назывались "нарочные" и получали плату десять копеек с версты, которую платил отправитель телеграммы, означив в адресе: туда-то нарочным, тому-то. Получатель, если хотел, давал мальчику на чай, деньги тогда были дорогие. Мальчик, доставивший двадцать пять телеграмм на среднее расстояние в десять верст, мог за двадцать пять рублей купить себе хорошую лошадку. Это не принял в расчет Витольд Еловицкий. Я послал около восьмидесяти телеграмм, что мне стоило около двухсот рублей. От этого я не разорился, а мальчишки побежали марафонским бегом во все концы уезда. Результаты?

Все уполномоченные, числом шестьдесят, явились как один. Телеграмма! Шуточное ли дело! Для некоторых из них это была первая телеграмма в их жизни, а может быть, и последняя.

Явились и девятнадцать помещиков. Выборы состоялись снова, и пятьдесят пять поляков были вновь положены на обе лопатки.

* * *

Итак, Острог был взят после второго штурма. Мы победили! Теперь пять человек должны ехать в Житомир и там избирать членов Государственной думы от Волынской губернии. Два русских помещика (Г.Е.Рейн и В.В.Шульгин), один русский крестьянин, один русский священник, один чех из колонистов. Все поехали порознь, потому что проживали в разных местах. День выборов был назначен на 6 февраля.

Смотря на снежные поля, мелькавшие за стеклами вагона, я никак не мог себе представить, что нас ждет.

* * *

Жизнь в уютных домиках была дешева.

Но на главной улице были магазины, из которых некоторые стали гордостью города. Житомирские перчатки славились на весь край. Нарядные польки продавали и отменные духи. Они улыбались, как балерины, и серьги в их ушах вздрагивали горделиво.

Ждал нас отменный кофе в кавярнях (кофейных). Паненки очаровательно говорили "проше пана" и "бардзо дзенькую", но не без некоторой самомнительности. Они себе цену знали.

* * *

На главной улице стояли две гостиницы, одна против другой. Более шикарную, не помню, как ее название, заняли поляки.

Более скромная гостиница была "Рим". Ее заняли мы, русские.

Острожское восстание кончилось нашей победой. Но как будет в Житомире?

* * *

Однако ни польские паны, ни русские помещики не могли решить дела по существу. Соотношение "сил", то есть число выборщиков разных групп, было таково, что ни одна группа в одиночку не имела большинства. Следовательно, необходим был сговор. Самой многочисленной группой были крестьяне. Это были выборщики от волостей, то есть от хозяев, имевших наделы, и выборщики от крестьян, имевших собственную землю. По на-

циональности они были русские, или, как тогда говорили, малороссияне, по нынешней терминологии украинцы.

Второй по численности была группа польских помещиков, третьей — русских помещиков. Четвертая группа — горожан, которые почти все были евреи. Пятая — священников, русских по национальности. Наконец, шестая группа — чехи и немцы, колонисты.

Группировки по национальному признаку могли быть такие.

Русские, то есть помещики, батюшки и крестьяне, к которым присоединились чехи и немцы-колонисты.

Поляки, к которым примкнули евреи-горожане.

По классовому признаку мог быть блок всех помещиков без различия национальности, то есть союз русских и поляков. Если бы к этому союзу примкнули евреи-горожане, то такой блок имел бы большинство.

Это могло бы быть серьезным искушением. Революция собиралась сделать имущих нищими. Естественно, что ограбляемые могли соединиться вместе в борьбе против грабителей. Грабителями явились бы мужики, которым сулили помещичью землю. Но тогда на Волыни еще так не было.

Идея национального единства, поддержанная церковью, одержала верх.

Таким образом, ограбляемые решили объединиться с теми, кто при известных условиях мог стать грабителем. Мог, но пока что таковым не был. Кроме природной мягкости волынского хлебороба, здесь сказалась умиряющая рука духовенства.

* * *

Итак, русские помещики овладели "Римом". Это значит, что они захватили гостиницу "Рим" в Житомире. В этом "Риме" на совещаниях, а также во время совместных обедов и ужинов выяснилось, что настроение русских помещиков твердое: с поляками и евреями блокироваться не желаем, надо соединиться с крестьянами.

Итак, мы жили в "Риме". Но где поместились эти самые крестьяне? Их приютила церковь. Архиепископ Антоний через двух своих помощников: архимандрита Виталия и иеромонаха Илиодора чрезвычайно искусно выполнил христианский долг уловления душ. Выборщики были простые люди, совершенно растерявшиеся, когда на них пала такая трудная задача — избрать из своей темной среды таких людей, чтобы помогли править на-

родом... кому? Самому царю! Так им представлялась их будущая должность. Они были чрезвычайно рады, когда на вокзале их встретили ласковые монахи. Батюшки не только приютили их в своем подворье, дав им и кров и пропитание, и притом даром. Архимандрит Виталий и иеромонах Илиодор стали поучать их уму-разуму, то есть как им поступать сейчас на выборах и потом в Государственной думе.

Они уже знали, что им будут платить за их службу десять рублей в день. Десять рублей! Это кружило голову беднякам. Ибо те, что кончили школу, знали: если Дума проживет, даст бог, все пять лет, как ей полагается, то каждый из них получит 18 250 рублей. И станет серый хлебороб не то что каким-нибудь чехом или немцем, а самым настоящим помещиком. Но монахи им, должно быть, объяснили: чтобы стать помещиком через пять лет, надо сейчас поладить с теми, кто уже помещики, с теми, кто живет в гостинице "Рим", с теми, кто будет 6 февраля выбирать в Государственную думу. Без их помощи ни один хлебороб помещиком не станет.

Так должны были говорить монахи, но они так не говорили.

Когда я увидел архимандрита Виталия, я это понял.

Он сидел в углу большой комнаты в подворье, но не в красном углу, то есть под образами, а в другом, напротив. И произошел конфуз. Я перекрестился не на образа, а на архимандрита, но вышел из положения тем, что подошел к нему под благословение. После этого он пригласил меня сесть на скамью около себя. И, внимательно посмотрев на меня, сказал негромко и очень просто:

— О вас хорошо говорит народ.

Я и обрадовался, и смутился, но ответил:

— Этому я обязан не себе самому, а моему отчиму. Он иногда помогал людям.

— А вы сами?

Он чуть-чуть улыбнулся, смягчая этим строгость вопроса, перешедшего в допрос. Я тоже улыбнулся, и мне было легко ему ответить:

— Вот сейчас хочу помочь.

— Чем?

— С поляками и евреями мы, русские помещики, — я от их лица говорю — не пойдем.

— Похвально. Вам было бы выгодно, вы имели бы большинство.

— Не всегда выгода выгодна. Мы хотим идти с русским народом, которого мы часть. Но я предвижу затруднения.

— Какие?

— Затруднения могут возникнуть при дележе мест.

— Именно?

— Всех мест тринадцать. Надо установить, сколько кому достанется.

— Как же вы о сем мыслите?

— Начну с легкого. Духовенству — одно место, чехам и немцам вместе — тоже, то есть одно место.

— Не возражаю. Остается одиннадцать.

— Остается одиннадцать. Мы думали так: помещикам четыре места, крестьянам семь. Итого одиннадцать.

Я остановился, ожидая ответа. Но ответ последовал не сразу.

Архимандрит, вероятно, думал о двух предметах. Удастся ли уговорить крестьян и можно ли верить помещикам? Не впадут ли они во искушение? Ведь поляки и евреи, вероятно, предложат им более выгодные условия.

А я не то что рассматривал, я силился ощутить истинную внутреннюю сущность архимандрита Виталия.

Худое лицо, впавшие глаза. Он строго постился и спал на голых досках, быть может, на этой деревянной скамье, где я сидел.

Редкая бородка, не стриженная, а потому, что не растет волос. Я не думал тогда, что так же изображают Христа. От этого человека исходило нечто трудно рассказываемое. Он говорил негромко, ставил трезвые вопросы и следил за моей несложной арифметикой, таившей, однако, весьма сложные переживания. Я был равнодействующая стоящих за мной людей. Правильно ли я их учитывал? А архимандрит Виталий как будто бы "что-то" знал, чего я не знал, а может быть, никто не знал. И это единственно важное "что-то" было настоящей сущностью этого человека. А внешность его и слова, которые он негромко произносил, были то неважное, что соединяло его с миром. Так тихо горящая лампадка есть то, что самое важное в келии. А остальное, стены, пол и потолок, скамьи и стол с куском хлеба, на нем лежащим, только неизбежная дань суетному миру.

Простые люди чувствовали благостное "что-то" этого аскета. И шли за ним.

Когда мистические мгновения размышлений, меня посетившие, кончились, архимандрит сказал:

— Мы вам поможем...

Он выразился неточно, потому что "лампадка" стыдлива. Но я понял. Монах хотел сказать:

— Господь вам поможет... Не только мне. Лампада, излучая свет всем, молится "за всех и за вся".

* * *

В каком-то большом зале мы встретились: крестьяне и помещики. Ну и батюшки, и чехо-немцы тоже.

Крестьяне были не лубочные, не подставные, не "пейзаны" из пасторали. Чистокровные хлеборобы, черная Волынь. Одни в домотканых свитках с самодельными пуговицами и застежками. Другие в кожухах шерстью внутрь. Лица знакомые, не злобные, приветливые.

А Прокопий и другие летописцы VII века повествуют, что они в VI веке нападали на Царьград. Тогда, надо думать, добродушием они не отличались.

Прошло четырнадцать веков, сердца смягчились. Однако люди, в самомнении своем считавшие себя культурными, делали все возможное, чтобы вернуть мирных земледельцев к звериной жизни.

* * *

Серо-коричневое пятно свиток и кожухов заняло две трети комнаты. Они разглядывали нас выжидательно. Мы, сюртучники в белых крахмальных воротничках при галстуке, рассматривали "сермяжную Русь", старались угадать, чем она сегодня дышит.

До 1905 года мы ее знали, ощущали. Но эти два года последние всколыхнули всю страну. Общее настроение обозначившегося движения было революционным. Его лозунгом было насилие. Поддалась ли ему мирная Волынь?

* * *

Не помню, как началось. Из массы выделились главари. Они говорили тем языком, как выражаются наши волынцы, прошедшие через солдатскую службу. Смесь общерусского языка с местным.

Нет! Эти люди не хотели насилия. Они хотели сговора с русскими помещиками. А с польскими не хотели и с евреями — тоже.

Это значило, что в чувствах все были едины. И потому разговоры перешли на дележку мест. И тут согласие наскочило на подводный камень.

С батюшками и чехо-немцами быстро покончили. Тем и другим дать по одному месту в Государственной думе.

А затем дело стало. Помещики хотели получить себе четыре места, а крестьянам дать семь. А последние предлагали помещикам три места, а себе требовали восемь.

На этом они уперлись. Пробовали обе стороны привести какие-нибудь доводы. Но какие могут быть доводы, когда люди просто торгуются? Хлеборобы говорили, что они никому не хотят "кривды", но три места помещикам достаточно. А помещики утверждали, что правильно дать им четыре места в Государственной думе.

И то и другое было одинаково справедливо и несправедливо, то есть убедительно доказать ничего нельзя было. Поэтому разошлись с кислыми лицами, решив, однако, на следующий день собраться снова.

* * *

Ужиная, "римляне", то есть русские помещики, проживавшие в гостинице "Рим", обсуждали положение. Стало известно, что кто-то из поляков предлагает соединиться всем помещикам вместе и с помощью евреев получить большинство. Выслушали и постановили: блок с поляками и евреями отвергнуть, но и в отношении крестьян держаться твердо. Требовать четыре места. В случае отказа уехать, то есть не участвовать в выборах. И о таковом нашем общем решении объявить крестьянам поручили мне: "Наш пострел везде поспел!"

* * *

Собрались вторично. Снова пробовали убедить упрямцев. Нет, не поддаются. Тогда я встал и с некоторой дрожью в голосе сказал:

— Нам предлагали поляки и евреи с ними соединиться, и тогда у нас будет большинство, и мы выберем кого хотим и сколько хотим. Но мы им отказали. Мы русские и против русского народа не пойдем. Но выходит так, что идти вместе с родным народом нам нельзя. Очень уж вы упрямые, братья-хлеборобы! Куда же мы пойдем? Никуда. Объявляю вам, что мы, русские помещики, в выборах участвовать не будем и разъедемся по домам. Прощайте!

И мы вышли из зала. Но ехать на ночь не хотелось.

Куда же идти? Разумеется, все в тот же "Рим" — ужинать.

Во время ужина с горя, очевидно, некоторые подвыпили, и как-то все мы подружились. Настроение поднялось, потому что мы почувствовали себя в некотором роде героями — "лягу за царя, за Русь!" И очень много курили, в комнате был туман. Вдруг ко мне наклонился официант, подававший ужин, и сказал тихонько:

— Вас там требуют.

— Где?

— На крыльце.

— Кто?

— Мужики какие-то.

— Именно меня?

— Так точно. Именно вас.

Я выскользнул незаметно из объятия табачного дыма и вышел на крыльцо. Их было несколько человек. Это были наши упрямцы. Во главе с Гаркавым с "Георгием" на груди. Я его уже хорошо знал. Он главным образом говорил вчера и сегодня. И теперь он обратился ко мне:

— Мы пришли к вам, хотя вы от нас ушли. Пришли вам сказать. Нам три русских помещика нужны.

— Зачем?

— Мы люди темные. Не знаем мы, как нам там быть, в той Государственной думе. Вы нам расскажете. Вот почему нам нужно трех русских помещиков. Мы их все равно хочь из-под земли достанем! Мы хотим вас и еще двоих, кого вы назначите.

Я ответил:

— Мы хотим четырех, как вы знаете. Но то, что вы мне сказали, я передам точно другим, сейчас же.

Они поклонились и ушли.

* * *

При этом разговоре присутствовал еще один помещик, который, случайно или нет, пошел за мной. Это облегчило мое положение. Войдя в облака дыма, я сказал:

— Прошу внимания!

Дым не разошелся, но говор стих. Я рассказал, что произошло, скрыв только, что они требовали, чтобы я "назначил" двоих. Но это разболтал слышавший разговор на крыльце. Я кончил и прибавил:

— Полагаю, что это не отменяет нашего решения не идти на выборы.

Но мое заявление не имело резонанса. И кто-то сказал:

— А я думаю, что отменяет. Надо идти на выборы, но голосовать за четырех наших кандидатов. Если хлеборобы одумаются, то они выберут четырех. Заупрямятся — выберут трех. В конце концов лучше получить трех, чем ни одного!

Это мнение восторжествовало.

— Если так, — сказал кто-то, — то нам надо немедленно выбрать, кого мы желаем послать в Думу. Записками мы выберем сейчас четырех, и они будут завтра баллотироваться.

Так и сделали.

* * *

Наутро в зале было выстроено четырнадцать ящиков с фамилиями кандидатов. Хлеборобы чинно подходили и клали шары. Думали, что они запутаются. Нет! Они положили белые батюшке, отцу Дамиану Герштанскому, чеху Ивану Федоровичу Дрбоглаву, восьми крестьянам, в том числе Михаилу Федосеевичу Гаркавому, и трем помещикам: Георгию Ермолаевичу Рейну, Григорию Николаевичу Беляеву и мне. Четвертого помещика закидали черными.

Поляки и евреи, насколько помню, своих кандидатов не выставляли, но всем нашим положили черные.

* * *

И кончилось. Крышка гроба захлопнулась. Я был заживо погребен навсегда. Там я лежал — политик, политику ненавидящий.

* * *

В соборе архиепископ Антоний отслужил торжественный молебен. Райские звуки струил хор, но мне молебен казался панихидой. 6 февраля 1907 года я похоронил свою свободу.

Дума

День 20 февраля 1907 года был сумрачный, из тех, которые хорошо описывал Достоевский. Блистательный Санкт-Петербург предстал передо мною на этот раз в се-

реньком виде. Я трусил на "ваньке" по Шпалерной, по которой шпалерами стояли люди. Впрочем, эти люди не имели казенного вида. Наоборот, это была толпа скорее интеллигентская. Она густо окаймляла тротуары улицы и в противоположность хмурому небу была оживленной.

Впереди и сзади меня тянулись такие же "ваньки" с такими же, как я, депутатами. Ничего торжественного. Однако знакомых петербуржцам депутатов приветствовали возгласами и рукомаханием. Меня, естественно, никто не приветствовал. Сугубого провинциала, кто мог меня тут знать? Полиция стояла кое-где, бесстрастная. Никто на нее не обращал внимания.

И вот Таврический дворец. Растянутое "покоем" здание с колоннами посредине и шапкой купола над ним. Несколько ступенек, и величественный швейцар стал снимать с меня пальто.

Я потом узнал, что этот швейцар был солдат в отставке, с которого скульптор Паоло Трубецкой лепил памятник Александру III. Швейцар был примерно на голову выше меня и могучего телосложения.

Затем я попал в водоворот депутатов в так называемом Круглом зале, увидел величественные колонны Екатерининского зала и наконец вошел в святая святых — зал заседаний пленума Государственной думы. Он напомнил мне университетскую аудиторию, только в грандиозном масштабе. Над амфитеатром с трех сторон белоколонные хоры. С четвертой — кафедра ораторов и над нею кафедра председателя из тяжелого резного дуба, за которой находился портрет императора, во весь рост, работы И.Е.Репина. Все это импонировало. Сказать по правде, таких залов я еще не видел.

Что касается членов Государственной думы, то, кроме тех, с которыми я успел познакомиться в предшествующие дни, я никого не знал.

После молебна началось заседание. Я занял место справа в группе депутатов, которая уже сорганизовалась под именем: "правые и умеренные". Разница между теми и другими была в том, что правые проявляли темперамент и прямолинейность, умеренные же, естественно, были умереннее в выражениях.

Левее нас были так называемые "октябристы", то есть люди, вполне воспринявшие манифест 17 октября 1905 года, так называемую "конституцию". Впрочем, это слово не признавалось ни правыми, ни кадетами. Правы-

ми — потому, что они дорожили самодержавием государя, а кадетами — потому, что под конституцией они подразумевали парламентаризм английского типа, то есть правительство, избираемое парламентом. Более же левые, социалисты разных оттенков, не признавали ни самодержавия, ни конституции. Они хотели революции.

После суеты и сутолоки наступила тишина. На кафедру председателя взошел в золотошитом мундире с голубой лентой через плечо действительный тайный советник И.Я.Голубев. Ему было повелено особым указом императора открыть Государственную думу второго созыва.

Первый созыв был распущен до срока манифестом царя от 9 июля 1906 года, объявлявшим, что, поскольку "выборные от населения, вместо работы строительства законодательного, уклонились в не принадлежащую им область", Государственная дума закрывается. Первая Государственная дума просуществовала с 27 апреля по 8 июля 1906 года, то есть 73 дня.

Что ожидало вторую Государственную думу? Никто не мог сказать этого тогда, но предчувствия были плохие. Большинство уже определилось: кадеты, в то время очень яростные, и социалисты. В числе их было 37 человек эсеров, по существу, бомбометателей.

Какое же общее впечатление производил этот вторично собравшийся русский парламент?

Мне известна такая общая характеристика второй Думы, сделанная самим ее председателем Ф.А.Головиным, конечно, далекая от беспристрастности, но любопытная.

"Левое крыло Думы, — говорил он, — невольно поражало зрителя множеством молодых для ответственного дела народного представительства лиц и при этом неинтеллигентных. На фоне этой некультурной левой молодежи редкими пятнами выделялись серьезные умные лица некоторых образованных народных социалистов, эсеров, двух-трех трудовиков и стольких же социал-демократов. Но, повторяю, общая масса левых отличалась тупым самомнением опьяневшей от недавнего неожиданного успеха необразованной и озлобленной молодежи. Все же вера в непогрешимость проповедуемых ими идей и несомненная бескорыстность и готовность к самопожертвованию ради торжества их принципов возбуждали симпатию к ним объективного и беспристрастного наблюдателя.

Не такое чувство возникало при взгляде на правое крыло Думы. Здесь прежде всего бросались в глаза лукавые физиономии епископов и священников, злобные лица крайних реакционеров из крупных землевладельцев-дворян, бывших земских начальников и иных чиновников, мечтавших о губернаторстве или вице-губернаторстве. Они ненавидели Думу, грозившую их материальному благосостоянию и их привилегированному положению в обществе, и с первых же дней старались уронить ее достоинство, добиться ее роспуска, мешали ее работе и не скрывали даже своей радости при ее неудачах.

На это крыло, шумевшее, гоготавшее, кривлявшееся, было противно смотреть, как на уродливое явление: народные представители, не признающие и глумящиеся над народным представительством!

Сжатый этими двумя буйными и сильными крыльями, имеющий большинство в Думе лишь от присоединения к центру то левого, то правого крыла, сам по себе бессильный центр, стремящийся к законодательной работе на строго конституционных основах с товарищами налево, желающими использовать думскую трибуну лишь для пропаганды своих крайних учений, с господами направо, провоцирующими Думу на путь пустых деклараций и скандалов, этот центр вызывал в зрителе и сожаление и уважение перед его стойкостью, выдержанностью и политическою воспитанностью".

Как понимал Головин эту "политическую воспитанность", мы сейчас увидим.

Депутаты заняли свои места где кто хотел. Определенных мест еще не было. И Голубев, стоя на кафедре, сказал:

— Господа! Государственный секретарь прочтет именной высочайший указ от 14 текущего февраля.

После чего государственный секретарь прочел:

"Именной высочайший указ, данный Правительствующему Сенату 1907 года февраля 14 дня.

Во исполнение воли нашей о времени созыва избранной Государственной думы, всемилостивейше повелеваем действительному тайному советнику Голубеву открыть заседание Государственной думы 20 сего февраля".

Затем Голубев сказал:

— Государь император повелел мне приветствовать от высочайшего имени членов Государственной думы и

пожелать им с божией помощью начать труды для блага дорогой России.

Портрет императора, висевший над кафедрой, где стоял Голубев, как бы подтверждал это приветствие.

После этих слов произошло нечто неожиданное для всех, кроме ста человек, участвовавших в заговоре. Крупенский, депутат от Бессарабии, встал и громким голосом закричал:

"Да здравствует государь император! Ура!"

Вместе с Крупенским встало примерно сто человек, то есть правые, умеренные националисты и октябристы, и поддержали Крупенского криками "ура". Остальные депутаты, примерно четыреста человек, остались сидеть, желая этим выразить неуважение к короне. Но из этих четырехсот вскочил один. Он был высокий, рыжий, еще не старый, но согбенный, с большой бородой. Он встал, но на него зашикали соседи: "Садитесь, садитесь!" Рыжий человек сел, но вскочил опять, очевидно, возмутившись. И опять сел, и опять встал. Как потом оказалось, это был профессор университета, впоследствии академик Петр Бернгардович Струве.

История его примечательна. Как убежденный сторонник марксизма, он был автором манифеста I съезда партии социал-демократов в 1898 году и участником Лондонского конгресса II Интернационала. Виднейший представитель "легального марксизма", он перешел в 1900 году к либералам. Почему?

Струве был честнейшим человеком, и его отход от Маркса может быть объяснен только умственным и душевным перерождением. В то время он уже был в числе руководителей партии кадетов. Как человек широко образованный, он, конечно, знал, что на приветствие монарха конституционалисты встают и отвечают приветствием же. Но кадеты 1907 года находились в яростной оппозиции и потому своим поведением в день открытия Государственной думы скомпрометировали свою конституционность.

Их лидер, член ЦК партии, председатель второй Думы Ф.А.Головин в своем лукаво-откровенном описании этой сцены говорит:

"Мы, кадеты, сидели без предварительного сговора... Что касается меня лично, то я не видел необходимости вставать, так как Голубев передавал не подлинные слова государя, а сам приветствовал членов Думы, хотя и от высочайшего имени. В то же время я хорошо знал, что

социалисты, конечно, не встанут и тогда особенно резко будет подчеркнуто их отношение к монаршему приветствию. Я считал, что не следовало отделять себя от левых партий без особой нужды... Нельзя же было требовать, чтобы социалисты, в программе которых борьба с монархизмом, участвовали в демонстрациях монархических чувств".

Так Головин продемонстрировал свою "политическую воспитанность".

В этот день определилось, что настоящими конституционалистами были только октябристы, бывшие менее образованными, но более чуткими.

"...Конечно, ты уже знаешь, — писал государь 1 марта 1907 года своей матери, Марии Федоровне, в Лондон, — как открылась Дума и какую колоссальную глупость и неприличие сделала вся левая, не встав, когда кричали "ура" правые!.."

Но как же случилось, что сто человек, приветствовавших монарха, сговорились и свой замысел удержали в тайне? Не могу припомнить, кто был инициатором этого дела. Надо думать, что это был Павел Николаевич Крупенский. Трудно указать более подвижного и темпераментного человека. По своему давнишнему происхождению Крупенские были турки. Бессарабия примерно сто лет тому назад была присоединена к России. За это время род Крупенских, весьма многочисленный, не только обрусел, но и выказал себя ярым приверженцем нового отечества. Этот факт весьма интересен и даже знаменателен. Окраины, населенные так называемыми "инородцами", иногда больше ценили Россию, нежели природные русские. В частности, Бессарабия послала во вторую Государственную думу П.Н.Крупенского, В.М.Пуришкевича, П.А.Крушевана, П.В.Синадино и других убежденных сторонников монархии и величия России.

Но я помню многолюдное собрание в доме, кажется, Якунчикова. Наивный провинциал, я был поражен красотой этой квартиры, в особенности штофными обоями, которых я до той поры не видел. Собрание было кем-то созвано для того, чтобы найти кандидата в председатели в противовес Головину, которого выдвигали кадеты и за которого, кроме нас, готовы были голосовать все остальные. Словом, в доме Якунчикова собралась оппозиция Государственной думы второго созыва. Очень легко и быстро мы объединились вокруг Николая Алексеевича Хомякова. Его многие знали и ценили. Он был предста-

вителем Смоленской губернии. Сын известного славянофила, писателя и поэта, крестник Гоголя, Николай Алексеевич олицетворял собою традицию обаятельного русского барства. В нем было достоинство, полное отсутствие подхалимства в отношениях с высшими и ласковость с низшими. Он имел навыки председательствования как земский работник. Что он, как и другие видные славянофилы, происходил от татар, — значения не имело. Он очаровательно слегка картавил, и это передалось и его детям. Кажется, единогласно он был выбран в Государственную думу как наш представитель. И под его председательством и решился вопрос, что на ожидаемое приветствие государя необходимо ответить приветствием же. Это решение имело свои последствия.

А левая печать, в том числе и кадетская, сорвала свою злость на почтенном Струве. Передав сцену, происшедшую в Государственной думе, когда Петр Бернгардович то вставал, то садился, борзописцы прозвали его "ванька-встанька".

Между тем избрание председателем Думы Ф.А.Головина было предопределено. Окончательно это было решено накануне, 19 февраля 1907 года, на квартире одного из основателей и видных деятелей кадетской партии князя П.Д.Долгорукова. Здесь в этот день собралось около двухсот пятидесяти членов думской фракции кадетов с целью наметить кандидатов в президиум второй Думы. Когда на заседание явился Головин, встреченный дружными аплодисментами, ему сообщили, что единогласное постановление фракции ввести его в председатели Думы уже состоялось.

Социал-демократическая фракция на предварительном совещании 18 февраля двадцатью пятью голосами против тринадцати решила явиться на квартиру князя с информационной целью. Ее представители, среди которых преобладали меньшевики, заявили, что будут голосовать за Головина. За его кандидатуру высказались также депутаты фракции трудовиков и эсеров, польского коло и национальных групп: литовской и мусульманской.

Таким образом, избрание не только Головина, но и его товарища по управе М.В.Челнокова в секретари Думы было обеспечено заранее.

Поэтому никого не удивило, когда председателем Государственной думы был избран получивший 356 белых избирательных шаров против 104 черных Федор Александрович Головин, а Николай Алексеевич Хомя-

ков, получивший 91 голос записками, как кандидат, от баллотировки шарами отказался. Так закончился первый день заседания.

* * *

"...Головин — председатель, — писал царь в упомянутом выше письме к Марии Федоровне, — представился мне на другой день открытия. Общее впечатление мое, что он полное ничтожество!"

Я говорил, что предчувствия о будущем второй Думы были у нас плохие. Но тогда мы не могли знать, что предчувствия эти были вполне обоснованы, что дни второй Думы были по воле монарха уже сочтены.

Вот что писал Николай II Марии Федоровне 29 марта 1907 года: "...Все было бы хорошо, если бы то, что творится в Думе, оставалось в ее стенах. Дело в том, что всякое слово, сказанное там, появляется на другой день во всех газетах, которые народ с жадностью читает. Во многих местах уже настроение делается менее спокойным, опять заговорили о земле и ждут, что скажет Дума по этому вопросу... Нужно дать ей договориться до глупости или до гадости и тогда — хлопнуть..."

Во втором и третьем заседаниях происходили выборы президиума и секретарей. А четвертое заседание 2 марта 1907 года началось с обычных официальных слов председателя:

"Объявляю заседание открытым. Журнал прошлого заседания находится у секретаря Думы..."

Человек, который прочел бы только стенографический отчет заседания, куда занесены эти слова Ф.А.Головина, не имел бы никакого понятия о том, что произошло между третьим и четвертым заседаниями.

Впрочем, это не единственный случай, когда официальные отчеты, будучи совершенно точными, совершенно не отражают действительной жизни. Какой-нибудь Шерлок Холмс, однако, задумался бы над нижеследующим.

Стенографический отчет о четвертом заседании начинается со слов:

"Заседание открыто в Круглом зале Таврического дворца в 11 часов 35 минут".

Почему в Круглом зале, когда общие заседания Государственной думы происходили всегда в другом

зале, специально для этого предназначенном? Вот почему.

Величественный зал, напоминавший грандиозную аудиторию, нечто вроде римских амфитеатров, уже не существовал. Все места, предназначенные для народных представителей, были засыпаны обломками штукатурки и белой известковой пылью. Обломки лепных украшений потолка достигали крупных размеров. Некоторые из них весили от одного до трех пудов.

Члены Государственной думы Пуришкевич, Крушеван, митрополит Платон, Крупенский, я и другие были бы убиты, если б несчастье произошло во время заседания. Особенно пострадала правая сторона. Но пылью был засыпан весь амфитеатр.

Что же произошло? Произошло то, что рухнул потолок над правой стороной зала. Левая удержалась. И потому удержавшийся потолок повис в воздухе над амфитеатром в косом положении. Угрожающе трепетали балки, доски, деревянная сетка, употребляемая под штукатурку.

В стенографическом отчете, конечно, это не описано.

Телефонный звонок в номере "Европейской" гостиницы разбудил в 7 часов утра этого дня только что избранного председателя Думы Ф.А.Головина. Заведующий охраной Таврического дворца барон Остен-Сакен известил его о происшедшей катастрофе. Пока Головин одевался, чтобы ехать в Таврический дворец, его вызвал к телефону председатель Совета министров П.А.Столыпин, сообщивший, что он уже в Думе и ожидает скорейшего приезда председателя, чтобы выяснить, где можно провести заседание, назначенное на 11 часов утра.

Головин нашел Столыпина в министерском павильоне Таврического дворца. Вместе с ним, а также с некоторыми членами бюро Думы, секретарем М.В.Челноковым и перепуганным заведующим зданием архитектором Бруни он отправился в пострадавший зал заседаний.

"Картина была потрясающая, — рассказывает Головин. — Вся штукатурка, толстая и тяжелая, рухнула с высоты 18 аршин, поломав и исковеркав по дороге люстры. Она легла двумя громадными пластами на левую и правую стороны полукружья с пюпитрами членов Думы. Если бы эта катастрофа случилась несколькими часами позже, то убитых и изувеченных членов Думы была бы масса. Судя по тому, чьи пюпитры были разбиты, можно предположить, что уцелели бы те члены Думы, которые

сидели в центре, а более всего пострадали бы депутаты, занимавшие места на флангах".

Головин предвидел, что эта катастрофа, при враждебном отношении значительной части членов Думы к правительству, вызовет столь "повышенное настроение", что было бы в высшей степени неблагоразумно при таких условиях выслушивать декларацию правительства. Однако Столыпин не понимал или не хотел понять настроение членов Думы.

Вся Россия и Европа ждали декларации правительства и откладывать этот важный акт из-за какой-то обвалившейся штукатурки значило, по мнению Столыпина, придавать серьезное значение ничего не значащей печальной случайности.

Когда Головин со Столыпиным после осмотра зала, где рухнула штукатурка, вышли в кулуары, вокруг них образовалось кольцо из депутатов, достаточно ясно выражавших чувство негодования по случаю происшедшего. Горячие головы видели в обвале покушение на жизнь народных представителей, более уравновешенные — преступную небрежность.

Увидев такое настроение членов Думы, Столыпин поспешил уйти, еще раз, однако, настойчиво прося председателя непременно устроить заседание в Круглом зале и заслушать правительственную декларацию.

Заседание в Круглом зале состоялось, но Столыпину не удалось на нем выступить. Оно продолжалось всего 40 минут и ограничилось лишь рассмотрением вопроса о подыскании помещения для заседаний Думы и о принятии мер к выяснению причины катастрофы. Столы и стулья были собраны со всего дворца и поставлены в Круглом зале. На стульях сидели депутаты, пришедшие раньше. Опоздавшие стояли. Была и кафедра для ораторов. Это был обыкновенный стул. С этого стула я сказал свою первую речь в Государственной думе. Речь малозначительную, но ей предшествовали выступления более красочные.

Григорий Алексеевич Алексинский, в ту пору депутат от петербургских рабочих, принадлежащий к большевистскому крылу социал-демократической фракции, произвел известное впечатление. Он был маленький, почти горбатый, с умными глазами и насмешливым выражением лица. В нем светилась нескрываемая радость по поводу происшедшего.

Стоявший около меня М.М.Никончук, крестьянин от

Волынской губернии из села Кожуховки Овручского уезда, "хлебопашец с домашним образованием", увидев Алексинского, прошептал:

— Откуда оно такое взялося?

А "такое" заговорило высоким, пронзительным голоском, однообразно тыкая огрызком карандаша, как будто "оно" хотело вписать слова в мозги слушателей:

— Граждане депутаты!

Это обращение было введено Алексинским для того, чтобы не говорить: "Господа члены Государственной думы!"

— Я нисколько не удивился известию о том, что обвалился потолок над теми местами, где должны были заседать народные представители... Я уверен, что потолки крепче в министерствах, в департаменте полиции и в других учреждениях (шум, аплодисменты).

Этим Алексинский слишком прозрачно намекал на то, что провал потолка устроен нарочно правительством для убиения народных представителей. Но если бы это было так, то обвал потолка произведен был очень неудачно. Были бы убиты как раз защитники правительства, а враги его остались бы целыми и невредимыми. Поэтому прав был Крупенский, который, взобравшись на стул, стал говорить о недопустимости грязных намеков. Крупенского ошикали слева, но заглушить его не могли. Он рокотал басом с такой быстротой, что стенографистки с величайшим трудом за ним поспевали.

Между другими взгромоздился на кафедру, то есть на стул, и я. Это напомнило мне студенческие годы. Но, в общем, я сказал бледную речь в следующих выражениях:

— Мне кажется, господа, мы здесь не суд присяжных, не суд какой бы то ни было другой, даже не суд студенческий. Поэтому я предлагал бы оставить всякие суждения о совершившемся факте. Несомненно, виновные найдутся, и эти виновные будут наказаны в законном порядке. В настоящее время, так как мы находимся в таких условиях, что не можем исполнять нашу законодательную работу, я думаю, было бы самое благоразумное с нашей стороны разойтись теперь до той минуты, когда мы найдем более подходящие условия для нашей работы.

Жалкие слова и мои, и всех остальных, и даже проницательное выступление Алексинского, Алексинского в особенности, хотя Головин и считал его одним из лучших ораторов среди депутатов:

"Вся Дума насторожилась, когда неприятным, визгливым голосом этот маленький, бледный человечек с резкими движениями своих длинных рук начал свою речь обычными для него словами:

"Граждане депутаты!"

Этот человек с умными глазами и насмешливым ртом не предвидел своей судьбы.

Страстный революционер, несколько раз сидевший в тюрьме, участник Лондонского съезда РСДРП, знавший В.И.Ленина, который написал ему даже проект его выступления на 22-м заседании Думы 5 апреля 1907 года по аграрному вопросу, Алексинский избежал ареста при разгроме социал-демократической фракции лишь потому, что был в это время за границей. Там в 1909 году он принимал участие в партийной школе, организованной группой "Вперед" на острове Капри.

Уже тогда начался его отход от большевиков. Сблизившись с А.А.Богдановым, он вместе с ним настаивал на бойкоте Государственной думы.

С начала первой мировой войны Алексинский окончательно порывает с недавним прошлым. Он входит в группу крайне правых меньшевиков-оборонцев, редактируя их орган — газету "Единство", ратовавшую за продолжение войны до победного конца. Тогда он, по-видимому, перестал обличать царскую власть, тыкая в воздух карандашом.

* * *

В 1921 году по тихим улицам Стамбула гуляли двое: размышляющая барышня и не совсем обыкновенный поручик. Последний больно переживал крушение фронта в 1917 году. Он говорил:

— А были все-таки люди. На фронте не хотел сражаться. Там шли беспрерывные митинги. Артиллерия разложилась меньше, чем пехота. Вдруг нам, молодым офицерам, приказали собрать наших солдат и идти выручать одного человека, который говорил на буйном митинге в расположении пехотного полка.

Мы пошли. Он говорил, стоя на автомобиле. Это был маленький, тщедушный человечек, как будто бы даже горбатый. Он кричал пронзительным голосом: "Граждане, товарищи! Что вы делаете! Позор! Вы трусы, изменники! Вы губите все, все, что сделали ваши товарищи, погибшие за Россию. Вы губите свободу! Да, свобо-

ду, потому что немцы своими сапожищами раздавят нашу свободу. Опомнитесь!!"

А мы, услышав эти слова, стали кругом машины, заслоняя ее собой на случай, если разъяренная толпа бросится убивать его. Да, такого храброго человека я не видел до той поры.

— Кто же он был? — спросила барышня.

Поручик ответил:

— Григорий Алексинский, бывший член Государственной думы.

* * *

А остальные? Все мы ничего не понимали, что-то лепетали, над чем-то копошились... А рок уже распластал над всеми нами свои зловещие крылья. Этот маленький обвал потолка был ведь только предзнаменованием величайшего крушения. Царская корона упала на Государственную думу, пробила купол Таврического дворца, похоронила народное представительство, а заодно и тысячелетнюю империю. Все это случилось в то роковое второе марта 1917 года, ровно через десять лет после памятного заседания в Круглом зале второго марта 1907 года, последовавшего за крушением потолка.

* * *

Почему провалился потолок, я до сих пор не знаю. Ни думская комиссия, ни судебные власти виновников не нашли. Головин считал, что причина обвала — гвозди, которыми прикреплялась основа штукатурки еще во времена Екатерины II, а также электрический мотор, поставленный на чердаке дворца для его освещения. Своими постоянными мелкими толчками мотор их раскачал, в конце концов, эти злосчастные гвозди.

* * *

Шестое марта, согласно принятому на парламентском жаргоне выражению, было "большим днем". В Государственной думе выступал председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин.

Этот человек уже раньше и по сравнительно незначительному случаю обратил на себя внимание. Будучи с 1903 года саратовским губернатором, он выказал отвагу

и находчивость в подавлении так называемого "саратовского бунта".

Получив известие, что на площади города собралась огромная толпа, он сейчас же, не дожидаясь эскорта, поехал на место происшествия. Подъехав к толпе, он вышел из экипажа и прямо пошел к разъяренному народу. Когда поняли, что приехал губернатор, к нему бросились люди с криками и угрозами, а один дюжий парень пошел на него с дубиной. И Россия никогда бы не узнала, что такое Столыпин, если бы губернатор, заметив опасность, не пошел прямо навстречу парню. Когда они встретились вплотную, Столыпин скинул с плеч николаевскую шинель и бросил ее парню с приказанием:

— Подержи!

Буян опешил и послушно подхватил шинель, уронив дубину. А губернатор с такой же решительностью обратился к толпе с увещеваниями и приказанием разойтись. И все разошлись.

Есть люди, таящие в себе еще мало изученную силу повелевать. Быть может, это гипноз своего рода, быть может, что-либо другое, но это не единственный случай.

Нечто совсем похожее произошло с императором Николаем I. Как рассказывали, во время чумного бунта в Москве он поскакал к толпе и, осадив коня, крикнул:

— На колени!

И стали на колени.

Эти случаи сами по себе не обозначают ничего больше, как только властность, присущую некоторым людям. Но когда по велению судьбы некто из породы таких людей становится властителем, наличие такого совпадения обычно обеспечивает толковое управление.

Я хочу сказать, что бывший саратовский губернатор, став в июле 1906 года во главе правительства Российской империи, должен был показать себя именно с этой стороны, и он сделал это 6 марта 1907 года в зале Дворянского собрания.

Произошло это так.

Ф.А.Головин, председатель Государственной думы, сказал с оттенком некоторой торжественности в голосе:

— Слово принадлежит председателю Совета министров.

Столыпин взошел на кафедру. Он был высок ростом, на полголовы выше меня, и было нечто величественное в его осанке.

Несколько позже левые газеты, сравнивая Столыпина

с Борисом Годуновым, писали: ”Брюнет, лицом недурен и сел на царский трон”.

Столыпин действительно был брюнет, но про него нельзя было сказать, что он ”лицом недурен”. Был ли он красив? Пожалуй. Я бы сказал, что Столыпин был именно таков, каким должен быть премьер-министр: внушителен, одет безукоризненно, но без всякого щегольства. Голос его не был колокольным басом Родзянко, но говорил он достаточно громко, без напряжения. Особенность его манеры говорить состояла в следующем. Его речь плыла как-то поверх слушателей. Казалось, что она, проникая через стены, звучит где-то на большом просторе. Он говорил для России. Это подходило к человеку, который, если не ”сел на царский трон”, то при известных обстоятельствах был бы достоин его занять. Словом, в его манере и облике сквозил всероссийский диктатор.

Впрочем, на этот раз его речь была, собственно, не речь, а искусное чтение декларации правительства. Основная мысль этого документа состояла в следующем.

Есть периоды, когда государство живет более или менее мирною жизнью. И тогда внедрение новых законов, вызванных новыми потребностями, в толщу прежнего векового законодательства проходит довольно безболезненно.

Но есть периоды другого характера, когда в силу тех или иных причин общественная мысль приходит в брожение. В это время новые законы могут идти вразрез со старыми, и требуется большое напряжение, чтобы, стремительно двигаясь вперед, не превратить общественную жизнь в некий хаос, анархию. Именно такой период, по мнению Столыпина, переживался Россией.

Чтобы справиться с этой трудной задачей, правительству необходимо было одной рукой сдерживать анархические начала, грозящие смыть все исторические устои государства, другою — в спешном порядке строить леса, необходимые для возведения новых зданий, продиктованных назревшими нуждами.

Другими словами, Столыпин выдвинул как программу действий правительства борьбу с насилием революционным, с одной стороны, и борьбу с косностью — с другой. Отпор революции, покровительство эволюции — таков был его лозунг.

Не углубляясь на этот раз в комплекс мероприятий по

борьбе с революцией, то есть пока что не угрожая никому, Столыпин занялся изложением реформ, предлагаемых правительством в направлении эволюционном.

* * *

На эту спокойную речь левые ответили открытыми угрозами. Головин, сильно утомленный, как будто бы задремал в своем председательском кресле. Но он был разбужен из своего полусна криками справа. Особенно явственно кричал академик Г.Е.Рейн, депутат из Волыни, обращаясь к председателю:

— Да остановите же вы их! Недопустимо, чтобы они угрожали вооруженным восстанием.

Головин встал, привел в движение председательский звонок и сказал спокойно:

— Прошу вас не угрожать вооруженным восстанием.

Последовали еще речи слева. Особенно страстно декламировал И.Г.Церетели в том же угрожающем тоне. Наконец, Столыпин вторично потребовал слова. И сказал примерно так:

"Правительство предложило Думе целый ряд реформ. Реформы эти направлены прежде всего на то, чтобы повысить материальное благосостояние народа, и затем, чтобы дать ему относительную свободу, ибо достаток есть "кованая свобода". Но некоторым членам Думы угодно было ответить угрозами. На это я скажу в полном сознании своей ответственности:

— Не запугаете!"

Эти слова облетели всю Россию. Потерявшие почву под ногами, изверившиеся во власти люди ощутили, что Россия вновь обрела сильное правительство. Армия, чиновники, полиция и все граждане, не желавшие революции, приободрились и стали на свои места. Это сделали два слова:

"Не запугаете!"

* * *

Такова была моя первая встреча со Столыпиным, сыгравшим огромную роль в моей жизни. Со страстью, свойственной молодости, я отстаивал с кафедры Государственной думы его программу, потому что считал предначертанный им путь действий единственно правильным для спасения России и ее дальнейшего эволюционного развития. Несомненно, Столыпин был наибо-

лее выдающимся государственным деятелем Российской империи в последний ее период. Это признавали и враги его.

Вскоре я сблизился с Петром Аркадьевичем и кроме уважения стал питать к нему более теплые чувства.

* * *

Прошло четыре с половиной года после 6 марта. Столыпин продолжал вести государственный корабль так, как находил нужным. Его не могли запугать ни левые, ни правые. И потому они убили его. Это произошло 1 сентября 1911 года в Киеве.

Бомба

3 апреля 1907 года Дума обсуждала срочность запроса правительству о событиях, имевших место 31 марта в Риге, в тюрьме. Согласно сведениям, полученным автором запроса, восемьдесят заключенных сделали попытку бежать из тюрьмы. В стычке с тюремной охраной было убито семь человек, ранено семнадцать, из коих двое умерло. Пятьдесят шесть человек были преданы военно-полевому суду за попытку к бегству, им угрожала смертная казнь. К этому основному запросу, срочность которого можно было отстаивать, были присоединены обвинения властей в истязаниях заключенных в той же тюрьме, но имевших место давно, почему срочность в отношении этих деяний применять не следовало. На этой почве произошла перепалка между солидным юристом профессором кадетом, его превосходительством Владимиром Дмитриевичем Кузьминым-Караваевым и более левыми, которая не выяснила, а запутала, что же именно произошло в Риге. Левые с азартом нападали на правительство и твердили об ужасах и истязаниях, но самый текст запроса, в котором должно было быть рассказано, в чем именно эти ужасы и истязания состояли, так и не был оглашен. Равным образом не было установлено, был ли кто-либо из заключенных предан военно-полевому суду. На телеграмму, обращенную прибалтийскому генерал-губернатору барону А.Н.Меллер-Закомельскому, последний ответил, что никто не предан военно-полевому суду и спасать от него пока некого.

Но депутат от Риги, меньшевик Иван Петрович Озол, отметив, что в телеграмме генерал-губернатора стоит слово "пока", утверждал, что "дело разбирается и военно-полевой суд, который не заседает сегодня, может заседать в какой-нибудь ближайший день".

Если бы Озол знал то, что впоследствии узнал я, то он не занимался бы гаданием о будущем военно-полевом суде, а рассказал бы о том, что уже было. Что же я узнал, к сожалению, с некоторым запозданием?

В одном закрытом собрании вдруг, не попросив слова, вскочил с места офицер в черкеске с капитанскими погонами.

Истерическим голосом он сказал, вернее, прокричал:

— Меня выгонят со службы. А раньше я был нужен, и даже необходим. Кто в 1906 году спас Россию, подавив восстание в разных местах? Восстание кого? Людей? Нет, зверей. Я был на Кавказе. Что они там выделывали, нельзя рассказать. Туда посылали генерала Толмачева. Я был при нем. Укрощая зверей, конечно, мы сами озверели. Но что было делать? Толмачев пустил в ход все средства. Для революционеров у него было одно слово: смерть!

Однажды привели к нему в штаб четверых. Они сидели на полу в соседней комнате. Адъютант докладывает Толмачеву, что привели четверых. А он как закричит:

"Как это так привели? Ведь я же приказал раз и навсегда. Арестованные, которых ведут, всегда делают попытки к бегству. Поняли?!"

Я ответил: "Понял, ваше превосходительство!" Вышел в соседнюю комнату и застрелил четверых, сидевших там на полу. Что я, зверь? Зверь! Но такие звери спасли Россию, а теперь меня гонят со службы. Напрасно! Если опять будут зверские времена, мы пригодимся.

После этих слов он выбежал в соседнюю комнату... Там, по счастью, не было сидевших на полу.

Озол мог бы сказать:

— На Кавказе был генерал Толмачев, а в Риге генерал-губернатор барон Меллер-Закомельский. Разница между ними только в том, что у Толмачева бегут арестованные, а у Закомельского — заключенные.

* * *

Итак, слушая речи, обвинявшие власть в зверствах, я накалялся и наконец попросил слова. И сказал следующее:

"Господа, здесь говорились очень тяжелые, страшные вещи. Говорили о том, чтобы спасти от смерти и т.д. Я, господа, не буду долог и прошу вас только чистосердечно ответить на один вопрос. Кто здесь говорит о смерти, о жалости, о милосердии и т.п.? Я, господа, прошу вас ответить: можете ли вы мне откровенно и положа руку на сердце сказать: "А нет ли, господа, у кого-нибудь из вас бомбы в кармане?"

Поднялся трудно передаваемый шум. Стенограмма говорит:

"Крики: "Вон, вон отсюда!", стук пюпитрами, голоса: "Пошляк, вон отсюда!", "Господин председатель, удалите его отсюда!"

А председательствующий Н.Н.Познанский звонил как в набат, словно я зажег мировой пожар. Вместе с тем он кричал над моей головой укоризны в том смысле, что я оскорбил членов Государственной думы. Я не понимал тогда и не понимаю и теперь, в чем было оскорбление. Со мною случилось, как в сказке Андерсена "Новое платье короля". Мальчик вдруг закричал толпе взрослых лицемеров, восторгавшихся только что сшитым платьем короля: "А король-то голый!" Оскорбление было в блеснувшей, как молния, правде. Ведь я обращался к членам партии эсеров, открыто проповедовавшей террор. Внимая им, их товарищи по партии бросали бомбы.

Если бы члены Государственной думы, принадлежавшие к партии террористов, став депутатами, переменили свои убеждения, то они должны были бы об этом заявить. Но они не только этого не делали, а, наоборот, на наше предложение осудить террор отвечали отказом. И в такой форме, что депутат от Киева, магистр богословия и ректор Киевской духовной академии епископ Чигиринский Платон сказал им дрожащим голосом, воздевая руки к небу:

— Вы ведете себя так, как будто с этой кафедры благословляете ваших единомышленников на новые убийства.

Если так, если они не отреклись от террора, то разве я не должен был спросить их, как честных людей, нет ли у них бомбы в кармане? Они вполне могли швырнуть бомбу в любого из нас: в епископа Платона, Пуришкевича, Шульгина. Могли уничтожить все правительство со Столыпиным во главе. Им не удалось убить его на Аптекарском острове, устроив там взрыв год тому назад. Дом, где жил премьер, был разрушен, дочь его Наташа тяжело

ранена, сорок человек убито, но Петр Аркадьевич уцелел и теперь являлся в Государственную думу, говорил с кафедры, и были точно известны дни его выступлений. Чего же лучше? И особенно благоприятно было для убийц то, что охрана была бессильна против членов Думы. Ведь они были неприкосновенны и их нельзя было обыскать.

Чего же они так обиделись? Думаю, за то, что я их разгадал. Они не хотели совершать акты террора в Государственной думе потому, что им это было слишком невыгодно. Первая бомба, брошенная в Думе, похоронила бы это учреждение. Дума была бы распущена и больше не созвана. И они утратили бы кафедру, с которой можно было с великим успехом делать революцию.

* * *

Как бы там ни было, скандал вышел знатный, несчастные барышни стенографистки, единственные существа, не принимавшие участия во всем этом неприличии, все записали добросовестно. А кончилось это тем, что председательствующий, по наущению тридцати граждан депутатов, поставил на голосование Думы их предложение удалить провинившегося Шульгина из зала до конца заседания.

Но перед голосованием председательствующий дал слово подсудимому, согласно наказу, чтобы он объяснил свои поступки. В это время ко мне подошел один из октябристов и сказал:

— Мы хотим голосовать против вашего исключения, но надо не то чтобы извиниться, а сказать что-нибудь смягчающее.

И я его послушался по младости лет, — он был старше меня. Но почтение к старшим не всегда благотворно. Мне самому вовсе не хотелось смягчаться и потому мои объяснения были несуразны:

— Здесь выражение, мною употребленное, вызвало целую бурю. Я должен сказать, что по существу от своей мысли я не отказываюсь, но выражение действительно было неловкое в том смысле, что я не говорил о здесь присутствующих социал-революционерах, я говорил о всех членах этой партии и относительно их...

Тут поднялся шум, и голоса слева: "Неправда" — прервали меня.

— Так вот, я говорил не о присутствующих здесь членах. Может быть, я высказался так, но я не хотел сказать

этого, потому что действительно было бы странно подозревать их в этом смысле, но говорил вообще о партии, и что касается партии, то никакой представитель этой партии на мой вопрос ответить не может.

Октябристы голосовали за меня, но это было неважно. Важно было идти до конца напролом, а я этого не сделал.

* * *

Пока шла процедура голосования, я стоял около кафедры. Я все же был несколько смущен и потому не смотрел в зал, то есть на людей, меня выгонявших. Я рассматривал обручальное кольцо на пальце. Это было замечено в ложе печати, и в одной из газет я прочел: ”Во время голосования, подчеркивая свое презрение к представителям народа, Шульгин рассматривал свои холеные ногти”.

Пушкин сказал: ”Быть можно умным человеком и думать о красе ногтей”...

Но это ко мне не относится. Ногти у меня совсем не холеные, а обыкновенные. О чем... сожалею.

Думские страсти

<...> Кроме всего прочего, во второй Государственной думе я сделал своеобразную карьеру. Ее нельзя назвать ни политической, ни публицистической, хотя она связана и с политикой, и с газетами.

В Государственной думе была так называемая ”ложа печати”, находившаяся слева от кафедры ораторов. В этой ложе сидели корреспонденты всяческих газет — левых, правых, центральных. Они преимущественно были евреи, почему в насмешку эту ложу печати называли ”чертой оседлости”.

Это было зло, но не лишено остроумия. Надо же было как-нибудь отвечать на злостные клички, которыми ”черта оседлости” награждала ”народных избранников”. Впрочем, именно они, злоязычные словоблуды, обеспечили мне мою ”головокружительную” карьеру.

* * *

Когда в первый раз я, взобравшись на трибуну, обратил на себя неблагосклонное внимание ”черты оседлости”, меня описали примерно так:

— Выступает какой-то Шульгин. Испитое лицо хриплый голос, тусклые глазенки, плохо сшитый сюртук. Он напоминает приказную строку старого строя.

Прочтя эти строки, мой отчим сказал, улыбнувшись:

— Ты не пьешь, откуда же испитое лицо? Голос не хриплый, но слабый. А вот плохо сшитый сюртук — это уже лишнее. Зачем оскорблять Вильчковского? Он лучший портной в Киеве.

И я был утешен. Но все же в данной мне характеристике было и нечто от истины. Не испит я был, а истомлен. Голос от природы у меня плох, но здесь он и еще подался. А что касается сюртука, то хотя Вильчковский был хороший портной, но я-то был провинциал и не умел носить его по-столичному.

Однако я быстро прогрессировал. Примерно через месяц, в течение которого меня называли то погромщиком, то психопатом и всякими другими лестными именами, "черта оседлости" писала: "Снова на кафедре Шульгин. Хитро поблескивая глазами херувима, эта очковая змея говорит отменные гадости Государственной думе".

Ясно, что от тусклых глазенок до глаз херувима и от приказной строки до очковой змеи — дистанция огромнейших размеров. А о сюртуке уже ничего не говорили.

Через три месяца ложа печати писала: "Говорит всем известный альфонсообразный Шульгин".

"Всем известный..."! Давно ли о нем ронялось презрительно "какой-то" Шульгин?!

Альфонсообразный, конечно, выражение оскорбительное. "Альфонс" — это мужчина, живущий на средства женщины, которая ему не жена. Тратить деньги богатой, но законной и любимой жены допускалось в лучшем обществе. Но мне не пришлось этой льготой воспользоваться. Моя жена, Катя, происходила из старинной дворянской семьи, давно обедневшей.

При таком положении вещей не стоило вызывать на дуэль кого-нибудь из ложи печати. Наоборот. "Альфонсообразный" — это прежде всего подчеркнуто элегантный мужчина. Ложа печати в этом случае дала мне великодушный реванш за "плохо сшитый сюртук".

* * *

После роспуска второй Государственной думы я надеялся, что с этим учреждением у меня навсегда покончено. Я ненавидел политику, а тяжелая страда в течение ста двух дней не смягчила мое отвращение к парламенту. Но

человек предполагает, бог располагает. В силу тысячи причин, которых излагать не буду, мне снова пришлось участвовать в выборах. Я говорю: "участвовать", а не говорю: "делать выборы".

На следующий день после роспуска второй Государственной думы был декретирован закон 3 июня 1907 года, изменивший избирательную систему. Выборы были спокойные и скучные. Тринадцать человек от Волынской губернии распределились так: пять крестьян-хлеборобов, три священника, три помещика, один врач и один учитель. Все — правые.

* * *

И вот я опять в Таврическом дворце, но психическая атмосфера в нем совершенно иная. Стенограмма лучше, чем какие-либо мои замечания, обрисует совершившуюся перемену:

"По совещании в Екатерининском зале Таврического дворца высокопреосвященным Антонием, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, в сослужении членов Государственной думы, преосвященного Евлогия, епископа Холмского и Люблянского, и преосвященного Митрофана, епископа Гомельского, молебствия и по троекратном, согласно требованию членов Государственной думы, исполнении народного гимна, вызвавшего единодушные возгласы "ура", заседание началось в 12 часов 11 минут пополудни по вступлении на председательское место действительного тайного советника статс-секретаря Ивана Яковлевича Голубева, назначенного по высочайшему указу для открытия заседаний Государственной думы.

Действительный тайный советник Голубев: "Господа члены Государственной думы собрались в установленном законом числе для действительности заседаний. Господин государственный секретарь огласит именной высочайший указ, данный 28 октября нынешнего года".

Государственный секретарь (читает): "Именной высочайший указ, данный Правительствующему Сенату 28 октября 1907 года. Во исполнение воли нашей о времени созыва вновь избранной Государственной думы, всемилостивейше повелеваем действительному тайному советнику Голубеву открыть заседания Государственной думы 1 наступающего ноября".

На подлинном собственною его императорского величества рукою начертано: "Николай".

Действительный тайный советник Голубев: "Государь император (все члены Государственной думы встают), удостоив меня высокого поручения, повелел мне при открытии заседаний Государственной думы третьего созыва передать от монаршего имени, что его императорское величество всемилостивейше приветствует избранных ныне членов Государственной думы".

П.Н.Крупенский (с места): "Да здравствует государь император! Ура!"

Члены Государственной думы: "Да здравствует государь император! Ура! Ура! Ура!"

Действительный тайный советник Голубев: "Государь император повелел мне при открытии заседаний Государственной думы третьего созыва передать от монаршего имени, что его императорское величество всемилостивейше приветствует избранных ныне членов Государственной думы и призывает благословение всевышнего на предстоящие труды Государственной думы для утверждения в дорогом отечестве порядка и спокойствия, для развития просвещения и благосостояния населения, для укрепления обновленного государственного строя и для упрочения величия нераздельного государства российского..."

Члены Думы вторично приветствуют государя императора. Голубев и государственный секретарь барон Юлий Александрович Икскуль фон Гильденбандт оглашают соответствующие статьи законов, после чего члены Думы стоя выслушивают следующий текст торжественного обещания:

"Мы, нижепоименованные, обещаем пред всемогущим богом исполнять возложенные на нас обязанности членов Государственной думы по крайнему нашему разумению и силам, храня верность его императорскому величеству государю императору и самодержцу всероссийскому и памятуя лишь о благе и пользе России, в удостоверение чего своеручно подписуемся".

Затем происходит процедура подписания листов торжественного обещания. Голубев предупреждает, что только подписавшие обещание могут принять участие в избрании председателя Государственной думы.

Избрание происходит в таком порядке. Сначала записками намечается кандидат в председатели, после чего производится баллотировка.

Николай Алексеевич Хомяков получил 371 избирательный шар и 9 неизбирательных. Во время подачи записок всего одну записку получил Федор Александрович Головин, бывший председатель второй Государственной думы. Эта единственная записка, конечно, была подана каким-нибудь особым недоброжелателем, так сказать, для конфуза. Но она же свидетельствует об огромной перемене настроений в Таврическом дворце. Во второй Государственной думе Ф.А.Головин был избран в председатели большинством в 356 голосов против 102.

Так была открыта третья Дума, которой суждено было просуществовать до 9 июня 1912 года, то есть весь положенный пятилетний срок. Николай Алексеевич Хомяков занимал пост председателя Думы лишь до 6 марта 1910 года, когда на третьей сессии его сменил А.И.Гучков.

* * *

Президиум Государственной думы состоял из председателя, двух товарищей его, секретаря Государственной думы и пяти товарищей секретаря. Все эти лица избирались.

При избрании президиума хотели соблюсти некоторые конвенансы, то есть распределить места в президиуме между фракциями. Октябристы получили председателя и одного товарища председателя. Другого предоставили нам, то есть фракции "правые и умеренные". Она просуществовала недолго. Умеренные не выдержали грубости неумеренных, отделились и основали 25 октября 1909 года новую фракцию "русские националисты" числом около ста человек.

Я остался с правыми, хотя чувствовал себя умеренным. Мне казалось, что мое место именно у правых. Кому же, как не нам, то есть умеренным, смягчать неистовство неумеренных? Однако через некоторое время я тоже бежал в стан "русских националистов", более для меня подходящих. 31 января 1910 года возникла единая партия "Всероссийский национальный союз", избравшая своим председателем П.Н.Балашева. Но и там я не удержался навсегда. Уже в четвертой Государственной думе в начале 1915 года при моем участии образовалась фракция "прогрессивные русские националисты". Еще позже, это было уже в эмиграции, я увидел изнанку всякого национализма. Мир вошел в полосу, когда национализм перестал быть силой конструктивной. Между другими учи-

телями особенно вышколил меня в этом отношении Адольф Гитлер.

* * *

Итак, нам дали одного товарища председателя. Но надо было нам, внутри своей фракции, его найти. Инициативная группа, состоявшая из Крупенского, Потоцкого и меня, быстро сошлась на князе Волконском Владимире Михайловиче. Но мы наткнулись на решительный с его стороны отказ.

Это было вечером, после ужина, в столовой Государственной думы. Крупенский, не потерявший надежды уломать Волконского, пригласил его, Александра Александровича Потоцкого и меня ехать к нему, Крупенскому, пить черный кофе.

* * *

У Павла Николаевича была уютная квартира. В гостиной было много ковров и, кажется, валялась на полу шкура белого медведя. Кроме всего прочего, стоял мольберт с неоконченной картиной.

Я спросил:

— Ты художник?

— Я сапожник, но что же мне делать, сегодня Дума, завтра Дума, каждый день Дума, с ума сойдешь, детей у меня нет, напиваться не могу, что же мне делать? Выть?! Никогда в руках карандаша не держал. Вдруг купил краски, кисти, палитру, муштабель, мольберт. Вот смотри!

Все это он проговорил рокочущим басом, со скоростью, приводившей в отчаяние стенографисток в Государственной думе. Я посмотрел, куда он указал. На стене висела картина. Пейзаж. Я взглянул на мольберт. Недоконченная копия была превосходна. Он продолжал:

— У нас была дочь, умерла, с тех пор моя жена, ты ее увидишь, бедняжка, она...

В комнату вошла дама. Еще молодая. Смуглая, очень смуглая, черноглазая, черноволосая, румынка или турчанка, должно быть. В трауре. Томные глаза были красивы, но печальны безнадежной печалью матери, потерявшей ребенка...

Она улыбнулась нам, отчего глаза стали еще грустней, и прошла из двери в дверь, как тень.

Крупенский объяснил:

— Она не слышит и вообще она не в себе, а я хожу в Думу, Думу, Думу и рисую, рисую, рисую, чтобы не выть!

* * *

Кофе подавался много раз. Было пять часов утра. Потоцкий, исчерпав все доводы, дремал в кресле. Крупенский продолжал сверлить Волконского. Князь стоял на своем.

— Ну какой я председатель? Образование? Гвардейский офицер. В военных училищах Маркса не преподают.

— И слава богу!

— Но я не знаю и наших законов. Даже положение о Государственной думе и то прочел кое-как. Какой же я председатель?

— Председателю Думы нужно вот что: во-первых, голос, он у вас есть, во-вторых, чтобы он не спал, как Головин, внимание нужно, в-третьих, чтобы независимый был, не кланялся ни правительству, ни революции, и чтобы справедливый был...

— Справедливый?

— Справедливый: если левые скандалят — выбросить, правые — тоже вон!

— И вы думаете, что я это могу? Почему? Ведь вы меня не знаете.

— Знаю, видно птицу по полету!

Капля долбит камень. К шести утра Волконский сказал:

— Хорошо! Наказ этот проклятый я выучу. И тогда...

— Что?

— Вы за меня краснеть не будете.

И он сдержал слово. Он взялся за председательский звонок, как за привычный штурвал. Но откуда взялась эта привычка?

Я тогда думал, что весь смысл аристократии в наследственной способности к власти. Когда знать начинает заниматься не своим делом, когда "графья и князья" становятся писателями и поэтами, они теряют прирожденную властность, то есть становятся к власти неспособными. Им надо уходить с командных постов добровольно и заблаговременно. Если они этого не сделают, их столкнут выходцы из низов. Они будут править, пока тоже не выродятся. Столыпин не выродился. Этот аристократ не писал ни стихов, ни романов, он зани-

мался своим прямым делом, он властвовал. Но его убили.

Волконский для власти, в смысле правительственной власти, не был рожден, что выяснилось, когда он был назначен товарищем министра внутренних дел. Но у него сохранилось достаточно властности, чтобы держать Государственную думу в порядке.

Бывало, Дума разбушуется так, что никто с ней сладить не может. Тогда справа и слева начинали кричать:

"Волконского!"

Он выходил на трибуну, его встречали рукоплесканиями. Выбросив слева и справа несколько скандалистов, он добивался успокоения страстей. С каждым днем его ценили все больше. Однажды, когда начался какой-то очередной скандал, он исключил на одно заседание кого-то из левых. Потом Пуришкевича. Тот, собрав свои бумаги, весело пошел к дверям. Но на пороге остановился и с вызывающим видом сказал:

— Спокойной ночи!

И Волконский — немедленно:

— За неуместный возглас предлагаю исключить члена Государственной думы Пуришкевича на пять заседаний. Несогласных прошу встать. Принято!

Пуришкевич не успел закрыть дверь, как получил эту добавку.

* * *

Согласно решению нашей фракции Волконский баллотировался 5 ноября 1907 года. Баллотировке предшествовали долгие препирательства по порядку голосования. Наконец князь Владимир Михайлович Волконский был избран товарищем председателя большинством в 262 голоса против 140.

* * *

"Флот погубит Россию"* — это предсказание было произнесено за несколько лет до русско-японской войны, а значит, задолго до Цусимы: миг ясновидения, сверкнувший как молния! Но я понял это много-много позднее, когда роковое предсказание уже исполнилось. Однако автор его был человеком холодного ума. Свое предчувствие он облек в ткань логики. Он говорил: "Каким образом мы, держава, отсталая в смысле промышленности, каким образом думаем мы тягаться с теми, кто

так далеко идет впереди нас? Еще многие и многие годы нам не удастся построить ни одного боевого судна, которое могло бы идти вровень с кораблями Англии и других держав.

А потом, зачем нам эти огромные суда, предназначенные для океана? Ведь до Атлантического нам добраться в высшей степени трудно. Между нами и океаном лежат всякие там Скагерраки, Каттегаты, Большой Зунд, Малый Зунд, Большой Бельт, Малый Бельт, то есть узкие проливы, которые легко минировать даже в мирное время. Но если нам и удастся благополучно пройти их, то перед нами Ла-Манш, Па-де-Кале. Хорошо, если во время войны Англия будет хотя бы нейтральна по отношению к нам, а если нет, то и в этих проливах нашему грозному флоту не дадут пройти. Поэтому я предвижу великие бедствия, если мы будем продолжать настаивать на стройке морских гигантов".

Все это он произносил, ходя взад и вперед по столовой, где мы с ним вдвоем пили вечерний или, лучше сказать, ночной чай. А вся эта тирада была вызвана только телеграммой ПТА, то есть Петербургского телеграфного агентства.

Она сообщала, что правительство решило дать 90 миллионов рублей на постройку новых военных кораблей. Я был тогда еще очень молод и мало понимал в делах политики, особенно такой высокой политики, которая видела далеко вперед. Но все же, слушая то, что говорил мне Дмитрий Иванович, мой отчим, запомнил.

И вот все это свершилось. 27 января 1904 года разразилась война с Японией, и военные корабли второй Тихоокеанской эскадры под командованием вице-адмирала З.П.Рожественского были посланы вокруг света для того, чтобы нанести за много тысяч километров решительный удар по японскому флоту.

* * *

В то время как эти обреченные на гибель суда второй Тихоокеанской эскадры шли вокруг Азии, мне случилось быть в Петербурге. Я побывал там у одной дамы, Марии Всеволодовны Крестовской, которая дрожала за судьбу своего сына, мичмана Картавцева, находившегося, кажется, на "Авроре".

Он писал ей со стоянки у острова Цейлон дипломатической почтой, то есть секретной. Сведения, которые он

сообщал своей матери, если бы были разглашены, могли бы принести большой вред, но она все же прочла мне письмо. В нем были такие строки:

"Мама, приготовься ко всему. Команда, конечно, не знает правды. Ее от матросов тщательно скрывают. Но мы, офицеры, все знаем: мы идем на гибель!"

Тут следовали некоторые пояснения. Мне кажется, что говорилось о ракушках, которые облепили корпуса судов и тормозят ход. Затем Картавцев продолжал:

"Ход в бою очень важное условие. Мы придем в Японию, потеряв несколько узлов в скорости. Но этого мало. Наши орудия не так дальнобойны, как японские. Мы не будем добрасывать до их судов, они же будут в нас попадать".

Как известно, все это сбылось.

15 мая 1905 года у острова Цусима в Корейском проливе произошел полный разгром русского флота из-за грубых ошибок сдавшегося в плен японцам командующего эскадрой вице-адмирала З.П.Рожественского и главным образом из-за превосходства японских кораблей в дальности боя и скорости хода.

Картавцев, проплавав несколько часов, был выловлен японцами и таким образом спасен.

Но почему же все-таки роковое предсказание гласило: "Флот погубит Россию?" Потому, что Цусима — это было начало конца. Цусима роковым образом отразилась на престиже царя, ее никогда не могли забыть. По выражению В.И.Ленина, Цусима означала "полный военный крах самодержавия" и оказала сильнейшее влияние на развитие русской революции.

Великий князь Александр Михайлович, сам моряк, хорошо знавший морские дела, писал в своих мемуарах, изданных за границей, примерно нижеследующее:

— На его, то есть государя, месте я отрекся бы от престола в день Цусимы. Инициатива посылки эскадры под командой вице-адмирала Рожественского принадлежала царю. Обладая, вообще говоря, слабым характером, царь в данном случае проявил настойчивость.

Великий князь Александр Михайлович присутствовал на решающем заседании, после которого и был послан Рожественский. Все присутствующие, кроме вице-адмирала, высказались против плана обойти Азию и дать бой в японских водах. Только он, Рожественский, заявил, что поддерживает эту мысль. Поэтому ему и пришлось вести русские суда на бой, заранее проигранный.

Это писал великий князь, находясь в эмиграции, для опубликования. Но о роли государя в решении посылать Рожественского знал весь Петербург. Как это ни грустно мне сказать, но царя считали прямым виновником Цусимы. В решении отречься от престола, которое принял государь, запросив всех главнокомандующих фронтами, числом пять, быть может, главным стимулом послужило воспоминание о Цусиме.

Таким образом, пророчество: "Флот погубит Россию" оказалось подлинной вспышкой ясновидения, на одно мгновение сверкнувшей как молния.

* * *

В Думе по вопросу о морском флоте мне пришлось говорить 23 мая 1908 года на первой сессии третьего созыва, в связи с обсуждением доклада бюджетной комиссии по смете расходов морского министерства на 1908 год. Докладчик комиссии, земский деятель октябрист Александр Иванович Звегинцев, рассказал членам Думы о необходимости серьезных реформ в морском министерстве с целью искоренения зла, царившего там и приведшего Россию к Цусиме. После его доклада начались прения. От русской национальной фракции выступали князь И.В.Барятинский, П.Н.Крупенский и князь А.П.Урусов, от кадетов — А.Ф.Бабянский, от прогрессистов — Н.Н.Львов-первый и А.А.Федоров-первый. Все они, хотя и с разных позиций, критиковали морское министерство, предлагая различные меры к увеличению мощи и боеспособности русского флота.

Резким диссонансом в этом хоре речей прозвучало выступление депутата от Кубанской и Терской областей и от Черноморской губернии, врача, бывшего на театре военных действий в Маньчжурии, социал-демократа, примыкавшего к большевикам, Ивана Петровича Покровского. Он не требовал ассигнований для увеличения и улучшения флота, он говорил совсем о другом:

— Три года, истекшие после Цусимы, мы видели борьбу между старым порядком России и новой Россией... Думское большинство, монополизировавшее в свое ведение дела внешней государственной обороны, через свою комиссию представило в Государственную думу огромный доклад, который начинается и весь проникнут критикой морского ведомства и всего нашего военно-морского дела. Критика сама по себе хорошая вещь, но есть критика и критика: есть критика, которая,

разрушая старое, расчищает и указывает новые пути, а есть критика, которая, стараясь сохранить старое, признает мелкие недочеты в нем и указывает средства для устранения этих недочетов. К такой вот именно критике особенно склонны господствующие классы в моменты неустойчивости: перед всякой революцией господствующие классы готовы всегда поступиться формами для того, чтобы сохранить сущность старого порядка...

...Ведь у нас перед японской кампанией все с внешней стороны было хорошо, и мы восхищались, как известно, собою. Все блистало позолотой на русском великане. Но пришел пигмей-японец, ткнул железным кулаком, и все распалось в прах, потому что под золотом была глина. Так не к созданию ли такой мощи приглашает страну думское большинство?

...Но народ не захочет снова пережить позор, на который толкнули его силой помимо его воли. Позор цусимского и мукденского поражений, к которому привел нас старый порядок, порядок крепостнического насилия по отношению к русскому народу, порядок расточения народных денег на политические авантюры, этот позор пробудил русский народ от векового сна, поднял его к общему порыву, к строительству нового порядка, который один только может спасти Россию от гибели, государство от банкротства и народ от нищеты и разорения...

Но у богатыря русского народа, сиднем сидевшего целые столетия, слишком долго были связаны руки и ноги, у него хватило силы только на бурный порыв, но не хватило силы на долгую, упорную борьбу, а у старого порядка, рыхлого, отжившего свой век, к сожалению, была железная опора — это и были так называемые средства внешней обороны, которые он обратил внутрь страны, и юная Россия была задушена. (Шум справа). Старый порядок воскрес, старая ворона села на крышу и каркает над кровавым полем. (Шиканье справа. Рукоплескания слева. Звонок председателя.)

Пахнуло старым временем, прилетели старые птицы и запели старые песни: народ приглашают снова нести свои гроши и копейки в бездонный казенный мешок, приглашают ковать себе кандалы и строить миллиардный флот. (Голоса справа: "Довольно!")

...Думское большинство смеет приглашать страну затратить миллиарды на постройку флота для забавы пра-

вительства и по-детски лепечущей русской буржуазии. Нет, этого не будет!

Непосредственно после этого выступления Покровского подходила моя очередь говорить. Я помнил пророчество моего отчима, и мне хотелось поскорее изложить свои соображения о реформе нашего флота. Поэтому я не стал полемизировать с Покровским, но все же должен был ответить ему, хотя бы несколькими словами:

— Господа члены Государственной думы, — сказал я, — прежде чем приступить к моей речи, я должен сказать несколько слов депутату Покровскому.

Я, в сущности, не понимаю, почему депутат Покровский так ополчился на морское ведомство. Когда вооруженный пролетариат поведет свои полчища, ему придется иметь дело с сухопутной армией, поэтому морского ведомства, казалось бы, не так-то и нужно касаться слева. (Шум слева. Голос справа: "Социалисты, не шумите!")

...Нужно смотреть в корень дела, а корень дела состоит в том, что существует Россия, но существует, не имея плана обороны России...

В настоящее время обороны не существует, и вы живете без плана обороны государства. Вот я и считаю, что когда такой план обороны государства будет выработан, только в ту минуту можно будет решить вопрос — какой же флот нужен для обороны России.

Если вы позволите, то я скажу, что хотя и решительно не могу определить, какой флот мне бы лично хотелось, чтобы был в России, все-таки я всецело был бы на стороне минного подводного оборонительного флота. Ведь как это ни грустно, нужно признать, что в техническом отношении мы отстаем убийственно. Ведь сплошь и рядом порядочный плуг, и тот трудно иметь у нас в России.

Вот, господа, все, что я имею честь вам доложить, и так как здесь обыкновенно кончали свои речи воспоминанием об Андреевском флаге, то позвольте и мне сказать, что, конечно, красива картина: после того как у нас все было разбито и уничтожено, представить себе, что опять на наших морях ходят эти гордые броненосцы, но мне кажется, что можно нарисовать себе и более заманчивую картину: взять Андреевский флаг, скромно и тихо свернуть и взять с собой на подводные лодки, а затем, когда они сделают свое дело, тогда уже всплыть на поверх-

ность воды, когда неприятельской эскадры не будет, и тогда развернуть Андреевский флаг во всей его красоте.

* * *

Поздно вечером, поздние приемы были в обычае, мы были приглашены к Петру Аркадьевичу Столыпину. Мы — это, насколько помню: А.И.Гучков, П.Н.Балашев, я и еще, может быть, кое-кто. И тут Петр Аркадьевич высказал нам совершенно откровенно свои взгляды на так называемую "морскую программу". Он говорил, что сторонники большой программы, то есть надводного броненосного флота, убедили государя в том, что только этим путем может идти российское военное судостроение. Столыпин утверждал, что это дело конченное в том смысле, что если Дума отвергнет начисто предложение правительства, то ее распустят, и распустят на очень невыгодном инциденте, обвинив в том, что она отказала правительству в ассигновании на оборону государства.

— Зная это, — продолжал Петр Аркадьевич, — я сделал все, что мог. Большая программа в ее первоначальном виде обозначала ассигнования в три миллиарда рублей. Мне удалось сбить этот совершенно невыносимый бюджетный расход до миллиарда с половиной. Это компромисс. Я, — говорил Столыпин, — всецело стою на стороне так называемого малого флота, малых крейсеров и в особенности подводных лодок. Но я сделать ничего не могу. Думу распустят, и я уйду в отставку.

Вот почему я должен держаться этого компромисса, и прошу вас хорошенько об этом поразмыслить.

* * *

Это заявление главы правительства, конечно, произвело на некоторых из нас весьма тягостное впечатление. Мы должны были идти на компромисс только потому, что те моряки, которые, по нашему мнению, заблуждались, представили дело государю императору так, что он с ними согласился. Это подтверждается его собственными словами в письме к матери, Марии Федоровне, от 27 марта 1908 года: "...На днях идиот граф Д.А.Олсуфьев (октябрист, член Государственного совета от саратовского губернского земства) сказал в Государственном совете, что Государственная дума оказалась патриотичной тем, что она хочет отказать в деньгах на флот. Я нахожу,

что это гораздо хуже и опаснее, чем то, что говорят и пишут революционеры. Не правда ли?.."

Мы долго думали и в конце концов решили следующее. Пусть наша фракция русских националистов голосует за эти полтора миллиарда. Мы же, несколько человек, то есть П.Н.Балашев, А.А.Потоцкий, я и еще кто-то, мы демонстративно уклонимся от голосования. Что значит демонстративно? Если люди просто воздерживаются, то это может пройти, на внешний взгляд, даже незаметно, так как сначала встают одни, потом встают другие, и те, кто воздерживается, если они в малом числе, как бы в этом тонут. А демонстративно — это значит выйти за барьер, то есть, покинув свое кресло, мы вышли в проход, который отделяет кресла членов Государственной думы от так называемых правительственных скамей. Так, можно сказать, бесславно для нас, по крайней мере, кончилась эта страница о флоте.

* * *

28 января 1909 года был для меня тяжелый день. В Думу за подписью ста трех лиц был внесен законопроект об отмене смертной казни. Текст его состоял из нескольких строчек. Этим клочком бумаги сто три думали отменить извечную и беспощадную борьбу Добра и Зла в этом мире. В составе ста трех были люди разные. Для многих из них попытка покончить со смертной казнью была только жестом, красивым, по их мнению. Оказалось, что это был жест неуклюжий. Попытка не удалась.

Если бы в 1909 году, 28 января, люди, в том числе и я, знали то, что они знают сейчас, то сто три законодателя не внесли бы в Государственную думу детского законопроекта и согласились бы с мнением депутата-октябриста Николая Ивановича Антонова, что отмена смертной казни есть проблема чрезвычайно сложная. Законопроект был наивен и коварно лицемерен. Я это видел или, лучше сказать, чувствовал. Но люди того времени были запуганы ходячими мнениями. Мне, "молокососу" тридцати лет, было чрезвычайно трудно резать борозду через застарелую целину.

И это тем более, что даже самый выход в "поле" был загроможден всякими рогатками формального стиля. Их нагромоздили сами авторы законопроекта, требуя для него срочности. Они не подумали о том, что средство самозащиты против убийцы, которое человечество приме-

няло с незапамятных времен и, во всяком случае, со времен Моисея, то есть более 3000 лет тому назад, отменять легкомысленно. Отменить смертную казнь в тогдашних условиях, да еще в спешке, на галопе, было просто невозможно. Естественно, что большинство Думы желало отправить законопроект в судебную комиссию. Ее члены, главным образом юристы, подвергли бы его основательному обсуждению, после которого тяжелая проблема смертной казни снова предстала бы перед пленумом Государственной думы.

Теперь это для меня ясно, но тогда я требовал срочности и немедленного рассмотрения законопроекта пленумом Думы. Почему? Потому что как слева, так и справа одинаково назрела потребность не отмахиваться от трагического вопроса о смертной казни, а сказать свое решительное мнение по существу.

Прения по срочности, согласно Наказу, должны были проходить особым порядком. Допускались только две речи по вопросу о срочности. Если признавалась срочность, то к обсуждению законопроекта Государственная дума приступала немедленно.

Наказ, очевидно, предполагал, что из двух речей одна будет за срочность, другая — против. Однако в данном случае произошли бесконечные препирательства депутатов между собою и с председателем Думы Н.А.Хомяковым.

Во время этой анархии были сказаны и речи по существу, хотя это и было нарушением Наказа. Председателю не удалось втиснуть страсти в рамки законности. Впрочем, в конце концов, это вышло хорошо. Член Государственной думы второго и третьего созывов от Сувалкской губернии, литовец, трудовик Андрей Андреевич Булат сгруппировал основные аргументы, которые с давних пор были высказаны в мировом масштабе противниками смертной казни. Присяжный поверенный, защитник во многих громких политических процессах, Булат служил секретарем при прокуроре окружного суда в Ревеле. Он организовал также почтово-телеграфную и железнодорожную забастовку, сидел в тюрьме и был выпущен под залог в 10 000 рублей. В своем выступлении на этом заседании Булат, между прочим, сказал (избегая длиннот, привожу наиболее характерные места его речи):

— Господа члены Государственной думы!.. Для нас, глубоко убежденных противников смертной казни, говорить против нее — значит ломиться в открытую дверь...

Я вам скажу, господа, только такую вещь, что со времени манифеста 17 октября, до которого смертных казней в России было сравнительно очень и очень немного, со времени этого манифеста в течение трех лет, по 17 октября 1908 года, было казнено в России 2835 человек. Было лишено жизни 2835 человек — не разбойниками, не в запальчивости и раздражении, не политическими террористами, а были лишены жизни государством, которое будто бы стоит на защите права, на защите нравственности, которое будто бы является проводником человечности, которое является проводником культуры. Россия — государство, которое стремится к культуре, и Россия, после манифеста, обещавшего нам свободное развитие этого стремления, допустила государственных убийств 2835 человек в течение трех лет. Приговоров было свыше пяти тысяч.

Смертная казнь никого не устраивает, а, наоборот, она вызывает в элементах, склонных к преступности, стремление к известного рода геройству, к ухарству, стремление играть своей жизнью и вызывает как раз увеличение числа тех преступлений, против которых желают будто бы бороться смертною казнью.

Вы, господа, может быть, сошлетесь на религию. К сожалению, в русской прессе в настоящее время нашлись такие омерзительные листки, которые позволяют себе указывать, что смертная казнь чуть ли не Евангелием освящена. Было время, когда эти листки раскладывались нам по всем скамьям Государственной думы и в них указывалось, что смертная казнь уже издревле, от Ветхого завета, практикуется как возмездие и т.д. Но, господа, не нужно быть специалистом, не нужно быть получившим духовное образование, нужно знать очень немногое: ''Возлюби ближнего как самого себя''. На этом, господа, зиждется весь Новый завет, и это достаточно ясно говорит о том, допустима ли смертная казнь с нравственно-религиозной стороны или нет... Неужели среди членов Государственной думы есть такие лица, которым нужно, чтобы кто-нибудь другой им объяснил, нужно или не нужно вешать?

Всякое наказание... всегда может быть потом тем или другим образом компенсировано. Присужденный к нему, если будет доказана ошибка, всегда может быть, так или иначе, вознагражден. Единственное исключение — смертная казнь. Она невознаградима, она неисправима. Я думаю, никто из вас не скажет, что не бывает судебных

ошибок. Я уверен... вам придется признать, что после того, как смертная казнь была приведена в исполнение, не раз оказывалось, что казнен невинный.

Скажите, пожалуйста, как вы возвратите приговор, чем и как вы вернете жизнь тому, кто казнен невинно? А вы люди, вы это помните, и, если у вас есть хотя малейшая искра нравственного сознания... вы должны сказать, что раз суды не могут быть совершенны, ибо они человеческие, то смертная казнь не может быть допускаема, дабы ни один невинный не был казнен.

Речь Булата, несомненно, имела свою ценность. Главный аргумент против смертной казни — ее невозвратимость, он изложил ярко, и я думаю, что в этом он был искренен. Лицемерие его проявилось, когда он стал призывать нас следовать Евангелию и исполнять заповедь: ''Возлюби ближнего своего...''.

Кто были ближние Булата? Вероятно, это были организаторы почтово-телеграфных и железнодорожных забастовок, то есть те люди из народа, которых он защищал и в судах, и в Государственной думе. Что же касается хотя бы нас, депутатов, сидевших вблизи от него, то его ненависть к нам была совершенно очевидна.

* * *

В конце концов выяснилось, что поданы две записки, и обе за срочность, хотя и по противоположным мотивам. Подали эти записки представитель социал-демократической фракции, помощник присяжного поверенного, мингрелец Евгений Петрович Гегечкори и Шульгин-второй.

Гегечкори хотел немедленного обсуждения законопроекта для того, чтобы немедленно смертную казнь отменить. Шульгин также хотел немедленного обсуждения, но не для того, чтобы немедленно отменить смертную казнь, а для того, чтобы немедленно установить: отменять смертную казнь нельзя.

* * *

''В пределах жребия земного'' 28 января 1909 года жребий Государственной думы повелел мне говорить речь о смертной казни. Я говорил ее несомненно в нарушение Наказа, потому что моя речь была только формальна по срочности, а на самом деле по существу. Это было ясно всем — и членам Думы, и ее председателю.

Почему же Н.А.Хомяков не остановил меня? Потому что под напором буйных страстей он разрешил говорить Булату также по существу.

Я привожу эту речь по стенограмме, отступая от нее только там, где что-нибудь напутано, избегая повторений или мест, сейчас не представляющих интереса, и, наоборот, вставляя кое-где необходимые пояснения:

— Господа члены Государственной думы, фракция правых желала бы отвергнуть настоящий законопроект без передачи его в комиссию и вот почему. Мы знаем, да это знает и каждый, что вопрос о смертной казни имеет свою колоссальную литературу и огромную законодательную и судебную практику. Следовательно, обсуждать его здесь не представляет ничего чудовищного, ничего невозможного, как раз наоборот, это было бы прямой задачей Государственной думы. Но, господа, все это было бы так, если бы то предложение, которое здесь внесено, не заключало в себе, если мне так позволено будет выразиться, известной серьезности и даже, я очень прошу извинения, неясности и, сугубо прошу извинения, известного издевательства над Государственной думой. И для того чтобы не говорить неприятных вещей, будучи бездоказательным, позвольте вам кое-что напомнить.

Все мы отлично помним царствование покойного императора Александра III и первые годы царствования его величества нынешнего нашего всемилостивейшего государя. Мы отлично помним, что в это время о смертной казни мы забыли, и даже с трудом кто из нас может припомнить случаи смертной казни в то время.

Правда, вот в моей памяти сохранилась казнь кавказских разбойников из того типа, о которых так остроумно было сказано, что в понедельник немножко резал, во вторник много резал и в воскресенье туда-сюда резал, этих казнили, но в очень ограниченном числе. Далее, в моей памяти сохранилась еще казнь предводителя цыганской шайки, эта шайка зарезала сорок человек при ограблении волостных правлений. Об этом говорили газеты две недели. Больше никаких воспоминаний из этой эпохи, по крайней мере, у меня не сохранилось.

Я уже говорил, в то время Россия забыла о том, что такое смертная казнь, и это вполне понятно, ведь в русском народе есть инстинктивное отвращение к смертной казни и к жестокостям правосудия вообще. И это идет вовсе не со времен Елизаветы Петровны, это явление, идущее из самой седой глубины, отмечено нашими уче-

ными, оно составляет нашу национальную гордость и наше национальное утешение и оно крепко поддерживает нашу веру, когда мы говорим, что хозяином в этой огромной империи должен быть русский народ, потому что мы верим в то, что только он будет владыкой кротким и милостивым. (Рукоплескания справа. С.Н.Максудов, с места: "А кто русский народ?")

— Руский народ... (Председатель: "Пожалуйста, без переговоров, и если вас спрашивают с мест, прошу вас не отвечать".)

Садретдин Назмутдинович Максудов по происхождению чистокровный татарин, образованный человек, окончивший в 1906 году в Париже юридический факультет. Он, вероятно, хотел сказать, что в составе русского народа достаточно "инородцев", в том числе и татар. Председатель правильно не позволил нам препираться по этой совершенно посторонней теме, и я продолжал:

— Не буду долго останавливаться на этом вопросе, я только вам напомню, что в темные времена средневековья, когда на Западе руками святейшей инквизиции десятками тысяч сжигались на кострах разные ведьмы и колдуны, в России, руками православной церкви, той церкви, о которой только невежды могут говорить с пренебрежением, знаете вы, как наказывали наших колдунов? Их заставляли бить поклоны перед иконами или лежать крестом в церкви. Вот, господа, пример прошлых времен.

Теперь вспомните интеллигентное общество дореволюционной эпохи, я отлично это помню. Среди своих родных и знакомых я знавал русских женщин, которые буквально занемогали, физически делались больными, когда они читали описания смертной казни.

Теперь я вас попрошу перенестись в несколько иную эпоху. Действие происходит в 1908 году в Киеве. Суд разбирает дело об убийстве семьи Островских.

Кто были Островские? Это была бедная еврейская семья, которую вырезали целиком из-за жалких нескольких рублей грабители, видимо, предполагавшие, что у них где-то были запрятаны капиталы.

Это убийство произвело страшное впечатление в Киеве. Целых две недели город был как бы под влиянием какой-то черной тучи, которая повисла над ним. Толпы людей долго еще стояли перед этим домом и угрюмые, расстроенные, с суеверным ужасом смотрели на эти стены. И вот наконец наступил день суда. Приговор суда

был суров: четверо были приговорены к смертной казни и две женщины, которые были виновны только в недонесении, приговорены к 15 или 20 годам каторги, а там, на улице, перед судом стояла толпа, которая кричала: "Дайте убийц народу! Не защищайте эту дрянь!" Только большими усилиями полиции удалось спасти убийц от самосуда.

А вот другой пример: Вильна, 1907 год, декабрь. Разбирается дело об убийстве мирового судьи Русецкого неким Авдошкой. Авдошка был взят в услужение мировым судьей Русецким и убил последнего и его жену на почве ограбления. Так как Русецкий был поляк, то весь зал был наполнен представителями польского общества, в том числе и высшего польского общества. И вот, когда прокурор потребовал смертной казни для убийцы, зал разразился аплодисментами, которые перешли туда, дальше, на улицу, в толпу, стоявшую вокруг здания суда. (Кадет А.И.Шингарев, с места: "Одичание!") Толпа кричала: "Если вы не казните, мы разорвем его собственными руками!"

(Кадет П.Н.Милюков, с места: "Дикари!.." Шум.)

Мы (обращаясь влево) вас не перебивали. Вот, господа, какая разница между этими двумя моментами — между той эпохой и нынешней...

Под "той эпохой" я подразумевал время, про которое Булат нам сказал: "До манифеста 17 октября 1905 года смертных казней в России было сравнительно очень и очень немного..."

Далее я продолжал:

— Полагаю, что в данную минуту было бы большим заблуждением думать, что те бесконечные казни, которые мы видим, дело рук правительства. Если бы правительство перестало казнить, мы бы вступили в эпоху таких самосудов, перед которыми побледнело бы линчевание негров в Америке. (Голоса справа: "Верно...")

Теперь, господа, перейдем к истории этого законопроекта. Он имеет свою историю. Он был внесен в первую Думу, и 19 июня 1906 года Государственная дума единогласно вотировала отмену смертной казни. Я не знаю в истории акта большего лицемерия, чем этот. Мы знаем, что конвент вотировал смерть французского короля. Это было ужасно, но это было, по крайней мере, не лицемерие. А то собрание, которое, если бы не было распущено, поставило бы гильотины в каждом доме, то собрание, которое выросло на трупах, то собрание,

которое было забрызгано кровью, то собрание, которое начало с того, что потребовало полной амнистии всем борцам за свободу, то есть убийцам, то собрание, которое кричало: "Мало тысяч убитых революцией..." (М.С.Аджемов, с места: "Вранье".), то собрание вотировало отмену смертной казни. Тут говорят "вранье". Это не вранье...

(Председатель: "Будьте добры спорить о том, что вранье и что не вранье во время перерыва". Шум, голоса справа: "Не мешайте, не перебивайте!" Председатель: "Покорнейше прошу не прерывать оратора. Вопрос слишком острый, чтобы его еще обострять".)

* * *

Здесь я прерываю стенограмму моей речи, поскольку она маловразумительна. А эпизод, о котором я упомянул там, разыгрался не в третьей, а в первой Государственной думе примерно так.

На кафедру взошел трудовик, депутат от Екатеринославской губернии, матрос Черноморского флота, служивший ранее рабочим на котельном заводе, Лев Федорович Бабенко. Он говорил: "...вам известны результаты в Севастополе. Я должен вам сказать: пусть уйдут наши министры. Из их ответов..."

Тут Бабенко запнулся, и председатель Сергей Андреевич Муромцев прервал его: "Вы читаете ваше особое мнение? Если вас затрудняет чтение, то читаемое вами мы приложим к журналу", — сказал он.

Бабенко продолжал: "...пусть уйдут, иначе ваших министров может постигнуть та же участь, которая постигла офицеров на броненосце «Князе Потемкине Таврическом».

Рассказав об этом происшествии в первой Думе, я спросил депутатов:

— Вы знаете, кому это говорилось, господа? Это говорилось главному военному прокурору генерал-лейтенанту Владимиру Петровичу Павлову, который был убит после этого.

Далее привожу свою речь:

— Этот законопроект перешел во вторую Думу, но там он не разбирался, потому что не дошла до него очередь, но мы — и господа члены второй Думы, здесь присутствующие, конечно, это помнят — мы имели великолепную репетицию по поводу военно-полевых судов, и тогда мы присутствовали при замечательном явлении.

Как вам известно, во второй Думе была партия, которая совершенно открыто называла себя социал-революционерами, их было 34 человека. И вот эти господа, товарищи которых в то же самое время постановляли смертные приговоры и приводили их в исполнение, эти господа как ни в чем не бывало расписались против смертной казни. (Голоса справа: "Браво!")

И когда, в конце концов, ваш покорнейший слуга, доведенный почти до исступления, принужден был спросить их, нет ли у них бомбы в кармане, то был немедленно же после этого изгнан. (Е.П.Гегечкори, с места: "Вышвырнут из зала".) — Вышвырнут из зала, так как этот вопрос показался крайне неделикатным по отношению к некоторым членам. (Голоса справа: "Браво!" Смех и шумные рукоплескания в центре и справа.)

Не менее речисты были и социал-демократы, те самые социал-демократы, которые в то время уже готовили военный бунт, военный бунт, за который многие из них в настоящее время, в том числе и известный Церетели, находятся на каторге. Все эти Алексинские, Озолы и К° готовили в это время военный бунт, который, если бы он удался, стоил бы, конечно, России рек крови. Эти самые господа точно так же крайне красноречиво доказывали, почти так же красноречиво, как сейчас член Думы Булат, что смертная казнь прямо что-то немыслимое и невозможное.

И кадеты тоже очень хорошо говорили... Те самые кадеты, которых мы ни просьбами, ни мольбами, ни угрозами не могли принудить осудить террор. Они и тогда так же скользко себя держали, объясняя свое поведение так: "Мы сами полагаем, что не следовало бы убивать, но если вы убиваете, то мы не ставим этого в вину", — вот была та плоскость, основа соглашения между кадетами и более левыми. (Рукоплескания справа. Граф В.А.Бобринский-второй, с места: "Совершенно верно, правильно, лакеи революции".)

Наконец, господа, вопрос этот, но уже хромая на одну ногу, добрел в третью Думу... Сейчас хотят сделать политическую демонстрацию. Я должен сказать, что в числе 103 подписей несомненно есть такие подписи, которые ничем не скомпрометированы, и я вполне допускаю, что эти люди, действительно искренно, суть противники смертной казни.

Но большинство оппозиции? Я не думаю, чтобы это было так, потому что еще недавно оппозиция устами

оратора, который говорил тогда от имени всей оппозиции, заявила нам здесь, что кинжал есть высший судья...

Мы, господа, называем себя верными слугами русского императора, и наши руки должны быть так же чисты, как алмазы в его венце! (Рукоплескания справа.)

После всего вышесказанного я полагаю, что законопроект, нами рассматриваемый, есть не более как политическая демонстрация, а потому нечего с ним так долго возиться и сдавать в какие-то комиссии, а просто, по-моему, предоставить одним сделать политическую демонстрацию, а тем, которые хотят возразить, — сделать контрдемонстрацию, после чего этот законопроект тут же, в общем собрании, отклонить на том основании, что так как оппозиция устами своего оратора заявила, что "кинжал есть высший судья", то Государственная дума надеется, что в будущем оппозиция свою тактику изменит, ибо только тогда можно будет говорить серьезно об отмене смертной казни, когда подстрекательства к политическим убийствам прекратятся. (Голоса справа: "Браво!")

...Но здесь есть, конечно, другая опасность: как только мы откроем прения, то польется такой фонтан, который, быть может, отнимет у нас все заседания вплоть до конца этой сессии. Поэтому нужно придумать какой-нибудь исход, и исход есть. Прекратить прения с соблюдением гарантий свободы слова, указанных в статье 92 Наказа.

Я хочу добавить. Вопрос о срочности отмены смертной казни несколько смягчен в настоящее время. Это имеет связь с постановлением екатеринославского суда, присудившего к смертной казни несколько десятков человек за организацию железнодорожных и некоторых других забастовок.

А если вы заглянете в книжечку "Наши депутаты" на страницу 415, то вы под изображением члена Думы Булата А.А. найдете: "Во время октябрьского движения сидел в тюрьме. Выпущен под залог в 10 000 рублей". Но это неважно. А важно вот что: "Организатор почтово-телеграфной и железнодорожной забастовки".

Вы понимаете, что при таком положении действительно член Думы Булат спешит отменить смертную казнь, ибо она, может быть, немножко опасна.

(Председатель: "Член Государственной думы Шульгин, я усматриваю в ваших словах желание оскорбить..."

Голоса справа: "Ничего подобного".

Председатель: "Мое мнение сказано, и я, разумеется, его не беру назад".

Н.Е.Марков-второй, с места: "Напрасно".

Председатель: "А вас покорнейше прошу быть спокойными".

Голоса справа: "Мы спокойны, а вы беспокоитесь". Шум, звонок председателя.)

Конец моей речи был посвящен неинтересным подробностям о Наказе. Таким образом, эффектного конца не получилось, тем не менее правые и центр наградили меня шумными одобрениями и возгласами: "Молодец!"

Предоставив говорить Булату и Шульгину по существу, председатель не имел достаточных оснований останавливать выступивших после меня кадета В.А.Маклакова и социал-демократа Е.П.Гегечкори.

Н.А.Хомяков стремился, как мог, ввести прения в законное русло. Он был очень обаятельный человек и изящный председатель, но слишком слаб, чтобы совладать с буйными страстями, разыгравшимися в этот день. Чтобы передать картину этого беспорядка, у меня не хватает таланта. Только стенограмма дает о нем некоторое понятие, почему я привожу ее полностью.

Прошу читателей иметь терпение прочесть всю эту толчею на месте, потому что она дает ключ к пониманию очень важных вопросов. Государственная дума, какова бы она ни была, есть элемент политической свободы. В ней предельно обеспечена свобода слова. Это было лицо русского парламента, но была и изнанка. Пятисотголовое собрание может полезно работать только в том случае, если участники его прошли школу самодисциплины. Но этот предмет изучается в течение столетий, чему пример английский парламент.

В Лондоне еще сравнительно недавно, то есть в конце XIX века, произошла знаменитая обструкция Чарлза Стюарта Парнелла. Группа ирландцев умышленно скандалила, тормозя деятельность парламента намеренно длинными речами, шумом и другими подобными приемами, стремясь к определенной цели — добиться утверждения законопроекта о гомруле, то есть автономии Ирландии в рамках Британской империи. Скандалистов приходилось выносить из зала заседаний на руках, причем по одному, соблюдая парламентскую неприкосновенность. Эта возня отнимала столько времени и нервов, что парализованный парламент не мог работать.

Наша же недисциплинированность привела к более

тяжким результатам, а именно — конфликту Государственной думы с короной во время войны. В этом несогласии погибли и династия, и парламент...

Так вот, образчик трагикомедии, разыгравшейся в Думе после того, как я сошел с кафедры, про которую Репетилов сказал бы: "Шумим, братец, шумим..."

Председатель: "Поступило два заявления — одно о передаче настоящего законопроекта... (Шум справа. Голоса: "Перерыв".) Если угодно шуметь, то я сделаю перерыв. (Марков-второй, с места: "Самое лучшее".) Прошу не шуметь. Поступило два заявления: одно — о передаче настоящего дела в комиссию по судебным реформам по параграфу 56 Наказа, а другое — по параграфу 92 — о прекращении прений по настоящему вопросу. (Булат, с места: "Желаю возразить против второго заявления".) Виноват, позвольте мне доложить. Поступило еще заявление о предоставлении слова по порядку голосования и другое — заявление члена Государственной думы Булата по личному вопросу. По личному вопросу предоставляется слово по окончании прений по делу. Прения по настоящему делу окончены, ибо вслед за тем мы приступаем к голосованию. Слово принадлежит члену Государственной думы Булату по личному вопросу".

Булат: "Член Государственной думы Шульгин, во-первых, заявил о том, что тот законопроект об отмене смертной казни, который я подписал, неискренний. Он указывал также, что и первая и вторая Государственная дума поступали неискренно, он охарактеризовал... (Шум справа. Звонок председателя.)... еще более неприличными словами... (Голоса справа: "Пошел вон!")

Председатель: "Будьте добры не шуметь". (Голоса справа: "Это не по личному вопросу".)

Булат: "Мне объясняют, что такое личный вопрос. Я повторяю, что я первый подписал тот законопроект об отмене смертной казни, который господин Шульгин — я его не назову членом Государственной думы, депутатом — назвал неискренним. (Шум справа. Голоса: "Что это такое? Ведь это оскорбление!") Для того чтобы господин Шульгин позволил себе говорить о моей искренности или неискренности, нужно иметь доказательства, иначе это есть не более как голословная, заведомая неправда (я употребляю приличное выражение). Это раз, но депутату Шульгину, собственно говоря, можно все простить... (Шум. Голоса справа: "А тебе нельзя?!")... у него так мало соображения... (Смех. Шум

справа. Пуришкевич с места: "Ослиная голова!")... что разобраться в том, что искренно, что не искренно, ему трудно. Он взял документик, где он прочел..."

(Шум справа. Пуришкевич с места: "Идиот!")

Оратор, обращаясь к председателю: "Я бы просил вас, господин председатель, все-таки оградить меня от таких восклицаний".

Председатель: "Позвольте просить вас не восклицать, а уж если восклицать, то настолько громко, чтобы председатель мог слышать. (Пуришкевич кричит с места: "Я ему сказал, что он идиот!" Смех справа. Голос слева: "Вон!") Член Государственной думы Пуришкевич мало того, что позволяет себе выходки, недопустимые в каком-либо порядочном собрании, он, сверх того, подтверждает их вновь. Я предлагаю на нынешнее заседание исключить его из собрания".

(Шум. Голоса справа: "Это несправедливо!" Пуришкевич, с места: "Я прошу объяснения. Вместо меня даст объяснение член Государственной думы Шульгин".)

Председатель: "Член Государственной думы Пуришкевич имеет право высказаться по этому вопросу. (Пуришкевич, с места: "Вместо меня будет говорить Шульгин". Голоса справа: "Он имеет право".)

Председатель: "Слово принадлежит члену Государственной думы Шульгину". (Шум.)

Шульгин-второй. "Я не могу вполне оправдать то замечание, которое было сделано моим товарищем, но я должен сказать, что оно тоже было вызвано словами члена Государственной думы Булата, который позволил себе, во-первых, сказать, что он не назовет меня членом Государственной думы — это раз, а во-вторых, позволил себе сказать, что я совершенно лишен соображения — это два. Я на такие выходки не имею обыкновения отвечать, но Владимир Митрофанович Пуришкевич, имея темперамент более пылкий, сказал за меня то, что должен был сказать я".

(Рукоплескания справа. Голоса: "Браво!" Профессор всеобщей истории, правый А.С.Вязигин, с места: "Прошу слова о нарушении Наказа".)

Председатель: "Слово принадлежит члену Государственной думы Вязигину о нарушении Наказа".

Вязигин: "На основании параграфа 106 Наказа объяснения по личному вопросу даются не в очередь, но отлагаются до окончания суждений по делу. В этом же заседании суждения по делу не были еще окончены. (Голо-

са слева: "Были".) Нет, не были, а члену Государственной думы Булату было предоставлено слово". (Рукоплескания справа.)

Председатель: "Прения по данному вопросу совершенно были закончены. Слово принадлежит члену Государственной думы Крупенскому по вопросу о нарушении Наказа".

Крупенский: "В Наказе сказано: "Если с трибуны производятся беспорядки речами, которые нарушают порядок, председатель их останавливает". В данном случае председатель не слыхал обвинений, которые бросались депутату Шульгину, вследствие этого он не остановил оратора и вызвал этот беспорядок. Вследствие этого я просил бы председателя раньше просмотреть стенограмму того, что говорил господин Булат, а затем предложить собранию об исключении депутата Пуришкевича. (Рукоплескания справа.)

Председатель: "Итак, прения закончены... (Булат, с места: "Я не окончил прений по личному вопросу".) Прения были закончены, ввиду чего нам предстояло перейти к баллотировке, и поэтому было предоставлено мною слово по личному вопросу. И так как я предоставил члену Государственной думы Булату слово, то, объяснив то, что я имел сказать, предлагаю Государственной думе предварительно выслушать объяснения депутата Булата до конца, а затем поставлю на голосование предложенный вопрос. (Возгласы слева: "А Пуришкевич?!") Будьте добры, позвольте мне председательствовать не по вашему приказанию".

Булат: "Господин Шульгин говорил, что в Екатеринославе за организацию железнодорожной забастовки приговаривали людей к повешению и их вешали. Потом он же сказал, что по имеющимся в его руках документам я, Булат, есть организатор железнодорожной и почтово-телеграфной забастовок, если бы это было так, то, конечно, я был бы приговорен, по крайней мере, к смертной казни и здесь бы не заседал. (Шум.) Очевидно, что господин Шульгин недостаточно соображает, у него так мало сообразительности". (Шум. Возгласы справа: "Опять!")

Председатель: "Господа члены Государственной думы, угодно вам будет занять места? (Шум.) Член Государственной думы Булат, прошу вас не пользоваться этой кафедрой для перебранки, раз дело идет таким порядком, разумеется, никакой председатель не решит, кто виноват, когда бранятся, оба виноваты. (Рукоплескания в

центре и справа.) Я ставлю это на вид говорившим. Простите меня, господа, невоздержанность недопустима, и разобрать, где переходится граница допустимого и недопустимого, до такой степени невозможно, что я, по крайней мере, не могу этого сделать. Я вас покорнейше прошу ограждать достоинство собрания, которое вы обязаны уважать. (Бурные рукоплескания на всех скамьях.) Нынче, с одной стороны, говорят оратору: "Ты забастовщик". На это отвечают: "Ты безмозглый", "Ты идиот". (Булат: "Я этого не говорил".)

Председатель: "Кто же, господа, разберется, что допустимо? Все от вас зависит. Председатель ничего сделать не может. Исключать наскоро каждого и каждый день — это позор, это ужасное положение, в которое вынужден становиться председатель. Легко сказать собранию: "Предлагаю исключить члена Думы такого-то", но это тягостно и ужасно. Избавьте от этого вашего председателя, если вы имеете к нему хоть какое-нибудь сожаление. (Рукоплескания в центре и справа.) Предупреждаю вас (обращаясь к Булату) и прошу держаться в рамках личного объяснения и не обострять вопроса".

Булат: "Я, господа, буду всецело следовать указаниям председателя, что такое выражение, как сказать о ком-нибудь, что он проявил недостаточную сообразительность, недопустимо с трибуны, и я его больше произносить не буду, но должен оговориться, что из этого замечания, которое сейчас было сделано, вышло, как будто бы я употребил выражение "безмозглый" и "идиот", этого я не говорил. А теперь по личному вопросу. Итак, депутат Шульгин, зная факты, сказал, что за организацию железнодорожных забастовок людей приговаривали к смертной казни, вероятно, он также знает, что люди, которые подлежат такому приговору, не могли заседать уже во второй Думе, на этих скамьях, и, тем не менее, он все-таки позволил себе утверждать, что я есть организатор почтово-телеграфных и железнодорожных забастовок... (Справа показывают книжку "Наши депутаты".) Я вам не такие вещи в "Русском знамени" укажу, так неужели из-за этого позволяется с этой высокой трибуны обвинять кого-либо и говорить, что "ты виновен в том, что там написано?" Я не могу, конечно, говорить о несообразительности депутата Шульгина, раз это запрещено, но вы сами, господа, сообразите, как назвать такое непонимание депутатом Шульгиным своих слов и своих мыслей?"

Председатель: "Итак, приступаем к голосованию. Ввиду того, что вопрос о перебранках достаточно выяснился, позвольте мне снять с очереди сделанное мною предложение об удалении из сегодняшнего заседания члена Думы Пуришкевича. (Возгласы: "Браво!" Рукоплескания в центре и справа.) Слово принадлежит члену Государственной думы Маклакову по порядку голосования".

Маклаков: "Господа! Так как прения кончены, то я имею право говорить только в пределах того конкретного предложения, которое сделал я о разделении вопроса на две части и о внесении к нему одной поправки. Вот поэтому, и только поэтому, я должен оставить без ответа речь депутата Шульгина, должен, к сожалению, оставить без ответа те удивительные обвинения, коорые мы от него выслушали". (Шум справа.)

Председатель (звонит): "Прошу говорить по порядку голосования". (Голос справа: "Просим по порядку голосования, а не о Шульгине, Шульгин ни при чем".)

Маклаков: "Но пусть знает депутат Шульгин... (Граф Бобринский, с места: "Нет, по порядку! Это нельзя! Это злоупотребление".) Хорошо, я буду говорить только к порядку голосования, если вы своим шумом мешаете мне ответить Шульгину".

(Голоса справа: "Нельзя!" Шум. Шульгин-второй, с места: "Я прошу вас". Голоса: "Нет, нельзя просить!")

Далее В.А.Маклаков говорит к порядку голосования, иногда, украдкой от председателя, выражая свое негодование против речи Шульгина. Так же поступает и П.Н.Милюков, говоря по мотивам голосования. Особую настойчивость проявляет Е.П.Гегечкори в спорах с председателем, который семь раз прерывает его замечанием: "Покорнейше прошу вас говорить только по порядку голосования".

Тем не менее Гегечкори удается несколько раз уязвить Шульгина, что вполне понятно. Шульгин как-то ухитрился, в нарушение Наказа, при помощи жребия, полностью сказать свою речь о смертной казни по существу. Поэтому естественна настойчивость его политических противников, которые стремились возражать ему также по существу.

Наконец после бесконечных "хождений по мукам" вопрос о передаче законопроекта о смертной казни ставится на голосование, и большинством 170 голосов про-

тив 133 Дума передает его в комиссию по судебным реформам.

Тут В.М.Пуришкевич своим звонким тенорком воскликнул с места: "Похороны по первому разряду!"

Пуришкевич угадал. Действительно, Государственная дума третьего созыва, насколько я помню, к вопросу о смертной казни не возвращалась. Тем более не могло этого быть в четвертой Думе. Началась война. А во время войны смертную казнь вводят обычно и там, где ее нет в мирное время.

Однако нет правил без исключения. В 1917 году Временным правительством смертная казнь была отменена при продолжающейся войне. Тогда я уже не говорил речей против отмены смертной казни.

* * *

Судьбе было угодно, чтобы на следующий день после моей речи о смертной казни состоялся высочайший прием в Царском Селе.

В Петербург прибыла депутация от волынских крестьян в числе двенадцати человек, по одному представителю от каждого уезда. Во главе их высокопреосвященный Антоний, архиепископ Волынский, и архимандрит Виталий, монах из Почаевской лавры.

К прибывшей депутации, естественно, присоединились члены Государственной думы от Волынской губернии, которых было тринадцать человек. В числе последних были крестьяне, помещики, священники и интеллигенты. Таким образом, вся депутация состояла из двадцати семи волынцев — тринадцати членов Думы и двенадцати крестьян во главе с двумя архипастырями.

Вот что знаменательно: все они, то есть служители церкви, неграмотные хлеборобы, грамотные горожане и помещики, представители высшего сословия, носили на груди значки, устанавливавшие их национальность, а также политические и социальные взгляды.

Они преподнесли государю петицию, подписанную миллионом волынцев. О чем же просил, вернее сказать, умолял, миллион верноподданных своего царя? Петиция была направлена против Государственной думы. Церковь, мужики и высшее сословие "единым духом и едиными устами" высказали царю, что они возлагают все свои надежды только на монарха, коему, по словам основных законов, "повиноваться сам бог повелевает". По

этой причине эти граждане, болеющие за судьбу России, просили царя сохранить самодержавную власть, ему от века принадлежащую, не уступая своих прав Государственной думе, если таковая захочет на царское достояние покуситься.

Собрать миллион подписей от одной губернии — нелегкое дело. Надо было созывать сходы по селам и деревням, растолковывать хлеборобам, в чем дело. Надо думать, что эта работа началась еще при второй Государственной думе, а может быть, и при первой. А это значит, что текст петиции был составлен под влиянием тогдашних настроений. Поэтому с такой настойчивостью и определенностью верноподданные просили царя не уступать Государственной думе.

Обе Государственные думы, первого и второго созывов, и по составу своему, и по деятельности своей были Думы крамольные, явно посягавшие на историческое достояние русских царей. Но этого никак нельзя было сказать о третьей Государственной думе. Последняя в своем большинстве состояла из людей верноподданных — монархистов. В отношении нее язык петиции был неуместен. Таким образом, это обращение волынцев к царю несколько запоздало. И государь был поставлен этим актом в довольно затруднительное положение. Если бы он не хотел Государственной думы вообще, то ему совершенно было не нужно созывать Думу третьего созыва. Он вызвал к жизни народное представительство в 1905 году манифестом 17 октября, но, убедившись, что Россия не созрела для представительных учреждений, мог бы покончить с этим начинанием в том же порядке, как оно было создано, то есть вернуться к прежнему самодержавному строю. Но император этого не сделал. Он признал правильной столыпинскую идею, что монарх и Государственная дума должны править Россией совместно. Из этого затруднительного положения государь вышел при обстоятельствах, изложенных ниже.

Было установлено, что при представлении царю будет сказана одна только речь, а именно архиепископом Волынским, высокопреосвященнейшим Антонием. Этот архиерей имел удивительно представительную внешность. Некоторые говорили, что он похож на бога Саваофа, как его представляют себе в простоте души своей народные богомазы. В величественной лиловой мантии он стоял перед царем, опираясь обеими руками на свой пастырский посох. Он говорил об отношениях монарха и

Государственной думы умно и в желательном направлении, то есть чтобы самодержавная власть сохранилась в царских руках, но говорил умеренно.

В миру архиепископ Антоний принадлежал к знатной фамилии Храповицких, которая владела большим имением во Владимирской губернии, примерно между Владимиром и Муромом. Сейчас, то есть в 1965 году, в его усадьбе и обширных помещениях находится лесоводческий институт или училище.

В молодости будущий монах был кавалерийским офицером. Приняв в 1885 году монашеский сан, он с течением времени достиг высокого положения, став в 1902 году епископом Волынским. 6 мая 1906 года его посвятили в сан архиепископа, а незадолго до начала войны, 14 мая 1914 года назначили архиепископом Харьковским и Ахтырским.

После Февральской революции 54-летний архиепископ был уволен 1 мая 1917 года на покой в Валаамский монастырь, но 19 августа того же года постановлением Собора был снова восстановлен на харьковской кафедре и выставлен правым черным духовенством кандидатом в патриархи. При баллотировке 31 октября 1917 года он получил 150 голосов против 162, поданных за Тихона. После избрания по жребию патриархом Тихона архиепископ Антоний был возведен 28 ноября 1917 года в сан митрополита и во время гетмана П.П.Скоропадского с 19 мая 1918 года стал митрополитом всея Украины.

После падения Скоропадского митрополит Антоний эмигрировал и нашел приют в стране, тогда еще не называвшейся Югославией, а носившей имя Королевства сербов, хорватов и словенцев. Патриарх сербский Димитрий имел свою резиденцию в городке Сремски Карловци, где у патриархии были обширные и прекрасные помещения. Здесь и поселился митрополит Антоний.

В 1921 году в Сремских Карловцах состоялось общее собрание представителей Русской заграничной церкви, объявившее себя "собором". Этот так называемый "Карловацкий собор", занимавшийся больше политикой, нежели церковными делами, создал "Заграничный синод русской церкви", митрополита же Антония назначил заместителем патриарха Тихона без ведома последнего. Произошел раскол Русской православной церкви. Московская патриархия решительно отмежевалась от политического курса эмигрировавших иерархов, заявив, что "митрополит Антоний не имеет никакого права го-

ворить от имени Русской православной церкви и всего русского народа, так как не имеет на это полномочий".

В своем предсмертном завещании патриарх Тихон писал: "Не благо принес церкви и народу так называемый Карловацкий собор, осуждение коего мы снова подтверждаем и считаем нужным твердо и определенно заявить, что всякая в этом роде попытка впредь вызовет с нашей стороны крайние меры".

После кончины 7 апреля 1925 года патриарха Тихона местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий объявил действия Карловацкого собора незаконными. Разумеется, это нисколько не повлияло на отколовшихся священнослужителей, продолжавших "благословлять" русских людей "на борьбу с коммунизмом".

Таким образом, имя митрополита Антония связано с одной из трагических страниц в истории православной церкви. Будучи убежденным монархистом, он не смог примириться с революцией, однако в последние годы жизни от политики отстранился. На старости лет он очень смягчился душой и готовился отойти в пределы, где праведные упокоятся. Скончался митрополит Антоний в 1936 году в патриарших покоях города Сремски Карловци, где приютил его сербский патриарх Дмитрий.

В прошлом я был глубоко связан с Антонием, в то время еще архиепископом Волынским. Именно он три раза посылал меня в Государственную думу. Я долго носил три крестика, символизировавшие архипастырское благословение, но утерял их в превратностях жизни. <...>

* * *

Общий и главный смысл этого происшествия был в том, что государь показал ясно: есть Дума и Дума. Третья Дума в данном случае в моем лице высказалась в высшей степени уважительно к монархии. Император это отметил и уточнил, что именно такое отношение есть истинно национальный путь России, то есть путь, декларировавшийся "Союзом русского народа".

Основателем этого союза и его органа газеты "Русское знамя" был петербургский врач Александр Иванович Дубровин. Союз представлял собою крайне правое русское течение, враждебное всем другим национальностям и в особенности евреям. Если бы он остался в пределах благоразумия, то должен был защищать

исключительно русские интересы. Однако известно, что наступление есть лучшая оборона. Дубровин перешел в наступление. И были сказаны некоторые слова и совершены некоторые действия агрессорского характера. Попадая в массы, эти лозунги вызывали погромные настроения. И "Союз русского народа" стали справедливо обвинять, что он совершает погромы.

Но "Волынский союз русского народа" был создан не доктором Дубровиным, а архимандритом Виталием — редактором-издателем "Почаевского листка" и "Волынских епархиальных известий". Этот монах не перешел роковой грани и не позволил массам, за ним следовавшим, из защитников святого дела перейти в черный стан агрессоров. Внешним выражением этого течения, энергичного, но не насильнического, было нижеследующее.

Толпы, подняв над собой хоругви, иконы и портреты государя, проходили через города и местечки, в большинстве своем населенные евреями и поляками, с громовым криком:

"Русь идет!"

Насколько я знаю, на Волыни об еврейских погромах слышно не было. Быть может, были отдельные хулиганские выступления, вырвавшиеся из-под умирающей руки архимандрита Виталия.

* * *

Здесь уместно еще раз упомянуть об архиепископе Антонии, впоследствии митрополите. Он был видным деятелем правого крыла и тоже, помня о своем сане, не переходил известных границ.

В апреле 1903 года произошел страшный кишиневский погром. Он отличался своей кровавой жестокостью. После этого погрома архиепископ Антоний произнес речь с крестом в руках с церковного амвона. Он сказал примерно так:

— Люди, совершившие кровавую расправу над евреями в Кишиневе, не смеют называть себя христианами. Они поддались бесовскому наваждению. Христиане не смеют забывать, что господь наш Иисус Христос по плоти был евреем, так же как и святые его апостолы. Мать Иисуса Христа была еврейка. Она имела родственников среди своего родного народа. Потомки их, быть может, и сейчас живут в еврейской среде. Ужасно подумать, что среди убитых в Кишиневе, быть может, есть люди, в жи-

лах которых струилась кровь, близкая крови богоматери, пресвятой Марии.

Несомненно, что взгляды владыки Антония оказывали влияние на подчиненных ему архимандрита Виталия и иеромонаха Илиодора. Последний был колоритной фигурой того времени.

Родом этот монах был донской казак, и казацкий размах и удаль всегда в нем чувствовались. Илиодор был неистов по природе своей. Однако и он не вышел из-под подчинения властной руки владыки Антония.

Илиодор обладал исключительным ораторским талантом митингового характера. Он мог увлечь любую толпу за собой. Но вместе с тем это дарование кружило голову и ему самому.

Илиодор был демагог, каких редко можно встретить. Я его понял однажды. Это было в 1907 году в Петербурге, в так называемом Русском собрании. Это была первая организация, состоявшая из столичной интеллигенции, далеко не всегда русской. Видную роль там играл Пуришкевич, по крови не совсем русский, и присяжный поверенный Павел Федорович Булацель, бессарабский румын, женатый на немке из Риги. Председатель, насколько я помню, тоже носил нерусскую фамилию.

В тот вечер был не пленум, а заседание совета, сравнительно немногочисленное. Были приглашены и волынские депутаты — крестьяне и не крестьяне, которых привез в Петербург Илиодор и их наставлял. За длинным столом, накрытым зеленым сукном с золотой бахромой, на двух противоположных узких концах сидели председатель и иеромонах Илиодор.

Речь шла о современном положении. Сильно критиковали слабость власти. Илиодор слушал язвительные замечания по адресу правительства и что надо было бы сделать, и вдруг, не попросив слова у председателя, заговорил:

— Слушаю я, слушаю вас и вижу. Не то вы предлагаете, что надо. Предки наши говорили: "По грехам нашим послал нам господь царя Грозного". А я говорю: "По грехам нашим дал нам бог царя слабого!"

И вот что надо сделать — как подниму я всю черную Волынь мою и как приведу ее сюда, в город сей — столицу, в Санкт-Петербург ваш именитый, и как наведем мы здесь порядок, тогда будет, как надо!

Илиодор кончил свою речь, недосказанное договорили угрожающе поднятые его руки. Широкие рукава мо-

нашеской рясы повисли в воздухе, как крылья какой-то черной птицы.

Эта птица должна была подняться с полей Волыни. А я был за деяния Волыни ответствен не менее, чем этот монах-демагог. И потому я поборол свою робость. И я сказал при настороженной тишине, наступившей после звучной речи Илиодора:

— Право, не знаю, отец Илиодор, как мне и быть. С одной стороны, я должен находиться вместе с Волынью. Вы окрестили ее "черной". Два месяца тому назад я с этими крестьянами, хлеборобами волынскими, что и вправду черные, потому что трудятся над нашей черною землею и потому еще, что враги наши называют нас черной сотней, хотя нас миллионы, два месяца тому назад я вместе с ними выиграл выборы в Государственную думу. Против кого? Против врагов русского народа. И вы, отец Илиодор, немало этой победе способствовали. И потому должен быть я с вами в вашем походе на Санкт-Петербург. Это так.

Но есть и другое лицо у этого дела. Поход на Санкт-Петербург! Что это? Это война, объявленная царской столице, из которой царь правит Россией. И потому, дорогой отец Илиодор, очень я опасаюсь, как бы царь-батюшка в вашем желании навести порядок в его столице не усмотрел вместо порядка самый настоящий беспорядок, или, говоря иначе, бунт и мятеж против власть предержащих и его царевой самодержавной власти, "которой повиноваться сам бог повелевает", как сказано в основных законах наших. И боюсь я, высокочтимый отец Илиодор, что его императорскому величеству будет благоугодно приказать российской армии, коей государь император состоит верховным главнокомандующим, приказать, чтобы соответствующими мерами государственный мятеж, во главе которого будете вы, иеромонах Илиодор, был подавлен.

Вы сказали, быть может, впав во искушение собственным красноречием, слова, звучащие, как Царь-колокол. Но, как вам известно, Царь-колокол никогда не звонил. Он упал со своей призрачной высоты, не проронив ни звука. А потому не правы вы, отец Илиодор, когда сказали: "По грехам нашим дал нам бог царя слабого!" Нет! И я скажу: "По грехам нашим пошлет нам господь мятежника сильного", если таковым будет донской казак, ныне волынский монах из Почаевской лавры.

Так я вещал весною 1907 года в Русском собрании

столичного града Санкт-Петербурга. Может быть, и не совсем так в частности моего выступления, касавшегося Царь-колокола. Это я сейчас выдумал, увлекшись собственным борзописанием, как некогда Илиодор собственным красноречием. Но в остальном я сказал, как было, и возможно точно, поскольку память мне не изменяет.

* * *

На следующий день после заседания в Русском собрании, в богато обставленной гостиной одного дома, я вновь встретился с Илиодором. Он в своей черной рясе восседал на блестящем шелковом кресле. Я подошел к нему под благословение, как полагалось. Перекрестив меня, он спросил:

— Что же это вы на меня вчера так напали?

Я ответил:

— Отец Илиодор, неужели дозволительно, где бы то ни было, так непочтительно, можно сказать, трясти государя императора за шиворот?

Он сказал:

— А что ж, если надо!

В это время кто-то вошел, и разговор прекратился. Но с меня было достаточно — я понял Илиодора.

Через год после нашей встречи, в 1908 году, Илиодор был переведен в Царицын заведующим Святодуховским Троицким подворьем, где широко развернул свою деятельность на смех и горе всей России. Под покровительством сочувствовавшего ему Саратовского епископа Гермогена он воздвиг при своем подворье храм и при нем зал для митингов местного отделения "Союза русского народа". Здесь в своих демагогических проповедях Илиодор уже не ограничивался одними нападками на евреев и интеллигентов, а распространил их на всех "богатеев", то есть на купцов, чиновников и полицейских. Вместе с Гермогеном он открыто громил с церковной кафедры саратовского губернатора графа С.С.Татищева, вынужденного вследствие этого выйти в 1910 году в отставку.

В январе 1911 года последовало постановление Синода о переводе Илиодора в Новосильский монастырь Тульской епархии. Но он не подчинился этому распоряжению и, запершись со своими поклонницами и поклонниками в количестве нескольких тысяч человек в вы-

строенном им храме, объявил голодовку, а затем лег "крестом" среди собора, сказав, что не встанет, пока не будет отменено несправедливое решение Синода. Как это кончилось, сам ли он встал или его подняли, я теперь уже не помню. Но из Петербурга был послан в Царицын, а затем и в Саратов к Гермогену, поддерживавшему Илиодора, Тульский епископ Парфений. Кроме того, для уговоров взбунтовавшихся пастырей в необходимости подчиниться Синоду прибыл по высочайшему повелению флигель-адъютант полковник А.Н.Мандрыка. Однако все увещания успеха не имели: Илиодор остался в Царицыне, а Гермоген был вызван в декабре 1911 года в Петербург на зимнюю сессию Синода.

3 января 1912 года последовало высочайшее повеление о высылке епископа Гермогена из столицы обратно в епархию и об увольнении его от присутствия в Синоде, решения которого он отказался подписать. Но епископ не подчинился высочайшей воле и, оставшись в Петербурге, вызвал к себе из Царицына Илиодора. Вместе они потребовали от Распутина прекратить сношения с царской семьей. В своих интервью газетным корреспондентам непокорные пастыри, считавшие себя "верноподданными монарха", резко осуждали Синод и обер-прокурора В.К.Саблера. Помню, что в левых газетах где-то было даже напечатано:

Надоели, надоели
Гермоген, Илиодор, —
вот уж скоро две недели
их поет газетный хор...

В результате всех этих крамольных деяний 17 января 1912 года Гермоген был уволен на покой, а его соратник Илиодор постановлением Синода заточен в монастырь Владимирской епархии. В 25 верстах от города Гороховца находилась Флорищева пустынь. Там и был заключен иеромонах Илиодор среди леса, тогда дремучего, на берегу Лух.

Однако он и тут не покорился и после неудачной попытки бегства из пу́стыни обратился в октябре 1912 года в Синод с резким обличительным посланием к "поклонникам "святого черта", грязного хлыста Гришки Распутина". Он просил снять с него сан и отлучить от церкви, "кощунственно прикрывшейся именем божиим". Не получив ответа, Илиодор послал в Синод 20 ноября 1912 года "отречение" от бога, веры и церкви, которое

подписал кровью, разрезав бритвой руку. Только после этого состоялся суд, и Синод 17 декабря 1912 года снял с него сан. Илиодор был освобожден из монастыря и уехал к себе на Дон, где женился под мирским именем Сергей Труфанов. Но вскоре его привлекли к дознанию по обвинению в оскорблении царской семьи. Бывший монах-бунтарь не стал дожидаться окончания этого дознания и, переодевшись в женское платье, бежал 2 июля 1914 года за границу. Там он поселился в Христиании, ныне Осло, где написал книгу о Распутине, изданную в Москве в 1917 году под заглавием "Святой черт". Революция застала Илиодора в Америке. Тоска по былой славе не покидала его. И вот в 1920 году бывший "верноподданный" снова появлятся в Царицыне, где под именем "русского папы" основывает "живую церковь". Объявив себя "патриархом всея Руси", он вторично выступил, но теперь уже не против Синода, а против главы православной церкви Тихона. Конец Илиодора мне не известен.

* * *

В числе слушавших Илиодора в тот знаменательный вечер в Русском собрании в Петербурге был и еще один "верноподданный". Политик крайне правого направления, как-то позже он сказал мне: "Когда я вас слушал в Русском собрании, я подумал, что вы октябрист".

Это в его устах было почти оскорблением, несмотря на то, что октябристы, воспринявшие добросовестно манифест 17 октября 1905 года, были лояльнейшие монархисты. Этот правый, так же как и Илиодор, был монархистом для вида. Сущность его была революционна. Поэтому в историческом аспекте невольно напрашивается нижеследующая мысль.

Большевики, возглавившие революционное движение, не могли не прийти к власти потому, что, опираясь на народ, они наносили удары монархии слева. А правые? Правые, сами того не ведая, помогали им, нанося удары монархии справа. Это стало ясно, когда Пуришкевич восстал в 1911 году против Столыпина, и еще яснее, когда в 1916 году он убил Распутина. Как бы ни был Григорий Ефимович грязен, он все же был ближайшим "другом" императорской четы. Убив его, монархист Пуришкевич нанес удар монархии.

Когда известие о том, что Распутин убит, достигло

Москвы, в императорском театре шел спектакль. Публика, не сговариваясь, покрыла это известие аплодисментами и потребовала исполнения национального гимна. Это происшествие бросает яркий свет на сумбурное состояние умов тогдаших русских монархистов.

Но эта неразбериха и чувства, отрицавшие друг друга, начались гораздо раньше, и особенно ярким примером таких "героев нашего времени" был уже упомянутый мною "верноподданный". Он, несомненно, разделял психологию Илиодора. Кроме того, у него начиналась уже некая мания преследования.

Однажды мы оба присутствовали на большом политическом ужине, устроенном после благотворительного спектакля, имевшего целью поддержать материальные средства народившейся в то время группы студентов-академистов. Эта молодежь защищала академию, то есть университеты, от вторжения политики. Она требовала, чтобы студенты прежде всего были студентами, учились, а не занимались политикой.

Но, так как в то время все шло вверх тормашками, академисты сами стали политической партией, и очень активной. Я тоже, кончая университет в 1899 году, защищал свое право слушать лекции с револьвером в руке.

Естественно, что этот "верноподданный" и я попали на академический ужин. Случилось так, что я сидел за столом рядом с его женой, черноокой немкой из Риги, между прочим, очень красивой. Неожиданно она сказала мне:

— Наклонитесь немного, чтобы закрыть меня от моего мужа.

Так как он был очень ревнив, то естественно, что я спросил ее:

— Неужели он и ко мне вас ревнует? Ведь для этого нет никаких оснований.

Она ответила разумно:

— Для ревности оснований не надо. Но я просто хочу поесть икры.

— Что же вам мешает?

— Он не позволяет мне есть икры, потому что, говорит, в икре легче всего дать отраву.

Я положил ей незаметно от мужа икры на тарелку, но через несколько дней столкнулся с таким же проявлением мании преследования.

Мы пили с ним кофе как-то утром в известной кофей-

не Андреева. Вечером этот подвал был до отказа набит дамами легкого поведения. По утрам там подавали хороший кофе. Приличная барышня принесла нам большой поднос с пирожными. Я указал ей на яблочное, лежавшее ближе ко мне, но мой собеседник вмешался.

— Разрешите мне выбрать вам, — сказал он, указывая барышне на точно такое же пирожное, находившееся на другом конце подноса. Она положила его мне на тарелку, а когда отошла, он обратился ко мне:

— Вы очень неосторожны. Никогда не берите то, что вам подсовывают.

— Почему?

— Потому что вас могут отравить.

Это было нелепо, но я не стал с ним спорить. Я предпочел продолжить разговор в направлении общей политики. В то время я уже успел оценить П.А.Столыпина. Он привлекал меня проявлением здравого рассудка перед лицом "илиодоров" и им подобных, но ему грозили и слева, и справа.

Дальнейший разговор с человеком, боявшимся пирожных, раскрыл мне глубокое изуверство, которое в нем таилось. Он выдумывал про Столыпина невесть что и, между прочим, рассказал следующее:

— Когда Столыпин был еще губернатором в Саратове, ему сделал визит какой-то старый генерал. Зашел разговор о превратностях наших дней. И, между прочим, Столыпин сказал:

— Вот, ваше превосходительство, вы сделали мне визит. Я очень благодарен вам за оказанную честь, но этого не следовало делать. Я никак не могу поручиться, хотя я губернатор, за то, что, когда вы будете от меня ехать, на вас не будет сделано покушение.

И опасения Столыпина сбылись. В экипаж старика-генерала бросили бомбу. Правда, он остался жив, но неужели вы будете уверять меня, — при этом глаза маньяка сверкнули победоносно, — что Столыпин не знал о готовящемся убийстве?

Я посмотрел на него как на полупомешанного, но все же спросил:

— Зачем же губернатору Столыпину надо было убивать генерала в отставке?

— Зачем? Как вы наивны! Ведь генерал-то был настоящий правый.

— А Столыпин?

— А Столыпин — левый, скрытый революционер, и

правый генерал, хотя бы в отставке, стоял ему поперек дороги!

После этого я решил держаться от этого политикана подальше, но это мне не всегда удавалось.

* * *

Под Берлином существует городок, носящий имя Виттенау. Быть может, видный русский сановник или его предки были Виттенауер, то есть обитатели города Виттенау. Сужу по аналогии. Фамилия бывшего федерального канцлера Аденауэра обозначает обитатель Аденау.

Сергей Юльевич Витте, как он сам однажды сказал в Государственном совете, был школьным товарищем и другом Дмитрия Ивановича Пихно, другого члена верхней палаты. Таким образом, на старости лет молодые когда-то друзья снова встретились, если не на школьной скамье, то в куриальных креслах законодателей.

Кстати сказать, эти кресла, белые, крытые темно-красным бархатом, как и весь зал Государственного совета в Мариинском дворце, были красивы.

Бывшие товарищи по университету сохранили добрые личные отношения, но политически часто расходились. Д.И.Пихно очень ценил Петра Аркадьевича, а граф Витте был в оппозиции к правительству Столыпина.

Сергей Юльевич родился 17 июня 1849 года в Тифлисе в семье видного чиновника. Окончив физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе, будущий министр путей сообщения и финансов изучал службу движения железных дорог и написал в 1883 году книгу "Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов", принесшую ему широкую известность.

Занимаясь этим делом, он снова должен был сблизиться с Д.И.Пихно, так как диссертация будущего профессора политической экономии и статистики была тоже посвящена железнодорожным тарифам. Не знаю, были ли одинаковы их взгляды в этом вопросе. Не знаю также, каковы были их отношения несколько позднее.

Дмитрий Иванович занимал тогда кафедру в Университете святого Владимира в Киеве. Профессором он стал очень рано, с 1877 года, то есть 24 лет. В числе его слушателей бывали студенты по возрасту старше своего профессора. Однако он должен был прервать свою педа-

гогическую деятельность в Киеве и перебраться в Санкт-Петербург.

Его пригласил в столицу министр финансов Николай Христианович Бунге, бывший с 1887 года по 1895-й — год своей смерти — председателем Комитета министров, по-нынешнему премьер. Но Бунге и сам был киевлянином. Родившись 11 ноября 1823 года на берегах Днепра, он уже 27 лет, в 1850 году, занял кафедру, и тоже по экономике, в Киевском университете, а с 1865 года вступил в управление киевской конторой Государственного банка.

Николай Христианович был из тех немцев, о которых князь А.Д.Оболенский сказал, что их нельзя называть просто немцы, а надо говорить "русские немцы". Будучи лютеранином, Бунге в своем завещании просил, чтобы над его гробом была совершена русская панихида. Не знаю, можно ли считать доказательством его "русскости" то обстоятельство, что при жизни он крестил... кого? Да, меня, многогрешного.

Я его видел только раз. Это было в 1886 году, когда мы перебрались в Петербург. Мне было тогда лет восемь. Вдруг меня позвали в гостиную.

"Иди, иди, твой крестный приехал!"

Мальчик, которым я был, очень смутно представлял себе, что такое крестный. И вдруг он увидел высокого дядю в черном платье с золотом и... о, ужас!.. в белых штанах. Мальчик подумал, что крестный в подштанниках, и хотел бежать.

Позже, когда я в первый раз прочел "Сон Попова" Алексея Толстого, то вспомнил, как познакомился со своим именитым крестным. Как известно, "советник Тит Евсеев сын Попов" испытал непередаваемый ужас, когда оказалось, что "поздравить он министра в именины в приемный зал вошел без панталон".

А дело было так. Бунге заехал с визитом к Дмитрию Ивановичу прямо из дворца, где он представлялся государю в придворном мундире. К этой форме полагались белые суконные брюки.

Я отвлекся. Д.И.Пихно служил недолго. Он разошелся во взглядах с министром, которому был подчинен, и подал в отставку. Однако его успели уже произвести в чин действительного статского советника. Он сделался особой IV класса — "его превосходительством". Вместе с тем он стал наследственным дворянином, то есть и дети его стали дворянами.

Как известно, русское дворянство, в очень значительной части, состояло из таких лиц, отличенных за службу. Это сословие так и называли: служилое дворянство.

Старая аристократия охотно принимала их в свою среду, однако до известного предела. Грань тут казалась порой совершенно незаметной, но по существу была непереходима. Иные чувствовали это больно. Со мною, по счастью, этого не было. Но только потому, что в красивых цветах любезности я всегда искал колючую проволоку даже там, где ее вовсе и не было.

И я опять отвлекся. Ведь я говорил о Сергее Юльевиче Витте. Ему, конечно, приходилось натыкаться на проволоку. Когда он пошел в гору, Санкт-Петербург встретил его враждебно. И даже очень. Императрица Мария Федоровна обыкновенно не вмешивалась в дела своего супруга Александра III. Но тут она будто сказала ему о Витте:

— Говорят, что это тип.

Как ответил император на жужжание столицы?

По-царски. Он позвал Сергея Юльевича и сказал:

— Мне говорят про вас черт знает что. Не обращайте на это внимания и помните одно: у вас за спиной царь!

Как Витте сделал свою большую, можно сказать, блестящую карьеру? Он после ”железнодорожных тарифов” остался и дальше ”на рельсах”, то есть занимался железнодорожными делами, хотя не был ”путейцем”, а кончил математический факультет. Его железнодорожная карьера была не менее головокружительной, чем впоследствии политическая. Поступив на службу в управление казенной Одесской железной дороги, он скоро был переведен в Петербург на место начальника эксплуатационного отдела Юго-Западных железных дорог, а затем, после переезда в Киев, назначен управляющим. Юго-Западные дороги принадлежали частной компании, которую считали богатой и передовой в смысле строительства. Начальник дороги получал сорок тысяч рублей в год, в то время как жалованье министра было семнадцать тысяч. Надо думать, что со временем Витте, при его способностях, занял бы это место, то есть получал бы зарплату вдвое выше министерской. Но судьба решила иначе.

* * *

В 1888 году мне было десять лет. Однако я хорошо помню ”охи” и ”ахи”, и всякие разговоры, и причитания

по поводу того, что царский поезд рухнул с откоса недалеко от станции Борки. Императорская семья уцелела, но младшая дочь царя Ольга получила сильный удар в спину, и бедная девочка осталась горбатенькой навсегда.

Крушение в Борках стало изображаться как чудесное спасение царской семьи. Богомольные старушки называли это происшествие "святая катастрофа".

В зрелом возрасте я узнал, что "святой катастрофы" могло бы не быть, если бы царь принял во внимание предупреждение, сделанное управляющим Юго-Западных железных дорог С.Ю.Витте.

Он утверждал, что громадный императорский поезд был очень тяжел. Его не могли тащить пассажирские паровозы, а потому пришлось впрячь в поезд два товарных локомотива. Эти "битюги", если их гонят скорее, чем положено, начинают раскачиваться так, что могут сорвать шпалы с места, рельсы последуют за ними, поезд с них соскакивает и происходит крушение.

Все это гораздо полнее и лучше изложено в мемуарах С.Ю.Витте и А.Ф.Кони, хотя эти два мемуариста несколько расходятся в своих показаниях. Но, несомненно, что когда крушение произошло, согласно предсказанию Витте, то Александр III вспомнил о предупреждении юго-западного железнодорожника. Это обстоятельство, возможно, и было причиной быстрого возвышения Витте и его блестящей карьеры.

На другой же год после этого события он был назначен по желанию Александра III директором департамента железных дорог министерства финансов, а 15 февраля 1892 года — министром путей сообщения. 30 августа того же года Витте занял пост министра финансов.

С этого времени Сергей Юльевич стал работать в двух направлениях: поправлять российские финансы и строить железные дороги. Впрочем, были еще третье и четвертое направления. Он покровительствовал техническому просвещению, и под его нажимом строились высшие школы, в том числе и киевский политехникум имени Александра II. Здесь он опять сошелся со своим старым товарищем Д.И.Пихно, который участвовал в постройке этого политехникума.

Четвертое направление было менее почтенное, во всяком случае, спорное. Витте ввел казенную монополию на водку, и, таким образом, казна стала торговать отравляющим зельем, прозванным народом "монополь-

кой". Более непримиримые противники этой политики говорили прямо, что казна спаивает народ.

Предвидя эту критику, Витте одновременно с введением казенной монополии на водку начал учреждать общества трезвости. Санкт-петербургское общество трезвости не скупилось на расходы. Был построен Народный дом на десять тысяч человек. В нем были театры и всякие другие развлечения.

Однако на пьянство деятельность общества трезвости заметного влияния не оказала. Предполагалось, что зрелища будут отвлекать народ от водки. Но эта благая мысль была опрокинута действительностью. Даже когда появился кинематограф, этот поистине народный театр в грандиозных размерах, люди не перестали пить. Посмотрев интересную программу, они кончали вечер в обществе еще более соблазнительного зеленого змия.

По сравнению с прежним, доход казны от винной монополии значительно увеличился. Качество водки улучшилось. Чтобы бороться с воровством, Витте дал служащим винной монополии сравнительно высокие оклады, чем привлек несколько лучший состав продавцов.

Однако картины, разыгрывающиеся перед магазинами "монопольки", были отвратительны. Раньше люди пили в кабаках и корчмах. Там они сидели за столами и кое-чем закусывали. И как-никак не только орали пьяные песни, но иногда и беседовали. Кабак был в некотором роде клубом, хотя и низкопробным. После реформы кабаки закрылись. Потребители водки пили ее прямо из горлышка на улице, и упившиеся лежали тут же.

По инициативе же Витте стала строиться Сибирская железная дорога — событие великого значения. На памятнике Александру III было начертано: "Строителю Великого Сибирского пути".

В 1897 году Витте провел денежную реформу, основанную на золотом размене, для чего был создан золотой запас в полтора миллиарда рублей. Он привлек в Россию иностранные капиталы в сумме до трех миллиардов рублей. Это вызвало оживление в развитии промышленности и разных предприятий, например в постройке трамваев. Витте поднял вопрос о добровольной ликвидации поземельных крестьянских общин. Разрешения этого вопроса давно уже требовали экономи-

сты Киевского университета, начиная с профессора Н.Х.Бунге.

22 января 1902 года было создано особое совещание о нуждах сельского хозяйства, председателем которого был назначен Витте. Это совещание отличалось широким размахом. Было создано 536 уездных комитетов. В общем, совещания, центральное и провинциальные, вынесли постановление о желательности передать надельную землю в личную собственность крестьян. Если вспомнить, что надельных земель было 148 миллионов десятин, то предстояла грандиозная реформа. Но Витте не удалось ее начать из-за сопротивления министра внутренних дел В.К.Плеве. Однако то, что не посчастливилось сделать Витте, удалось П.А.Столыпину законом 9 ноября 1906 года. В этом, как мне кажется, и была истинная причина лютой ненависти Витте к Столыпину.

В отношении дальневосточной политики линия Витте была двойственной. Он стремился к выходу на Тихий океан, то есть к порту Дальний, по причинам экономическим, но был против постройки военной крепости Порт-Артур, так как опасался преждевременной войны с Японией. При его участии по русско-китайскому договору 1896 года была построена в 1897 — 1903 годах Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), имевшая большое значение для экономических связей России с Китаем. Борясь с группой статс-секретаря царя А.М.Безобразова, Витте осуждал захват Кореи с целью эксплуатации ее естественных богатств созданным этой группой в 1901 году "Русским лесопромышленным товариществом" на реке Ялу. В этом отношении Сергей Юльевич опять сошелся с Д.И.Пихно, считавшим возню в Корее опаснейшей игрой.

Однако противник авантюристического захвата Маньчжурии и Кореи был 16 августа 1903 года отстранен от должности министра финансов и назначен на формальный пост председателя Комитета министров.

Несомненно, крупной заслугой Витте является заключение 23 августа 1905 года в США Портсмутского мирного договора с Японией. Вопреки звуковой перефразировке слова "Портсмут", звучащего как "Порт смут", никаких смут в этом порту не произошло. Наоборот, было достигнуто выгодное для обеих сторон взаимное согласие. После неудачной войны с Японией в России ожидали тяжелых условий, большой контрибуции и зна-

чительных территориальных уступок. Витте удалось отбиться от какой-либо контрибуции, а в смысле территории Россия отдала Японии лишь пол-Сахалина, что не было особо чувствительной потерей. За этот мир Витте совершенно заслуженно получил графский титул. Тем не менее пересмешники сейчас же стали острить, называя Сергея Юльевича графом "полусахалинским". Но Портсмутский мир, пожалуй, был лебединой песнью Витте.

* * *

17 октября 1905 года последовал высочайший манифест, которым возвещались разные свободы и представительный строй в лице Государственной думы. Этим думали успокоить страну, больно переживавшую поражение на Дальнем Востоке. Как известно, результат получился обратный. Либеральные реформы только подзадорили революционные элементы и толкнули их на активные действия.

Между тем среди лиц, можно сказать, исторгнувших манифест у Николая II, был и Витте. Этих лиц было трое.

Первым был беспартийный адвокат Г.С.Хрусталев-Носарь, сумевший в роли председателя Петербургского Совета рабочих депутатов сорганизовать в 1905 году грандиозную всеобщую политическую забастовку. Тогда встало все: почта, телеграф, железные дороги. Закрылись магазины, газеты, театры. Вся жизнь замерла. И даже Царское Село было отрезано от Петербурга, потому что царскосельская железная дорога тоже стояла.

Вторым был командующий Петербургским военным округом великий князь Николай Николаевич, еще более сгустивший удручающую атмосферу, умоляя царя о манифесте. Как говорили, он грозил даже застрелиться, если манифеста не будет. Он утверждал, что не может ручаться за войска, готовые взбунтоваться, и это, видимо, было правдой.

Наконец, третьим был Сергей Юльевич, настоявший на манифесте. В связи с введением представительного строя в апреле 1906 года Комитет министров упразднили. Его административные функции были распределены между Государственным советом и Советом министров, председателем которого был назначен граф Витте. Но поскольку манифест не достиг цели и Сергей Юльевич скомпрометировал себя в глазах государя, он

вынужден был покинуть 16 апреля 1906 года пост председателя Совета министров, оставшись членом Государственного совета, где сделался главой оппозиции. Скончался он во время войны 28 февраля 1915 года, оставив после себя ценные "Воспоминания".

* * *

Государю доложили, что проект реформы земств в западных губерниях — "выдумка Столыпина", никем не поддерживаемая, — значит, меня еще раз обманули, — сказал будто бы царь, и проект был похоронен. Столыпин узнал мнение государя, что его, мол, "еще раз обманули", у него не было иного выхода, как подать в отставку.

Но царь... отставки Столыпина не принял.

Столыпина некем было заменить. Санкт-Петербург об этом много сплетничал. Например, однажды жена Столыпина, урожденная Нейдгарт, устроила у себя званый обед. Приглашены были разные сановники, статские и военные. Был обычай, что в таких случаях снимали оружие, то есть оставляли шашки в передней. При оружии обедали только у царя. Но на этот раз у Ольги Борисовны Столыпиной военные не сняли оружия, а обедали при шашках и кортиках. Это нарушение этикета дошло до сведения царицы. И она будто бы уронила:

— Ну что ж, было две императрицы, а теперь будет три: Мария Федоровна, Александра Федоровна и Ольга Борисовна.

Этот анекдот, если это анекдот, бросает свет на атмосферу, окружавшую трон. Царствующая императрица Александра Федоровна не любила вдовствующую императрицу Марию Федоровну, мать Николая II. Такая антипатия нередко бывает между невесткой и свекровью. Но тут была и еще одна причина. Вдовствующая императрица ценила и поддерживала Столыпина. Она понимала, что он крупный государственный человек, сменивший С.Ю.Витте. Но для Столыпина преемника не было видно.

Царствующая императрица не любила Столыпина по той же причине, то есть что он сановник большого калибра. Он как бы заслонял от народа царя — ее супруга.

Может быть, она была права. В Столыпине были ка-

чества, необходимые самодержцу, которых не было у Николая II. Это сказывалось хотя бы в отношении к собственной жене.

Императрица Александра Федоровна обладала не только талантом язвительной насмешки. Она хорошо рисовала карикатуры. И вот говорили, что будто бы царь иногда находил на своем письменном столе произведения вроде следующих.

Он, император, в короне и со скипетром в руках, изображен в виде грудного младенца на руках матери. Это была стрела в адрес вдовствующей императрицы.

А другая карикатура представляла его же, Николая Александровича, в уборе XVII века и с лицом безвольного царя Федора Иоанновича. А надпись гласила: "Что ж, я царь или не царь?!"

Николай II будто бы добродушно смеялся над карикатурами жены.

Но дело в том, что цари живут в стеклянных дворцах. Все, что делается в их стенах, становится сейчас же известно. И столица тоже смеялась над самодержавным царем, но далеко не добродушно. И это было грязно. Брюзжащий Санкт-Петербург называл царя "наш царскосельский полковник". Полковник потому, что после смерти Александра III никто не мог произвести Николая Александровича в генеральский чин.

Когда Столыпин подал в отставку, Петрополь испугался, нахмурился, помрачнел. Три дня висела над Невой черная туча. Царь настаивал, чтобы Столыпин остался, а оскорбленный премьер не соглашался.

Газеты же воспользовались случаем, чтобы лягнуть копытом шатающуюся власть. Появилась некая поэмка, в которой изображался Борис Годунов. Изображался так, что выходил Столыпин.

И даже лидер партии кадетов, профессор Павел Николаевич Милюков заявил с кафедры Государственной думы 15 марта 1911 года под рукоплескания слева: "Благодарите нового Бориса Годунова за его меры!"

Императрица Александра Федоровна могла бы повторить свое собственное изречение: "Было две императрицы, теперь будет три. Недаром у Ольги Борисовны обедают при шашках и кортиках".

П.А.Столыпина очень многие не любили. Прежде всего царица. Затем граф С.Ю.Витте. Мне кажется, что этот крупный сановник завидовал своему преемнику и не мог

примириться с тем, что после отставки с поста премьера он был назначен в Государственный совет, называвшийся складом уволенных министров, старичков — "звездная палата"!

Словом, Петербург был взволнован и трепетно ждал: чем же все это разразится?

И разразилось...

* * *

Я вообще ложился поздно, а в эти дни и подавно. Заботливый Назар принес мне утренний чай и разбудил меня. Когда я завтракал в постели, ко мне вошел Дмитрий Иванович. Он был в халате, но с газетой в руках, и, входя, сказал: "А и тяжелая рука у Петра Аркадьевича!"

В его голосе было одновременно и одобрение, и осуждение.

Случилось вот что. Государственный совет и Государственная дума были распущены на три дня. Когда в субботу 12 марта 1911 года депутаты Государственной думы собрались в Таврическом дворце, председатель А.И.Гучков, открыв в 11 часов 14 минут очередное заседание, объявил:

— Прошу выслушать именной высочайший указ Правительствующему Сенату: "На основании статьи 99 Основных государственных законов повелеваем: занятия Государственной думы прервать 12 сего марта, назначив сроком их возобновления 15 марта 1911 года".

— Следующее заседание состоится во вторник 15 сего марта в 11 часов утра, — сказал председатель. — Объявляю заседание Государственной думы закрытым.

И все разошлись...

А 14 марта 1911 года высочайшим указом, скрепленным Столыпиным, закон о земских учреждениях в западных губерниях был проведен по статье 87 Основных законов.

Еще в день подписания императором указа о роспуске Думы было вынесено высочайшее повеление об увольнении Трепова и Дурново в заграничный отпуск до 1 января 1912 года за агитацию и резкую оппозицию в Государственном совете законопроекту Столыпина.

Это высочайшее внимание к здоровью В.Ф.Трепова и П.Н.Дурново, конечно, было жестом, удовлетворившим Столыпина. Что он "обманул царя" — это, оказывается, сказали двое полубезумных старичков. Обвинения, про-

изнесенные сумасшедшими, ничего не стоят. Однако один из них, В.Ф.Трепов, не подчинился высочайшему повелению и подал прошение об отставке. 29 апреля 1911 года его отстранили от службы, после чего он занялся частной деятельностью.

Итак, закон о куриальном земстве был проведен по 87 статье Основных законов, для чего палаты и были распущены на три дня. По истечении этого срока они возобновили свою работу.

Уже в первом вечернем заседании Думы после возобновления ее работы, то есть 15 марта 1911 года, были приняты четыре запроса Столыпину — "четыре столба, или кита", — как я тогда выразился, от партий: октябристов, народной свободы, прогрессистов и социал-демократов о незакономерности издания высочайших указов 11 и 14 марта о перерыве заседаний законодательных учреждений и введении на основании статьи 87 земства в шести западных губерниях.

Даже октябристам не понравился "нажим на закон". Верными Столыпину в беде оказались только часть правых и мы, "русские националисты".

Я защищал Столыпина как мог, не за страх, за совесть. Однако защищал слабо, то есть имел плохой резонанс. В заключение своей речи я сказал:

— ...Здесь велась продолжительная атака на П.А.Столыпина. Я не призван защищать его и вам поставлю только один вопрос.

Этот человек взял на себя большую тяжесть: на нем висит роспуск первой Думы, на нем роспуск второй Думы, на нем закон 3 июня, на нем закон 9 ноября, на нем начатая борьба, тяжелая борьба, с беспорядками в высшей школе. Человек перегружен... (смех слева) ...может быть, толкнуть его можно, может быть, вы его толкнете, может быть, он упадет. Но вы мне ответьте: кто подымет тяжесть?

Аплодисменты раздались только на скамьях националистов. Правые молчали. Но среди других мои слова вызвали бурную реакцию.

Наиболее резко критиковал меня армянин, депутат от Области Войска Донского, врач и юрист, присяжный поверенный, кадет Моисей Сергеевич Аджемов.

— Господа, — сказал он, — вот выступает модная ныне группа, которая как бы заявляется группой правительственной. Выступает новоявленный ее лидер, депутат Шульгин, и что же мы слышим? Депутат Шульгин

сказал нам: главное, что здесь было сказано, это то, что все было направлено против П.А.Столыпина. Он, по словам депутата Шульгина, "перегружен". Он перегружен, говорит депутат Шульгин, роспуском двух Дум, он перегружен законом 3 июня, который есть акт государственного переворота, он перегружен актом 9 ноября, который, по-видимому, и с точки зрения депутата Шульгина, был незаконно проведен по статье 87, раз он его ставит на одну доску с законом 3 июня, он перегружен, наконец, сегодняшним днем, и мы надеемся, что этот груз будет такой, который понесет его ко дну.

Господа правые, что же вы молчите, — вы, которые всегда бряцаете своим монархизмом? Что же вы не придете и не скажете, что пред глазами всей России колеблются этим человеком те принципы, которые вы защищаете, бессилие которых этой компенсацией было в полной мере подчеркнуто. Нельзя простирать свое угодничество до предела забвения своих принципов.

Немало упреков по моему адресу высказал также представитель фракции прогрессистов, служивший чиновником особых поручений при варшавском губернаторе Гурко и министре внутренних дел Плеве, гласный Саратовской городской думы и саратовского уездного земства, граф Алексей Алексеевич Уваров:

— ...Я считаю, — сказал он, — что так как правительство тут отсутствует, то господин Шульгин является в данное время правительственным оратором... Я должен сказать Шульгину: я был лично всегда против закона о западном земстве.

Я думаю, господа, что вам (обращаясь вправо) до западного земства совершенно нет никакого дела и до статьи 87 нет никакого дела, вы просто бессловесно, слепо преданы тому лицу, которое имеет власть.

В этом отношении я вам напомню следующее: в начале прошлого столетия был граф Аракчеев, у него на девизе было написано: "Без лести предан". Да, без лести предан он был Александру I, а вы, господа, преданы П.А.Столыпину, это так, но слова "без лести" вы не можете написать на вашем девизе.

...В данное время, если вы будете поддерживать Столыпина, то вы сами себя уничтожите. Зачем вы тут сидите, никому не нужные? Оставьте одни манекены, которые на все, что им будет говорить Столыпин, будут говорить: да.

Но наибольшее впечатление на этом заседании Думы

произвела речь В.М.Пуришкевича. Несомненно, что в истории России не забудется имя этого заблуждавшегося и мятущегося, страстного политического деятеля последних бурных и трагических годов крушения империи. А эта его речь показывает, насколько потрясены были устои шатающейся власти актом 14 марта 1911 года.

Кроме того, она объясняет психологически, почему Пуришкевич, будучи ярым монархистом, пошел все же на убийство Распутина, которого боготворила царская семья.

Пуришкевичу бурно аплодировали слева, но это его не смутило и не остановило. Выступление его было настолько неожиданно, что даже старообрядец, крестьянин села Мельница, депутат от Витебской губернии Ю.К.Ермолаев недоуменно сказал:

— Когда взошел на трибуну господин Пуришкевич, я не знал, кто это говорит: говорит ли это Пуришкевич или это говорит Гегечкори. Мне кажется, что здесь просто смешение языков!

Привожу наиболее характерные места из речи Пуришкевича, как документа, отражающего смятение и потрясение умов кризисом власти:

— ...Помимо закона, данного государем, о котором мы рассуждать не можем, есть действия председателя Совета министров, и об этих действиях я и хочу говорить, ибо в данный момент только холоп может молчать после того, что сделано в отношении нас, и в частности, скажу я, как член этой палаты, и меня. Председатель Совета министров низринул авторитет и значение Государственного совета.

...Председатель Совета министров П.А.Столыпин, уязвленный в тот момент, когда он говорил о законе введения земских учреждений без успеха, решил свести личные счета с членами Государственного совета по назначению. Пользуясь своим влиянием, он исказил дух и смысл их речей и позволил себе нанести этим самым косвенный удар Государственному совету, дискредитируя на многие годы значение этого высокого, авторитетного учреждения в пределах империи.

В такой момент, когда требуется наибольшее напряжение правых сил империи, в момент, когда империя находится накануне, может быть, глубоких внешних и внутренних потрясений, председатель Совета министров из чувства личной, не государственного характера, а личной мести позволил себе сосчитаться, крича всюду о за-

конности, с председателем правых Государственного совета П.Н.Дурново. Националисты правой партии кричат: "ой, ой, ой!", но господа националисты прятались по норам в годы смуты, тогда, когда П.Н.Дурново, которому Россия фактически обязана своим успокоением, работал, как вол, над разбитием революционных сил и добился в этом отношении блестящих результатов.

Не тот националист, который кричит о том, что он национален, а тот националист истинный, который работает в духе сохранения исконных русских традиционных начал.

Во что желает обратить председатель Совета министров Государственный совет? В свою канцелярию? Но он никогда добиться этого не сможет, ибо утрачивается всякое желание работать под известной ферулой, под палкой председателя Совета министров, а если председателю Совета министров не угодил, то пожалуйте вон, уезжайте за границу.

Да, господа, сегодня днем, в то время, когда мы занимались, мне стало известным, что П.А.Столыпин удостоил П.Н.Дурново письмом, где говорит, что вы можете выезжать за границу, так как вы нездоровы, и тот ответил: я здоров и в России остаюсь. Господа, П.А.Столыпин, который говорил здесь неоднократно о закономерности, сейчас приводит нас ко временам, не только не пахнущим свободой 17 октября, не ко временам Бирона даже, но к гораздо худшим, когда неугодных людей выдавали головой тем, которые требовали этого. И П.А.Столыпин, считая для себя невозможным бороться с П.Н.Дурново силой своих убеждений, хотя поставлен выше него, потребовал выдать головой себе своего политического противника, одного из самых выдающихся, сильных, мощных и талантливых людей России.

Вот что сделал Столыпин. Представитель фракции националистов В.В.Шульгин обратился к вам, защищая здесь роль П.А.Столыпина, говоря: "Вы сгоните, вы повалите его, но кем замените?"

На это отвечу я здесь националистам: гнать мы права не имеем, мы на царские права не посягаем, заменять мы также не имеем права, но мы полагаем, что жалка была бы та страна, жалок был бы тот народ, у которого только на одном лице зиждилась надежда на спасение и на оздоровление России.

* * *

При Павильоне министров в Таврическом дворце безотлучно находился чиновник, которого на думском жаргоне называли "заведующий министрами". К нему обращались члены Государственной думы по всяким делам. Это был действительный статский советник Лев Константинович Куманин, чиновник особых поручений при председателе Совета министров.

Из так называемого Полуциркульного зала уходила застекленная веранда. С наступлением темноты она задергивалась зеленого бархата занавесью, чтобы снаружи не было видно министров, идущих в зал заседаний из своего павильона. На Столыпина было достаточно покушений. Стрелять же по стеклянной галерее из Таврического сада было возможно. Из этих соображений, вероятно, была занавесь во всю длину галереи.

В кабинете Куманина хранились все русские и нерусские законы, энциклопедические словари и прочие справочники.

Этот высокопоставленный чиновник отличался чрезвычайной вежливостью, но притом хранил некую холодную недоступность. Я никогда не видел улыбки на его лице. Он был, как говорится, застегнут на все пуговицы, в переносном смысле, а в действительности не застегивал ни одной, потому что длинный черный сюртук, который он неизменно носил, застегивать не полагалось. Отвороты этого сюртука были обшиты черным же шелком, а жилет оторочен снежно-белой тесьмой. Он носил крахмальные воротнички и галстук, заколотый золотой, но скромной булавкой. Если бы он не горбился слегка, его можно было бы назвать "радостью портных". Он одевался, как Столыпин, то есть без щегольства, но изящно.

Куманин работал выше своих сил, но никому не давал этого заметить. Здоровье вещь интимная, а быть в интимных отношениях с кем бы то ни было на службе не полагалось.

Он подошел ко мне:

— Петр Аркадьевич просит вас посетить его.

Кроме меня были приглашены П.Н.Балашев и еще кто-то, не помню.

Петр Николаевич Балашев был председателем нашей фракции "русских националистов". После "октябрей" мы были самые сильные, численно.

Созвездие — Столыпин, Гучков, Балашев было поясом Ориона. Все, что предлагалось Столыпиным, если с ним были согласны Гучков и Балашев, имело большинство и проходило через Думу.

Прием состоялся поздно ночью, что было в обычае. Он ложился в четыре часа утра, начиная работу в девять. Поэтому-то важные приемы были поздней ночью.

Когда мы вошли, Петр Аркадьевич прежде всего обратился ко мне. Он протянул мне руку, искалеченную не знаю при каких обстоятельствах, но она еще способна была на крепкое рукопожатие. А я в это мгновение подумал, что это та самая рука, про которую мой отчим, Дмитрий Иванович, сказал: "А и тяжелая рука у Петра Аркадьевича!"

А Петр Аркадьевич обратился ко мне: "Очень вам благодарен, что вы меня защищали. Но меня нельзя защитить".

Затем он продолжал, обращаясь ко всем:

— То, что я сделал, конечно, есть "нажим" на закон. Статья 87 Основных законов предназначена для более продолжительных сроков. Но это не указано в ней. Поэтому формально я прав, я не нарушил Основных законов. Но только формально. Если добросовестно толковать намерения законодателя, то мое толкование есть именно "нажим на закон". И защищать меня можно, но защитить нельзя.

Последнюю фразу он снова обратил ко мне, смягчая ее благодарной улыбкой.

Потом продолжал, обращаясь ко всем. Это была защитительная речь, обращенная поверх наших голов, — ведь мы его не судили, а защищали:

— Но что же мне было делать? Вы помните, конечно, что не очень давно государь принял депутацию, состоящую исключительно из крестьян. И между прочим, обращаясь к западным крестьянам, царь сказал: "У вас будет земство".

Эти слова слышала вся Россия, так как они были обнародованы. Можно ли так играть царским словом? Царь обещает, а царские сановники отменяют. Это значит трясти трон. Я не мог оставить этого без отпора. Иначе я присоединился бы к тем, что подрывают авторитет монарха "ведением и неведением".

Западные крестьяне, которым царь обещал земство, по-видимому, полагали укрепить свои позиции в Думе, где в то время они были представлены семнадцатью

депутатами из общего количества в шестьдесят один человек. Однако реформа, проведенная Столыпиным путем "нажима", не дала для них ожидаемых результатов. В четвертую Думу шесть западных губерний смогли послать лишь четырнадцать крестьян.

Что последовало дальше, моя память не сохранила. Вероятно, ничего существенного. Ведь для того Петр Аркадьевич и просил нас приехать к нему, чтобы, так сказать, облегчить душу перед друзьями, от него не отступившими в трудную минуту.

Однако, надо признать, что, совершив "нажим на закон", Петр Аркадьевич переиграл. Пожалуй, было бы лучше дать острастку В.Ф.Трепову и П.Н.Дурново за неверное информирование царя и не спешить так с западным земством. Правительство имело право внести закон вторично в Государственную думу через некоторое время. Это не было бы так эффектно, но более конституционно. И авторитет Столыпина не пострадал бы, а это было важно. Очень важно.

А тогда председатель Совета министров ждал, когда улягутся в стенах Таврического дворца разбушевавшиеся страсти, и только 27 апреля 1911 года выступил с ответом на четыре запроса по поводу применения 87 статьи и роспуска на три дня законодательных палат. Он заверял Думу, что этот акт был не умалением, а укреплением прав народного представительства.

Однако народные представители с этим не согласились и подавляющим большинством 203 голосов против 82 приняли на этом заседании формулу перехода к очередным делам, признававшую нарушение статьи 87, действия же правительства незакономерными, а его объяснения неудовлетворительными.

Авторитет наследственной монархии падал не только в России. На помощь ему выступили "вожди", иначе сказать, нарождающийся фашизм. Муссолини спас на время Савойскую династию в Италии. Но я полагал, что предшественником его был Столыпин. Он сделал попытку спасти династию Романовых при помощи реформ. Он сохранил Государственную думу, но, торопя медленный ход пятисотголовой колымаги, главную болячку России, безобразное обращение с землей, пытался лечить в спешном порядке.

А "нажим" не ускорил законодательную процедуру с западным земством. Хотя положение о земстве и было снова внесено в Государственную думу, она так и не об-

суждала его, и судьбу этого законопроекта пришлось решать уже четвертой Думе.

Выстрел в Киеве

1 сентября 1911 года я был где-то в Крыму, а может быть, на пароходе. В этот день, или точнее сказать, вечером этого дня, агент Киевского охранного отделения Д.Г.Богров выстрелил в киевском театре в председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина, смертельно его ранив. Таким образом, я не был свидетелем этой катастрофы, но мой отчим был и рассказал мне.

Почему это случилось в Киеве, в городе, не только самом монархическом в России, но и самом "столыпинском"? Знаменитая телеграмма Столыпина: "Верю, что свет национализма, загоревшегося на западе России, в скором времени озарит всю страну", была адресована Киеву в лице клуба киевских националистов. Может быть, Столыпину следовало быть убитым именно в Киеве, чтобы его могли похоронить в Киево-Печерской лавре, тысячелетней русской святыне. И до сих пор, хотя рухнул Успенский собор Киевской лавры, стоит около этих развалин большой черный мраморный могильный крест с надписью: "Петр Аркадьевич Столыпин".

Не знаю, какая опера шла в тот день в киевском театре. Быть может, "Жизнь за царя". Но если она не разыгралась в этот вечер на сцене, то она разыгралась в партере театра. И Столыпин, прежде чем упасть на ковер смертельно раненным, совершил в воздухе крестное знамение, осенив им царскую ложу.

Дмитрий Иванович Пихно сидел в четвертом ряду партера. Перед ним сидели министры и другие высокие сановники. Место его было у самого прохода, идущего в направлении сцены от входных дверей. Он видел, как мимо него быстрым шагом прошел какой-то человек, и вслед за тем раздался выстрел. Петр Аркадьевич стоял, опираясь на барьер оркестра, но лицом к зрительному залу, то есть к царской ложе, как это было принято в антрактах. Он был в белом кителе, который сразу залило кровью. Совершив свое дело, человек во фраке побежал обратно.

Разумеется, публика пришла в великое смятение, и

убийца, вероятно, ушел бы, потому что только находившиеся в непосредственной близости от Столыпина, как мой отчим, могли видеть происшедшее. Другие думали, что стреляли в царя, но его в момент выстрела в театре не было.

Богров все-таки не ушел, потому что сцену убийства увидел из ложи бельэтажа один человек. Он видел, как Богров побежал по проходу. И когда добежал уже почти до самого выхода, господин из бельэтажа прыгнул на него сверху и сбил с ног. Так убийца был задержан.

Сохранилось письмо еще одного свидетеля этого трагического вечера. Свидетелем этим является сам государь император Николай II. Вот что он писал 10 сентября 1911 года из Севастополя своей матери императрице Марии Федоровне: "...мы только что вышли из ложи во время второго антракта, так как в театре было очень жарко. В это время мы услышали два звука, похожие на стук падающего предмета. Я подумал, что сверху кому-нибудь свалился бинокль на голову, и вбежал в ложу.

Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые тащили кого-то. Несколько дам кричало, а прямо против меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся лицом ко мне и благословил воздух левой рукой.

Тут только я заметил, что он побледнел и что на кителе у него и на правой руке кровь. Он тихо сел в кресло и начал расстегивать китель. Фредерикс и профессор Рейн помогали ему.

Ольга и Татьяна вошли за мною в ложу и увидели все, что произошло. Пока Столыпину помогали выйти из театра, в коридоре рядом с нашей комнатой происходил шум — там хотели покончить с убийцей. По-моему — к сожалению, полиция отбила его от публики и увела в отдельное помещение для первого допроса. Все-таки он был сильно помят, с двумя выбитыми зубами. Потом театр опять наполнился, был гимн, и я уехал с дочками в одиннадцать часов. Ты можешь себе представить, с какими чувствами?

Бедный Столыпин сильно страдал в эту ночь, и ему часто вспрыскивали морфий. На следующий день, 2 сентября, был великолепный парад войсками...

Вернулся в Киев 3 сентября вечером, заехал в лечебницу, где лежал Столыпин, видел его жену, которая меня к нему не пустила. 4 сентября поехал в Первую киевскую

гимназию — она праздновала свой столетний юбилей. Осматривал с дочерьми военно-исторический и кустарный музей, а вечером пошел на пароходе "Головачев" в Чернигов... Сделал смотр пехотному полку и двум тысячам потешных, был в дворянском собрании, осмотрел музей...

6 сентября в 9 часов утра вернулся в Киев. Тут на пристани узнал от Коковцова о кончине Столыпина. Поехал прямо туда, при мне была отслужена панихида. Бедная вдова стояла, как истукан, и не могла плакать... В 11 часов мы вместе, то есть Аликс, дети и я, уехали из Киева с трогательными проводами и порядком на улицах до конца. В вагоне для меня был полный отдых. Приехали сюда (то есть в Севастополь) 7 сентября к дневному чаю. Стоял дивный теплый день. Радость огромная попасть снова на яхту!

На следующий день, 8 сентября, сделал смотр Черноморскому флоту... Действительно блестящий вид судов и веселые молодецкие лица команд привели меня в восторг. Такая разница с тем, что было недавно. Слава богу!.."

Так в окружении шумных, блестящих парадов и празднеств окончились страдания смертельно раненного премьера Российской державы...

Вероятно, Ольга Борисовна поняла все, когда не пустила к умирающему мужу того, кого он благословил после выстрела. Недаром В.Н.Коковцов говорил: "Если бы Столыпин не был убит Богровым, он был бы в октябре уволен".

Кем же оказался убийца Столыпина? Отец его был богатый еврей, владелец многоэтажного дома на Бибиковском бульваре. Молодой Богров был не только одним из представителей золотой киевской молодежи. Он являлся секретным сотрудником киевской охранки, иначе сказать, киевских жандармов.

Удивительно вот что. Столыпин погиб на десятом покушении. Он вышел невредимым из-под развалин дачи на Аптекарском острове в Петербурге, когда 13 августа 1907 года погибло сорок человек. Он благополучно летал на самолете с летчиком, которому было дано задание убить председателя Совета министров. Не буду перечислять других случаев, однако скажу поразительную вещь. Столыпин многократно повторял: "Меня убьет моя охранка".

Во всяком случае, надо сказать одно. Киевские жан-

дармы пришли в великое смятение, понимая, что их будут обвинять в убийстве главы правительства, а потому Богрова засудили в быстром, экстренном порядке и повесили через пять дней, чтобы замести все следы преступления. Во всяком случае, это была медвежья услуга. Вследствие этой спешности никто хорошенько не узнал правды. А узнать правду надо было.

Сотрудничество охранки с эсерами отчасти раскрыто в запросе социал-демократической фракции Государственной думы по поводу убийства председателя Совета министров, оглашенном секретарем Думы в первом заседании пятой сессии 15 октября 1911 года, в сороковой день со дня смерти П.А.Столыпина. Первый запрос этот подписал примыкавший к большевикам социал-демократ И.П.Покровский-второй.

"1 сентября сего года убит в Киеве председатель Совета министров П.А.Столыпин. Вся обстановка убийства и ряд обстоятельств, сопровождавших его, ясно указывающих на прикосновенность к этому убийству чинов охраны, приковали к себе общественное внимание, поразившее своею необычайностью.

Не вдаваясь в глубь истории, можно указать, что за последнее десятилетие мы имели целый ряд аналогичных фактов убийства высших русских сановников при содействии чинов политической охраны. Никто не сомневается теперь, что убийства министра внутренних дел и шефа жандармов В.К. фон Плеве, уфимского губернатора Богдановича, командующего войсками Московского военного округа великого князя Сергея Александровича, петербургского градоначальника генерал-майора свиты его величества В.Ф. фон-дер Лауница были организованы сотрудником охраны, известным провокатором Азефом...

...Таковы общеизвестные факты из деятельности политической охраны с широко развитой ею системой провокации. Но если эта система требовала жертв себе вверху среди самих творцов и защитников ее, то в стране она уносила тысячи жертв, тяготела над обществом кровавым кошмаром. Культивируемая сверху система провокации расцвела пышным цветом во всей охранной организации до самых ее низов. Повсюду инсценируются: издевательства нелегальной литературы, мастерские бомб, транспортировка из-за границы нелегальной литературы и оружия, подготовка террористических актов, покушения на представителей власти и т.д.

Благодаря такой широкой деятельности тысячи жертв, втянутых этой адской машиной, идут в ссылку, в тюрьму, каторгу, на виселицу. Вся общественная жизнь приносится в жертву молоху русской полицейской государственности. Охрана стала государством в государстве, правительством среди правительства, министерством в министерстве. Товарищ министра, заведующий полицией, стал хозяином положения, перед ним стал трепетать и сам министр внутренних дел.

Таким образом, охрана, созданная правительством как орудие грубого насилия против политически пробудившегося народа, усилила разложение, деморализацию и анархию высших правительственных органов. Она стала орудием междоусобной борьбы лиц и групп правительственных сфер между собою.

Самым ярким проявлением этой анархии органов государственной власти является факт убийства в Киеве председателя Совета министров Столыпина. Столыпин, который открыто перед страной защищал необходимость для современного русского правительства существующей системы политического сыска и охраны, Столыпин, который, по словам князя Мещерского (”Гражданин”. № 37), говорил при жизни: ”Охранник меня убьет”, Столыпин, создавший культ охраны, погиб от руки охранника, при содействии высших чинов охраны. При каких обстоятельствах совершилось убийство Столыпина — известно.

Он убит Богровым, состоявшим на службе в охране ”агентом внутреннего освещения”. Богров был вызван начальником Киевской охраны полковником Н.Н.Кулябко в Киев специально для охраны Столыпина. Он получил входной билет в театр, где совершил убийство, от самого начальника охраны, с ведома других высших чинов охраны на киевских торжествах: чиновника особых поручений при министре внутренних дел обер-вице-директора департамента полиции М.Н.Веригина, начальника дворцовой охраны генерал-майора А.И.Спиридовича и товарища министра внутренних дел П.Г.Курлова, главного руководителя охраны. Богров допущен был в театр для того, чтобы раскрыть там террористов, которые, по его заявлению охране, должны были совершить покушение на жизнь Столыпина.

Приходится предполагать при этом, что чины охраны сознательно, намеренно должны были пропустить в театр и самих террористов, так как все входные билеты вы-

давались охраной и, конечно, с чрезвычайным выбором. Такое предприятие совершалось для наибольшей славы охраны, когда покушение будет остановлено в последний момент. При этом обращает на себя внимание и тот факт, что один из выходов театра не был совершенно охраняем, и Богров после произведенных выстрелов в Столыпина направился именно к этому выходу.

На основании уже этих фактов, ставших достоянием общественного мнения, в обществе вплоть до самых правых его кругов вполне определенно формируется обвинение в несомненной причастности охраны к убийству Столыпина.

Там, где все было сосредоточено на охране, там, где на охрану было затрачено до миллиона рублей из государственного казначейства, там, где охраной непосредственно руководил сам товарищ министра внутренних дел, шеф жандармов, там, где чиновники охраны при содействии высших чинов охраны якобы напрягали все свое внимание на охране Столыпина, — там Столыпин убит".

Далее следует от имени подписавших это заявление следующий запрос председателю Совета министров и министру внутренних дел: "Сознают ли они, что убийство бывшего председателя Совета министров П.А.Столыпина, равно как и другие аналогичные убийства высших сановников, являются естественным логическим следствием существующей организации политической полиции с широко развитой ее системой провокации, которая, естественно, разлагая правящие сферы, кладя на них пятно позора сотрудничества с наемными убийцами, налагает на общество гнет наглого, грубого насилия, парализующего живые силы народа, намерены ли они что-либо предпринять для уничтожения организации политической охраны с ее системою провокации?"

* * *

Как я уже говорил, Столыпина многие в Петербурге не любили и вели против него подкопы. Нельзя, конечно, сказать, что граф С.Ю.Витте, члены Государственного совета П.Н.Дурново, В.Ф.Трепов и многие другие желали или были рады смерти Петра Аркадьевича. Но они так его всенародно поносили, что могла образоваться клика прислужников среди людей, у которых мораль отсутствует.

Но это не все. Императрица Александра Федоровна не скрывала своего нерасположения к председателю Совета министров. Как можно поручиться, что не было таких карьеристов, которые думали, что можно возвыситься, если Петра Аркадьевича не станет?

Тягостное впечатление произвело и то, что те люди, по вине которых был убит глава правительства, не были должным образом наказаны. Расследование действий Киевского охранного отделения по высочайшему повелению от 9 сентября 1911 года было возложено на тайного советника, сенатора, члена Государственного совета Максима Ивановича Трусевича. На основании данных расследования этот сановник составил заключение, переданное им моему однофамильцу тайному советнику, сенатору Николаю Захаровичу Шульгину, который, также по высочайшему повелению, начал предварительное следствие.

Но когда Шульгин привлек к делу главных руководителей охранки: полковника Кулябко, статского советника Веригина, генералов Курлова и Спиридовича, обвиняемых в бездействии, неприятии надлежащих мер охраны убитого премьера и превышении власти, то по приказу императора следствие было прекращено. Из обвиняемых лиц пострадал лишь Кулябко, но не за убийство Столыпина, а за выяснившуюся во время расследования крупную растрату казенных денег, за что его и предали суду. Веригин и Курлов были уволены в отставку, а начальник дворцовой охраны генерал-майор Спиридович, непосредственно отвечавший за благополучие здания театра, поскольку в нем был сам царь, по личному желанию государя не был отстранен от должности даже во время следствия.

* * *

Государственная дума после убийства Столыпина не была созвана на чрезвычайное заседание. Пятая ее сессия открылась, как обычно, 15 октября 1911 года. При этом не было объявлено, что первое заседание, приходившееся как раз на сороковой день после трагической смерти главы правительства, будет посвящено его памяти.

После объявления об открытии заседания было сообщено не об убийстве Столыпина, а об утрате, понесенной Государственной думой в лице ее члена от Минской губернии генерал-лейтенанта в отставке, бывшего началь-

ником жандармских отделений в нескольких губерниях С.Н.Мезенцева. Было предложено отслужить по нем панихиду, память его была почтена вставанием.

Только после этого председатель М.В.Родзянко выступил с прочувствованным словом о покойном Столыпине.

После краткого перерыва Дума перешла к слушанию бесконечного перечня поступивших дел и внесенных законопроектов.

* * *

На четвертый день после смерти П.А.Столыпина на пост председателя Совета министров был назначен Владимир Николаевич Коковцов, бывший в прежнем кабинете министром финансов. Назначение это произошло 9 сентября 1911 года в Киеве, в день отъезда государя в Севастополь. Об этом событии мне рассказывали поразному, но наиболее достоверно оно изложено со слов самого Коковцова в мемуарах графа С.Ю.Витте.

Его величество до самого выезда не принял никакого окончательного решения. Он виделся с Коковцовым и другими министрами, которые в то время там находились, но относительно своих решений ничего не проявил.

Когда уже министры и все власти были на вокзале в ожидании приезда их величеств, отправлявшихся в Крым, вдруг появился фельдъегерь, который направился к той кучке, где стояли министры, и сначала как будто подошел к министру юстиции, а потом к нему, Коковцову, сказав, что государь ждет его во дворце. Коковцов взял автомобиль и экстренно поехал во дворец.

Прибыл он туда, когда государь и государыня уже собирались выходить, чтобы ехать на вокзал. Государь вошел с ним в кабинет и обратился к нему со следующими словами: "Я, Владимир Николаевич, обдумавши всесторонне положение дела, принял такое решение — я вас назначаю председателем Совета министров, а министром внутренних дел Хвостова, нижегородского губернатора".

Камергер Двора его величества, бывший в 1910 — 1912 годах нижегородским губернатором, Алексей Николаевич Хвостов являлся членом "Союза русского народа" и был избран от Орловской губернии депутатом Государственной думы четвертого созыва. Витте характеризует его как "одного из самых больших безобразников, для которого никаких законов не существует".

Быть может, такого же о нем мнения был и Коковцов, так как он обратился к государю и начал умолять его, чтобы он Хвостова не назначал, сказав ему:

— Ваше величество, вы находитесь на обрыве, и назначение такого человека, как Хвостов, в министры внутренних дел будет означать, что вы решились броситься в этот обрыв.

Государь этим был очень смущен, но, видя, что государыня уже стоит в шляпе и его ждет, ответил Коковцову:

— В таком случае я прошу вас принять место председателя Совета министров, а относительно министра внутренних дел я еще подумаю.

Причем Коковцов сказал, что он бы советовал назначить министром внутренних дел А.А.Макарова, бывшего в правительстве Столыпина товарищем министра внутренних дел и директором департамента полиции. Государь эту просьбу уважил и, когда приехал в Ялту, согласно представлению Коковцова назначил министром внутренних дел Макарова. Хвостов был назначен на этот пост лишь 26 сентября 1915 года, когда Коковцов уже не был главой правительства.

* * *

5 декабря 1911 года В.Н.Коковцов выступил в Государственной думе с декларацией нового правительства. Тогда, по крайней мере некоторым, стало ясно, что "невознаградимые потери" есть.

Мой отчим, Дмитрий Иванович, говорил мне по этому поводу:

— Программа как программа, очередная программа. Но разве это нужно России? России нужны крупные реформы, размах и изобретательность. Мы обязаны идти вперед, потому что весь мир идет вперед, и если мы отстанем, нас сомнут.

В начавшихся в Государственной думе прениях по поводу заявления председателя Совета министров В.Н.Коковцова пришлось выступить и мне. Немного перефразировав мысли моего отчима, я выразил свое недовольство не столько самой правительственной программой, сколько личностью Коковцова в роли председателя Совета министров, причем сказал это достаточно недвусмысленным образом:

— Дабы не было никаких сомнений в этом отношении, я совершенно точно скажу, кто моя мишень: я го-

ворю не против правительства вообще, вернее, я буду брюзжать не по адресу правительства вообще, а по адресу главы правительства, и не по адресу министра финансов, а именно главы правительства. Причина того резко изменившегося отношения к председателю Совета министров лежит, по-моему, не в той декларации или тетрадке, как ее кто-то здесь назвал, которая нам здесь была прочитана. По-моему, в этой декларации есть несколько сомнительных фраз, но очень много хороших и разумных вещей.

А дело в том, что как бы мы ни говорили, как бы мы ни расходились в самых разнообразных вещах, однако надо признать всем, что плохо с русским народом. Мы не только безнадежно отстали от наших западных соседей, но даже внутри на этой огромной равнине, которая называется Российской империей, и тут происходит страшная трагедия: мы отстаем от поляков, евреев, финнов, немцев и чехов, отстаем — это факт.

При этих условиях нужны героические усилия, чтобы вывести русское племя на путь.

И вот этих героических усилий, этого творчества, этой вдохновенной личности, этого человека, который будет день и ночь сидеть и думать, что бы сделать в этом отношении, человека, которого я бы назвал, с вашего разрешения, политическим Эдисоном, такового у нас нет.

Конечно, мое выступление не могло пройти не замеченным Коковцовым. Оно задело его за живое. Не упоминая моего имени, он, однако, также достаточно недвусмысленным образом ответил мне в своей разъяснительной речи после закончившихся прений 13 декабря 1912 года...

Но сейчас я думаю, как и раньше. Конечно, Владимир Николаевич не был виноват. Как не был виноват весь класс, до сих пор поставлявший властителей, что он их больше не поставляет... Был класс, да съездился!

Дело Бейлиса

Какие же были факты, на основании которых можно было бы начать против Менделя Бейлиса судебный процесс?

На Верхнеюрковской улице, на окраине Киева, стоял двухэтажный деревянный дом, где на втором этаже жила

со своим мужем, мелким почтовым чиновником, содержательница воровского притона Вера Владимировна Чеберяк. У нее было трое детей — две девочки, Валя и Люда, и мальчик Женя, товарищ ученика Киевософийского духовного училища Андрюши Ющинского. Что квартира Чеберяк посещалась профессиональными ворами, было известно киевской полиции. Веру Владимировну не раз арестовывали, делали обыски, находили краденые вещи, таскали по участкам.

Утром 12 марта 1911 года, в день исчезновения, Андрюша зашел за Женей, чтобы сходить с ним в усадьбу Бернера, привлекавшую детей пустырем, поросшим лесом, расположенным по широкому склону горы, спускающейся к Кирилловской улице. Внизу, за горой, расстилалась просторная даль с излучинами Почайны, виднелся кирпичный завод с такими же навесами, трубами и "мялами", как и на заводе близлежащей усадьбы купца Марка Ионова Зайцева, у которого работал приказчиком Бейлис.

"Мялы" — это сооружения, где мяли, то есть месили, глину для кирпичей. Когда рабочих не было, на этих "мялах" дети играли в карусель, катаясь на свободно вращающемся шесте, прикрепленном к вбитому столбу.

Набегавшись в усадьбе Бернера, Женя со своим товарищем Андрюшей вернулся домой, на Верхнеюрковскую улицу. Это событие прежде всего отмечает обвинительный акт. Но как?

После исчезновения Ющинского Женя Чеберяк рассказал председателю молодежной организации "Двуглавый орел" студенту Владимиру Голубеву, что вернулся домой вместе с Андрюшей. Однако при последующих разговорах с Голубевым он стал отрицать этот факт, хотя свидетели Казимир и Ульяна Шаховские, жившие неподалеку от квартиры Чеберяк, удостоверили, что видели мальчиков вместе у Жениного дома.

Но почему этим делом заинтересовался студент Голубев? Что ему, собственно, было нужно? Одно обстоятельство может сразу все разъяснить. Девизом этого студента служило: "Понеже всякий жид — гад есть". Поэтому-то отказ Жени Чеберяк от первого показания Голубеву свидетельствует, что лица, которые могли внушить такой отказ, были заинтересованы в том, чтобы скрыть возвращение Андрюши из усадьбы Бернера к дому Веры Чеберяк. И эти лица должны были быть для

Жени достаточно авторитетными, чтобы он их послушал.

Указание на Бейлиса впервые появляется в показании Казимира Шаховского, служившего фонарщиком у подрядчика по освещению улиц той окраины Киева. По его словам, через три дня после исчезновения Андрюши он спросил встретившегося ему на улице Женю Чеберяк:

"Ну, как ты погулял с Андрюшей в тот день, когда я видел вас вместе?"

Женя ответил, что им не удалось тогда хорошо поиграть, так как в усадьбе Зайцева их спугнул недалеко от кирпичеобжигательной печи какой-то мужчина с черной бородой.

"Давая такое показание судебному следователю, говорится в обвинительном акте, Шаховской заявил, что, по его мнению, мужчина с черной бородой был приказчик завода Мендель, и при этом высказал предположение, что Мендель принимал участие в убийстве Ющинского, а Женя Чеберяк заманил Андрюшу в усадьбу этого завода".

Вот где начало "дела Бейлиса" — предположение Казимира Шаховского, что названный Женей Чеберяк "мужчина с черной бородой" был Мендель Бейлис, который, по мнению проницательного фонарщика, принимал участие в убийстве Ющинского!

Но почему Шаховского, по утверждению соседей, "редко державшегося твердо на ногах", заинтересовал вдруг вопрос, как Женя Чеберяк "погулял" три дня назад с Андрюшей Ющинским?

Как мог Женя не знать если не фамилии, то хотя бы имени приказчика, жившего 12 лет на той самой заводской усадьбе, где он с Ющинским играл чуть не каждый день? А если знал, то почему не назвал?

Все эти обстоятельства прямо свидетельствуют против разумности предположения о виновности Бейлиса. Это не улика против него, как утверждает обвинение, а наоборот. Но в дальнейшем от такого прочно заложенного "фактического" фундамента фантазия начала быстро разыгрываться, захватывая все большее количество "свидетелей".

Так, жена Казимира Шаховского Ульяна показала, что некая нищенка Анна Волкивна рассказала ей, будто, когда Женя Чеберяк, Ющинский и какой-то третий мальчик играли в усадьбе Зайцева, живущий там мужчина с черной бородой схватил на ее глазах Андрюшу и пота-

щил его при всех, среди бела дня в обжигательную печь. Однако сама Волкивна, оказавшаяся Захаровой, заявила на следствии, что такого разговора она с Ульяной не вела.

Несмотря на это, Ульяна продолжала под чьим-то нажимом добиваться своего и, как показывают документы, в пьяном виде сообщила производившему розыски по делу агенту Полищуку, что муж ее Казимир 12 марта лично видел, как Бейлис тащил к печи Ющинского.

Вот эти-то бессмысленные свидетельства супругов Шаховских, которые к тому же, по утверждению следователя, несколько раз изменяли свои показания и сами себе противоречили, и легли в основу обвинительного акта о предании Бейлиса суду.

К ним были присоединены еще более фантастические документы. Например, записка Бейлиса к своей жене, причем написанная не им, а будто бы от его имени тюремным сидельцем, и переданная вовсе не жене заключенного, а другим тюремным сидельцем тюремному надзирателю.

Показание некоего Козаченко свидетельствовало, будто Бейлис предложил ему за известную сумму отравить двух свидетелей и между ними Наконечного, который, будучи допрошен на следствии несколько раз, неизменно давал благоприятные для подсудимого отзывы.

Муж Веры Чеберяк доносил, будто Женя рассказывал ему о двух приезжавших к Бейлису евреях в необычных костюмах, которых он видел молящимися.

Но кульминационным пунктом обвинительного акта является показание девятилетней дочери Веры Чеберяк Людмилы о том, как она, Женя, Ющинский, Евдокия Наконечная и другие дети катались на "мяле" и "вдруг увидели, что к ним бежит Бейлис с двумя евреями", все дети бросились убегать и успели скрыться, Андрюшу же евреи схватили и потащили к печи. К сожалению, в обвинительном акте не объясняется, каким образом публичное похищение евреями Ющинского на дворе завода не было обнаружено в тот же день и даже в ту же минуту.

Таков был обвинительный акт по делу, взбудоражившему всю Россию и привлекшему к себе внимание всего мира!

* * *

28 сентября 1913 года я опубликовал в № 267 "Киевлянина" критический разбор произведения киев-

ской прокуратуры по делу Бейлиса. Можно себе представить, какую реакцию это вызвало в правых кругах. На редакцию газеты обрушился целый поток самой отборной брани, причем немало было обвинений и в том, что "Киевлянин" куплен жидами".

Но ни один из этих людей, проклинавших меня на все лады, не произнес ни одного слова в опровержение моих утверждений о полной несостоятельности обвинительного акта по делу Бейлиса. И даже после того, как лексикон сквернословия был исчерпан и, казалось бы, пора было бы приступить к спору по существу, юристы молчали.

Почему? Разве среди консервативного русского общества было мало лиц с юридическим образованием или принадлежащих к судебному ведомству? Почему же только брань заливала газетные столбцы, и никто из них не отважился опровергнуть мою критику по существу?

Дело в том, что "Киевлянин" выступал с определенным утверждением о полной неудовлетворительности обвинительного акта только потому, что ему была известна беспристрастная оценка, которую дали этому документу неподкупные юристы.

А почин правдивому отражению этого дела на страницах "Киевлянина" положил Дмитрий Иванович Пихно.

За год до своей кончины он опубликовал в № 148 "Киевлянина" за 1912 год разоблачения, которые были сделаны по делу об убийстве Ющинского начальником киевской сыскной полиции Николаем Александровичем Красовским, жестоко за это поплатившимся.

Это был опытный сыщик, открывший целый ряд крупных преступлений, розыски по которым считались уже прекращенными ввиду отсутствия в руках местной полиции каких-либо нитей к их раскрытию. И когда в деле убийства Ющинского работа чинов местной сыскной полиции потерпела фиаско, тоже был приглашен Красовский. Он с несомненной очевидностью установил, что мальчик Андрюша был убит воровской шайкой в квартире Веры Чеберяк с целью избавиться от мальчика, который знал, что делается в шайке. А ритуальный способ его убийства являлся удобным поводом, чтобы вызвать еврейский погром и замести следы преступления.

Однако вместо благодарности за раскрытие преступления, как писал Дмитрий Иванович в "Киевлянине", Красовский "почему-то был устранен от этого дела. За-

тем он был причислен к штату губернского правления и наконец 31 декабря 1911 года совершенно уволен".

В.Г.Короленко, бывший на судебном процессе Бейлиса, рассказывает:

"Там я видел господина Красовского уже в штатском платье и в очень щекотливом положении: господа "обвинители" настойчиво, упорно и не особенно тонко старались внушить присяжным, что он не просто бывший полицейский, а мрачный злодей, отравивший при помощи пирожного детей Чеберяковой..."

Обвинители старались это внушить потому, что вскоре после нахождения 20 марта 1911 года в пещере на склоне горы в усадьбе Бернера трупа замученного мальчика Андрюши дети Веры Чеберяк, с которыми он играл там, Женя и Валя, умерли от дизентерии. По этому поводу также немало было в газетах всяких кривотолков и намеков.

* * *

Опубликование газетой "Киевлянин" расследований Красовского по делу загадочного убийства Ющинского вызвало в Думе целую бурю. За неделю до роспуска последней, пятой сессии Государственной думы третьего созыва, в 145 заседании 2 июня 1912 года, председатель М.В.Родзянко огласил нижеследующее заявление:

"Нижеподписавшиеся члены Государственной думы предлагают поставить на обсуждение в одно из ближайших заседаний внесенное правой фракцией Государственной думы заявление о запросе министру внутренних дел о незакономерных действиях чинов киевской полиции по поводу следствия по делу об убийстве Андрея Ющинского".

Родзянко понял это заявление таким образом, что авторы его просят назначить особое вечернее заседание для рассмотрения вопроса по существу. Но это было очень трудно осуществить ввиду скопления многих неразобранных дел перед закрытием третьей Думы.

Лидер социал-демократической фракции (меньшевиков) Е.П.Гегечкори ознакомил членов Думы с разоблачениями Красовского, опубликованными в "Киевлянине", после чего обратился к ним с призывом голосовать за внесенное заявление:

— Я полагаю, что все русское, все честное русское общество должно сказать: довольно этого позора, довольно этой лжи, довольно этого человеконенавистничества,

которые развиваются этими господами. Я полагаю, что все те, которые не боятся правды, все те, которые заинтересованы раскрытием истины во всем этом кошмарном деле, должны голосовать за наше предложение.

Между тем Г.Г.Замысловский, внесший полгода назад свой запрос министрам о незакономерных действиях киевской полиции, молчал. Понятно, что после того, что опубликовал Дмитрий Иванович, ему было невыгодно допустить разбор этого дела. Бейлис уже был арестован, все "чины полиции", захотевшие установить истину, устранены, и следствие шло уже по заранее намеченному, угодному ему пути. Поэтому он молчал.

Во время прений по вопросу, назначить или не назначить вечернее совещание для рассмотрения запроса Замысловского, граф Алексей Алексеевич Уваров ехидно задал мне провокационный вопрос, чтобы еще более скомпрометировать правых. Дело в том, что тогда я еще не выступал публично, ни с кафедры, ни в печати, в защиту Бейлиса. Он сказал:

— Мне лично хотелось бы знать, как объяснит почтенный Василий Витальевич Шульгин те разъяснения, которые были сделаны в "Киевлянине", в органе не менее почтенного господина Пихно? Родственная связь этих обоих почтенных членов палат вам известна, поэтому нам, конечно, будет крайне интересно, когда мы будем этот вопрос обсуждать, знать взгляд Василия Витальевича на мнение господина Пихно.

На это я ответил:

— Член Думы граф Уваров сделал мне честь обратиться ко мне с тем, чтобы я высказал свое мнение, вероятно, по тому, что здесь происходит в зале... Я полагаю, что "Киевлянин", который открыл свои страницы для того, чтобы представить на суд общества другое мнение, мнение тоже авторитетное, ибо оно исходит от опытного сыщика, заслуживает такого же внимания, как и мнения тех людей, которые смотрят на это иначе. Но как вы хотите, чтобы не только я, но даже Государственная дума этот вопрос разрешила? Ждите, что скажет суд.

После моих слов приступили к голосованию, и большинством в 104 голоса против 58 было принято решение созвать вечернее заседание по этому делу.

Но, как я уже говорил, практически сделать это было невозможно. Перед закрытием все вечера у Думы были уже заранее распределены. Поэтому накануне последнего

дня занятий, в 10 часов вечера 8 июня 1912 года, лидер партии кадетов Павел Николаевич Милюков, когда этого никто не ожидал, вновь поднял вопрос от имени фракции народной свободы о рассмотрении запроса Г.Г.Замысловского.

Под возмущенные крики правых он сказал, что над трупом несчастного ребенка до сих пор не прекращается погромная агитация, и кошмарная легенда о ритуальном убийстве, пущенная в ход, как теперь оказалось, лицом, близким к предполагаемым убийцам, снова подхвачена и выносится на кафедру Думы. Ввиду того что работа заканчивается, фракция народной свободы требует выполнения недавнего постановления Думы немедленно.

— Пусть бесстыдные агитаторы, — сказал он, — не пропускавшие ни одного случая, чтобы не осквернить трибуны Государственной думы наглыми, лживыми... (Справа шум и голоса: "Что такое, что такое?")... словами кровавого навета... (Справа шум и голоса: "Что такое? Вон оттуда! Бессовестный агитатор! Вон!" Рукоплескания слева, звонки товарища председателя М.Я.Капустина)... получат достойное возмездие. В противном случае третья Дума унесет с собой в историю клеймо морального сочувствия изуверной легенде... (Справа шум и голоса: "Стыдно!")... пущенной в обращение профессиональными преступниками... (Справа голоса: "Бессовестный нахал!")... поддерживаемыми профессиональными погромщиками.

Шум, крики и ругательства заглушили последние слова Милюкова. Его неожиданное и резкое заявление взбудоражило страсти. Конечно, фракция правых была убеждена, что этот вопрос в третьей Думе поднят не будет, когда оставался всего один день ее работы.

Милюкову отвечал Замысловский. Назвав его выступление "крикливым и рекламным", он сказал, что "при такой речи, преисполненной ругательств, спокойствия в Думе быть не может, а нам сегодня с высоты престола сказано, что там, где нет спокойствия, не может быть и настоящего государственного дела".

Прикрывшись, таким образом, сенью престола и разумея под "настоящим государственным делом" осуждение невинного Бейлиса в ритуальном убийстве, Замысловский отмахнулся от всяких разоблачений, заявив, что сколько бы ни кричали "жиды и их подголоски" о важности этих разоблачений — грош им цена. Это сущий вздор, очередная рекламная шумиха.

— В деле Ющинского ничего не изменилось, — сказал он. — Судебная власть написала обвинительный акт о Менделе Бейлисе, написала, что это именно он в соучастии с другими лицами убил, замучил христианского ребенка, что именно эти лица нанесли ему 43 укола, "высосали" кровь. Из всей обстановки дела совершенно ясно, что это убийство ритуальное...

— Развить вопрос о ритуальных убийствах с достаточной подробностью и обстоятельностью с думской кафедры является нашей целью... Приступим к рассмотрению запроса, — воскликнул Замысловский под рукоплескания правых, но добавил, сходя с кафедры: — Хотя развить его, к сожалению, теперь, когда без десяти минут одиннадцать, нельзя.

На это именно он и рассчитывал. Развернулись бурные прения со взаимными оскорблениями и обвинениями, но стрелка часов неумолимо подходила к одиннадцати, когда заседание закрывалось. За выражение "вшивые босяки", высказанное по адресу левых, В.М.Пуришкевич был лишен слова. Но Е.П.Гегечкори, под шум и звонки председателя, успел все-таки сказать рыцарям ритуальных убийств:

— Ваши завывания каннибальские делу не помогут... Вы теперь стараетесь спрятаться в кусты... У вас, кроме ругани, ничего не осталось... Депутат Замысловский, который старался опозорить Красовского, забыл, что все показания свидетелей, указанные в исследованиях Красовского, были подтверждены перед жандармским полковником П.А.Ивановым, в присутствии прокуратуры, так что опорочить сейчас эти исследования Красовского вам не удастся, господа!

А трудовик А.А.Булат выкрикнул последним, под занавес:

— Я утверждаю, что убийцы Ющинского, вдохновители убийства Ющинского не евреи, а Чеберяк и господа справа, которые позаботились об этом убийстве.

Председатель М.В.Родзянко поставил на голосование предложение о продолжении на завтрашнем заседании обсуждения заявления о запросах по делу Ющинского, но оно по причинам, изложенным выше, было отклонено большинством в 111 голосов против 87. Заседание закрылось в 11 часов 13 минут вечера.

А на следующий день, 9 июня 1912 года, в 3 часа 53 минуты пополудни по высочайшему указу Правитель-

ствующего Сената третья Дума была распущена до новых выборов.

* * *

Дело ясно. Посадить на скамью подсудимых еврея, обвиняемого в ритуальном убийстве, при явно нищенских уликах, не только не этично, но и не умно. И нечего было притворяться простачками и говорить, что это не мы оскандалили себя на весь свет, а еврейские газеты, которые разнесли дело Бейлиса во все концы мира. Не надо притворяться младенцами, родившимися вчера на свет. Неужели мог быть хоть один столь наивный обыватель, который надеялся, что еврейская печать будет молчать по такому чисто еврейскому делу?

Но как? Это страшное злодеяние, эта мученическая смерть ребенка останется без возмездия? Неужели кровь Андрюши Ющинского не вопиет к небу?

Когда это твердили потрясенные ужасом преступления люди, их вопль вызывал сочувствие. Но когда на этот путь становились те, у которых в сердце не осталось ничего, кроме политической злобы, а ум, холодный и расчетливый, жестокий, давно привык заглушать какие бы то ни было порывы жалости и сострадания, тогда такие рассуждения звучали отвратительным лицемерием.

Что же, покойному мальчику станет легче оттого, что на двадцать лет отправят на каторгу человека, который его пальцем не тронул? Кровь мальчика перестанет вопиять к небу тогда, когда на скамью подсудимых сядут люди, которые его действительно убили.

А наша киевская молодежь из "Двуглавого орла", как свидетельствует "Киевлянин", поощренная примером корифеев Думы и газетного дела, дописалась до утверждения, что если Бейлис и невиновен, то это вовсе не важно. Почему? Потому что, если Бейлис и не убивал Ющинского, то все же ему место на каторге, ибо он "один из тех, кто с радостным смехом приветствовал наши поражения и торжествовал, что наших солдат убито больше, чем вражеских, кто убивал или подстрекал к убийству русских, наших лучших людей, кто наполняет ряды революционного подполья".

Вот к чему приводит отрицание всякого правосудия! Но надо сказать, что безголовые двуглавцы имели только смелость сделать вывод из посылов, подсказанных им старшими. А что же проповедовали их учителя, те кори-

феи газетного дела, которым они тщились подражать? Вот что писала газета "Русское знамя" перед процессом Бейлиса в № 177 за 1913 год:

"Правительство обязано признать евреев народом, столь же опасным для жизни человечества, сколь опасны волки, скорпионы, гадюки, пауки ядовитые и прочая тварь, подлежащая истреблению за свое хищничество по отношению к людям и уничтожение которых поощряется законом... Жидов надо поставить искусственно в такие условия, чтобы они постоянно вымирали: вот в чем состоит ныне обязанность правительства и лучших людей страны".

Таким образом, оказывается, что идеи Гитлера были за много лет раньше взлелеяны в блистательном Санкт-Петербурге, в газете, именовавшей себя "Русское знамя".

После таких уроков киевским двуглавцам смелее и последовательнее было бы проповедовать, что евреи вообще суду подлежать не могут, а просто ссылаются на каторгу по приказу их вождя студента Голубева: "Понеже всякий жид — гад есть".

Если бы такой закон был проведен через Государственную думу, то доказательства существования ритуальных убийств стали бы излишними.

* * *

Решительный день приближался. Дело Бейлиса заканчивалось среди величайшего напряжения и возбуждения. Два с половиной года томился в заключении дотоле никому не известный приказчик, упорно отрицавший свою вину.

Директор департамента полиции Степан Петрович Белецкий не жалел сил и средств для обоснования обвинения. По указанию Замысловского за огромные деньги полицией были выписаны из Италии старинные книги, содержащие доказательства ритуального употребления евреями крови. Из государственных архивов были извлечены все дела, в которых имелись какие-либо указания на ритуальные убийства. Для обвинения на суд министром юстиции был командирован товарищ прокурора Петербургской судебной палаты О.Ю.Виппер. В помощь ему, в качестве гражданского истца, в Киев выехал сам Замысловский.

Всего по делу было вызвано 219 свидетелей и 14 экспертов, среди которых выделялись магистр богословия

ксендз Юстин Пранайтис, профессор И.А.Сикорский, доктор медицины профессор Д.П.Косоротов, известный юдофоб присяжный поверенный А.С.Шмаков, подтверждавшие ритуальный характер убийства. Неугодные обвинению свидетели бесцеремонно отстранялись. Петербургским комитетом отпора "кровавому навету" была организована защита Бейлиса, в которой приняли участие лучшие адвокаты того времени: О.О.Грузенберг, А.С.Зарудный, Н.П.Карабчевский, член Государственной думы кадет В.А.Маклаков.

Не только Россия, но и Запад напряженно следили за ходом этого грандиозного процесса, на котором медицинские светила и доктора истории вели диспут со взломщиками и притоносодержателями — главными свидетелями со стороны обвинения.

Но спасти честь русского имени перед лицом всего мира, спасти невинно пострадавшего должны были двенадцать человек присяжных заседателей, состав которых также был соответствующим образом подобран. По этому поводу в Киеве было много толков и пересудов. Когда по мелкому уголовному делу суд имел в своем распоряжении среди присяжных трех профессоров, десять людей интеллигентных и только двух крестьян, в деле Бейлиса из двенадцати человек девять учились лишь в сельской школе, а некоторые из этих крестьян были вообще малограмотными.

Пониженный интеллектуальный уровень присяжных заседателей для такого сложного дела всем бросался в глаза. Но на это именно и рассчитывали организаторы процесса. Они были уверены в своей победе.

* * *

Наконец решительный день настал. Вот как описывает В.Г.Короленко эту атмосферу ожидания и напряженности, царившую в этот день в Киеве:

"Мимо суда прекращено всякое движение. Не пропускаются даже вагоны трамвая. На улицах — наряды конной и пешей полиции. На четыре часа в Софийском соборе назначена с участием архиерея панихида по убиенном младенце Андрюше Ющинском. В перспективе улицы, на которой находится суд, густо чернеет пятно народа у стен Софийского собора. Кое-где над толпой вспыхивают факелы. Сумерки спускаются среди тягостного волнения.

Становится известно, что председательское резюме резко и определенно обвинительное. После протеста защиты председатель решает дополнить свое резюме, но Замысловский возражает и председатель отказывается. Присяжные ушли под впечатлением односторонней речи. Настроение в суде еще более напрягается, передаваясь и городу.

Около шести часов стремительно выбегают репортеры. Разносится молнией известие, что Бейлис оправдан. Внезапно физиономия улицы меняется. Виднеются многочисленные кучки народа, поздравляющие друг друга. Русские и евреи сливаются в общей радости. Погромное пятно у собора теряет свое мрачное значение. Кошмары тускнеют. Исключительность состава присяжных еще подчеркивает значение оправдания".

* * *

Радость и ликование охватили редакцию "Киевлянина", немало перестрадавшую вместе со многими своими единомышленниками за это время. 29 октября 1913 года я писал в № 298:

"Несмотря на то, что было сделано возможное и невозможное, несмотря на то, что были пущены в ход самые лукавые искушения, — простые русские люди нашли прямую дорогу.

Когда мы думаем об этом, нам становится и радостно, и горько. Горько потому, что мы ясно видели, как те, кто стоят на вершине и должны были подавать пример этим темным низам, сбились с пути и пошли кривой дорогой, ослепленные политической страстью. Горько видеть вождей народных в роли искусителей и развратителей.

Но когда мы думаем о том, что простые русские люди, не имея возможности силой ума и знания разобраться в той страшной гуще, в которую их завели, одной только чистотою сердца нашли верный путь из обступавшего их со всех сторон дремучего леса, наполненного страшными призраками и видениями, — с радостью и гордостью бьется наше сердце.

Низкий поклон этим киевским хохлам, чьи безвестные имена опять потонут в океане народа! Им — бедным, темным людям — пришлось своими неумелыми, но верными добру и правде руками исправлять злое дело тех, для кого суд только орудие, для кого нет доброго

и злого, а есть только выгода или невыгода политическая.

Им, этим серым гражданам Киевской земли, пришлось перед лицом всего мира спасать чистоту русского суда и честь русского имени. Спасибо им, спасибо земле, их выкормившей, спасибо старому Киеву, с высот которого свет опять засверкал на всей русской земле!"

* * *

Какова же судьба главных героев этой трагедии? Мендель Бейлис эмигрировал в Америку, где и умер в 1937 году. А Вера Чеберяк? Села ли она на скамью подсудимых? Конечно, нет.

Для прокуратуры нужно было найти какой-то выход из компрометирующего ее положения, в какое она попала благодаря малограмотным хлеборобам, оправдавшим Бейлиса. Как? Разве это мыслимо, больше двух лет держать под замком невинного человека, всячески стараясь обвинить его, и в то же время защищать всеми силами вероятных убийц?

Кроме того, нужно вспомнить, сколько пострадало высоких чинов сыскной полиции, как только они попадали на верный след этих убийц. Как же можно было после этого трогать Веру Чеберяк? По слухам, в дни революции с ней расправились киевские студенты.

А вместо Веры Чеберяк на скамью подсудимых посадили меня, о чем в следующей главе.

Это было во время первой мировой войны 20 января 1915 года в городке Тухове, недалеко от Тарнова. Все население ушло из городка, и сам он представлял собою груду развалин, вокруг которых улицы были обильно посыпаны кусками разбитых стекол.

Однако среди парка, состоявшего из темно-зеленых елей, помещичья усадьба сохранилась. В ней разместился второй перевязочно-питательный передовой отряд ЮЗОЗО (Юго-Западная областная земская организация), начальником которого был я.

Так как работа отряда уже наладилась, я мог себе позволить этот знаменательный для меня день посвятить невеселым воспоминаниям. Но так как я незадачливый музыкант, то мечты и воспоминания почти всегда в моем неуравновешенном мозгу переплетаются с какой-нибудь мелодией.

Так и сейчас. Глядя сквозь стекла окна на темно-

зеленые ели, колыхавшиеся на фоне серого неба, я слышал мотив старинного вальса на нижеследующие слова:

Я помню вальса звук прелестный
весенней ночью в поздний час.
Его пел голос неизвестный,
и песня чудная лилась.
Да, то был вальс прекрасный, томный,
да, то был дивный вальс...

Вальса не было, но воспоминания были. Ровно год тому назад 20 января 1914 года меня судили в Киеве и присудили к тюремному заключению. За что?

"За распространение в печати заведомо ложных сведений о высших должностных лицах..."

Как же это случилось?

На третий день процесса 27 сентября 1913 года я написал в "Киевлянине" передовую статью в защиту обвиняемого Бейлиса. Но номер не вышел, его конфисковала полиция. Вот за эту-то статью меня и предали суду.

Так как она представляет известный интерес как исторический документ, я привожу ее, несмотря на довольно обширные размеры, почти целиком:

"Как известно, обвинительный акт по делу Бейлиса есть документ, к которому приковано внимание всего мира. Со времени процесса Дрейфуса не было ни одного дела, которое бы так взволновало общественное мнение. Причина тому ясна. Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого человека, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий.

При таких обстоятельствах, будучи под контролем миллионов человеческих умов, русская юстиция должна была быть особенно осторожной и употребить все силы, чтобы оказаться на высоте своего положения. Киевская прокуратура, взявшая на себя задачу, которая не удавалась судам всего мира в течение веков, должна была понимать, что ей необходимо создать обвинение настолько совершенное, настолько крепкокованое, чтобы об него разбилась колоссальная сила той огромной волны, что поднималась ему навстречу.

Не надо быть юристом, надо быть просто здравомыслящим человеком, чтобы понять, что обвинение против Бейлиса есть лепет, который любой защитник разобьет шутя. И невольно становится обидно за киевскую прокуратуру и за всю русскую юстицию, которая реши-

лась выступить на суд всего мира с таким убогим багажом.

Но разбор обвинительного акта не входит в задачу этой статьи. Сейчас на нас лежит иной долг, тяжкий долг, от которого, однако, мы не можем уклониться.

Мы должны сказать о том, при какой обстановке создался этот обвинительный акт по делу Менделя Бейлиса.

Убийство Ющинского, загадочное и зверское, вызвало к жизни вековое предание о том, что евреи для своих ритуальных целей время от времени замучивают христианских детей. Эта версия убийства, естественно, взволновала еврейское население. А в некоторых слоях русского населения и в политических кругах стали опасаться, что евреи собьют полицию и следствие с истинного пути.

Как крайнее выражение этих опасений явился запрос правых в Государственной думе, обвинявший киевскую полицию в сокрытии истинного характера убийства под давлением евреев. При обсуждении этого запроса член Государственной думы Замысловский дошел до утверждения, что евреи только в тех местностях совершают ритуальное убийство, где им удалось подкупить полицию. И что самый факт совершения ритуального убийства в какой-либо местности уже свидетельствует о том, что полиция в этой местности подкуплена...

Конечно, евреи не так бессмысленны, чтобы положиться на полицию в столь опасном деле. Для сокрытия злодеяния, раскрытие которого грозило по меньшей мере повторением Кишинева, они, конечно, не остановились бы на околоточном, а пошли бы гораздо дальше. А потому Замысловский непоследовательно остановился на полдороге. Надо было идти дальше, надо было бросить обвинение в сокрытии ритуальных злодеяний против судебного следователя, против прокурора окружного суда, против прокурора палаты.

Замысловский этого не сделал. Но, по-видимому, эта мысль, затаенная, но гнетущая, привилась, дала ростки. Боязнь быть заподозренным в каких-то сношениях с евреями оказалась для многих непосильным душевным бременем. И мы знали мужественных людей, которые смеялись над бомбами и браунингами, но которые не смогли выдержать гнета подобных подозрений. И как это ни странно, но заявление Замысловского оказало

самое решительное давление на киевскую прокуратуру.

По крайней мере, прокурор Киевской судебной палаты Г.Г.Чаплинский стал действовать так, будто единственной целью его действий было убедить Замысловского, что он, прокурор палаты, чист как стекло, в этом отношении.

Версию о ритуальном убийстве Ющинского не легко было обосновать на каких-нибудь данных. Начальник киевской сыскной полиции Е.Ф.Мищук отказался видеть в изуверствах, совершенных над мальчиком Ющинским, ритуальный характер.

Устранив 7 мая 1911 года Мищука, заподозренного в подкупе его евреями, судебная власть призвала на помощь жандармского подполковника П.А.Иванова, а этот последний пригласил известного сыщика Н.А.Красовского.

Но Красовский, как и его предшественник Мищук, тоже решительно отверг ритуальный характер убийства и приписывал преступление шайке профессиональных негодяев, группировавшихся около Веры Чеберяк. В этом направлении Красовским было произведено серьезное расследование, результаты которого были доложены прокуратуре.

Когда точка зрения Красовского выяснилась, он, как и Мищук, был устранен от дела и так же, как и против Мищука, против Красовского было выдвинуто какое-то обвинение, — он был предан суду.

Когда таким образом два начальника сыскных отделений были устранены, дело пошло...

Вся полиция, терроризированная решительным образом действий прокурора палаты, поняла, что если кто слово пикнет, то есть не так, как хочется начальству, будет немедленно лишен куска хлеба и, мало того, посажен в тюрьму. Естественно, что при таких условиях все затихло и замолкло, и версия Бейлиса стала царить ”рассудку вопреки, наперекор стихиям”, но на радость господину прокурору палаты...

Однако мы убеждены, что и в среде маленьких людей найдутся честные люди, которые скажут правду даже перед лицом грозного прокурора. Мы утверждаем, что прокурор Киевской судебной палаты тайный советник Георгий Гаврилович Чаплинский запугал своих подчиненных и задушил попытку осветить дело со всех сторон.

Мы вполне взвешиваем значение слов, которые сейчас произнесли. Мы должны были их сказать, мы имеем право говорить и будем говорить..."

* * *

Вот за эту статью, распространявшую "заведомо ложные сведения", меня и привлекли к суду. Судьи знали, конечно, не хуже меня, что я не лгал. Я мог ошибаться, но не лгал.

В этом и был тот яд, которым они хотели отравить меня. Они ужалили больно, но не до конца. Так кусает желтый, злой шершень.

Беда, говорят, никогда не приходит одна. Я явился на суд с исчерпанными силами.

Накануне были раздирающие похороны одной молодой самоубийцы. Всю ночь я не сомкнул глаз, утешая безутешного человека. Поэтому мне следовало бы уклониться от суда, но я этого не сделал.

Когда я занял свое место на скамье обвиняемых, то увидел, что судейская трибуна переполнена народом. Здесь были почти поголовно все лица судейского звания города Киева. Среди них я встретил хорошо знакомое мне лицо Василия Ивановича Фененко. Если бы этот человек сказал перед судьями то, что он знал, меня не могли бы привлечь по обвинению в распространении "заведомо ложных сведений".

В чем я обвинял старшего прокурора Киевской судебной палаты Чаплинского в статье, помещенной в газете "Киевлянин"?

В том, что он давил на совесть судебного следователя, чего прокуратура не смеет делать. Судебный следователь, как и судья, в этом смысле является лицом неприкосновенным.

А какой же персонально следователь не подвергся давлению? Вот этот самый Фененко, что сидел на трибуне недалеко от судей, меня судивших. В то время он занимал должность судебного следователя по особо важным делам при киевском окружном суде, и именно ему было поручено вести предварительное следствие для выяснения истины по делу об убийстве в Киеве мальчика Ющинского.

Я знал Фененко с юных лет, знал, что он человек безупречный, умевший "сметь свое суждение иметь".

Когда я посетил его в скромном домике, ему принадлежавшем, он сказал мне:

— Я человек не богатый, но голову есть где преклонить. Я не женат, живу со старушкой няней, потребности у меня скромные. Единственная роскошь, которую я себе позволяю, — это служить честно.

Мне поручили следствие по делу Менделя Бейлиса, подозреваемого в убийстве мальчика Андрея Ющинского. Я рассмотрел имевшиеся улики и признал их не заслуживающими никакого доверия.

Единственная улика исходила от десятилетней девочки Людмилы. Она видела, как на глазах ее и других детей, шаливших против конторы, где работал Бейлис, он схватил Андрюшу за руку и куда-то потащил.

Если Бейлис имел намерение совершить над Андрюшей ужасающее злодеяние с ритуальной целью и схватил его в присутствии детей и других людей, находившихся в конторе, то, значит, он был невменяемым идиотом. Поэтому я прекратил следствие своей властью, на что имел право.

Но Чаплинский грозил, что меня могут постигнуть неприятности за прекращение следствия, обещал какую-то награду, орденок, что ли, если я возобновлю дело. На это я ответил ему: "Ваше превосходительство, кроме Фененко есть другие следователи. Фененко для такого дела не годен".

* * *

Естественно, что, когда против меня возбудили обвинение в распространении лживых сведений, я выставил нескольких свидетелей, хотя достаточно было бы и одного Василия Ивановича. Однако суд отказал мне вызвать Фененко свидетелем по моему делу. И вот теперь он сидел рядом с судьями в качестве свидетеля беззаконных действий суда, но свидетеля безмолвного.

Если бы я не был в таких расстроенных чувствах, я, быть может, сделал бы то, что надо было. Я заявил бы:

— Так как суду было угодно лишить меня главного и исчерпывающего свидетеля, то я считаю такой суд судилищем неправедным и присутствовать на нем не желаю. Судите и присуждайте вот это пустое место, а я покидаю зал заседаний.

Но я этого не сделал и теперь печально об этом ду-

мал, глядя сквозь оконное стекло на качающиеся ели.

Теперь зима, но те же ели,
тоскуя, в сумраке стоят.
А за окном шумят метели,
и звуки вальса не звучат...

А вьюга действительно заносила сугробами дорогу, ведущую ко мне, то есть к крыльцу уцелевшего помещичьего дома.

Вдруг я увидел автомобиль, с трудом пробивающийся через сугроб. В ту войну не все имели машины. Ехавший, знать, был "кто-то". И в такую погоду! Очевидно, по важному делу, и притом к нам. Ведь никого, кроме нас, здесь не было. Я велел зажечь примус, на войне заменявший "самоварчик", подать бутылку красного вина и галеты. Так всегда делалось в отрядах. Тем временем гость, провожаемый дежурным, вошел ко мне. По погонам я увидел, что это полковник, а по лицу, что он сильно замерз. В то время автомобили за редкими исключениями были открытыми. Поэтому я встретил его словами:

— Господин полковник, кружку горячего чая?

— О, да! О, да! Что за погода!

Когда он согрелся, сказал:

— Я к вам. К вам лично.

— Слушаюсь.

— Я военный юрист. По закону все судебные дела, возбужденные против лиц, поступивших в армию, передаются нам, то есть военному судебному ведомству. Мне передали два дела, вас касающиеся. С какого конца прикажете начать?

— Если позволите, то с тонкого конца...

— Хорошо. Податной инспектор города Киева возбудил против вас, как редактора "Киевлянина", дело за то, что вы без его разрешения напечатали в своей газете объявление о лепешках Вальда.

— Вальда? Разрешите вам предложить, я их всегда имею при себе. Мне кажется, что вы чуточку охрипли, — проклятая погода.

— Ах, очень вам благодарен... Это очень хорошее средство, я его знаю. Но по долгу службы я должен все же поставить вопрос: признаете ли вы себя виновным в этом ужасном деянии?

— Признаю. Напечатал и надеюсь печатать и дальше... Однако разрешите вам доложить...

— Пожалуйста...

— Господин полковник, вы юрист и не в малых чинах. Я тоже юрист, хотя и не практикующий. Поэтому я позволю себе поставить на ваше суждение следующий вопрос: указания высших правительственных мест должны ли приниматься низшими к сведению и исполнению?

— Должны.

— Так вот. Я печатаю объявления о лепешках Вальда в газете "Киевлянин" без разрешения киевского податного инспектора, но такое же объявление печатает петербургская газета "Правительственный вестник", каковая, очевидно, получила разрешение на печатание от высшей медицинской власти.

— Это ясно. Считайте дело поконченным, то есть прекращенным.

— Благодарю вас.

— Теперь перейдем к делу важному. Потрудитесь прочесть.

Я прочел:

"Объявить Шульгину В.В., редактору газеты "Киевлянин", что государю императору на докладе министра юстиции угодно было начертать: "Почитать дело не бывшим".

* * *

Почитать дело не бывшим... Греческая поговорка гласила:

"И сами боги не смогут сделать бывшее не бывшим".

Но то, что не удавалось греческим богам, было доступно русским царям.

"Почитать дело не бывшим" принадлежало русскому царю как высшему судье в государстве. Каждый приговор в империи начинался со слов: "По указу его императорского величества..."

При этом судья надевал на шею цепь в знак того, что он судит по указу царя.

Почитать дело не бывшим говорит больше, чем амнистия. Амнистия — это прощение, забвение... А "почитать дело не бывшим" — это юридическая формула, обозначающая, что против Шульгина дело не возбуждалось, его не судили, он не был осужден.

Любопытно то обстоятельство, что государь учинил

сие деяние по докладу министра юстиции И.Г.Щегловитова. Министр юстиции почитался высшим прокурором, высшим представителем обвинительной власти. Из этого следует, что обвинительная власть отрекалась от своего неправого дела и поспешила его исправить при первом же подходящем случае.

Случай представился, когда я добровольно поступил в полк и был ранен. Тогда уже неудобно было сажать меня в тюрьму. Да кроме того, меня, как члена Государственной думы, без согласия Думы и посадить-то в тюрьму нельзя было. А Дума согласия на арест не дала бы. Конвенансы были соблюдены.

Все это вспомнилось мне в юбилейный день 20 января 1915 года, когда неведомый полковник вручил мне повеление верховного судьи:

"Почитать дело не бывшим"...

* * *

А за четыре месяца перед этой годовщиной, в самом начале сентября 1914 года, со мной произошел удивительный случай. Я отправился из Киева на фронт, так как был зачислен в чине прапорщика в 166-й Ровненский пехотный полк.

В Радзивилове, в то время местечке с таможней, Волынской губернии Кременецкого уезда, у австрийской границы, была конечная станция. Там я нанял бричку ехать в Броды.. На полдороге пересек границу, обогнав сотню казаков, ехавших шагом. От скуки, должно быть, они пели. Ох, как пели! Быть может, среди них были и те, что через несколько лет снискали себе мировую славу как певцы во всех "европах и америках".

Через час, сделав двенадцать верст, я приехал в Броды, австрийский городок у русской границы. Первое впечатление было удручающее. Домов не было — деревянные стены сгорели. Высоко торчали к небу каменные трубы, а железные крыши сползли с них вниз и лежали у их ног сморщенными, черными грибами.

Говорили, что сожгли их казаки. Как?! Вот те самые казаки, что так сладко пели на австрийской границе? Нет, не те, а другие, что пришли раньше. Тогда я этому поверил и ужаснулся. Но позже узнал, что на войне брошенные хозяевами дома имеют талант самовозгорания от беспризорности.

Не все сгорело. Был дом, который спасся благодаря тому, что приютил в своих стенах Красный Крест. Это

был отряд имени Государственной думы, содержавшийся на личные средства ее членов. Пятьдесят рублей в месяц вычиталось из депутатского жалованья, то есть седьмая часть.

Здесь я познакомился с графиней Софьей Алексеевной Бобринской, ставшей во главе отряда. Около нее сидела на деревянных ступеньках сестра в белой косынке, с красивыми глазами. Но в офицере, подошедшем к крыльцу, она узнала "народного представителя", что с "высокой кафедры" произносил речи, которым она не всегда сочувствовала.

* * *

На вокзале поезд берет штурмом толпа солдатских шинелей. Среди них, с мужеством отчаяния, старается пробраться горсточка людей в "цивильном" платье, несомненно евреев. Мои офицерские погоны очищают мне дорогу, и я попадаю в вагон раньше солдат и евреев. С удивлением вижу, что в вагоне почти пусто, и занимаю место в купе, где никого нет.

Поезд тронулся. Через некоторое время обнаруживаю, что соседние купе успели наполниться, и в коридоре бродят евреи, которых я видел на перроне. Постояв там с полчаса, они попросили разрешения войти в мое купе.

Я "разрешил", и они разместились. Через некоторое время они раздобыли чайник с кипятком и стали пить чай. Наконец, хотя и довольно робко, предложили мне "стаканчик". Я соизволил принять. Тогда они со мной освоились и даже стали задавать мне некоторые вопросы. Я отвечал уклончиво. Однако выяснилось, что они тоже киевляне, а едут во Львов по коммерческим делам.

А затем, неведомо как, они выведали, что я тот самый редактор "Киевлянина", заступившийся за Менделя Бейлиса. С этого мгновения я стал предметом их чрезвычайной заботливости.

Когда мы приехали 6 сентября 1914 года во Львов, взятый русскими войсками незадолго до этого, было два часа ночи. Пробравшись через толпу, метавшуюся по еле освещенному вокзалу, я очутился на улице. Черная ночь и дождь. Никаких носильщиков, извозчиков. Темноту прорезали иногда резкие огни автомобилей. И тогда видны были бесконечные обозы. И снова безысходная ночь на земле, и дождь с неба. Что делать?

Вдруг из темноты вынырнули те евреи:

— Что же, так и будем стоять под дождем?! То, к чему вы привыкли, мы не можем вам предложить, но все же крыша будет над головой!

Они схватили мои вещи, и я пошел за ними.

Глубокой ночью они привели меня в какую-то гостиницу. Она сейчас же загорелась свечами: электричество не работало. Волшебно быстро на столе появился "самоварчик", неизменный утешитель тех времен. Стало уютно, но странно: от свечей отвыкли. Я пил чай один, мои покровители исчезли. Было, вероятно, три или четыре утра, в окна заглядывала ночь — черная, как могила. Дождь стучал тихонько в стекла...

Вдруг открылась дверь... Свечей было достаточно. Вошел старик с белой бородой. Он подошел к столу и, облокотившись на спинку кресла, крытого красным бархатом, смотрел на меня. Он был необычайно красив — красотой патриарха. К белизне волос, бороды подходили в библейском контрасте черные глаза в рамке черных же длинных ресниц. Эти глаза не то что горели — сияли. Он смотрел на меня, я на него... Наконец он сказал:

— Так это вы...

Это не был вопрос. И поэтому я ответил, указывая на кресло:

— Садитесь...

Но он не сел. Заговорил так:

— И они, эти сволочи, так они смели сказать, что вы взяли наши деньги?..

Я улыбнулся и спросил:

— Чаю хотите?

Он на это не ответил, а продолжал:

— Так мы-то знаем, где наши деньги!

Сияющие глаза сверкнули как бы угрозой. Но то, что он сказал дальше, не было угрозой.

— Я хочу, чтобы вы знали... Есть у нас, евреев, такой, как у вас, митрополит. Нет, больше! Он на целый свет. Так он приказал...

Остановился на минутку и сказал:

— Так он приказал... Назначил день и час... По всему свету! И по всему свету, где только есть евреи, что веруют в бога, в этот день и час они молились за вас!

Я почувствовал волнение. Меня это тронуло. В этом было нечто величественное. Я как-то почувствовал на себе это вселенское моление людей, которых я не знал, но

они обо мне узнали и устремили на меня свою духовную силу.

Патриарх добавил:

— Такую молитву бог слышит!

Я помню до сих пор изгиб голоса, с каким он это произнес, и выражение глаз. Вокруг ресниц они были как бы подведены синим карандашом. Они как бы были опалены духовными лучами...

Через некоторое время он сказал:

— Я пришел сюда, чтобы вам это сказать. Прощайте!..

* * *

Когда иногда я бываю очень беден, я говорю себе:

— Ты богат. За тебя молились во всем мире...

И мне легко.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОЙНА

О событии, которое надолго определило судьбу всего мира, я узнал в обстановке, совершенно для меня необычной.

У меня сто тысяч грехов. Но, видит бог, я не принадлежал к сословию кутил. Однако судьбе было угодно, чтобы я познакомился с той жизнью, которая уходила навсегда. В этом, на первый взгляд, внутренний смысл происшествия.

* * *

В начале июня, еще до роспуска на каникулы 14 июня 1914 года второй сессии Государственной думы четвертого созыва, приехав прямо из Таврического дворца в Киев, я опустился в редакторское кресло. На этот раз оно было довольно жесткое. Необходимых мне помощников в ту пору не было, и потому работы было много, пожалуй, слишком.

Это имело следствием, что вечером 15 июня 1914 года ко мне пришел Эфем, мой племянник. Он был младше меня всего на восемь лет, и потому иногда позволял себе дерзости. В данном случае он заговорил так:

— Если Государственная дума еще не окончательно выкрутила тебе мозги, то это случится сейчас, теперь. Каждый день передовая и сверх того — туча посетителей, из которых три четверти болтуны. Тебя изведут вконец. Тебе надо хоть один вечер чем-нибудь развлечься.

— Именно?

— Поедем в "Аполло".

— Это что?

— Театр-кабаре на Николаевской улице.

— И на самых шикарных улицах бывают кабаки?

— А тебе непременно нужно университет или политехникум?

Я рассмеялся и сказал:
— Едем!

* * *

"Аполло" оказался не университетом, но и не кабаком. Мы смотрели поразительного жонглера. Он превзошел все чудеса бумеранга, пуская двенадцать больших тарелок правой рукой так, что они, облетев весь театр, собирались в левой. Они трепетали в воздухе, как стая белых птиц, и это стоило посмотреть.

Затем мы выслушали вереницу так называемых лирических певиц, которые пели романсы вроде "Хризантемы", "Молчи, грусть, молчи...", "Пожалей ты меня, дорогая" и прочие. Они были в длинных платьях. Потом мы слушали и смотрели плеяду шансонеток в коротких платьях. Но платья были не короче тех, в каких нынче ходят по улицам не шансонетки, а просто девушки.

Наконец на эстраде появились цыгане. Мужчины с гитарами стояли сзади, на манер частокола. Цыганки сидели спереди рядком. Они пели то поодиночке, то хором. Затем снова поднялась одна молодая цыганка в черном платье. Вышла на середину и заплясала, но не ногами, а руками, точнее сказать, плечами. Она была очень смуглая, со скулами, как у сфинкса в пустыне, с огромными глазами. Они брызгали черными алмазами.

Нюра, которая сидела посередине и имела лицо матроны, была солисткой. Она пела под известную в те времена певицу Варю Панину. У нее голос был низкий, коричневый, струился не только через рот, но и через нос одновременно и потому был чуть гнусавый. Жемчужные зубы прибавляли этому низкому, грудному, чуточку гнусавому ее голосу серебро, и он становился одновременно глухим и звонким, а в общем прекрасным.

Нежная роза
розу ласкала,
фиалка к фиалке
листки простирала,
сирень сладострастно
сирень целовала,
лилия лилии
что-то шептала...
Увы! Увы! Это были цветы,
но не я и не ты!

Нюра ли или сфинкс в пустыне, или дьявол-искуситель заставили нас сделать то, чего мы не предполагали.

Дьявол под видом официанта прошептал нам:

— Ваше сиятельство, не желаете ли пригласить их в кабинетик, послушать? Не дорого. Всего сто рублей...

Цыгане описаны не раз, но лучше всего Н.С.Лесковым. Соперничать с ним не могу и отсылаю читателя к его рассказу "Очарованный странник". Кто прочтет — не пожалеет. От себя же скажу холодно и строго. Я кое-что узнал о цыганских обычаях в отдельном кабинете, и вообще о цыганах и цыганках.

Цыгане, перейдя с эстрады в отдельный кабинет, ничуть не изменились. Как там, так и здесь стояли частоколом под стенкой. Цыганки же совершенно изменились. На сцене они казались звучащими мумиями. Здесь же стали живыми существами. Веселые, с таким видом, как будто бы мы были друзьями уже со времен Хеопса, и ласковые по-московски. Они говорили прекрасным говором Белокаменной, но с каким-то египетским акцентом. Как-то потом одна мне сказала:

— Цыганка? Что такое есть цыганка? Цыганку надо слушать... и дарить. Это в Москве знают. А здесь они (под "они" она подразумевала киевлян) думают, что цыганка — шансонетка. Так-то цыганка и поедет с тобой, куда не надо!

Еще позже она меня поучала:

— Цыганка без табора жить не может. (Табор в ее понимании — цыганский хор.) Но если полюбит цыганка, тогда другое дело. Уйдет с тобой хоть на край света.

И далее:

— Но только не надолго. На год, два. Вернется в табор. И никто ее корить не будет. Полюбила — и все тут. Ушла — пришла. Так это же тебе не шансонетка!

* * *

Мы с Эфемом потонули в сонмище египетских москвичек с алмазно-черными глазами. Они пели и пили. Шампанское, конечно. Пили, но больше заставляли нас пить. Я сопротивлялся, сколько мог. Но у них есть на это средства. Под звон гитар непрерывно работавшего под стеной "частокола" Нюра затянула своим почти загробным голосом:

Как цветок душистай
аромат разносит,
так бокал налитай
(кого-то) выпить просит.

Все это было хорошо или плохо, но возможно. Но с этого мгновения на наши головы обрушилось невозможное. ”Частокол” дзинкал так, как будто разбивалось сто тысяч бутылок о тысячелетние пирамиды, а вопль цыганок (это уже было трудно назвать пением) становился Ниагарским водопадом, причем в этой кипящей воде сверкали мириады черных алмазов.

— Выпьем мы за Васю (и как они узнали мое имя!), Васю дарагова...

Нельзя было не выпить за этого Васю, за Филю, моего племянника, и за Нюру, и за Дусю, и за всех цыганок, тем более что они вопили:

А пока не выпьют,
не нальем другова...

Черт их побери! Сумасшедший у Гоголя кричит: ”Они льют мне на голову холодную воду!”

А они обрушили на нас целый Нил с вершины пирамид.

Бывали краткие передышки. Тогда скуластая цыганка, которая была ужасно милой, какой-то совершенно знакомой незнакомкой, показывая все зубы, что-то твердила мне по-цыгански.

Ах, по-цыгански? А я-то чем хуже. И я ответил ей по-цыгански единственную фразу, которую знал: ”Ту наджинэс сомэ такэ поракирава. А мэ такэ сэр-со сэу муссел”.

Начало этих слов обозначает: ”Ты, милый друг, ничего не понимаешь...”

А продолжение на таком староцыганском наречии, что не все нынешние цыгане его понимают. Ну и русский читатель пусть не понимает. Но Дуся, скуластая цыганка, поняла, и Нюра тоже. И они вдвоем, а за ними и остальные понесли такое, что я решил — надо кончать. Но как?

Спасителем оказался дьявол-официант, сыгравший на этот раз благую роль. Он наклонился ко мне, к самому уху. Сквозь цыганские вопли я услышал:

— Ваше сиятельство. К телефону просят.

Я понял. Перед тем как перейти в кабинет, я позвонил

в редакцию и сказал им, куда звонить, если что-нибудь случится. Взяв трубку, я услышал:

— Василий Витальевич, приезжайте. Убит наследник австрийского престола в Сараеве.

Я ответил:

— Выбросьте передовую, которую я вам дал. Оставьте место для другой.

Через двадцать минут, окатив голову холодной водой из-под крана, я писал новую передовую.

* * *

Что же произошло? 28 июня 1914 года в годовщину разгрома Сербии Турцией на Косовом поле — "День национальной скорби Сербии" австрийское командование наметило провести близ сербской границы маневры. Наблюдать маневры должен был наследник престола Астро-Венгрии эрцгерцог Франц Фердинанд с супругой, для чего он прибыл со своей свитой в столицу Боснии Сараево.

Организаторы убийства воспользовались этим обстоятельством. Как потом выяснилось, они принадлежали к некоей сербской офицерской националистической организации "Объединение или смерть", более известной под названием "Черная рука". Организацию возглавлял начальник разведки сербского генерального штаба полковник Драгутин Дмитриевич, который и разработал план покушения.

Впоследствии говорили, что сербское правительство во главе с премьер-министром Н.Пашичем знало о подготовляемом убийстве, но не принимало никаких мер для его предотвращения. Еще говорили, что принц-регент Сербии Александр I Карагеоргиевич будто бы также был близок к "Черной руке".

Возможно, поэтому покушение и осуществилось.

Исполнителями его были члены организации "Молодая Босния", выступавшей за освобождение Боснии и Герцеговины от австро-венгерского ига и создание единого югославского государства. Эта организация была тесно связана с офицерами из "Черной руки". Они-то и подговорили члена организации, несовершеннолетнего гимназиста, носившего по странному совпадению фамилию Принцип, убить принца Габсбургской династии.

Гаврило Принцип убил австрийского престолонаследника Франца Фердинанда и его жену, действуя

вместе с членами организации "Молодая Босния" Неделько Чабриновичем, Трифко Грабежом и другими заговорщиками. Австро-Венгерское правительство, подталкиваемое германским императором Вильгельмом II, использовало это убийство как предлог для предъявления Сербии 23 июля 1914 года ультиматума. Так выстрел Принципа в принца послужил как бы сигналом для начала первой мировой войны на нашей планете.

Какова же была дальнейшая судьба этого несчастного юноши? Как несовершеннолетнего его не казнили, а приговорили к двадцати годам каторги. 28 апреля 1918 года он умер в тюрьме от туберкулеза.

После освобождения Сербии от австрийского владычества на месте сараевского покушения была установлена мемориальная доска. В апреле 1941 года в Сараево вступил последний завоеватель — Адольф Гитлер. Он сразу же приказал снять мемориальную доску, предупредив "мятежный" город. Он был уверен, что счеты с историей покончены. Чем это кончилось — всем известно. Вскоре вся страна поднялась на борьбу с завоевателями. А ныне народ Югославии чтит Гаврило Принципа как национального героя.

* * *

Итак, война была объявлена, объявлена Германией России, а не наоборот. Россия в лице своего государя добивалась мирного исхода. Царь предлагал съехаться трем императорам, то есть Вильгельму II, Францу-Иосифу I и Николаю II, где-нибудь и разрешить конфликт переговорами. Престарелый австрийский император готов был согласиться. Но усы у Вильгельма второго были закручены кверху, и он отказался. Александр I Карагеоргиевич, ставший с июня 1914 года принцем-регентом Сербии при старике-отце, короле Петре I, прислал нашему царю очень трогательную телеграмму. Во имя того, что Россия всегда была покровительницей славян, он просил помощи.

Государь написал на этом тексте: "Какая хорошая телеграмма. Чем мы можем помочь?"

В это время в Петербурге, в правительстве, боролись два течения. Одни считали, что русская многолетняя традиция требует, чтобы Россия вступилась за попираемую Сербию. Другие говорили, что мы не имеем права укла-

дывать сотни тысяч, а может быть, и миллионы русских за "суверенитет Сербии".

И те и другие были правы. Одни — потому, что действительно Россия всегда защищала балканское славянство. Другие — потому, что, когда решается вопрос о войне не на жизнь, а на смерть, необходимо чувствовать, что низы и верхи в этом деле согласны между собой. В конце концов сербы, убившие наследника престола Австро-Венгрии Франца Фердинанда, прежде всего цареубийцы, и русскому царю не следовало бы за них заступаться.

Однако царь стал на позицию первых: "надо помочь". Но как? Если переговоров не желают, то будет война. Но война с кем? С одной Австрией или с Германией? Царь думал, что достаточно будет войны с Австрией, и были все данные, что мы австрийцев одолеем. Для этого было достаточно частичной мобилизации, главным образом южных корпусов. Но, вероятно, в этом случае царь ошибался. Вильгельм II непременно вмешался бы в дело, а германская армия представляла самую серьезную угрозу для России.

Тут уместно будет упомянуть, что император Вильгельм II, по-видимому, чувствовал личную неприязнь к Николаю II. Он, говорят, неоднократно высказывал свое раздражение примерно в таких словах:

— После японской войны, неудачной для России, разразилась революция 1905 года. Россия была в это время так слаба, что мне стоило протянуть руку и взять Петербург и Москву. Но я этого не сделал. Русские ответили мне черной неблагодарностью, заключивши союз с Англией и Францией против меня.

Так ли это было, судить не берусь, но знаю, что родная мать, британская принцесса Виктория, называла своего сына, Вильгельма II, "чудовищем".

Итак, в Петербурге опять шла борьба, какую делать мобилизацию, частичную или общую. Об этом подробно рассказано в очень интересной книге полковника Сергиевского, изданной в Белграде. Автор очень картинно описывает всю драматичность этого вопроса. По его мнению, сделать сначала частичную мобилизацию, а потом общую — грозило анархией. В конце концов удалось склонить государя объявить общую мобилизацию. Это было сделано, но не означало еще войны. Мобилизация была проведена на всякий случай. Однако император Вильгельм II ухватился за это решение, и на следующий

день, 19 июля 1914 года, Германия объявила войну России. Рубикон был перейден, и великая бойня началась.

* * *

Об этом я узнал при нижеследующей обстановке. По причинам, которые в данном случае для читателя неинтересны, моя четверка с кучером Андреем прошла довольно далеко. Обратно я предполагал послать лошадей по железной дороге, что в то время не представляло никаких трудностей. Андрей пошел хлопотать об этом к начальнику станции, но скоро вернулся и заявил:

— Начальник не дает вагона.

Он сделал паузу и прибавил:

— А на станции говорят — мобилизация.

Я сейчас же выехал поездом в Киев и несколько часов благополучно проспал в отдельном купе. Но примерно на рассвете вскочил. Мне показалось, что поезд обстреливают из тяжелых орудий. Но оказалось, что это так стучат в купе, чтобы я открыл дверь. И тут я увидел, кто стучит. Это был прекрасный слабый пол, иначе называемый ”небесные создания”, превратившиеся в фурий. В коридоре они метались с неисчислимыми чемоданами, корзинами, детьми и даже клетками с попугаями и колотили ножками в дверь. Я, естественно, открыл купе и спросил по возможности вежливо:

— Что вам угодно?

Мне ответил рев и визг.

— Что вам угодно? Место нам угодно!

Одно мгновение я остолбенел, но потом злая мысль пришла мне в голову. С шумом я открыл дверь и широким жестом показал — пожалуйста! А сам вышел, то есть протиснулся в коридор. То, что я замыслил, случилось. В ярости на меня они ворвались в купе и заполнили его до отказа. Тогда ярость их обратилась друг против друга и между ними началась свалка. Стараясь удержаться в коридоре, чтобы меня не смяли куда-нибудь, я торжествовал и кричал:

— Как нет места? Сколько угодно! Пожалуйте, пожалуйте!

Однако меня ”хватило” лишь на несколько минут. Я понял все, вспомнив выражение Марка Туллия Цицерона: ”Во время войны законы безмолствуют”. Я имел законное право на свое купе, но меня выбросили. Значит, началась война.

И действительно, эти несчастные женщины были жены и дочери всяких офицеров и всяческих чиновников и должностных лиц, которым было приказано эвакуироваться, так как неприятель был близко.

* * *

В Киеве я узнал, что Государственная дума в спешном порядке созывается в Петербурге на внеочередную чрезвычайную сессию 26 июля 1914 года, для чего из Киева экстренным поездом идут вагоны, предназначенные для депутатов из ближайших к Киеву губерний. Такой же поезд вышел из Одессы. Он должен был соединиться с киевским в Казатине, и тогда мы совместно будем пробиваться в столицу.

Говорю, именно пробиваться, потому что мы двигались против течения. Вся масса поездов устремилась в направлении фронтов, а мы шли на Москву. Это тоже была новость. Раньше, то есть в мирное время, поезд прямого сообщения Киев — Петербург шел через Вильну. Но сейчас уже и Вильна была под ударом.

В Казатине мы воссоединились с другими членами Государственной думы более южных губерний, в том числе и с бессарабцами. Среди них был и Пуришкевич.

С Владимиром Митрофановичем мы давно были в серьезной размолвке, то есть попросту не кланялись. Причина безразлична, но это была острая размолвка. Когда я его увидел в конце коридора вагона, я не знал, что будет. Но я понял очень многое, когда он вдруг просто побежал ко мне с протянутой рукой и сказал: ”Шульгин, война все смывает. Забудем прошлое!”

Я пожал ему руку, и даже мы поцеловались в знак примирения.

Да, война многое смывает. Смывает и законы, как сказал Цицерон, но смывает и мелочные, ненужные раздоры. Война великий учитель и экзаменатор. Это через сутки я увидел в Зимнем дворце.

* * *

Пока же я наблюдал все то новое, что принесла война, в другом аспекте. В нашем вагоне ехал член Государственной думы от Киевской губернии, председатель киевской уездной земской управы, инженер путей сообщения, строивший Киево-Полтавскую железную дорогу,

Всеволод Яковлевич Демченко. Это был крайне энергичный человек. Благодаря этому у него были связи во всяких сословиях и подразделениях людей, в частности у железнодорожников.

Я говорил уже, что мы двигались против течения. И поэтому мы все волновались, опасаясь, что не поспеем к открытию Думы, в особенности имея в виду, что нам придется форсировать Москву, особенно загруженную. Демченко исчезал из вагона на всех остановках. Он теребил начальников станций и посылал бесчисленные телеграммы в Петербург, Москву, председателю Государственной думы М.В.Родзянко, министрам, ну, словом, всем. Наконец он с довольным видом угомонился, объявив торжественно:

— Мобилизация опережает график. Но мы все-таки поспеем в Петербург.

Чтобы понять, что значило заявление о мобилизации, идущей впереди графика на два дня, надо знать: Германия возлагала самые серьезные надежды на то, что Россия запоздает с мобилизацией на целый месяц против графика. А Германия, и это действительно так было, проведет свою мобилизацию точка в точку. И за это время будет иметь серьезный перевес в численности над еще не доставленными на фронт русскими войсками.

Почему германский генеральный штаб так думал? Потому, что немцы помнили всеобщую железнодорожную забастовку 1905 года, помнили революционный подъем рабочих и интеллигенции и надеялись на то, что это повторится при объявлении мобилизации, но этого не случилось.

Железные дороги были охвачены смерчем патриотизма, которого никак нельзя было ожидать. Патриотизмом была захвачена в то время вся Россия. Запасные являлись всюду, в полном порядке и даже не произвели бунта, когда продажа водки одним решительным ударом была прекращена во всей империи. Это было чудо. Неповторимое.

Я наблюдал все это, но объяснить себе не мог. Я был холоден как лед, не веря своим глазам, и в глубине души чувствовал, что это воодушевление всех и вся — мираж.

Но, конечно, я повесил семь замков на свои уста и представлялся, что разделяю чувства этих загоревшихся людей.

* * *

Поезд пробивался успешно. На Московском вокзале нас ожидал специально для нас заготовленный обед, и мы, подкрепившись, выехали в надежде добраться вовремя в Петербург. Однако времени было все же очень мало. Другие поспели, но я опоздал благодаря нелепой причине. Так как прием был назначен в Зимнем дворце, то, по моим понятиям, надо было переодеться во фрак. Но в тесноте вагона все не ладилось, куда-то запропастились запонки и белый галстук, и пока я их разыскал, все остальные члены Думы уже убежали. На вокзале мне не удалось поймать такси, но я захватил последнего извозчика. Стоя в пролетке, я все время торопил его и умолял ехать поскорее, потому что, как я твердил: "Царь меня ждет".

На извозчика это подействовало, и мы от Николаевского вокзала до Зимнего дворца летели вскачь.

На площади было совершенно пусто. Вот он, величавый, красный, с бесчисленными окнами, несколькими подъездами! И никого, ни одного часового и даже просто человека, которого бы я мог спросить, в какой же подъезд мне ворваться. Я бросился наудачу в первый попавшийся. Двери были открыты настежь. Белая мраморная лестница с красной дорожкой была передо мной. Я взбежал по ней со скоростью, которую позволяли молодые тогда легкие. Опять величественная дверь, за ней зал, сияющий паркетами. Но куда же бежать? Вдруг я услышал крики, громкие вопли человеческие. Я понял и побежал туда, откуда они исходили. Я вбежал в зал, в котором была огромная толпа. И это все были члены Государственной думы. Это они так вопили. Эта толпа теснилась вокруг кого-то, сначала я не понял, вокруг кого. Но затем, расталкивая других, пробрался немного вперед и увидел.

Стесненный так, что он мог бы протянуть руку до передних рядов, метавшихся в припадке чувств, стоял государь. Это было единственный раз, когда я увидел волнение на просветлевшем лице его.

И можно ли было не волноваться? Что кричала эта толпа, не юношей, а пожилых людей и даже старцев. Они кричали: "Веди нас, государь!"

Это было, быть может, самое значительное, что я видел в своей жизни. То, о чем мечтали все искренние мо-

нархисты: невыдуманный, неподдельный, истинный патриотизм.

Это объединенное заседание Государственной думы и Государственного совета, открывшееся речью императора Николая II, состоялось в Зимнем дворце 26 июля 1914 года.

* * *

Я вернулся в Киев. Скоро после моего приезда меня попросил к себе генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. Впоследствии он был одним из главных организаторов контрреволюционного движения на Северном Кавказе, где совместно с генералом Л.Г.Корниловым и А.И.Деникиным создал Добровольческую армию, верховным руководителем которой и главой Особого совещания его избрали в марте 1918 года. Но скорая смерть 8 октября 1918 года в Екатеринодаре пресекла тогда намечавшийся им поход на Советскую Россию.

В то время он руководил штабом Юго-Западного фронта.

Я увидел его впервые. Алексеев был простого происхождения, родившись в 1857 году в семье сверхсрочнослужащего солдата. Это не помешало ему окончить в 1890 году Академию Генерального штаба, где благодаря исключительной работоспособности он приобрел широкие познания, так что, работая в Главном штабе, сумел в 1898 году сделаться одновременно профессором военной истории в Военной академии. Это отражалось на лице его. Когда я разговаривал с ним, то мне казалось, что я говорю то с умным фельдфебелем, то его глаза сквозь очки светились, как у серьезного, вдумчивого профессора. Голос у него был скрипучий и тягучий, как арба, .но все-таки слушать его было приятно. Он говорил внушительно и добротно.

Позвал меня генерал Алексеев для небольшого дела, которое я к тому же исполнить не мог, но это был только предлог. А говорил он со мной так веско, что я запомнил слова его на всю жизнь.

— Вот некоторые легкомысленные люди и офицеры, даже большие офицеры, думают и даже говорят, что мы, мол, окончим войну в три месяца. Вздор, и вредный вздор. Противник ”сурьезный”. Его нахрапом не возьмешь. Война будет на измор. Воюет народ с народом. В таком разе что же самое главное?

Самое главное — это поддержать дух народа. Только в его стойкости, или, как мы говорим, в коэффициенте сопротивляемости, залог успеха. Вообще говоря, коэффициент сопротивляемости для русской армии высок. Но сопротивляемость армии и сопротивляемость народа в его целом не одно и то же. Армия есть производное от народа и потому, в конечном счете, решает сопротивляемость народа.

Повторяю: самое главное, надо поддержать дух народа. И вот я обращаюсь к вам. Вы представитель народа. Это бесспорно, потому что народ три раза посылал вас в Государственную думу. Кроме того, вы редактор влиятельной газеты. И вы обязаны использовать ваши данные для того, чтобы народный дух не упал, когда настанут трудные дни, а они будут.

* * *

Я ехал домой от генерала Алексеева в глубоком раздумье. Он был прав. Но что же делать мне? В моей душе ледяной холод. Даже когда я слышал крики: ''Веди нас, государь!''

Как же при таких настроениях я буду поддерживать дух народа? Я чувствовал, что эта война — ошибка, и предвидел бедствие. А мне надо писать ежедневные барабанные статьи в газете ''Киевлянин''. Я не в силах их выжать из себя. Бывает, конечно, и святая ложь. Но в данном случае это будет покушение с негодными средствами. Внутренний холод пробьется сквозь строчки, как бы я их ни снабжал восклицательными знаками.

Что делать? И вдруг молниеносно, как всякое озарение, пришло решение.

На фронт! Кровью покупается все действительно важное. Человек, самим законом устраненный от участия в действующей армии, если сломает этот закон, то одно это уже будет примером патриотизма, который в какой-то малой степени поддержит дух народа.

Но воевать надо серьезно, подставляя голову. Я имел маленький офицерский чин, состоял ''прапорщиком запаса полевых инженерных войск''. Другими словами, я был сапер. Но это не годится. Мне надо было разделить судьбу моих волынских крестьян, их мужицкую судьбу. Ведь это они послали меня в Государственную думу, и я должен быть с ними, плечом к плечу на фронте, в окопах, для того, чтобы действительно быть их представителем.

Надо идти в пехоту, "в святую пехоту", "серую скотинку", как говорил когда-то командующий Киевским военным округом, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор Михаил Иванович Драгомиров.

Будучи в 1873—1877 годах начальником 14-й пехотной дивизии, он изложил свой опыт по обучению этой "серой скотинки" в серии статей под заглавием "Армейские заметки". А с удачей применил его во время русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов, руководя успешной переправой через Дунай у Зимницы и участвуя в обороне Шипки в августе 1877 года.

Но он не дожил до тех дней, когда его любимая "серая скотинка" не пожелала больше слушаться своих "учителей" и, побросав винтовки, стала разбегаться с фронта по домам. Михаил Иванович Драгомиров, выдающийся военный теоретик и педагог, не дожил до Декабрьского вооруженного восстания, скончавшись в Киеве 15 октября 1905 года за два дня до опубликования манифеста.

* * *

Приняв решение, я послал телеграмму в штаб командующего Юго-Западным фронтом генерала Николая Иудовича Иванова следующего содержания:

"Прошу зачислить меня в 166-й Ровненский пехотный полк. Член Государственной думы Шульгин".

И на следующий день получил ответ:

"Вы зачислены в 166-й Ровненский пехотный полк. Начальник штаба Юго-Западного фронта генерал Алексеев".

Должен сказать, что принять решение идти на войну было легко для меня, но крайне жестоко в отношении моих близких. Некоторые идут на войну от несчастной любви. Но я был счастлив в любви. И потому, прежде чем пролить кровь, я пролил много слез. Но когда наводнение несколько утихло, мне сшили шесть шелковых рубах и шесть продолжений, тоже шелковых, это было утешением и тем, кто проливал слезы, и мне, жестокому палачу.

Однако, должно быть, где-то в глубине сердца я знал свою судьбу. Самое счастливое время моей жизни было на войне. Для меня лично война кончилась счастливо.

Однако это не должно входить в мои настоящие воспоминания. Мемуаристы бывают двух пород. Одни ти-

па Жан-Жака Руссо, написавшего "Исповедь". Тут автор представил себя целиком как политика, мыслителя и простого смертного человека. Таких мало, и я не могу идти по следам женевского мыслителя. В данное время я затесался в сонм мемуаристов, которые касаются только одной части человека, хирургически рассекая его на две половины. Как они, я говорю только о своей какой-то маленькой политической деятельности. При таком способе писать мемуары разные личности становятся односторонними, какими-то деревяшками.

В этом не я виноват. Не я этот жанр выдумал, а еще Гай Юлий Цезарь. Его классические мемуары "О войне в Галлии", написанные чистейшим латинским языком, лучшее снотворное средство, которое я знаю. Но могу ли я не преклоняться перед ним, и потому о своих личных делах пишу как можно скромнее.

Бой

О войне я написал несколько томов. Где они, "ты, господи, веси"? Погибли ли при моих переездах, вольных и невольных, или, где-то спрятавшись, существуют, — не знаю. Но, может быть, и лучше, что оно так. Ведь эти тома именно написаны без разделения на две половины: в них не только политика, но и личная жизнь. И до такой степени, что на первой странице первого тома было написано:

"Настоящие записки не могут быть обнародованы при моей жизни".

Любопытствующие читатели могут, если им это интересно, подождать до такого-то года и такого-то числа, когда эти записки отыщутся и будут обнародованы. Когда сие будет, не ведаю.

А сейчас я попытаюсь вспомнить кое-что о войне.

* * *

Так как это было в сентябре 1914 года, то мой полк мне пришлось нагонять. Это длилось шесть суток. Было бы очень забавно для меня вспомнить эти странствия. Я увидел, как живет народ по ту сторону границы, а жил он там тогда плохо. И вообще я видел много интересного.

Но я не могу себе позволить такой роскоши все это рассказывать. Скажу только, что во время этих путешествий меня никогда не покидала мысль, что в конце концов я попаду под крепость Перемышль.

Там, мерещилось мне, страшные, так называемые волчьи ямы с торчащими к небу заостренными кольями.

Я знал из прежних описаний, что иногда такие крепости брались только после того, как волчьи ямы заполнялись доверху, и даже выше торчащих кольев, трупами убитых, а иногда и тяжелораненых. Вот по этим телам проходили новые штурмы, и крепость брали. Мне казалось, что моя судьба — волчья яма и даже заостренный кол, который вонзится мне в спину.

И действительно, 166-й Ровненский полк оказался под Перемышлем. Но ни волчьих ям, ни острых кольев не было. Полк дрался еще только на передовых укреплениях. До цитадели было верст тридцать.

Штаб полка помещался среди прекрасного леса. В этом году была золотая осень. Дубы и грабы разукрасились во все теплые цвета, то есть желтый и красный.

Я представился командиру полка.

Полковник подал мне руку и, так как это было в присутствии других офицеров, сказал мне очень любезно:

— Мы польщены, что вы избрали именно 166-й пехотный Ровненский полк. Для нас вы не прапорщик, а известный член Государственной думы. Вы прибыли необычайно точно, только сегодня мы получили приказ о вашем зачислении. Назначаю вас в первую роту, в помощь капитану Голосову. Потрудитесь к нему явиться.

Я представился Голосову, и все пошло в самых сердечных тонах. Мне Голосов очень понравился, у него был прекрасный голос, мягкий и звучный, и притом он очаровательно картавил. Я заснул, когда он рассказывал другим офицерам следующее:

— Никогда в жизни я не ударил солдата. А теперь пришлось, и даже унтер-офицера.

Другой голос спросил:

— А почему?

— Я его послал за мясом для роты, деньги дал. Мясо не привез, а деньги украл...

Тут я заснул, но проснулся, должно быть, через час или два. Тихонько, не очень мелодично гудели, лучше сказать, пели какие-то рожки. Я понял — это полевые телефоны. Рядом, в другой комнате, телефонисты, лежа на

полу, разговаривали с траншеями. Это было уютно, таинственно и немножко жутко. Я заснул опять.

* * *

Утром, так как первая рота сейчас была в резерве, мы с полковым врачом пошли гулять. Кругом были горы, покрытые лесом. Началось то, что называется "артиллерийская дуэль", то есть где-то в небе гудели снаряды.

Меня поразила кажущаяся миролюбивость этой музыки. Снаряды гудели как-то очень деловито, напоминая иногда идущий трамвай. Ни выстрелов, ни разрывов не было слышно. Стреляли обе стороны, но что они обстреливали, понять никак нельзя было. Снаряды пролетали высоко в небе над нашими головами, поражая неведомо кого.

Вдруг в эту мирную музыку ворвалась нервная струйка пулеметов. Врач сказал:

— Ну, что-то начинается. Пойдем домой.

Домой — это обозначало штаб полка. Мы не успели дойти, как навстречу нам показались под командой офицера несколько вьючных лошадей, которые несли на спине пулеметы с припасами.

Врач спросил:

— На работу?

Поручик, кажется, Маковский, ответил:

— Да, они как будто начали наступление.

Пройдя еще немного, мы встретили капитана Голосова, к которому я и обратился, так сказать, по-дружески:

— Можно мне с вами?

Но он, смерив меня взглядом, сказал:

— Вы не в форме. Скатку через плечо. Винтовку.

И затем пошел быстрым шагом вперед, а за ним потянулась рота цепочкой.

Врач сказал мне:

— Ну, пойдем одеваться.

Мою новенькую шинель скатали и надели мне через голову на плечо. Затем приладили подсумок с шестьюдесятью патронами и дали в руки винтовку.

Кто-то из офицеров произнес сочувственно:

— Куда вам воевать, хворостинка вы эдакая.

Я обиделся, не поняв тогда, что это замечание было вызвано моим телосложением. Я был высокий и худой. Я спросил:

— Где первая рота? Куда она ушла? Как мне ее найти?

Кто-то ответил:

— Скоро будут раненые. Вот вы и идите к ним навстречу.

Я так и сделал. Пошел по какой-то дороге, которая завела меня в лес и горы. Трели пулеметов и ружейная трескотня не давали указания. Казалось, что они трещат со всех сторон. Но вдруг действительно появились раненые. У них были руки на перевязи, местами окровавленные. Один шел довольно бодро мне навстречу, но лицо у него было хмурое. Естественно, у него рука в лубках, должно быть, была перебита.

Но я был в каком-то дурацком настроении и спросил его:

— Уже заработал?

Он посмотрел на меня злым взглядом и ответил:

— Там всем хватит.

Но я пошел дальше. В ушах у меня звучало из Лермонтова:

Что? Ранен?
Пустяки, безделка!
И завязалась перестрелка...

Вероятно, так и было на погибельном Кавказе примерно сто лет тому назад, когда не было пулеметов и настильного огня, и все было игрушкой сравнительно с современными войнами. В 1914 году это не была "безделка". "Противник сурьезный", — твердил генерал М.В.Алексеев.

Я увидел много раненых и много нераненых, но первой роты 166-го пехотного Ровненского полка не было среди этих гор и лесов. Да и из этой роты я знал только одного человека, капитана Голосова. Я просто приходил в отчаяние, ну как их найти?! Никто не мог мне указать. Я очутился в совсем глупом положении. Как счастья, искал я эту роту, которая сулила мне смерть или рану. И наконец мне посчастливилось.

Через дорогу, по которой я шел, стали перебираться солдаты, и во главе их был капитан Голосов. Я кинулся к нему, как к отцу родному. Но он посмотрел на меня довольно критическим взглядом, сказав:

— Нашли? Ну пойдем.

Я пошел за ним, счастливый донельзя, теперь все хорошо.

Мы долго бродили по холмам и лесам, но Голосов, видимо, твердо знал, куда надо идти. В это время ружейные пули начали пронизывать верхушки деревьев, причем свистели довольно приятно. Но были и неприятные. Некоторые пули рикошетировали от граба, имеющего очень твердую древесину.

В этих случаях пуля начинает кувыркаться через голову и визжит нестерпимо. Эти пули самые опасные. Ранения от них бывают ужасны.

Мое дурацкое настроение продолжалось. Я не испытывал ни малейшего страха. Люди роты тоже не проявляли никаких признаков ужаса. Как будто эти пули их совершенно не касались. Правда, они проходили пока высоко, но скоро огонь стал настильнее, то есть пули пошли ниже. В это время мы вышли на какую-то лужайку, и рота по приказанию Голосова из вереницы перестроилась в цепь, не густую, а с большими перерывами от человека до человека. В таком положении, как я понял, мы оказались лицом к противнику, но он был еще далеко, там, где-то за лесом. Так как пули пошли низко, Голосов скомандовал:

— Ложись!

Рота легла, держа перед собой винтовки со штыками. Потом последовала команда:

— Встать! Перебежка! Бегом, марш!

Перебежали и снова залегли по ту сторону полянки, то есть уже в лесу.

В это время я опять потерял единственное мое счастье — Голосова. Это произошло потому, что развернутая цепь в сто или двести человек оказалась в лесу и видно было только ближайших людей, справа и слева.

Но раздалась еще раз невидимая команда:

— Вперед! Марш!

Мы пошли. И больше я Голосова не увидел.

Таким образом, та часть роты, которая видела меня, естественно, попала под мою команду. Это было мне до известной степени знакомо. Во время еврейского погрома в Киеве я точно так же оказался во главе кучки солдат, покинутой командиром роты. Они видели меня в первый раз в жизни, и я их тоже. Но через короткое время они стали не только исполнять мои приказания, но угадывали каждое движение руки. Солдат любит, чтобы им руководили.

Теперь я знал примерно, где противник, и понял, что нам надо идти на сближение с ним.

Только значительно позже я понял, что все это была нелепость, и не надо было нам идти вперед. Но последнее приказание Голосова было: ''вперед'', — а для меня он был тогда весь ''закон и пророки''. И я стал вести людей перебежками там, где местность позволяла.

— Встать! Перебежка! Ложись!

Но, кроме меня, было еще два унтер-офицера. И вот они меня поразили.

Они не ложились, несмотря на мое приказание. Торчали во весь рост на страх врагам. И затем я услышал вдруг в тишине, наступившей на мгновение, следующее:

— На случай моей убыли назначаю Иваненко.

Это обозначало, если меня убьют или ранят, вами будет командовать Иваненко, его слушайтесь.

Это была строго уставная команда, которую совершенно хладнокровно произносят в мирное время на учебе. Тогда слова: ''в случае моей смерти'' — звучат совершенно ирреально. Но здесь это могло наступить каждую минуту в действительности.

Я еще раз прикрикнул на них:

— Лечь!

Но подумал:

''Черт вас возьми совсем! Этим людям страх смерти, по-видимому, совершенно незнаком''.

И мы двигались сквозь этот прекрасный лес грабово-дубовый, дубово-грабовый, а дикий орешник снизу.

А пули все ниже и ниже. Однажды я увидел, как стоявший на коленях солдат вдруг вздрогнул и выругался. Пуля пронизала над самой его головой лист орешника, золотого от заходящего солнца.

Но я совершенно вошел в свою дурацкую роль и вел людей вперед и вперед, а зачем? Я не знал, но был уверен, что так оно и надо. В это время к свисту и скрежету пуль прибавилось нечто гораздо более громкое. Снаряды стали рваться над деревьями. И шрапнель посыпала орешник, вроде как невидимый град.

Я чувствовал, что вот-вот здесь, впереди, то, что мы ищем. Подняв еще раз людей, я очутился на опушке леса. Опушки, как правило, пристреляны, но я этого не знал тогда. Пристреляны — это обозначает, что снаряды точно рвутся на опушке. Тут действительно был непрерывный гром, но это было еще ничего.

Опушка леса для верности была обведена рвом. Это не был окоп, сделанный войсками. Просто канава, указывающая границу леса. А за канавой было открытое поле,

полого спускавшееся внизу. Там, внизу, была опять канава, до которой было примерно шестьсот шагов. А за канавой поле подымалось и за ним был снова лес, такой же прекрасный золото-багряный, примерно в тысяче шагах от нашей опушки.

В этой нашей канаве лежали люди, опираясь на стену канавы, как на бруствер. Лежали плечом к плечу. Прежде всего подумав, что тут наша первая рота, я стал перебегать от одного к другому и, ложась в канаву, спрашивал ближайшего солдата. Спрашивал, это значило, что я кричал ему в ухо изо всех сил, чтобы он услышал среди этого грохота.

— Какая рота? Первая?

И он отвечал, тоже надсаживая голос:

— Никак нет, ваше благородие, шестая.

Я опять перебегаю. Опять говорят какую-то несусветную роту, а первой нет.

Наконец я бросил ее разыскивать и обратил внимание на то, что тут делают эти люди, эти земляки. Тут были молодые и так называемые дядьки, то есть запасные. Один из таких, лет сорока, совершенно невозмутимо, выпустив пять пуль, закладывал новую пятерку и опять палил.

А я, когда вел людей через лес, видел, как трудно подносить патроны. Шестьдесят патронов, которые несет на себе рядовой, быстро расходуются. Поэтому непрерывно подносят новые. Но это достаточно трудно из-за расстояния и обстрела. На моих глазах убило лошадь, подвозившую на двуколке патроны.

Поэтому я закричал в ухо дядьке:

— Куда палишь?

Он указал мне пальцем вперед на канаву внизу поля, которая находилась на расстоянии шестисот шагов. У меня в ту пору было острое зрение, можно сказать, морское, и я стал кричать в ухо земляку:

— Там никого нет!

Он, присмотревшись, ответил:

— А вже ж никого нема?

Я кричу:

— Перестань! Береги патроны!

А он мне:

— А куды ж стрелять?

И показал рукою влево, вдоль нашей опушки. А я:

— Нельзя, там наши пулеметы, слышишь?

Я понял, что это поручик Маковский там работает.

Наших пулеметов было в то время мало, но там, где они были, они пели веселее, чем австрийские, и потому я их различал. Земляк опять спрашивает:

— А куды ж стрелять?

Поняв, что ему совершенно необходимо стрелять куда-нибудь, я показал ему опушку напротив, в тысяче шагах. Там австрийцы могли быть, если они такие же дураки, как мы, то есть лежат на пристрелянной опушке. Мой земляк закивал головой, достал из подсумка новую обойму, засунул в затвор. Я закричал ему:

— Тысячу шагов поставь!

Перевернув прицел на тысячу шагов, он принялся работать, делая это, как добросовестный крестьянин делает свое дело, по-хозяйски...

Видя, что здесь дело налажено, я перебежал на другое место. Тут я втиснулся между двумя молодыми солдатами. Один из них, оскалив на меня белоснежные зубы, хохотал во все горло.

— Чему смеешься? — закричал я ему в ухо, а он мне в ответ:

— Весело, ваше благородие!

Но я не успел пофилософствовать с ним по поводу этой веселой философии среди окружающего нас ада. Меня что-то так ударило в спину, точнее сказать, в правую лопатку, что, вскочив от невыносимой боли, я потерял сознание.

Очнувшись, я понял, что нахожусь в нескольких шагах от канавы, под большими деревьями, которые ярко освещало заходящее солнце. Понял и то, что ротные фельдшеры какой-то роты перевязывали мне правую руку.

Я сказал, продолжая чувствовать адскую боль:

— Брось, все равно смерть.

Но фельдшер ответил:

— Никак нет, ваше благородие.

Я спросил:

— Что ты там возишься с рукой? Здесь что ли?

— Никак нет, ваше благородие. Вот здесь кровь бежит.

Я не стал с ним спорить. Боль в лопатке начинала становиться терпимой, по крайней мере, я мог дышать и очень обрадовался, когда перевязка кончилась.

— Подымите меня, — попросил я.

Они поставили меня на ноги, и я, почувствовав, что могу идти, сказал:

— Пойду.

— Никак нет, ваше благородие, одни не дойдете.

Один из них взял меня под здоровую левую руку и повел через лес.

Чем дальше мы отходили от опушки, где было так весело, по мнению молодого солдата, я чувствовал себя лучше. Вместе с тем я думал, что эти героические ротные фельдшера, которые спокойно перевязывают раненых в нескольких шагах от пристрелянной канавы, более нужны там, чем мне. Я дойду.

Что? Ранен?
Пустяки, безделка!

Это значило, что дурацкое настроение возвращалось.

Я сказал сопровождающему:

— Ступай обратно.

Но он не сразу меня послушался. Увидев вдалеке серую шинель и белую перевязку, он закричал звонко:

— Раня, эй, раня!

Но "раня" не остановился, может быть, он и не слышал. Тогда мой ротный фельдшер сказал:

— Ваше благородие, этот быстро уходит, за ним не угонитесь. А вон, извольте взглянуть, вон тяжелого несут на винтовках. Эти тихо идут, вам надо с ними.

Действительно, я нагнал их и пошел с ними. Солдатская шинель, которую как-то прикрепляют к винтовкам, служит носилками. Несут вчетвером, потому что тяжело вдвоем. Но они шли медленно, а мне хотелось быстрее попасть домой, то есть в штаб. Я бросил их, опять попав во власть дурацкого настроения. Пустяки, дойду! Но был наказан. Я заблудился и снова стал попадать под огонь. Тут я понял, что психика здорового человека и раненого очень различны. Я прятался за бугорками и, присев где-нибудь, думал о том, как хорошо было бы, если бы чьи-нибудь руки помогли мне добраться и в полной безопасности выпить стакан горячего крепкого чаю. Дурацкое настроение прошло совсем.

Тем временем солнце зашло. Закат еще горел, но с каждой минутой становилось темнее. А дороги я не знал, где штаб полка, не имел никакого представления. Мало того, я потерял уже ориентировку даже в том смысле, что не знал, где мы, а где противник. Сев под каким-то деревом, я раздумывал, что же делать.

Бой стих. Ни пуль, ни шрапнелей. Но последними выстрелами орудий не то мы, не то австрийцы зажгли

какое-то строение с соломенной крышей. Этот пожар горел ярко, и я пошел на огонь. Наконец, перелезая через всякие канавы, дошел до шоссе. Бело-багровое, оно простиралось в обе стороны. Но в какой стороне мы, а в какой противник, огонь не говорил. Я взял вправо и угадал. Через некоторое время, подвигаясь по этой удобной дороге, я дошел до домика, где помещался штаб. При свете пожара я узнал его. Еще несколько шагов, и вот лужайка, на которой, очевидно, перевязывали. Под деревьями лежало несколько человек, уже мертвых, а над другими работал врач, который еще сегодня утром гулял со мной. Я подошел.

— Как, уже? — спросил он.

Теперь я не был в настроении: "что? ранен? пустяки, безделка" — и потому ответил:

— Посмотрите, что у меня там такое.

С меня сняли гимнастерку, что было очень больно. Она была в крови. Потом стащили фуфайку из очень толстой верблюжьей шерсти. Как я потом узнал, это она предохранила меня от серьезной беды. Дело в том, что тот первоначальный удар, от которого я потерял сознание, был от так называемой дистанционной трубки, то есть медной головки снаряда.

Эта штука достаточно тяжелая. Падая с высоты, она ударила меня, когда шрапнель разорвалась над головой. Верблюжью куртку стащили продырявленную. Потом была шелковая рубашка, превращенная в окровавленную тряпку. После этого врач мог меня осмотреть. Он сказал:

— Здорово же вас посыпало. Четыре раны. И пули торчат там. Я их вытащить не могу здесь. Надо эвакуироваться.

Но он ошибся. Когда меня привезли во Львов, то какой-то знаменитый профессор, пригласив своих коллег помоложе, сказал:

— Взгляните, какое изящное ранение. Никаких шрапнельных пуль тут нет. Иначе уже давно было бы воспаление. Это одна ружейная пуля сделала четыре дырки. Сначала она вошла в руку выше локтя с внешней стороны. Это первое входное. Затем она вышла из руки с внутренней стороны. Это первое выходное. При этом она перебила нерв, и потому некоторое время рука будет бездействовать. Затем она опять вошла в тело — это второе входное, и, проделав путь в мясе на спине, вышла. Это второе выходное на два сантиметра от спинного хребта. Итого четыре. Вас можно поздравить. Затем сильный

удар чем-то тяжелым, должно быть, головкой шрапнели, это рассосется.

* * *

Несмотря на приказание врача эвакуироваться, я сразу не уехал. Ночью у меня был порядочный жар, что бывает от потери крови. Вокруг меня суетились офицеры, варили мне чай с красным вином и сердечно со мной беседовали. Я недаром попал в 166-й пехотный Ровненский полк. Но об этом рассказывать не буду. Ну, словом, мне показалось, что я в родной семье. То, о чем я мечтал, прячась от вторичного обстрела, исполнилось. Дружеское участие и горячий чай. Я вдруг понял, как роднит так называемое боевое товарищество. К утру жар прошел, и я, прячась от командира полка, который тоже приказал мне эвакуироваться, гулял в дубово-грабовом лесу, ставшем еще красивее. Но нечаянно я на командира все-таки натолкнулся, и тут последовало серьезное приказание, которого я не мог ослушаться.

Так как я потерял свою скатку после ранения, то мне дали австрийскую голубую шинель одного пленного, который, по-видимому, умер. В таком виде меня привезли во Львов, и на пороге "Саксонской" гостиницы произошла такая сцена.

Там стоял член Думы, один из основателей "Союза освобождения", прогрессист Николай Николаевич Львов, который меня очень хорошо знал, но не узнал в голубой шинели, накинутой на плечи. Но кто-то другой узнал меня, несмотря на маскарад, и на радостях, что я уцелел, стал со мной целоваться. А Львов мне потом рассказывал:

— Как я негодовал, когда увидел, что он взасос целуется с австрийским офицером!

Что же было потом?

Надев на рукав белую повязку с красным крестом, но сохранив офицерские погоны, я прибыл во Львов и прямехонько отправился на ЮЗОЗОвскую базу. Она находилась на улице братьев Шептицких, знаменитых польских меценатов, которые основали в Кракове огромную библиотеку. Там могли работать все желающие, но имевшие высшее образование. База на улице Шептицких представляла большую усадьбу, очень беспорядочную, с какими-то домами, складами, бараками, как раз то, что

нам нужно было. В этой усадьбе я расположился и стал снаряжать отряд.

В моем подчинении, кроме готовящегося отряда, была и самая база. Туда совали людей, с которыми еще не знали, что делать и куда их деть. Все они имели какую-нибудь протекцию. Некоторые попадали сюда, потому что были действительно не годны для фронта, другие же — потому что не хотели идти на фронт. Разбираться в этом было не мое дело. Покамест же я кормил их, давал им койку и старался к чему-нибудь приладить.

Например, у меня было на базе несколько заведующих хозяйством, но совершенно неизвестно, каким хозяйством. Потом были две молоденькие сестры галичанки — о них расскажу впоследствии. Казалось бы, не большое дело снарядить маленький отряд, но возни было много. Избавлю читателя от описания этих мелочей.

Наконец для похода все было готово, и даже карта у меня была. Мы двинулись в направлении австрийского города Самбора на левом берегу Днестра. Там находился какой-то огромный дом, скорее замок или дворец. Это была резиденция штаба 8-й армии, которой командовал генерал А.А.Брусилов. В это время в Самборе нас нагнали на машинах П.Н.Балашев и Н.Н.Можайский. Они потащили меня к Брусилову.

Алексей Алексеевич был кавалерийский генерал, очень моложавый и изящный, несмотря на свои 60 лет. Родился он 19 августа 1853 года. Говорили о том о сем, но я совершенно не предчувствовал, какую роль сыграет Брусилов в будущем, когда осуществленный в 1916 году под его командованием прорыв австро-германского фронта и высокое искусство руководства войсками выдвинули его в число лучших военачальников первой мировой войны.

Конечно, не мог я тогда предвидеть и того, что генерал, с нами беседовавший, будет назначен 22 мая 1917 года верховным главнокомандующим. А если бы мне сказали, что А.А.Брусилов, еще при жизни В.И.Ленина, в 1920 году вступит в Красную Армию, будет служить в центральном аппарате Народного комиссариата по военным делам, инспектировать кавалерию РККА и состоять для особо важных поручений при Реввоенсовете СССР, — вряд ли бы я поверил, сочтя все это бредом.

После Самбора начинались места дикие и неисследованные. Словом, мы попали в Прикарпатскую Русь, где

еще были курные избы. А с нами начались всякие маленькие приключения.

Например, у нас были две походные кухни. Это не были кухни обычного типа. Обыкновенная ротная кухня, если так можно сказать, очень портативна и варит обед на ходу, причем повар шагает непосредственно за ней. В результате, когда рота останавливается на обед, борщ готов.

Наши кухни не умели варить на ходу, были огромные и неуравновешенные. Они в конце концов на одном косогоре свалились в реку. При этом мои семь студентов проявили обычную интеллигентскую никчемность при святой горячности. Они вымокли в реке, но кухонь не вытащили. А дядьки вытащили со спокойствием, и эти величественные колымаги проследовали дальше.

Но движение становилось с каждым часом труднее, и потому я, бросив кухни и студентов, помчался вперед на автомобиле, следуя карте, чтобы узнать, не грозит ли нам нечто совершенно непроходимое.

И действительно, я попал в пробку. Обозы стали, и прохода не было, так как с двух сторон дороги была непролазная грязь, а порой и просто болото.

В этой пробке я сидел тринадцать часов. Впереди и сзади твердокаменно стояли обозы. Объехать нельзя. Можно было только обойти пешком. И пехота тринадцать часов шлепала, увязая в грязи, мимо нас.

Настроение, конечно, было соответствующее. Грандиозный многоэтажный мат звенел над этими дорогами в виде единственного утешения. Не отставал в этом отношении и мой мальчишка, шофер Горбач. Он в Киеве служил на бирже такси, а это, по мнению самих же шоферов, самый пропащий народ. Но неоценимым достоинством Горбача было доброе сердце. По образованию же он был слесарь.

А пехота все тянулась и тянулась по бокам дороги. Эти шлепающие в грязи люди, естественно, ненавидели автомобиль. И поэтому крыли нас, а Горбач заступался за нашу честь и не оставался в долгу.

Чтобы его угомонить и еще потому что было чертовски холодно — дул сильный ветер, а машина была открытая, — я приказал ему варить чай. Он принялся за это с восторгом. Перебравшись через ближайшую грязь, он поставил примус на каком-то маленьком пригорке, сделав это на случай, чтобы нас не поранило, если запущенный на чистом бензине примус разорвет. Но примус

не разорвало, наоборот. Он воссиял в сгущающихся сумерках, как звезда первой величины. И несколько раз согревал душу и тело в течение бесконечной ночи.

Наконец пришел рассвет и с ним свобода. Обозы двинулись. Мы пошли сначала за ними, а когда дорога стала лучше, мы их обогнали и приехали в какое-то село с курными избами, где стоял штаб корпуса, то есть, собственно, корпусной врач.

Это был очень симпатичный старичок, принявший меня радушно, угостивший превосходным кофе со сдобными булочками. Тут же суетились его ближайшие помощники, два врача средних лет, с узкими погонами, но вроде как бы в полковничьем чине.

Я попытался изложить медицинскому генералу, то есть старичку, что я такое и зачем тут. Он понял, что я член Государственной думы, но чего я от него хочу, не очень понимал. Зато он посвятил меня в свои семейные дела. Он ждал жену, которая под видом сестры милосердия к нему выехала. Затем он стал жаловаться: "Болеет, бедняжка, болеет. Ревматизмы страшные. Я массирую, как умею, но, знаете, трудно. Передние-то ноги еще ничего, а задними, хотя она и добрая, как овечка, но лягает".

Я обалдел. Врачи-полковники кусали губы. И наконец я понял: корпусной врач, как и некоторые другие врачи, был лошадник. Его прекрасная кобылка заболела ревматизмом. Но так как он без перехода перешел от жены к лошади, то и произошел такой казус.

Наконец я втолковал ему, что я — отряд, прикомандированный к корпусу, и что прежде всего мне нужно помещение, то есть хату. О другом здесь мечтать не приходилось. Тогда он сказал:

— Да, да, с помещениями здесь плохо. Вот этот маленький домик я занял, а больше ничего и нет. А впрочем, вот вам Иван Иванович покажет.

Мы вышли с одним из врачей-полковников.

— Горячитесь? — спросил он. — Остынете...

Я ничего не ответил. Мы пошли по грязной улице и пришли к какому-то зданию, нечто вроде барака. Вошли. Довольно большое помещение, но оно было сплошь занято ранеными и больными, лежавшими на соломе. Он показал рукою:

— Вот здесь раненые. А там — холерные.

Я не выдержал:

— Раненые и холерные в одном помещении?!

— Ну а что поделаешь, если нет.

Нет-нет, а все-таки мы нашли какую-то довольно большую хату и притом пустую. И даже соломой был устлан земляной пол. Соломы было много, хотя и грязной.

Я сказал: "За неимением лучшего, займу эту хату".

Мои кухни и студенты прибыли не так скоро. Поэтому я решил по совету корпусного врача побывать у самого начальника корпуса генерал Н.А.Орлова. Штаб этого генерала помещался за "горами и лесами", куда вела бревенчатая мостовая.

Еше древние римляне говорили: "Германцы очень любят петь. Но когда они поют, то голоса их звучат, как грохот колес по бревенчатой мостовой".

У нас такие дороги назывались "клавиши". Вот я и поехал по этим "клавишам" к генералу Орлову. И узнал, что проехать по такой настилке можно, если выдержишь.

* * *

Николай Александрович принял меня крайне любезно. Он видимо, также скучал, как и корпусной врач. Он пригласил меня обедать со всем штабом, а после обеда три часа разговаривал со мной вдвоем. Ясно было, что у него времени много.

О чем же мы говорили?

С членом Государственной думы можно было говорить при желании о политике, о важных военных вопросах, о состоянии армии и, наконец, поскольку я причислен был к медицинскому ведомству, об этого рода делах. О последних генерал сказал, что ими ведает корпусной врач. А я хотел от Орлова, чтобы он своей властью продвинул мой отряд ближе к фронту, потому что мне стало ясно: при корпусном враче мне нечего делать.

Ну, так вот, о чем же мы говорили с генералом три битых часа? Трудно поверить — о травосеянии в Сибири! Орлов там когда-то служил и Сибирью интересовался. Но мне до Сибири не было никакого дела, в особенности до травосеяния. Но я слушал терпеливо и покорно. Зато когда я пустился в обратный путь по грохочущим "клавишам", то подумал: "Тут разразится какой-то скандал".

Я угадал. Через некоторое время, но когда меня уже там не было, противник прорвал наш фронт, и прорыв имел сорок верст в ширину. Это была катастрофа. Все

бежали, а те, что не убежали, попали в плен. В том числе едва не попал в плен мой отряд.

И тогда я вспомнил, что это не первое приключение Николая Александровича Орлова. Еще в 1904 году в Ляоянском сражении поражение дивизии генерала у Янтайских копей повлекло за собой очищение русскими Ляояна и отступление всей армии командующего А.Н.Куропаткина. Бывает... А меж тем Н.А.Орлов был образованный генерал, профессор Академии Генерального штаба. Я еще раз понял, что талант военного полководца одним только образованием не получишь.

* * *

Но вернемся к тем временам, когда мой отряд еще состоял под моим начальством. Кое-как мы разместились в этой хате и приготовились к работе. Мобилизовали марлю, бинты, лубки и все прочее. Студенты работали охотно, а остальные исполняли свои обязанности.

Исполняли свои обязанности и два молодых человека лет шестнадцати, аристократического происхождения, пажи. Это были сыновья Петра Николаевича Балашева и профессора Чубинского. Пажа Чубинского называли пупс. У него было лицо великовозрастного младенца, и говорил он жирным баском. Надоел мне страшно, повторяя беспрерывно:

— Когда же, Василий Витальевич, мы будем выносить раненых из окопов?

Это была их обязанность, они для этого и приехали, надоевши родителям так, что их отдали мне в отряд. Никак нельзя было им втолковать, что мы находимся при штабе корпуса, от которого до окопов три года скачи — не доскачешь.

Но раненые в окопах, в одну прекрасную ночь, пришли к нам сами. На дверях нашей хаты всю ночь горел яркий фонарь, освещавший красный крест. Дежурному было вменено в обязанность следить, чтобы свеча не потухла. В эту ночь было морозно.

В три часа ночи постучали в окно, а затем вошел солдат, совершенно замерзший, рука на перевязи. Все вскочили, хата осветилась огарками. Заработал примус, и через десять минут изнемогшему человеку дали горячий чай с вином. Он оттаял и стал отвечать на вопросы:

— Откуда?

— С фронта.

— Как далеко?
— Тридцать будет.
— Сколько шел?
— Часов десять... не знаю.
— Почему повязка протекла? Когда тебя перевязывали?
— Там, ротный фельдшер, от окопов близко.
— И больше нигде не перевязывали?
— Нет. Ни одного огня не видел.

Между тем я твердо знал, что какой-то Красный Крест стоит от нас в пятнадцати верстах в направлении фронта. Стали перевязывать. Перевязка протекла кровью, хотя были наложены лубки. Пуля перебила кость.

За этим первым посыпались. Все такие же ходячие, но с переломами рук. Все они, помимо всего прочего, замерзли. И потому кружка горячего чая была для них благодеянием. Некоторые охотно рассказывали, что делается на фронте:

— Там гора великая. Черт ее возьмет! Антилерии треба. Там багацко наших лежит.

И опять:

— Антилерии треба!

На этой "великой" горе стояли мадьяры. К ним приезжал какой-то австрийский принц, и они поклялись ему, что не сдадут горы. И не сдавали, пока не пришла на помощь эта самая "антилерия".

С величайшим трудом, на руках мы втащили пушки на такую гору, с которой была видна эта самая "великая" гора, и наши снаряды ее доставали. Когда "антилерия" прижала как следует, мадьяры побежали и мы заняли "великую" гору.

За этой "великой" горой, на горе еще более высокой, стоял пограничный знак в виде некоего обелиска. На одной стороне было выгравировано: "Польша", на другой — "Венгрия".

* * *

Был один член Государственной думы, очень полезный в Таврическом дворце. Он кое-что смыслил в финансах. А на фронте очень суетился. Он свалился мне на голову с криками:

— Едем!
— Куда?
— В Венгрию. Командир корпуса там.

Мой отряд уже втянулся в работу, я мог отлучиться. Поехали. Проехав пограничный обелиск, мы очутились в Венгрии. Это было очень приятно. Тут начинался южный склон. Там, откуда мы приехали, то есть на северном склоне, была зима и мороз. А здесь весна.

Мы быстро спускались, и быстро теплело. Проехали несколько километров, и вдруг дороги не стало. Снега, сбежавшие с гор ручьями, размыли ее.

— Пешком пойдем.

Он был настроен воинственно. Бросив автомобиль, пошли. Вошли в какую-то деревушку с соломенными крышами, где никого не было. Вдруг загудело, и солому ближайшей хаты сорвало пролетевшим снарядом. Нас осыпало соломинками. Он сказал: "А это неприятно!"

Пошли дальше, он непременно хотел добраться до командира корпуса, хотя нам решительно нечего было ему сказать.

Мы дошли благополучно до села побольше и увидели хорошую шоссейную дорогу, которая уходила прямо к противнику.

Вдруг я увидел, сначала даже подумал, что мне чудится, голубые австрийские шинели, которые шли прямо на нас, в строю, четыре в ряд, и эта колонна тянулась куда-то вдаль. Что такое? Вот что это было.

Целый полк переходил на нашу сторону. Оказалось, что это были взбунтовавшиеся славяне австрийской армии. Среди австрийских славян война с Россией была крайне непопулярна. Но их старались перемешивать с другими национальностями. Однако здесь недоглядели — в этом полку славян оказалось большинство. И они пошли к славянам: поляки, русины, чехи, сербы, словаки. Так как их было подавляющее большинство, то они захватили и небольшую часть венгров. И вот, идут по дороге, несмотря на то, что их бьет австрийская артиллерия.

Село, в котором мы очутились, называлось Мезалаборче. Я пишу об этом потому, что с этим полком мне пришлось в тот же день встретиться еще раз.

В первом томе мемуаров бывшего президента ЧССР генерала армии Л.Свободы, вышедших в Праге в 1971 году под названием "Дорогами жизни", рассказано, что в 1915 году он был призван в ряды императорской австро-венгерской армии. Когда его пехотный полк попал на восточный фронт, двадцатилетний Людвик Свобода, подобно многим тысячам других чехов и словаков,

при первой возможности перешел на сторону русских. Это произошло 8 сентября 1915 года под Тарнополем. По-видимому, я явился одним из первых свидетелей этого великого движения славян к своим братьям в Россию. В "лоскутной" монархии Габсбургов стали появляться трещины распада с самого начала войны.

Пропустив переходящих к нам славян мимо себя, мы пошли в штаб. Это довольно большой дом, обитатели которого собирались уезжать, потому что его обстреливали шрапнелью. Она падала на крышу и в саду вокруг. Во дворе стоял воз, даже целая платформа, переполненная вещами, всяким скарбом. На самом верху, на каком-то кресле сидел большой белый гусь, очевидно привязанный. Он опасливо смотрел в небо одним глазом. Небо грохотало и сыпало пулями.

Так как я уже побывал под этими салютами и был ранен, то, скажу откровенно, мне было тоже не совсем по себе. Я был очень рад, когда мой спутник вышел из дома и сказал:

— Надо уходить.

Мы дезертировали и где-то нашли свою машину. Поехали. В это время полк славянских перебежчиков уже стал подниматься на гору. Мы обогнали его. И тут увидели и поняли, что часть этих людей были пьяны, и все голодны до озверения. Мой суетливый спутник бросил им круглый хлеб, который у него оказался, и большой кусок сала.

Но что произошло! Один солдат подхватил хлеб на лету и убежал с ним в поле. За ним ринулись остальные. Нагнали, сбили с ног. Он, падая, поджимал хлеб под живот, но его перевернули, хлеб вырвали. И все вместе стали рвать несчастный хлеб друг у друга. То же самое произошло и с салом. Мы умчались от этого страшного зрелища.

Я приехал домой, то есть к своему отряду. Через несколько часов мне принесли телеграмму: "Приготовьтесь накормить две тысячи человек".

Вот когда пошла горячка. Я понял, что это на меня навалятся все те же озверевшие от голода солдаты.

Две тысячи человек! Считая один хлеб на четырех, надо было достать пятьсот хлебов. Я погнал автомобиль в ближайшую военную хлебопекарню. Привезли. Но надо было приготовить обед. Мои гигантские кухни тут-то и пригодились. Но я подсчитал, что сегодня "голубые" не смогут добраться. Придут утром еще более голодные.

От нас дорога подымалась в гору. Я приказал дежурить с утра. Вдруг мне доносят:

— Идут!

Я выбежал на дорогу и увидел: "голубые" показались на хребте. В это время кухня уже заработала, и так как не было ветра, дымок победоносно струился к ясному небу. Но запах от кухни распространялся и без ветра, и от него, от этого запаха, голодные солдаты должны были еще пуще озвереть.

Поэтому я пошел им навстречу. Я надеялся, что при них все-таки есть какой-то наш конвой. И не ошибся. Был конвой, и начальник его, толковый унтер-офицер, сейчас же подбежал ко мне, я спросил его по существу:

— Конвой обедал?

— Никак нет, ваше благородие.

— Сколько конвойных?

— Так что 80 человек.

— Разделить пополам. Сорок человек марш к кухням обедать. Сорока остаться тут, на месте.

— Слушаюсь, ваше благородие.

Конвой бегом побежал к кухням. Когда их там покормили и они вернулись, я отправил обедать и другую часть. Когда весь конвой насытился, я сказал:

— Окружить кухни.

Когда это сделали, приказал:

— Теперь пускай.

Они бросились, хорошо, что предохранительные меры были приняты. Они перевернули бы кухни, обед пропал бы, и они вместе с ним. Но конвой оказался на высоте. И когда "голубые" бросились к кухням, конвой повернул винтовки штыками вперед. Перед этим обезумевшие отступили. Русских штыков панически боялись за границей.

Тогда я вышел за конвой и стал с ними говорить на трех языках: немецком, русском и польском. А больше всего изъяснялся на пальцах. Я показывал им: 4, 4, 4. Это они легко поняли. Тогда я стал долбить им, что надо рассчитаться на четверки. И это они поняли. Голод не тетка. Когда они выстроились в несколько рядов, но по четверкам, я приказал давать на каждую четверку один хлеб. Мгновенно у них появились какие-то ножи, и они стали резать хлеб.

Когда они съели хлеб, звери снова стали людьми. Я ясно видел это по их глазам, они стали совершенно другими. Исчезло бешенство и светился разум. Тогда стали

подпускать к кухням. У них у всех были котелки, которые наполняли разливной ложкой. Примерно пятьсот граммов жирного, вкусного борща на брата.

Это длилось долго, но наконец кончилось. Благодаря на всех языках и руками тоже, под водительством конвоя, они пошли дальше. Судьба славян в России не была дурной. Их не считали пленными. Их пристроили в разных хозяйствах, в селах и у помещиков, где они охотно работали.

Впоследствии из этих перебежавших в Россию славян была сформирована армия не армия, но корпус. А Людвик Свобода 2 июня 1917 года сражался уже плечом к плечу с русскими солдатами против австро-германцев под Зборовом.

* * *

Где-то в Галиции стояла церковка, такая, какие бывают только там. Она была сложена из деревянных бревен невообразимой толщины. Никто не знает, сколько лет было этим деревьям, когда их призвали к высокому назначению быть стенами храма. Но церковка эта была крохотная, с комнату величиной. В нее вели ступени. Толщина ступеней была почти в пол-локтя. Куполок у церкви был один, куда меньше, чем Царь-колокол! Стояла она среди зеленой лужайки, где летом были цветы.

Внутри был алтарь — все как надо. Несколько человек могли в ней поместиться. Галичанки в белых свитках иногда молились здесь до войны. А сейчас сюда приходила русская сестра милосердия в белой косынке, напоминавшей венчальную фату, и коленопреклоненно молилась о всех и за вся.

А ночью эта же сестра сидела у маленького столика в громадной палате. Керосинка освещала только ее белую косынку и записную книжечку, в которой было записано, кому и когда давать лекарства и прочие назначения.

Вокруг сестры стояло много коек с тяжелоранеными. Ближайшие были чуть видны, особенно белые подушки и перевязки, а те, что подальше, еле виднелись в темноте. Была тишина, иногда нарушавшаяся тихим стоном.

Все это я увидел, войдя в палату. Сестра поманила меня рукой и указала на второй стул, около столика. Она докончила читать записи и ушла бродить в полутьме, исполняя свои обязанности. Потом она вернулась и на-

лила мне стакан горячего чая с красным вином. Таков был неизменный обычай на той войне.

Мы говорили шепотом о том о сем. О ее работе, о моих приключениях и о том, что было так далеко-далеко, о близких и родных там, в граде Киеве, брошенных.

Про край родной, про гулкие метели,
про радости и скорби юных дней,
про тихие напевы колыбели,
про отчий дом, про кровных и друзей.

Но она все время прислушивалась, не позовет ли кто. И кто-то позвал. Она пошла. И долго ее не было. Я с трудом мог разглядеть, как белая косынка склонилась над кем-то и, должно быть, внимательно слушала какую-то длинную речь.

Я слушал, как говорит безмолвие. И думал:

"Что он, этот неизвестный тяжелый, говорит сестре? Наверное, о своей болезни, о своей ране, о страданиях, ею причиняемых. А может быть, о детях, которых он оставил дома?.."

Наконец сестра вернулась. По ее хорошо знакомому лицу я увидел: что-то произошло. Серые глаза залил расширившийся зрачок и они казались черными.

Через некоторое время она стала говорить:

— Страшное он рассказал. Ему дали отпуск. Поезд пришел ночью. Он отправился пешком через лес в свою деревню. Там все спали. Только в одной хате был огонек. Он вошел и увидел — на постели спят двое: отец и жена. В углу был топор. Он взял его, подошел к постели и убил обоих. Они даже не проснулись. Он закрыл дверь, снова прошел через лес, сел в поезд и вернулся в полк. На следующий день его тяжело ранило. Будет ли жив — не знаю. Он думает, что умрет. Мучает совесть. Просит позвать командира полка. Хочет сознаться. И чтобы его судили. Просит меня. Что делать?

Я долго не отвечал. Она неотступно смотрела на меня серыми глазами, ставшими черными. Я думал и слушал.

Где-то там, выше крыши палаты, там, в темноте ночи, звучало:

...про тихие напевы колыбели,
про отчий дом, про кровных и друзей.

А потом... потом мои мысли перенеслись в церковку с необъятными стенами. Там на коленях перед алтарем

молилась эта самая сестра в подвенечной косынке с серыми глазами, ставшими черными, молилась о всех и за вся.

После долгого молчания я произнес:

— Пойдите к нему и скажите, что их благородие, — он меня видит, — приказали: командиру полка не надо говорить, батюшке — на исповеди.

* * *

Мария Николаевна Хомякова недолго оставалась там, в глуши Галиции, где стояла ветхая, старинная церковка. Вместе с частью отряда Государственной думы она переходила в Тарнов, а мы, то есть П.Н.Балашев, Н.Н.Можайский и я, двигались по шоссе во Львов. Балашев в одном автомобиле отправился прямо в город. Можайский же на другой машине, захватив меня, хотел куда-то еще заехать, но, можно сказать, заехал в тупик.

Мы очутились перед взорванным мостом, по которому с трудом можно было перебраться пешком, а машина и подавно пройти не могла. Река тут была довольно широка, но спуск к воде удобный, песчаный. Так как мы воображали себя властителями рек, то без колебаний бросились в воду. И сели. Оказалось, здесь не только широко, но и глубоко. Вода стала заливать машину до сиденья. Мы вскочили на спинку, но мотор стал. Кончено. Что делать?

Горбач, не думая ни минуты, соскочил в воду, которая была ему выше пояса. Можайский не позволил мне сделать то же, а сам прыгнул, сказав:

— Стерегите машину.

— От кого ее стеречь посреди реки?

Но я покорился. Впрочем, кое-что сделал и путного. Успел, например, выхватить на спинку спальные мешки, прежде чем они намокли. Это нам пригодилось.

Совсем недалеко была деревня. Туда направились Можайский и Горбач. Там они подняли тарарам, разыскали старосту, и деревня сбежалась на песок. Это были местные крестьяне, поляки, очень суетливые и очень вежливые. Никакого мата, только: "проше пана" и причитания. Однако никакой пользы они не принесли. Напрасно Горбач вопил, что надо лезть в воду и "вырвать машину, — как он говорил, — подъемом". Крестьяне бегали по берегу и в воду не лезли. Я сидел посреди реки на

спинке автомобиля, все это наблюдая, и думал: конечно, надо "подъем".

Но Горбач переменил тактику и стал вопить:

— Коней надо, понимаешь?

Они поняли и притащили две лошаденки и веревку. Горбач привязал веревку к рессоре. Коней погнали. Лошаденки испугались криков и потянули. На них кричали еще, они еще напряглись, и веревка порвалась. Машина осталась на месте.

Отчаяние и ругань Горбача были неописуемы.

— И веревки у них нет, трам-та-ра-рам!..

Неожиданно послышался звук мотора. На песок спустилась машина, грузовик. Шоферы заявили:

— Нас прислал штаб вытащить машину.

Мы обрадовались:

— Да, да, вот она, в реке.

Последовала ругань, без которой нельзя. Они бросили Горбачу цепь:

— Вяжи, дурак, посадил машину!

Горбач завязал, грузовик завыл, цепь натянулась, но машина осталась на месте. Тогда надумали: в помощь грузовику впрягли и лошаденок.

"Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, собачка за внучку, тянут-потянут — вытащить не могут!"

Мышка не успела прибежать, потому что цепь лопнула. Грузовик заругался невыразимыми словами, мотор завыл, и они уехали.

А потом мы узнали, что вышло некоторое недоразумение. Штаб выслал помощь совсем не нам, а другой машине, штабной, которая тоже засела в реке в каком-то другом месте.

Стало темнеть. Можайский сказал, что будем ночевать на том берегу в спальных мешках. Меня сняли с машины сухим, и мы с Можайским перешли на тот берег реки по конструкции моста, так как настилки не было. Горбачу я сказал:

— В деревню. Отогрейся. Высушись.

Он спросил:

— А машина?

— Ну что машине сделается?

Мы залегли в мешках. Что я согрелся быстро — это неудивительно, но и мокрый Можайский, сняв сапоги и прочее, тоже согрелся. Мы заснули.

В воздухе упоительно пахло красной лозой, и река чуть-чуть журчала.

На рассвете Николая Николаевича осенила блестящая мысль. Он сказал:

— К этапному коменданту.

Этапный комендант оказался киевлянином, чехом, по фамилии Поспишиль. У чехов бывают довольно странные фамилии. Например: Невыдержа, Выскочил... ну и Поспишиль. Этот чех был русским офицером, сыном преподавателя латинского языка в Киеве. Значит — земляки. Поспишиль поспешил и сказал нам:

— Я дам вам двадцать пять "мерзавцев" — мою этапную команду. Делайте с ними что хотите. Эти негодяи способны вытащить и самого черта за рога.

Мы зашагали обратно во главе этой этапной команды. Пришли. Все было без изменения. Горбач ругался. Команда со старшим унтер-офицером во главе выстроилась и ждала.

Я думал, думал и наконец придумал. Отозвал старшего в сторону и повел с ним разговор такого рода:

— Вода холодная.

— Так точно, ваше благородие, холодная.

— Я не могу приказывать людям лезть в холодную воду.

— Так точно, ваше благородие, можете.

— Могу, но не хочу. Только добровольно.

— Так точно, ваше благородие, добровольно.

— Скажи им, двадцать пять рублей, рубль на водку каждому, если вытащат машину.

— Так точно, ваше благородие, рубль на брата.

Он пошел к неподвижно стоящей команде и что-то им сказал. Они пришли в огромное волнение, и начался грандиозный мат, которым они крыли друг друга.

— Ну чего? Чего тут смотреть? Скидавай штаны!

Покричав и сбросив штаны и сапоги, полезли в ледяную воду, продолжая ругаться. Все двадцать пять ухватились за машину с воплями:

— Раскачивай ее, раскачивай!

Машина сначала не поддавалась, но потом послушалась, начала качаться. Тогда они стали вопить:

— Не дай ей, не дай ей, трам-па-ра-рам!..

Под влиянием этих уговоров машина раскачивалась все больше и больше, и верхушки колес уже показались из воды.

Тогда вопли "не дай ей" стали перебиваться криками:

— Досок, досок под нее!

Это поняли и крестьяне, бегавшие по берегу, и броси-

ли им несколько досок. И под продолжавшиеся крики "не дай ей" доски подвели. Теперь "она" уже не могла загрузнуть второй раз. Тогда, переменив направление своих усилий, они подтащили ее к доскам, которые сменяли одна другую, и вырвали проклятую машину на берег.

Мы смотрели на все это, и у меня просто горло стеснило от восторга и еще чего-то... "Мерзавцы" и "негодяи" спешно одевались, продолжая ругаться. Потом выстроились. Я дал деньги старшему. Он сказал мне:

— Покорнейше благодарю, ваше благородие!

А команде я прокричал надтреснутым голосом:

— Спасибо, земляки!

Они ответили дружно:

— Рады стараться, ваше благородие!

Вот тебе и "мерзавцы".

* * *

Человек, как известно, животное общественное. Но не совсем. Есть у человека и личная жизнь. В античном греческом мире людей, которые не занимались политикой, то есть общественным, а только жили личной жизнью, называли "идиотами". Это отнюдь не было бранное слово. Таковым оно стало гораздо позже, то есть когда люди сильно поглупели.

Я не страдаю самомнением, но должен сказать, что я совершенный "идиот" в греческом смысле. Политику ненавидел уже тогда, когда я не понимал еще, что это слово значит.

Например, когда я уже научился читать и случайно попадал на газетные строчки, где было сказано, что в какой-то стране разразилась парламентская борьба, я просто негодовал. В моем мальчишеском представлении борьба представлялась дракой с индейцами по Майн Риду.

Словом, я стопроцентный "частник", но судьба, беспощадная Мойра, принудила меня стать членом Государственной думы со всеми последствиями сего. Поэтому и на войне я, в сущности говоря, был только парламентарий, то есть воспринимал ее с точки зрения политики. Это потому, что я все-таки коллективное животное.

Но неизъяснимую тайну войны я испытал в чисто личном плане, а потому здесь говорить не могу. Ввиду

того, что я мемуарист обычного толка, у меня одна половина мозга вырезана. И ничего с этим не поделаешь.

То ли дело Лев Николаевич Толстой. Его великое произведение имеет двойное название: "Война и мир". Война — это общественное, мир — глубоко личное. Это чарующее личное Толстой мог себе позволить только потому, что он назвал свой шедевр романом. В качестве романиста он мог описывать себя и близких ему людей по закону: "Я не я, лошадь не моя". Он, например, назвал свою мать княжной Болконской. Эта невинная ложь позволила ему сказать великую правду о женщине некрасивой лучше, чем о красивой.

Я этого всего позволить себе не могу и потому буду продолжать моим ущемленным пером о войне с точки зрения политической. И вот что из этого последует. Приехав в Киев, я стал там лечиться, потому что правая рука после ранения не действовала. При помощи гальванизации мою руку разбудили. Она стала подниматься настолько, что я смог пальцами взять правое ухо. Тогда я почувствовал, что надо возвращаться на фронт.

* * *

И вот, снова Львов. Перед отъездом на фронт, будучи совершенно один, я пошел в театрик, наполненный исключительно русскими офицерами.

Но тут случилось нечто. Там я встретился с моими друзьями по Государственной думе: Петром Николаевичем Балашевым и председателем брацлавской уездной земской управы, камергером высочайшего Двора Николаем Николаевичем Можайским. Многие члены Государственной думы очутились на фронте.

Одни, как и я, затесались в действующую армию, сломав закон, по которому депутаты Думы не могли призываться, другие же устраивались как-нибудь иначе. Член Думы последних трех созывов от Тульской губернии, богородицкий предводитель дворянства граф Владимир Алексеевич Бобринский был адъютантом у генерала Радко Дмитриева. Товарищ секретаря Государственной думы, порховский уездный предводитель дворянства Псковской губернии националист Александр Дмитриевич Зарин, человек пожилой, по внешности, можно сказать, бочка, пошел просто в пехоту. Он очень многое перенес там и впоследствии озлился. Земский деятель октябрист Александр Иванович Звегинцев, депутат Госу-

дарственной думы от Воронежской губернии, тоже был в каком-то штабе, но впоследствии погиб на разбившемся самолете "Илье Муромце".

Некоторые члены Думы надели повязки с красным крестом на руку и работали на гуманитарном поприще. Например, В.М.Пуришкевич организовал великолепный поезд для тяжелораненых. Их с фронта доставляли прямо в Москву или Петербург. Попасть в поезд Пуришкевича было мечтой. П.Н.Балашев и Н.Н.Можайский тоже пошли по этой дороге. Они не захотели работать вместе с созданным 30 июля 1914 года в Москве на съезде уполномоченных губернских земств Всероссийским земским союзом помощи больным и раненым воинам и выделились в особую группу под именем ЮЗОЗО.

Они имели автомобили, что было весьма существенно. Вместо того чтобы мне тащиться по дорогам, как в первый раз, когда я нагонял свой полк, П.Н.Балашев и Н.Н.Можайский предложили мне ехать с ними к генералу Радко Дмитриеву. Там точно скажут, где мой полк. Но пока что затаили одну мысль, которая выяснилась впоследствии.

* * *

Несколько слов о Радко Дмитриеве. Он был болгарин по происхождению и считался одним из выдающихся генералов. Кроме всего прочего, у него был какой-то дар, близкий к ясновидению. Бобринский Владимир Алексеевич рассказывал мне о нем:

— Солдаты были убеждены, что он что-то знает. Я запомнил один случай. Однажды генерал шел в сопровождении всего штаба вдоль опушки леса, а опушки, как вы знаете, почти всегда пристреляны. И тут, то справа, то слева от движущейся нашей группы, рвалась шрапнель над деревьями. Было несомненно, что немцы нас увидят. Поэтому это хождение было опасным. Однако генерал шел, и мы должны были идти с ним. День был прекрасный. Радко Дмитриев был очень весел, шутил и угощал нас шоколадом. Он сделал довольно продолжительную остановку под огромным дубом, торчавшим на опушке. Осматривал расположение. А белые дымки шрапнелей продолжали рваться то справа, то слева. Пройдя шагов сто, Радко обернулся на дуб и увидел, что там, совершенно неизвестно для чего, стоит молодой офицер. Тогда генерал скомандовал громовым голосом:

— Поручик, ко мне! Бегом!

Офицер побежал от дуба, и едва он успел отбежать, как ядро ударило в самый ствол там, где он стоял. Это произвело впечатление, и солдаты без всякого колебания говорили: "Он что-то знает".

Тяжелый бой под Львовом 13 августа 1914 года западнее Золочева на берегах реки Золотая Липа, где у Радко были две дивизии, а у австрийцев три, он выиграл только потому, что лично повел в атаку последний резерв, то есть свой штаб и конвой. Этот ничтожный удар австрийцы не выдержали и отступили.

* * *

В этот день и эту ночь был очень ожесточенный бой под Ярославом, городом западнее Львова. Артиллерийская пальба была так сильна, что ее слышно было здесь, в штабе корпуса. Лица офицеров были серьезные. Однако генерал нас сейчас же принял. Он пригласил ужинать. Но прежде чем сели за стол, Радко Дмитриев обратился к нам с речью. Он говорил с легким болгарским акцентом и энергической манерой.

— Я болгарин, как вам известно. Я горжусь тем, что я русский генерал. Я горжусь, что командую русским солдатом. Нет в мире лучше солдата. Я его люблю. Но я не смею его любить. Не смею. Если я себе позволю его любить, не смогу воевать. Как могу любить, когда посылаю на смерть роту, полк, дивизию?! Слышите?

В это время сквозь раскрывшуюся дверь мы ясно услышали грохот артиллерии. Радко продолжал:

— Не могу его любить. Не смею...

Это звучало как команда, резкая, отрывистая. Затем голос его смягчился. Он продолжал:

— Но кто-то должен же его любить. Пожалеть. Позаботиться о нем. Кто-то. Кто? Вы. Вы, Красный Крест. Вот ваша должность.

И потом он неожиданно обратился лично ко мне:

— Вот вы. Что вы такое на фронте? Ничто. Прапорщик несчастный. Вам там не место. Ну, повоевали. Ранены. Пример показали. Все об этом знают. Довольно. Идите в Красный Крест. Как ваш начальник я вам приказываю. Даю вам командировку.

Тут он остановился, потом спросил, обращаясь к Балашеву:

— Как вы называетесь?

Балашев ответил:

— Юго-Западная областная земская организация, сокращенно ЮЗОЗО.

Тогда Радко, обращаясь к начальнику штаба, сказал:

— Напишите командировку прапорщику Шульгину в Юго-Западную — ну, словом, в ЮЗОЗО.

* * *

Вот так они решили мою судьбу. Я честно хотел вернуться в полк, но...

Итак, мы ужинали. Ночь была адская, дождь со снегом и ветром. То начальник штаба, то личный адъютант генерала вставали от стола и уходили. Они уходили слушать грохот артиллерии. Затем они возвращались и что-то тихонько говорили генералу. Тот отвечал тоже тихонько, но громче, так что мы слышали:

— Нажимает? Вздор! Отступит...

Офицеры кивали головами, и лица их сразу становились веселее. А Радко продолжал беседовать с нами на разные темы. И только короткие пальцы, которыми он барабанил по столу, показывали, что и он волнуется.

Подали котлеты. Немного недожаренные. Была видна кровь. Я не мог их есть и принялся пить чай. Бросил кусок сахара и думал:

"Пока он растает, сколько будет убито. Сто, двести..."

Самое ужасное было то, что я видел их среди дождя и снега, превратившегося в грязь. Там они лежат и истекают кровью.

А артиллерия продолжала бить. Бегали слушать грохот. Начальник штаба говорил, что по телефону сообщают о ярости противника, а Радко барабанил пальцами и отвечал:

— Отступят.

А потом прибавил:

— Отступят к рассвету. Они нажимают перед отступлением.

Около десяти часов вечера он простился с нами и пошел спать, сказав, чтоб разбудили его, если будет что-нибудь особенное.

Но "особенного" не случилось. К рассвету противник отступил.

Действительно выходило так, что Радко "что-то знает". Это было нечто вроде ясновидения. Каким обра-

зом он знал, что они отступят, несмотря на то, что все донесения говорили о противоположном? Обыкновенный человек не может это знать. Ни военная наука, ни опыт тут недостаточны. Я понял в эту ночь, что такое, в существе своем, талант полководца. Он состоит из двух половин: личного мужества и таинственного дара угадывать будущее.

Не знаю только, предугадывал ли тогда Радко Дмитриев свою трагическую судьбу.

* * *

Через полгода после этой тревожной ночи с дождем, со снегом, с ветром, с грохотом артиллерии, когда мужественный генерал был так спокоен, настала другая, более страшная. И даже целый ряд таких ночей и дней, когда его храбрая атака во главе своего штаба и конвоя не смогла бы уже принести победу.

Это случилось 19 апреля 1915 года. Радко Дмитриеву, в то время уже командующему 3-й армией, пришлось принять на себя главный удар мощного тарана генерала Макензена, возглавлявшего 11-ю германскую армию, переброшенную по приказу начальника германского генерального штаба Фалькенгайна с западноевропейского театра военных действий. Силы были неравны. По статистическим данным, третьей армии, имевшей перед началом операции 219 000 штыков и сабель, 600 пулеметов, 675 легких орудий и 4 тяжелых, противостояло 357 400 штыков и сабель австро-германских войск, 660 пулеметов, 1272 легких орудия и 334 тяжелых!

В телеграмме от 22 апреля 1915 года главнокомандующему Юго-Западным фронтом генералу Н.И.Иванову Радко Дмитриев докладывал:

"У противника почти исключительно тяжелая артиллерия. Наша легкая бессильна. Назначаемые запасы мортирных снарядов не удовлетворяют и дневной потребности. Крайне необходима самая экстренная подача полевых мортирных..."

Кроме того, немцы впервые в этом сражении применили мощные минометы, которых у нас не было. В то время как австро-германская артиллерия к началу операции имела в запасе по 1200 снарядов на каждое легкое орудие, дневной расход боеприпасов в нашей армии для гаубичной батареи был установлен в 10 выстрелов, то есть 1—2 выстрела в день на орудие!

Отсутствие снарядов порождало у солдат неуверенность и тревогу. Даже оборонительные наши позиции были укреплены недостаточно, так как бетонированных сооружений не имелось.

Ясно, что при таком соотношении сил 3-я армия Радко Дмитриева победить, и даже устоять, не могла. Но и в этой крайне тяжелой ситуации мужество генерала не изменило ему, его авторитет у солдат не поколебался.

* * *

Главное германское командование поставило перед генералом Макензеном задачу прорвать фронт на участке между Горлице и Громником к западу от Перемышля. В дальнейшем, после прорыва русских позиций, армия Макензена должна была развить наступление на лежащие к востоку Ясло и Фрыштак, с тем чтобы понудить русских отступить по всему фронту 3-й армии.

После почти суточной артиллерийской подготовки в 10 часов утра 19 апреля австро-германские войска перешли в атаку на всем тридцатипятикилометровом фронте против армии Радко Дмитриева. Так начался Горлицкий прорыв — первый удар по русским "тарана" генерала Макензена. Немцы вклинились в первую линию обороны и, овладев ею, захватили 17 000 пленных и 8 орудий.

Однако, несмотря на огромное превосходство австро-германских сил, воодушевляемые своим начальником русские проявили в этих боях высокое мужество и стойкость, так что уже на второй день генерал Макензен вынужден был ввести в действие свои резервы.

В этот же день, 20 апреля, Радко Дмитриев телеграфировал главнокомандующему фронтом генералу Иванову:

"Не могу донести точную наличность легких патронов, но получаю сведения, что войсковые парки корпусов, находящихся в бою, почти пусты".

Несмотря на упорное сопротивление, под натиском железного кулака Макензена 3-я армия продолжала откатываться на восток. Что было на душе ее командующего, можно судить по следующей его телеграмме, направленной им в Ставку:

"Особенно жестокий удар был для трех дивизий 10-го корпуса, которые буквально истекли кровью от огня 50 орудий тяжелой германской артиллерии, которая, не встречая равного артиллерийского сопротивления, бы-

стро приводила к молчанию наши легкие батареи, сметала в полчаса времени с лица земли окопы, вспахивала огромные площади и вырывала из строя разом десятки людей. Много ранений также было произведено разрывными пулями. В результате части 10-го корпуса ныне представляют остатки не более 4—5 тысяч человек".

Сквозь строки этой телеграммы звучали слова генерала, услышанные мною от него в штабе корпуса в ту запомнившуюся бурную ноябрьскую ночь:

— Слышите?! Я горжусь, что командую русским солдатом. Нет в мире лучше солдата. Я его люблю. Но я не смею его любить. Не смею... Если я себе позволю его любить, не смогу воевать. Как могу любить, когда посылаю на смерть роту, полк, дивизию?!

Но Ставка была глуха к таким излияниям. Ее генерал-квартирмейстер Данилов сообщал генералу Драгомирову, в то время начальнику штаба Юго-Западного фронта:

"Полагаю, что в настоящее время, накануне возможного выступления на нашей стороне нейтральных государств, крайне невыгодно и даже опасно принимать столь радикальные меры по изменению стратегического положения, которые вы намечаете, если эти меры не диктуются крайней необходимостью, которой я лично не усматриваю".

По-видимому, огромное превосходство противника в силе и технике на Юго-Западном фронте не считалось Ставкой "крайней необходимостью" для решения вопроса о спасении 3-й армии. Что же намечалось начальником штаба Драгомировым? В совместных его переговорах с Радко Дмитриевым было принято единодушное мнение, что в связи с прорывом немцами русских позиций единственное целесообразное решение состоит в отводе наших армий за реку Сан, чтобы, избежав потерь и выиграв время, сосредоточить там сильную группу войск для нанесения контрудара по флангу наступающей армии Макензена. Ставка же не соглашалась на отход хотя бы и для выигрыша времени и требовала удержания занимаемых позиций, несмотря на потери.

Поэтому хотя главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Иванов и знал о тяжелом положении войск, но, избегая какого-либо конфликта со Ставкой, во всем с ней соглашался и бросил в бой новые подкрепления для задержки продвижения немцев. Но задержать уже было невозможно. Начиналось великое отступление под все увеличивающимся натиском армии Макензена.

Эти разногласия в руководстве войсками между командующим 3-й армией и главнокомандующим фронтом еще более усугубляли положение.

После ожесточенного боя за Ярослав, продолжавшегося всю ночь на 3 мая, русские войска отошли на правый берег реки Сан, оставив город в руках немцев. К 11 мая весь правый берег реки Сан уже был занят австро-германскими войсками. Таким образом, предложение Драгомирова и Радко Дмитриева осуществилось — 3-я армия была отведена за реку Сан вопреки приказам Ставки, но с большим запозданием и какою ценой?! Однако Радко Дмитриева там уже не было. Еще до этого, 7 мая 1915 года, он был отстранен от командования 3-й армией. Предвидел ли он это?

Дальнейшая судьба его печальна. Мне рассказывали, что как царский генерал он был расстрелян в 1918 году в Пятигорске.

* * *

В то время, то есть в 1914 году, один из вдохновителей "Союза 17 октября" М.А.Стахович, кроме всего прочего, был главноуполномоченным по Красному Кресту в 3-й армии. Ранее, в русско-японскую войну, он также был уполномоченным по санитарной части.

А я? Я был начальником передового перевязочно-питательного отряда. Так как я носил краснокрестную повязку на рукаве, то по этой линии я считался в подчинении у Стаховича. По другим же линиям мы хорошо знали друг друга. Он был членом первой Государственной думы. 12 декабря 1907 года состоялось официальное сообщение об избрании его как губернского предводителя дворянства Орловским губернским собранием в члены Государственного совета.

В первых числах декабря 1914 года мы оба были во Львове. Я попросил Стаховича подписать некоторые официальные бумаги.

В числе "бумажек" было достаточное количество документов, лучше сказать, паспортов. В них было написано, что такой-то имярек действительно работает в Красном Кресте, что приложением печати удостоверялось. Паспорта предназначались для лиц, работавших в моем передовом отряде. Они были важны в том смысле, что защищали всех нас от неприятностей, которые могли быть. В особенности они получили бы значение, если бы кто-нибудь из нас попал в плен. Человек, носящий крас-

нокрестную повязку, которую каждому нетрудно на себя нацепить, легко мог быть заподозрен в шпионаже.

Когда мы покончили с делами, Стахович сказал:

— Теперь вот что. Сейчас начало декабря. Я уезжаю на фронт, то есть в штаб 3-й армии.

— Это где?

— В Радомысле.

— Как? Радомысль Киевской губернии, уездный город?

— Это другой Радомысль. Он в польской Галиции. Карта есть у вас?

— Есть.

— Ну вот, по большой дороге на Львов, Краков. Не доезжая Тарнова, свернете. Вот он, Радомысль! Автомобиль есть у вас?

— Есть.

— Итак, жду вас в Радомысле 17 декабря. Это важно. Я хочу вас познакомить с одним лицом. Будете?

— Буду 17 декабря.

* * *

Вместо рождественских морозов стояла распутица. Дорога была скверная. Пришлось надеть цепи на шины, чтобы не буксовать сплошь. Но и цепи не всегда помогали. Галицийские дороги построены из мягкого камня. Бесконечные обозы превратили шоссе в бесчисленные колдобины. Машина ныряла, как в море шлюпка, — из ухаба в ухаб. Шасси ложилось на дорогу "брюхом", мотор изводяще выл на первой скорости, но колеса вертелись в воздухе, вернее сказать, в жидкой грязи, где цепям не за что было взяться. Приходилось выскакивать из машины и производить "саперные работы".

На это ушел день 15 декабря и ночь на 16-е. Утром мы свернули с большой дороги на боковушку к Радомыслю. Это не была магистраль, но все же почиталась за шоссе.

Шоссе! Сейчас это шоссе даже не проселок — просто грязь непролазная, непроходная. Мы все же двигались, но на первой скорости, то есть примерно так, как идет человек. При этом мотор кричал "благим матом", а Горбач просто "матом". Я молчал, но скрипел зубами. У нас времени было еще целые сутки в запасе, и я надеялся добраться к Стаховичу в срок. Горбач заскрежетал голосом, покрывшим рев мотора:

— Бензина нет!!!

— Как нет?

— Так нет, совсем нет, ничего нет, сейчас станем!

Ругаться было некогда. Я посмотрел направо, налево. Увидел хату, раскрытые ворота.

— Туда!

Мотор взвыл последним издыханием, вполз через ворота во двор и умер.

Совершенно случайно мой выбор был хорош. Впрочем, и выбора-то никакого не было. Эта хата была ближайшая, только под ее защиту мы могли отдаться. Хозяева, лучше сказать, хозяйка и свора ребятишек, оказали нам наилучший прием.

Мой Горбач был, по выражению Игоря Северянина, "богобоязненный российский хулиган". Это стало ясным хотя бы из того, что он, увидев стайку маленьких котят, игравших на полу, сейчас же поймал их своими бензиновыми руками, стал их ласкать, чесать за ушком, выказывая совершенное знание кошачьей породы.

Этим он купил сердца детей. Тут все были девочки. Но я перекупил их у него. Карманы у меня всегда были полны цукерками (конфетами), так сказать "по долгу службы". Одновременно я пленил и мать. Впрочем, и без помощи конфет она сама что-то соображала.

Автомобиль! Это значило — офицер и шофер. Такие не только ничего не будут требовать и просить, но еще сами что-нибудь подарят. Покончив с кошками и детьми, Горбач принялся за примус. В этот серый день, в полутемной хате наш примус загорелся как звезда. Чай был готов через десять минут. Горячий! Мы ожили после нескладной ночи.

Сидели у стола. Я размышлял. Кругом шумели примус, дети и киценята. Карта показала, что до Радомысля тридцать верст. Достать бензин в этой деревушке, куда мы заехали, нельзя. Попасть к Стаховичу необходимо, и, возможно, если я пойду пешком, сделаю сегодня пятнадцать верст, где-нибудь переночую, встану рано, пройду еще пятнадцать верст, то явлюсь к нему вовремя, в полдень 17 числа.

Приказав Горбачу ждать меня в этой хате, хотя бы несколько дней, я ушел, оставив его обвешанным кошками и детьми. Он порывался идти со мной, но понял, что машину бросить нельзя. На его лице, лице падшего архангела, появилось беспокойство. Ведь он был шофер "крозь-насквозь". Последние его слова были сказаны умоляющим, но неизменно скрежещущим голосом:

— Бензина достаньте!

Я пошел по улице. Шел один. Ни машин, ни подвод. Все и вся, то есть всякое движение, парализовано распутицей. Шел, держась за плетни и заборы. Около них все ж можно было пройти, а улица утопала в черном месиве.

Так я вышел на некую площадь. Тут все же было несколько легче в смысле грязи. Кругом площади были одноэтажные домики и лавки, еврейские, конечно, как во всех местечках этого края. Но дома были безмолвные, площадь безлюдна, а лавки закрыты.

Впрочем, в одном углу толпилось несколько наших солдат. Одна лавчонка там открылась. Я подошел. Серые "землячки" (так в ту войну солдаты называли друг друга) меняли табак на сахар. Русский сахар очень ценился в Галиции, он был лучше австрийского, то есть тверже и слаще. Несколько местных женщин, закутанных и жалких, стояли тут же. Некоторые "земляки" давали им сахару — так, из милости. Женщины благодарили, "земляки" качали головами.

— Ишь, какие...

Еврей, долгопалый, длиннобородый, с пейсами, в ермолке, словом, средневекового вида, хозяин этой лавчонки, торговал чем-то горячим.

Я спросил его:

— До Радомысля далеко?

Я говорил таким же польским языком, как он русским, тем не менее мы понимали друг друга. Он ответил:

— Тридцать бендзе, проше пана.

Но в глазах его, умных и зорких, я прочел:

— Тридцать верствов так было. А теперь, когда обозы тут прошли, что значит верства?

Я увидел их, то есть обозы, когда, пройдя местечко, вышел в поле. Они не двигались. Они завязли в грязи. Остановились, видимо, давно и безнадежно. Белые среди черного "повидла". Белые потому, что они везли мешки с мукой. Коней, бессильных перед грозной стихией, выпрягли.

Где они? Там же, где и "земляки", — там, в сосновом лесочке. Походную кухню кони, люди все же вытащили. Она уютно дымила между красноватыми стволами.

Но мне нельзя было кейфовать.

Шел, шел ногами, конечно, но иногда не без помощи рук. Неужто на четвереньках? Нет, до этого не дошло, слава богу. Но руки работали в том смысле, что за "ушки" придерживали сапоги, иначе вязкая грязь стащила

бы их с ног. Это испытание наступало тогда, когда лес отступал от дороги, то есть от разъезженного поля. Когда же он был близко, я шел по краю поля, между соснами, по влажной хвое и блаженствовал. Я был один, совершенно один. Это счастье редко выпадает на войне. Она, кроме всего прочего, мучает таких мизантропов, как я, своим... вечнолюдием.

Этот лес шумел ласково и печально. Будь проклята война, громыхающая пушками и буйно веселая среди потоков крови!

Я не боялся сбиться с пути. Черная дорога, то широкая, как Черное море, то узкая, как Дарьяльское ущелье, вела меня.

Кроме того, она была и ''столбовая''. Ее сопровождали телеграфные столбы и проволока, трепетавшая электрической жизнью. Иногда, отдыхая, я опирался спиной о дубовый ствол, ставший столбом, и слышал некий слабый звук. Конечно, это не была электрическая волна, она беззвучна. Это звучала проволока, как звучит струна Эоловой арфы — от ветра. Приложив ухо к столбу, я услышал сильный, низкий звук, полный и приятный, красиво насыщенный обертонами. Казалось, он должен принести успокоение путнику. Но успокоение не приходило и не могло прийти. И потому столб звучал хотя величаво, но печально. Это величие было каким-то обреченным.

Отдохнув, я пошел дальше. Перед закатом солнце пробилось сквозь тучи, и стволы сосен стали багровыми. Я стоял на пустыре, снова опершись о телеграфный столб, но уже его не слушал. Я вдруг почувствовал, что изнемогаю. Закат испугал меня. Солнце зайдет, наступит ночь. Я шел очень долго, пожалуй, прошел уже все пятнадцать верст, а жилища не видел. Придется ночевать в лесу, на хвое. Она мягкая, но мокрая, холодная. Что делать?

Но тут пришло спасение. Оно явилось в образе молодой девушки. Она пробиралась между соснами, по краю пустыря. Я не успел ее окликнуть, как она сама пошла к телеграфному столбу, который я обнимал, чтобы не упасть. Приблизившись, но не совсем, она сказала:

— Пане ранены?

В голосе ее была музыка сочувствия. Я ответил:

— Не. Только бардзо заменчоны (измучен).

Она спросила:

— Дзе пан так иде? То е далеко?

И улыбнулась. Тогда я увидел, что она миловидна.

Серые глаза в темных ресницах, светловолосая, с черными бровями, а улыбка "балетная". Ее умеют делать все польки, независимо от сословия. Она сказала:

— Далеко, проше пана, — прибавив построже: — Так не може быть, проше пана, ночь заходит.

— А цо мам дзелать? (А что мне делать?)

Она призадумалась:

— Тутай есть една халупа. Тутай зараз. Нех пан идзе так.

Она показала рукой:

— Не далеко! — и улыбнувшись подбадривающе, тряхнула головкой. Она была в платочке. Если бы его не было, сережки в ушках вздрогнули бы горделиво. По одному этому движению я понял, что в ней польская кровь.

Я поблагодарил ее:

— Бардзо дзенькую, проше паненки!

И прибавил неожиданно для самого себя:

— Нех паненка идзе до дому. И то прендко! Ноц заходзи.

В это мгновение умирающее солнце зарумянило девушку. Она смотрела на меня с улыбкой матери ребенку, который шалит.

Через четверть часа появился красный слабый свет, пробивавшийся через лес. Еще пять минут, и можно было различить хату под соломенной крышей, темной от моха. Я постучал в низенькую дверь. Услышав "проше", наклонил голову и вошел.

Свет был из пылающей печи. Старик сидел за столом, две девочки держались за юбку матери, стоявшей у печки.

— Добрый вечер!

— Добрый вечер пану!

Я грузно опустился на скамью и полез в карман, протянув девочкам конфетку:

— Цукерку?

Старшая девочка, ей было лет пять, выпустила юбку матери.

За ужином беседовали. Я узнал, что старик — свекр женщины, а мужа взяли на войну. Что с ним, она не знает. Быть может, девочки уже сиротки. При этом слеза упала в вареники. Девочки, видя, что мать плачет, тоже заплакали. Старик сказал:

— Годи!

Они затихли, а он прибавил:

— Жив Янек!

Они поверили и стали меня расспрашивать, куда я иду. И я узнал, что до Радомысля пятнадцать верст, и дорога все идет лесом. Еще подали похлебку с грибами в доказательство, что тут лесное царство.

Наконец гостя и девочек уложили спать. Пана на сено. А девочек? Недалеко от красной кровати к потолку была привешена корзина, служившая колыбелью. Туда поместили малюток. Они стояли там на коленках. Старшая, держась за веревки, на которых корзинка висела, легонько раскачивала колыбель. Она, вероятно, хотела убаюкать сестренку, но убаюкала меня.

Качание корзинки меня усыпляло. Я блаженно закрыл глаза, но раскрыл их, услышав пение. Тоненьким голоском старшая выводила слова молитвы, а младшая только подпевала:

— Мария, Мария.

И я заснул под это видение. Два ангелочка пели, покачиваясь в небе.

— Мария, Мария.

Что мне приснилось? Не помню, не знаю. Но, конечно, божий рай! Позже я узнал, что рай находится в аду, — я хочу сказать о войне.

* * *

Чуть брезжило, когда я проснулся. Мне легко было встать. Одеваться не надо было, ведь я не раздевался. Мне надо было бы выпить кружку чая, но хозяева крепко спали. Я положил на стол деньги — благодарность за гостеприимство — и вышел, стараясь не скрипеть дверью.

Через просвет в соснах я видел утреннюю звезду, Денницу, иначе Венеру.

Ночью подморозило и приятно было идти по отвердевшей земле.

Пока держался легкий утренний морозец, идти было легко. Но когда солнце стало пригревать, землю снова расквасило. Однако, держась леса, еще можно было двигаться. Когда же лес далеко раздался в обе стороны, я опять очутился во власти грозной и грязной стихии.

Наконец, "претерпев судьбы удары", я вошел в город Радомысль. Спрашивая встречных и поперечных, нашел особняк, где было что-то написано по-русски.

Пятнадцать верст я прошел за четыре часа и пример-

но в пол-одиннадцатого вошел к Стаховичу. Увидев меня, он закричал:

— В постель!

Очевидно, вид у меня был соответствующий. Он уложил меня в настоящую постель, заставил раздеться по-хорошему и сказал:

— Я разбужу вас к обеду.

Я снова заснул как убитый. Способность засыпать мгновенно "свыше нам дана".

* * *

Часа через два я проснулся, и мне дали то, о чем я тосковал с утра, то есть чаю. И притом в постель, что уже непозволительное баловство. А Михаил Александрович, сидя в кресле около моей постели, терпеливо дожидался, пока я "отчаюсь". Наконец сказал:

— Теперь вы снова похожи на человека. Когда вы вошли — я испугался. Где ваш автомобиль?

— В тридцати верстах отсюда.

— Поломались?

— Нет, бензину не хватило.

— Когда это случилось?

— Вчера утром.

— И вы шли пешком?

— Все обозы стали.

Он улыбнулся и сказал:

— Узнаю тебя, о Русь святая. Я счастлив вас видеть. Но могу ли я все-таки узнать, чем обязан этому счастью?

Я внимательно посмотрел на его красивое, умное, чуть насмешливое лицо. Не мог же он забыть. И сказал:

— Сегодня 17 декабря, Михаил Александрович.

В свою очередь он стал меня внимательно рассматривать, убедившись, очевидно, что я в своем уме, спросил:

— Простите, что такое 17 декабря?

Забыл!

— Когда мы виделись во Львове, вы сказали: "17 декабря я жду вас в Радомысле" и прибавили: "это важно". Помните?

По его лицу пробежали разом: досада, сожаление и радость.

— Бог мой! Из-за этого? Триста верст сумасшедшей дороги и тридцать пешком? Дорогой мой! Как я люблю вас!

Все порядочные люди ужасные путаники. Я мог бы

кое-что уточнить по вопросу, кто же тут напутал, но предпочел промолчать. Он продолжал:

— Да, я считал, что это важно. Надо же этим молодым людям мозги прочищать. Они варятся в своем собственном соку и ничего не знают. Поэтому я и хотел вас познакомить и чтобы вы с ним побеседовали.

— С кем?

— С Ольденбургским.

— С принцем Ольденбургским?

— Да, с принцем Ольденбургским, но не со старым, а с молодым. Это важно, конечно, но из-за этого совершать "подвиг силы беспримерной!.." Идем обедать!

* * *

Обед был хороший, принимая во внимание, что мы все же были на войне. Но я его испортил. Я не пью водки и не только принципиально. Мое бренное тело не выносит алкоголя.

В ту войну одновременно с мобилизацией водка была запрещена для армии. Но этот запрет соблюдался только в отношении солдат. Им не давали водки. А господа офицеры пили. Они добывали спирт у врачей, который был необходим для медицинских надобностей. Доктора пили сами и делились с офицерами.

Я находил, что это безобразие подрывает дисциплину, увеличивая ров, и так уже достаточно глубокий, между офицерами и солдатами, словом, грозит всякими бедами.

Но мне-то легко было быть принципиальным, ведь за моей спиной стояла мать-природа, подарившая мне отвращение к алкоголю. К другим природа бывала мачехой, наделяя наследственной склонностью к зеленому змию.

Я не читал морали Стаховичу, но огорчал его тем, что одному пить скучно.

Мы обедали вдвоем. Стахович был занимательным собеседником. Мы говорили обо всем. Прежде всего о Красном Кресте, в котором Михаил Александрович занимал видную должность. Все учреждения Красного Креста, работавшие в 3-й армии, были ему подчинены. Он говорил:

— В смысле возможностей Красный Крест куда слабее военного ведомства. Оно оборудовано куда сильнее. Много врачей, санитаров, госпиталей всяких. Способы

передвижения, то есть санитарные обозы для вывоза раненых и больных, не сравнимы со средствами Красного Креста, но...

Он налил и выпил рюмку.

— Но значение Красного Креста совершенно не соответствует слабости его материальных возможностей. Оно гораздо выше. И я им твержу: "Помните, что вы совесть военных врачей!" Да, совесть, потому что, это надо признать, военные врачи часто бывают бессовестны!

Я вспомнил все то, что я уже успел рассмотреть, когда работал с первым отрядом ЮЗОЗО, и сказал:

— Совершенно верно, Михаил Александрович. Полковые врачи лучше, но чем дальше от фронта, тем они становятся, как вы сказали, все бессовестнее.

— Значит, и вы это заметили? Трудно даже объяснить, отчего это происходит. Казенщина? Но вся армия казенщина. Однако бойцам доступно истинное геройство. Они не только убивают, они и сами умирают. А врачи нет. Их обязанность прежде всего самим уцелеть. И это порождает какую-то иную, более низменную психологию. А впрочем, может быть, и не так. Но, во всяком случае, Красный Крест хранит какую-то высокую традицию человечности. И он может и должен быть примером для опустившихся врачей военного ведомства. В этом наше значение!

Он выпил еще. Глаза его сияли и речь сделалась какой-то вдохновенной, почти пророческой.

Я понял, что недаром "рассудку вопреки, наперекор стихиям" я добрался сюда, в этот Радомысль, 17 декабря 1914 года. Я услышал слова вещие, слова сбывшиеся...

— Я вам скажу то, что не говорю и не скажу никому. Это война, под которой нет настоящей психологической базы, война, цели которой просто недоступны нашим бедным Иванам непомнящим.

Скажите, думаете ли вы, что эта война кончится так, как кончились другие войны, имевшие некое наглядное доказательство своей правоты?

— Что вы хотите сказать, Михаил Александрович?

— Вот что. Худо ли, хорошо ли, но наши мужики шли когда-то умирать за веру, царя и отечество. А сейчас? Кто нашей вере православной угрожает? Как будто никто. Ну, может быть, царю русскому самодержавному? Как будто тоже никто.

Отечество? Можно ли назвать эту войну отечествен-

ной? Она отечественная для тех, на кого напали, то есть для сербов.

А почему эта самая Австрия напала на Сербию? Потому, что некий серб убил будущего царя австрийского.

— Михаил Александрович, дорогой! То, что вы говорите, и верно и неверно.

— Как это так?

— Правда ваша внешняя. Внешность легко видеть. Но не она решает. Решает правда внутренняя.

— Именно?

— Правда в том, что убийство наследника австрийского престола только повод, чтобы затеять войну. А истинная причина ее в том, что Германия заболела психической болезнью, иначе именуемой: "Drang nach Osten"*.

Это острое умопомешательство имеет два острия. Один вариант — идти через Балканы в Персидский залив, с немого согласия России. В этом случае Германия России не тронет.

Второй вариант вступает в силу, если в России возобладает давнишняя ее традиция: быть защитницей братьев-славян. В этом случае можно и не пробиваться к Персидскому заливу. На первое время достаточно захватить Балканы, черноземы южной России, Кавказ с его нефтью и Закавказье.

Так как Россия заступилась за Сербию, то сейчас осуществляется второй вариант. Сейчас эту войну можно и должно называть отечественной. В особенности чувствуем это мы — южане.

— ЮЗОЗО?

— Да. Для нас Юг России, иначе сказать Киев, то же, что для вас Москва, то есть отечество.

Стахович снова налил рюмку и поднял ее.

— Я счастлив приветствовать вас у себя. Но вот что я вам скажу, только не обижайтесь. Хохлы не решают дела. Решаем мы — кацапы...

— Это верно.

— Так вот, если это верно, то это плохо.

— Почему?

— Потому, что эта война кончится так: и наши мужики, и ваши воткнут штыки в землю и уйдут. Вот попомните мое слово!

Наш разговор с Михаилом Александровичем еще продолжался, но "упадал, бледнея". Это свойство алко-

---

* Поход на Восток (*нем.*). (*Здесь и далее примечания редакции.*)

голя. В умеренном количестве он раскрепощает тайные человеческие способности. Такие способности, которые нормально берегутся природой для минут опасности или вдохновения. Алкоголь освобождает их искусственно. Несколько рюмок водки подняли Михаила Александровича на высоту прорицания: "Воткнут штыки в землю и уйдут!"

Но дальнейшие рюмки понизили высоту полета. Остальное не запомнилось, значит, было менее интересно.

После обеда Михаил Александрович был весел и заботлив.

— Я дам вам, — сказал он, — нижеследующие предметы. Бричку и тройку быстрых, как ветер, коней. Ими будет править Иван, обладающий всеми достоинствами своего звания. Кроме того, я дам вам два баллона бензина в плетенках, что особенно важно. И, наконец...

Он сделал паузу:

— Я дам вам Пэреса!

— Бернарда Ивановича?

— Именно. Трое людей, трое лошадей, бричка и бензин. Чего еще вам надо?

18 декабря утром мы выехали, попив чаю, как полагается. Без утреннего чая всякий русский человек впадает, как известно, в отчаяние. Тройка, конечно, не была подобрана из "быстрых, как ветер, коней". Но все же это были кони добрые и, в зависимости от состояния дороги, то тюкали легкою рысцою, то шли шагом.

К полудню сияющее над соснами солнце сделало дорогу чернее ночи. Тут мы поплелись совсем медленно. Вдруг что-то треснуло, бричка скривилась на сторону Пэреса, кони стали. Иван соскочил в грязь и определил:

— Ось сломалась.

Я сказал Бернарду Ивановичу: "Человек предполагает, бог располагает".

— Сколько проехали? — обратился я к Ивану.

— Верстов 15 будет.

Половина пути до Горбача, то есть до автомобиля. Что делать? Возвращаться в Радомысль? Ехать дальше? Ехать нельзя, но можно отпрячь лошадей и вести их на поводу. Но что делать с бричкой?

Рассуждая об этом, я горестно скользил взглядом по дороге и очертаниям леса. Вдруг мне показались этот поворот и эти сосны знакомыми. Я соскочил с брички. За купой деревьев должна быть хатка под соломенной крышей, почерневшей от моха. Я прошел несколько шагов.

Вот она!

Сэр Пэрес, которого мы называли Бернардом Ивановичем, был корреспондентом одной лондонской газеты. С самого начала Государственной думы он информировал английских читателей о происходящем в Таврическом дворце. Когда же началась война, он перенес свою деятельность на русский фронт в качестве военного корреспондента. Вот почему я встретил его у М.А.Стаховича.

Сейчас, продолжая интересоваться молодым русским парламентом, он ехал со мной в Тарнов, где работал отряд Государственной думы, возглавляемый Марией Николаевной Хомяковой. А с семьей Хомяковых Пэрес очень подружился.

Отец Марии Николаевны, Николай Алексеевич, бывший председатель Государственной думы, руководил Красным Крестом в восьмой армии, точно так, как М.А.Стахович в третьей.

Теперь ось подломилась под Бернардом Ивановичем, и он разделил наши приключения 18 и 19 декабря 1914 года. И даже гораздо дольше.

Он был в России во время революции 1917 года и описал ее в книге под заглавием "Крушение империи".

* * *

Тем временем Иван, подтащив к хате бричку, распрягал лошадей. Наш злополучный экипаж был поставлен в сарайчик до лучших времен. А "быстрые, как ветер, кони" превратились во вьючных тихоходов.

На первую лошадь Иван навьючил драгоценный бензин. Баллоны в плетенках он заключил в два мешка, которые, связав, перекинул через спину коренника нашей бывшей тройки. На правую пристяжную таким же манером приспособили другие два мешка с овсом. Что же досталось третьей лошади, то есть левой пристяжной?

Ей выпала почетная задача: нести багаж сэра Бернарда Пэреса. Багаж его состоял из маленького чемоданчика и резиновой ванны. Этого коня Иван поручил вести самому обладателю ванны, чем английский корреспондент был чрезвычайно доволен. Сам Иван повел лошадь, что несла на себе овес и сбрую, а я схватился за бензин.

Так мы пошли — трое людей, трое лошадей, провожаемые всяческими напутствиями.

Пэрес для иностранца очень хорошо говорил по-рус-

ски. Когда, через час ходьбы, мы присели на пеньках отдохнуть, перепоручив Ивану на время всех трех коней, Бернард Иванович сказал:

— Пока Иван возится с лошадьми, позвольте спросить: не думаете ли вы, что настоящая война ведется под знаком национализма?

— Несомненно.

— Как вы это конкретизируете?

— Я думаю, что весьма вирулентный германский национализм разбудил гораздо более пассивный национализм русский. А это причина войны.

— Это, в общем, правильно. Но существует же еще и английский национализм...

— Конечно. Что вы о нем думаете?

— Вот что. Вы, наверное, помните, как император Вильгельм нанес визит императору Николаю II. Оба венценосца были "на ты" и называли друг друга Вилли и Ники. Вилли сказал: "Перечеркни договоры, и мы разделим между собой мир!" Вилли был очень вирулентен, как вы говорите. А Ники слишком пассивен. Поэтому Вилли убедил Ники в том, что будущность Германии и России во взаимной дружбе. Ники перечеркнул договоры и подписал дружбу с Вилли. Затем Вилли покинул русские воды и отправился домой. Но с дороги он телеграфировал по радио следующее: "Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана". На что Ники осторожно ответил: "Счастливого пути!"

— Помню. Но теперь, дорогой Бернард Иванович, скажу вам, что я думаю о вас, англичанах.

— Именно?

— Я думаю, что когда в Лондоне узнали, что Вилли переделил океаны, то в этот день война Англии против Германии была решена, принципиально.

— Вы так полагаете?

— Я убежден в этом. Вилли недооценил английского национализма. Последний не кричит на весь мир: "Германия, Германия первыше всего!", но англичанин еще глубже, чем немец. Он уверен в том, что отечество прежде всего. "Владычица морей", как называли Англию, могла ли кому-нибудь уступить свою гегемонию в Атлантическом океане? Поэтому в Лондоне было решено — дерзкого Вилли необходимо обезвредить. А что касается Ники, то он не принял титула "Адмирала Тихого океана", каковой пост Вилли ему пред-

лагал. Поэтому с Ники Англия может дружить. Не так ли?

— Вы недалеки от истины.

— Очень счастлив, что ось Англия — Россия, как ось нашей брички, не обломалась. Поэтому, с вашего разрешения, поедем дальше.

— Едем!

Это было 18 декабря 1914 года. Мы шли вереницей втроем, причем каждый вел предназначенного ему коня. Вели мы коней "на коротком поводу", как полагается. Другими словами, голова лошади почти толкала в спину человека ведущего.

Так поступал и Бернард Иванович. Быть может, он тоже знал, почему так полагается. Иван узнал это, вероятно, потому, что его мальчонком научили кучера постарше. А меня научил мой конь когда-то. Збышке было шесть лет тогда. Это возраст, когда конь во цвете лет, но все же ему уже не пристало играть, как жеребенку. Поэтому я вел его на длинном поводу. И вдруг Збышко заиграл так и сяк, что меня насмешило, а в заключение дал "козла" задними ногами. Он совершенно не хотел меня лягнуть, мы с ним были в самых дружеских отношениях. Это произошло случайно. Я отделался тем, что пролежал неделю.

С тех пор я веду коня на коротком поводу, как и Бернард Иванович. Но всякое правило терпит исключение.

Конь, который нес на себе резиновую ванну военного корреспондента, был конь солидный, и ни в коем случае не стал бы играть. Он шел так близко, что называется "по пятам", к своему временному руководителю, что наступил ему на пятку передней ногой. Бернард Иванович, бывший впереди меня, вдруг резко остановился, остановилась и лошадь.

— Что случилось?

— Ничего, ничего. Она сняла с меня калошу.

— Не повредила ногу?

— Нет, нет. Она утопила мою калошу.

Но так как Бернард Иванович был в высоких сапогах, сверх которых носил калоши, то особой беды не случилось. Посмеялись.

По-видимому, происшествие с калошей произошло недалеко от того пустыря, где два дня тому назад я шел, придерживая высокие сапоги за ушки руками, чтобы грязь не стащила с меня не калоши, а самые ботфорты.

А это обозначало, что мы были уже недалеко от Горбача, автомобиля, девочек и кисок.

И действительно. Хатка чуть светилась через окошки. Вот машина во дворе. Это та же халупа. Я растворил дверь и увидел то, чего ждал. Он, Горбач, шофер с лицом падшего архангела, сидел на скамье. На коленях у него играли киценятки, кругом теснились девочки.

Все в порядке.

Увидев меня, он вскочил. Киски попадали с него на пол, как листочки в бурю, дети отшатнулись. А он голосом, в котором слились надежда и отчаяние, закричал:

— Бензин?!

* * *

Мы выехали, потому что подморозило. И дело пошло сначала не так плохо. Повидло несколько загустело, и цепи кое-как хватались своими звеньями за так называемую дорогу. А когда взошедшая красная луна стала серебряной, морозец еще приободрился. Дорога затвердела, и было бы совсем хорошо, если бы не ухабы.

"Луна спокойно с высоты" сияла, бесстрастно освещая наши беды. Около полуночи, то есть когда нарождался Новый год, счетом 1915-й, мы засели в глубоком ухабе. Эту бездну надо было чем-то заполнить.

Дорога тут проходила какими-то садочками с голыми прозрачными деревьями. Кое-где были не в конец доломанные заборы. Это материал подходящий, но необходим топор. Я выругал Горбача, что он забыл топор во Львове на базе. Но так как брань не могла помочь делу, я пошел его искать.

Где садочки, хотя бы голые, должны быть халупы. Луна светила, и я нашел хатку. Более того, около нее стояла девушка. Серые глаза в темных ресницах, светловолосая, с черными бровями. Я подошел к ней. Она взглянула на меня, и мы узнали друг друга. От лунного света или от чего другого она была очень бледна и грустна. Посмотрев на часы, они показывали ровно двенадцать, я вздумал ее утешить.

— Гратулирам паненку. З Новым роком!

Поняла. И прошептала:

— Боже!

Заплакала. Сквозь слезы все же поблагодарила:

— Дзенькую пану.

Что он сулил ей и мне, тысяча девятьсот пятнадцатый?

* * *

Преодолев все трудности, мы причалили на рассвете к одной гостинице в Тарнове. Гостиница соответствовала военному времени. Номера нетоплены. Освещение — тусклая керосиновая лампа. На кроватях грязные матрацы, ни белья, ни одеял.

Мы бросили на матрацы наши спальные мешки. Но прежде чем заползти в них, Бернард Иванович совершил деяние, которое было для него обычным, а мне показалось геройским.

Он расправил на полу свою резиновую ванну, неразлучную спутницу. Я подумал, что он хочет вымыть ноги. Но он разделся догола и, став в ванну, облился из ведра ледяной водой в ледяной комнате! Потом вытерся насухо, надел чистое белье и залез в свой спальный мешок, пожелав мне спокойной ночи. Я чувствовал себя униженным. Такого подвига я совершить бы не мог.

Через несколько часов мы расстались. Мне необходимо было спешить во Львов, снаряжать в путь-дорогу третий отряд ЮЗОЗО. Бернард Иванович отправился навестить "Государственную думу", представленную здесь чрезвычайно энергично работавшим лазаретом под водительством Марии Николаевны Хомяковой.

* * *

В июне 1966 года корреспондент "Огонька" В.П.Владимиров, с которым мы не один год занимались работой над фильмом "Перед судом истории" и планами создания этой книги, виделся в Лондоне с внучкой М.В.Родзянко Еленой Михайловной. Он рассказал ей о моих воспоминаниях и, в частности, помянул имя сэра Бернарда Пэреса.

— Как же, помню, это был довольно известный в Англии журналист, — ответила Елена Михайловна. — Он умер, если не ошибаюсь, в 1953 году.

Поход в Тарнов

1 января 1915 года был прекрасный солнечный день. Сияло небо, сиял снег. Сформировав отряд во Львове, я снова направился в Тарнов. Этот перевязочно-питательный отряд ЮЗОЗО был передовой. В его состав входили: начальник отряда, то есть я, врач, студент пятого курса медицинского факультета, двадцать санитаров, они же кучера из запасных дядьков, негодных к строю, и еще два студента младших курсов медицинского факультета. Живой инвентарь: сорок лошадей. Мертвый инвентарь: двадцать подвод со всякими принадлежностями. Главное — автомобили.

Для движения плохо были совместимы лошади и автомобили. Последние проходили за один час то, что кони за один день. Но я посылал студентов на машинах утром в качестве квартирьеров, обязанных подготовить для всего отряда помещение.

Студентам надо было вставать рано, и, чтобы поддержать бодрость духа, я сочинил им песенку на модный мотив:

Квартирьеры, квартирьеры,
не дано вам долго спать,
вместе с утренней Венерой
покидаете кровать.

Они бодро ее распевали и мчались в холодном рассвете. Затем к вечеру подходили мы, сделав сорок верст, и нас встречали уже приготовленные квартиры.

Двадцать повозок тянулись по дороге за большим белым флагом с красным крестом на передней. На задней тоже был какой-то флажок. Я приказал раз навсегда, чтобы повозки не разрывались, то есть держались вместе под своим номером. А разорваться было легко, когда на дороге встречались всякие препятствия в виде других обозов и машин. Так как все кучера были из солдат, то они понимали дисциплину. Все же на мне были офицерские погоны.

Лошадей я подкупил по дороге. Какие-то обозники, попавшиеся навстречу, слезно умоляли меня об этом. Они говорили:

— Ваше благородие, мы не военнообязанные, мы вольные. Но нас захватили еще в России, говорили: "Вот довези туда-то и пойдешь на волю", — а там еще дальше

погнали. И вот сюда догнали, верст четыреста. Ну, тут сказали: "Поезжайте домой". Ну, мы и едем. А кто его знает, опять захватят. Так уж лучше купите коней и повозки, а мы уж пешком пойдем, так доберемся домой.

Ну, я и купил, мне нужны были подводы. Не помню уже теперь, сколько заплатил, но купил по сходной цене. Они очень благодарили. Лошадки на вид были непрезентабельны. Заросли шерстью, как овцы. Грязные до невозможности, но мои солдаты, мужички, конечно, осмотрев их опытным взглядом, сказали:

— Ничего, ваше благородие, мы их отчистим, они крепенькие.

На дороге были очень интересные приключения, но некогда их описывать. Только скажу для памяти следующее.

Все мои солдаты имели, конечно, фамилии, в том числе две курьезные. Один назывался Вовторник. А другой — Среда. Они у меня и шли один за другим. Но в город Янов мы пришли в субботу. И остановились у одной польки, фамилия которой была Суббота, что всех очень потешало. Вовторник и Среда остановились в субботу у пани Суббота. Эта пани приняла нас до крайности любезно, но за ужином рассказала невеселые вещи. Она говорила по-польски, мы ее понимали, а что не понимали, то переводил врач Вацлав, он был поляк. Суббота была пани бургомистрова, ее муж был бургомистром этого городка, но ушел из страха перед русскими, о которых австрийская пропаганда твердила, что мы убиваем всех мужчин.

Так вот что она рассказала:

— Про женщин говорили, что не всех убивают. Поэтому мы остались, вот я, моя дочь и кухарка. И мы тут живем, и домик наш уцелел. Но мы очень боялись, и вдруг я увидела первого русского. Он попросил воды. Мы дали ему напиться. Он побежал дальше. А потом пришли другие, и никто нас не трогал. И все прошли дальше, куда-то спешив, а мы остались.

Тут врач-поляк спросил:

— Но ведь тут был жестокий бой, весь город в развалинах?

Она энергично замахала руками:

— Никакого боя не было, а город в развалинах от пожара. Пожар случился, еще когда австрийские наши войска тут были. На площади лежало их много, всю площадь заняли раненые, лежали на соломе. Ну и курили.

Солома загорелась, кто выскочил, кто нет. От соломы загорелись деревянные рундуки и лавки, потом деревянные дома. И такой был пожар, что и каменные дома загорелись внутри. Ну вот все и в развалинах. А мы не сгорели, потому что мы на краю, и притом домик в саду и ветер был не на нас.

Сделав паузу, она закончила:

— Ну вот, живем. Все ничего, русские добрые, и я надеюсь, что муж вернется.

Переночевав, мы пошли дальше, но городок Янов я запомнил.

Запомнил потому, что в ноябре 1914 года, когда я был в другом отряде ЮЗОЗО, произошло следующее.

Я ехал по шоссе и увидел Красный Крест. Он очень явственно обозначал, что здесь помогают. Но я вспомнил, что ко мне приходили раненые, которые ночью прошли мимо этого Красного Креста и его не увидели. Поэтому я свернул к ним, они немножко были в стороне, и спросил сестер:

— Почему у вас ночью нет фонаря?

Они ответили:

— Просто не сообразили.

Быть может, не сообразили, быть может, ленились, но я им этого не сказал. А они меня спросили:

— Вы говорите по-немецки?

— Да, объясняться могу. А что?

— Да тут у нас два венгерских офицера. Они все что-то лопочут, чего-то просят, а понять мы не можем. Поговорите с ними.

Я прошел в палату. Они лежали на койках, два молодых офицера. Я спросил, в чем дело. Мадьяры очень обрадовались, услышав мою хромую немецкую речь.

— Мы хотим написать нашим родным, потому что мы убедились, что нам говорили неправду.

— А что вам говорили?

— Нам говорили, что русские убивают всех раненых. Мы этому верили. И, когда нас ранило так, что не могли идти, мы решили не даваться живыми в руки русских. Лежали с револьверами в руках и ждали. И вот пришли русские санитары с носилками. Они подбирали лежащих на поле раненых и куда-то уносили. Мы подумали, что это они своих уносят. Но увидели, что, когда санитары подобрали своих, стали подбирать и наших раненых солдат. И тогда мы подумали: "Еще рано стреляться. Пусть подойдут ближе".

Они подошли и взяли нас на носилки. И вот мы здесь, и за нами очень ухаживают сестры.

Я спросил:

— Санитары у вас ничего не отняли?

— Нет, нет, ничего, мы им сами дали.

Я не стал допытываться, так ли это было, и спросил:

— Чего же вы хотите?

— Мы хотим написать нашим родным, что это все неправда, что говорили про русских. Можно это?

— Можно. Пишите. Я передам ваши письма в наш штаб.

Я так и сделал. Думаю, что наши переслали эти письма через Красный Крест, как это делалось тогда. Нам это было выгодно. Но доставлены ли были эти письма по адресу австрийской полевой почтой, конечно, не знаю. Война ведь в значительной мере основывается на лживой пропаганде.

* * *

Но теперь мы подходим к Тарнову. И порою было солнце, и был снег, и было голубое небо, словом, было чудесно. И я забывал о Янове. Но до Тарнова было еще далеко, может быть, километров тридцать, когда мы начали слышать от времени до времени какие-то, как нам показалось, тяжелые удары. Что это были очень сильные взрывы, мы могли судить по расстоянию. Потом мы увидели в голубом небе точки. Это, несомненно, были самолеты. И мы решили, что самолеты бросают бомбы на Тарнов. Так продолжалось целый день. Потом точки удалились, а удары продолжались и становились все сильнее. Уже земля вздрагивала. За целый день мы насчитали примерно около тридцати ударов.

Солнце уже было не так далеко от заката, когда с горки мы увидели Тарнов. Косыми лучами был освещен какой-то купол, но не похожий на католический храм. Как потом я узнал, это была величественная еврейская синагога. Один удар, которому предшествовал рев, гул, скрежет, характерный для полета крупного снаряда, показал, что не самолеты бомбили Тарнов.

Тут я сделал некое психологическое наблюдение. Мы шли туда, прямо под эти снаряды. Я посмотрел на лица. Дядьки были совершенно спокойны. Даже особого любопытства у них не было заметно. Их благородие не при-

казывает остановиться, значит, все в порядке. У студентов лица были настороженные, но не более.

Я подумал, что бессмысленно подвергать людей опасности без всякой нужды. Поэтому в какой-то деревушке, километра за два от Тарнова, я приказал остановиться и устроиться на ночлег. Сказал доктору:

— Передаю вам начальство над отрядом. Ждите моего возвращения.

— А вы?

— Мне необходимо идти в Тарнов.

— Почему?

Этого я ему не сказал.

Я пошел, рассчитывая, что дойду до захода солнца. Подходя, я встретился с телегами и даже экипажами. Это бежали жители из Тарнова, не выдержавшие артиллерийского обстрела, но их было мало. В Тарнове было много евреев, и они бежали, боясь пресловутых казаков. Поляки менее опасались, и потому некоторое число их осталось в городе.

Но уходили и некоторые русские. Шел батюшка, размахивая рукавами рясы. Рядом с ним шел офицер, и я слышал, как он, до предела взволнованный, говорил батюшке:

— Батюшка, пусть меня расстреляют, но я не могу этого выдержать!

Откровенно говоря, никакого ужаса я еще не видел, только заходящее солнце было зловеще. Придя в город, я пошел по улице, чуть подымавшейся в гору. Улица как улица, с длинными лиловыми тенями от красного солнца. Я обогнал тяжеловоза, который что-то тащил, добросовестно стараясь взять горку. С ним рядом шел кучер. Вдруг я услышал отдаленный глухой звук, а затем послышался ужасающий вой. Так в древности, вероятно, ревели драконы. Вой превратился в скрежет, который казался уже над головой. Полет такого снаряда, как я потом вычислил, продолжается 55 секунд. Но у меня нервы были напряжены и внимание обострено. И я за эти секунды увидел нечто сказочное. Все остановились, как по волшебству. Застыл тяжеловоз с поднятой передней ногой, застыл кучер с протянутыми руками. Мальчишка, который только что еще выкрикивал газету, окаменел на месте, держа ее в поднятой руке. Паненка в кавярне (кофейне), это было видно через открытую дверь, застыла с подносом в руках, на котором был кофе. Так они стояли, разумеется, только несколько секунд, но мне показалось

очень долго. Затем скрежет оборвался, и последовал удар в землю, от которого вздрогнул весь город. Еще пять секунд для верности, и все пришло в движение: конь, кучер, мальчишка, паненка...

Я подумал: удивительно все же приспособляется человек. Ведь эта бомбежка началась только сегодня утром. На город упало около тридцати снарядов, и, видя, что ничего особенного не случается, они уже привыкли.

Несколько позднее я понял, в чем дело. Орудие бомбило только вокзал. И так как оно было совсем новое, не расстрелялось еще, то попадало точно. Настоящая опасность началась, когда орудие расстрелялось и точность исчезла. Тогда эти чудовищные снаряды начали падать где попало. Расстрелялось оно совсем, сделав, вероятно, выстрелов сто.

Во всяком случае, я продолжал свой путь и, хотя не знал дороги, все-таки нашел то, что искал. А искал я отряд Государственной думы, который здесь работал.

Узнав то, что мне надо было узнать, то есть, что покамест никто не пострадал из отряда, я поговорил с Марией Николаевной Хомяковой и другими сестрами. Эти женщины оказались совершенно бесстрашными. Они делали свое дело, помещаясь в здании католического монастыря. Госпиталь был переполнен тяжелоранеными. Наши сестры ухаживали за ними, а католические монашки их кормили.

Тем временем надвинулась ночь. Электричества не было. Засветили керосинки и свечи. При свече я продолжал разговор с одной из сестер, киевлянкой. Ее отец, полковник, и оба брата служили в 166-м Ровненском полку. Отец умер до войны, а за братьев она дрожала. Это была молодая женщина, конечно, ”доброволка”, служившая без жалованья. Мария Николаевна Хомякова говорила про нее:

— Сестра — первый сорт!

Так вот, я беседовал с этой сестрой. Вдруг ворвался в палату молодой человек. Как он нашел меня среди абсолютной темноты, царившей в городе, я не знаю. Но он бросился ко мне, как утопающий, хватающийся за соломинку. При этом он кричал, простирая худенькие руки, по-французски:

— Les nonnes, elles pleurent!*

---

* Монашки, они плачут! (*фр.*)

Его рассказы о плачущих монашках были так смешны, что даже моя собеседница, сестра, чуть не рассмеялась. А молодой человек без всякого перехода начал перед ней расшаркиваться, говоря:

— Oh, madame, madame, chevaliere "de Saint Georges"!*

У нее на груди блестела медалька на георгиевской ленте.

Перейдя на русский, я спросил:

— Говорите, что случилось? Что с монашками? Игумен вы несчастный!

— Они плачут.

— Но это я уже знаю. А дальше, где они?

— Тут где-то, я оттуда прибежал.

Необходимо пояснить, кто и что был этот молодой человек, одетый в солдатскую форму, но со шнурочками вольноопределяющегося на погонах.

Это был еврей двадцати лет. Ранее уже были случаи, когда он обнаружил большое мужество. И на мое замечание в этом смысле ответил:

— Как я могу бояться? Я родился семимесячным. Меня держали в вате два месяца. У меня нет ни одной почки, но есть туберкулез. Как я могу бояться? Хуже не будет!

Начав болтать, он уже не мог остановиться и продолжал тараторить:

— Моя сестра взяла все мое мужество. Она правит автомобилем в Париже и еще никого не раздавила, но раздавит! И вообще, я испорченное дитя Парижа и больше ничего. А теперь я игумен. Монашки плачут. Что мне с ними делать?

— Пусть плачут. Где наши вагоны?

— На вокзале.

— Но ведь вокзал разгромили.

— Разгромили, совсем ничего нет, только наши два вагона стоят.

— Как вы знаете?

— Как знаю? Я там был, я все видел.

— Говорите толком, когда вы приехали?

— Когда мы приехали? Сегодня утром до бомбежки.

Мы вышли из Львова в походном порядке 26 декабря 1914 года. Он же с двумя вагонами, где помещался наш большой багаж и пять монашек, выехал в тот же день из

* О мадам, мадам, кавалер "Святого Георгия"! (*фр.*)

Львова поездом. И вот оказалось, что на лошадях мы сделали наш путь так же скоро, как он поездом.

Он успел где-то укрыть плачущих монашек, которые, собственно, не были монашками, а только послушницами, но им хотелось послужить богоугодному делу.

Он сообщил еще одну ошарашивающую новость:

— Там с ними, с монашками, Шпаковский и Шунько.

— Да это же не может быть. Я их оставил в деревне.

— А они оттуда сбежали и подводы привели — пять штук.

— Зачем?

— Но, боже мой, монашки! Багаж, вокзал разгромлен, надо вытащить.

Он еще что-то хотел сказать, но в это время грохнул снаряд. И вот вбежал Шпаковский, в одном сапоге. Он бросился к нам:

— Василий Витальевич, монашки ревут, что делать?

Я ответил:

— Найти сапог.

— Ах, черт возьми! Так я потерял сапог!

Но, видимо, этот вечер был какой-то особый. Я не успел его спросить, где Шунько, хотя и так знал, что он утешает монашек, как еще ворвался человек. Тут уж ничего нельзя было понять. Он совал мне в руки коробку конфет и истерически кричал:

— Ваша супруга! Ваша супруга!.. Я был начальником тюрьмы. Убежал. Они хотели меня убить. Я бежал на фронт. Но не могу воевать. Я не могу в полк. Возьмите меня в отряд.

Я спросил:

— При чем тут моя супруга?

— Я был у нее в Киеве.

— А сами вы откуда?

— Из Сибири.

— Как вы попали в Киев?

— Я сам не знаю как. Я бежал. В Киеве мне сказали — газета "Киевлянин". Идите в "Киевлянин". Она мне сказала, ваша супруга, где вы.

Как она узнала, где я, в этих условиях, я до сих пор не знаю. Одним словом, она его послала сюда и второпях сунула коробку конфет.

Теперь все было ясно и даже то, что бывший начальник тюрьмы теперь сумасшедший. Я сказал ему:

— Завтра разберемся, а теперь отправляйтесь в деревню.

Я понял, что его прислал мой доктор, оставшийся с отрядом.

Теперь объясню еще кое-что. "Испорченное дитя Парижа", носившее фамилию Левенберг, я назначил заведующим хозяйством. В хозяйство вошли и его монашки. Он все принял это очень серьезно и в целости доставил багаж из Львова в Тарнов, на тот самый вокзал, теперь уже разгромленный шестидесятипудовыми снарядами.

— Идем к монашкам, — сказал он мне.

Мы пошли в абсолютной темноте, но студент и заведующий хозяйством знали дорогу. Через некоторое время мы попали на улицу, где шли по сплошному битому стеклу, выбитому из окон разрывами снарядов. По счастью, именно в этом месте Шпаковский наткнулся на свой потерянный сапог. Он страшно обрадовался. Теперь мы были вооружены для всякого боя.

Монашки тоже обрадовались до крайности нашему появлению и опять стали плакать, но теперь уже от умиления. Левенберг приставал неотступно, чтобы идти спасать и вагоны. Я сказал ему:

— Прежде всего надо поспать, а там видно будет.

Все заснули, потому что истомлены были до крайности. Левенберг лег рядом со мной на полу. В комнате был только один диван.

Я заснул как убитый, сразу провалившись в бездну. Вдруг я проснулся от вспышки и одновременно глухого, отдаленного звука, но сейчас же заснул опять. И даже мне приснился какой-то сон. Затем я проснулся снова. Завыло и заскрежетало, затем удар, от которого вздрогнули стены дома.

Левенберг вскочил. Монашки заплакали. Шпаковский и Шунько засуетились в темноте. Я сказал Левенбергу:

— На вокзал!

У Шпаковского и Шунько какие-то фонари. При их помощи мы нашли наши пять подвод. Дядьки были по-прежнему равнодушны, как будто бы их все это не касалось. Розыски шли в абсолютной темноте.

С последнего выстрела, который был около полуночи, прошло довольно времени. Было два часа ночи. Нашли какой-то переход через рельсы. По этим рельсам нашли поезд, то есть остатки поезда. Все было разбито, зияли огромные воронки, в которых можно было спрятаться верховому. Но наши вагоны действительно стояли невредимыми. Только двери вышибло, что было нам на руку, — не надо было трудиться их открывать.

Возились долго, пока удалось через всякие препятствия подтащить подводы к вагонам. Удивительно, что и лошадки были так же спокойны, как кучера. Вещи перетаскивали пять человек подводчиков и два студента под командой Левенберга, "испорченного дитяти Парижа", которого никто не слушался. А я, завладев одним фонарем, пошел по перрону. Тут все было исковеркано совершенно неописуемо. Крыша сорвана, все стекла побиты, но часы, часы!

Большие вокзальные часы, сорванные со стены, важно стояли на перроне между двумя разрушенными колоннами. Циферблат был цел и показывал одиннадцать часов с несколькими минутами, очевидно, до полудня. Но, конечно, они не шли, запечатлев время, когда их сбросило со своего места и перенесло, аккуратно поставив на перрон. Эти часы представились мне какими-то загадочными свидетелями, что-то молча говорившими.

Но я пошел торопить людей. Не следовало искушать судьбу и ждать, пока новый снаряд уничтожит чудом уцелевшие вагоны и нас заодно с ними.

Нам удалось уйти невредимыми, но, когда подводы взяли направление на деревню, это было в три часа ночи, прилетел еще снаряд. "Испорченный" Левенберг закричал в восторге:

— Мы спаслись удачно!

На следующий день в деревню на машинах из Львова приехали мои дамы вместе с Н.Н.Можайским. Старшей сестрой должна была быть его жена Матильда Алексеевна. Она стала распоряжаться и монашками, которых привезла из Подольской губернии, где Можайские покровительствовали одному монастырьку. Потом приехала Мария Константиновна, кузина Балашева, — святая душа! И, наконец, Кира, высокая и красивая молодая девушка, немножко смыслившая в медицине. Еще была восемнадцатилетняя Мура Забугина.

Наконец третий отряд в полном сборе начал свою высокополезную деятельность во славу ЮЗОЗО.

* * *

Мы получили назначение в город, точнее сказать, городок с неприятным названием Тухов в двадцати километрах от Тарнова. Городок почти не существовал, он погиб не от артиллерии, а от пожаров, то есть в порядке

"самодеятельности". Населения тоже не было, но очень много битого стекла и разваливающихся кирпичей.

Между прочим, во время пребывания там я наблюдал, как исчезают с лица земли даже каменные дома. Один такой домик стоял на косогоре, где мне постоянно приходилось проезжать. Когда я в первый раз его увидел, у него даже стекла были целы, но хозяева ушли. Затем в один прекрасный день исчезли не только стекла, но и рамы, и двери, что было удобно для входящих и выходящих.

Я как-то зашел. Не было уже и деревянных полов. Печи были разворочены, но еще держались. Потом исчезли и печи. В эту пору раскладывали костры прямо в доме. Кто? Обозники.

Обозники во время этой войны были непобедимой стихией — республикой, которая управлялась сама собой и своими законами. Обозные офицеры существовали, но ведь господь создал и видимое и невидимое. Так вот, они были "невидимое".

Итак, мы въехали всем отрядом в этот помещичий дом. Тут находился так называемый дивизионный пункт. Сюда стекались раненые, больные с четырех полков дивизии. Здесь, собственно говоря, была их сортировка. Одних направляли в полевой госпиталь № 1 — это были просто больные, а других, заразных, — в госпиталь № 2.

Затем некоторых эвакуировали по железной дороге. Она проходила тут недалеко, но грузить их можно было только ночью, потому что днем станция обстреливалась. Наша роль состояла в помощи дивизионному пункту, а значит, начальнику дивизионного пункта я и подчинялся.

Поэтому, строго храня дисциплину, я прежде всего отправился ему представиться. Это был хирург из Александровского госпиталя в Киеве по фамилии Бушуев. Но сначала мне пришлось пройти через помещение, где ожидали больные и раненые. Те и другие лежали на полу без соломы. Мороз в этот день был —4°, а в выбитые стекла снег влетал в комнату, и под окном лежали маленькие сугробы. Затем я прошел еще через бывший зимний сад, в котором тоже были побиты стекла.

Постучав в дверь, я вошел в большую комнату, откуда на меня пахнуло приятным теплом. Мне бросились в глаза рояль и мягкие диваны, кресла и даже ковер. За столиком, накрытым скатертью, пили чай. Я подошел к этому столику и отрапортовал:

— Такой-то. Представляюсь по случаю прикоманди-

рования к дивизионному пункту соответствующего начальства.

Бушуев привстал, потом подал руку, сказав:

— Садитесь, будем пить чай с вареньем.

Мне подали стакан, а он прибавил, показав на двух врачей помоложе, очевидно, ему подчиненных:

— Вот эти молодые люди скучают, потому что им нечего делать. Дивизионный пункт не нуждается в помощи. Но раз начальство приказывает, так сему и быть. Устраивайтесь.

Я сдержал себя и не наговорил ему дерзостей за эту теплую комнату и замерзших раненых и больных в соседнем помещении. Главноуполномоченным по Красному Кресту в 3-й армии М.А.Стаховичем была дана директива: "Не рассказом, а показом, не критиковать, а стыдить".

Выпив чай, я пошел устраиваться. Но пришлось не устраиваться, а устраивать.

Я позвал Буяна. Это была его фамилия, и он буянил во хмелю, но когда бывал трезв, то был человеком на все руки.

Я сказал ему:

— Окна видел, где раненые?

— Так точно, ваше благородие. Под ними снег лежит.

— Застеклить можешь?

— Так точно, могу, ваше благородие. Стекла хоть отбавляй, по стеклу ходим.

В тот же день он застеклил это помещение. Не стало тепло, но снег растаял. А когда затопили печи, то стало совсем хорошо.

Потом я обратился к Матильде Алексеевне:

— Знаете ли вы, что дивизионный пункт больных и раненых не кормит?

— Знаю. Мы будем их поить чаем и кормить.

— Справитесь?

— А для чего я привезла монашек?

Через несколько дней мы узнали, что Бушуев очень любит музыку. А Мура очень хорошо играла на рояле и свистела, как соловей.

Я ей сказал:

— Боевая задача — попросить разрешения у Бушуева играть на рояле, свистеть и пленить его этим.

Она спросила:

— А зачем?

— Затем, что у меня нет коек. И кроме того, я не могу

распоряжаться его фельдшерами и санитарами. Того и другого у него достаточно. Вы должны выпросить у него койки, и чтобы их принесли его люди, а тут уже мы с ними как-нибудь поладим.

Она пошла, играла, как Орфей, и свистела, как соловей. Нам в верхнем этаже были слышны ее трели в логовище Бушуева, которое было внизу.

На другой день, после свиста, койки появились. Я сказал Муре:

— Вы просто соловей-разбойник. Грабьте его дальше!

И мы грабили. Мура вошла в добрые отношения и с молодыми скучающими врачами. Они давали ей все необходимые медикаменты из дивизионных запасов. Я освободил Муру от перевязок и дежурства, на нее легли серьезные обязанности по снабжению.

Мура... Известны в истории Киева две Забугины. Одна была дочь моего товарища по гимназии, Платона Забугина, и славилась своей красотой. Половина молодых людей Киева была в нее влюблена. Она колола сердца, как орехи, и выбрасывала скорлупки.

Моя Забугина, то есть Мура, была гораздо скромнее. Нельзя сказать, чтобы она была некрасива. В свои восемнадцать лет это была миловидная и очень здоровая девушка. Не мудрено, она ведь... ''кронштадтское дитя''.

Пусть скептики думают все, что им угодно, про отца Иоанна Кронштадтского. Я знаю, что он был подлинный чудотворец. Родители Муры очень желали иметь ребенка, но бесплодие посетило их дом. По молитве отца Иоанна родилась девочка, названная Мурой. И вот она творила чудеса над Бушуевым.

Буян через некоторое время застеклил бывший зимний сад. Получилась хорошая светлая операционная. Здесь с увлечением работал мой доктор Вацлав с двумя скучавшими врачами Бушуева.

Но Бушуев упорно не хотел работать и, сидя в своей теплой комнате, злился, как карл Черномор. У него не было бороды, он был коротышка, без шеи и толстый. Я не опасался, что Мура в него влюбится. Пока что она им командовала.

Но однажды Бушуев все-таки появился в операционной. Он все же был хирург, и хирург хороший. Одному раненому надо было сделать трахеотомию. Он разрезал горло с видимым удовольствием.

Рассказываю все, как было, не убавляя и не прибавляя.

Он оригинально принимал больных. Они выстраивались у крыльца, на морозе. Выходил Бушуев из теплой комнаты и командовал:

— Скидывай, скидывай рубашку, не стесняйся!

Затем, не прикасаясь к оголившимся людям, говорил скороговоркой:

— Первый, второй, первый, второй...

Это обозначало, в какой госпиталь направлять. После этого дрожащих от холода людей уводили к фельдшерам, сажали в колымаги и увозили по госпиталям.

У Бушуева был оригинальный подход к раненым и больным. Бывало, какой-нибудь санитар докладывал ему о больном, который, что называется, "шебаршит". Бушуев неизменно отвечал:

— А ты ему в мордяку дай.

Об этом с хохотом, под которым таилось глубокое возмущение и презрение, рассказывал доктор Вацлав: "А ты ему в мордяку дай! Как вам это нравится?"

И хохотал.

Быть может, он думал про себя: откуда берутся на свете такие негодяи?..

* * *

Где же я находился в это время? Дело было так. Я ни разу не был в отпуске, надо было поехать. Это было до удара Макензена.

Поехали. Доехали до Львова. Остановились в "Саксонской" гостинице. Там были две стеклянные ванны, одна голубая, другая розовая. Я преступно мечтал о них уже давно. Я занял голубую, а сестра Любовь — розовую. Насладившись, я заснул, она, должно быть, тоже. Вдруг отчаянный стук в дверь. Телеграмма.

Ругаясь, я прочел:

"Вези перевязочный материал в Дембицу".

Это был шифр. И значило:

"Мы отступили в Дембицу".

Телеграфировал мой племянник Эфем, как мы условились.

Вот тебе и отпуск! Разбудив сестру, я где-то раздобыл какую-то городскую машину, и мы поехали на ЮЗОЗОвскую базу. Там в гараже для наших машин дол-

жен был быть привезший нас шофер Александр. Приехали.

О ужас! Александр разобрал машину! В керосине плавали шестерни и шарики. Чрезвычайная добросовестность этого человека, который, проделав триста километров, вместо того, чтобы спать, занялся этой чисткой, была воистину похвальной. Его даже нельзя было назвать услужливым дураком. Откуда он мог знать, что случится? Я сказал ему:

— Александр, что вы наделали? Сейчас надо ехать обратно.

— Как, в Тарнов?

— В Дембицу.

— Что же делать?

— Собрать машину.

— Два часа будет.

— Хотя и три. Все равно надо ехать.

Началась новая страница — отступление.

* * *

Генерал-фельдмаршал Альфред Шлиффен, умерший незадолго до войны, 4 января 1913 года, оставил своим преемникам разработанный им стратегический план войны на два фронта, против Франции и России. Этот план в начальный период первой мировой войны стал проводить начальник Большого генерального штаба граф Хельмут Мольтке, племянник знаменитого сподвижника Бисмарка и наставника императора Вильгельма I, прусского генерал-фельдмаршала Хельмута Карла Бернхарда Мольтке, скончавшегося еще 24 апреля 1891 года.

Однако шлиффеновская доктрина сокрушительной войны, проводимая Мольтке, потерпела фиаско в крупнейшем сражении между основными группировками французских и германских сил на реке Марне, закончившемся 9 сентября 1914 года поражением немецких войск. Это поражение стало поворотным моментом всей борьбы.

Опозорившийся граф Мольтке был немедленно отстранен от руководства, и его место 14 сентября 1914 года занял военный министр Фалькенгайн. Он должен был перепланировать стратегические действия немецких войск в ходе войны.

И вот к февралю 1915 года у нового начальника Большого генерального штаба созревает решение повернуть

линию главных операций с запада на восток — против России. Отказ главного германского командования от применения шлиффеновской идеи ведения войны привел к резкому расхождению Фалькенгайна с фактическими руководителями немецкой армии генералом Эрихом Людендорфом и генерал-фельдмаршалом Паулем фон Гинденбургом, впоследствии президентом Веймарской республики, передавшим 30 января 1933 года власть в стране в руки Адольфа Гитлера.

Едва закончилась зимняя операция по освобождению территории Восточной Пруссии от русских войск, как Фалькенгайн переносит в апреле 1915 года главный удар в Галицию и здесь организует таран генерала Макензена для прорыва русского фронта между Вислой и Карпатами. За два месяца немцы вытеснили русских из Галиции и на целый год, до Брусиловского прорыва в июле 1916 года, обеспечили боеспособность австро-венгерской армии.

Под ударами Макензена началось то великое отступление, когда мы отдали двадцать губерний, из коих десять губерний Царства Польского. Но это в большом плане, а в нашем маленьком плане маленького отряда — это было начало странствований, которые для меня окончились где-то не доходя до города Холма.

* * *

В Дембице я продолжал вывозить раненых, стремясь в этих рейдах заходить как можно дальше. Это было довольно трудно, потому что навстречу нам двигался поток отступавших войск. Сначала шла артиллерия, за ней пехота. В этих моих набегах я все же старался как-нибудь не попасть в плен. Поэтому, пока штаб стоял в каком-то доме на дороге, я заезжал туда.

Начальник штаба, полковник, был толковый человек, в противоположность генералу, который, хотя и имел белый Георгиевский крест на шее, был слишком стар, чтобы сразу соображать, полковник поощрял мое рвение, но указывал мне границу, которую не следовало переходить. При этом он осведомил меня об общем положении дивизии в таких словах:

— Позавчера у меня было двенадцать тысяч. Сейчас — шесть.

Я очень удивился.

— Господин полковник, за это время через меня на

дивизионном пункте прошла тысяча человек. У вас осталось шесть, итого семь. Где же пять тысяч?

Он ответил:

— Так как мы отступаем, то все убитые и раненые остаются у противника. Это главная потеря. Некоторые успели отступить. Но, как то всегда бывает, при отступлении дисциплина падает. Они разбежались. Часть из них вернется, придет к кухням. Вот и все.

Я продолжал свою работу, таскал раненых, но мои рейды становились все короче. Противник наступал. При последнем моем рейде я уже никого не застал в том месте, где был мой отряд, но нашел их на станции. Отряд, готовый выступить, стоял и ждал меня. Верхом на лошади сидел Эфем. Я спросил:

— Это что ж такое?

Он ответил:

— Вацлав от страха сошел с ума. Он побежал к коменданту, который, по-видимому, тоже слегка тронулся. Комендант пожаловался на тебя по телеграфу командиру корпуса, что ты не исполняешь приказаний военного начальства и попадешь в плен. Я отказался двигаться, пока ты не вернешься.

Я ответил:

— Выступайте. Я сдам раненых в поезд и нагоню вас.

Они отправились, а я замешкался довольно долго. Но все же мне удалось уйти, однако по одной половине моста. Другая была уже разобрана.

* * *

Мы пришли в маленький городок, где на свои двадцать подвод нагрузили восемьдесят тяжелораненых. Подводы были широкие и плоские, очень удобные для перевозки. Всех тяжелораненых я привез в наш лес. Там стояли большие навесы, где когда-то сушили кирпич. Теперь они были пустыми, и мы положили там раненых на солому.

Все принялись за работу. Так как эти раненые были в тяжелом состоянии, то я поехал в соседний городок за хирургом. Им оказался мой старый знакомый, старший врач Бушуев, укрывшийся в городе от работы. Чуть ли не силой я приволок его в наш лес. Начав осмотр раненых, он сказал про одного из них:

— Не троньте его, у него прострелена голова насквозь. Через два часа он будет готов.

Но когда врач ушел, сестра сказала:

— А я его все-таки перевяжу.

У нее были чрезвычайно ловкие руки. Сама про себя она говорила:

— Я ведьма. Вещи меня слушаются.

И на этот раз "вещь", то есть простреленная голова, послушалась волшебных рук. Прежде всего она обмыла раненому лицо, покрытое землей и грязью. Тогда под закрытыми глазами появились ужасные малиново-лиловые мешки. Потом она взяла эту голову, напоминающую не то арбуз, не то тыкву, в свои ведьмацкие ручки и, перебрасывая ее, голову, из одной ладони в другую, начала обматывать крайне сложным рисунком белой марли. Эта перевязка, по имени знаменитого античного врача, называлась и называется "гиппократовой шапкой".

Я смотрел на это жонглирование человеческой головой, как на некое чудо. Чудо и случилось.

Вопреки предсказанию Бушуева человек с простреленной головой не умер через два часа. Не только не умер, а через два дня едва слышно сказал свое имя. Спустя две недели, с помощью санитаров, он "ходил до ветра". Когда мы его эвакуировали со всеми предосторожностями, он был как будто бы вне опасности.

Неожиданно в этот лес до нас добрался сам начальник штаба Юго-Западного фронта генерал А.М.Драгомиров. Он был лихой кавалерист и легко спрыгнул с коня. Я скомандовал:

— Смирно, господа офицеры!

Офицер был только один, именно я, и потому Драгомиров, подавая мне руку, рассмеялся, но ответил:

— Вольно. Делайте ваши дела.

Мы пригласили его в беседку пить чай с вином. Там он поставил вопрос о хирурге Бушуеве.

Я изложил ему вину этого человека. Все, что я говорил, подтверждали Кира, племянница генерала, и другие дамы-сестры, а также Вацлав. Выслушав меня, Драгомиров спросил:

— А ваше заключение?

— Под суд.

Потом Абрам Михайлович по-родственному взял свою Киру, и они пошли гулять в лес. На этой прогулке она еще подробнее рассказала ему про подвиги Бушуева. А затем, простившись, генерал уехал.

Через некоторое время нас перевели в другую дивизию. Бушуев остался на своем месте.

У него не было никакой особенной протекции. Драгомиров был одним из лучших генералов русской армии и, кроме того, человеком решительным. Почему же он так поступил? Почему ничего не сделал? Не знаю. Быть может, он отражал ту нерешительность, которая шла с самых верхов. Мы не умели быть решительными. Этим многое объясняется в нашей истории.

Но тут невольно возникает мысль. А как поступил бы решительный генерал, если бы Бушуев издевался не над "серой скотинкой", а, скажем, над близкими ему, над его семьей — женой, детьми? Неужели и тогда он проявил бы ту же мягкотелость и нерешительность? Быть может, именно этим многое объясняется в нашей истории?

* * *

Покинув Дембицу, мы двигались по шоссе вдоль железной дороги. Показалась станция, названия которой я не помню. Она была оставлена не только австрийскими, но и нашими войсками, отступавшими дальше. Но я заехал на эту станцию и обнаружил там свыше ста человек раненых, которые не могли идти. Они лежали в станционных помещениях, брошенные всеми. Кто их бросил — дивизионный пункт или полковые околотки, было неизвестно, но не все ли равно. Раз мы на них наткнулись, надо было их вывезти. Но как?

Я прошел через все помещения. Кое-где лежали умирающие, в других местах — еще живые, но тяжелораненые. Были еще бодрые. Они умоляли их не бросать, но идти не могли — ранены в ноги.

Их было столько, что бросив даже все наши вещи, то есть палатки, больше сотни полушубков, провизию и прочее, то и тогда все имевшиеся у нас подводы и машины не смогли бы все-таки их вытащить.

Нам нужен был поезд. Английский король готов был отдать полцарства за коня. Конь у меня был, но он не мог мне помочь. Поезд, поезд, во что бы то ни стало!

Неожиданно подошел ко мне совершенно здоровый унтер-офицер:

— Так что, ваше благородие, мы под вашу команду поступаем.

— Кто вы такие?

— Телефонисты, четыре человека, пост. Так что все ушли, приказания не было отступать. Что делать, не знаем. Прикажите, ваше благородие.

Молнией блеснула мысль: вот где спасение! Голенький ох, а за голеньким бог!

— С ближайшей станцией нашей связь держишь?

— Так точно, держу.

— Вызови начальника станции. Растолкуй ему: сто сорок тяжелораненых брошены. Поезд надо, чтобы их вывезти. Понял?

— Так точно, понял. Поезд надо под раненых.

Он побежал к своему аппарату.

Я вернулся на станцию. Там врачи, студенты и сестры начали работу: перевязки, лубки и прочее. Зашумели примусы для чая. Я ходил из зала в зал — все, как надо. Но надо одно — поезд.

Потом пошел к телефонисту:

— Ну, как?

— Так что обещают, ваше благородие.

— Хорошо.

— Рад стараться, ваше благородие!

Опять на станцию. На меня с надеждой смотрят сотни глаз. Работа идет. Приказал сгрузить полушубки, потому что чувствую — ночь будет холодная. Придется укрыть раненых. Наступает лето. Таскать полушубки с собой нет смысла. Пусть их увезут, по крайней мере хоть сослужат службу.

Опять пошел к телефонистам.

— Они, ваше благородие, говорят, что теплушек нет, а только открытые платформы. И еще говорят, что их собрать надо. А паровоз ушел, но вернется, говорят.

— Ну, подождем...

Так длилось долго. Телефонисты надрывались, но все чего-то не хватало и поезда не давали.

Наконец телефонист доложил:

— Ваше благородие! Так что они ушли или провод порвался. Не отвечают.

Тогда я сказал Эфему:

— Ничего не будет. Садись в автомобиль и поезжай. Узнаешь, что там делается, на этой станции. Ушли они, или врут, или путают. Если увидишь, что на ближайшей станции ничего нельзя сделать, поезжай дальше, на главную станцию, где штаб армии. Там найди при штабе Стаховича. И требуй от моего имени поезда. Пристань к нему, как клещ. Скажи, что сто сорок раненых и третий отряд ЮЗОЗО вместе со мной попадет в плен. Мы раненых бросить не можем. Так и скажи: будем в плену.

Я знал, кого посылаю. Племянник мой иногда бывал легкомысленным, забывчивым.

Но для такого поручения, какое я ему сейчас дал, он был совершенно приспособлен — энергичен и вместе с тем обладал природным красноречием, умел нравиться людям. Я знал, что Эфем не пожалеет красок, доказывая, что мы непременно попадем в плен...

Поехал...

Прошло долгое время. Все было готово, все раненые, перевязанные, получили чай. Умирающие умерли. Желто-восковые, они лежали под стеной. Их было четверо. Мне следовало снять с них солдатские книжки с именами, чтобы оповестить родных. Это лежало на обязанности начальника отряда. Но я этого не сделал. Стараясь вытащить живых, я не позаботился о мертвых, и это мне неприятно и по сей день.

Время шло. Было около девяти вечера, но еще не было темно. Это были самые длинные дни в году. Вдруг прибежал телефонист:

— Ваше благородие, вас вызывают.

Я взял трубку. Говорил Эфем:

— Поезд сейчас выходит.

И действительно, он пришел — штук десять открытых платформ. Стали грузить. Холодно. Укрыли всех полушубками.

Я пошел на станцию посмотреть, не забыли ли кого-нибудь.

Нет. Всюду было пусто. Только четыре мертвеца лежали под стеной неподвижные и строгие.

В очень старые времена делали из камня изваяния, так называемые надгробия, изображавшие покоящихся в гробу. Так вот, эти четыре были на них похожи.

Поезд пошел. Эфем поехал с ранеными. Он позже опять соединился с нами. Я отправил автомобили по назначению, а сам взгромоздился на гунтера. Двадцать подвод потянулось за мной. Мы шли всю ночь. Прошли сорок километров. Мерный шаг коня усыпляет до невозможности. Несколько раз я едва не свалился с седла. Едва — потому что просыпался, падая. Чтобы не заснуть опять, я отправлялся рысью к хвосту отряда под предлогом проверить, все ли в порядке. Потом возвращался обратно. Солнце давно взошло. Спать хотелось еще больше. Наконец мы дошли туда, где были наши машины.

Это было какое-то село. Там стояла старая-старая

церковь, деревянная, крытая гонтом. Она блестела серебряными латками. Это была жесть, которой латали дыры. Стиль этого храма, таких много в Галиции, напоминает не то буддийские, не то японские пагоды. Изумительно!

Любуясь церковью, я опять заснул. Меня подхватили чьи-то руки и затем напоили крепким чаем. Я опять стал человеком.

Человеком ли? Жалкое ничтожество!

Когда один святой заснул на молитве, он с досады вырвал у себя веки глаз и бросил их перед собой. И там, где они упали, выросло два куста... чая. Вот почему чай такое великолепное средство от сонливости.

Так вот, этот святой был человек, но не я. Я век своих не вырывал и занялся текущими земными делами.

Но иногда вспоминал тех четырех, мертвых...

* * *

Это было 4 июля 1915 года. У леса стояли две большие палатки, на пригорке. Одна была наша ЮЗОЗОвская, другая — дивизионного пункта, только другой дивизии, без Бушуева. Я стоял у своей палатки. Дорога уходила через лес к фронту. Грохот артиллерии был уже недалеко. Я понимал, что сейчас будет приказ смываться. И на всякий случай дал соответствующее приказание.

В это время из леса показалась подвода. Она двигалась медленно, как возят раненых. Я подумал:

— Ну, придется их подхватить.

Подвода подползла к палатке, но в ней оказался только один раненый. Я заглянул, увидел офицерские погоны и очень бледное лицо. Мне показалось, что он без чувств. Но он заговорил, правда, шепотом:

— Мне надо сейчас... руку отрезать... Сейчас... сейчас...

Я присмотрелся к нему. И вдруг узнал. Это был Голосов. Капитан Голосов, мой ротный командир.

Я ответил отчетливо:

— Сейчас все будет сделано.

И побежал в дивизионную палатку.

Это была хорошая дивизия. Здесь дивизионный пункт работал добросовестно, и потому у нас дел было мало.

У меня был тут другой врач, не Вацлав, постарше,

хороший хирург. Петербуржец или москвич. Не помню. Он интересовался только трудными операциями и конскими бегами. Его страстью, истинным призванием был тотализатор. Ему было скучно у нас, и он проводил время в дивизионном пункте. Поэтому я его нашел там.

Я сказал, что у меня офицер, который требует, чтобы ему немедленно отрезали руку.

Мой врач оживился и сказал:

— Это интересно.

Но начальник дивизионного пункта отрицательно покачал головой и сказал:

— Приказ из штаба дивизии получен. Мы сейчас будем улепетывать.

Я стал просить:

— Ну, пожалуйста, это мой командир роты.

Тогда "тотализатор" сказал:

— А давайте резанем!

Начальник пункта скомандовал своим санитарам:

— Принесите раненого.

Он был почти в обмороке, но все же повторял:

— Руку... сейчас...

Я не присутствовал при операции, но руку ампутировали по плечо и сдали мне Голосова.

При этом "тотализатор" сказал:

— Ни к чему. Он умрет.

— Почему?

— Слишком много потерял крови. Сердце останавливается.

— Совсем нет надежды?

На мгновение задумавшись, он ответил:

— Совсем — не бывает. Даю два процента.

Мне показалось это огромным процентом. Мы втащили его на очень хороший грузовичок, который переделали из легковой машины. Рессоры были прекрасные, и меньше трясло.

Я спросил с картой в руках:

— Куда?

Начальник пункта назвал какое-то село, прибавив:

— Помещичья усадьба.

У меня было все готово. Я передал начальствование отряда помощнику, посадил на грузовичок кроме врача еще одну сестру и взгромоздился сам.

Через два часа мы нашли усадьбу и были на месте, сделав шестьдесят километров.

Хозяева уехали, но усадьба не была разрушена. Большой зал с паркетом мы превратили в палату. Одну койку привезли с собой, но там были еще диваны.

На койку положили Голосова. "Тотализатор" подошел, посмотрел на него, взял пульс и сказал:

— Жив. Удивительно. Даю пять процентов. Поите его крепким кофе и не давайте спать.

Это слышала сестра, которую я привез. Она была киевлянка. Отец и два брата ее служили в этом самом 166-м Ровненском пехотном полку, где ротным был Голосов. Спасти его было для нее вопросом любви и чести.

Я присел около койки. Моментально появился кофе. Она стала вливать ему в рот. Выпив, он прошептал:

— Спасибо, — и прибавил: — Какая удача!

После нескольких чашек кофе он промолвил также шепотом, едва слышным:

— Десять месяцев был... Не тронуло... ни пуля... ни осколки... Ну, теперь ударила... Руку отрезали... но жив...

Сестра говорила ему какие-то слова, которые, видимо, его окрыляли:

— Не только живы, в Киев поедете.

Он подхватил:

— В Киев поеду...

Так она возилась с ним всю ночь. Кофе и ласковые слова о Киеве, — что там есть и как там сейчас, чего она сама не знала, потому что была девять месяцев без отпуска.

Примерно в полночь пришел "тотализатор". Все-таки какая-то совесть у него была:

— Двадцать пять. Продолжайте. Кофе и разговор.

Ушел. Пришел утром. Спросил меня:

— Жив?

— Жив, жив, в Киев хочет ехать.

Он все же попробовал пульс и сказал:

— Пятьдесят процентов. Все бывает, но он вне опасности, если его сейчас же повезут в Киев. А вы тоже можете ехать. Ведь вас вызывают в Думу-то?

И мы поехали с этой сестрой-киевлянкой. Она спасла командира моей роты. А я теперь, быть может, тоже нуждался в помощи, хотя и другой. Так мои военные подвиги начались с капитана Голосова и кончились вместе с ним.

* * *

Иногда судьба поступает очень отчетливо. Как будто бы пишет сценарий для кинематографа.

Но я не выполню своего долга перед читателем, если не познакомлю его со счастливым концом этого фильма.

В 1916 году осенью в Петербурге ко мне пришел один офицер и отрекомендовался:

— Голосов.

Я сказал:

— Как? Капитан Голосов был тяжело ранен на фронте, ему ампутировали руку.

— Да, я — его брат. Нас четыре брата Голосовых, все офицеры.

— Ну, а как же мой командир роты?

— Митя? Служит на нестроевой службе в Киеве. Очень доволен и счастлив.

Вот почему я сказал, что этот фильм имел счастливый конец.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГОДЫ

"Васнецовское дитя"

Елка в редакции "Киевлянина" для детей разносчиков и наборщиков стала традиционной. В 1902 году, накануне рождества, в сочельник, я сидел на стремянке и прикреплял шестиконечную звезду.

Помогала мне, придерживая лестницу, одна красивая девушка. Ей не было двадцати лет, но она держала себя так солидно, чтобы не сказать гордо, что ее называли Екатерина Викторовна, а не Катенька, как бы следовало.

Екатерина Викторовна жила в семье секретаря газеты Софьи Ипполитовны. Она со своей матерью снимала комнату в квартире этих людей. А квартира находилась в том же доме, что и редакция "Киевлянина", то есть в нашем доме. Вот откуда и пошло мое знакомство с Екатериной Викторовной Гошкевич.

Примерно в 1885—1896 гг. известный художник В.И.Васнецов расписывал Владимирский собор.

Васнецов работал над изображением богоматери, писавшимся на стене, что за алтарем, почему она и называется "Запрестольная". Эта киевская мадонна прекрасна. И, по-видимому, легко была создана творческим вдохновением художника. Но для младенца он искал натуры, и, если верить киевской легенде, Васнецов нашел ее в семье Гошкевича, в лице его маленькой дочери.

Таким образом, предвечный младенец, сияющий своими всевидящими очами со стены киевского храма, в какой-то мере был навеян девушкой, которая со скукой в красивых глазах смотрела на меня.

К сожалению, я этого не знал, когда глупо сидел на вершине глупой лестницы. Если бы знал, то соскочил бы вниз и, переступив через все условности, спросил бы барышню в упор: "Знаете ли вы, с кого писал Васнецов младенца, что во Владимирском соборе?"

И если бы она ответила "знаю", а она не могла этого не знать, то "дружбою у нас бы кончиться могло бы".

Но я не знал и не спросил.

Не вышло дружбы, а в конце концов "прочел я столько злобы в ее измученных глазах, что на меня напал невольный страх..."

Но это в конце концов, а сейчас мы только у начала.

* * *

Семья Гошкевичей распалась. Отец уехал в Херсон, где он издавал какую-то левоватую газету. Мать осталась в Киеве. Имея некоторое медицинское образование, она стала акушеркой. В лице ее сохранились следы красоты, строгой, но совершенно не божественной. Мать и дочь бывали иногда в нашем доме, то есть в "киевлянинской" семье.

Не только мне, допустим, ко мне она была особенно равнодушна, но никому не удавалось нарушить выражения величественной скуки на этом молодом лице. Даже Катя, моя жена, которая могла бы расшевелить мертвого, терпела здесь неудачу.

Катя, между прочим, прекрасно декламировала иные стихотворения. Однажды она читала из Надсона, и мне это запомнилось:

И когда на охоте, за пышным столом,
от лица именитых гостей,
встал прекраснейший рыцарь
и чашу с вином
поднял в честь королевы своей,
и раздался в лесу вдохновенный
привет,
светлый гимн красоте и венцу, —
королева едва улыбнулась в ответ,
не промолвив и слова певцу.

Вот такую скучающую королеву напоминала эта двадцатилетняя девушка, хотя была она всего-навсего машинисткой у нотариуса, получала 25 рублей в месяц и имела только одно приличное платье, и притом черное. Почему же она так гордилась и так скучала? Потому, что она была больше чем королева, она была "Васнецовское дитя".

Однако выдвинуло ее в люди черное платье. Оно было изящным контрастом на вечерах, где она бывала. Благородная тень в противовес безвкусному богатству!

Это были вечера благотворительные. Там, где хотели помочь нищете, роскошь была совершенно неуместна.

"Дама в черном" привлекала внимание. Некоторые думали, что она в трауре.

Как бы там ни было, но Екатерина Викторовна бывала на благотворительных вечерах не для того, чтобы развлекаться. Она тут зарабатывала деньги, но не для себя, а для бедных. Просто бедных или бедных студентов. Богатых студентов было совсем мало.

На красиво декорированной эстраде "дама в черном" продавала шампанское в ряду других дам, часто разодетых, но не всегда красивых. Продажа около черного платья шла бойко. Очевидно, эта строгая девушка, редко кого дарившая улыбкой, нравилась.

Шампанское продавалось бокалами. Цены не было. Меньше пяти рублей, мне кажется, не давали. Десять рублей считалось ценой приличной. Но улыбка, насколько помню, дарилась двадцатипятирублевым жертвователям. Сторублевики, сверх улыбки, получали ласковое "благодарю", сопровождаемое сиянием "васнецовских" глаз.

Это, пожалуй, было даже трогательно.

Быть может, трогательной показалась эта красивая девушка в черном, поблагодарившая от имени бедных и одного молодого поляка, помещика не без средств. Ведь она, подумал он, и сама бедна. По окончании вечера он попросил разрешения отвезти ее домой ввиду очень скверной погоды.

Шел дождь со снегом. Она согласилась. В экипаже с закрытым верхом темновато, но когда уличные фонари заглядывают внутрь, красивые глаза сияют. Они что-то обещают и в то же время отказывают. Она простилась с ним на пороге "киевлянинского" дома. Он поцеловал ручку в белой перчатке. Больше ничего? А что еще надо? Он узнал, где она живет.

* * *

> Он ездить стал к тебе,
> почтительный влюбленный...

Машинистка киевского нотариуса не принадлежала к кругу княгинь и графинь, о которых писал Апухтин. Но она всей душой стремилась туда. Пока что она полюбила молодого поляка, красивого, ласкового, почтительного. Он сделал ей предложение. Она его приняла. Но...

Мать жениха объявила, что она проклянет сына, если

он женится на русской. Напрасно он доказывал, что Гошкевичи, в сущности, польская фамилия, только обрусевшая, мать не согласилась. И Ромео отступил.

Джульетта тяжело перенесла этот разрыв, и сердце ее наполнилось ядом. Мстить! Она отомстила тем, что вышла замуж. Избранник был ничуть не хуже неверного поляка. Молодой, красивый, богатый помещик, имевший на Полтавщине 2500 десятин.

Он принадлежал к малороссийской аристократии. Его предок 8 января 1654 года подписал постановление Переяславской Рады о воссоединении Руси Киевской с Московской. Кроме того, он, Владимир Николаевич Бутович, был на хорошей дороге — 15 декабря 1907 года его причислили к министерству народного просвещения.

В звании "инспектора народных училищ" молодые богатые люди начинали свою карьеру. Это было звание почетное, а служба интересная. Объезжая школы, такой инспектор знакомился не только с ними, но и с деревней вообще, узнавал ее нужды и мог быть ей полезен, в особенности, если он, как Бутович, имел прямой доступ к генерал-губернатору обширного Юго-Западного края.

Однако ни богатство, ни знатность, ни сладость мести не дали Екатерине Викторовне счастья. И по очень простой причине: она своего блестящего мужа не любила. Не полюбила она и ребенка, который у них родился. Она скучала, как прежде. В богатой полтавской усадьбе не было для нее ни света, ни тепла. И честолюбие, временно удовлетворенное, проснулось в ней снова.

Азор

Осенью 1904 года командующий войсками Киевского военного округа и генерал-губернатор Юго-Западного края, известный русский ветеран генерал М.И.Драгомиров ушел на покой. Место командующего занял его помощник, 56-летний генерал-лейтенант Владимир Александрович Сухомлинов. Был канун 1905 года, ставшего суровым испытанием для Российской державы.

Казалось бы, все ответственные лица, административные и военные деятели, должны были бы быть на местах в это тяжелое время. Однако новый командующий предпочел взять заграничный отпуск и уехал, если не ошибаюсь, в фешенебельный курорт на юго-западе

Франции в департаменте Нижние Пиренеи — Биаррицу. Там он и познакомился с Екатериной Викторовной Бутович, урожденной Гошкевич.

Между тем в Санкт-Петербурге решили, что в Киеве целесообразно снова слить воедино ведомства военное и гражданское, разделившиеся с уходом генерала Драгомирова. В связи с этим в апреле 1905 года Сухомлинов получил уведомление о назначении его киевским генерал-губернатором. Однако это не заставило его расстаться с Екатериной Викторовной и покинуть Францию.

18 ноября 1905 года в Киеве разразился так называемый "саперный бунт". Это происшествие только бегло, в нескольких словах, изложено в фильме "Перед судом истории", в котором мне довелось участвовать.

Там, в последней сцене, я встречаюсь с одним из старейших большевиков, членом КПСС с 1896 года, Героем Социалистического Труда Федором Николаевичем Петровым, который и был "устроителем" этого бунта.

Наконец известия о беспорядках в Киеве понудили Сухомлинова к возвращению.

— Мой въезд в Киев в роли генерал-губернатора, — рассказывает он, — происходил вне обычных рамок. То, что я увидел, было ужасно: разбитые окна магазинов, заколоченные двери и ворота, на мостовой — остатки товаров, там и сям — лужи крови. Я понял всю серьезность выпавшей на мою долю задачи... и то личное одиночество, в котором находился.

Так или иначе, Владимир Александрович все-таки занял свой почетный пост в Киеве, соединив в лице своей персоны и генерал-губернатора и командующего войсками Киевского военного округа. Жизнь начала приходить в норму. Тогда это называли "глубокой реакцией". Мы называли это несколько иначе. Во всяком случае, наступил относительный покой.

А поскольку наступил покой, то Владимир Александрович мог заняться и своими личными делами. Он нанес визит Екатерине Викторовне и ее супругу, приехав в их имение на Полтавщине. Таким образом, завязались отношения. Он стал ездить к Бутовичам довольно часто.

А Владимир Николаевич Бутович, ее супруг, пока что смотрел на эти частые визиты благосклонно, не видя в них ничего дурного. Может быть, он даже был польщен, что такой видный сановник к нему зачастил. Но далее дело пошло серьезнее. Владимир Александрович стал вести себя не так, как надо было в его все-таки ответствен-

ном положении. Правда, это была совершенно интимная жизнь, но у людей, стоящих высоко, интимной жизни нет. Все становится известным.

Например, стал известен случай, который очень повредил генерал-губернатору в глазах его подчиненных. Побывав у Бутовичей, он ехал домой, то есть в Киев, полный мыслей о прекрасной даме и даже об ее собаке. Это была обыкновенная собака, хорошая собака. Хозяйка ее любила больше, чем мужа. А называлась собака Азор.

Вообще в этом имени Азор есть нечто странное. Если прочесть это слово с конца, то выходит "роза".

На одной станции генерал приказал своему адъютанту отправить телеграмму на имя Екатерины Викторовны. И не нашел ничего лучшего, как подписать эту нежную телеграмму для вящей конспирации собачьей кличкой "Азор". Разумеется, на следующий день все стало известно, сначала в военных кругах, а затем во всем городе.

С другой стороны, Владимир Николаевич, супруг Екатерины Викторовны, начал уже понимать, куда клонится дело. Он нахмурил брови. В конце концов ему сказали все прямо, и Екатерина Викторовна потребовала у мужа развода.

Позже, значительно позже, я сблизился с Владимиром Николаевичем. Он говорил мне так:

— Я бы дал развод, пусть уходит куда хочет. Но когда Владимир Александрович Сухомлинов, генерал-губернатор и командующий войсками, пробовал мне угрожать, требуя развода, я вспомнил, что мой предок Бутович подписал решение Переяславской Рады. Бу-то-ви-ча-ми не командуют, хотя бы Сухомлиновы, и им не угрожают! И я ответил отказом: не дам развода!

Эти слова Владимира Николаевича подтверждает по "личным впечатлениям" биограф Сухомлинова В.А.Апушкин.

"Сухомлинову шел уже шестой десяток лет, когда он увлекся женой киевского помещика В.Н.Бутовича. Она была вдвое моложе Сухомлинова и стала добиваться от мужа развода. Последний всячески противился. Сухомлинов угрожал Бутовичу высылкой из Киева на основании правил об усиленной охране, грозил сумасшедшим домом...

"Роман" генерал-губернатора и все его перипетии по-

лучили широкую огласку в киевском обществе и компрометировали Сухомлинова".

Екатерина Викторовна покинула дом супруга, переехав к генерал-губернатору. Вот как он сам описывает свою резиденцию в Киеве: "В нижнем этаже находились — большая зала, гостиные, столовая, приемная, кабинет и гардеробная комната с ванной. На верхнем — жилые комнаты, спальни.

Вся усадьба обнимала семь десятин, большею частью фруктового сада. Две кухни, зимняя и летняя, прачешная, конюшня, сараи, парники, оранжерея и вся совокупность хозяйственных построек среди зелени превращали дом в настоящую загородную усадьбу.

На окраине ее находился овраг, в котором было несколько ключей. Это дало мне мысль запрудить его. Возведена была прочная плотина, и получился глубокий пруд, в целую десятину, с двумя островками. Купальня, пристань для двух лодок, домик с двумя черными лебедями на пруде, в который пущено было много рыбы, павильон для трапез в саду и фонтан перед ним, — дополняли воображение о жизни вне города".

Вот в эту-то приготовленную для нее усадьбу и вошла новой хозяйкой бывшая машинистка киевского нотариуса. Собака Азор, вероятно, последовала за нею.

Скетинг-ринк

Произошло событие поистине поразительное, а именно: жандармы Киева, исполняя свою службу, доносили в Петербург, что командующий войсками Киевского военного округа окружен шпионами. Называли и главного из них — австрийского подданного Александра Альтшиллера. Частые отлучки его в Вену и в Берлин, близость с австро-венгерским консулом и орден Франца Иосифа, полученный Альтшиллером за какие-то неизвестные заслуги перед Австро-Венгерской монархией, дали основание контрразведке взять его под наблюдение как вероятного шпиона.

Только дружба Альтшиллера с Сухомлиновым, в доме которого он считался "своим человеком", мешала окончательному его разоблачению. Прокурор Киевской судебной палаты Кукуранов говорил, что не понимает,

как могло случиться, что Альтшиллер принят в доме командующего, в распоряжении которого должны иметься компрометирующие "друга" агентурные сведения.

Но ничто не могло поколебать дружбы генерал-губернатора с Альтшиллером. Вместе с ним генерал ездил за границу, запросто играл в карты "по небольшой" и говорил, что в обществе "друга" время для него идет незаметно. Альтшиллеру был открыт полный доступ в кабинет Сухомлинова. Он мог на свободе рыться там в бумагах. В присутствии Альтшиллера просили не стесняться в разговорах, хотя бы речь касалась и военных тем, — "он ведь свой человек, — при нем все можно!"

* * *

2 декабря 1908 года на имя генерала от кавалерии В.А.Сухомлинова последовал высочайший рескрипт следующего содержания:

"Владимир Александрович, высоко ценя Ваш обширный служебный и боевой опыт по прежней Вашей деятельности на должностях Генерального штаба, я признал необходимым для пользы дела поручить Вам ответственный пост начальника Генерального штаба... Пребываю к Вам неизменно благосклонный..."

На подлинном собственною его императорского величества рукою написано:" ...и благодарный Николай".

"В Царском Селе 2 декабря 1908 года".

Не полагаясь только на свою память, привожу в дополнение некоторые воспоминания генерал-майора Владимира Александровича Апушкина. Он был назначен Временным правительством 15 марта 1917 года на должность главного военного прокурора, а через два дня, 18 марта избран членом Чрезвычайной следственной комиссии, где специально занимался военным отделом, допрашивал Сухомлинова. Кроме ознакомления с секретными документами, Апушкин неоднократно встречался с бывшим военным министром, многое слышал лично от него. Поэтому его краткая биография "генерала от поражений" представляет собою документальную ценность.

Вот что рассказывает Апушкин о появлении В.А.Сухомлинова в столице.

"Бутович, вконец измученный преследованиями Сухо-

млинова, обманутый симуляцией покушения на самоубийство своей жены, дал ей согласие на развод. Началось бракоразводное дело. Появились "достоверные" лжесвидетели и лжесвидетельства супружеской неверности Бутовича.

Разгадав обман своей жены, вырвавшей у него согласие на развод, возмущенный возводимыми на него обвинениями, Бутович взял свое согласие обратно и возбудил дело о лжесвидетельстве..."

С грузом этого неприятного дела на плечах Сухомлинов и явился в Петербург, сразу став здесь в двусмысленное, ложное и тягостное положение.

Так что, как видите, Сухомлинову было не до государственной обороны России. Ему надо было покончить с бракоразводным делом своей будущей жены. Последнее принимало благодаря настойчивости Бутовича все более и более грозный для его жены и Сухомлинова оборот. Отвратить его, привести к благоприятному исходу могла только высочайшая воля, а заслужить ее могла только приятность и угодливость монарху. К завоеванию расположения последнего Сухомлинов и направил все свои усилия.

Тогдашний военный министр генерал от инфантерии Александр Федорович Редигер, занимавший этот пост с июля 1905 года, был человек честный, почтенный, трудолюбивый и деловой, но с тяжелым, сухим умом, канцелярски деловой речью, с некрасивым лицом, лишенный всякой светскости. Государь тяготился им, так как не любил его долгих обстоятельных докладов, но не знал, кем заменить.

Слухи об отставке военного министра А.Ф.Редигера возникли еще в 1908 году. Они совпали с пребыванием в Петербурге Сухомлинова. Живой, поверхностный, игривый ум, скользящий по предметам, бойкая речь, меткие словечки, светские манеры, приятная готовность выполнить все, что угодно его величеству, угадывание, что именно угодно и что — нет, делали из Сухомлинова интересного и остроумного собеседника царя. Новый начальник Генерального штаба являл собою полный контраст генералу А.Ф.Редигеру. Замена нашлась.

И вот, 11 марта 1909 года будущий супруг Екатерины Викторовны вступил в управление военным министерством.

1. Киев. Крещатик в начале века.

Один из номеров газеты "Киевлянин", основанной отцом В.В.Шульгина. Выходила до 1918 г.



№ 53

КІЕВЛЯНИНЪ

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.

СРЕДА, 22-го ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА.

Городской театръ.

Городской театръ.

Театръ „СОЛОВЦОВЪ“.

Объдъ

Романовскаго Комитета

ОМУТЪ



Беспорядки в Петербурге в день роспуска II Государственной думы. 1907 г.



Заседание IV Государственной думы под председательством М.В.Родзянко. 1914 г.



Последний русский император Николай II в кругу семьи.
Слева направо: Татьяна, Александра Федоровна с наследником Алексеем, Ольга, Мария, Анастасия. 1905 г.



Приезд Николая II на открытие I Государственной думы. 1906 г.

Г.Е.Распутин среди многочисленных поклонниц. 1914—1915 гг.



П.А.Столыпин — министр внутренних дел и председатель Совета министров в 1906—1911 гг.



В.Н.Коковцов — председатель Совета министров в 1911—1914 гг.



П.Н.Милюков — председатель ЦК партии кадетов, депутат III и IV Государственных дум, министр иностранных дел в первом составе Временного правительства.



П.Б.Струве — автор манифеста I съезда РСДРП в 1898 г., член ЦК партии кадетов.



В.М.Пуришкевич — один из руководителей монархической организации "Союз Михаила Архангела", депутат II—IV Государственных дум.



И.Г.Церетели — депутат II Государственной думы и лидер ее социал-демократической фракции; министр почт и телеграфов, а затем министр внутренних дел Временного правительства.



Н.А.Маклаков — министр внутренних дел в 1912—1915 гг.



Николай II на фронте в годы первой мировой войны.



В.А.Сухомлинов — военный министр в 1909—1915 гг.



А.А.Брусилов — главнокомандующий Юго-Западным фронтом в годы первой мировой войны.



Л.Г.Корнилов — генерал армии, начальник Петербургского военного округа после Февральской революции.



А.М.Каледин — атаман войска Донского в 1917 г.



В.В.Шульгин (второй слева) на Юго-Западном фронте. 1917 г.

Печальный итог первой мировой...



Приложенiе къ № 18 Под. Губ. Вѣд. 1917 г. Цѣна 6 коп.

Высочайшiй Манифестъ.

БОЖIЕЮ МИЛОСТIЮ
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIЙСКIЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКIЙ, ВЕЛИКIЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКIЙ,
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:

„Въ дни великой борьбы съ внѣшнимъ врагомъ, стремящимся почти три года поработить Нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать Россiи новое тяжкое испытанiе. Начавшiяся народныя внутреннiя волненiя грозятъ бѣдственно отразиться на дальнѣйшемъ веденiи упорной войны.

Судьба Россiи, честь геройской Нашей Армiи, благо народа, все будущее дорогого Нашего Отечества требуютъ доведенiя войны во что бы то ни стало до побѣднаго конца. Жестокiй врагъ напрягаетъ послѣднiя силы и уже близокъ часъ, когда доблестная Армiя Наша, совмѣстно со славными Нашими Союзниками, сможетъ окончательно сломить врага. Въ эти рѣшительные дни въ жизни Россiи почли мы долгомъ совѣсти облегчить Народу Нашему тѣсное единенiе и сплоченiе всѣхъ силъ народныхъ для скорѣйшаго достиженiя побѣды и, въ согласiи съ Государственной Думою, признали мы за благо отречься отъ Престола Государства Россiйскаго и сложить съ Себя Верховную Власть. Не желая разставаться съ любимымъ сыномъ Нашимъ, Мы передаемъ наслѣдiе Наше брату Нашему ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и благословляемъ Его на вступленiе на престолъ Государства Россiйскаго. Заповѣдуемъ Брату Нашему править дѣлами государственными въ полномъ и ненарушимомъ единенiи съ представителями народа въ законодательныхъ учрежденiяхъ на тѣхъ началахъ, кои будутъ ими установлены. Принеся въ томъ ненарушимую присягу во имя горячо любимой Родины, призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Отечества къ исполненiю своего святого долга передъ нимъ, повиновенiемъ Царю въ тяжелую минуту всенародныхъ испытанiй и помочь Ему вмѣстѣ съ представителями народа вывести Государство Россiйское на путь побѣды, благоденствiя и славы.

Да поможетъ Господь Богъ Россiи.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

„НИКОЛАЙ“

Дано 2 марта 15 часовъ 1917 г.
Городъ Псковъ.

Скрѣпилъ Министръ Императорскаго Двора Генералъ-адъютантъ Графъ Фредериксъ

Манифест об отречении Николая II от престола.

Юнкера на улицах Петрограда. 1917 г.





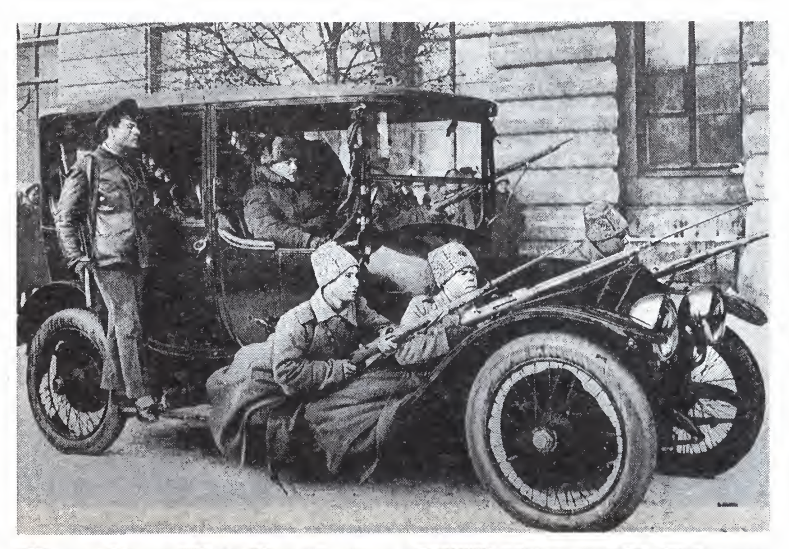
В.В.Шульгин (стоит первый слева) среди членов IV Государственной думы. 1917 г.

Заседание Временного правительства в Мариинском дворце. Слева направо: министр торговли и промышленности А.И.Коновалов, министр земледелия А.И.Шингарев, министр путей сообщения Н.В.Некрасов, министр иностранных дел П.Н.Милюков, председатель Совета министров и министр внутренних дел



Заседание Совета рабочих и солдатских депутатов в здании Государственной думы. Апрель 1917 г.

кн. Г.Е.Львов, министр юстиции А.Ф.Керенский, министр финансов М.И.Терещенко, государственный контролер И.В.Годнев, министр народного просвещения А.А.Мануйлов, товарищ министра внутренних дел Д.М.Щепкин, управляющий делами Временного правительства В.Д.Набоков.



ДА ЗДРАВСТВУЕТЪ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ
СОБРАНІЕ





На улицах Петрограда.
Февраль-март 1917 г.



В годы гражданской войны Одесса была попеременно захвачена австро-германскими, англо-французскими, деникинскими войсками и освобождена лишь в феврале 1920 г. На фото: вступление Красной Армии в Одессу.

* * *

В Государственной думе я влачил довольно печальное существование. На Думу взирала вся Россия, но в конце концов это была только глухая провинция. В каком смысле? Дело в том, что мы были совершенно оторваны от блестящей столицы — не хватало времени.

Например, за десять лет я был в опере не больше трех раз. В балете не был совсем, даже не видел знаменитого "Лебединого озера". Точно так же и в драме. Единственное, что я себе позволял, это на полчаса пойти в какой-нибудь кинематограф или на скетинг-ринк на Марсовом поле.

В будни там было пусто, и я забегал туда на полчаса, чтобы размять бренное тело, совершенно изнывавшее от вечного сидения.

И вот, в такой будний день я увидел красивую даму, окруженную изящными молодыми офицерами. Она меня узнала и приветливо улыбнулась. Первый раз в жизни!

Разумеется, я приблизился. Она протянула мне руки, и мы побежали по треку, как и полагается.

Я сказал:

— Елку для наборщиков и разносчиков помните?

— Еще бы. Но как все переменилось. Что ваш племянник?

— Здесь. Он учится в Академии художеств. Скульптор, по композиции получает первые категории.

— Он всегда был способный мальчик. Как все это далеко и как хорошо!

Мы сделали круг, я понял, что этого довольно, и сдал ее молодым адъютантам мужа.

Но это было не все.

Зазор

Вернемся к тому времени, когда безобидный "Азор", точно в метаморфозах Овидия, превратился в неприятное чудовище, прибавив только одну букву "З". И родился "Зазор".

Так как Владимир Николаевич Бутович категорически отказался дать развод, то новоназначенный военный министр совместно с Екатериной Викторовной решили

10—3196

прибегнуть к средствам совершенно неблаговидным и даже зазорным.

Как известно, официальная причина развода при церковном браке, собственно говоря, только одна: супружеская неверность, прелюбодеяние. При джентльменском разводе, даже когда виновна жена, муж обыкновенно принимал вину на себя. Для мужчины это не такой уж позор, если его обвинят или он сам признается в прелюбодеянии. Мало ли что бывает в жизни! Но на женщину это, конечно, кладет клеймо. По крайне мере, так было раньше.

Однако Владимир Николаевич, претерпев столько угроз высокого сановника и обманов своей жены, не пожелал принять на себя несуществующую вину. Тогда Екатерина Викторовна сама обвинила его в прелюбодеянии. Но с кем? Ведь надо было указать, если можно так выразиться, объект прелюбодеяния. Сухомлиновы и указали...

У сына Бутовичей была гувернантка — француженка. Прожив некоторое время в доме Бутовичей, она вернулась на родину. И вот, будущее супружество Сухомлиновых решило обвинить именно эту девушку. Кто там будет проверять в Париже? Так и сделали. При посредстве лжесвидетелей супругов Бутовичей развели. По истечении некоторого времени Екатерина Викторовна вышла замуж за Владимира Александровича Сухомлинова, ставши супругой военного министра великой державы.

И вот тут-то и разразился скандал.

* * *

На Западе внимательно следили за Россией, в особенности за такими лицами, как военный министр. И вдруг в газетах, смаковавших бракоразводное дело Екатерины Викторовны, появилось сообщение, что такая-то француженка, имярек, обвинена в прелюбодеянии с таким-то, то есть с Владимиром Николаевичем Бутовичем.

Можно представить себе все возмущение и негодование этой девушки, которую иностранный военный министр опозорил на весь свет! Чтобы защитить свою честь, она потребовала ни более ни менее, как медицинского освидетельствования. Врачи удостоверили, что мадемуазель такая-то не могла совершить прелюбодеяния, ибо она девица. Парижанка обратилась к правительству

с заявлением, в котором просила правительство Франции принять меры для восстановления ее чести. Французское правительство приказало своему послу в России сделать все необходимое. Посол обратился к русскому министру иностранных дел С.Д.Сазонову, а последний переговорил об этом деле с министром юстиции И.Г.Щегловитовым. Таким образом, министр юстиции должен был в соответствующем порядке начать судебный процесс против военного министра В.А.Сухомлинова.

Все это в высшей степени волновало Государственную думу, но пока мы воздерживались от выступления с кафедры. Однако произошло еще нечто, переполнившее чашу терпения. Стало известно, что дело о В.А.Сухомлинове выкрадено из министерства юстиции. Компрометирующие документы исчезли бесследно. Всем было ясно, по чьему наущению произошла кража.

* * *

Дума забурлила, и в такой степени, что теперь уже надо было рычать с кафедры.

Вот как реагировал на это событие один из видных кадетских лидеров, присяжный поверенный Василий Алексеевич Маклаков во время обсуждения доклада бюджетной комиссии по смете расходов министерства юстиции 2 мая 1912 года на 122-м заседании пятой сессии Государственной думы третьего созыва:

— Мы знаем об одном громком бракоразводном процессе, о той неправде, которая была сделана в нем. Но этому мы не удивляемся: наши иерархи сами скорбят о несовершенстве бракоразводного дела, они знают сами, что без обмана, без лжи, без подлогов там ничего не делается. И если даже такие подлоги перешли границы дозволенного, то все же эта вещь в порядке этого учреждения, и мы не удивляемся.

Мы знаем и другое, что когда собирали доказательства для консистории, тогда найти и доказать нужную для процесса вину явились сотрудники министерства внутренних дел: начальник Киевского жандармского отделения полковник Н.Н.Кулябко и убийца П.А.Столыпина агент Киевского охранного отделения Д.Г.Богров. Мы знаем, что это они потащили В.Н.Бутовича туда, где можно было констатировать его "вину". Опять-таки

к деятельности охранного отделения мы привыкли и этому не удивляемся.

Но, когда мы узнали, что явился человек, оклеветанный этим процессом, явилась женщина, имя которой опозорено, и подала жалобу на военного министра, обвиняя его в том, что он создал эту неправду, что он причина лжесвидетельств в этом процессе, что же сделало министерство юстиции?..

Когда жалобщик, надеясь на правосудие, ища и требуя этого правосудия, принес и отдал в руки прокурора документ, которым устанавливалась неправда лиц высокостоящих, что с ним сделали? Дело это истребовано министерством юстиции и компрометирующие документы там пропадают. Мы знаем, что была сделана попытка свалить все на заграницу. Их туда будто бы отправили и они оттуда не вернулись...

...Но это неправда! Есть описи, которые позволяют установить, что документы за границу не уходили. Документы остались здесь, в министерстве юстиции. И пусть теперь министерство скажет, куда оно их дело.

Но министерство не сказало, хотя его представитель И.Г.Щегловитов, выступивший сразу после Маклакова, говорил много в свое оправдание, но оправдаться не смог, закончив свое выступление оригинальной фразой, звучащей двусмысленно: "Следуй по своему пути, и пусть люди говорят, что хотят".

В особенности негодовала по поводу этого дела наша фракция "русских националистов", полагая, что всеми этими скандалами наносится ущерб российской нации. Но кто же должен был выступить от ее имени? Мои товарищи не придумали ничего лучшего, как поручить это мне, несчастному.

Напрасно я доказывал, что мне это крайне неудобно, что у меня личные отношения с Екатериной Викторовной, что она жила у нас в доме. Мне ответили: "Именно потому, что вы ее хорошо знаете, вам и надлежит говорить".

И я пошел говорить. На этот раз кафедра Государственной думы показалась мне истинной Голгофой.

В этот день 4 мая 1912 года в Думе продолжалось обсуждение бюджета министерства юстиции. Поскольку на прошлом заседании с большой речью по этому вопросу выступил В.А.Маклаков, то мне пришлось с ним полемизировать, критикуя опасные политические выпады кадетского лидера, стремящегося внести яд сомнений в

психологию правительства и тех партий, которые его поддерживают. Неприятное для меня дело Екатерины Викторовны я откладывал на конец. Но час пробил, и мне пришлось приступить к тяжкому исполнению своих обязанностей.

— Есть одна вещь, — сказал я, — совершенно особенно стоящая, которой коснулись все ораторы, но которой я бы не коснулся, если бы они не коснулись, — это именно нашумевшее бракоразводное дело Сухомлинов — Бутович. Вы, господа, могли убедиться, что мы не настроены враждебно к правительству, наоборот, мы всегда его поддерживали, насколько это допускала наша совесть...

Однако нужно сказать, что есть вещи, на которые мы никогда не согласимся. И вот в этом деле о пропаже документов, — причем я оговариваюсь, мне кажется, что министерство юстиции тут ни при чем, — в этом деле есть одна страшная вещь: эта вещь состоит в следующем. Не то ужасно, что документы украли, а то, что их выгодно было украсть, и то, что тот, кому выгодно было это сделать, как говорит молва, тот стоит на такой высоте, на какой только может стоять русский сановник.

Вот эта вещь, по-моему, ужасна. Но еще ужаснее то, что, быть может, молва ошибается, быть может, этот человек, этот русский министр, этот военный министр, чего я от всего сердца желаю, быть может, он ни к чему подобному даже тени прикосновения не имеет. Но ужасно тут то, что тень падает все же не без основания, и не без основания потому, мы все это знаем, что эту тень бросает несправедливое, нехорошее дело, которое совершилось и которое оправдать нельзя, — закончил я под продолжительные аплодисменты справа, обращаясь к министру юстиции, сидевшему в двух шагах от меня.

По окончании заседания он подошел ко мне и сказал:

— Я прекрасно понял, о чем вы говорили...

Больше он ничего не прибавил, пожав мне руку. Это обозначало, что министр И.Г.Щегловитов также считает такие деяния недопустимыми.

* * *

Каков же итог того, что произошло? Итог таков: два министра одного и того же правительства разноречат, и даже более того. Ведь все понимали, в чем дело.

Если бы существовал нормальный порядок, то министр юстиции должен бы был привлечь военного мини-

стра к ответственности по подозрению в краже важных документов. Но он этого сделать не мог. Значит, кража осталась безнаказанной.

Это было началом той великой анархии, которая обозначилась перед крушением империи. Когда убили Распутина, то уже не кража, а убийство осталось безнаказанным. Это был конец. Власти больше не существовало. Вот почему так знаменательны сказанные тогда пророческие слова: "Выстрел в Распутина убил царскую Россию".

Мясоедовщина

Когда назначенный начальником Главного управления Генерального штаба генерал от кавалерии В.А.Сухомлинов перебрался в Санкт-Петербург, вместе с ним потянулась и шпионская клика во главе с Альтшиллером, окружавшая его в Киеве. Мои сведения об этом исходили от гласного Киевской городской думы, журналиста, сотрудничавшего в "Киевлянине", члена Государственной думы Анатолия Ивановича Савенко. Он имел по этому поводу исчерпывающий разговор с киевскими жандармами. Но независимо от этого были сведения и из другого источника.

Александр Иванович Гучков завязал прочные связи с петербургскими офицерами, преимущественно молодыми, которые указывали ему на всевозможные недочеты русской армии. Вот от них-то Гучков и получил совершенно те же сведения о шпионском окружении Сухомлинова. Это подтверждает и биограф незадачливого генерала В.А.Апушкин, рассказывая интересные подробности об Альтшиллере.

По приезде в Петербург Альтшиллер открыл здесь фиктивную контору "Южно-русского машиностроительного завода". Денежных операций в ней не производилось, кассовые книги не велись, посетителей по делам завода не бывало, зато контору посещали какие-то сомнительные личности. В ней имелась почтовая бумага "высокого качества", с австрийским государственным гербом. На бланках конторы Альтшиллера Сухомлинов писал черновики своих бумаг по бракоразводному делу. А в деловом кабинете Альтшиллера на письменном столе

стоял портрет военного министра Сухомлинова с дружескою надписью.

Заведовать отделением своей конторы Альтшиллер пригласил Николая Михайловича Гошкевича, двоюродного брата Екатерины Викторовны. До приезда ее в Петербург коллежский секретарь Гошкевич занимал скромное место столоначальника в министерстве торговли и промышленности и в тяжбе супругов Бутовичей был на стороне Владимира Николаевича, исполняя различные его поручения. Однако после свидания с кузиной он резко изменил свою позицию, и жена его стала в бракоразводном деле Екатерины Викторовны свидетельствовать против Бутовича. Пользуясь своей близостью к военному министру, Гошкевич предложил фирме войсковых пособий В.А.Березовского организовать поставку ружей для "потешных", обещая, что через Сухомлинова он устроит их покупку военным ведомствам.

Через Альтшиллера кузен Екатерины Викторовны сблизился с неким Василием Думбадзе, выдававшим себя за племянника известного ялтинского градоначальника. Представляясь страстным почитателем военного министра, Думбадзе предложил написать его биографию. Польщенный Сухомлинов передал через Гошкевича своему будущему биографу перечень мероприятий по военному ведомству с 1909 года по март 1914 года, содержащий данные секретного характера, касающиеся планов будущей войны.

Заручившись содействием доверчивого и легкомысленного военного министра, Думбадзе задумал пробраться в Германию и там, прикинувшись врагом России, стремящимся освободить Кавказ от русской власти, выведать у германского правительства созданный им план организации смуты на окраинах империи. Сухомлинов доложил о затее Думбадзе государю и получил его согласие на выезд шпиона в Германию.

Несмотря на данные контрразведки Главного управления Генерального штаба, компрометирующие личность Думбадзе, и двукратное предупреждение военного министра начальником Генерального штаба генералом от инфантерии М.А.Беляевым, Сухомлинов не внял этим предупреждениям, и Думбадзе уехал. Вернулся он в Петроград в день отставки военного министра 12 июня 1915 года, привезя с собой из-за границы значительную сумму денег и отчет о своей поездке. Рассмотренный особой комиссией офицеров Генерального штаба, этот

отчет был признан неправдоподобным, а его автор — германским шпионом. Думбадзе вместе с другими своими соратниками — Гошкевичем, его "близким знакомым" Валлером и артиллерийским капитаном Ивановым, "проявлявшим стремление участвовать, пользуясь покровительством Сухомлинова, в комиссиях и совещаниях секретного характера", были преданы суду и осуждены за государственную измену.

* * *

Что же делал патрон этой шпионской клики агент Австрии Альтшиллер? Как передает В.А.Апушкин, издатель и владелец крупного военно-книжного склада В.А.Березовский позвонил однажды по телефону в кабинет военного министра и попросил к аппарату Сухомлинова.

— Я у телефона...

Узнав по голосу Альтшиллера, Березовский повесил трубку.

В качестве "интимного друга" Альтшиллер присутствовал при опытах сношения военного министра по беспроволочному телеграфу. Он внушил Сухомлинову мысль об изменении направления стратегической железной дороги, которая должна была соединить прямым путем Петербург с Константинополем. По настоянию военного министра направление дороги было изменено так, чтобы она пролегала по землям члена австрийского рейхстага графа Потоцкого. Этим изменением чрезвычайно облегчалась осведомленность Австрии обо всем, касавшемся дороги. Кроме того, огромная сумма денег должна была пойти в карман австрийца за отчуждение земли.

Все это происходило в то время, когда контрразведка Киевского военного округа, перехватывавшая корреспонденцию, шедшую от австрийских агентов из Петербурга в Вену, неоднократно сообщала в столицу, что Альтшиллер является главой шпионов. Эти шпионы действительно были прекрасно осведомлены обо всем, что делалось в ближайшем окружении военного министра, вплоть до его разговоров с царем.

В 1913 году Альтшиллер неожиданно стал ликвидировать свои дела в России и в марте 1914 года уехал за границу.

* * *

В 1909 году произошла встреча военного министра с человеком, сыгравшим роковую роль в его жизни. Это был германский шпион полковник Сергей Николаевич Мясоедов, за здоровье которого в 1905 году император Вильгельм II поднимал бокал на обеде в своем имении. В то время Мясоедов служил начальником пограничного Вержболовского отделения жандармского полицейского управления Варшавской железной дороги.

Заподозренный в шпионаже в пользу Германии, с пограничными властями которой он был тесно связан, Мясоедов был переведен во внутренние губернии, но скоро покинул службу и образовал вместе с осужденными впоследствии за государственную измену Самуилом и Давидом Фрейдбергами акционерное общество Северо-Западного пароходства для перевозки грузов и эмигрантов в Гамбург и Америку. "Полезная" деятельность этого общества, председателем которого сделался Мясоедов, вызвала подозрение и специальное расследование министерства внутренних дел.

Хотя Мясоедов жил, что называется, на широкую ногу, но не будучи связан теперь с полицейскими и военными кругами, он был лишен возможности быть в курсе таких сведений, какие ему были необходимы для передачи куда следует. Поэтому-то в салоне госпожи В. его представили Сухомлинову с просьбой предоставить ему подходящее местечко.

От услужливого, льстящего ему человека военный министр никогда не отказывался, но как ему ни хотелось принять к себе на службу шпиона, это оказалось не так-то легко сделать.

Департамент полиции представил Сухомлинову официальный доклад о падавших на Мясоедова подозрениях в шпионской деятельности. Когда же военный министр этим пренебрег, то товарищ министра внутренних дел, заведующий департаментом полиции А.А.Макаров дважды предупредил его об опасности приблизить к себе лицо с таким темным прошлым.

Но, как мы видели раньше, Сухомлинов ни с чем не считался для достижения намеченной цели и исполнения своих желаний. Так и здесь он прибегнул к испытанному уже средству, исходя из личного опыта, что для угодливости и лести все двери открыты. Чтобы пресечь все сра-

зу противодействия, он обратился за разрешением принять Мясоедова к себе на службу прямо к монарху и, конечно, получил таковое немедленно.

Шпион снова был зачислен в корпус жандармов с откомандированием в распоряжение военного министра, с которым сразу сблизился. Желая внушить к своему новому другу доверие со стороны опасавшегося его начальника Генерального штаба, Сухомлинов послал с ним в штаб чрезвычайно важные секретные военные протоколы соглашений с Францией.

Жена Мясоедова также подружилась с Екатериной Викторовной. Обе супружеские пары ездили вместе за границу и жили там в Карлсбаде. Новый, 1911 год Сухомлиновы встречали на квартире Мясоедовых в присутствии многочисленных гостей. Один из числа гостей обратил внимание на то, что за ужином хозяин все время переводил разговор с министром на военные темы. Адъютант Сухомлинова полковник Булацель, получив приглашение от Мясоедова на тот же ужин, отклонил таковое, заявив Екатерине Викторовне, что с такими людьми он дела не имеет.

Подобное отношение к Мясоедову было распространено у многих, знавших военного министра. Не раз его предупреждали о подозрительном поведении его нового друга, но все это было напрасно, даже после начатой А.И.Гучковым в печати и Государственной думе кампании против Мясоедова. Такое упорство Сухомлинова, возможность не считаться ни с общественным мнением, ни с настояниями официальных лиц, занимавших достаточно ответственные посты, объяснялось тем, что он был непоколебимо уверен в поддержке и расположении к себе государя. В этом он не ошибался.

Поговаривали также, будто военный министр нравился императрице Александре Федоровне тем, что умел развлекать неизлечимо больного наследника престола, умел забавлять его разными детскими играми.

Поэтому-то, несмотря на все творившиеся в военном ведомстве безобразия и крайне отрицательное отношение к нему обоих наших премьеров — П.А.Столыпина и сменившего его В.Н.Коковцова, он так прочно чувствовал себя в кресле военного министра.

Как рассказывал Владимир Николаевич, смертельно раненный П.А.Столыпин в Киеве вызвал его к себе и завещал доложить государю о необходимости замены Сухомлинова "ввиду сумбура в его ведомстве".

— Наша оборона, — сказал Столыпин, — в руках человека неподходящего, ненадежного, не умеющего внушить к себе уважения.

Тогда же в Киеве и председатель Государственной думы М.В.Родзянко прямо в лицо сказал Сухомлинову, что считает его на посту военного министра вредным для России.

Это было в самом начале сентября 1911 года, а через три месяца, 6 декабря, последовал высочайший указ о назначении генерал-адъютанта и генерала от кавалерии Владимира Александровича Сухомлинова членом Государственного совета.

А.И.Гучков так объяснял удивлявшую всех незыблемость супруга Екатерины Викторовны на посту военного министра, несмотря на сенсационные скандалы и компрометирующие разоблачения:

"Сухомлинов во всех министерских составах был самым влиятельным членом кабинета. Это объясняю тем, что он умел подойти ко всем слабостям государя, умел волновать и радовать его своими докладами, потворствовать всем его капризам, ублажать его так, как никто не ублажал. Все свои дарования он направил к завоеванию личности монарха и эту личность полонил целиком".

* * *

В связи с Сухомлиновым необходимо сказать несколько слов о главном его противнике Александре Ивановиче Гучкове, фигуре весьма значительной. Он происходил из именитого старообрядческого купечества и родился в Москве в 1862 году.

Дед его, Федор Алексеевич, выходец из крепостной деревни, основал в Москве в 1789 году суконную мануфактуру, ставшую впоследствии крупной фабрикой, на которой уже в 1853 году работало 1850 рабочих. Отец и дядя, Иван и Ефим Федоровичи, являлись членами и учредителями Московского купеческого банка.

Старший брат Александра Ивановича, Константин, возглавил семейную фирму, основанную в 1859 году: "Торговый дом Гучков Е.Ф. и сыновья" и был членом советов двух московских банков.

Другой брат, Николай Иванович, занимал место председателя Русско-американской торговой палаты, являясь в то же время членом правления и директором

ряда крупных московских предприятий: Товарищества московского металлического завода (Гужон), Московского акционерного общества вагоностроительного завода, двух сахарных заводов, химического и других. С 1906 по 1913 год он был городским головой Москвы.

Александр Иванович получил очень хорошее образование, прекрасно говорил по-французски и имел изящные манеры, приобретенные им от матери, по происхождению француженки.

Известность он получил давно, а именно со времени англо-бурской войны. Значительная часть русского общества в то время осуждала Англию за эту войну и была на стороне буров.

Александр Иванович был свободолюбив по природе и несколько авантюристичен по характеру. Словом, он отправился добровольцем в Южную Африку, поступил там в армию буров и был тяжело ранен в ногу, оставшись хромым навек.

С тех пор у него сохранился повышенный интерес к армии, к армии вообще и к русской в особенности, хотя он совершенно не был военным и никаких чинов не имел.

В политическом смысле Гучков выдвинулся в 1905 году, когда обратился к царю с просьбой заключить мир и созвать Земский собор. Тогда он очень решительно заступился за честь нашей армии, которую многие, не разбираясь ни в чем, хулили. Александр Иванович, работавший во время русско-японской войны в Красном Кресте, говорил, что если и виновны некоторые руководители армии, то сама она ни в чем не виновата, а, наоборот, заслуживает благодарности и восхищения, ибо при страшно трудных, тяжелых условиях героически сражалась на Дальнем Востоке.

10 ноября 1905 года А.И.Гучков вместе с другими лидерами меньшинства земско-городских съездов, П.Е.Гейденом и Д.Н.Шиповым, опубликовал воззвание об организации партии октябристов — ”Союз 17 октября”. В мае 1907 года его, как представителя от торговли и промышленности, выбрали членом Государственного совета, но в октябре он отказался от этого высокого звания и был избран в третью Государственную думу.

Когда Николай Алексеевич Хомяков 6 марта 1910 года сложил с себя полномочия председателя третьей Думы, на его место 8 марта 201 голосом против 137 был избран А.И.Гучков. Свой интерес к армии он не утратил и за время своей деятельности в Думе.

15 марта 1911 года он ушел с поста председателя Думы в знак протеста против проведенного П.А.Столыпиным закона о земстве в западных губерниях, а 8 ноября 1911 года фракция октябристов избрала его своим председателем.

После военного поражения в 1915 году вся деятельность Гучкова сосредоточилась главным образом на улучшении боеспособности нашей армии. Вновь избранный членом Государственного совета, он вошел в Особое совещание по обороне, образованное 10 августа 1915 года по инициативе Государственной думы, а также военно-промышленных комитетов и пополненное представителями законодательных учреждений и общественных организаций. Кроме того, участвуя в прогрессивном блоке, Гучков одновременно председательствовал в Центральном военно-промышленном комитете, который регулировал деятельность промышленности для нужд войны.

Наконец, когда произошла Февральская революция, то по инициативе Александра Ивановича состоялась моя с ним поездка на рассвете 2 марта 1917 года во Псков за отречением императора Николая II, о чем я подробно рассказал в своей книге "Дни" и в фильме "Перед судом истории".

В первом составе Временного правительства, просуществовавшего до 2 мая 1917 года, Гучков занимал пост военного и морского министра. В 1918 году он эмигрировал в Берлин, активно выступая за границей против Советской власти, с которой примириться не мог. В эмиграции Александр Иванович и умер в 1936 году в возрасте 74 лет.

Таков был человек, который безбоязненно выступил против могущественного в то время Сухомлинова.

* * *

Когда слухи об окружении военного министра шпионами стали подтверждаться, А.И.Гучков резко и прямо заявил об этом в комиссии по государственной обороне. При этом назвал главного из этой шпионской клики — полковника Мясоедова, который, по словам Гучкова, был очень близок к военному министру, что являлось совершенно недопустимым и опасным для империи. Эта речь лидера октябристов произвела на всех огромное впечатление.

Кроме того, в "Вечернем времени" появилась статья Б.А.Суворина, указывающая, что в разведке и контрразведке неблагополучно и наши военные тайны легко просачиваются за границу. Одновременно с этим Гучков опубликовал в "Новом времени" беседу, в которой подтверждал статью Суворина и называл имена шпионов, пригретых и опекаемых военным министром.

Ни у кого не вызывало сомнений, для чего нужен был Мясоедову Сухомлинов. Но возникал вопрос: для чего военному министру нужен был человек, приносивший ему столько неприятностей и подозрений?

Дело в том, что, вступив в должность военного министра, Сухомлинов задумал создать особую организацию военного политического сыска для разбора дел о политической неблагонадежности в армии, особенно среди офицерства. Этим он хотел угодить государю, наглядно показав свою преданность престолу и ретивость в борьбе с революцией, чтобы еще более упрочить свое положение перед лицом многочисленных и могущественных врагов.

По мысли Сухомлинова, всеми делами этой охранки должен был ведать особо доверенный штаб-офицер для поручений при военном министре, а в качестве местных органов в состав штаба каждого военного округа назначались штаб-офицеры из отдельного корпуса жандармов. Этой новой военной жандармской организации было поручено участвовать и в контрразведке, то есть в борьбе с иностранным шпионажем. Расширение прав сухомлиновской системы политического сыска в армии было закреплено особым циркуляром военного министра от 24 марта 1910 года за № 982, разосланным во все штабы военных округов.

Так вот, на должность "особо доверенного штаб-офицера при военном министре", в руках которого должны были быть сосредоточены все дела нового аппарата, и был назначен Мясоедов. Вот для чего он был нужен Сухомлинову. Шпион стал во главе организации, которая должна была бороться со шпионажем!

После выступления в печати Гучков обратился к председателю комиссии по государственной обороне князю П.И.Шаховскому с предупреждением, что им будет внесен запрос в ближайшем заседании комиссии по делу военного министра. Князю Шаховскому удалось убедить Сухомлинова лично явиться в комиссию для дачи необходимых объяснений. Это произошло 19 апреля 1912 года. Гучков выступил с перечислением обвинитель-

ных пунктов, в которых он указал, в каких ненадежных руках находится дело контрразведки, насколько осведомленными в наших военных тайнах являются германский и австрийский генеральные штабы, закончив свою речь резким осуждением системы политического сыска, введенной в армии Сухомлиновым.

"Растерянности военного министра после моих слов, — рассказывает Гучков, — не было предела. Последовал какой-то жалкий лепет.

— Такого циркуляра не существует, — попробовал сперва оправдываться военный министр.

На это я протянул ему через стол экземпляр циркуляра.

— Но ведь этот циркуляр не применяется, он выдохся... — объяснил Сухомлинов.

Ему резонно заметили, что раз циркуляр не отменен, то, само собой разумеется, он применяется в тех аттестациях, в которых решается вопрос о судьбе и чести нашего офицерства. Военный министр закончил обещанием, что указанный циркуляр будет им отменен...

— В тот же день, — продолжает Гучков, — меня посетили два офицера в качестве секундантов полковника Мясоедова. Они потребовали от меня опровержения тех обвинений, которые я выставил против Мясоедова в своей беседе в "Новом времени". Когда я им отказал в этом, заявив, что я не опровергну того, что считаю правдой, они передали мне вызов на дуэль. На это я им ответил, что я мог бы отказаться от дуэли, ибо считаю Мясоедова человеком бесчестным, но что раз военный министр находит возможным сохранить на нем погоны русского полковника, я вынужден признать за ним право на удовлетворение".

Дуэль состоялась 22 апреля 1912 года. Гучков был ранен в руку. Когда же он, с рукой на перевязи, вернулся в Таврический дворец, то Государственная дума устроила ему бурную овацию, в которой принимали участие, кажется, все, и правые, и левые.

Итак, Государственная дума устраивает овацию человеку, объявившему, что полковник Мясоедов шпион и при этом находится в самых близких, дружественных отношениях с военным министром. Что же последовало дальше? Подал ли военный министр в отставку? Был ли он уволен? Было ли начато против него какое-либо дело? Нет. Военный министр остался спокойно сидеть в своем кресле, как будто бы ровно ничего не случилось.

Какова же была дальнейшая судьба полковника Мясоедова после того, как он ранил на дуэли Гучкова? В конце концов военному министру все же пришлось расстаться со своим любимцем. Министр внутренних дел А.А.Макаров прислал ему официальное письмо, уведомляющее, что, поступив к нему на службу, Мясоедов не порвал сношений с изобличенным секретным сотрудником германского генерального штаба Денцером. Но и уволив Мясоедова, Сухомлинов сохранил свое к нему благоволение, продолжая, где мог, покровительствовать ему.

Даже когда началась война, он заявил официально, что с его стороны нет никаких препятствий к допуску Мясоедова в ряды действующей армии, куда он и отбыл и где нашел свой бесславный конец. Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич приказал арестовать Мясоедова и предать суду. Военно-полевой суд при Варшавской крепости, признав его виновным в шпионаже и мародерстве во время войны, приговорил 18 марта 1915 года бывшего полковника Сергея Николаевича Мясоедова к повешению. Приговор был приведен в исполнение.

Когда же Сухомлинов узнал об аресте Мясоедова по обвинению его в шпионаже, то записал в своем дневнике:

"Бог наказал этого негодяя за шантаж и всякие гадости, которые он пытался мне устроить за то, что я его не поддержал".

Снаряды

Здесь я должен сказать несколько слов о великом князе Николае Николаевиче, внуке императора Николая I. Дружба между ним и Сухомлиновым началась давно, еще до того, как супруг Екатерины Викторовны стал министром.

В то время великий князь Николай Николаевич занимал пост председателя Совета государственной обороны. Зная неуживчивый, тяжелый характер великого князя, его вспыльчивость и грубость, Сухомлинов предвидел трудности в лавировании между ним и государем, в случае если он будет военным министром.

Кроме того, великий князь Николай Николаевич на-

ходился в личных дружественных отношениях с начальником Главного управления Генерального штаба генералом Ф.Ф.Палицыным, не подчиненным военному министру и наравне с ним имевшим право личного доклада монарху по вопросам государственной обороны.

Словом, в военном ведомстве царило то троевластие, которое в Государственной думе подвергалось такой суровой критике А.И.Гучковым, видевшим в нем главную причину дезорганизации армии. Без сомнения, он никак не мог предвидеть, что вскоре появится бравый генерал, которому и великие князья не помеха и который сумеет очень быстро вернуть военному министру единовластие, присущее его высокому сану.

И, вероятно, еще менее того мог предвидеть Гучков, что это единовластие попадет в руки человека, который совсем развалит снабжение армии. А это именно и произошло, когда началась война.

Теперь же, когда Сухомлинов стремился сесть в министерское кресло, ему очень не нравилось иметь в лице генерала Ф.Ф.Палицына, близкого к великому князю, своего соглядатая и критика. Поэтому, пользуясь благорасположением к себе государя, он приложил все усилия, чтобы уничтожить существовавшее в военном ведомстве троевластие.

Это удалось ему очень легко, так как его желание совпадало с желанием царя, недолюбливавшего великого князя Николая Николаевича. 16 июля 1908 года государь уволил его с поста председателя Совета государственной обороны. В ноябре же по распоряжению монарха был отстранен от должности и генерал Ф.Ф.Палицын, а на его место, как я уже говорил, начальником Генерального штаба государь назначил Сухомлинова. Это была последняя ступенька к министерскому креслу. Как вспоминает граф С.Ю.Витте: "Сухомлинов уничтожил комитет обороны и спихнул великого князя, так что в течение года—года полтора он совсем потерял влияние на государя..."

Понятно, какие чувства на эту акцию мог испытывать Николай Николаевич к Сухомлинову!

* * *

Наступила война. Великий князь Николай Николаевич был назначен верховным главнокомандующим армией, а Сухомлинов остался военным министром. Как

это было возможно? Как можно было на двух самых ответственных постах во время войны иметь одновременно лиц, уже давно открыто враждовавших между собой? Но так именно было.

Между тем в день начала войны, 19 июля 1914 года, военный министр записал в своем дневнике: "В Петергофе при докладе государь сказал мне, что предполагает меня назначить верховным главнокомандующим".

Французский посол Морис Палеолог пишет по этому поводу: "Сухомлинов уже давно добивался высокого поста главнокомандующего и был взбешен тем, что ему предпочли великого князя Николая Николаевича. К несчастью, это человек, который будет за себя мстить..."

Как известно, вскоре после начала военных действий в армии не хватило снарядов. Я был в это время на фронте. Отсутствие снарядов производило на меня удручающее впечатление. Наши позиции немцы крыли ураганным огнем, а мы в ответ молчали. Например, в той артиллерийской части, где я работал, было приказано тратить в день не более семи снарядов на одно полевое трехдюймовое орудие.

Это, естественно, вызывало большой гнев в рядах армии, подозрения в чем угодно. Настроение и боевой дух солдат падали. Тогда уже созрели зерна революции, разразившейся позже. Из армий и с фронтов неслись к военному министру требования: "Снарядов, снарядов, снарядов!"

Это был вопль отчаяния. Мысль о снарядах занимала всех.

Начальник снабжения армий Юго-Западного фронта телеграфировал 28 августа 1914 года в Ставку: "Бой напряженный по всему фронту. Расход патронов чрезвычайный. Положение отчаянное. Помогите!"

Наместник Кавказа граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков сообщал 25 октября 1914 года с Кавказского фронта: "Недостаток патронов поставит армию в безвыходное положение".

А главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал-адъютант Н.В.Рузский доносил 25 ноября 1914 года: "У главного начальника снабжения нет ни одного парка..."

Генерал Н.Н.Янушкевич, называвший вопрос патронов и ружей "кровавым", писал в это время Сухомлинову из Ставки верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича: "Волосы дыбом становятся

при мысли, что по недостатку патронов и винтовок придется покориться Вильгельму... На участке одного из полков немцы выпустили 3000 тяжелых снарядов... Снесли все. А у нас было выпущено едва 100... В двенадцатом корпусе седьмой дивизии в составе 12 000 штыков нет винтовок".

Кабинет военного министра засыпался подобными депешами. Как же он реагировал на них? Вот несколько отрывков из его дневника за эти тревожные дни, лихорадившие всю страну.

Когда после катастрофы у Сольдау последовало спешное отступление из Восточной Пруссии первой армии под командованием генерала П.К.Ренненкампфа, Сухомлинов записал 6 сентября 1914 года: "Интересно знать, уцелел ли значок Скобелева, который Ренненкампфу привез князь Белосельский-Белозерский".

Через неделю он пишет: "А.И.Гучков распускает слухи о недостатках снарядов в армии. Плохая услуга давать такие данные нашему противнику".

Еще через неделю, когда военный министр сопровождал царя в его поездке на фронт, он записывает в Барановичах: "Прохладный, но хороший день... Государь в отличном настроении. Отдых для меня полный. Дела мало".

Запись 6 декабря 1914 года: "Инициатива в руках противника, а у нас начинаются жалобы: пополнения приходят медленно, недостаток снарядов, сапог и так далее. Явление обычное при неудачах".

В марте следующего года Сухомлинов заносит в свой дневник несколько записей по этому вопросу: "Целый ряд негодяев, в том числе Поливанов, Гучков и К°, занимаются сплетнями и клеветой, интригами в самый разгар войны, когда нужна дружная работа русских людей... Не понимаю, что делает Ставка? Запрещено говорить о военных делах, чтобы не попадали к противнику такие сведения, которые могут быть ему полезны. И вдруг из штаба самого верховного главнокомандующего широкою волною покатился слух, что у нас нет патронов, снарядов и ружей. Все об этом кричат, и масса телеграмм получена из разных мест... Если верно, что снарядов у нас мало, то надо обороняться, а не наступать... Ставка жалуется на недостаток снарядов, а сама предпринимает наступление, да еще через горы!!"

Даже из этих нескольких отрывков нетрудно понять, почему вопль о снарядах оставался гласом вопиющего в

пустыне. Сухомлинов злорадствовал над своим врагом, попавшим в беду. Злорадствовал потому, что тот занял место, на которое он сам претендовал. Ведь с его слов, оно было обещано ему самим государем!

Когда 26 апреля 1915 года верховный главнокомандующий Николай Николаевич обратился, в который уже раз, с личной телеграммой, требуя немедленной доставки снарядов, Сухомлинов написал по этому поводу: "Над этим делом поставлен генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович с особыми полномочиями. Моим вмешательством могу только теперь испортить".

Так безответственный министр спрятался за спину двух других безответственных, причем одному из них он тонко и жестоко мстил. Недаром сказал про него Морис Палеолог, что это человек, который будет мстить за себя.

* * *

Но почему же все-таки не было снарядов? Первоначальные сведения об этом я получил от Александра Ивановича Гучкова. Как я уже говорил, еще до войны он был председателем думской комиссии по государственной обороне. Так как военные расходы всегда должны были проходить через Государственную думу как всякое ассигнование, то комиссией подробно обсуждались вопросы самые существенные и иногда секретные. Когда возник вопрос, сколько изготовлять снарядов на одно полевое орудие, военное министерство запросило пятьсот. Гучков этим крайне возмутился и сказал:

— В западных странах военные обыкновенно предъявляют чрезмерные требования в расчете на то, что парламент их обрежет. А вы? Чем объяснить такую вашу заниженную норму? Ведь вы же знаете, что мы урезывать ваши заявки не будем и дадим все, что вы потребуете от нас. Пятьсот! Ну что такое пятьсот? Ну хотя бы тысячу попросили.

Тогда они попросили тысячу, и, как говорил мне Александр Иванович, этой тысячью и объяснились наши первоначальные успехи. Но так как противник значительно превосходил нас в вооружении, то надолго, конечно, этих снарядов хватить не могло.

Более подробно о причине недостачи снарядов в начале войны я узнал от управляющего департаментом про-

мышленности министерства торговли и промышленности статского советника Владимира Петровича Литвинова-Фалинского. Великий князь Николай Николаевич питал к нему особое доверие. С осени 1915 года я работал вместе с Владимиром Петровичем в Особом совещании по обороне. Однажды после заседания он сказал мне:

— Знаете что? Я бы хотел вам кое-что рассказать, чтобы вы знали и запомнили это.

Мы прошли в какое-то кафе, сейчас не помню какое, и вот что он мне рассказал:

— В феврале 1915 года я получил от великого князя Николая Николаевича телеграмму с просьбой немедленно выехать к нему в Ставку, находившуюся тогда в Могилеве на Днепре. По прибытии я застал великого князя в смятении. Он сказал мне: "Я нахожусь в большом затруднении. Вот, посмотрите". Верховный главнокомандующий развернул передо мною огромную ведомость, занявшую весь стол, и продолжал: "Здесь показано, что в таком-то месяце я должен получать столько-то снарядов, а в таком — столько-то. Расписано на целый год. На бумаге все хорошо, а на самом деле никаких снарядов я не получаю. Скажу вам откровенно, в этих расчетах я ничего не понимаю. Приказал подать объяснительную записку. Ну, написали, но я опять ничего не понял. Понял лишь следующее: они или сами ничего не знают, или нагло врут, обманывают!

Вам я верю. Возьмите, пожалуйста, все эти материалы, ведомость с их объяснениями, и разберитесь, в чем дело".

Я исполнил приказание и просидел над этими данными целую неделю. Затем явился опять к великому князю и сказал ему: "Ваше императорское высочество, я должен огорчить вас. Эти снаряды не будут получены в срок".

Затем объяснил, в чем дело. Как только началась война, Сухомлинов заключил договоры с американскими промышленниками. В них указывалось, что американские заводы будут поставлять столько-то снарядов в такие-то месяцы, то есть именно так, как было предусмотрено по ведомости. Но это обещание они выполнить никак не могли. Почему? Потому что калибры русских и американских снарядов различные. Следовательно, для того чтобы американские заводы могли изготовить русские снаряды, на них необходимо было переделать станки. Даже при условии великой спешки это никак не могло

быть выполнено в указанные сроки. Поэтому-то снаряды не будут поступать, как расписано в ведомости, а поступят значительно позже.

Вот это рассказал мне однажды вечером в кафе Владимир Петрович. Добавлю от себя, что так оно и было. Американские снаряды начали поступать во Владивосток с огромным запозданием и в таком количестве, что запрудили поездами весь Великий сибирский путь.

Естественно, возникает вопрос: каким образом военный министр мог заключить такой явно несбыточный договор? Тяжесть этого легкомыслия, если только можно назвать это легкомыслием, усугублялась тем, что одновременно с заключением договора Сухомлинов предоставил американцам огромный аванс в золоте. Благодаря этому, если бы мы стали нажимать на американских промышленников с целью ускорения поставки снарядов, то добились бы только того, что они разорвали договор, ибо золотой аванс с лихвой покрывал все их расходы.

* * *

Когда я собрался ехать с фронта в Петроград к открытию 19 июля 1915 года четвертой сесии Государственной думы, то заехал с прощальным визитом к генералу Абраму Михайловичу Драгомирову, командующему в то время корпусом. На прощанье он сказал мне: ”Поезжайте. Проберите их там хорошенько и присылайте нам снарядов...”

То было настроение высших чинов армии. Мы, то есть члены Думы, хотели успокоить армию, что ее никто не предает и что о ней заботятся, так как на страже ее интересов стоит Государственная дума. Когда я уезжал, всеобщий голос преследовал меня: ”Поезжайте и позаботьтесь, чтобы не было мясоедовых и сухомлиновых, а были снаряды... Мы не хотим умирать с палками в руках”.

На фронте я видел все, видел неравную борьбу безоружных русских против ураганного огня немцев. Приехав в Петроград, я уже не чувствовал себя представителем одной из южных провинций. Как и многие другие, я принес с собою горечь бесконечных дорог отступления и закипающее негодование армии против тыла. Я чувствовал себя представителем армии, которая умирала так безропотно, так задаром, и в ушах у меня звучало: ”Пришлите нам снарядов!”

Рана, нанесенная Сухомлиновым империи, была смертельна.

* * *

— Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?

Так начал свою обличительную речь в римском сенате консул Марк Туллий Цицерон против Люция Сергия Катилины, организовавшего в 63 году до нашей эры заговор с целью захвата власти.

Этот вопль "доколе же?" был в душе у каждого. Всем было ясно, что дальше так продолжаться не может. Ясно всем, кроме Сухомлинова. Он не мог допустить, что та сила, на которую он опирался, сможет изменить ему. Также было ясно, какой беспощадной критике будет подвергнута деятельность военного министра на открывающейся сессии Думы и что там будет говориться.

"Что же это такое, — пишет 7 июня 1915 года Сухомлинов в своем дневнике, — предлагается мне поступать не так, как повелевает мне государь, а так, как это угодно будет Думе?.."

Монументальный Михаил Владимирович Родзянко, самой природой предназначенный для сокрушения министров, поехал к супругу Екатерины Викторовны.

— Съехавшиеся думцы, — сказал он ему, — ругают и винят вас во всем. Я еще раз советую вам подать в отставку.

"Говорят, — записывает Сухомлинов 8 июня, — Гучков орудует вовсю и программу свою ведет настойчиво и нахально. Родзянко у него играет роль тарана".

А после визита председателя Государственной думы 9 июня отмечает: "Эти народные представители, очевидно, под влиянием немецкой провокации и желают создать у нас беспорядки..."

Однако Родзянко не сложил оружия. Добившись аудиенции у государя, он обрисовал ему созданное Сухомлиновым положение столь ярко, что император тут же дал согласие на его отставку.

Во время заседания Совета министров 12 июня 1915 года прибывший из Ставки фельдъегерь вручил Сухомлинову собственноручное письмо царя следующего содержания: "Владимир Александрович! После долгого раздумывания я пришел к заключению, что интересы России и армии требуют вашего ухода в настоящую ми-

нуту. Имев сейчас разговор с великим князем Николаем Николаевичем, я окончательно убедился в этом. Пишу сам, чтобы вы от меня первого узнали.

Тяжело мне высказать это решение, когда еще вчера видел вас. Столько лет поработали мы вместе, и никогда недоразумений у нас не было. Благодарю вас сердечно за вашу работу и за те силы, которые вы положили на пользу и устройство русской армии. Беспристрастная история вынесет свой приговор, более снисходительный, нежели осуждение современников. Сдайте пока вашу должность Вернандеру. Господь с вами. Уважающий вас Николай".

"Люди осведомленные уверяют, — пишет Сухомлинов, получив царское письмо, — что в моем уходе принимал самое деятельное участие великий князь Николай Николаевич. Ему Россия много обязана: 17 октября, сдвиг влево и удаление министров в самое тяжелое время, и все неудачи 1914 и 1915 годов, что он усердно сваливает на других... В моем лице великим князем Николаем Николаевичем "козел отпущения" найден..."

* * *

Здесь ненадолго прерываю повествование о Сухомлинове. Меня могут спросить:

— Ну, хорошо. Вы рассказали, что Дума все-таки как-то реагировала на зловредную деятельность или, вернее, бездействие военного министра и в конце концов с большим запозданием, запозданием непоправимым, когда принесены были в жертву этому бездействию миллионы жизней, все-таки повалила его. Но ведь современником Сухомлинова была фигура еще более одиозная — Распутин. Неужели же в Думе никогда ничего не говорили о нем, ничего не предпринималось?

В кулуарах Думы говорилось, конечно, и, по-видимому, говорилось немало. Но говорить с кафедры было слишком опасно, ибо это могло грозить существованию самой Думы. Кроме того, для такого выступления необходим был соответствующий повод, а не просто выражение своего негодования. И вот когда однажды такой повод представился, то был выпад против Распутина и с кафедры Государственной думы.

Инициатором его был все тот же Александр Иванович Гучков, и по времени это совпадало как раз с теми атаками, которые он повел против военного министра. И

так же, как вопрос о Сухомлинове объединил все фракции Думы, так было и в отношении Распутина.

Между прочим, Морис Палеолог говорит, что Сухомлинов был с Распутиным в хороших отношениях и считался в числе "распутинцев". Иначе и быть не могло, если у него с царем "никогда не было недоразумений".

* * *

Заявление, поданное председателю Государственной думы и подписанное первым А.И.Гучковым, содержало письмо редактора и издателя "Религиозно-философской библиотеки" М.Новоселова, опубликованное в № 19 газеты "Голос Москвы" от 24 января 1912 года и перепечатанное в выдержках в тот же день в № 50 "Вечернего времени". За это оба номера газет распоряжением Главного управления по делам печати были конфискованы и редакторы их привлечены к судебной ответственности. Выяснилось, что предварительно редакторам этих газет, а равно и других газет в Петербурге и Москве были предъявлены высшей администрацией требования ничего не печатать о Григории Распутине.

Знаменательно, что письмо это было озаглавлено изречением Цицерона: "Доколе же будешь злоупотреблять нашим терпением?". "Эти негодующие слова невольно вырываются из груди, — говорилось в письме, — по адресу хитрого заговорщика против святыни, церкви и гнусного растлителя душ и телес человеческих, Григория Распутина, дерзко прикрывающегося этой самой святыней церковной".

Далее в письме выражалось крайнее возмущение бездействием и безмолвием Святейшего синода, которому хорошо известна деятельность "наглого обманщика и растлителя". Почему молчат епископы, спрашивает автор письма, когда некоторые из них откровенно называют "этого служителя лжи хлыстом, эротоманом, шарлатаном?"

"Где его "святейшество", если он, по нерадению или малодушию, попускает развратному хлысту творить дела тьмы под личиною света? Где его "правящая десница", если он и пальцем не хочет шевельнуть, чтобы извергнуть дерзкого растлителя и еретика из ограды церковной?"

Это письмо, приложенное к запросу министру внутренних дел А.А.Макарову по поводу незаконной кон-

фискации газет, его напечатавших, было прочитано во всеуслышание 25 января 1912 года товарищем секретаря Думы Михаилом Андреевичем Искрицким.

Против спешности запроса не говорил никто, а за спешность выступали двое — А.И.Гучков и председатель комиссии по вероисповедным делам Владимир Николаевич Львов-второй. Слова обоих были покрыты бурными аплодисментами всей Думы.

Как сейчас есть вопросы, объединяющие людей самых различных политических и религиозных убеждений, так и тогда были явления столь бесспорные, суждения о которых стояли выше политических разногласий.

* * *

— Тяжелые и жуткие дни переживает Россия, — сказал А.И.Гучков. — Глубоко взволнована народная совесть. Какие-то мрачные призраки средневековья встали перед нами. Неблагополучно в нашем государстве. Опасность грозит нашим народным святыням. А где же они, охранители этих святынь?.. Почему безмолвствует голос иерархов, почему бездействует государственная власть?..

Долг нашей совести возвысить свой голос, дать исход тому общественному негодованию, которое накапливается в стране... Этот долг мы совершим сегодня, внося и поддерживая этот запрос.

В.Н.Львов-второй спрашивал:

— Что это за странная личность Григорий Распутин, который изъят из-под ведения обыкновенных законов о печати и который поставлен на странный пьедестал недосягаемости и недоступности? В этом виде и предложен нами запрос, чтобы низвергнуть эту личность с ее пьедестала... Но затыкать рот печати, единственной возможности в этом темном деле раскрыть правду, это, по-моему, недостойно великой страны, и поэтому я надеюсь, что вы примете и спешность и самый запрос.

И то и другое было принято единогласно.

* * *

Возвращаюсь к Сухомлинову. За полгода до своего ухода, в январе 1915 года, военный министр и его помощник А.П.Вернандер в частном собрании Государственной думы дали противоречившие истине успокоительные заверения о боевом снабжении армии. Это об-

стоятельство особенно возмущало и раздражало депутатов, многие из которых, работавшие на театре военных действий, как и я, видели эту "истину".

Из писем солдат, рассказов раненых весь народ узнал страшную правду о недостатке снарядов, патронов, ружей. Теперь уже вся Россия знала, что главная причина наших неудач на фронте заключалась в недостатке вооружения, знала о преступном отношении военного ведомства к делу государственной обороны.

Политическое настроение масс было тревожно. В верхах и низах распространялись ядовитые семена подозрений, расползались темные слухи о предательстве, об измене, о возможности назначения смещенного военного министра на более высокую должность.

Выступления съехавшихся с фронтов в Таврический дворец депутатов, в первый же день открытия четвертой сессии Думы, были полны негодования против бездействия власти и военного министра, которое рассматривалось в условиях войны как тяжкое государственное преступление. Речи ораторов прерывались криками: "Под суд! Обманул всех нас!"

Простой уход военного министра не мог уже удовлетворить ни армию, ни страну. Только судебное следствие могло положить конец упорным толкам, отделив виноватых от невиновных. Судьба Сухомлинова была решена.

Между вторым и третьим заседаниями 23 июля 1915 года состоялось внеочередное закрытое собрание Государственной думы, на котором из числа 375 голосовавших 345 высказались за предложение правительству предать Сухомлинова и всех должностных лиц, виновных в нерадении или измене, суду.

Уже через день, 25 июля, последовало высочайшее повеление об образовании верховной комиссии под председательством члена Государственного совета инженер-генерала Николая Павловича Петрова "для всестороннего расследования обстоятельств, послуживших причиною несвоевременного и недостаточного пополнения запасов военного снаряжения".

Добытые комиссией данные были представлены 1 марта 1916 года на рассмотрение первого департамента Государственного совета, который 10 марта постановил назначить предварительное следствие по обвинению бывшего военного министра Сухомлинова в противозаконном бездействии и превышении власти, подлогах по

службе, лихоимстве и государственной измене. По приказу производившего следствие сенатора гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената тайного советника Ивана Аполлоновича Кузьмина 20 апреля 1916 года Сухомлинов был арестован и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Однако ретивому сенатору дали понять, что он зашел слишком далеко. Морис Палеолог отмечал в своем дневнике, что, "несмотря на свои скандальные злоключения, Сухомлинов тайным образом сохранил доверие высочайших особ".

* * *

Один из бывших друзей военного министра аферист князь М.М.Андроников на допросе 8 апреля 1917 года в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства рассказал, что весною 1916 года Екатерина Викторовна Сухомлинова вошла с Распутиным "в известные отношения", чтобы пройти к Вырубовой. Последняя устроила ей свидание с императрицей, которой она передала записку под заглавием: "Черные и желтые". В ней она ругала почти все правительство и Государственную думу.

По словам Андроникова, Екатерина Викторовна сделала Распутину крупное денежное подношение, а также дала много денег Вырубовой на лазареты. Это укрепило ее положение в Царском Селе, и к 5 октября 1916 года при министре юстиции А.А.Макарове Сухомлинов был выпущен из тюрьмы на свободу.

На вопрос председателя, каким образом сумела Сухомлинова так быстро реабилитировать себя и своего мужа, князь ответил: "Она всем доказывала, что они честнейшие и порядочнейшие люди, а все остальные — никуда не годятся... Об этом же было написано в ее записке "Черные и желтые".

Главное же заключалось в том, что в Распутине, еще год назад ругавшем Сухомлинову, совершилась какая-то удивительная метаморфоза. Сразу он превратился из противника в защитника Сухомлиновых до того, что генерала выпустили из крепости и чуть ли не захотели аннулировать его дело.

Эти показания М.М.Андроникова подтверждает секретарь председателя Совета министров Б.В.Штюрмера Иван Федорович Манасевич-Мануйлов. Он рассказал о

ссоре Андроникова с Сухомлиновой. По его словам, дело было в том, что князь стал разыгрывать роль "домашнего друга" военного министра и сообщил ему истинную подкладку отношений известного богача Манташева к Екатерине Викторовне. На этой почве вышла ссора, Андроников в отместку расположил против Сухомлиновых Распутина, способствовавшего удалению генерала с поста военного министра.

Когда же Сухомлинова заключили в крепость, то Екатерина Викторовна стала посещать Распутина, который в нее влюбился.

— Только две женщины в мире украли мое сердце — это Вырубова и Сухомлинова, — говорил Григорий Ефимович Манасевичу-Мануйлову.

— Вот после того как установились отношения Сухомлиновой с Распутиным, — говорил секретарь Штюрмера, — и произошло освобождение бывшего военного министра.

* * *

Но все-таки каким же образом это произошло? Ведь это не шутки — выпустить из тюрьмы во время войны главного военного преступника, обвинявшегося в измене, имя которого стало притчей во языцех. Дума по поводу этого бушевала. И можно себе представить, как реагировала на это армия, пережившая все ужасы позорного отступления по вине преступного министра.

Как это произошло, об этом рассказал министр внутренних дел А.Д.Протопопов на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. Когда в Царском Селе было решено выпустить Сухомлинова из крепости, государь вызвал его к себе.

— Когда? — спросил Протопопова председатель комиссии Николай Константинович Муравьев. — Вы не припомните, приблизительно, в каком месяце?

— Когда здесь был комендант Петропавловской крепости Никитин, — отвечал бывший министр.

— Вы приезжали для свидания с Сухомлиновым?

— Это было по приказанию царя. Государь сказал мне, что вот долго так идет дело Сухомлинова. Неужели я поверю, что он изменник? Просто легкомысленный человек.

— Да, государь, может быть, и правда. Чужая ду-

ша — потемки, а только есть нехорошие стороны — денежная сторона...

— Да, — говорит, — это есть. Мне его жаль, старика. Что вы думаете, если ему переменить меру пресечения?.. Домашний арест?

Я говорю:

— Знаете, ваше величество, я думаю, что это дело неподходящее. Ускорить следствие — это следует, а затем, я говорю, что, может быть, дать ему помещение получше, а затем дать ему право ходить гулять в крепости, но не выходить из нее.

Тогда государь говорит:

— Вы думаете, это возможно?

Я говорю:

— По крайней мере, государь, это будет тихо, без всяких скандалов. Вы сделаете облегчение, а между тем скандал не поднимут.

— Ну, — говорит, — съездите к Никитину.

Вот почему я был у генерала Владимира Николаевича Никитина, но из этого ничего не вышло. Была принята другая мера, помимо меня.

11 ноября 1916 года министр юстиции А.А.Макаров получил от только что назначенного председателя Совета министров А.Ф.Трепова высочайшую телеграмму о прекращении дела Сухомлинова.

— Александр Федорович просил меня к нему заехать, — рассказывает в своих показаниях Макаров. — Я поднес ему телеграмму и говорю: "Вот для вашего первого дебюта какого рода высочайшее повеление я получил".

Мы по этому поводу беседовали, и решено было, что этого исполнить нельзя и что нужно принять все меры к тому, чтобы дело Сухомлинова не было прекращено. Мы согласились на том, что приедем в Ставку со всеподданнейшим докладом, а до этого отправили государю телеграмму с просьбой не исполнять высочайшего повеления впредь до нашего совместного ему доклада.

14 ноября 1916 года Трепов и я докладывали в Ставке государю... Ответа я не получил, а по приезде царя сюда я был уволен, так и не получив ответа, — закончил свои показания Макаров.

А Сухомлинов давно уже гулял по улицам столицы, вызывая этим в Думе многочисленные проявления негодования против правительства. После освобождения с него взяли лишь подписку о невыезде из Петрограда.

* * *

Когда разразилась Февральская революция, то 28 февраля 1917 года я был свидетелем того, как Сухомлинова привели в Таврический дворец. Его привели прямо в переполненный Екатерининский зал. Расправа уже началась. Солдаты набросились на него и стали срывать погоны. В эту минуту подоспел Керенский. Он вырвал старика из рук солдат и, закрывая собою, провел его в спасительный Павильон министров. Но в ту же минуту, когда он его запихивал за дверь, наиболее буйные солдаты бросились со штыками... Тогда Керенский со всем актерством, на какое он был способен, вырос перед ними: ''Вы переступите через мой труп!''

И они отступили, а бывшего военного министра препроводили снова в Трубецкой бастион, в ту же камеру № 55, в которой он сидел до революции. В этот же бастион была помещена и Екатерина Викторовна вместе с Анной Александровной Вырубовой. Для них из женской тюрьмы были командированы две надзирательницы.

По окончании следствия, в июне, был составлен обвинительный акт, и 10 августа Сухомлинов вместе с Екатериной Викторовной предстал перед судом особого присутствия Сената с участием присяжных заседателей. Судебный процесс проходил в концертном зале офицерского собрания армии и флота.

Бывший военный министр обвинялся в том, что не принял необходимых мер для увеличения крайне низкой производительности казенных заводов, изготовлявших снаряды, порох и взрывчатые вещества, сознательно допуская, что таковым бездействием способствует неприятелю в его враждебных против России действиях;

в том, что оставил без личного своего руководства деятельность Главного артиллерийского управления по принятию последним мер к снабжению войск и крепостей оружием, артиллерией, огнестрельными припасами и другим вооружением, что повлекло понижение боевой мощи нашей армии;

в том, что по соглашению с другими лицами сообщал Мясоедову, заведомо для него, Сухомлинова, состоявшему агентом Германии, сведения, долженствовавшие для безопасности России сохраняться в тайне;

в том, что такого же рода сведения, опять-таки по со-

глашению с другими лицами, сообщал Альтшиллеру, заведомо для него состоявшему агентом Австрии;

в том, что после объявления Германией войны России оказал содействие к вступлению Мясоедова в действующую армию и продолжению его изменнической деятельности — и тем заведомо благоприятствовал Германии в ее военных действиях против России;

в том, что в интересах находившихся в войне с Россией держав передал Гошкевичу и Думбадзе перечень важнейших мероприятий военного ведомства с 1909 по 1914 год, в котором содержались заведомо для него секретные сведения по государственной обороне России;

в том, что из личных целей заведомо ложно официально удостоверил в печати от имени военного министерства, что Мясоедов не имел доступа к секретным документам и никаких поручений по военной контрразведке не получал, и о том же заведомо ложно сообщил в докладе бывшему императору.

Таковы основные пункты обвинительного акта.

Екатерине Викторовне предъявили обвинения в том, что по соглашению с другими лицами она оказывала мужу помощь, содействуя его сближению с Альтшиллером и Мясоедовым.

Сухомлинов вызывал к себе такую ненависть солдат, что на него они напали не только в Таврическом дворце. Однажды к зданию, где происходил судебный процесс, подошла толпа солдат, потребовавшая от коменданта его выдачи.

— У нас в полку, — кричали они, — суд сумеет быстро разобраться в этом деле!

С трудом коменданту удалось уговорить их не нарушать законности.

* * *

14 сентября 1917 года судебный процесс закончился. Присяжные заседатели признали доказанными все предъявленные Сухомлинову обвинения. Суд приговорил его к высшей мере наказания, то есть, за отменою смертной казни, к пожизненным каторжным работам, лишению всех прав состояния, чинов и орденов.

Что касается Екатерины Викторовны, то присяжные заседатели вынесли ей оправдательный вердикт, после чего ее сейчас же из тюрьмы выпустили, а Сухомлинова снова отвезли в Трубецкой бастион.

Член Государственной думы, академик и профессор Г.Е.Рейн, как и многие другие видные лица, также сидел некоторое время в Петропавловской крепости, когда там находился Сухомлинов. Потом он рассказывал мне, что всех их кормил "ангел" из большой корзины. Я спросил Георгия Ермолаевича:

— Кто же был этот ангел?

— Да Екатерина Викторовна.

— Сухомлинова?

— Да. Прежде всего она, конечно, кормила своего мужа, а потом всех нас. Так как некоторое время она сама находилась в этой тюрьме, то знала там все ходы и выходы, пробираясь к нам через множество замков и препон. Замечательная женщина! Я вам говорю — ангел!

Этот "ангел" не только кормила мужа, но, проявив удивительную энергию, выхлопотала перевод его на Выборгскую сторону в тюрьму "Кресты".

"Из мрачного, сырого, разрушающегося бастиона, — вспоминает Сухомлинов, — я попал в светлое, сухое, теплое, недавно выстроенное здание, с центральным отоплением, ванной комнатой с двумя прекрасными ваннами, постоянно горячей водой и кухней в распоряжении заключенных".

Здесь он встретился со многими царскими министрами и сановниками, между прочим, с Пуришкевичем и членами Временного правительства. Отсюда 1 мая 1918 года он был выпущен на свободу на основании декрета Петроградского Совета об амнистии арестованных и осужденных за политические дела. Но до него дошли слухи, что многих царских министров из "Крестов" направили в Москву и там расстреляли.

Поэтому, не доверяя Советской власти, он некоторое время скрывался в Петрограде, боясь показаться на квартире своей жены. Наконец 5 октября 1918 года ему удалось перебраться через границу в Финляндию, а затем эмигрировать в Германию. За границей Сухомлинов написал мемуары, заканчивающиеся следующими словами:

"Залог для будущей России я вижу в том, что в ней у власти стоит самонадеянное, твердое и руководимое великим политическим идеалом правительство... Что мои надежды являются не совсем утопией, доказывает, что такие мои достойные бывшие сотрудники и сослуживцы, как генералы Брусилов, Балтийский и Добровольский, свои силы отдали новому правительству в Москве. Нет никакого сомнения, что они это сделали, конечно, убе-

дившись в том, что Россия и при новом режиме находится на правильном пути к полному возрождению".

* * *

А что же случилось с "ангелом" Петропавловской крепости, с Екатериной Викторовной? Умерла она совсем еще молодая в Биаррице, где произошла ее первая встреча с судьбой своей — генералом Владимиром Александровичем Сухомлиновым. Судьба избавила "Васнецовское дитя" от долгих лет мытарств в эмиграции.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

КАНУН КРУШЕНИЯ

Прогрессивный блок

Едва вернувшись с фронта в Петроград летом 1915 года, я пришел к Милюкову. Он меня сразу не узнал — я был в военной форме. Впрочем, и вправду, я стал каким-то другим. Война ведь все переворачивает.

Из разговора выяснилось, что кадеты не собираются менять курса, что они по-прежнему будут стоять за войну "до победного конца", но...

— Но подъем прошел... Неудачи сделали свое дело... В особенности повлияла причина отступления... И против власти неумелой, не поднявшейся на высоту задачи... сильнейшее раздражение.

— Вы считаете дело серьезным?

— Считаю положение серьезным... и прежде всего надо дать выход этому раздражению. От Думы ждут, что она заклеймит виновников национальной катастрофы. И если не открыть этого клапана в Государственной думе, раздражение вырвется другими путями. <...>

* * *

Этот разговор послужил прологом к тому, что впоследствии получило название Прогрессивный блок. Он формировался на заседаниях у М.В.Родзянко, где в горячих и серьезных спорах вырабатывалось новое соглашение. В конце концов часть членов Государственной думы "единогласно постановила выйти из состава русской национальной фракции и образовать группу на основах чистой программы национального союза, предлагая стать во главе таковой графу Владимиру Алексеевичу Бобринскому".

Это заявление подписали: журналист А.И.Савенко, камер-юнкер Двора его величества Д.Н.Чихачев, инженер В.Я.Демченко, землевладельцы А.А.Ких, К.Е.Сувчинский, я и некоторые другие.

14 и 15 августа 1915 года на квартире у члена Государственного совета барона В.В.Меллер-Закомельского состоялись два совещания представителей думских фракций, вошедших в блок совместно с представителями трех фракций Государственного совета для составления программы.

Крылья были уступчивы, почему и явилась возможность ее выработки.

Например, Милюков, целиком стоявший за еврейское равноправие, смягчил свои требования в довольно скромной редакции: "Вступление на путь отмены ограничений в правах евреев", которую мы, то есть правое крыло, приняли.

Аграрного вопроса Милюков не захотел совсем касаться. Он утверждал, что если начать разговоры о земле, то мужики побегут с фронта делить ее. В этом вопросе я был левее его. Я считал возможным теперь же объявить о наделении землей героев войны и семей убитых.

Словом, весьма скромные "реформы" свелись к волостному земству, поселковому управлению, уравнению крестьян в правах, пересмотру земского положения, некоторым гражданским законам и т.д.

Но во всей программе блока, приемлемой и для правительства, и для царя, один пункт был неприемлем, он звучал примерно так: назначение правительства с согласия Государственной думы. Это был парламентаризм, для короны неприемлемый.

То явление, которое было в западных парламентах в первую мировую войну, то есть объединение враждовавших в мирное время партий, случилось и у нас. Под названием Прогрессивный блок 22 августа 1915 года объединилось шесть фракций Государственной думы (прогрессисты, националисты-прогрессисты, группа "Союз 17 октября", земцы-октябристы, кадеты и партия центра) с тремя фракциями Государственного совета (центр, академическая группа и внепартийные). Все вместе они избрали бюро в составе 25 человек под председательством барона В.В.Меллер-Закомельского. Бюро, имея за собою большинство в 235 депутатов против 187, стало распоряжаться Государственной думой. Всего же в блок вместе с членами Государственного совета вошло более трехсот человек.

Исходя из предположения, что правительство никуда не годится, мы должны были давить на него блоком в триста человек.

Ранее, 10 июля 1915 года, был создан Главный по снабжению армии комитет Всероссийских Земского и Городского союзов, так называемый Земгор. Оба союза являлись одной из опор Прогрессивного блока. Их представители входили в состав Особых совещаний. Во главе Земского союза стоял князь Г.Е.Львов, а Городского — кадет М.В.Челноков. 7 сентября 1915 года в Москве открылись съезды этих союзов.

В книге М.К.Лемке "250 дней в царской Ставке" приведен следующий разговор императора с начальником штаба верховного главнокомандующего М.В.Алексеевым по поводу этих съездов.

"Ваше величество, не прикажете ли своевременно приветствовать оба съезда — общеземский и союза городов?

— Стоит ли? — ответил царь. — Вся эта работа — систематический подкоп под меня и под мое управление. Я очень хорошо понимаю их штуки... Арестовать бы их всех вместо благодарности.

— Но, ваше величество...

— Ну хорошо, хорошо, пошлите им. Придет время, тогда с ними сочтемся..."

Съезды направили к государю делегацию, которая должна была заявить о необходимости "обновления" состава правительства "лицами, облеченными доверием страны". Но царь не принял ее. Недовольное вмешательством Земгора в политику, подозревая их членов в стремлении к захвату власти, правительство в декабре 1915 года запретило совместный съезд Земского и Городского союзов с военно-промышленными комитетами. А через год, в декабре 1916 года, съезды Земгора в Москве были разогнаны полицией. Царь желал сохранить за собой право назначать министров по своему усмотрению.

* * *

26 августа 1915 года программа блока была опубликована в петроградских газетах. Вечером того же дня мы, блокисты, — Д.Д.Гримм, И.И.Дмитрюков, И.Н.Ефремов, П.Н.Крупенский, В.Н.Львов, барон В.В.Меллер-Закомельский, П.Н.Милюков, С.И.Шидловский и я — сидели у государственного контролера П.А.Харитонова за одним столом с представителями правительства: управляющим министерством внутренних дел и главноначальствующим отделения корпуса жандармов князем

Н.Б.Щербатовским и министром юстиции А.А.Хвостовым... Тем не менее из переговоров в этот неудачный вечер ничего не вышло. Правда, несколько министров явственно были с нами — они склонны были уступить.‹...›

Сего не поняли... На этом пункте две стороны — верховная власть и народное представительство разошлись и из-за этого конфликта погибли. Погибла и династия, погиб и российский парламент.

Однако перед лицом грозного отступления верховная власть пожелала опереться на представителей народа и в их патриотизме почерпнуть силы для продолжения войны "до победного конца". В этом решении огромную роль сыграло то, что военное министерство обанкротилось и мы были безоружны перед лицом прекрасно вооруженного противника. На решение созвать четвертую сессию Государственной думы повлияло также путешествие по всему фронту ее председателя М.В.Родзянко. Царившие там настроения убедили его, что армия правительством недовольна и верит, что вмешательство Государственной думы может помочь делу. В известном смысле эти фронтовые политики были правы.

Следствием поездки Родзянко было опубликование 17 августа 1915 года закона о создании четырех Особых совещаний, а именно:

по обороне государства под председательством управляющего военным министерством генерала от инфантерии Алексея Андреевича Поливанова;

по транспорту под председательством министра путей сообщения действительного тайного советника Сергея Васильевича Рухлова;

по топливу под председательством министра торговли и промышленности действительного статского советника князя Всеволода Николаевича Шаховского;

по продовольствию под председательством главноуправляющего землеустройством и земледелием статс-секретаря гофмейстера Александра Васильевича Кривошеина.

Эти Особые совещания, пополненные представителями законодательных учреждений и общественных организаций, были созданы в торжественной обстановке. Первое объединенное заседание членов всех четырех совещаний состоялось 22 августа 1915 года в Зимнем дворце под председательством государя императора. Происшествие весьма знаменательное. Царь, таким образом, привлекал членов Государственной думы не только к за-

конодательной работе, но отдавал в их руки и часть исполнительной власти.

Хотя Особые совещания были скопированы с некоторых западных парламентов, где они называются парламентскими комиссиями, сделаны они были, если можно так выразиться, вроде кузни. Кузнец — министр всего министерства. А роль тех, кто работает мехом, то есть роль "раздувальщиков", исполняли мы, члены законодательных палат.

Оценивая деятельность Особых совещаний, надо сказать, что она была в общем положительной. 19 августа 1915 года я был избран в Особое совещание по обороне, официально называвшееся "Особым совещанием для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства". Создано оно было 10 августа 1915 года и, как я уже говорил, успешно разрешило труднейший вопрос о снарядах. Остальные совещания также справились с поставленными задачами. С этой стороны наша совесть была чиста. Мы сделали все, что возможно. Свою обязанность "раздувальщиков священного огня" военного творчества исполняли не за страх, а за совесть.

Но вот другая сторона... Бывали минуты, когда я начинал сомневаться. В другом отношении, где мы условились быть не "раздувальщиками огня", а как раз наоборот — "гасителями пожара", исполняли ли мы свое намерение? Тушили ли мы революцию?

С основной политической проблемой Государственная дума, взятая в целом, не справилась.

* * *

Раздражение России, вызванное страшным отступлением 1915 года, действительно удалось направить в отдушину, именуемую Государственной думой. Удалось перевести накипевшую революционную энергию в слова, в пламенные речи и в искусные, звонко звенящие "переходы к очередным делам". Удалось подменить "революцию" "резолюцией", то есть кровь и разрушение словесным выговором правительству.

Удавалось и другое — на базе этих публичных "строгих выговоров" сохранять единство с правительством в самом важном — в отношении войны. Удавалось все время твердо держать под куполом Таврического дворца яркий плакат "Все для войны!"... Сколько бы Марков-второй ни называл Прогрессивный блок "желтым бло-

ком", — это неправда, потому что блок был трехцветный: он был бело-сине-красный, он был национальный, он был русский!

Но не начала ли красная полоса этой трехцветной эмблемы расширяться и заливать остальные цвета?

В минуту сомнений мне иногда начинало казаться, что из пожарных, задавшихся целью тушить революцию, мы невольно становились ее поджигателями. Мы были слишком красноречивы, слишком талантливы в наших словесных упражнениях. Нам слишком верили, что правительство никуда не годно...

Ах, боже мой... Да весь ужас и состоял в том, что это действительно было так, — оно действительно было никуда не годно.

Большевики в Думе

Как это ни странно, но моя первая речь, произнесенная со столь знакомой уже мне кафедры, была сказана в защиту пяти депутатов, составлявших большевистскую фракцию Государственной думы четвертого созыва.

А дело было, собственно, вот в чем. Пять большевиков: А.Е.Бадаев, М.К.Муранов, Г.И.Петровский, Ф.Н.Самойлов и Н.Р.Шагов были избраны в октябре 1912 года по рабочей курии в четвертую Государственную думу. Что это были за люди?

Алексей Егорович Бадаев родился 4 февраля 1883 года в крестьянской семье в деревне Юрьеве Карачевского уезда Орловской губернии. Окончив вечерние технические классы, он работал слесарем на Александровском заводе в Петербурге и в Главных вагонных мастерских Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги. В 1904 году вступил в Коммунистическую партию и вел агитацию в союзе металлистов. Когда его выбрали депутатом в Государственную думу, он сотрудничал в большевистской газете "Правда". В начале первой мировой войны провел в разных городах несколько антивоенных собраний.

Матвей Константинович Муранов родился 29 ноября 1873 года, член партии тоже с 1904 года. При избрании его в 1912 году от Харьковской рабочей курии в Государственную думу дал о себе сведения, что он мещанин села Основа Харьковского уезда. Однако по позднейшим

справочным сведениям он родился в селе Рыбцы Полтавской губернии. Работал слесарем на паровозостроительном заводе Северо-Донецкой (ныне Южной) дороги.

Свою думскую деятельность Муранов сочетал с нелегальной революционной работой в Петербурге, Харькове и других городах, сотрудничал, как и Бадаев, в "Правде".

Следующий из этой плеяды думских старых большевиков, Григорий Иванович Петровский, наиболее известен, так как в его честь в 1926 году был переименован город Екатеринослав в Днепропетровск. Занимая с апреля 1919 года пост председателя Всеукраинского ЦИК, вряд ли он мог предположить, что в Киеве появился его политический противник по Государственной думе, обросший бородой Шульгин, нелегально перешедший в конце декабря 1925 года, с фальшивым паспортом в кармане, Государственную границу СССР. Но об этом достаточно уже рассказал Лев Никулин в "Мертвой зыби".

Родился Г.И.Петровский 4 февраля 1878 года в Харькове в семье мелкого ремесленника. Учился в образцовой школе при Харьковской духовной семинарии. С юных лет работал на заводах Екатеринослава, Харькова, Николаева, на рудниках Донбасса, а затем токарем на мариупольском заводе "Провиданс".

Примкнув к революционному движению, в 1897 году занимался в социал-демократическом кружке, руководимом И.В.Бабушкиным. С 1899 года перешел на активную нелегальную партийную работу, неоднократно подвергаясь арестам и ссылкам. И после избрания его в члены Государственной думы Петровский не оставлял подпольной партийной работы, выполняя указания В.И.Ленина.

Федор Никитич Самойлов родился 12 апреля 1882 года в деревне Гомыленки Покровского уезда Владимирской губернии в семье ткача. Член Коммунистической партии с 1903 года. Рабочий фабрики Покровской мануфактуры в Иваново-Вознесенске, где вел революционную агитацию. Как он о себе показал, служил, главным образом, в административных должностях: браковщика, счетчика и старшего рабочего.

О последнем участнике этой пятерки Николае Романовиче Шагове сведения очень скудны. Известно только, что он ткач, рабочий фабрики Красильщиковой в селе Рудники Юрьевского уезда Костромской губернии, ро-

дился в 1882 году, большевик с 1905 года. Был председателем Родниковского общества потребителей.

Здоровье его было подорвано тюремным заключением и тяжелыми условиями туруханской ссылки. После Февральской революции он вернулся в Петроград тяжелобольным и умер в 1918 году.

Все приведенные дореволюционные сведения о пяти большевиках они дали о себе сами, после того как были избраны рабочими в члены Государственной думы, но я узнал об этом гораздо позже. Точнее сказать, совсем недавно. Тогда же, когда я выступал в Думе, я о них почти ничего не знал. Знал только, что они входили в единую социал-демократическую фракцию Думы вместе с семью меньшевиками: А.Ф.Бурьяновым, И.Н.Маньковым, Н.С.Чхеидзе, М.И.Скобелевым, И.Н.Туляковым, В.И.Хаустовым, А.И.Чхенкели и в дальнейшем с присоединившимся к ним поляком Евгением Иосифовичем Ягелло, работавшим токарным мастером на фабрике Борман и Шведе в Варшаве.

Кроме означенных пяти депутатов большевиков вначале к ним примкнул избранный московскими рабочими слесарь на фабрике А.Фермста в Московской губернии поляк Роман Вацлавович Малиновский, секретарь союза рабочих по металлу. Однако в 1914 году он был изобличен как провокатор и выбыл из Государственной думы.

С первого же дня открытия четвертой Думы 15 ноября 1912 года внутри социал-демократической фракции Думы началась жестокая борьба между большевиками и меньшевиками, отражавшая принципиальные расхождения в понимании задач революции в России. Разномыслие это привело к тому, что, опираясь на решение ЦК, большевистские депутаты откололись от социал-демократов меньшевиков, образовав 27 октября 1913 года самостоятельную группу: Российскую социал-демократическую рабочую фракцию.

Между прочим, название это, как я после узнал, предложил В.И.Ленин, имевший с депутатами большевиками тесную связь, так что даже писал конспекты для их выступлений с кафедры Думы.

* * *

Когда началась война, то в Озерках под Петроградом 3 ноября 1914 года открылась конференция большевиков,

на которую приехали и большевистские депутаты думцы. 4 ноября все участники конференции были арестованы, в том числе и члены Государственной думы, составлявшие особую Российскую социал-демократическую рабочую фракцию.

Суд над ними состоялся 10—13 февраля 1915 года в Особом присутствии Петроградской судебной палаты. Все пять большевиков депутатов были признаны виновными в том, что принадлежали к организации, ставящей задачей свержение существующего государственного строя, и приговорены к пожизненной ссылке в Туруханский край.

Но это было неправильно, так как оставшиеся в Думе члены социал-демократической фракции также принадлежали к организации, стремящейся ниспровергнуть монархию, и только на время войны стали поддерживать правительство. Большевики же и во время войны выступали против нее, призывая солдат бросать винтовки и расходиться по домам. Так что суд должен был бы осудить их именно за это, за деморализацию армии в военное время, но он этого не сделал.

Из меньшевиков же за антиправительственную деятельность были репрессированы только двое, а именно: бухгалтер кредитного товарищества Иван Николаевич Маньков и токарь Азовочерноморского завода в Бердянске Андрей Фадеевич Бурьянов, просидевший два года в крепости по приговору Киевской судебной палаты за принадлежность к социал-демократам и за участие в Южно-русской конференции партии еще до избрания его в Думу.

Таким образом, на второй год войны социал-демократическая фракция Государственной думы состояла всего из шести меньшевиков: М.И.Скобелева, И.Н.Тулякова, В.И.Хаустова, Н.С.Чхеидзе, А.И.Чхенкели и Е.И.Ягелло.

На другой день после открытия четвертой сессии Думы 20 июля 1915 года секретарь Иван Иванович Дмитрюков сказал: ”От министра юстиции А.А.Хвостова поступило сообщение с копией приговора Петроградской судебной палаты от 13 февраля 1915 года по делу о членах Государственной думы: Бадаеве, Муранове, Петровском, Самойлове и Шагове, осужденных по статье 102 части первой Уголовного уложения, что означенный приговор вступил в законную силу и приведен в исполнение”.

Председатель М.В.Родзянко разъяснил, что на основании статьи 19 Учреждения Государственной думы депутаты, подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собою лишение или ограничение прав состояния, выбывают из ее состава. Согласно же статье 21 того же Учреждения, члены Государственной думы признаются выбывшими из ее состава по постановлению Думы. Поэтому для согласования этого разноречия, на основании статьи 115 Наказа, сообщение министра юстиции должно быть передано в комиссию личного состава.

14 августа 1915 года в Думу поступило заявление от имени социал-демократической фракции, подписанное 32 депутатами, с предложением комиссии личного состава представить к следующему заседанию свое заключение по этому делу.

Первый подписавший это заявление меньшевик Акакий Иванович Чхенкели протестовал против того, что Дума не реагировала до сих пор на насилие, произведенное правительством над ее членами, чем были самым бесцеремонным образом попраны ее права.

— Прежде чем спасать отечество, — заявил он, обращаясь к членам Думы, — вы должны спасти честь и достоинство того учреждения, где вы сами сидите.

Комиссия личного состава должна была решить весьма трудную задачу — найти выход из противоречивых, взаимно себя уничтожающих статей: исключать ли из членов Государственной думы арестованных и осужденных пятерых большевиков или же оставить их в составе законодательной палаты, то есть в таком случае не признать и осудить решение Петроградской судебной палаты.

Н.Е.Марков-второй от лица фракции правых, состоящей в то время из 52 человек, призывал членов Думы не допускать "законно осужденных судом и сосланных в Сибирь людей сидеть на этих скамьях... Я считаю, — продолжал он, — что нет никаких в поведении социал-демократов данных, которые оправдывали бы призыв от имени Государственной думы к милосердию... никакого милосердия эти люди не заслуживают".

Председатель комиссии личного состава кадет В.А.Маклаков сказал, что поступившее дело о пяти социал-демократах не рассмотрено потому, что трудно в военное время собрать комиссию, но, конечно, если бы Дума пожелала, для срочного представления доклада по этому вопросу препятствий не встретится.

Однако Маклаков был против предложения, внесенного социал-демократической фракцией, и именно потому, что он стоял на той же точке зрения, которой придерживались и авторы запроса. Как и они, он считал, что возбуждение дела против пяти большевиков было крупной государственной бестактностью, что "осуждение их по 102 статье, осуждение в том преступлении, в котором виновны все здесь сидящие их товарищи, и не только они, такое осуждение есть грех нашей юстиции".

Считая, что несправедливость должна быть исправлена, Маклаков не хотел давать повода Думе признать осужденных депутатов выбывшими.

После выступления В.А.Маклакова Николай Семенович Чхеидзе объявил, что еще к началу открытия этой сессии Государственной думы получена из Туруханска от пяти томящихся там в ссылке товарищей телеграмма следующего содержания:

"Считаем долгом перед страной и перед избирателями заявить, что лишение нас, членов Думы, будет лишением сотен тысяч рабочих избирателей права подать свой голос в решительный момент истории народов России.

Как до суда, так и после него мы остаемся избранниками рабочего класса, действовавшими всегда, во всех случаях, в полном единении с мыслью и чувствами своих избирателей, и заявляем, что только те, кто вручил нам мандат, могли бы выражением своего недоверия нашей деятельности лишить нас прав и обязанностей продолжать защищать интересы рабочего класса.

Отказ Государственной думы последовать за создателями процесса — единственный и достойный ответ со стороны действительных народных представителей на попытки лишить рабочий класс его представителей в Думе".

* * *

Зычный бас Родзянко: "По мотивам голосования член Государственной думы Шульгин — пять минут", пробудил меня от тяжелых мыслей обо всем этом деле. Конечно, я не был согласен с призывами Маркова-второго. Впервые мне нужно было выступать с кафедры против мнения правой фракции.

— Мы будем голосовать, — начал я, — за то же предложение, которое здесь сделал Василий Алексеевич

Маклаков. Я взял слово для того, чтобы не было никаких сомнений в этом вопросе. Мы считаем все то, что произошло по отношению к членам Государственной думы социал-демократам, крупной государственной ошибкой (голоса слева: "Правильно!"), ошибкой потому, что государственная власть должна прежде всего идти последовательно, ибо последовательный путь есть путь прямой, и никакими соображениями нельзя оправдать привлечение и осуждение людей только за принадлежность к той фракции, которая невозбранно занимает здесь место. Если идти этим путем, нужно идти дальше, нужно призвать к ответу и тех людей, которых здесь достаточно... (Голоса слева: "Правильно!") Я хотел бы еще подчеркнуть с особой энергией, чтобы правительство обратило внимание на это, есть ошибка, и следует принять все меры, чтобы эту ошибку исправить.

Господа, я подтверждаю, что в одной из комиссий депутат, который сейчас говорил перед вами, заявил, что настроение рабочих масс не расходится с теми задачами, которые сейчас стоят перед страной. Этим настроением, господа, надо пользоваться и его надо приветствовать и не оскорблять этих людей, которые желают принести свой труд и свой патриотизм на пользу отечества.

Кажется, впервые слова мои были покрыты рукоплесканиями и криками: "Браво!" отовсюду — из центра, и слева, и справа. Этим вся Дума как бы признавала право изгнанных правительством депутатов занять места вместе со своими товарищами и тем самым осуждала вынесенный им несправедливый приговор. Конечно, крайние правые были против этого, но возражать они не посмели.

О каком же это депутате я упомянул в своем выступлении? Это был присяжный поверенный округа Петроградской судебной палаты, выдвинувшийся защитой по большим политическим процессам тех годов, трудовик Александр Федорович Керенский. Тогда будущему кратковременному правителю России было 34 года. Он тоже выражал крайнее негодование арестом и осуждением пяти большевистских депутатов и громил правительство. Говорил страстно, путанно. В его речи было много лишних слов, но в ней уже слышались те характерные эффектные призывы, с истерическим надрывом, которые вскоре повлекли за собой мятущиеся революционные массы.

— К вам, господа члены Государственной думы, — восклицал Александр Федорович, — у меня величайшая

просьба: сейчас, когда все острее и острее положение в стране, когда терпение масс истощается, когда то, что идет с Запада, все ближе и ближе к нашим исконным землям, к нашим центрам, забудьте наши несогласия, забудьте ваши классовые позиции и вспомните о стране, вспомните о родине, скажите им: руки прочь, вы пораженцы, предатели и продажные люди!

* * *

Так прошел этот день моего возвращения в Думу, когда мне пришлось выступить в защиту пяти большевистских депутатов. Несмотря на арест и осуждение, места были за ними сохранены, и официально как будто ничего не случилось, в "Списке членов Государственной думы по партийным группировкам" рабочая фракция в составе пяти членов: Бадаева, Муранова, Петровского, Самойлова-второго и Шагова.

Трагедия борьбы

Нарождение так называемого Прогрессивного блока сопровождалось расколом фракции "русские националисты", председателем которой был П.Н.Балашев. Отколовшиеся члены Государственной думы, сторонники блока, образовали новую фракцию — "прогрессивные русские националисты", избравшую своим председателем графа В.А.Бобринского. Меня избрали товарищем председателя, но Владимир Алексеевич часто отсутствовал, и фактически мне пришлось руководить народившейся фракцией. Правая фракция, которая не входила в блок, обрушилась на нас с критикой и нападками.

В это время обсуждался вопрос о военной цензуре, введенной Сухомлиновым. Она существовала с начала войны, но незадолго до своего смещения он ее еще усилил. При этом получались всякие нелепости. Например, когда против Сухомлинова началось следствие, то из-за цензуры, им же введенной, газеты имели такой вид — громадными буквами было напечатано:

"Дело Сухомлинова. Верховная следственная комиссия в своем последнем заседании обсуждала вопрос о

деятельности бывшего военного министра В.А.Сухомлинова", а затем пустое место.

Но как вопрос о военной цензуре ни был актуален, сформирование Прогрессивного блока занимало членов Государственной думы еще более. Поэтому во время окончания первого обсуждения законопроекта об учреждении военной цензуры выступавшие ораторы, начиная с этого вопроса, несмотря на неоднократные призывы председателя не отклоняться от темы, перескакивали на критику блока.

28 августа 1915 года на программу Прогрессивного блока особенно напали националист Петр Африканович Сафонов и независимый Михаил Александрович Караулов.

П.А.Сафонов, обращаясь к нам, заявил под аплодисменты правых, что в наших попытках провести программу блока мы встретим с их стороны "самое энергичнейшее противодействие...".

Касаясь раскола в русской национальной фракции, оратор охарактеризовал его как крупное политическое явление, имеющее серьезное значение, когда целая группа, исповедующая определенные политические принципы, перешла в другой лагерь, отказавшись от них.

Он считал, что "пользуясь затруднительным положением страны, известные политические группы пожелали достичь осуществления той политической программы, которой в течение многих лет добивались".

Но главный упор в своей критике Сафонов делал на еврейский вопрос, выразившись так: "При восстановлении чистоты программы национального союза, в основу которого поставлено: "еврейское равноправие недопустимо", новая группа написала: "вступление на путь отмены ограничений в правах евреев".

Несмотря на войну, отношение фракции правых к еврейскому вопросу не изменилось. А мне не могли простить моего участия в защите Бейлиса.

Чтобы ответить на нападки Сафонова, мне, как и прочим, выступавшим до меня, пришлось начать с военной цензуры. Я описал одну юмористическую сценку, связанную с введением у нас цензуры, свидетелем которой был.

— Больше года тому назад, — сказал я, — в самом начале войны, будучи в Киеве, я получил вызов, как тогдашний редактор газеты "Киевлянин", от высшей военной власти явиться к одному лицу. Ему было поручено

ознакомить местных газетных деятелей с требованиями вводившейся военной цензуры.

Немедленно приехав, я застал этого человека, окруженного, если можно так выразиться, стаей газетчиков, которые с испуганными лицами слушали его и спрашивали:

— Вот это можно?

Ответ:

— Нет!

— А вот это?

— Ни в коем случае!

— А это?

— Боже сохрани!

Так сыпались вопросы один за другим, и на каждый вопрос получался отрицательный ответ. Наконец совершенно перепуганные люди стали спрашивать явно несуразные вещи. Например, один из них спросил:

— Скажите, пожалуйста, вот те объявления о мобилизации, которые расклеиваются по заборам, это можно печатать в газетах?

К моему величайшему изумлению, получился ответ, правда, после некоторого раздумья, но в категорической форме:

— Ни в коем случае нельзя.

И когда кто-то спросил:

— Собственно, почему же нельзя? — ответ получился еще более интересный:

— Ну, как вы этого не понимаете? Ведь забор ваш в Германию послать нельзя, а номер газеты пошлют же?!

Но к величайшему огорчению, такой же взгляд и отношение к делу из узкой цензурной области перебросился и в более широкий круг понятий. Мы видим, что в больших государственных и общественных делах происходит нечто подобное...

Тут я попытался ответить нападавшим на Прогрессивный блок. При этом я предупредил, что никаких выпадов, никакой полемики я допускать здесь не хочу.

— У нас у всех один враг — Германия, а со своими согражданами бороться не станем, — сказал я. — Можете на нас нападать, мы будем защищаться только в пределах строгой необходимости. Быть может, в этой великой борьбе вы еще пойдете с нами.

Я считаю, что неравноправие евреев есть страшно тяжелая цепь для обеих сторон, для еврейской эта цепь понятно почему тяжела, но не менее тяжела она и для

нас, потому что основывается на презумпции нашей слабости. А черта оседлости снята не вашим и не нашим или каким-нибудь иным желанием. Она снята военными событиями, так что нечего о ней и разговаривать.

Но еще лучше моего ответил им А.И.Савенко:

— Мы победили самих себя. Мы победили самих себя потому, что сумели встать выше узкой партийности. Мы нашли в себе мужество пойти на известную уступку, на известные жертвы, чтобы этой ценой достичь в Государственной думе большинства ради победы над общим врагом, ради спасения России.

* * *

20 января 1916 года председателем Совета министров назначают гофмейстера Бориса Владимировича Штюрмера, о котором столица выражалась так:

— Абсолютно беспринципный человек и полное ничтожество...

Известный поэт Александр Блок рассказывал:

— Замена на посту председателя Совета министров окончательно одряхлевшего бюрократа Горемыкина Штюрмером заставила многих призадуматься. Штюрмер имел весьма величавый и хладнокровный вид и сам аттестовал свои руки, как ''крепкие руки в бархатных перчатках''. На деле он был только ''футляром'', в котором скрывался хитрый обыватель, делавший все ''под шумок'', с ''канцелярскими уловками''... ''Старикашка на веревочке'', как выразился о нем однажды Распутин, которому случалось и прикрикнуть на беспамятного, одержимого старческим склерозом и торопившегося, как бы только сбыть с рук дело, премьера.

За внешность его называли ''святочным дедом''. Но этот ''дед'' не только не принес порядка России, а унес последний престиж власти. К тому же этот ''святочный дед'' носил немецкую фамилию. Чувствовалось, что он окружен какими-то подозрительными личностями. Но разве дело было в этом? Дело было в том, что Штюрмер, маленький, ничтожный человек, а Россия вела мировую войну. Дело было в том, что все державы мобилизовали свои лучшие силы, а у нас сделали премьером ''святочного деда''.

И кому охота, кому это нужно было доводить людей до исступления?! Что это, нарочно что ли делалось?!

* * *

Думу все же не разогнали. И не только не разогнали, а по ее настоянию сняли рамольного Горемыкина. Нужно было представить общественности в лице членов законодательных палат нового премьера Б.В.Штюрмера и новое правительство. В силу этого обстоятельства занятия четвертой сессии Государственной думы 9 февраля 1916 года с семнадцатого заседания были вновь возобновлены.

На кафедре в Таврическом дворце предстал с разъяснениями "святочный дед" и его министры: военный — генерал от инфантерии А.А.Поливанов, морской — адмирал И.К.Григорович и иностранных дел — С.Д.Сазонов.

Отвечая на другой день, 10 февраля 1916 года, правительству, я, разумеется, не мог критиковать Б.В.Штюрмера, который только что был назначен и не успел еще чем-либо проявить себя. Я постарался выяснить, в чем была главная ошибка ушедшего И.Л.Горемыкина для того, чтобы его последователь не повторил ее.

В чем же она состояла? Фраза, ставшая банальной во всей России, что эту войну ведет весь народ, эта мысль, ясная для всех, не доходила до главы правительства. Иван Логгинович считал, что войну ведет армия и ее военачальники, и ответствен за нее только военный министр, а правительство и он сам, как его глава, тут ни при чем.

Я попытался раскрыть весь ужас, вытекающий из такой деятельности, а вернее, бездеятельности правительства. Ужас этого положения был особенно понятен, ибо все знали, что Горемыкин, занимая враждебную позицию по отношению к Прогрессивному блоку, был послушным орудием в руках придворного окружения во главе с Распутиным.

Под возгласы слева: "Правильно, верно!" — я сказал, что в государстве нужна какая-то голова, осмысливающая весь большой процесс народной жизни во время войны, чтобы туда, где происходит нехватка чего-либо, сейчас же приходила на помощь государственная власть, чтобы она, эта власть, в роли государственного смазчика, все время лила бы благодетельное масло там, где подшипник может вспыхнуть и загореться от трения.

— Выполняется ли эта задача властью? — спросил я. — К сожалению, прежней властью она совершенно не выполнялась, и той головы, которая думала бы обо всем этом, в Российской империи не было.

Я предложил новому правительству составить план с ясным отчетом о нашей политике по всем важнейшим отраслям. Этот план должен был быть гибким, приспособляющимся к обстоятельствам, учитывающим возможные изменения в стране при наступлении, позиционной войне и отступлении, отметающим все старые, отжившие системы.

— Именно вот создание такого плана, — сказал я, — и внесение его сюда, в Думу, является самой неотложной задачей минуты. Здесь нужно поставить на него наш штемпель и тогда властно и решительно провести его в жизнь. Властно и смело, потому что без властности, без смелости вообще выиграть войны немыслимо.

Но немыслимо было ее выиграть и без государственной мысли. А между тем эта мысль росла снизу, а не сверху. Она пробивалась на всех совещаниях, со стороны Государственной думы, через Центральный военно-промышленный комитет. Там люди обмозговывали в широком масштабе, как планомерно объединить действия.

Но между всеми этими патриотическими стремлениями, попытками, предложениями нужен был какой-то контакт. Нужен был некий объединяющий купол. Где же он мог быть, где его взять? Или в каком-то "сверхсовещании" или в Совете министров. В Совете министров под сенью мыслящего за империю "святочного деда"? Какая горькая ирония!

Так все наши действия, подсказанные и опытом, и здравым смыслом, с самым горячим патриотизмом, разбивались об отсутствие единения.

Разумеется, в своей речи я не помянул "святочного деда", но она все же вызвала крайнее раздражение в среде моих бывших товарищей по фракции. Вероятно, их раздражали также овации в мой адрес со стороны левых скамей.

Под рукоплескания в центре и слева, смех и голоса: "Браво!" — я сказал, указывая направо:

— Не могу припомнить, когда правые призывали нас всех и всю страну к забвению распрей... Я ушел с этих скамей, когда увидел, что распри для них не печальная необходимость, а излюбленное ремесло...

— Это некорректно! — закричал в ответ Марков-

второй. — Мы вам это напомним, мы вам напомним Бейлиса!

И они действительно напоминали мне это не раз. Мой трезвый взгляд на еврейский вопрос был для них непереносим потому, что я слыл за главу русского антисемитизма. Поэтому нижеследующее мое заявление с кафедры Государственной думы, сделанное несколько позднее, в одном небольшом выступлении по мотивам голосования 8 марта 1916 года, окончательно привело их в крайнее негодование и ярость.

— Господа, — обратился я тогда к ним. — Скажу вам откровенно. Может быть, я не доживу, но буду счастлив за тех людей, которые доживут до той счастливой минуты, когда мы сможем сказать о том, что все ограничения с евреев сняты, потому что это тяжкое для нас бремя...

Конечно, они не смогли мне этого простить, как не простили Бейлиса.

От фракции правых выступил ректор и профессор Новороссийского университета Сергей Васильевич Левашев. От их имени он заявил, что будет бороться с блоком всеми способами, имеющимися в их распоряжении. Перед этим он говорил о той эпохе, когда народ смел изменнических бояр и спас отечество.

— Не знаю, — сказал я, обращаясь к правым, — может быть, именно к этим способам хотят прибегнуть в борьбе с блоком, но ведь тогда во главе народа стал Минин... Мне кажется, что это не по вашему плечу шуба...

На это П.В.Новицкий воскликнул:

— А по вас Бейлисовые ермолки!

— Минин говорил, — продолжал я, — отдадим все самое дорогое, заложим жен и детей. А вы? Что вы способны пожертвовать, когда не хотите уступить тех скромных предложений, на которых объединилось большинство, слывущее здесь под названием блока.

Они смолчали...

* * *

Так развертывалась эта психическая битва на два фронта. Мне, убежденному монархисту, приходилось вести тяжкую, безнадежно трагическую борьбу не только с правительством монарха, за которого я готов был отдать свою жизнь, но и со своими бывшими единомышленниками, считавшими меня ренегатом, предателем их

монархических идей, понимаемых ими слишком узко, слишком слепо. Они не видели той пропасти, куда катились...

Во имя чего же я боролся? Во имя спасения страны, во имя спасения династии, без которой я не мыслил существование России. Поистине эта борьба была трагической, ибо я уже тогда предчувствовал ее исход, видел всю ее безнадежность, всю обреченность всех и вся. Трагизм этот усугублялся тем, что верховная власть, по-видимому, тоже была слепа, не видела или, может, не хотела видеть раскрывающейся перед нею бездны...

Неужели же никто не в силах был их вразумить?! Ведь нельзя же так, нельзя же было раздражать людей, страну, народ, льющий свою кровь без края, без счета. Неужели эта кровь не имела своих прав? Неужели эти безгласные жертвы не имели права голоса?

Не все ли равно, в конце концов, какой "святочный дед" Штюрмер? Допустим, что он самый честный из честных. Но, если, правильно или нет, страна помешалась на "людях, заслуживающих доверия", почему их не попробовать? Отчего их было не назначить?..

Допустим, что эти люди "доверия" были плохи. Но ведь "Столыпина" не было на горизонте. Допустим, Милюков — ничтожество... Но ведь не ничтожнее же он Штюрмера... Откуда было такое упрямство? Какое разумное основание здесь, — какое?

Совершалось нечто трансцендентально иррациональное...

Имя ему — Распутин!

Есть нечто, перед чем бессильно опускаются руки... Кто хочет себя погубить, тот погубит.

Роковой человек

Роковым человеком Александр Блок назвал Протопопова. Он считал, что Распутин накануне своей гибели как бы завещал Протопопову свое дело и тот исполнил его и, сам того не желая, сыграл решающую роль в ускорении гибели династии.

Что же за человек был Протопопов? Мы, члены Государственной думы, знали его хорошо, так как при М.В.Родзянко он был товарищем председателя. Земле-

владелец и промышленник из симбирских дворян, камер-юнкер высочайшего Двора, Александр Дмитриевич принадлежал к партии "Союз 17 октября", и все считали, что он с другими ее членами в августе 1915 года вошел в Прогрессивный блок. По-видимому, это так и было, хотя впоследствии он отрицал свое участие в блоке, когда повел против него борьбу. Словом, в нашей среде он оказался Иудой-предателем.

Не порывая со своими товарищами по блоку и вообще с думской средой, ему удалось проникнуть в "мистический круг" тибетского доктора Петра Александровича Бадмаева.

Этот загадочный врач имел под Петроградом прекрасно обставленную дачу-санаторий, где он лечил аристократическую знать тибетскими травами. Распутин был постоянным гостем на даче Бадмаева, где вдали от любопытных глаз вершились большие дела и бывали высокосановные лица. Душою бадмаевского кружка являлась подруга императрицы фрейлина Анна Александровна Вырубова, урожденная Танеева, которую Протопопов называл "фонографом слов и внушений Распутина".

Невыясненная нервная болезнь, а как говорили некоторые, прогрессивный паралич, главное же — знакомство с Распутиным раскрыли для будущего министра двери бадмаевской дачи. Там пролежал он свыше полугода, лечась у тибетского волшебника. Там ему открылась в Распутине "удивительная проницательность, сердечность, мягкость и простота". А старец говорил, что он "из того же мешка" и что у него "честь тянется, как подвязка".

Ничего не сделав, Протопопов начинал уже приобретать авторитет в вопросах разрешения продовольственного кризиса. Тогда еще его честолюбивые планы не шли далее поста товарища министра торговли и промышленности.

* * *

Летом 1916 года Протопопов во главе парламентской делегации членов Государственной думы и Государственного совета совершил поездку в дружественные страны Европы.

Аудиенции у английского короля Георга V и италь-

янского Виктора Эммануила III подняли Протопопова на высоту чрезвычайную, вскружив ему голову.

Парламентская делегация вернулась в Петроград 17 июня 1916 года, но товарища председателя Государственной думы с ней не было. По просьбе министра финансов П.Л.Барка он задержался в Лондоне для выяснения вопроса о займе, а затем в Стокгольме. Здесь он имел в номере гостиницы тайное свидание с консультантом германского посольства гамбургским банкиром доктором Варбургом, специально командированным для этого германским послом в Швеции фон Люциусом. При переговорах присутствовал товарищ Протопопова по парламентской делегации член Государственного совета граф Д.А.Олсуфьев. Русский посланник в Стокгольме А.В.Неклюдов, по словам Протопопова, просил его не отказываться от свидания с Варбургом, чтобы узнать условия сепаратного мира. Это свидание решило судьбу "рокового человека".

По возвращении из-за границы Протопопова немедленно вызвали в Ставку. Там он имел двухчасовую беседу с государем. Царь особенно заинтересовался стокгольмским свиданием и не только не был возмущен им, но, наоборот, отнесся к нему весьма благосклонно. Как потом рассказывал Протопопов, при встрече с государем они очаровали друг друга. Царь будто бы сразу полюбил его и вполне ему доверился. А у Протопопова под влиянием такого обращения с ним монарха внезапно вспыхнуло искреннее обожание "хозяина земли русской" и всей его семьи.

После аудиенции в Ставке Протопопов уехал в деревню, условившись с генералом Курловым, что при первой же надобности он будет вызван им в Петроград. Распутина "осенило" и он стал изрекать: "Что скажет Протопопов, то пусть и будет, а вы его еще раз кашей покормите".

Тибетский кудесник Бадмаев сообщил генералу Курлову, что его друг произвел на "папу" прекрасное впечатление, что за него "благодарили".

1 сентября 1916 года Протопопов получил от Курлова телеграмму: "Приезжай скорей". Ему было велено подать всеподданнейший доклад о вступлении в должность управляющего министерством внутренних дел вместо пробывшего на этом посту всего лишь два месяца А.А.Хвостова. А 7 сентября императрица писала в Ставку: "...Григорий убедительно просит тебя назначить на

эту должность Протопопова. Ты его знаешь, и он на тебя произвел такое хорошее впечатление, — к тому же так пришлось, что он член Думы (не из левых) и, таким образом, будет знать, как к ним относиться... Он в дружбе с нашим Другом уже по крайней мере четыре года, и это очень много говорит за него. Я его не знаю, но верю в мудрость и советы нашего Друга".

Под "другом" с большой буквы разумелся, конечно, Распутин. И вот 16 сентября 1916 года на докладе Протопопова подлинною его императорского величества рукой было начертано: "Дай бог, в добрый час!"

В царской Ставке, куда Протопопов явился после назначения, его обласкали. Он успокоил государя своим планом разрешения продовольственных затруднений. Под конец беседы царь спросил его, давно ли он знаком с Распутиным. Экспансивная признательность старцу и искреннее увлечение Протопопова своей миссией понравились монарху.

Итак, счастливая звезда Протопопова взошла. Все это произошло совершенно неожиданно для всех, а отчасти и для него самого. Объятый манией величия, он разработал собственный план спасения России, замышляя передать продовольственное дело в министерство внутренних дел, произвести реформу земства и полиции и разрешить еврейский вопрос.

Планета Юпитер, проходящая под Сатурном, как предсказал новому министру гадатель Шарль Перэн, благоприятствовала ему. Включившись в "чехарду министров", Протопопов так прочно закрепился, что чехарда завертелась вокруг него, как бы около некоей мистической оси, поддерживающей падающую в пропасть империю, доколе не пробил ее роковой час. Три премьера сменилось при нем. Но это его мало тревожило, — ведь он стал любимцем царя. В Совете министров он был редким гостем, проводя бóльшую часть времени в Царском Селе. Несмотря на окружавшую его враждебность и на многочисленные попытки весьма влиятельных лиц заставить его уйти, он продолжал свое дело до последней минуты.

* * *

С первого же шага к министерскому креслу Протопопов возбудил к себе неприязнь и презрение не только со стороны своих товарищей по блоку, что понятно, но и

правительственных кругов, где на него смотрели как на выскочку. Только в Царском Селе он пользовался прочным успехом.

Надев жандармский мундир, недавний октябрист, проповедник тезиса о том, что "гений целого народа нельзя поставить в рамки чиновничьей указки", чувствовал все-таки некую неловкость. Государственная дума и прогрессивный блок были досадным пятном на фоне головокружительного успеха. Ему захотелось как-то смягчить, сгладить свои отношения с товарищами по блоку.

Вечером 19 октября 1916 года я пришел на квартиру Михаила Владимировича Родзянко. Здесь кроме меня собралось десять членов прогрессивного блока. От группы центра пришли Николай Дмитриевич Крупенский, Дмитрий Николаевич Сверчков и подполковник в отставке Борис Александрович Энгельгардт. От партии кадетов — Павел Николаевич Милюков и врач Андрей Иванович Шингарев, остальные, за исключением националиста Дмитрия Николаевича Чихачева, были октябристы: секретарь Думы Иван Иванович Дмитрюков, граф Дмитрий Павлович Капнист-второй, Никанор Васильевич Савич и Виктор Иванович Стемпковский.

Родзянко предупредил нас, что мы приглашаемся на неофициальную встречу с министром внутренних дел по его желанию. Протопопов вошел в мундире.

— У меня просьба: побеседовать с вами запросто, чтобы ничто не вышло из этой комнаты, — сказал он, усаживаясь в кресло.

— Александр Дмитриевич, пора секретов прошла, — резко возразил ему Милюков. — Я не могу дать вам требуемого обещания... Обо всем, что здесь будет происходить, я должен буду доложить фракции.

— В таком случае я ничего не могу говорить... Извиняюсь... Извиняюсь, что потревожил председателя Государственной думы и вас, господа... Но что же произошло? Что произошло, что вы не хотите беседовать со мною по-товарищески?

— Как?! — закричал Милюков, вскакивая с места и подходя к Протопопову. — Как, что произошло? Вы хотите знать, что произошло? Я вам скажу... Человек, который служит вместе со Штюрмером, человек, освободивший Сухомлинова, которого вся страна считает предателем, человек, преследующий печать и общественные организации, не может быть нашим товарищем. Го-

ворят, притом, об участии в вашем назначении Распутина. Это правда?

— Я отвечу по пунктам. Что касается Сухомлинова, он не освобожден, а изменена лишь мера пресечения...

— Он сидит у себя дома, — перебил его Милюков, — под домашним арестом и просит о снятии его...

— Да. Что же касается печати, — она от меня не зависит. Она в военном ведомстве. Но я ездил к начальнику Петроградского военного округа генерал-лейтенанту Сергею Семеновичу Хабалову и освободил "Речь" от предварительной цензуры.

О Распутине я хотел бы ответить, но это секрет, а я здесь должен говорить для печати. Павел Николаевич затыкает мне рот, чтобы я не мог объясниться с товарищами. Я мог бы ожидать после нашей совместной поездки за границу, что, по крайней мере, сердце заговорит... смягчит отношения... По-видимому, я ошибался. Что же делать, что делать... Я хотел столковаться, но если этого нельзя и ко мне так враждебно относятся, я принужден буду пойти один...

— Прежде чем товарищески беседовать, — сказал Шингарев, — нужно выяснить вопрос, можем ли мы еще быть товарищами. Мы не знаем, каким образом вы назначены. Слухи указывают на участие в этом деле Распутина... Затем вы вступили в министерство, главой которого является Штюрмер — человек с определенной репутацией предателя. И вы не только не отгородились от него, но, напротив, из ваших интервью мы знаем, что вы заявили, что ваша программа — программа Штюрмера и что он будет развивать вашу программу с кафедры Государственной думы. В ваше назначение освобожден другой предатель — Сухомлинов, и вы заняли место человека, который удален за то, что не захотел этого сделать. При вас же освобожден Манасевич-Мануйлов, личный секретарь Штюрмера, о котором ходят самые темные слухи...

И, наконец, в происходящих теперь рабочих волнениях ваше министерство действует, по слухам, как и прежде, путем провокации. Вы пускаете в рабочую среду всевозможные слухи. Вы явились к нам не в скромном сюртуке, а в мундире жандармского ведомства. Как понимать это? Вот обо всем этом мы желали бы слышать от вас прежде, чем определить, каковы должны быть наши отношения.

— Я пришел сюда с целью побеседовать с вами. Что

же я вижу? Выходит, что я присутствую здесь в качестве подсудимого. Притом вы можете говорить все, что вам заблагорассудится, тогда как мне Павел Николаевич зажал рот своим заявлением, что то, что я скажу, появится завтра в печати. При этих условиях я не могу говорить многих интимных вещей, которые опровергли бы те слухи, которым вы напрасно поверили.

Например, Распутина я видел несколько лет тому назад, при обстановке, совершенно далекой от нынешней. Я личный кандидат государя, которого я теперь узнал ближе и полюбил. Но я не могу говорить об интимной стороне этого дела...

В департамент полиции я взял человека мне известного и чистого...

Под "известным и чистым человеком" Протопопов разумел своего друга генерала П.Г.Курлова, которого он назначил товарищем министра внутренних дел и шефом корпуса жандармов.

Голоса перебили его:

— А роль Курлова при Столыпине?

— Курлова обвиняют напрасно...

— А записка Новицкого? — воскликнул Милюков.

— Ну вот, господа, вы верите разным запискам. Столыпин убит не по его вине. Курлов до убийства Петра Аркадьевича был уже назначен сенатором. Об этом у меня в столе бумаги есть...

— Мы все, — сказал я, обращаясь к Протопопову, — действительно, прежде всего, должны решить вопрос о наших отношениях. Мы все осуждали вас, и я осуждал публично и считаю поэтому своим долгом повторить это осуждение в вашем присутствии. Предупреждаю, что доставлю несколько тяжелых минут...

Мы не знали, что думать. Или вы мученик, если шли "туда" с целью что-нибудь сделать при явной невозможности сделать что бы то ни было в этой среде, или вы честолюбец, если просто увлеклись блестящим положением, не скрывая от себя, что вы сделать ничего не можете...

В какое, в самом деле, положение вы себя поставили? Были люди, которые вас любили, были многие, которые вас уважали... Теперь... теперь ваш кредит очень низко пал. Вы отрезали себя от единственных людей, которые могли бы поддержать вас "там". Этот разговор, который мы ведем теперь, надо было вести до того, как вы приняли власть.

При этих условиях понятно, почему Павел Николаевич не считает возможным сделать секрета из нашей беседы. Завтра же, когда общество узнает, что мы беседовали с вами, оно может предположить, что мы с вами вошли в заговор... Вас мы не поддержим, себя погубим, подобно вам. Я допускаю еще возможность секрета, если бы сегодня мы ни к чему не пришли. Тогда так и можно сказать: говорили, но ни до чего не договорились. Но если мы на чем-нибудь согласимся, то тогда уж мы обязаны будем сообщить обществу, почему мы нашли возможным согласиться.

— Если здесь говорят, что меня больше не уважают, то на это ответ может быть дан не в обществе, а лицом к лицу с пистолетом в руках, — раздраженно ответил мне Протопопов. — Что касается отношения ко мне общества, сужу о нем по моим большим приемам. Туда приходит множество обездоленных и страдающих, и никто еще не уходил без облегчения. Это общество меня ценит. За вашей поддержкой я пришел, но ее не нахожу. Что ж делать, пойду дальше один. Ведь меня ни разу даже не пригласили в блок. Я там ни разу не был...

— Это ваша вина, — возразил Милюков.

— Я исполняю желания моего государя... Вы хотите потрясений, перемены режима, но этого вы не добьетесь, тогда как я понемногу кое-что могу сделать...

— Теперь такое положение, когда именно вредно сделать кое-что, — сказал на это Стемпковский.

— Это недолго — уйти, — продолжал Протопопов, — но кому передать власть? Я вижу только одного твердого человека — это Трепов. Для меня мое положение может быть убийственно, но я буду делать что могу. Отчего вы даже Хвостова встретили лучше, чем встречаете меня?

— Я говорил о том, — ответил Милюков, — что раз наше совещание имеет политическое значение, то я не могу молчать о нем перед политическими друзьями.

— Дайте слово, что в печати ничего не будет.

— Я никак не могу дать такого обещания. Я могу, однако, сказать, что мы не сообщаем того, что составляет государственную тайну. Александру Дмитриевичу достаточно сказать, что именно его сообщения имеют такой характер, чтобы оградить себя от разглашения тайны.

Я перехожу к другому. Почему назначение Александра Дмитриевича не похоже на назначение Хвостова? Хвостов принадлежит к политической партии, которая

вообще не считается с общественным мнением, а Александр Дмитриевич вступил во власть как член определенных политических сочетаний. На него падал отблеск политического значения той партии, к которой он принадлежит, и того большинства, к которому его причисляли. Его считали членом блока.

— Как товарищ председателя Государственной думы, — ответил Протопопов, — я считал долгом быть беспартийным и потому не могу считать себя членом блока.

— Но, позвольте, — возразил граф Капнист-второй, — это удивительно. Как возможно такое отношение Александра Дмитриевича к фракции?

— Я очень рад, — сказал Милюков, — этому разъяснению, так как оно значительно упрощает объяснение вашего вступления в министерство. В этом винили блок. Но, кроме того, вы были товарищем председателя Думы и в этом качестве стали известны за границей как председатель нашей делегации.

— Нет, там не уронили, а уронили здесь. Так как из всех ваших выступлений там вовсе не вытекало то, что вы сделали здесь.

— Вы не знаете, с каким сочувствием отнеслись за границей к моему назначению. Я получил массу приветствий...

— Вы получили их не как Александр Дмитриевич, а как человек, на которого падал отблеск, как человек репрезентативный. Что касается сведений иностранной прессы, то мы знаем, как она информируется. Я сам читал телеграмму вашего агентства в Париже. Что в ней говорилось? В ней говорилось, что ваше назначение принято сочувственно парламентскими кругами. Как оно принято в действительности — вы теперь видите.

Между прочим, за границей вы тоже говорили, что вы монархист. Но там я не обратил внимания на это заявление. Мы все ведь монархисты. И казалось, что нет надобности этого подчеркивать. Но когда здесь выкопали это место из ваших заграничных речей и стали восхвалять вас как монархиста, я задался вопросом, с которым я обращаюсь к вам: в каком смысле вы монархист? В смысле неограниченной монархии или же вы остаетесь сторонником конституционной монархии? Я хотел бы, чтобы вы нам объяснили эту двусмысленность.

— Да, я всегда был монархистом. А теперь я узнал

лично царя и полюбил его. Не знаю за что, но и он полюбил меня...

Протопопов изменился в лице, тяжело задышав.

— Не волнуйтесь, Александр Дмитриевич, — сказал ему тихо граф Капнист. Но это успокоительное обращение почему-то раздражило его и он, повернувшись к графу, произнес запальчиво:

— Да, вам хорошо сидеть там, на вашем кресле, а каково мне на моем! У вас есть графский титул и хорошее состояние, есть связи, а я начал свою карьеру скромным студентом и давал уроки по 50 копеек. Я не имею ничего, кроме личной поддержки государя, но с этой поддержкой я пойду до конца, как бы вы ко мне ни относились.

— Я еще не кончил, — продолжал Милюков. — Я начал объяснять вам, почему мы иначе отнеслись к Хвостову. Как сказал уже Шульгин, мы должны нести ответственность за вас, тогда как Хвостов был человек чужой!.. Но теперь положение совершенно другое... В Думе есть большинство. У этого большинства есть свое определенное мнение. Правительство поступило наоборот, и мы дошли теперь до момента, когда терпение в стране окончательно истощено и доверие использовано до конца. Теперь нужны чрезвычайные средства, чтобы внушить народу доверие.

— Ответственное министерство! Ну нет, этого вы, господа, не добьетесь!

В возникшем при выкрике Протопопова шуме раздались голоса:

— Министерство доверия, министерство доверия!

— Между прочим, — продолжал Милюков, — в ваших словах мне послышалась угроза. Что означает ваше выражение, что вы будете действовать один? Значит ли это, что вы не созовете Думу, как об этом говорят в публике?

— Я не злопамятен и не мстителен. Что касается несозыва Думы — это просто россказни.

— По моим сведениям, которые я считаю достоверными, об этом говорили несколько министров.

— Во всяком случае, я в их числе не находился.

— Находились, Александр Дмитриевич.

— Да, да. Были слухи именно о вашем мнении по этому поводу, — раздались со всех сторон голоса.

— Нет, так далеко я не иду. Я сам член Думы и привык работать с Думой. Был и останусь другом Думы. В вашем отношении ко мне, Павел Николаевич, говорит

разум, но нет голоса сердца. Ваша супруга отнеслась бы ко мне совершенно иначе.

— При чем тут моя супруга? Я говорил уже и повторяю, что мы здесь встречаемся только как политические деятели.

Все встали. Совещание закончилось. В возникшем шуме общего разговора послышались отдельные фразы.

— Вы ведете Россию на гибель, — сказал Милюков.

* * *

После убийства Распутина положение Протопопова не только не пошатнулось, а, наоборот, к общему удивлению, неожиданно упрочилось. Через три дня, 20 декабря 1916 года, из управляющих министерством он был сделан министром внутренних дел.

Ожидавшегося инициаторами "патриотического террористического акта" отрезвления не произошло. Все осталось по-старому. В Протопопова верили почти с таким же фетишизмом, как недавно в Распутина. Тем более что последний перед своим трагическим уходом в иной мир заповедал: "Его слушайтесь... что скажет, то пусть и будет..."

Но говорить было нечего... Получив разрешение государя, Протопопов произвел 27 января 1917 года "по ордеру военного начальства" арест рабочей группы военно-промышленного комитета.

Екатерина Викторовна Сухомлинова, мужа которой он выпустил из тюрьмы, написала ему, что за этот "акт высокой политики" в Царском Селе ему поставлен плюс. Чаша терпения переполнилась. М.В.Родзянко снова взялся за перо и написал свой последний всеподданнейший доклад. С ним Михаил Владимирович поехал в Царское Село.

10 февраля 1917 года состоялась аудиенция у императора. В этот день у царя были великие князья Александр Михайлович и брат государя Михаил Александрович. Прием, названный в газетах "высокомилостивым", по словам Родзянко, был "самым тяжелым и бурным". Сохранилась запись этой беседы.

Когда председатель Государственной думы прочел доклад, царь сказал:

— Вы требуете удаления Протопопова?

— Требую, ваше величество. Прежде я просил, а теперь требую.

— То есть как?
— Ваше величество, спасайте себя. Мы накануне огромных событий, исхода которых предвидеть нельзя. То, что делает ваше правительство и вы сами, до такой степени раздражает население, что все возможно. Всякий проходимец всеми командует. "Если проходимцу можно, почему же мне, порядочному человеку, нельзя?" — вот суждение публики. От публики это перейдет в армию, и получится полная анархия. Вы изволили иногда меня слушаться и выходило хорошо.
— Когда? — спросил государь.
— Вспомните, в июле 1915 года, когда вы уволили министра внутренних дел Н.А.Маклакова.
— А теперь я о нем очень жалею, — сказал царь, посмотрев в упор, — этот, по крайней мере, не сумасшедший.
— Совершенно естественно, ваше величество, потому что сходить не с чего.
Царь засмеялся:
— Ну, положим, это хорошо сказано.
— Ваше величество, нужно же принять какие-нибудь меры! — продолжал Родзянко. — Я указываю здесь на целый ряд мер. Это искренно написано. Что же вы хотите, во время войны потрясти страну революцией?
— Я сделаю то, что мне бог на душу положит.
— Ваше величество, вам, во всяком случае, очень надо помолиться, усердно попросить господа бога, чтобы он показал правый путь, потому что шаг, который вы теперь предпримете, может оказаться роковым.
Царь встал и сказал несколько двусмысленностей по адресу Родзянко.
— Ваше величество, — сказал Михаил Владимирович, — я ухожу в полном убеждении, что это мой последний доклад вам.
— Почему?
— Я полтора часа вам докладываю и по всему вижу, что вас повели на самый опасный путь... Вы хотите распустить Думу, я уже тогда не председатель и к вам больше не приеду. Что же еще хуже, я вас предупреждаю, я убежден, что не пройдет трех недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать.
— Откуда вы это берете?
— Из всех обстоятельств, как они складываются. Нельзя так шутить с народным самолюбием, с народной

волей, с народным самосознанием, как шутят те лица, которых вы ставите. Нельзя ставить во главу угла всяких распутиных. Вы, государь, пожнете то, что посеяли.

— Ну, бог даст...

— Бог ничего не даст, вы и ваше правительство все испортили. Революция неминуема.

Родзянко как в воду глядел. Действительно, трех недель не прошло. Прошло лишь две недели и два дня. А через девятнадцать дней после этого разговора я уже во Пскове принял из рук несчастного самодержца акт его отречения от престола.

Однако в тот день, несмотря на искренность, прямолинейность и храбрость Родзянко, ему не удалось убедить царя. На другой же день в Царское Село прибыл вызванный Протопоповым Н.А.Маклаков, о котором царь сожалел, что сместил его, послушавшись председателя Государственной думы. Протопопов сказал Маклакову, что государь поручает ему написать проект манифеста на случай, если ему угодно будет распустить Думу. Маклаков составил проект, основная мысль которого заключалась в обвинении и личного состава Думы.

Главная ее вина, с точки зрения царя, состояла в том, что она не увеличила содержания чиновникам и духовенству. Поэтому Государственная дума распускается до новых выборов 15 ноября 1917 года. Манифест кончался призывом царя к единению, чтобы послужить России.

Итак, Протопопов в единоборстве с Думой, его же избравшей в товарищи председателя, в конце концов победил. Но какою ценой?!

* * *

Понятно, какие чувства питали к Протопопову члены Государственной думы на пятой сессии, возобновившейся 14 февраля 1917 года, через три дня после посещения М.В.Родзянко императора. Вот что сказал тогда о министре внутренних дел В.М.Пуришкевич:

— Под подозрение взяты буквально все, вся Россия. Навет возведен в систему государственного управления. Дворянство, земство, Дума, Совет, общественные организации — все взято под подозрение ретивыми слугами собственного благополучия и карьеры. Протопопов расправляется в тяжелую годину родины со всем русским народом, угашая в нем дух уважения к власти, дух веры в будущее, дух порядка.

Нет названия тем, господа члены Государственной думы, которые подносят камень народу, просящему хлеба, которые занимаются политическим шантажом и, будучи одиозными всей России, остаются, тем не менее, твердо у кормила власти...

Хорошо забыты уроки истории о том, что внутреннее спокойствие в каждой стране гарантируется не количеством пулеметов в руках полицейской власти, а честностью, распорядительностью правительства и степенью его предвидения назревающих событий...

А Россия? Россия долга, Россия чести, сознающая всю важность переживаемого момента в своих исторических судьбах, эта Россия оппозиционна правительственной власти, ибо она не верит ее государственной честности, ее патриотизму...

...Над Думой, господа, висит дамоклов меч роспуска, ее пугают этим роспуском... Перед ней стоит альтернатива — либо стать лакейской министра внутренних дел и работать, повинуясь и услужая, либо сохранить свое лицо, лицо честных верноподданных граждан и патриотов.

Я понимаю, что всякие речи сейчас с трибуны Государственной думы бесцельны, ибо между высшим источником власти и народом стоит в эти тяжелые исторические дни — страшно даже подумать — стоит стена себялюбивых карьеристов, живущих только для себя благополучием сегодняшнего дня.

А Россия? Да какое им, в сущности, дело до России? (Голоса слева: ”Верно, правильно!”) Россия? Россия стоит, господа, сейчас, как древний Геракл, в хитоне, пропитанном ядом крови кентавра Нэсса. Он жжет ее, она мечется в муках своего бессилия, она взывает о том, чтобы правда, русская правда, дошла туда, где она должна быть понята и оценена, и услышана. Рассвета еще нет, господа, но он не за горами. Настанет день — я чую его, — и солнце русской правды взойдет над обновленной родиной в час победы...

Так страстно взывал с думской кафедры даже крайний правый депутат В.М.Пуришкевич, два месяца тому назад принимавший участие в убийстве Распутина. В свое время, когда он просил запомнить число 16 декабря и назвал меня ”белоручкой”, он не поверил моим словам, что бессмысленно убивать змею после ее укуса. Теперь же убедился сам, что стало еще хуже.

Мне пришлось выступать через два дня после Пуришкевича, 17 февраля 1917 года. Это была моя последняя

речь в Государственной думе. Главной темой ее являлся продовольственный вопрос, по которому дважды выступал министр земледелия А.А.Риттих, сменивший на этом посту 29 ноября 1916 года графа А.А.Бобринского. Но Протопопов настолько владел тогда всеми умами, что и мне пришлось высказать несколько крамольных мыслей в его адрес.

— Господа члены Государственной думы, — начал я. — Нельзя сказать, что обе речи министра земледелия не были интересными. Я, по крайней мере, выслушал их с большим вниманием, и особенно меня заинтересовала одна тема, к которой министр земледелия постоянно возвращался. Эта тема о том, что ему, как воздух, нужно доверие страны.

Господа, если правильно, что в доме повешенного не говорят о веревке, то приходить сюда вот именно с этим заявлением было бы не то чтобы неуместно, а немножко некстати, — неподходящее место здесь для этого. Мы уже полтора года твердим все одно и то же, и нам уже надоело об этом говорить.

Вот министр земледелия с воодушевлением, которое и свойственно неофитам, говорит на эту же тему. Я ему вполне сочувствую и вполне с ним согласен, но думаю, что ему следовало бы сказать свою речь в Совете министров, ей там настоящее место. (Рукоплескания слева, в центре и справа. Голоса слева: "Даже выше".) Министру земледелия, мне кажется, прежде всего следовало бы поговорить с некоторыми своими товарищами, например с нашим бывшим товарищем Александром Дмитриевичем Протопоповым, сказать ему: поймите, мол, Александр Дмитриевич, что при нашем соседстве мне не может быть доверия. (Голоса: "Правильно!") Правда, Александр Дмитриевич, пожалуй, пригрозил бы, что он его вызовет на дуэль, но я могу успокоить министра земледелия — пригрозит, но не вызовет... (Слева и в центре рукоплескания, смех и голоса: "Браво! Правильно!") А что же случилось бы, если бы мы здесь это самое доверие, которое нужно, как воздух, дали бы министру земледелия? Какие были бы результаты?

Господа, мы знаем отлично, какие были бы результаты — был бы тот результат, да простит мне Александр Александрович Риттих мое, может быть, вульгарное выражение, что его прогнали бы с его поста. (Слева и в центре смех и голоса: "Правильно!") Мы, господа, за последние полтора года прекрасно поняли — в России

прощают все что угодно. Например, полупростили Сухомлинова, но успеха никогда не простят. (Голоса: "Браво, браво!") И потому я утверждаю, что, если министр земледелия, наконец, путем героических усилий, приобрел бы это самое доверие, о котором он так хлопочет, его постигла бы судьба Кривошеина, его бывшего руководителя, судьба Сазонова, Поливанова, Игнатьева и многих, многих других. (Голоса: "Браво, браво!")

* * *

Казалось бы, что общего между грубым, безграмотным, пьяным, развратным мужиком из Тобольска и изысканным, вылощенным аристократом, окончившим кавалерийское училище и Николаевскую академию генерального штаба, уездным предводителем дворянства, камер-юнкером высочайшего Двора, которому давали аудиенции короли Великобритании и Италии? И все же, несмотря на дикость этого сопоставления, что-то общее было, что-то их соединяло. Недаром же говорили — Распутина сменил Протопопов. Из-за его облика мерещилась как бы вновь воскресающая зловещая тень святого старца-сатира. Тлетворный дух проявлялся не только в угодничестве министра в Царском Селе, но и в сатанинском таланте Протопопова угадывать злободневное настроение страны и с каким-то язвительным злорадством идти наперекор этому настроению. Так усердно исполнял он заветы своего наперсника.

А что же все-таки сам Протопопов говорил о себе? Тогда он не говорил ничего, а ровно через два месяца после выступления Пуришкевича в Думе, уже в Чрезвычайной следственной комиссии 14 апреля 1917 года говорил вот что:

— Вы понимаете, господин председатель, мне хочется вам сказать, что я чувствую тот грозный рок, про который мне сказал Риттих. Он раз сказал мне в Совете министров: "Знаете, опасайтесь, на вас глядит то, чего опасались римляне, — на вас глядит рок!" Он сказал мне это недели за три, за две до конца... Я чувствовал это... Я не боюсь решить свою жизнь, вы это понимаете, но я говорю, как странно! Действительно рок, действительно рок!.. ‹...›

В 1918 году "роковой человек" был расстрелян в Москве вместе с некоторыми другими бывшими министрами.

Конец Думы

<...> Тем временем, пока я еще был в Киеве, 3 января 1917 года в столице состоялось заседание Совета министров под председательством нового премьера.

Кто же заменил А.Ф.Трепова, изгнанного А.Д.Протопоповым?

Это был 67-летний князь Николай Дмитриевич Голицын. Самые обстоятельства его назначения показывают, до какой растерянности дошла власть.

"Я был совершенно не подготовлен к политической деятельности... Я по убеждениям был всегда монархист, был верноподданным, но никогда не выступал в Государственном совете с речами", — говорил князь.

Стоявший вдали от дел и заведовавший с 1915 года только Комитетом помощи русским военнопленным, Голицын неожиданно был вызван в Царское Село.

Напрасно старый князь умолял государя не назначать его премьером, просился в отставку, говоря, что он "мечтает только об отдыхе". Царь был неумолим, и 27 декабря 1916 года князь занял пост председателя Совета министров. Это был последний премьер империи.

А через шесть дней после этого Совет министров собрался на заседание, чтобы заняться "большой политикой". В чем же состояла эта политика? В разрешении продовольственного кризиса, транспортной разрухи или вопроса о том, как предотвратить катастрофический рост недовольства в народе, поднять дух армии? Ничуть не бывало. На повестке дня стоял лишь один вопрос — как обойти высочайший указ от 15 декабря 1916 года о созыве Государственной думы 12 января 1917 года.

Мнение Совета министров раскололось. Пять его членов высказались за соблюдение высочайшего указа об открытии Думы 12 января. При этом они говорили, что возможность созыва Думы в срок должна быть обеспечена соответствующими мероприятиями.

Председатель князь Н.Д.Голицын и восемь членов Совета находили, что при настоящем настроении думского большинства открытие Думы и появление в ней правительства неизбежно вызовет нежелательные и недопустимые выступления, следствием коих должен был явиться роспуск Думы и назначение новых выборов. Во избежание подобной крайней меры, председатель и согласные с ним члены Совета считали предпочтительным

на некоторое время отсрочить созыв Думы, назначив срок созыва на 31 января.

Однако вопрос решил министр внутренних дел А.Д.Протопопов, к мнению которого присоединились министр юстиции Н.А.Добровольский и обер-прокурор Синода Н.П.Раев. Они потребовали продолжить срок перерыва в занятиях Думы до 14 февраля 1917 года. Решение этого меньшинства и было утверждено государем.

* * *

<...> Это было 27 февраля 1917 года. Уже несколько дней мы жили на вулкане... Извержение началось. Улица заговорила.

* * *

Накануне поздно вечером, когда М.В.Родзянко вернулся к себе на квартиру, он нашел на письменном столе следующий указ, уже отпечатанный:

"На основании статьи 99 Основных государственных законов, повелеваем: занятия Государственной думы и Государственного совета прервать 26 февраля сего года и назначить срок их возобновления не позднее 1917 года, в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее распоряжение.

На подлинном собственною его императорского величества рукою написано: Николай.

В царской Ставке 25 февраля 1917 года.

Скрепил: председатель Совета министров князь Николай Голицын".

Это был последний царский указ. Это был конец Думы. Трагическая борьба царя с Думой закончилась.

* * *

Еще одно, последнее сказанье —
и летопись окончена моя...
. . . .
На старости я сызнова живу,
минувшее проходит предо мною —
давно ль оно неслось, событий полно,
волнуяся, как море-окиян?

Итак, finita la comedia*.

---

* Представление окончено (*ит.*).

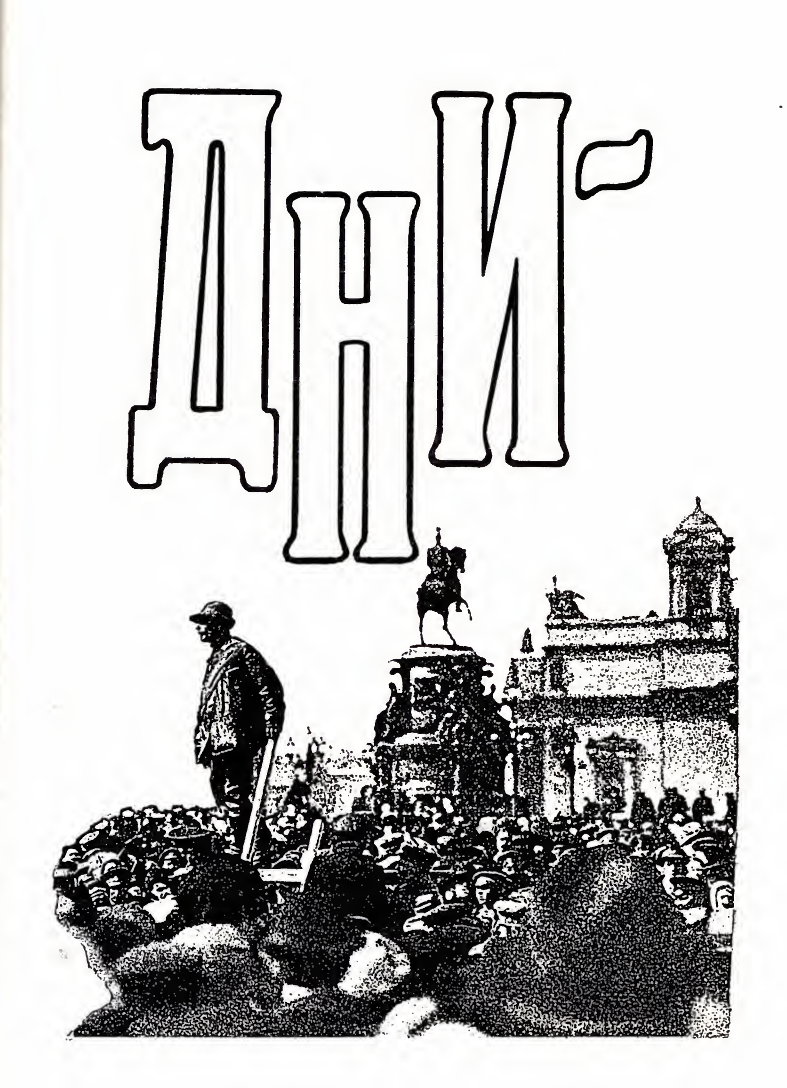
Кораблекрушение свершилось. Государственный корабль затонул, а с ним как его законодательный орган прекратила свое существование и Государственная дума.

Через два месяца после Февральской революции, 27 апреля 1917 года, в соединенном заседании оставшихся депутатов четырех Дум я говорил:

"Не скажу, чтобы вся Дума целиком желала революции. Это было бы неправдой... Но даже не желая этого, мы революцию творили... Нам от этой революции не отречься, мы с ней связались, мы с ней спаялись и несем за это моральную ответственность".

Этими словами я заканчиваю повествование об одной величайшей для меня трагедии в истории человечества.

Теперь на месте бывшей Российской империи возникла и развивается новая жизнь. Мне уже 98 лет. Я ухожу в иной мир, посылая привет и завет живущим. Учитесь на уроках прошлого. Не совершайте тех ошибок, которые совершили мы. А о том, что тлен и прах, не заботьтесь. Пусть мертвые хоронят мертвых. Вы же, живые, сохраните живой живую душу!


ДНИ

ЗАПИСКИ ШУЛЬГИНА

Записки Шульгина "Дни" интересны во многих отношениях. Для правильной их оценки необходимо принять во внимание эволюцию, проделанную российской буржуазией в период после пятого года, с одной стороны, и классовое происхождение и положение автора "Дней" — с другой.

Российская буржуазия в период после первой русской революции переживала быстрый процесс роста и политической самоорганизации. В эти годы власть сохраняется в руках дворянско-землевладельческих групп, переживающих в годы войны период разложения и падения сословного землевладения и роста буржуазно-землевладельческих группировок. Соответственно этому, наряду с политической самоорганизацией буржуазии, идет расслоение дворянско-землевладельческих групп и слияние отходящей от них буржуазной части с группировками буржуазии. Под влиянием мировой войны процесс этот шел особенно резко, особенно заметно. Этот процесс кончается захватом власти политически организованной буржуазией. В момент взятия власти со стороны буржуазии одинаково решительно и резко выступали как прежние, давнишние политические представители буржуазии, так и новые, теперь в последние годы перешедшие к ней вожди землевладельцев и националистов — Родзянко и Шульгин.

Записки Шульгина, охватывающие период с революции пятого года, как раз и интересны тем, что изображают процесс социальной и политической трансформации российской буржуазии, изображают процесс трансформации националистически-дворянско-землевладельческих групп. Интерес записок Шульгина в этом отношении усиливается еще тем, что сам автор записок вышел из крайне правого крыла дворянско-землевладельческой группы.

Монархист и националист, депутат Государственной думы, Шульгин был талантливым оратором и публицистом крайне правой непримиримой дворянской контрреволюции. В одной из своих речей Шульгин говорил: "Несомненно, крупное землевладение, что бы об этом ни говорили, что бы по этому поводу ни измышляли кадеты с братией, несомненно, крупное землевладение является самым культурным, самым развитым, самым независимым и самым способным к общественной деятельности элементом. Поместное землевладение всегда исполняло роль главы того большого числа, которое называется народом".

Идеолог и борец третьеиюньского режима, Шульгин чутко отражал те изменения, какие происходили в положении дворянско-землевладельческой группы. Война рассеяла иллюзии, поставив самодержавие во всей наготе перед империалистическими помещиками и буржуазией.

Монархия и самодержавие не способствовали, а препятствовали своей политикой победе помещиков и буржуазии. В то же время и экономически сословный базис трещал и колебался. Это, прежде всего, внесло глубокое разочарование в ряды монархистов. "Невольно, — пишет Шульгин, — в самые преданные... и самые верноподданные сердца, у которых почитание престола шестое чувство, невольно и неизбежно проникает отрава. Вытравляется монархическое чувство, остается только монархизм по убеждению, холодный, рассудочный..."

Но изменение классовых соотношений несло за собой не только разочарование, но и ставило вопрос о действии, о борьбе. Шульгин идет на соглашение с к.-д., он принимает энергичное участие в прогрессивном блоке, "блоке национальной борьбы", как характеризует он его в одной из своих речей. Сплачиваясь с буржуазией, Шульгин не только создает и организует силы для защиты буржуазных позиций от разлагающегося самодержавия, но он, предвидя революцию и отдавши все свои силы борьбе с ней, он и здесь, накануне революции, думает о борьбе с ней, обнаруживая недурные таланты стратега. По мысли Шульгина, надо обезглавить революцию. Предвидя возможность получения власти буржуазией, прогрессивным блоком, Шульгин говорил Шингареву: "Чтобы удержаться, придется взять разгон... знаете, на яхте... когда идете, скажем, левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход... если власть на нас свалится, при-

дется искать поддержки расширением прогрессивного блока налево..." И на вопрос Шингарева, как он себе это представляет, Шульгин говорит: "Я бы позвал Керенского... в качестве министра юстиции, допустим... Надо вырвать у революции ее главарей".

Этой тактической постановки вопроса Шульгин не забыл и в февральские дни. Когда людские волны заливали Таврический дворец, первой мыслью Шульгина были пулеметы. Но пулеметов у буржуазии в те дни не было, приходилось устраиваться без них. Буржуазия осталась один на один с восставшим народом. Подойдя вплотную к власти и боясь революции, отрицая революцию, борясь с революцией, буржуазия всех оттенков принуждена была вести активную политику и вскрыть свое отношение к самодержавию. Попытка при первых раскатах революции столковаться с самодержавием и путем вырванных у него уступок вырвать почву из-под ног у революции, расслоить ее — буржуазии не удалось.

Шульгин присутствовал при отречении от престола Николая, а затем и Михаила. Буржуазия в лице Родзянко и Шульгина ставила вопрос об отречении как тактическом мероприятии, развязывавшем им руки и усмиряющем революционную стихию. Само отречение являлось для нее актом не уничтожения, а сохранения монархии, собиранием сил на ее поддержку и защиту.

Все это показывает, насколько интересны воспоминания Шульгина. Но этот их исторический интерес выдвигает вопрос и об их исторической достоверности. "Дни" Шульгина не безыскусный рассказ, это не записки, набросанные в момент совершения события, это не просто воспоминания о пережитом — это, как указывает само название, как указывает содержание, — описание отдельных моментов — дней, — произведение с определенным планом, с продуманной конструкцией. "Дни" — это цельное, проникнутое одной мыслью, одним настроением литературное произведение.

Шульгин не затушевывает в "Днях" своих классовых симпатий и чаяний. В "Днях" имеется описание событий так, как их понимал и воспринимал активный сторонник и защитник монархии Романовых. Это не умаляет, а увеличивает ценность "Дней" как исторического источника, но это заставляет еще более критически относиться к тому, что сообщает Шульгин. Здесь есть и ошибочность восприятия, объяснимая классовой натурой Шульгина, здесь и ошибки умолчания, вызванные классовыми

целями Шульгина. Но, если сравнить "Дни" с тем, что дают другие буржуазные мемуаристы, особенно в той части, где "Дни" говорят о последних днях самодержавия и о тогдашней тактике буржуазии, приходится признать, что Шульгин изображает события довольно верно.

Буржуазия излагает свою роль в февральские дни пером Родзянко ("Государственная дума и Февральская 1917 года революция"), Шидловского ("Воспоминания"), Ломоносова ("Воспоминания о мартовской революции 1917 года"), Набокова ("Временное правительство"), Милюкова ("История 2-ой русской революции").

Сравнивая и оценивая показания Шульгина с показаниями других представителей буржуазии, приходится отметить, что изображение тогдашней роли буржуазии в "Днях" Шульгина совпадает с тем, что дано другими буржуазными мемуаристами. Шульгин изображает ее ярче, образнее, резче, но и там и тут одно и то же. Буржуазия не желала революции, она боролась с ростом революционных настроений в стране, пытаясь в течение войны через Думу речами заговорить революцию, дать выход революционным настроениям, дотянуть до "победы" на фронте.

Буржуазия встретила революцию враждебно и все свои силы употребила в февральские дни на то, чтобы уничтожить революцию, расслоить ее, вырвать из рук ее силу. Не имея в своих руках военной силы, она употребляла всю энергию на то, чтобы достать, приобрести, сорганизовать эту силу. Отсюда и активная борьба буржуазии за монархию. Шульгин присутствовал при целом ряде мало освещенных у других мемуаристов событий. В изображении настроения, общего темпа, общего тонуса событий он совпадает с буржуазными мемуаристами, но он все же не забывает подчеркнуть, что пишет он — Шульгин, монархист, а его союзники, сейчас защищающие его линию, остаются тем, чем они были — Милюковыми...

Иногда память изменяет Шульгину, и он путает подробности и ход событий, иногда замалчивает их, не называя полностью имен, но неизменно сохраняя общий тон. В целом же Шульгин дает историку очень много. Здесь все, вплоть до фразеологии, закончено и цельно. Книга дает яркое представление о том, из кого состоял "старый режим", что за люди были кровно связаны с ним, кто и как, какими приемами, каким образом боролся за него и как понимали сторонники буржуазии

борьбу за него. Записки Шульгина нельзя, невозможно пересказать. Их надо прочесть и перечесть, чтобы понять, как правы были те, кто провозглашал в период Февральской революции — "никакой поддержки Временному правительству", кто в самом факте создания Временного правительства видел открытое существование центра заговора буржуазии против революции и против рабочего класса.

С.Пионтковский

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего...

А.Блок

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В жизни каждого человека есть дни, которые следовало бы записать. Это такие "дни", которые могут представлять интерес не для него одного, а и для других.
Таких дней набралось некоторое число и в моей жизни. Так, по крайней мере, кажется мне, хотя я сознаю, что не легко угадать общий интерес из-за сбивающейся сетки собственных переживаний. Если я ошибся, буду утешать себя тем, чем льстят себя все мемуаристы: плохие записки современников — хороши для потомков.

Автор

Первый день "конституции"

(18-е октября 1905 года)

Мы пили утренний чай. Ночью пришел ошарашивающий манифест. Газеты вышли с сенсационными заголовками: "Конституция".

Кроме обычных членов семьи, за чаем был еще один поручик. Он был начальником караула, поставленного в нашей усадьбе.

Караул стоял уже несколько дней. "Киевлянин" шел резко против "освободительного движения"... Его редактор, профессор Дмитрий Иванович Пихно, принадлежал к тем немногим людям, которые сразу, по "альфе" (1905 г.), определили "омегу" (1917 г.) русской революции...

Резкая борьба "Киевлянина" с революцией удержала значительное число киевлян в контрреволюционных чувствах. Но, с другой стороны, вызвала бешенство революционеров. Ввиду этого, по приказанию высшей военной власти, "Киевлянин" охранялся.

Поручик, начальник караула, который пил с нами чай, был очень взволнован.

— Конституция, конституция, — восклицал он беспомощно. — Вчера я знал, что мне делать... Ну, придут, — я их должен не пустить. Сначала уговорами, а потом, если не послушают, — оружием. Ну, а теперь? Теперь что? Можно ли при конституции стрелять? Существуют ли старые законы? Или, быть может, меня за это под суд отдадут?

Он нервно мешал сахар в стакане. Потом вдруг, как бы найдя решение, быстро допил.

— Разрешите встать...

И отвечая на свои мысли:

— А все-таки, если они придут и будут безобразить, — я не позволю. Что такое конституция, я не знаю, а вот гарнизонный устав знаю... Пусть приходят...

Поручик вышел. Д.И. (Пихно) нервно ходил по комнате. Потом заговорил, прерывая себя, задумываясь, опять принимаясь говорить.

— Безумие было так бросить этот манифест, без всякой подготовки, без всякого предупреждения... Сколько таких поручиков теперь, которые не знают, что делать... которые гадают, как им быть "при конституции"... этот нашел свой выход... Дай бог, чтобы это был прообраз... чтобы армия поняла...

Но как им трудно, как им трудно будет... Как трудно будет всем. Офицерам, чиновникам, полиции, губернаторам и всем властям... Всегда такие акты подготовлялись... О них сообщалось заранее властям на места, и давались указания, как понимать и как действовать... А тут бухнули... Как молотом по голове... и разбирайся каждый молодец на свой образец.

Будет каша, будет отчаянная каша... Там, в Петербурге, потеряли голову из страха... или ничего, ничего не понимают... Я буду телеграфировать Витте, это бог знает что они делают, они сами делают революцию. Революция делается оттого, что в Петербурге трясутся. Один раз хорошенько прикрикнуть, и все станут на места... Это ведь все трусы, они только потому бунтуют, что их боятся. А если бы увидели твердость — сейчас спрячутся... Но в Петербурге не смеют, там сами боятся. Там настоящая причина революции — боязнь, слабость...

Теперь бухнули этот манифест. Конституция! Думают этим успокоить. Сумасшедшие люди! Разве можно успокоить явным выражением страха. Кого успокоить? Мечтательных конституционалистов. Эти и так на рожон не пойдут, а динамитчиков этим не успокоишь. Наоборот, теперь-то они и окрылятся, теперь-то они и поведут штурм.

Я уже не говорю по существу. Дело сделано. Назад не вернешь. Но долго ли продержится Россия без самодержавия — кто знает. Выдержит ли "конституционная Россия" какое-нибудь грозное испытание... "За веру, царя и отечество" — умирали, и этим создалась Россия. Но чтобы пошли умирать "за Государственную думу", — вздор.

Но это впереди. Теперь отбить штурм. Потому что будет штурм. Теперь-то они и полезут. Манифест, как керосином, их польет. И надежды теперь только на пору-

чиков. Да, вот на таких поручиков, как наш. Если поручики поймут свой долг, — они отобьют...

Но кто меня поражает — это евреи. Безумные, совершенно безумные люди. Своими руками себе могилу роют... и спешат, торопятся — как бы не опоздать... Не понимают, что в России всякая революция пройдет по еврейским трупам. Не понимают... Не понимают, с чем играют. А ведь близко, близко...

* * *

В доме произошло какое-то тревожное движение. Все бросились к окнам.

Мы жили в одноэтажном особнячке, занимавшем угол Караваевской и Кузнечной. Из угловой комнаты было хорошо видно. Сверху по Караваевской, от университета, надвигалась толпа. Синие студенческие фуражки перемешивались со всякими иными.

— Смотрите, смотрите... У них красные... красные значки...

Действительно, почти у всех было нацеплено что-то красное. Были и какие-то красные флаги с надписями, на которых трепалось слово "долой". Они все что-то кричали. Через закрытые окна из разинутых ртов вырывался рев, жуткий рев толпы.

— Ну, штурм начинается...

* * *

Рядом с нашим особнячком стоит трехэтажный дом: в нем помещались редакция и типография. Там, перед этой дразнящей вывеской "Киевлянин", должно было разыграться что-нибудь. Я бросился туда через двор. Во дворе я столкнулся с нашим поручиком. Он кричал на бегу:

— Караул — вон!!

Солдаты по этому крику выбегали из своего помещения. Выстроились.

— На-пра-во! Шагом марш! За мной!

Он беглым шагом повел взвод через ворота, а я прошел напрямик, через вестибюль.

Два часовых, взяв ружья наперевес, охраняли входную дверь. Толпа ревела, подзуживаемая студентами... Часовые иногда оглядывались быстренько назад, сквозь

стекло дверей, ожидая помощи. Толпа смелела, надвигалась, студенты были уже на тротуаре.

— Отойди, солдаты! Теперь свобода, конституция.

Часовые, не опуская штыков, уговаривали ближайших:

— Говорят же вам, господа, нельзя сюда! Проходите! Если вам свобода, так идите себе дальше. Ах ты, господи, а еще и образованные!

Но "образованные" не слушали уговоров "несознательных". Им нужно было добраться до ненавистной редакции "Киевлянина".

Наступил момент, когда часовым нужно было или стрелять, или у них вырвут винтовки. Они побледнели и стали жаться к дверям.

В это время подоспел поручик. Обогнув угол, поручик расчищал себе дорогу с револьвером в руках.

Через мгновение серый живой частокол, выстроившись у дверей, закрыл собой побледневших часовых.

— Назад! Осадите! Стрелять буду!

У поручика голос был звонкий и уверенный. Но студенты, как интеллигенты, не могли сдаться так просто...

— Господин офицер! Вы должны понимать! Теперь свобода! Теперь конституция!

— Конституция! Ура!

Электризуя самое себя, толпа ринулась...

Раздалась команда:

— По наступающей толпе — пальба — взводом!!!

Серый частокол выбросил левые ноги и винтовки вперед, и раздался характерный, не громкий, но ужасно четкий стук затворов...

* * *

Да, Д.И. был прав... Достаточно было строгого окрика, за которым "чувствуется твердая воля"...

Увидев, что с ними не шутят, толпа съежилась и, отругиваясь, осадила.

И в наступившей тишине раздалась негромкая команда, которую всегда почему-то произносят презрительным баском:

— Отставить!..

* * *

Я вышел пройтись. В городе творилось нечто небывалое. Кажется, все, кто мог ходить, были на улицах. Во

всяком случае, все евреи. Но их казалось еще больше, чем их было, благодаря их вызывающему поведению. Они не скрывали своего ликования. Толпа расцветилась на все краски. Откуда-то появились дамы и барышни в красных юбках. С ними соперничали красные банты, кокарды, перевязки. Все это кричало, галдело, перекрикивалось, перемигивалось.

Но и русских было много. Никто хорошенько ничего не понимал. Почти все надели красные розетки. Русская толпа в Киеве, в значительной мере по старине монархическая, думала, что раз государь дал манифест, то, значит, так и надо, — значит, надо радоваться. Подозрителен был, конечно, красный маскарад. Но ведь теперь у нас конституция. Может быть, так и полагается.

Потоки людей со всех улиц имели направление на главную — на Крещатик. Здесь творилось нечто грандиозное.

Толпа затопила широкую улицу от края до края. Среди этого моря голов стояли какие-то огромные ящики, также увешанные людьми. Я не сразу понял, что это остановившиеся трамваи. С крыш этих трамваев какие-то люди говорили речи, размахивая руками, но, за гулом толпы, ничего нельзя было разобрать. Они разевали рты, как рыбы, брошенные на песок. Все балконы и окна были полны народа.

С балконов также силились что-то выкричать, а из-под ног у них свешивались ковры, которые побагровее, и длинные красные полосы, очевидно, содранные с трехцветных национальных флагов.

Толпа была возбужденная, в общем, радостная, причем радовались — кто как: иные назойливо, другие ”тихой радостью”, а все вообще дурели и пьянели от собственного множества. В толпе очень гонялись за офицерами, силясь нацепить им красные розетки. Некоторые согласились, не понимая, в чем дело, не зная, как быть, — раз ”конституция”. Тогда их хватали за руки, качали, несли на себе... Кое-где были видны беспомощные фигуры этих едущих на толпе...

Начиная от Николаевской, толпа стояла, как в церкви. Вокруг городской думы, залив площадь и прилегающие улицы, а особенно Институтскую, человеческая гуща еще более сгрудилась...

Старались расслышать ораторов, говоривших с думского балкона. Что они говорили, трудно было разобрать...

Несколько в стороне от думы неподвижно стояла какая-то часть в конном строю.

* * *

Я вернулся домой.

Там сцены, вроде утрешней, повторялись уже много раз. Много раз подходила толпа, вопила, угрожала, стремилась ворваться. Они требовали во имя чего-то, чтобы все газеты, а в особенности ”Киевлянин”, забастовали.

Но киевлянинские наборщики пока держались. Они нервничали, правда, да и нельзя было не нервничать, потому что этот рев толпы наводил жуть на душу. Что может быть ужаснее, страшнее, отвратительнее толпы? Из всех зверей она — зверь самый низкий и ужасный, ибо для глаза имеет тысячу человеческих голов, а на самом деле одно косматое, звериное сердце, жаждущее крови...

С киевлянинскими наборщиками у нас были своеобразные отношения. Многие из них работали на ”Киевлянине” так долго, что стали как бы продолжением редакционной семьи. Д.И. был человек строгий, совершенно чуждый сентиментальностей, но очень добрый, — как-то справедливо, разумно добрый. Его всегда беспокоила мысль, что наборщики отравляются свинцом, и, вообще, он находил, что это тяжелый труд. Поэтому киевлянинские наборщики ежегодно проводили один месяц у нас в имении — на отдыхе. По-видимому, они это ценили. Как бы там ни было, но Д.И. твердо им объявил, что ”Киевлянин” должен выйти во что бы то ни стало. И пока они держались — набирали...

* * *

Между тем около городской думы атмосфера нагревалась. Речи ораторов становились все наглее, по мере того как выяснилось, что высшая власть в крае растерялась, не зная, что делать. Манифест застал ее врасплох, никаких указаний из Петербурга не было, а сами они боялись на что-нибудь решиться.

И вот с думского балкона стали смело призывать ”к свержению” и ”к восстанию”. Некоторые из близстоящих начали уже понимать, к чему идет дело, но дальнейшие ничего не слышали и ничего не понимали. Революционеры приветствовали революционные лозунги, крича-

ли "ура" и "долой", а огромная толпа, стоявшая вокруг, подхватывала...

Конная часть, что стояла несколько в стороне от думы, по-прежнему присутствовала, неподвижная и бездействующая.

Офицеры тоже еще ничего не понимали.

Ведь конституция!..

* * *

И вдруг многие поняли...

Случилось это случайно или нарочно — никто никогда не узнал... Но во время разгара речей о "свержении" царская корона, укрепленная на думском балконе, вдруг сорвалась или была сорвана и на глазах у десятитысячной толпы грохнулась о грязную мостовую. Металл жалобно зазвенел о камни...

И толпа ахнула.

По ней зловещим шепотом пробежали слова:

— Жиды сбросили царскую корону...

* * *

Это многим раскрыло глаза. Некоторые стали уходить с площади. Но вдогонку им бежали рассказы о том, что делается в самом здании думы.

А в думе делалось вот что.

Толпа, среди которой наиболее выделялись евреи, ворвалась в зал заседаний и в революционном неистовстве изорвала все царские портреты, висевшие в зале. Некоторым императорам выкалывали глаза, другим чинили всякие другие издевательства. Какой-то рыжий студент-еврей, пробив головой портрет царствующего императора, носил на себе пробитое полотно, исступленно крича:

— Теперь я — царь!

* * *

Но конная часть в стороне от думы все еще стояла неподвижная и безучастная. Офицеры все еще не поняли.

Но и они поняли, когда по ним открыли огонь из окон думы и с ее подъездов.

Тогда наконец до той поры неподвижные серые

встрепенулись. Дав несколько залпов по зданию думы, они ринулись вперед.

Толпа в ужасе бежала. Все перепуталось — революционеры и мирные жители, русские и евреи. Все бежали в панике, и через полчаса Крещатик был очищен от всяких демонстраций. "Поручики", разбуженные выстрелами из летаргии, в которую погрузил их манифест с "конституцией", исполняли свои обязанности...

* * *

Приблизительно такие сцены разыгрались в некоторых других частях города. Все это можно свести в следующий бюллетень:

Утром: праздничное настроение — буйное у евреев, по "высочайшему повелению" — у русских; войска — в недоумении.

Днем: революционные выступления: речи, призывы, символические действия, уничтожение царских портретов, войска — в бездействии.

К сумеркам: нападение революционеров на войска, пробуждение войск, залпы и бегство.

* * *

У нас, на Караваевской, с наступлением темноты стало жутче. Наборщики еще набирали, но очень тряслись. Они делали теперь так: тушили электричество, когда подходила толпа, и высылали сказать, что работа прекращена. Когда толпа уходила, они зажигали снова и работали до нового нашествия. Но становилось все трудней.

* * *

Я время от времени выходил на улицу. Было темно, тепло и влажно. Как будто улицы опустели, но чувствовался больной, встревоженный пульс города.

* * *

Однажды, когда я вернулся, меня встретила во дворе группа наборщиков.

Они, видимо, были взволнованы. Я понял, что они только что вышли от Д.И.

— Невозможно, Василий Витальевич, мы бы сами хотели, да никак. Эти проклятые у нас были.

— Кто?

— Да от забастовщиков, от "комитета". Грозятся: "Вы тут под охраной работаете, так мы ваши семьи вырежем!" Ну, что же тут делать?! Мы сказали Дмитрию Ивановичу: хотим работать и никаких этих "требований" не предъявляем, — но боимся...

— А он что?

— А он так нам сказал, что, верите, Василий Витальевич, сердце перевернулось. Никаких сердитых слов, а только сказал: "Прошу вас не для себя, а для нас самих и для России... Нельзя уступать!.. Если им сейчас уступить, они все погубят, и будете сами без куска хлеба, и Россия будет такая же!.." И правда, так будет... И знаем и понимаем... Но не смеем, — боимся... за семьи... Что делать?..

Мне странно было видеть эти с детства совершенно по-иному знакомые лица такими разволнованными и такими душевными.

Все они толпились вокруг меня в полутьме плохо освещенного двора и рассказывали мне перебивающимися голосами. Я понял, что эти люди искренно хотели бы "не уступить", но... страшно...

И вправду, есть ли что-нибудь страшнее толпы?..

* * *

Они ушли, двое осталось. Это был Ш...о и еще другой — самые старые наборщики "Киевлянина".

Ш...о схватил меня за руки.

— Василий Витальевич! Мы наберем!.. Вот нас двое... Один лист наберем — две страницы... Ведь тут не то важно, чтоб много, а чтоб не уступить... И чтобы статья Дмитрия Ивановича вышла... Мы все знаем, все понимаем...

Он тряс мне руки.

— Сорок лет я над этими станками работал — пусть над ними и кровь пролью... Василий Витальевич, дайте рублик... на водку!.. Не обижайтесь — для храбрости... Страшно!.. Пусть кровь пролью — наберу "Киевлянин"...

Он был уже чуточку пьян и заплакал. Я поцеловал старика и сунул ему деньги, он побежал в темноту улицы за водкой...

* * *

— Ваше благородие! Опять идут.

Это было уже много раз в этот день.

— Караул, вон! — крикнул поручик.

Взвод строился. Но в это время солдат прибежал вторично.

— Ваше благородие! Это какие-то другие.

Я прошел через вестибюль. Часовой разговаривал с какой-то группой людей. Их было человек тридцать. Я вошел в кучку.

— Что вы хотите, господа?

Они стали говорить все вместе.

— Господин офицер... Мы желали... мы хотели... редактора "Киевлянина"... профессора... то есть господина Пихно... мы к нему... да... потому что... господин офицер... разве так возможно?! что они делают!.. какое они имеют право?! корону сбросили... портреты царские порвали... как они смеют!.. мы хотели сказать профессору...

— Вы хотели его видеть?

— Да, да... Господин офицер... нас много шло... сотни, тысячи... Нас полиция не пустила... А так как мы, то есть не против полиции, так мы вот разбились на кучки... вот нам сказали, чтобы мы непременно дошли до "Киевлянина", чтобы рассказать профессору... Дмитрию Ивановичу...

Д.И. был в этот день страшно утомлен. Его целый день терзали. Нельзя перечислить, сколько народа перебывало в нашем маленьком особнячке. Все это жалось к нему, ничего не понимая в происходящем, требуя указания, объяснений, совета и поддержки. Он давал эту поддержку, не считая своих сил. Но я чувствовал, что и этим людям отказать нельзя. Мы были на переломе. Эти пробившиеся сюда — это пена обратной волны...

— Вот что... всем нельзя. Выберите четырех... Я провожу вас к редактору.

* * *

В вестибюле редакции.

— Я редактор "Киевлянина". Что вам угодно?

Их было четверо: три в манишках и в ботинках, четвертый в блузе и сапогах.

— Мы вот... вот я, например, парикмахер... а вот они...

— Я — чиновник: служу в акцизе... по канцелярии.

— А я — торговец. Бакалейную лавку имею... А это — рабочий.

— Да, я — рабочий... Слесарь... эти жиды св...

— Подождите, — перебил его парикмахер, — так вот мы, г. редактор, люди, так сказать, разные, т.е. разных занятий...

— Ваши подписчики, — сказал чиновник.

— Спасибо вам, г. редактор, что пишете правду, — вдруг, взволновавшись, сказал лавочник.

— А почему?.. Потому, что не жидовская ваша газета, — пробасил слесарь.

— Подождите, — остановил его парикмахер, — мы, так сказать, т.е. нам сказали: "Идите к редактору "Киевлянина", господину профессору, и скажите ему, что мы так не можем, что мы так не согласны... что мы так не позволим..."

— Какое они имеют право! — вдруг страшно рассердился лавочник. — Ты красной тряпке поклоняешься, — ну и черт с тобой! А я трехцветной поклоняюсь. И отцы и деды поклонялись. Какое ты имеешь право мне запрещать?..

— Бей жидов, — зазвенел рабочий, как будто ударил молотом по наковальне.

— Подождите, — еще раз остановил парикмахер, — мы пришли, так сказать, чтобы тоже... Нет, бить не надо, — обратился он к рабочему. — Нет, не бить, а, так сказать, мирно. Но чтобы всем показать, что мы, так сказать, не хотим... так не согласны... так не позволим...

— Господин редактор, мы хотим тоже, как они, демонстрацию, манифестацию... Только они с красными, а мы с трехцветными...

— Возьмем портрет государя императора и пойдем по всему городу... Вот что мы хотим... — заговорил лавочник. — Отслужим молебен и крестным ходом пойдем...

— Они с красными флагами, а мы с хоругвями...

— Они портреты царские рвут, а мы их, так сказать, всенародно восстановим...

— Корону сорвали, — загудел рабочий. — Бей их, бей жидову, сволочь проклятую!..

— Вот что мы хотим... за этим шли... чтобы узнать... хорошо ли?.. Ваше, так сказать, согласие...

Все четверо замолчали, ожидая ответа. По хорошо мне знакомому лицу Д.И. я видел, что с ним происходит. Это лицо, такое в обычное время незначительное, теперь... серые, добрые глаза из-под сильных бровей и эта глубокая складка воли между ними.

— Вот что я вам скажу. Вам больно, вас жжет?.. И меня жжет. Может быть, больнее, чем вас... Но есть больше того, чем то, что у нас с вами болит... Есть Россия... Думать надо только об одном: как ей помочь... Как помочь этому государю, против которого они повели штурм... Как ему помочь. Ему помочь можно только одним: поддержать власти, им поставленные. Поддержать этого генерал-губернатора, полицию, войска, офицеров, армию... Как же их поддержать? Только одним: соблюдайте порядок. Вы хотите "по примеру их" манифестацию, патриотическую манифестацию... Очень хорошие чувства ваши, святые чувства, — только одно плохо, — что "по примеру их" вы хотите это делать. Какой же их пример? Начали с манифестации, а кончили залпами. Так и вы кончите... Начнете крестным ходом, а кончите такими делами, что по вас же властям стрелять придется... И не в помощь вы будете, а еще страшно затрудните положение власти... потому что придется властям на два фронта, на две стороны бороться... И с ними и с вами. Если хотите помочь, есть только один способ, один только.

— Какой, какой? Скажите. За тем и шли...

— Способ простой, хотя и трудный: "все по местам". Все по местам. Вот вы парикмахер — за бритву. Вы торговец — за прилавок. Вы чиновник — за службу. Вы рабочий — за молот. Не жидов бить, а молотом — по наковальне. Вы должны стать "за труд", за ежедневный честный труд, — против манифестации и против забастовки. Если мы хотим помочь власти, дадим ей исполнить свой долг. Это ее долг усмирить бунтовщиков. И власть это сделает, если мы от нее отхлынем, потому что их на самом деле немного. И они хоть наглецы, но подлые трусы...

— Правильно, — заключил рабочий. — Бей их, сволочь паршивую!!!

* * *

Они ушли, снаружи как будто согласившись, но внутри неудовлетворенные. Когда дверь закрылась, Д.И.

как-то съежился, потом махнул рукой, и в глазах его было выражение, с которым смотрят на нечто неизбежное:

— Будет погром...

* * *

Через полчаса из разных полицейских участков позвонили в редакцию, что начался еврейский погром.

Один очевидец рассказывает, как это было в одном месте:

— Из бани гурьбой вышли банщики. Один из них взлез на телефонный столб. Сейчас же около собралась толпа. Тогда тот со столба начал кричать:

— Жиды царскую корону сбросили!.. Какое они имеют право? Что же, так им позволим? Так и оставим? Нет, братцы, врешь!

Он слез со столба, выхватил у первого попавшегося человека палку, перекрестился и, размахнувшись, со всей силы бахнул в ближайшую зеркальную витрину. Стекла посыпались, толпа заулюлюкала и бросилась сквозь разбитое стекло в магазин...

И пошло...

* * *

Так кончился первый день ”конституции”...

Второй день ”конституции”

19 октября 1905 года ”Киевлянин” все-таки вышел. Старый наборщик выполнил свое обещание и набрал две страницы. Больше в Киеве не вышло ни одной газеты. Все они ознаменовали нарождение нового политического строя тем, что сами себе заткнули рот. Впрочем, если не ошибаюсь, это же произошло во всех других городах России.

* * *

Еще в сентябре я был призван (по последней мобилизации) в качестве ”прапорщика запаса полевых инженерных войск”. Но на войну я не попал, так как ”граф полусахалинский”, как в насмешку называли Сергея Юльеви-

ча Витте (он отдал японцам пол-Сахалина), заключил мир. Но домой меня пока не отпускали. И я служил младшим офицером в 14-м саперном батальоне в Киеве. Накануне у меня был ”выходной день”, но 19 октября я должен был явиться в казармы.

* * *

— Рота напра...во!!!

Длинный ряд серых истуканчиков сделал — ”раз”, то есть каждый повернулся на правой ноге, и сделал — ”два”, то есть каждый пристукнул левой. От этого все стали друг другу ”в затылок”.

— Шагом!.. — закричал ротный протяжно... И тихонько — фельдфебелю:

— Обед пришлешь в походной кухне.

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

— Марш!!! — рявкнул ротный, точно во рту у него лопнул какой-то сильно напряженный шар, рассыпавший во все стороны энергическое ”рр”.

Истуканчики твердо, ”всей левой ступней”, приладонили пол, делая первый шаг... И затем мерно закачались, двумя серыми змейками выливаясь через открытые двери казармы.

* * *

— Куда мы идем?

— На Димиевку.

Димиевка — это предместье Киева. Ротный, в свою очередь, спросил:

— Не знаете, что там? Беспорядки?

Я ответил тихонько, потому что знал.

— Еврейский погром.

— Ах, погром...

По его лицу прошло что-то неуловимое, что я тем не менее очень хорошо уловил...

* * *

— Возьмите четвертый взвод и идите с этим... надзирателем. Ну, и там действуйте... — приказал мне ротный.

Кажется, первый раз в жизни мне приходилось ”действовать”...

— Четвертый взвод, слушай мою команду! Шагом... марш!..

Я с удивлением слушал свой голос. Я старался рассыпать "рр", как ротный, но ничего не вышло. А, впрочем, ничего. Они послушались — это самое главное.

Пошли. Полицейский надзиратель ведет...

* * *

Грязь. Маленькие домишки. Беднота. Кривые улицы. Но пока — ничего. Где-то что-то кричат. Толпа... Да. Но где?

Здесь тихо. Людей мало. Как будто даже слишком мало. Это что?

Да — там в переулке. Я подошел ближе.

Старый еврей в полосатом белье лежал, раскинув руки, на спине. Иногда он судорожно поводил ногами.

Надзиратель наклонился:

— Кончается...

Я смотрел на него, не зная, что делать.

— Отчего его убили?

— Стреляли, должно быть... Тут только тех убивали, что стреляли...

— Разве они стреляют?

— Стреляют... "Самооборона"...

Не зная, что делать, я поставил на этом перекрестке четырех человек. Дал им приказание в случае чего бежать за помощью. Пересчитал остальных. У меня осталось тринадцать... Не много...

Мы пошли дальше и за одним поворотом наткнулись...

* * *

Это была улица, по которой прошелся "погром".

— Что это? Почему она белая?..

— Пух... Пух из перин, — объяснил надзиратель.

— Без зимы снег! — сострил кто-то из солдат.

Страшная улица... Обезображенные жалкие еврейские халупы... Все окна выбиты... Местами выбиты и рамы... Точно ослепшие, все эти грязные лачуги. Между ними, безглазыми, в пуху и в грязи — вся жалкая рухлядь этих домов, перекалеченная, переломанная... нелепо раскорячившийся стол, шкаф с проломанным днищем, словно желтая рана, комод с вываливающимися внутренностями... Стулья, диваны, матрацы, кровати, занавески, тряпье... полувдавленные в грязь, разбитые тарелки, по-

луразломанные лампы, осколки посуды, остатки жалких картин, смятые стенные часы — все, что было в этих хибарках, искромсанное, затоптанное ногами... Но страшнее всего эти слепые дома. Они все же смотрят своими безглазыми впадинами, — таращат их на весь этот нелепый и убогий ужас...

* * *

Мы прошли эту улицу. Это что?

Двухэтажный каменный дом. Он весь набит кишащим народом. Вся лестница полна, и сквозь открытые окна видно, что толпа залила все квартиры.

Я перестроил людей и во главе двух серых струек втиснулся в дом... И все совершилось невероятно быстро. Несколько ударов прикладами — и нижний этаж очищен. Во втором этаже произошла паника. Некоторые, в ужасе перед вдруг с неба свалившимися солдатами, бросаются в окна. Остальные мгновенно очищают помещение. Вот уже больше никого. Только в одной комнате солдат бьет какого-то упрямящегося человека. Ко мне бросается откуда-то взявшаяся еврейка:

— Ваше благородие, что вы делаете! Это же наш спаситель...

Я останавливаю солдата. Еврейка причитает:

— Это же наш дворник... Он же наш единственный защитник...

Passage...*

* * *

Этот дом выходил на очень большую площадь. В окна я увидел, что там собралась толпа — не менее тысячи человек. Я сошел вниз и занял выжидательную позицию.

Площадь была так велика, что эта большая толпа занимала только кусочек ее. Они стояли поодаль и, видимо, интересовались нами. Но не проявляли никаких враждебных действий или поползновений грабить. Стоят. Тем не менее я решил их "разогнать": пока я здесь, они — ничего, как только уйду — бросятся на дома. Иначе — для чего им тут стоять.

Я развернул взвод фронтом и пошел на них. В эту минуту я вдруг почувствовал, что мои люди совершенно в

---

* Пассаж (*фр.*).

моей власти. Мне вовсе не нужно было вспоминать "уставные команды", они понимали каждое указание руки. Когда это случилось, — ни они, ни я не заметили, но они вдруг сделались "продолжением моих пальцев", что ли. Это незнакомое до сих пор ощущение наполняло меня какой-то бодростью.

Подходя к толпе, я на ходу приказал им "разойтись". Они не шевельнулись.

— На руку...

Взвод взял штыки наперевес. Толпа побежала.

Побежала с криком, визгом и смехом. Среди них было много женщин — хохлушек и мещанок предместья.

Они оборачивались на бегу и смеялись нам в лицо.

— Господин офицер, зачем вы нас гоните?! Мы ведь — за вас.

— Мы — за вас, ваше благородие. Ей-богу, за вас!..

Я посмотрел на своих солдат. Они делали страшные лица и шли с винтовками наперевес, но дело было ясно.

Эта толпа — "за нас", а мы — "за них"...

* * *

Я провозился здесь довольно долго. Только я их разгоню — как через несколько минут они соберутся у того края пустыря. В конце концов это обращалось в какую-то игру. Им положительно нравились эти маневры горсточки солдат, покорных каждому моему движению. При нашем приближении поднимался хохот, визг, заигрывание с солдатами и аффектированное бегство. Ясно, что они нас нисколько не боятся. Чтобы внушить им, что с ними не шутят, надо было бы побить их или выпалить...

Но это невозможно. За что?.. Они ничего не делали. Никаких поползновений к грабежу. Наоборот, демонстративное подчинение моему приказанию "разойтись". Правда, разбегаются, чтобы собраться опять...

Запыхавшись, я наконец понял, что гоняться за ними глупо. Надо занять выжидательную позицию.

* * *

Мы стоим около какого-то дома. Я рассматриваю эту толпу. Кроме женщин, которых, должно быть, половина, тут самые разнообразные элементы: русское насе-

13 3196

ление предместья и крестьяне пригородных деревень. Рабочие, лавочники-бакалейщики, мастеровые, мелкие чиновники, кондуктора трамваев, железнодорожники, дворники, хохлы разного рода — все, что угодно.

Понемногу они пододвигаются ближе. Некоторые совсем подошли и пытаются вступить в разговор. Кто-то просил разрешения угостить солдат папиросами. Другие принесли белого хлеба. Да, положительно, эти люди — "за нас". Они это всячески подчеркивают и трогательно выражают. И этому дыханию толпы трудно не поддаваться.

Ведь идет грозная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. Вчера начался штурм исторической России. Сегодня... сегодня это ее ответ. Это ответ русского простонародного Киева — Киева, сразу, по "альфе", понявшего "омегу"... Этот ответ принял безобразные формы еврейского погрома, но ведь рвать на клочки царские портреты было тоже не очень красиво... А ведь народ только и говорил об этом... Только и на языке:

— Жиды сбросили царскую корону.

И они очень чувствовали, что войска, армия, солдаты, и в особенности офицеры, неразрывно связаны с этой царской короной, оскорбленной и сброшенной. И поэтому-то и словами и без слов они стремились выразить:

— Мы — за вас, мы — за вас...

* * *

Пришел полицейский надзиратель и сказал, что на такой-то улице идет "свежий" погром и что туда надо спешить.

Мы сначала сорвались бегом, но выходились на каком-то глинистом подъеме. В это время из-за угла на нас хлынул поток людей.

Это была как бы огромная толпа носильщиков. Они тащили на себе все, что может вмещать человеческое жилье. Некоторые, в особенности женщины, успели сделать огромные узлы. Но это были не погромщики. Это была толпа, такая же, как там на площади, толпа пассивная, "присоединяющаяся"...

Я понял, что нам нужно спешить туда, где громят. Но вместе с тем я не мог же хладнокровно видеть эти подлые узлы.

— Бросить сейчас!

Мужчины покорно бросали. Женщины пробовали протестовать. Я приказал людям на ходу отбирать награбленное. А сам спешил вперед, чувствуя, что там нужно быть. Оттуда доносились временами дикое и жуткое улюлюканье, глухие удары и жалобный звон стекла.

Вдруг я почувствовал, что солдаты от меня отстали. Обернулся. Боже мой!

Они шли нагруженные, как верблюды. Чего на них только не было! Мне особенно бросились в глаза: самовар, сулея наливки, мешок с мукой, огромная люстра, половая щетка.

— Да бросьте, черт вас возьми!

* * *

Вот разгромленная улица. Это отсюда поток людей. Сквозь разбитые окна видно, как они там грабят, тащат, срывают... Я хотел было заняться выбрасыванием их из домов, но вдруг как-то сразу понял "механизм погрома"...

Это не они — не эти. Эти только тащат... Там дальше, там должна быть "голова погрома", — те, кто бросается на целые еще дома. Там надо остановить... Здесь уже все кончено...

* * *

Вот...

Их было человек тридцать. Взрослые (по-видимому, рабочие) и мальчишки-подростки... Все они были вооружены какими-то палками. Когда я их увидел, они только что атаковали "свежий дом" — какую-то одноэтажную лачугу. Они сразу подбежали было к дому, но потом отступили на три-четыре шага... Отступили с особенной ухваткой, которая бывает у профессиональных мордобоев, когда они собираются "здорово" дать в ухо... И действительно, изловчившись и взявши разбег, они изо всех сил, со всего размаха "вдарили" в окна... Точно дали несчастной халупе ужасающе звонкую оплеуху... От этих страшных пощечин разлетелись на куски оконные рамы... А стекла звоном зазвенели, брызнув во все стороны. Хибарка сразу ослепла на все глаза, толпа за моей спиной взвыла и заулюлюкала, а банда громил бросилась на соседнюю лачугу.

* * *

Тут мы их настигли... Я схватил какого-то мальчишку за шиворот, но он так ловко покатился кубарем, что выскользнул у меня из рук... Другого солдат сильно ударил прикладом в спину между лопатками... Он как-то вроде как бы икнул, — грудью вперед... Я думал, что он свалится... но он справился и убежал... Несколько других эпизодов, таких же, произошло одновременно... Удары прикладами, не знаю уж, действительные или симулированные, — и бегство...

И все...

* * *

Мы на каком-то углу. Влево от меня разгромленная улица, которую мы только что прошли, вправо — целая, которую мы "спасли". Погром прекратился... Громилы убежали, оставив несколько штук своего оружия, которое мне показалось палками... На самом деле это были куски железных, должно быть, водопроводных труб.

Толпа же, сама по себе, без "инициативной группы", не способна грабить. В нашем присутствии она даже не пробует громить... Евреев не видно совсем. Они или перебежали в соседний квартал, или прячутся где-то здесь — в русских домах... Но их не видно... Не видно ни убитых, ни раненых. Нет их, по-видимому, и в разбитых домах. У меня такое впечатление, что здесь обошлось без человеческих жертв. Мне вспоминаются слова полицейского надзирателя:

— Убивают тех, кто стреляет...

* * *

Толпа собирается вокруг нас, жмется к нам. Чего им нужно?

Им хочется поговорить. У них какое-то желание оправдаться, объяснить, почему они это делают, — если не громят, то грабят, если не грабят, то допускают грабить... И они заговаривают на все лады...

И все одно и то же...

— Жиды сбросили корону, жиды порвали царские портреты, как они смеют, мы не желаем, мы не позволим!..

И они горячились, и они накалялись.

Вокруг меня толпа сомкнулась. Она запрудила перекресток с четырех сторон... Тогда я взлез на тумбу и сказал им речь. Едва ли это не была моя первая политическая речь. Вокруг меня было русское простонародье, глубоко оскорбленное... Их чувства были мне понятны... но их действия были мне отвратительны. Так я и сказал:

— Вчера в городской думе жиды порвали царские портреты... За это мы в них стреляли... Мы — армия... И если это еще когда-нибудь случится, — опять стрелять будем... И не вы им "не позволите", а мы не позволим. Потому что для того мы и состоим на службе у его императорского величества... чтобы честь государя и государства русского защищать. И этой нашей службы мы никому, кроме себя, исполнять не позволим. И вам не позволим. Это наше дело, а не ваше. А почему? А потому хотя бы, что вы и разобрать толком не можете и зря, неправильно, несправедливо, незаслуженно поступаете. Кого бьете, кого громите?.. Тех разве, кто царские портреты порвал вчера в думе? Нет — это мы по ним стреляли, а вы даже знать не ведали, когда вчера дело было... А вот теперь, сегодня, задним числом разыгрались. И кого же бьете? Вот этих ваших жидков димиевских, что в этих халупах паршивых живут? Янкеля и Мошку, что керосином торгуют на рубль в день, — что же, он портреты царские рвал, — он, да?.. Или жена его, Хайка, — она корону сбросила?

В толпе произошло движение. В задних рядах кто-то сказал:

— Это правильно их благородие говорит.

Я воспользовался этим.

— Ну, так вот... И говорю вам еще раз: вчера мы в жидов стреляли за дело, а сегодня... сегодня вы хотите царским именем прикрыться и ради царя вот то делать, что вы делаете... Ради царя хотите узлы чужим добром набивать!.. Возьмете портреты и пойдете — впереди царь, а за царем — грабители и воры... Этого хотите?.. Так вот заявляю вам: видит бог, запалю в вас, если не прекратите гадости...

Опять сильное движение в толпе. Вдруг как бы что-то прорвало. Какой-то сильный рыжий мужчина без шапки, с голыми руками и в белом фартуке закричал:

— Ваше благородие! Да мы их не трогаем! У нас вот смотрите, руки голые!

Он тряс в воздухе своими голыми руками.

— А они зачем в нас стреляют с револьверов?

— Верно, правильно, — подхватили в разных местах. — Зачем они в нас стреляют?

Я хотел что-то возразить и поднял руку.

На мгновение опять стало тихо... Но вдруг, как будто в подтверждение, в наступившую тишину резко ворвался треск браунинга.

Толпа взъелась.

— А что!.. Вот вам... Ваше благородие, это что же?! Вы говорите...

Я хотел что-то прокричать, но звонкий тенор в задних рядах зазвенел, покрывая все:

— Бей их, жидову, сволочь проклятую...

И к небу взмылось дикое, улюлюкающее:

— Бей!!!

Толпа ринулась по направлению выстрела. Рассуждать было некогда.

— Взвод, ко мне!!!

* * *

Мне удалось все же опередить толпу. Теперь мы двигались так.

Передо мною была узкая кривая улочка. За моей спиной цепочка взвода, от стенки до стенки... За солдатами сплошная масса толпы, сдерживаемая каемкой тринадцати серых шинелей.

Впереди раздалось несколько выстрелов. Толпа взвыла.

Я велел зарядить винтовки. Люди волновались, и дело не ладилось. Наконец справились. Двинулись дальше. Завернули за угол. Это что?..

* * *

Улочка выводила на небольшую площадь. И вот из двухэтажного дома, напротив, выбежало шесть или семь фигур — еврейские мальчишки не старше двадцати лет... Выстроились в ряд. Что они будут делать... В то же мгновение я понял: они выхватили револьверы и, нелепые и дрожащие, дали залп по мне и по моим солдатам... Выстрелили и убежали.

Я успел охватить взглядом цепочку и убедиться, что никто не ранен. Но вслед за этим произошло нечто необычно быстрое... Толпа, которая была за моей спиной, убежала другим переулком, очутилась как-то сбоку и

впереди меня — словом, на свободе — и бросилась по направлению к злосчастному двухэтажному дому...

* * *

— Взвод, ко мне!..

Я успел добежать до дома раньше толпы и стоял спиной к нему, раскинувши руки. Это был жест — приказ, по которому взвод очень быстро выстроился за мной. Толпа остановилась.

В это время — выстрелы с верхнего этажа.

— Ваше благородие, в спину стреляют.

Я сообразил, что надо что-то сделать.

— Вторая шеренга, кругом...

Шесть серых повернулось. Но толпа пришла в бешенство от выстрелов и, видя перед собой только семь солдат (первая шеренга), подавала все признаки, что сейчас выйдет из повиновения.

— Стреляют, сволочь... Как они смеют?.. У нас руки голые... Бей их, бей жидову! Там-тарарам их, перетрам-тарарам...

Они завыли и заулюлюкали так, что стало жутко. И бросились.

Я решился на последнее:

— По наступающей толпе... и по дому... пальба... взводом!!!

Серые выбросили левые ноги и винтовки вперед, и взвод ощетинился штыками в обе стороны, приготовившись...

Наступила критическая минута. Если бы они двинулись, я бы запалил. Непонятным образом они это поняли.

И остановились.

Я воспользовался этим и прокричал:

— Если вы мне обещаете, что не тронетесь с места, я войду в дом и арестую того, кто стрелял. А если двинетесь, палить буду.

Среди них произошел какой-то летучий обмен, и выделилась новая фигура, я его не видел раньше.

Это был, что называется, ”босяк” — одна нога в туфле, другая в калоше. Он подошел ко мне, приложил руку к сломанному козырьку и с совершенно непередаваемой ухваткой доложил:

— Так что мы, ваше благородие, увсе согласны.

”Согласие народа”, выраженное через ”босяка”, меня

устраивало, но не совсем. Я пойду "арестовывать", кого я оставлю здесь? Как только я уйду, — они бросятся.

В это время, на мое счастье, я увидел далеко, в конце улицы, движение серых шинелей. Я узнал офицера. Это был другой взвод нашей роты. Я подозвал их, попросил встать на мое место около дома. Сам же со своим взводом обошел угол, так как ворота были с другой стороны.

Но ворота оказались на запоре. Пришлось ломать замок. Замок был основательный, и дело не клеилось.

* * *

Боже мой! Это что такое?!

Какая-то новая, несравненно более многочисленная, словом, огромная толпа залила выходившие сюда улицы. Это, очевидно, из города. Та демонстрация, о которой вчера говорилось. Да, да... Патриотическая манифестация.

Хоругви, кресты... Затем торжественно несомые на груди портреты государя, государыни, наследника... Важное, как бы церковное, шествие... Вроде как крестный ход. Поют? Да — гимн.

— Взвод, смирно!!! Слушай — на караул!!!

Процессия медленно протекает, сопутствуемая огромными толпами. Гимн сменяется — "Спаси господи...". Прошли.

Мы должны продолжать свое дело. Наша толпа, димиевская, сначала совершенно затопленная процессией, теперь отсеялась. Она осталась и ждет финала — ареста "тех, кто стрелял".

Я приказываю:

— Ломай замок!

Но солдаты не умеют. В это время подходит фигура, кажется, тот самый, который докладывал, что они "увсе согласны".

— Дозвольте мне, ваше благородие.

В руках у него маленький ломик. Замок взлетает сразу...

* * *

Во внутренности двора, сбившись в кучу, смертельно бледные, прижались друг к другу — кучка евреев. Их было человек сорок: несколько подозрительных мальчишек, остальные старики, женщины, дети...

— Кто тут стрелял?

Они ответили перебивающим хором:

— Их нема... они вже убегли...

Старик, седой, трясущийся, говорил, подымая дрожащие, худые руки:

— Ваше благородие... Те, что стреляли, их вже нет... Они убегли... Стрелили и убегли... Мальчишки... Стрелили и убегли...

Я почувствовал, что он говорит правду. Но сказал сурово:

— Я обыщу вас... Отдайте револьверы.

Солдаты пощупали некоторых. Конечно, у них не было револьверов. Но мое положение было плохо.

Там, за стеной, — огромная толпа, которая ждет "правосудия". И для ее успокоения, и для авторитета войск, и для спасения и этих евреев и многих других весьма важно, чтобы "стрелявшие" были арестованы. Как быть? Внезапно я решился...

— Из этого дома стреляли. Я арестую десять человек. Выберите сами...

Получился неожиданный ответ:

— Ваше благородие... арестуйте нас всех... просим вас — сделайте милость, — всех, всех заберите...

Я понял. За стеной ждет толпа. Ее рев минутами перепleскивает сюда. Что может быть страшнее толпы? Не в тысячу ли раз лучше под защитой штыков, хотя бы и в качестве арестованных?

Я приказываю все-таки выбрать десять и вывожу их, окруженных кольцом серых. Дикое улюлюканье встречает наше появление. Но никаких попыток отбить или вырвать. Чувство "правосудия" удовлетворено. Они довольны, что офицер исполнил свое обещание. Я пишу записку: "Арестованы в доме, из которого стреляли". С этой запиской отправляю их в участок под охраной половины взвода. (Они были доставлены благополучно — я получил записку из полиции; дальнейшая судьба: через два дня выпущены на свободу. На это я и рассчитывал.)

* * *

Желтые звуки трубы режут воздух. Трубят общий сбор. Мы бросились на эти сигналы. Что это?

Грабят базар...

* * *

На базар обрушилась многотысячная толпа. Когда мы прибежали, в сущности, все было кончено. Мы вытеснили толпу с базара, но рундуки были уже разграблены, все захвачено, перебито. Больше всего было женщин. Они тащили, со смехом, шутками и визгом. Иные, сорвав с себя платки, вязали огромные узлы.

— Брось, бесстыжая...

Она улыбалась мне виноватой улыбкой:

— Ваше благородие, пропадет ведь...

Запалить бы в них надо по-настоящему, но не хватает духу. Психологически это невозможно.

* * *

Не помню уже, как в третьем часу дня ко мне собралась вся рота. Куда девались остальные офицеры, — не знаю. Зато появился понтонный капитан с ротой понтонеров. Наш фельдфебель разыскал нас, и теперь мы все обедали, усевшись среди разбитых рундуков.

Пошел дождик, чуть темнело. Подошел фельдфебель.

— Ваше благородие. Тут народ стал болтать.

У него сделалось таинственное лицо.

— Ну что?

— Насчет голосеевского леса...

— Ну?..

— Что там, то есть как бы неблагополучно...

— Что такое?..

— Жиды, ваше благородие...

— Какие жиды?

— Всякие, с города... С браунингами и бомбами... Десять тысяч их там. Ночью придут сюда.

— Зачем?

— Русских резать...

— Какой вздор!..

— Так точно — вздор, ваше благородие.

Но по его глазам я вижу, что он этого не думает.

* * *

Я должен был бы послать донесение об этом в батальон. Но я не послал, не желая попадать в дурацкое положение. Я только поставил пост на краю предместья,

на всякий случай. Но сенсационное известие каким-то путем добежало и, по-видимому, в самые высокие сферы.

* * *

Вечерело... Я стоял на обезлюдевшей улице. Все куда-то попряталось. Где же все эти толпы? Новая какая-то жуть нависла над предместьем.

Из города приближается кавалерийский разъезд. Во главе вахмистр. Я подзываю его:

— Куда?

— В голосеевский лес, ваше благородие.

— Что там?

— Жиды, ваше благородие...

Значит, уже знали где-то там. Прислали кавалерийский разъезд. Ну и прекрасно.

— Ну, езжай...

Прошло несколько минут. Оттуда же появляется опять кавалерия. Но уже больше: пол-эскадрона, должно быть. Во главе корнет.

— Позвольте вас спросить, куда вы?

Он остановил лошадь и посмотрел на меня сверху вниз:

— В голосеевский лес.

— А что там такое?

— Там... Жиды...

Он сказал это таким тоном, как будто было даже странно с моей стороны это спрашивать. Что может быть в голосеевском лесу?

— И много?..

Он ответил стальным тоном:

— Восемь тысяч...

И тронул лошадь.

Через несколько минут — опять группа всадников, то есть, собственно, только двое. Первый — полковник, другой, очевидно, адъютант. Полковник подзывает меня:

— Какие у вас сведения о голосеевском лесе?

— Кроме непроверенных слухов — никаких...

Полковник смотрит на меня с таким выражением, как будто хочет сказать:

— Ничего другого я и не ожидал от прапорщика...

Проехали...

Батюшки, это что же такое?..

Неистово гремя, показывается артиллерия. Протягивают одно, другое, третье... Полубатарея. Ну-ну...

За артиллерией, шлепая по грязи, тянутся две роты пехоты. Ну, теперь все в порядке: "отряд из трех родов оружия". Можно не беспокоиться за Голосеев.

* * *

Ночь черная, как могила... Не только уличных фонарей — ни одного освещенного окна. Ни одного огня в предместье. С совершенно глухого неба моросит мельчайший дождик.

Я патрулирую во главе взвода. Обхожу улицы, переулки, базар...

Домишки и дома стоят мрачными и глухими массивами. Еще чернее, чем все остальное, дыры выбитых окон и дверей. Под ногами на тротуарах трещит стекло. Иногда спотыкаешься о что-нибудь брошенное.

Там, в этих полуруинах, иногда чувствуется какое-то шевеление. Очевидно, дограбливают какие-то гиены. Наконец мне это надоело.

— Кто там, вылезай...

Затихло. Я повторил приказание. Никакого ответа. Я выстрелил из револьвера в разбитое окно.

— Не стреляйте, — мы вылезем...

Из-под исковерканного висящего дверного жалюзи вылезло двое.

Это были солдаты — запасные.

— Ах, так!.. Наши!.. Мы тут разоряемся, из сил выбиваемся, ночи не спим, грабителей ловим, — а грабители вот кто! Наши же... Арестовать! Под суд пойдете...

Их окружают. Пошли дальше.

* * *

Слышны приближающиеся голоса, шаги, из-за угла вдруг появляется плохо различаемая гурьба людей.

— Кто вы?.. Что тут делаете?

В темноте не разберешь, что за люди. Те перепугались.

— Мы... Мы — ничего... Мы — вот...

Они суют мне что-то в руки, что оказывается национальными флагами.

— Чего же вы ночью с флагами шляетесь?.. Марш домой!

Отбирают флаги и гонят их. Убегают...

* * *

На одном углу спотыкаемся о какую-то мягкую и рассыпающуюся горку.

— Чай, ваше благородие.

Да, это чай. Симпатичные и душистые кубики в золотом украшенных обертках. И я чувствую, что делается в крестьянских бережливых сердцах моих солдат.

Чай... Драгоценное, солдатское зелье, их роскошь, вот так валяется в грязи, пропадает...

Они не выдерживают:

— Ваше благородие, дозвольте взять... По штучке... Пропадет зря...

В моей душе борьба. Чувствую, что солдатам этого никак не понять, если я откажу. Они честно работали со мною весь день. Старались, как могли, спасая "жидовское добро". Но ведь этот чай — уже ничей. Он все равно пропадет. Как же его не спасти? Принципиально. Но ведь донкихотство непонятно им.

И я уступаю.

* * *

Кто скажет "а", тот скажет "б"...

Унтер-офицер подходит ко мне.

— Ваше благородие...

— Ну?..

— Ребята наши просят — отпустить бы... тех...

У него в голосе что-то подкупающее. Я понимаю, — он просит, чтобы я отпустил тех двух солдат, что мы арестовали.

— Пропадут, ваше благородие... Они уже уволенные со службы. Завтра домой имели ехать... А тут такое дело вышло... Жалко... Ребята очень просят.

Опять коротенькая душевная борьба, и опять я капитулирую.

— Ваше благородие, мы их сами накажем... А под суд...

Он не доканчивает, но я знаю, что, если бы он был интеллигентом, он сказал бы: "А под суд — бесчеловечно".

Но я стараюсь отступить с соблюдением приличий.

— Ну, ладно... Но помните, только — ради вашей службы.

— Покорнейше благодарим, ваше благородие...

Я слышу возню в темноте, удары: их "наказывают". Потом они выныривают передо мной:

— Покорнейше благодарим, ваше благородие...

Я все еще стараюсь сохранить конвенансы*.

— Не ради вас, мерзавцы... Ради моих сапер.

Как бы там ни было, инцидент исчерпан.

* * *

На одной из улиц (неразгромленной) я почувствовал нечто необычайное.

Полная темнота. Но в подъездах, в воротах, в дверях, в палисадниках и садиках какая-то возня, шепот, заглушенные голоса. Если они не спят, почему не зажигают света? Почему в полной темноте они перебегают, перешептываются? Что-то встревоженное, волнующееся, напряженное. Что такое?

По обрывкам долетающих слов ясно, что это русская улица. Почему они прячутся? На мостовую выйти как бы боятся?

Я остановился и выстроил взвод поперек улицы.

Поняв, что мы — солдаты, люди начинают поодиночке подбираться к нам.

Я вступаю в разговор с ними.

— Что тут такое, чего вы шепчетесь?

— Боимся.

— Чего боитесь?

— Жидов боимся... Идут резать...

— Да откуда это вы взяли?

— Все говорят, ваше благородие...

В это время прямо в строй бросается какая-то женщина. Метнулась от страха.

— Ой, ратуйте, ратуйте!..

— Чего ты кричишь, что с тобой?

— Ой, ой, там, на Совской... Детки мои... ой, ратуйте!..

— На какой Совской?

Несколько голосов вмешивается:

— Там, ваше благородие, там... Там Совская.

Они показывают руками куда-то в черноту, куда, по-видимому, улица уходит в гору.

Баба продолжает кричать истерически: что там, на

---

* От фр. convenances — условность, приличия.

Совской, режут ее детей, но что она не пойдет все равно туда и молит о помощи.

— Ратуйте, кто в бога вирує!..

Вокруг взволнованная, — чувствую, как они перепуганы, — собирается толпа и жмется к моему взводу.

И вдруг я чувствую, что это паническое состояние передается солдатам. Истерический вопль женщины, эта черная темнота, психический ток этой перепуганной толпы — действует на них. А в особенности эта проклятая цифра: "десять тысяч". Эта шепчущаяся толпа только и говорит о десяти тысячах жидов, которые где-то засели, но сейчас вот-вот придут по этой черной улице, вон оттуда, с горки, с этой самой Совской, где уже режут детей этой голосящей бабы. А ведь нас только горсточка — взвод...

Я говорю солдатам несколько успокаивающих слов, они как будто приободрились, но все же я решаю пройти на эту дурацкую Совскую, чтобы выяснить...

Развернутым строем, от стенки до стенки, вернее, от палисадника до палисадника, мы поднимаемся вверх по этой чернеющей улице. Двигаемся вперед осторожно, потому что темно, как в погребе. Пройдя несколько, я вдруг угадываю впереди толпу.

Их не видно, но по приглушенному говору и шуму чувствуется человеческая масса, которая не то стоит, не то идет поперек улицы.

Я останавливаю взвод. Кричу в темноту:

— Кто идет? Что за люди?..

Говор вдруг замолкает. Наступает тишина, но ответа нет. Темная масса, которая уже чуть-чуть различается глазами, стоит неподвижно.

Повторяю вопрос.

— Да отвечайте же. Кто такие?

Ответа нет.

Кричу еще раз:

— Отвечайте, не то стрелять буду.

Ответа нет.

Я приказываю горнисту:

— Сигнал.

Замершую — черную, как димиевская грязь, — темноту вдруг прорезает желтый хрипло-резкий звук трубного сигнала: "Слушайте все"... Сигнал звучит зловеще, но вместе с тем внушительно, торжественно.

После его резкого четырехстонья опять наступает мертвая черная тишина. И тогда наконец из темноты

раздается голос. Великолепный голос и на чистейшем киевско-димиевском диалекте. Но боже мой, что он говорит:

— Стрелять хатишь?.. Стреляй... Стреляй... Я с портретом государа́ моего на груди стою, а ты стрелять хатишь?.. А генерала знаешь... Я министру самому на тебя жалобу подам... Стреляй, стреляй...

Я не стал дожидаться продолжений.

— Взвод, вперед!

* * *

Они облепили нас, как пчелы матку.

— Господи, ваше благородие... Уж как мы боялись... Целый день говорят, что жиды придут — десять тысяч... Вот мы подумали: уже идут... А это вы... Господи, вот же не познали...

— Чего же вы тут собрались все?

— А так, ваше благородие, порешили, что так же нельзя даться... Вот собрались все вместе, чтобы друг другу помощь подать... Один до одного жмется... Все равно не спим... боимся...

В задних рядах ясно слышу тот самый голос, который читал мне только что ектенью* с "портретом моего государа́ на груди". Через несколько времени он попадает в орбиту моей руки. Я схватываю его за шиворот.

— Это ты на меня хотел министру жаловаться?..

— Я...

— А где же портрет?..

— А вот...

Действительно, держит в руках портрет из календаря.

— Будешь жаловаться?..

— Да нет... Ето я... так...

— То-то — так.

Кругом хохочут...

Я приказываю разойтись по домам, объясняю им, что все это вздор. Расходятся...

Приходит приказание от ротного командира: "Пришла смена, можно вести людей на отдых".

Идем по совершенно черным, но успокоившимся улицам. Единственный огонь в полицейском участке. Захожу на всякий случай.

---

* От греч. ekteneia, букв. усердие — часть православного богослужения.

Вижу того полковника, который тогда меня подарил презрительным взглядом за то, что я не мог ему сообщить ничего о голосеевском лесе. Я не удержался:

— Разрешите спросить, господин полковник. Как в голосеевском лесу?

Он посмотрел на меня, понял и улыбнулся.

— Неприятель обнаружен не был...

* * *

Вот дом для отдыха. Во дворе нас встречает еврейская семья, которая не знает, как забежать и что сделать, чтобы нам угодить. Это понятно: наше присутствие обеспечивает им безопасность.

— Гашпадин солдат, вот сюда, сюда пожалуйте.

Они ведут моего унтер-офицера куда-то, и я слышу его голос, который бурчит из темноты:

— Вчера был "москаль паршивый", а сегодня "гашпадин солдат"... Эх, вы!..

* * *

Нам, офицерам, хозяева отвели свою спальню.

Устали мы сверхъестественно. Раздеваться нельзя, потому что бог знает что может случиться. Но надо же отдохнуть. Дразнят "великолепные постели" с красными атласными стегаными одеялами. Ротный говорит:

— Ну куда же мы тут ляжем?.. Вот с этакими сапожищами на такое одеяло...

Но хозяйка возмущается:

— Что вы, ваше благородие. Как же, вы устали! Ложитесь, отдыхайте себе на здоровьечко. Ведь это же в ваше полное распоряжение...

* * *

Мы ложимся и отдыхаем среди "еврейских шелков". Так кончается для меня второй день "конституции"...

Третий день "конституции"

Уже давно мы так сидели вдвоем. Это было в один из послепогромных дней. Там же, на Димиевке, — в одном из домов.

Я читал книгу, подобравшись ближе к печке. Изредка похлебывал чай. А он сидел в углу на неудобном стуле, сгорбившись — неподвижно. Он внимательно смотрел вниз в другой угол — напротив. Я думал, что он следит за мышью, которая там шуршала обоями. Это был старик еврей, седой, худой, с длинной бородой. Мы не обращали друг на друга никакого внимания и сидели так, может быть, часа два. Печка приятно трещала, в окно понемножку входили голубоватые сумерки.

Караул помещался внизу. А мне отвели помещение здесь — в комнате, которая служила и столовой и гостиной в этой еврейской семье. Старик этот был хозяин.

Наш батальон в это время охранял Димиевку и каждые сутки выставлял караул. Мы помещались в разных домах, где придется. В противоположность дням допогромным каждый еврейский дом добивался, чтобы караул поставили у него. Принимали всегда в высшей степени радушно, но я старался держать "raide"*. В качестве войск мы обязаны были сохранять "нейтралитет" и, спасая евреев, держаться так, чтобы русское население не имело бы поводов выдумывать всякие гадости вроде: "Жиды купили офицеров".

Поэтому я читал, не заговаривая с хозяином. Он молчал, этот старик, и о чем-то думал. И вдруг неожиданно разразился...

— Ваше благородие... сколько их может быть?

— Кого?

— Этих сволочей, этих мальчишек паршивых...

— Каких мальчишек?

— Таких, что бомбы бросают... Десять тысяч их есть?

Я посмотрел на него с любопытством.

— Нет... конечно, нет...

— Ну, так что же!.. Так на что же министры смотрят... Отчего же их не вывешать всех!

Он тряс перед собой своими худыми руками. Мне показалось, что он искренен, этот старик.

— А отчего вы сами, евреи, — старшие, не удержите их? Ведь вы же знаете, сколько ваших там?

Он вскочил от этих слов.

— Ваше благородие! И что же мы можем сделать? Разве они хотят нас слушать? Ваше благородие! Вы знаете, это чистое несчастье. Приходят ко мне в дом... Кто?

* Прямо (*фр.*).

Мальчишки. Говорят: "Давай"... И я мушу[*] дать... Они говорят — "самооборона". И мы даем на самооборона. Так ви знаете, ваше благородие, что они сделали, эти сволочи, на Димиевке? Эта "самооборона"? Бомбы так бросать они могут. Это они таки умеют, да... А когда пришел погром до нас, так что эта самооборона? Штрелили эти паршивые мальчишки, штрелили и убегли... Они таки убегли, а мы так остались... Они стрелили, а нас бьют... Мальчишки паршивые! "Самооборона"!!!

— Все-таки надо удерживать вашу молодежь.

— Ваше благородие, как их можно удерживать!.. Я — старый еврей. Я себе хожу в синагогу. Я знаю свой закон... Я имею бога в сердце. А эти мальчишки! Он себе хватает бомбу, идет — убивает... На тебе — он тебе революцию делает... Ваше благородие... И вы поверьте мне, старому еврею: вы говорите — их нет десять тысяч. Так что же, в чем дело?! Всех их, сволочей паршивых, всех их, как собак, перевешивать надо. И больше ничего, ваше благородие.

* * *

С тех пор когда меня спрашивают: "Кого вы считаете наибольшим черносотенцем в России?" — я всегда вспоминаю этого еврея... И еще я иногда думаю: ах, если бы "мальчишки", еврейские и русские, вовремя послушались своих стариков — тех, по крайней мере, из них, кто имели или имеют "бога в сердце"!..

Предпоследние дни "конституции"

(3-е ноября 1916 года)

Было так тихо, как бывало в этом Таврическом дворце после бурного дня... Было тихо и полутемно. Самый воздух, казалось, отдыхал, стараясь забыть громкие волнующие слова, оглушительные рукоплескания, яркий нервирующий свет, — все, что тут было...

Я любил иногда по вечерам оставаться здесь совершенно один. Нервы успокаиваются... И так хорошо

---

[*] Вынужден (*укр.*).

думается... Думается совсем по-иному... Можно посмотреть на себя со стороны... Так, как разглядывают из темноты освещенную комнату...

* * *

Вот кресло... Удобное кожаное кресло.

Передо мною огромный зал... Длинный ряд массивных белых колонн... Нет, они сейчас не белые... Полуосвещенные, они сейчас загадочного цвета — оттенка неизвестности. О чем они думают... Они видели Екатерину, теперь созерцают "его величество, желтый блок"... Что они еще увидят?..

* * *

Сегодня я сказал речь... Ах, эти речи.

— Вы так свободно говорите... Вам, вероятно, это никакого труда не составляет.

Знали бы они, что это такое... Чего стоят эти полчаса, проведенные на "Голгофе", на этой "высокой кафедре", как неизменно ее называют наши батюшки?.. Какое неумолимое напряжение мысли, воли, нервов...

Я как-то был в бою, — страшно? Нет... Страшно говорить в Государственной думе... Почему? Не знаю... Может быть, потому, что слушает вся Россия.

Впрочем, находятся утешители:

— Зато вам очень хорошо платят... Вы говорите раза три-четыре в год... И получаете четыре тысячи рублей... Тысячу — за выход. Это почти шаляпинский гонорар.

* * *

Кстати, сегодня Шаляпин был на хорах. Кого только не было. Сегодня "большой думский день". А это все равно, что премьера в Мариинском. Маклаков нас познакомил.

Шаляпин сделал мне комплимент по поводу моей речи:

— Так редко удается услышать чистую русскую речь.

Это замечание в высшей степени мне польстило. Для нас, "киевлян", "чистая русская речь" — наше слабое место...

Мы говорим плохо, с южным акцентом... И вдруг...

* * *

Это пустяки... Но каким образом я, природный киевлянин, а значит, чистой воды черносотенец, дошел до нижеследующего: мне только что сообщили, что моя речь не появится в провинции, так как не пропущена цензурой...

Что это значит? Это значит, что через несколько дней ее будут стучать на машинках барышни всей российской державы и в рукописном виде распространять как ”нелегальщину”... Я — и ”подпольная литература”. Нечто чудовищное... Каким образом это произошло?..

* * *

Эти белые колонны, вероятно, не заметили меня, когда десять лет тому назад робким провинциалом я пробирался сквозь злобные кулуары II Государственной думы — ”Думы народного гнева”. Пробирался для того, чтобы с всероссийской кафедры, украшенной двуглавым орлом, высказать слова истинно киевского презрения к их ”гневу” и к их ”народу”... Народу, который во время войны предал свою родину, который шептал гнусные змеиные слова: ”Чем хуже, тем лучше”, который ради ”свободы” жаждал разгрома своей армии, ради ”равноправия” — гибели своих эскадр, ради ”земли и воли” — унижения и поражения своего отечества... Мы ненавидели такой народ и смеялись над его презренным гневом... Не свободы ”они” были достойны, а залпов и казней...

* * *

Залпы и казни и привели их в чувство... И белые колонны Таврического дворца увидели III Государственную думу — эпоху Столыпина... Эпоху реформ... quand même*... — эпоху под лозунгом: ”Все для народа — вопреки народу”... Мы, провинциалы, твердо стали вокруг Столыпина и дали ему возможность вбивать в крепкие мужицкие головы сознание, что земли ”через волю” они не получат, что грабить землю нельзя — глупо и грешно, что земельный коммунизм непременно приведет к голоду и нищете, что спасение России в собственном, честно

---

* Все-таки, тем не менее (*фр.*).

полученном куске земли — в ”отрубах”, в ”хуторах”, как тогда говорили, и, наконец, что ”волю” народ получит только ”через землю”, т.е. не прежде, чем он научится ее, землю, чтить, любить и добросовестно обрабатывать, ибо только тогда из вечного Стеньки Разина он станет гражданином...

И сколько раз эти белые колонны видели нас, спешащих туда, в этот зал, чтобы там — с трибуны, неизменно держащей двуглавого орла, — ”глаголом жечь сердца людей”, людей, гораздо более крепкоголовых, чем саратовские мужики, людей, хотя и высокообразованных, но тупо не понимавших величия совершавшегося на их глазах и не ценивших самоотверженного подвига Столыпина...

* * *

Столыпин заплатил жизнью за то, что он раздавил революцию, и, главным образом, за то, что он указал путь для эволюции. Нашел выход, объяснил, что надо делать... Выстрел из револьвера в Киеве — увы, нашем Киеве, всегда бывшем его лучшей опорой, — закончил столыпинскую эпоху... Печерская лавра приняла пробитое пулей Богрова тело, а новый председатель Совета министров взял на себя тяжесть правления.

И скоро мне пришлось сказать:

— Будет беда. Россия безнадежно отстает. Рядом с нами страны высокой культуры, высокого напряжения воли. Нельзя жить в таком неравенстве. Такое соседство опасно. Надо употребить какие-то большие усилия. Необходим размах, изобретательность, творческий талант. Нам надо изобретателя в государственном деле... Нам надо ”социального Эдисона”...

И колонны слышали ответ:

— От меня требуют, чтобы я был каким-то государственным Эдисоном... Очень был бы рад... Но чем я виноват, что я не Эдисон, а только Владимир Николаевич Коковцов.

* * *

Конечно, В.Н. не был виноват. Как не был виноват весь класс, до сих пор поставлявший властителей, что он их больше не поставляет... Был класс, да съездился...

* * *

Меж тем перед Россией вставали огромные трудности. Германия искала выхода для своего населения, нарастающего, как прилив, и для своей энергии, усиливающейся, как буря. Естественно, что глаза немцев жадно устремлялись в ленивую пустоту Востока.

Как?! Эти ничтожные русские получают 35 пудов зерна с десятины?.. Это просто стыдно. О, мы научим их, как обращаться с такой драгоценностью, как русский чернозем! К тому же, если мы объявим им войну, у них сейчас же будет революция. Ведь их культурный класс может только петь, танцевать, писать стихи... и бросать бомбы.

И над Германией неумолчно звучал воинствующий крик — ”Drang nach Osten” — и раздавались глухие удары молота Круппа...

* * *

И произошло то, что должно было произойти: немецкие профессора бросили германскую армию на Россию...

* * *

Тут случилось чудо... Та самая русская интеллигенция, которая во время японской войны насквозь пропиталась лозунгом ”Чем хуже, тем лучше” и только в поражении родины видела возможность осуществления своих снов ”о свободе”, — вдруг словно переродилась.

* * *

И белые колонны увидели, как 26 июля 1914 года на кафедру в этот день, горделиво подпираемую двуглавым орлом, один за другим всходили представители еще недавно пораженческих групп и в патетических словах обещали всеми силами поддержать русскую государственную власть в ее борьбе с Германией...

* * *

Успех не долго сопутствовал нашему оружию. Не хватало снарядов, и разразилось грозное отступление в

1915 году. Я был на фронте и видел все... Неравную борьбу безоружных русских против "ураганного" огня немцев... И когда снова была созвана Государственная дума, я принес с собой, как и многие другие, горечь бесконечных дорог отступления и закипающее негодование армии против тыла.

* * *

Я приехал в Петроград, уже не чувствуя себя представителем одной из южных провинций. Я чувствовал себя представителем армии, которая умирала так безропотно, так задаром, и в ушах у меня звучало:

— Пришлите нам снарядов!

* * *

Как это сделать?

Мне казалось ясным одно: нужно прежде всего и во что бы то ни стало сохранить патриотическое настроение интеллигенции. Нужно сохранить "волю к победе", готовность к дальнейшим жертвам. Если интеллигенция под влиянием неудач обратится на путь 1905 года, т.е. вновь усвоит психологию пораженчества, — дело пропало... Мы не только не подадим снарядов, но будет кое-что похуже, будет революция.

И я, едва приехав, позвонил к Милюкову.

* * *

Милюков меня сразу не узнал: я был в военной форме. Впрочем, и вправду, я стал какой-то другой. Война ведь все переворачивает.

С Милюковым мы были ни в каких личных отношениях. Между нами лежала долголетняя политическая вражда. Но ведь 26 июля как бы все стерло... "все для войны"...

Но все же он был несколько ошеломлен моей фразой:

— Павел Николаевич... Я пришел вас спросить напрямик: мы — друзья?

Он ответил не сразу, но все же ответил:

— Да... кажется... Я думаю... что мы — друзья.

* * *

Из дальнейшего разговора выяснилось, что кадеты не

собираются менять курса, что они по-прежнему будут стоять за войну "до победного конца", но...

— Но подъем прошел... Неудачи сделали свое дело... В особенности повлияла причина отступления... И против власти... неумелой... не поднявшейся на высоту задачи... сильнейшее раздражение...

— Вы считаете дело серьезным?

— Считаю положение серьезным... и прежде всего надо дать выход этому раздражению... От Думы ждут, что она заклеймит виновников национальной катастрофы... И если не открыть этого клапана в Государственной думе, раздражение вырвется другими путями... Дума должна резко оценить те ошибки, а может быть, преступления, благодаря которым мы отдали не только завоеванную потоками крови Галицию, но и кто знает, что еще отдадим... Польшу.

— Я еще не говорил со своими... Но весьма возможно, что в этом вопросе мы будем единомышленниками... Мы, приехавшие с фронта, не намерены щадить правительство... Слишком много ужасов мы видели... Но это одна сторона, — так сказать, необходим "суровый окрик"... Но ведь нельзя угашать духа, надо дать нечто положительное... как-то оживить мечту первых дней...

— Да... Чтобы оживить мечту, чтобы поднять дух, надо дать уверенность, что все эти жертвы, уже принесенные, и все будущие не пропадут даром... Это надо сделать двумя путями.

— Именно?

— С одной стороны, надо, чтобы те люди, которых страна считает виновниками, ушли... Надо, чтобы они были заменены другими, достойными, способными, — людьми, которые пользуются общественным весом, пользуются, как это сказать, ну, общественным доверием, что ли...

— Вы хотите ответственного министерства?

— Нет... Я бы затруднился формулировать эти требования выражением "ответственное министерство"... Пожалуй, для этого мы еще не готовы. Но нечто вроде этого... Не может же в самом деле совершенно рамольный Горемыкин быть главою правительства во время мировой войны... Не может, потому что он органически, и по старости своей и по заскорузлости, не может стать в уровень с необходимыми требованиями... Западные демократы выдвинули цвет нации на министерские посты!..

— А второе?

— Второе вот что. Чтобы поднять дух, как вы сказали, оживить мечту, надо дать возможность мечтать... Я хочу сказать, что в исходе войны, в случае нашей победы, мечтают о перемене курса... ждут другой политики... ждут свободы...

— В награду за жертвы.

— Не в награду, а как естественное следствие победы. Если Россия победит, то, очевидно, не правительство. Победит вся нация. А если нация умеет побеждать, то как можно отказать ей в праве свободно дышать?.. Свободно думать, свободно управляться... Поэтому необходимо, чтобы власть доказала, что она, обращаясь к нации за жертвами, в свою очередь готова жертвовать частью своей власти... и своих предрассудков.

— Какие же доказательства?

— Доказательства должны заключаться в известных шагах... Конечно, война не время для коренных реформ, но кое-что можно сделать и теперь... Должно быть как бы вступление на путь свободы... Будем ли мы и в этом согласны?..

Теперь уже я ответил не сразу. Но все же ответил:

— Лично я думаю, как Алексей Толстой: "Есть мужик и мужик. Коль мужик не пропьет урожаю, я того мужика уважаю".

— Что это значит?

— Это значит: насколько народ 1905 года, усвоивший пораженческую психологию, с моей точки зрения, не заслуживал ничего, кроме репрессий, настолько Россия 1915 года, о которой можно сказать словами того же Толстого — "иже кровь в непрестанных боях за тя, аки воду, лиях и лиях", — заслуживает вступления на путь свободы.

* * *

Этот разговор мог бы служить прологом к тому, что впоследствии получило название Прогрессивный блок, который его враги прозвали "желтый блок".

* * *

Шесть фракций (кадеты, прогрессисты, левые октябристы, октябристы-земцы, центр и националисты-прогрессисты) Государственной думы и часть Государственного совета объединились на весьма скромных "рефор-

мах", которые могли бы рассматриваться как "вступление на путь"...

Этими словами и был выражен в "великой хартии блока" (письменное соглашение фракций) абзац, имевший серьезное политическое значение:

"Вступление на путь отмены ограничительных в отношении евреев законов"...

* * *

Однако этот пункт, даже в таком виде, был тяжел для правого крыла блока. И сколько раз эти белые колонны видели наши лица, сугубо озабоченные из-за "еврейского вопроса"...

Мы понимали, что кадеты не могут не сказать что-нибудь на эту тему. Мы даже ценили это "вступление на путь", которое звучало так мягко... С другой стороны, и по существу нельзя было не видеть разницу в теперешнем поведении руководящего еврейства сравнительно с 1905 годом.

Тогда они поставили свою ставку на пораженчество и революцию... И проиграли. Результатом этой политики были погромы и обновленная суровость административной практики. Теперь же руководящее еврейство поставило ставку на "патриотизм"... Вся русская печать (а ведь она на три четверти была еврейская) требовала войны "до победного конца"... Этого нельзя было не заметить, и на это следовало ответить обнадеживающим жестом.

Но, боже мой, как это было трудно. На фронте развивалась сумасшедшая "шпиономания", от которой мутились головы и в Государственной думе. Люди не понимали, что "фронтовые жиды" не перестанут шпионить, если крепче поприжать "тыловых". Не понимали и того, что эти тыловые держат в своих руках грозное оружие — прессу, которой в момент напряжения всех сил государства меньше всего можно пренебрегать.

* * *

Остальное в "великой хартии блока" было просто безобидным: "уравнение крестьян в правах" — вопрос, предрешенный еще Столыпиным; "пересмотр земского положения" — тоже давно назревший за "оскудением" дворянства; вполне вегетарианское "волостное земст-

во''; прекращение репрессий против ''малороссийской печати'', которую никто не преследовал; ''автономия Польши'' — нечто совершенно уже академическое в то время, ввиду того что Польшу заняла Германия... Вот и все. Но было еще нечто, из-за чего все и пошло...

* * *

Это нечто заключалось в требовании, чтобы к власти были призваны люди, ''облеченные общественным доверием''. На этом все и разыгралось... Все ''реформы'' Прогрессивного блока в сущности для мирного времени... Кого интересует сейчас ''волостное земство''? Все это пустяки. Единственное, что важно: кто будет правительством?

* * *

Вскоре после образования Прогрессивного блока была попытка сговориться.

В один неудачный вечер мы, блокисты, сидели за одним столом с правительством...

Ничего не вышло. Правда, несколько министров явственно были с нами: они склонны были уступить.

Что, собственно, уступить?

Дело ясное: надо позвать кадет и предоставить им сформировать кабинет. Собственно говоря, почему этого не сделать? В 1905 году кадеты были поражены и шли по одной дороге с террористами, — тогда их позвать нельзя было. Но раз они теперь — патриоты, то пусть бы составили кабинет. Боятся, что они будут слишком либеральны? Пустяки: on a vu des radicaux ministres, on n'a jamais vu des ministres radicaux*...

Сего не поняли, кадетов отвергли, и вот уже больше года тянется ''это''... И бог один знает, к чему приведет...

* * *

Да, год с лишним...

Что сделано за это время?

Присылали ли мы им снарядов, по крайней мере?..

---

* Известны радикалы, ставшие министрами, однако никогда не видели радикальных министров... (*фр.*).

* * *

Зала в Мариинском дворце. Она вся темно-красная. До полу бархатом укрыты столы, — красиво выгнутые подковой... Красный бархат и на удобных креслах... Мягкие ковры, совершенно глушащие шаги, тоже красные.

Посредине стола сидит военный министр. Он выделяется серебром погон среди черных "сюртучных" крыльев. Справа от него седой и желтый председатель Государственного совета, слева председатель Государственной думы — огромный Родзянко. Рядом с председателем Государственного совета — члены этого же совета — числом девять: Тимашев, Стишинский, Стахович, Шебеко, Гурко, граф Толь, Иванов и еще кто-то. Рядом с председателем Государственной думы — члены этой же Думы — также числом девять: Дмитрюков, Марков-второй, Шингарев, Милюков, Чихачев, Львов, Крупенский, я, еще кто-то...

Против председателя — представители всевозможных ведомств. Среди них несколько генералов и самый замечательный — Маниковский, начальник главного артиллерийского управления.

Заседания сильно дисциплинированны, почти торжественны. Говорят негромко и обыкновенно немного. Иногда бывает так тихо, что слышно, как великолепная хрустальная люстра чуть звенит своими искрящимися привесками. Идеальной важности лакеи разносят кофе в приятных чашках.

Что это такое?

Это — Особое совещание по государственной обороне. В 1915 году, под давлением Государственной думы, были образованы эти так называемые Особые совещания. Их было четыре: "Особое совещание по государственной обороне" (председатель — военный министр); "Особое совещание по транспорту" (председатель — министр путей сообщения); "Особое совещание по топливу" (председатель — министр торговли и промышленности); "Особое совещание по продовольствию" (председатель — министр земледелия).

Эти Особые совещания сделаны, если так можно выразиться, вроде как кузня... Кузнец — министр всего министерства. А роль тех, кто работает мехом, т.е. роль

”раздувальщиков”, исполняем мы, члены законодательных палат.

Военный министр докладывает...

— В последнее время в Ставке шли подсчеты количества снарядов, необходимого для всего фронта. В настоящее время эти подсчеты закончены. Письмом на мое имя начальник штаба Ставки просит Особое совещание по государственной обороне довести производство снарядов до 50 ”парков” в месяц.

Среди членов Совещания происходит движение. Это ведь самый важный вопрос. Сейчас решится масштаб дела, а следовательно, и масштаб войны, 50 ”парков”, если считать на ”полевые парки”, которые заключают в себе 30 000 снарядов, — это выходит полтора миллиона в месяц. Это много. Но достаточно ли?..

Курчавая голова ”медного всадника” (как в насмешку называют Маркова-второго за его сходство с Петром Великим) приходит в движение. Он просит слова.

— Относясь со всем уважением к произведенным в Ставке Верховного Главнокомандующего подсчетам, я тем не менее должен заявить, не в обиду будь им сказано, что настоящая война совершенно доказала нижеследующее. Со всякими вообще ”подсчетами специалистов” нужно поступать так, как поступил восточный мудрец со своей женой: нужно выслушать эти подсчеты... и поступить ”наоборот”. Я убежден, что к тому времени, когда мы сможем довести наше производство до 50 ”парков”, мы получим новое заявление, в котором будет сказано, что ”в силу изменившихся условий техники” все прежние подсчеты оказались недостаточными и требуется увеличить норму вдвое. Я предлагаю не дожидаться этого неизбежного заявления, а сразу, теперь же увеличить расчет Ставки вдвое и поручить Главному артиллерийскому управлению довести производство снарядов не до 50 ”парков”, а до 100 ”парков” в месяц.

Это заявление вызвало продолжительный обмен мнений. Часть членов Государственного совета, привыкших к старой бюрократической дисциплине, находила совершенно невозможным в чем-либо изменять предложения Ставки Верховного Главнокомандующего. Но на сторону Маркова весьма энергично стал монументальный Михаил Владимирович Родзянко, самой природой предназначенный для сокрушения министерских джунглей. Родзянко несет свой авторитет председателя Государственной думы с неподражаемым весом. Это его дос-

тоинство и недостаток. "Цукать" министров с некоторого времени сделалось его потребностью. Впрочем, правду сказать, и было за что разносить, принимая во внимание, сколько народу уложили и сколько губерний отдали. Маркова поддержал и пламенный Шингарев, который и на этот раз тронул всех почти до слез. Шингарев очень переменился за время войны. Я помню, как раньше, когда он говорил с кафедры, у него иногда бывали такие злые глаза... Теперь эти "злые глаза" так часто подергиваются подозрительной влагой... И становятся удивительными, когда он говорит о России... Остальные члены Государственной думы — и Николай Николаевич Львов, с бесконечно доброй улыбкой и глазами фанатика, и Милюков, истинно русский кадет, по какой-то игре природы имеющий некоторое обличье немецкого генерала, и Дмитрий Николаевич Чихачев, такой высокомерный на вид, что про него его друзья говорили, будто у него не хватает одного шейного позвонка, а на самом деле только обостренно порядочный человек, и другие — все поддержали 100 "парков". К нам присоединились и некоторые члены Государственного совета... Великолепный Михаил Стахович, изящный Шебеко, умный и злой Гурко, Александр Семенович Стишинский, несмотря на многодесятилетнюю добросовестную службу бюрократическому режиму, более других проявлявший понимание новых условий, в которые бросила Россию мировая война, и др. ...

Наконец, председатель артиллерийской комиссии, бывший министр торговли и промышленности Тимашев сказал:

— Все это очень хорошо, но мало желать и мало постановлять. Надо, чтобы это постановление вообще могло быть выполнено... Я просил бы, чтобы начальник Главного артиллерийского управления, которого это ближе всех касается, высказал наконец свое мнение: возможно ли довести производство снарядов до 100 "парков" в месяц.

Генерал Алексей Алексеевич Маниковский был талантливый человек. Что он делал со своим "Главным артиллерийским управлением", я хорошенько не знаю, но в его руках казенные заводы, да и частные (например, мы отобрали у владельцев огромный Путиловский завод и отдали его в лен Маниковскому) — делают чудеса. У него запорожская голова, соединение смелости и хитрости. Говорит громким, но чуть хриплым голосом, говорит ве-

ликолепно, хотя представляется, что он солдат и говорить не умеет. Он встал и попросил военного министра:

— Разрешите доложить.

Генерал Поливанов, военный министр, человек умный, вдумчивый и большой дипломат. Когда он говорит, он всегда ежится плечами и нервно поводит головой — это "тики" — верный признак угасания индивидуума или рода.

Он разрешил Маниковскому говорить.

— Господа члены Особого совещания... Я — солдат, — много говорить не умею. Вы уж меня простите. Дело обстоит так... Невозможного на свете нет. Вы хотите 100 "парков" в месяц... Трудно... Очень трудно, но на то и война, чтобы преодолевать трудности. Ваше дело приказывать... Мое дело исполнить... Прикажите 100 "парков" — будет 100 "парков"...

"Мы приказали"...

* * *

Однако Марков ошибся... Но только в другую сторону. Когда мы довели производство до 100 "парков", — вместо потребованных Ставкой 50, тогда получилось новое предписание: довести производство не до 100, а до 150 "парков". Конечно, "L'appetit vient en mangeant"*...

Но мы доведем и до 150 и почти уже довели. Но только потому, что тогда имели смелость "свое суждение иметь". Имели же мы эту смелость потому, что Особое совещание состояло из генералов, окруженных самыми влиятельными членами законодательных палат, для которых, как известно, закон не писан...

Вообще, размах у нас есть. Например, мы дали заказ на 40 000 000 сапог. Еще "немножко", и мы осуществим социалистический идеал, по крайней мере, в отношении ног: вся нация будет одеваться, обуваться государством... по заказам Особого совещания по государственной обороне.

* * *

С этой стороны наша совесть чиста. Мы сделали все, что возможно... Свою обязанность "раздувальщиков

---

* Аппетит приходит во время еды (*лат.*).

священного огня" военного творчества исполняли не за страх, а за совесть.

Но вот другая сторона... Бывают минуты, когда я начинаю сомневаться... В другом отношении, где мы условились быть не раздувальщиками огня, а как раз наоборот — гасителями пожара, — исполняем ли мы свое намерение? Тушим ли мы революцию?..

* * *

Правда, больше года уже прошло. Революция до сих пор еще не разыгралась. Раздражение России, вызванное страшным отступлением 1915 года, действительно удалось направить в отдушину, именуемую Государственной думой. Удалось перевести накипавшую революционную энергию и слова в пламенные речи и в искусные звонко-звенящие "переходы к очередным делам". Удалось подменить "революцию", т.е. кровь и разрушение, "революцией", т.е. словесным выговором правительству...

Удавалось и другое: удавалось на базе этих публичных "строгих выговоров" сохранить единство с ним, с правительством, в самом важном — в отношении войны. Удавалось все время твердо держать над куполом Таврического дворца яркий плакат — "Все для войны"... Сколько бы "медный всадник" ни называл Прогрессивный блок — "желтым блоком" — это неправда, потому что блок трехцветный: он бело-сине-красный, он национальный, он русский!

Но...

Но не начинает ли красная полоса этой трехцветной эмблемы расширяться не "по чину" и заливать остальные цвета?

В минуту сомнений мне иногда начинает казаться, что из пожарных, задавшихся целью тушить революцию, мы невольно становимся ее поджигателями.

Мы слишком красноречивы... мы слишком талантливы в наших словесных упражнениях. Нам слишком верят, что правительство никуда не годно...

* * *

Ах, боже мой... Да ведь ужас и состоит в том, что это действительно так: оно действительно никуда не годно.

В техническом отношении еще куда ни шло. Конечно,

нам далеко до Англии и Франции. Благодаря нашей отсталости огромная русская армия держит против себя гораздо меньше сил противника, чем это полагалось бы ей по численной разверстке. Нам недавно докладывали в Особом совещании, что во Франции на двух бойцов приходится один солдат в тылу. А у нас наоборот, на одного бойца приходится два солдата в тылу, т.е. вчетверо более. Благодаря этому число бойцов, выставленных Россией с населением в 170 000 000, немногим превышает число бойцов Франции с 40 000 000 населения. Это не мешает нам нести жесточайшие потери. По исчислению немцев, Россия по сегодняшний день потеряла 8 миллионов убитыми, ранеными и пленными. Этой ценой мы вывели из строя 4 миллиона противника.

Этот ужасный счет, по которому каждый выведенный из строя противник обходится в два русских, показывает, как щедро расходуется русское пушечное мясо. Один этот счет — приговор правительству. Приговор в настоящем и прошлом. Приговор над всем... Всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно, в смысле материальной культуры, Россия отстает от соседей...

То, что мы умели только "петь, танцевать, писать стихи и бросать бомбы", теперь окупается миллионами русских жизней — лишних русских жизней...

Мы не хотели и не могли быть эдисонами, мы презирали материальную культуру. Гораздо веселее было создавать "мировую" литературу, трансцендентальный балет и анархические теории. Но зато теперь пришла расплата.

Ты все пела...
Так поди же — попляши...

И вот мы пляшем... "последнее танго"... на гребне окопов, забитых трупами...

* * *

По счастью, "страна" не знает этого ужасного баланса смерти: два русских за одного немца, и поэтому эта самая тяжкая вина исторической России пока не ставится правительству на вид... Те, кто знает баланс, молчат.

Ибо здесь пришлось бы коснуться и армии. А армия пока забронирована от нападок...

Об ошибках Ставки и бездарности иных генералов "политические вожди" молчат.

* * *

Но, может быть, так следовало поступить и относительно правительства? Закрыть глаза на все — лишь бы оно довело войну до конца...

Если так и следовало поступить, то это было невозможно. Когда мы съехались в 1915 году в Петроград, выбора не было. Все были так накалены, что "заклеймить виновников национальной катастрофы" было необходимо Государственной думе, если она желала, чтобы ее призыв — новых жертв и нового подъема — был воспринят армией и страной. Между Думой и армией как бы сделалось немое соглашение:

Дума. Мы "их" ругаем, а вы уже не ругайтесь, а деритесь с немцами...

Армия. Мы и будем драться, если вы "их" как следует "нацукаете"...

* * *

И вот мы "цукаем".

Не довольно ли?

Беда в том, что никак остановиться нельзя.

Военные неудачи, напряжение, которое становится не под силу, утомление масс, явственно переходящее в отказ воевать, — все это требует особо искусной внутренней политики.

А внутренняя политика?..

Зачем это делается — одному богу известно...

Нельзя же в самом деле требовать от страны бесконечных жертв и в то же время ни на грош с ней не считаться... Можно не считаться, когда побеждаешь: победителей не судят... Но "побеждаемых" судят, и судят не только строго, а в высшей степени несправедливо, ибо сказано: "Vae victis!"*

Надо признать этот несправедливый закон — "горе побежденным", надо признать неизбежность этой несправедливости и сообразно с этой неизбежностью по-

---

* Горе побежденным! (*лат.*).

ступать. Надо поступать так, чтобы откупиться не только от суда праведного, но и от несправедливого. Надо дать взятку тем, кто обличает... Ибо они имеют власть обличать, так как на каждого обличающего — миллионы жадно слушающих, миллионы думающих так же, нет, не так же, а гораздо хуже. Да, их миллионы, потому что военные неудачи принадлежат к тем фактам, которые не нуждаются в пропаганде... ”Добрая слава за печкой лежит, а худая по миру бежит”... За поражения надо платить.

Чем?..

Той валютой, которая принимается в уплату: надо расплачиваться уступкой власти... хотя бы кажущейся, хотя бы временной.

* * *

Интеллигенция кричит устами Думы:

— Вы нас губите... Вы проигрываете войну... Ваши министры — или бездарности, или изменники... Страна вам не верит... Армия вам не верит... пустите нас... Мы попробуем...

Допустим, что все это неправда, за исключением одного: немцы нас бьют — этого ведь нельзя отрицать... А если так, то этого совершенно достаточно, чтобы дать России вразумительный ответ...

* * *

Можно поступить разно:

1) Позвать Прогрессивный блок, т.е., другими словами, кадет, и предоставить им составить кабинет: пробуйте, управляйте.

Что из этого вышло бы — бог его знает. Разумеется, кадеты чуда бы не сделали, но, вероятно, они все же выиграли бы время. Пока разобрались бы в том, что кадеты не чудотворцы, прошло бы несколько месяцев, — а там весна и наступление, которое все равно решит дело: при удаче выплывем, при неудаче все равно потонем.

2) Если же не уступать власти, то надо найти Столыпина-второго... Надо найти человека, который блеснул бы перед страной умом и волей... Надо сказать второе ”не запугаете”, эффектно разогнать Думу и править самим, — не на словах, а на самом деле — самодержавно...

3) Если кадет не призывать, Столыпина-второго не находить, остается одно: кончать войну.

Вне этих трех комбинаций нет пути, т.е. разумного пути.

Что же делают вместо этого?

Кадет не зовут, Думы не гонят. Столыпина не ищут. Мира не заключают, а делают — что?..

Назначают "заместо Столыпина" — Штюрмера, о котором Петербург выражается так:

— Абсолютно беспринципный человек и полное ничтожество...

За внешность его называют "святочным дедом"... Но этот "дед" не только не "принесет" порядка России, а "унесет" последний престиж власти...

К тому же этот "святочный дед" с немецкой фамилией...

* * *

Разумеется, шпиономания — это отвратительная и неимоверно глупая зараза. Я лично не верю ни в какие "измены", а "борьбу с немецким засильем" считаю дурацко-опасным занятием. Я пробовал бороться с этим и даже в печати указал, что, "поджигая бикфордов шнур, надо помнить, что у тебя на другом конце"... Я хотел этим сказать, что нельзя всякого немца в России считать шпионом только потому, что он немец, памятуя о принцессе Алисе Гессенской, которая у нас государыней... Меня прекрасно поняли и тем не менее изругали с "Новым временем" во главе.

Все это так, но все же нельзя с этим не считаться, когда все помешались на этом, когда последние неудачи на фронте приписывают тому, что некоторые генералы носят немецкие фамилии. Это нестерпимо глупо, но ведь все революции во все века двигались какими-нибудь круглоидиотскими соображениями.

* * *

Измена...

Это ужасное слово бродит в армии и в тылу... Началось это еще с Мясоедова в 1914 году, а теперь кого только не обвиняют? Вплоть до самых верхов бежит это слово, и рыщут даже вокруг Двора добровольные ищей-

ки. Как будто недостаточно зла причинено России бессознательно, чтобы обвинять еще кого-то в измене...

И это, положительно, как зараза. Люди, которые, казалось, могли бы соображать, и те шалеют...

На этой почве едва не треснул блок... Во всяком случае, издал неприятный скрип...

* * *

Это было несколько дней тому назад... Мы готовили ''переход к очередным делам'' по случаю нового созыва Государственной думы. Это вошло уже в обычай. В обычай вошло и то, что переходы эти заключают три части: привет союзникам, призыв к армии — твердо продолжать войну, резкая критика правительства...

Как всегда, мы собирались в комнате № 11. Пасмурное петербургское утро с электричеством. Над бархатными зелеными столами уютно горят лампы под темными абажурами...

Милюков, Шингарев, Шидловский, Капнист-второй, Скоропадский, Львов-второй, Половцов-второй, я.

Председательствовал Шидловский.

Был прочитан проект перехода. В нем было роковое слово:

Правительство обвинялось в ''измене''...

Резко обозначалось два мнения...

Мнение № 1. Обращаю внимание на слово ''измена''... Это страшное оружие. Включением его в резолюцию Дума нанесет смертельный удар правительству. Конечно, если измена действительно есть, нет такой резкой резолюции, которая могла бы достаточно выразить наше к такому факту отношение. Но для этого нужно быть убежденным в наличности измены. Все то, что болтают по этому поводу, в конце концов, только болтовня. Если у кого есть факты, то я попрошу их огласить. На такие обвинения идти с закрытыми глазами мы не можем.

Мнение № 2. Надо ясно дать себе отчет, что мы вступаем в новую полосу... Власть не послушалась наших предостережений. Она продолжает вести свою безумную политику... Политику раздражения всей страны... страны, от которой продолжают требовать неслыханных жертв... Мало того: назначением Штюрмера власть бросила новый вызов России... Эта политика, в связи с неудачами на фронте, заставляет предполагать самое худшее. Если это не предательство, то что же это такое? Как

назвать это сведение на нет всех усилий армии путем систематического разрушения того, что важнее пушек и снарядов, — разрушения духа, разрушения воли к победе?.. Если это не предательство, то это, во всяком случае, цепь таких действий, что истинные предатели не выдумали бы ничего лучше, чтобы помочь немцам...

Мнение № 1. Все это так, но все же это не измена. Если этими соображениями исчерпываются доводы в пользу включения этого слова в нашу резолцию, то для меня ясно: измены нет, а, следовательно, нужно тщательно избегать этого слова.

Мнение № 2. Это слово повторяет вся страна. Если мы откажемся от него, мы не скажем того, что нужно, того, что от нас ждут... Но это будет политикой страуса: если этого слова не скажет Государственная дума, то оно все же не перестанет повторяться всюду и везде, в армии и в тылу... Но если в чрезмерной добросовестности мы спрячем голову под крыло и промолчим, то прибавится еще другое: скажут — Дума испугалась, Дума не посмела сказать правду, Дума покрыла измену, Дума сама изменила... Мы ничего не переменим в настроении масс, но только вдобавок к разрушению всех скреп государства похороним еще и себя... Рухнет последний авторитет, которому еще верят... Рухнет доверие к Государственной думе. Когда это случится, а это непременно случится, если мы хотя бы в смягченном виде не выскажем того, чем кипит вся Россия, — тогда это настроение и рассуждение найдут себе другой выход... Тогда оно выйдет на улицу, на площадь... Мы должны это сказать, если бы и не хотели... Мы должны понимать, что мы сейчас в положении человеческой цепочки, которая сдерживает толпу... Да, мы сдерживаем ее, но все имеет свой предел... Не наша вина, что это невыносимое положение продолжается так долго. Толпа нас толкает в спину... Нас толкают, и мы должны двигаться, хотя и упираясь, сколько хватает наших сил, но все же должны двигаться... Если мы перестанем двигаться, нас сомнут, порвут, и толпа ринется на тот предмет, который мы все же охраняем, — охраняем, бичуя, порицая, упрекая, но все же охраняем... Этот предмет — власть... Не носители власти, а сама власть... Пока мы говорим, ее ненавидят, но не трогают... Когда мы замолчим, на нее бросятся.

Мнение № 1. Наши мнения совершенно определенные: нельзя обвинять кого бы то ни было в измене, не имея на это фактов. Никакие убеждения, хотя бы самые

красноречивые, нас с этого не собьют. К тому же на все эти доводы можно привести контрдоводы, не менее убедительные. Например, что касается авторитета Государственной думы, то мы потеряем его именно тогда, когда позволим себе обвинять людей в предательстве, не имея на это данных. Авторитет, основанный на лжи, на обмане или даже на легкомысленной терминологии, не долго продержится. Мы на это не пойдем. Играть в эту игру мы согласны только при одном условии — карты на стол. Сообщите нам "факты измены" или вычеркните это слово.

Мнение № 2. В нашем распоряжении факты есть, но мы не можем сейчас ими поделиться по слишком веским соображениям.

Мнение № 1. В таком случае мы остаемся при своем убеждении.

* * *

Мы разошлись завтракать при зловещем скрипе блока.

Но за завтраком разговор продолжался.

Мнение № 1. Если вы хотите повторить приемы 1905 года, то мы на это не пойдем.

Мнение № 2. Что вы называете приемами 1905 года?

Мнение № 1. А когда вы приписывали правительству устройство еврейских погромов, хотя вы отлично знали, что погромы — стихийны и существуют столько же времени, сколько существуют евреи, и что никогда русское правительство еврейских погромов не устраивало.

Мнение № 2. Во-первых, Плеве устроил кишиневский погром, а во-вторых, в чем вы видите аналогию?

Мнение № 1. В том, что, увлекшись борьбой, вы хотите нанести удар правительству побольней и обвинить его в измене, не имея на то доказательств.

Мнение № 2. Доказательства есть.

Мнение № 1. Так предъявите их.

Мнение № 2. Мы и предъявим их в наших речах с кафедры Думы.

* * *

В конце концов победило компромиссное решение. В резолюцию все же было включено слово "измена", но без приписывания измены правительству со стороны Ду-

мы. Было сказано, что действия правительства нецелесообразные, нелепые и какие-то еще привели наконец к тому, что "роковое слово измена ходит из уст в уста"...

Это — правда... Действительно ходит...

* * *

Позавчера, 1 ноября, Милюков сказал свою речь, которая уже стала знаменитой... И сама по себе и в особенности потому, что она запрещена цензурой.

Он предъявил "факты измены".

Факты были не очень убедительны. Чувствуется, что Штюрмер окружен какими-то подозрительными личностями, но не более. Но разве дело в этом? Дело в том, что Штюрмер маленький, ничтожный человек, а Россия ведет мировую войну. Дело в том, что все державы мобилизовали свои лучшие силы, а у нас "святочный дед" премьером. Вот где ужас... И вот отчего страна в бешенстве.

И кому охота, кому это нужно доводить людей до исступления?! Что это, нарочно, наконец, делается?!

* * *

Есть такой генерал Шуваев — военный министр. Старик безусловно хороший и честный... На месте главного интенданта он был бы безусловно "на месте", но как военный министр... Словом, с ним будто бы произошло вот что. Как-то он узнал, что и его кто-то считает изменником (хотя на самом деле никто этого никогда не думал). Старик страшно обиделся и, как говорят, все ходил и повторял:

— Я, может быть, — дурак, но я не изменник!..

Милюков взял эту фразу главной осью своей речи. Приводя разные примеры той или иной нелепости, он каждый раз спрашивал: "А это что же — измена или глупость?" И каждый раз этот злой вопрос покрывался громом аплодисментов...

Речь Милюкова была грубовата, но сильная. А главное, она совершенно соответствует настроению России. Если бы каким-нибудь чудом можно было вместить в этот белый зал Таврического дворца всю страну и Милюков повторил бы перед этим многомиллионным морем свою речь, то рукоплескания, которыми его приветствовали бы, заглушили бы ураганный огонь "150

парков снарядов", изготовленных генералом Маниковским по "приказу" Особого совещания.

Министерские скамьи пустовали...

* * *

Они были пусты и сегодня, когда мне пришлось идти "на Голгофу".

Зато вся Дума переполнена... Все фракции в необычайном сборе, хоры — в густой бахроме людей.

Я посмотрел на пустые скамьи министров.

— Господа члены Государственной думы. Вы были свидетелями, как в течение многих часов с этой кафедры раздавались тяжелые обвинения против правительства, — такие тяжелые, что можно было бы ужаснуться, слушая их... и все же ужас — не в обвинениях... Обвинения бывали и раньше... Ужас в том, что на эти обвинения нет ответа... Ужас в том, что эти скамьи пусты... Ужас в том, что это правительство даже не находит в себе силы защищаться... Ужас в том, что это правительство даже не пришло в этот зал... где открыто, перед лицом всей России, его обвиняют в измене... Ужас в том, что на такие обвинения — такой ответ...

Я показал на скамью министров...

* * *

Разве это неправда? Латинская юридическая поговорка гласит: "Кто молчит — еще не соглашается; но если кто молчит, когда он обязан говорить, — тогда он соглашается..."

Здесь именно этот случай. Правительство обязано говорить, раз дело зашло так далеко, и даже не говорить, а ответить. Ответ же в данном случае не может быть словесным... Есть обвинения, на которые отвечают только действием...

И действие это должно быть: либо уход правительства, либо разгон Думы.

* * *

Но раз Думы не разгоняют, и в то же время обесчещенное правительство, с пятном измены на щеке, продолжает оставаться у власти, то нам остается только

жечь его словами, пока оно не уйдет, потому что, если мы замолчим, заговорит улица.

Так я и сказал...

— И мы будем бороться с этим правительством, пока оно не уйдет. Мы будем говорить все "здесь" до конца, чтобы страна "там" молчала... Мы будем говорить для того, чтобы рабочие у станков могли спокойно работать... Пусть льют фронту снаряды, не оборачиваясь назад, зная, что Государственная дума скажет за них, все что надо. Мы будем говорить для того, чтобы армия и в окопах могла стоять на фронте лицом к врагу... не озираясь на тыл... В тылу — Государственная дума... Она видит, слышит, знает и, когда нужно, скажет свое слово...

* * *

Да, и вот... И вот мою речь будут стучать бесчисленные барышни как "запрещенную литературу"... Государственная дума сделала то, чего от нее ждали... Она грозно накричала на правительство, требуя, чтобы оно ушло.

Расписаны были кулисы пестро...
Я так декламировал страстно...

* * *

Господи, неужели же никто не в силах вразумить!.. Ведь нельзя же так, нельзя же раздражать людей, страну, народ, льющий свою кровь без края, без счета. Неужели эта кровь не имеет своих прав? Неужели эти безгласные жертвы не дают никакого голоса?..

Не все ли равно — изменит ли Штюрмер или нет. Допустим, что он самый честный из честных. Но если, правильно или нет, страна помешалась на "людях, заслуживающих доверия", почему их не попробовать?.. Отчего их не назначить?.. Допустим, что эти люди доверия — плохи... Но ведь "Столыпина" нет же сейчас на горизонте. Допустим, Милюков — ничтожество... Но ведь не ничтожнее же он Штюрмера... Откуда такое упрямство? Какое разумное основание здесь — какое?..

* * *

В том-то и дело, что совершается что-то трансцендентально-иррациональное...

* * *

А кроме того, есть нечто, перед чем бессильно опускаются руки...

Кто хочет себя погубить, тот погубит.

Есть страшный червь, который точит, словно шашель, ствол России. Уже всю сердцевину изъел, быть может, уже и нет ствола, а только одна трехсотлетняя кора еще держится...

И тут лекарства нет...

Здесь нельзя бороться... Это то, что убивает...

Имя этому смертельному: Распутин!!!

Предпоследние дни "конституции"

(Продолжение)

(Год — 1916. Месяцы — ноябрь, декабрь)

Петроград жужжит все о том же. Чтобы понять о чем, надо прочесть ce qui suit*.

* * *

Место действия — "у камина". Пьют кофе — чистое "мокко". Действующие лица: "она" и "он". Она — немолодая дама, он — пожилой господин. Оба в высшей степени порядочные люди в кавычках и без них. Так как они порядочные люди и без кавычек, то образ их мысли возвышается над вульгарной Россией; так как они порядочные люди в кавычках, то они говорят только о том, о чем сейчас в Петрограде говорить "принято".

Она. Я знаю это от... (тут следует длинная ариаднина нить из кузин и belles-soeurs**). И вот что я вам скажу: она очень умна... Она гораздо выше всего окружающего. Все, кто пробовал с ней говорить, были поражены...

Он. Чем?

Она. Да вот ее умом, уменьем спорить... она всех разбивает... Ей ничего нельзя доказать... В особенности она с пренебрежением относится именно к нам... ну, словом,

---

* То, что следует дальше (*фр.*).

** Свояченицы (*фр.*).

к Петербургу... Как-то с ней заговорили на эти темы... Попробовали высказать взгляды... Я там не знаю, о русском народе, словом... Она иронически спросила: "Вы что же, это во время бриджа узнали? Вам сказал ваш cousin? Или ваша belle-soeur?" Она презирает мнение петербургских дам, считает, что они русского народа совершенно не знают...

Он. А императрица знает?

Она. Да, она считает, что знает...

Он. Через Распутина?

Она. Да, через Распутина... но и кроме того... Она ведь ведет обширнейшую переписку с разными лицами. Получает массу писем от, так сказать, самых простых людей... И по этим письмам судит о народе... Она уверена, что простой народ ее обожает... А то, что иногда решаются докладывать государю, — это все ложь, по ее мнению... Вы знаете, конечно, про княгиню В.?

Он. В. написала письмо государыне. Очень откровенное... И ей приказано выехать из Петрограда. Это верно?

Она. Да, ей и ему... Он? Вы его знаете — это бывший министр земледелия. Но В. написала это не от себя... Она там в письме говорит, что это мнение целого ряда русских женщин... Словом, это, так сказать, протест...

Он. В письме говорится про Распутина?

Она. Да, конечно... Между прочим, я хотела вас спросить, что вы думаете об этом... словом, о Распутине?

Он. Что я думаю?.. Во-первых, я должен сказать, что я не верю в то, что говорят и что повторять неприятно.

Она. Не верите? У вас есть данные?

Он. Данные? Как вам сказать... это, во-первых, до такой степени чудовищно, что именно те, кто в это верят, должны бы были иметь данные.

Она. Но репутация Распутина?

Он. Ну что же репутация?.. Все это не мешает ему быть мужиком умным и хитрым... Он держит себя в границах там, где нужно... Кроме того, если бы это было... Ведь императрицу так много людей ненавидят... Неужели бы не нашлось лиц, которые бы раскрыли глаза государю?

Она. Но если государь знает, но не хочет?

Он. Если государь "знает, но не хочет", — то революции не миновать. Такого безволия монархам не прощают... Но я не верю — нет, я не верю. Не знаю, быть может, это покажется вам слишком самоуверенным — су-

дить на основании такого непродолжительного впечатления, но у меня составилось личное мнение о ней самой, которое совершенно не вмещается, — нет, не вмещается.

Она. Вы говорили с ней?

Он. Да, один раз.

Она. Что она вам сказала?

Он. Меня кто-то представил, объяснив, что я от такой-то губернии. Она протянула мне руку... Затем я увидел довольно беспомощные глаза и улыбку — принужденную улыбку, от которой, если позволено мне будет так выразиться, ее английское лицо вдруг стало немецким... Затем она сказала как бы с некоторым отчаянием.

Она. По-русски?

Он. По-русски, но с акцентом... Она спросила: "Какая она, ваша губерния?.." Этот вопрос застал меня врасплох, я меньше всего его ожидал...

Она. Что же вы ответили?

Он. Что я ответил? Банальность... Ведь трудно же так охарактеризовать губернию без подготовки... Я ответил: "Ваше величество, наша губерния отличается мягкостью. Мягкий климат, мягкая природа... Может быть, поэтому и население отличается мягким характером... У нас народ сравнительно мирный". Тут я замолчал. Но по выражению ее лица понял, что еще надо что-то сказать... Тогда я сделал то, чего ни в коем случае нельзя было делать... ибо ведь нельзя задавать вопросов... а само собой, разумеется, нельзя задавать глупых вопросов, а я именно такой и задал...

Она. Ну, что вы?

Он. Да, потому что я спросил: "Ваше величество не изволили быть в нашей губернии?"... Казалось бы, я должен бы знать, была ли государыня в нашей губернии или нет.

Она. Что же она сказала?

Он. Ответ получился довольно неожиданный... У нее как бы вырвалось: "Да нет, я нигде не была. Я десять лет тут в Царском, как в тюрьме".

Она. Даже так? А вы?

Он. После этого мне осталось только сказать: "Мы все надеемся, что когда-нибудь ваше величество удостоит нас своим посещением"... Она ответила: "Я приеду непременно"...

Она. И приехала?

Он. Не доехала... Она должна была приехать из Кие-

ва, но убили Столыпина, и это отпало... О чем мы говорили?..

Она. Вы говорили, что у вас личное впечатление...

Он. Да... Вот личное впечатление, что она и англичанка и немка, вместе взятые... Она и Распутин — нет, это невозможно... Что угодно, но не это...

Она. Но что же? Я тоже не верю, — но что в таком случае? Мистицизм?

Он. Конечно... У сестры ее, Елизаветы Федоровны, то же самое мистическое настроение, которое не приобрело таких ужасных для России форм только потому, что у Елизаветы Федоровны другой характер, менее властный и настойчивый.

Она. Как так? Почему?

Он. Потому что, если бы императрица была мягкая и покорная...

Она. Как полагается быть женщинам, не правда ли?..

Он. Во всяком случае государыне...

Она. Государыне меньше, чем другим.

Он. Нет, во сто тысяч раз больше...

Она. Почему?

Он. Потому что из всех мужчин на свете самый несчастный государь. Ни у кого нет столько забот и такой ответственности... таких тяжелых переживаний. Его душевный покой должен оберегаться, как святыня... Потому что от его спокойствия зависит судьба России. Поэтому государыня должна быть кротчайшая из кротчайших — женщина без шипов...

Она. К сожалению, этого нельзя сказать про Александру Федоровну... Она, прежде всего, большая насмешница...

Он. Да, говорят...

Она. Она очень хорошо рисует карикатуры... И вы знаете — какая любимая тема?..

Он. Нет...

Она. Она рисует государя в виде "baby"* на руках у матери... Это обозначает, что государь — маленький мальчик, которым руководит maman.

Он. Ах, это нехорошо.

Она. Ее любимое выражение: "Ах, если бы я была мужчиной". По-английски это звучит несколько иначе... это она говорит каждый раз, когда не делают того или

---

* Младенец *(англ.)*.

другого, что, по ее мнению, следовало бы сделать... Она упрекает царя за его слабость...

Он. Да, я это знаю. Об этом говорилось еще во времена Столыпина... Говорят, в это время в ходу была фраза: "Êtes-vous souverain enfin?"* Из этой эпохи мне вспоминался эпизод. Будто бы Ольга Борисовна Столыпина устраивала у себя обеды, так сказать, "не по чину"... Т.е. у нее обедали "в лентах", а военные не снимали шашек... Это будто бы полагается только за царским столом... Об этом немедленно донесли государыне, а государыня сказала государю, прибавив: "Ну что ж, было две императрицы, теперь будет три..."

Она. Это зло...

Он. Да, к сожалению, это зло... это хуже, чем зло... это остроумно...

Она ??

Он. Да, потому что из остроумия королев всегда вытекает какая-нибудь беда для королевства...

Она. Но королевам разрешается быть просто умными, надеюсь?..

Он. Только тем женским умом, который, впрочем, самый высший, который угадывает во всяком положении, как облегчить суровый труд мужа... Облегчить — это вовсе не значит — вмешиваться в дела управления. Наоборот, из этого "вмешивания" рождаются только новые затруднения. Облегчить — это значит устранить те заботы, которые устранить можно... И первый долг царицы — это абсолютное повиновение царю... Ибо хотя она и царица, но все же только первая из подданных государя...

Она. Кажется, вы по "Домострою"...

Он. Весьма возможно... Но подумайте сами... Вот говорят, наша императрица большая "абсолютистка"... очень стоит за самодержавие... Но кто же больше, чем она, это самодержавие подрывает? Кто оказывает царю явное неповиновение перед лицом всей страны? По крайней мере, так твердят все... Кто не знает этой фразы: "Лучше один Распутин, чем десять истерик в день"? Не знаю, была ли произнесена эта фраза в действительности, но, в конце концов, это безразлично, потому что ее произносит вся Россия.

Она. Ну и что же? Вывод?

Он. Вывод: дело не в мистицизме, а в характере импе-

---

* Государь же вы в конце концов? (*фр.*)

ратрицы. Мистицизм сам по себе был бы неопасен, если бы императрица была "женщина без шипов". Она пожертвовала бы Распутиным, хотя бы и считала его святым старцем. Поплакала бы и рассталась бы сейчас же, в тот же день, когда "подозрение коснулось жены Цезаря". А если бы не в первый, так во второй день, когда бы увидела хотя тень неудовольствия на лице государя, ибо его душевный покой — самое важное — в нем судьба России... Вместо этого — "десять истерик в день". Явное неповиновение, открытый бунт против самодержца и страшный соблазн для всех... "Какой же он самодержец"... И невольно в самые преданные... самые верноподданные сердца, у которых почитание престола — шестое чувство, невольно и неизбежно... проникает отрава... Вытравляется монархическое чувство, остается только монархизм по убеждению... холодный, рассудочный... Но это хорошо для натур совершенно исключительных... Все остальные люди живут гораздо больше сердцем, чем умом.

Она. Да, еще бы.

Он. Это ужасно... это просто ужасно...

Она. Но если она действительно подчинилась влиянию Распутина? Ведь утверждают же, что он сильнейший гипнотизер. Если она верит в то, что он спасает и наследника, и государя, и Россию, наконец...

Он. В старину было хорошее для этих случаев слово. Сказали бы, что Гришка "околдовал" царицу. А колдовство изгоняется молитвой. А молиться лучше всего в монастыре...

Она. Монастырь? Да, такие проекты есть... Но если... сам государь... им околдован?

Он. Если так, то нечего делать: мы погибли... Но я не верю в это... У меня нет этого ощущения... Нет, государь не околдован. Все эти рассказы про "тибетские настойки" — вздор... Он если околдован, то из себя самого, изнутри...

Она. Как?

Он. Он не может не знать, что делается... Ему все сказано... Его глаза раскрыты... Но он околдован каким-то внутренним бессилием. Ведь подумайте, что бы ему стоило только один раз рассердиться?.. И от этого Распутина ничего бы не осталось... Государыня бы билась в истерике... Хуже будет, когда в истерике забьется Россия... И тогда будет поздно. А теперь... Ах, если бы он рассердился!.. Если бы он один раз ударил кулаком по

столу... Чтобы задрожало все кругом, а главное, чтобы задрожала царица...

Она. Нет, вы положительно неравнодушны к "Домострою".

Он. Положительно. И я убежден, что сама царица этого жаждёт в глубине души.

Она. Почему вы так думаете?

Он. Потому, что все женщины жаждут самодержца... Я знаю, вы скажете, что это "пошлость"... Но заповеди "не убий" и "не укради" — тоже "пошлость"... Однако пошлости этого рода обладают таким свойством, что стоит только от них уклониться и начать "оригинальничать", как мир летит вверх тормашками. И Россия скоро полетит... Потому что, только подумайте об этом ужасе — какая страшная драма происходит на этой почве.... Ведь ради слабости "одного мужа по отношению к одной жене" ежедневно, ежечасно государь оскорбляет свой народ, а народ оскорбляет своего государя...

Она. Как?

Он. Да так... Разве это не оскорбление всех нас, не величайшее пренебрежение ко всей нации и в особенности к нам, монархистам, — это "приятие Распутина". Я верю совершенно, как это сказать... ну, словом, что императрица совершенно чиста... Но ведь тем не менее Распутин грязный развратник... И как же его пускать во дворец, когда это беспокоит, волнует всю страну, когда это дает возможность забрасывать грязью династию ее врагам, а нам, ее защитникам, не дает возможности отбивать эти нападения... Неужели нельзя принять во внимание, так сказать, "уважить" лучшие чувства своих верноподданных? Неужели необходимо топтать их в грязь, неужели нужно заставлять нас краснеть за своего государя?.. И перед врагами внутренними... и перед врагами внешними... а главное... перед солдатами. Это во время самой грозной войны, которую когда-либо вела Россия, это когда от психологии этих солдат зависит все... И подумайте, какое бессилие наше в этом вопросе. Ведь заговорить об этом нельзя... Ведь офицер не может позвать свою роту и начать так: "Вот говорят то, другое про Распутина — так это вздор"... Не может, потому что уже заговорить об этом — величайшее оскорбление. Ну, словом, это невозможно. И тем более невозможно, что может оказаться такой наивный или представляющийся наивным солдат, который скажет: "Разрешите спросить, ваше благородие, а что го-

ворят про Распутина? Так что это нам неизвестно". Офицеру придется рассказывать, что ли?.. Ужас, ужас — безвыходное положение. А сколько офицеров верят в это?..

Она. Да что офицеры... Весь Петербург в это верит. Люди, которые объясняют это вот так, как мы с вами, их очень немного... Большинство принимает самое простое, самое грязное объяснение...

Он. Да, я знаю... И вот это и есть другая сторона драмы... Это ежедневное, ежеминутное оскорбление государя его народом... Ибо эти чудовищные рассказы — то, что народ поверил в эти гадости, — это тяжкое и длящееся оскорбление всеми нами государя... Оскорбление такое безвыходное, безысходное... Он не может объяснить, что ничего подобного нет, потому что он не может об этом заговорить... Он не может вызвать на дуэль, потому что цари не дерутся на дуэлях... Да и кого бы он вызвал?.. Всю страну?.. Удивительно, конечно, что никто никогда не заступился за честь государыни... Но это происходит, вероятно, потому, что всякий сознает, что она сама создает обстановку, рождающую эти слухи... И вот этот страшный узел... Государь оскорбляет страну тем, что пускает во дворец, куда доступ так труден и самым лучшим, уличенного развратника. А страна оскорбляет государя ужасными подозрениями... И рушатся столетние связи, которыми держалась Россия... И все из-за чего?.. Из-за слабости одного мужа к одной жене... Ах, боже мой!..

Она. Что?.. Ну что?..

Он. Вот что... Как ужасно самодержавие без самодержца...

* * *

Вот о чем денно и нощно жужжит Петроград. Однако, несмотря на эту непрерывную болтовню, в сущности, мы очень мало знаем достоверного об этом человеке, который несет нам смерть.

Немцы в нашем положении основали бы бесчисленное число обществ, ферейнов, посвященных изучению Распутина. У нас нет не только учебных обществ, занимающихся "распутиноведением", у нас попросту ничего хорошенько о нем не знают...

* * *

К тому же считается в высшей степени неприличным иметь с ним какие бы то ни было сношения. Поэтому, например, я в глаза его никогда не видел. Личного впечатления не имею.

Между тем было бы полезно его иметь. Потому что в этом человеке, несомненно, есть две стороны.

Вот, впрочем, то немногое, что я о нем знаю.

* * *

Вот рассказ некоего Р., киевлянина, которого Киев хорошо знает. Так как он был руководителем одной демократическо-монархической организации, то о нем говорят всякие гадости, но, по-моему, он старик честный, неглупый, хотя и не очень интеллигентный. Вот что он рассказывал:

— Перед тем как государь император и государыня императрица и Петр Аркадьевич Столыпин должны были приехать в Киев, за несколько дней получаю я телеграмму: "Григорий Ефимович у вас будет жить на квартире"... Я с Распутиным до этого времени не был знаком и не очень был рад, скажу вам по правде. Во-первых, и так много лишнего беспокойства, а у меня забот, вы сами знаете, было много... Потому что я, как председатель, при проезде государя, должен был со своими молодцами распоряжаться, чтобы все было как надо... А тут еще Распутин... А кроме того, сами вы изволите знать, что про него рассказывают, а у меня жена, вы знаете... Но, думаю, делать нечего: нельзя не принять... Приехал... Ничего... хорошо себя держит, прилично. Простой человек, всех на "ты" называет... Я его принял, как мог, он мне сейчас говорит: "Ты, милый человек, мне сейчас хлопочи самое как есть первое место, чтобы при проезде государя быть". Я сейчас побежал к господину Курлову... Так да так, вот Распутин изволит требовать... Дали мне билет для него, только сказали, чтобы я смотрел, чего бы не было...

Ну, вот... Поставили меня с моими молодцами на Александровской, около музея, в первом ряду... Среди них я Григория Ефимовича поставил. И молодцам моим сказал, чтобы смотреть за ним, как есть... А я хорошо знал, что уж кого-кого, а нас государь заметит. Потому

мои молодцы так уже были выучены, как крикнут "ура", так уже невозможно не оглянуться... От сердца кричали — и все разом... Так оно и было. Вот едет коляска, и как мои молодцы гаркнули, государь и государыня оба обернулись... И тут государыня Григория Ефимовича узнала: поклонилась... А он, Григорий Ефимович, как только царский экипаж стал подъезжать, так стал в воздухе руками водить...

— Благословлять?..

— Да, вроде как благословлять... Стоит во весь рост в первом ряду, руками водит, водит... Но ничего, проехали... В тот же день явился ко мне на квартиру какой-то офицер от государыни к Григорию Ефимовичу: просят, мол, их величество Григория Ефимовича пожаловать. А он спрашивает: "А дежурный кто?" Тот сказал. Тогда Григорий Ефимович рассердился: "Скажи матушке-царице — не пойду сегодня... Этот дежурный — собака. А завтра приду — скажи"... Ну вот, ничего больше вам рассказать не могу... Жил у меня прилично... потом, как все кончилось, очень благодарил и поехал себе... простой человек, и ничего в нем замечательного не нахожу...

* * *

А вот рассказ о том же событии, но совсем в других тонах.

Осенью 1913 года ко мне в Киев пришел один человек, которого я совершенно не знал. Он назвал себя почтово-телеграфным чиновником. Бывало у меня в то время очень много народа. Я пригласил его сесть и уставил на него довольно утомленный взгляд. Он был чиновник как чиновник, только в глазах у него было что-то неприятное. Он начал так:

— Все это я читаю, читаю газеты и часто о вас думаю... Тяжело вам, должно быть?

Мне действительно было несладко в это время, но все же я не понял, о чем он, собственно, говорит, и ждал, что будет дальше.

— Вот ваши друзья на вас пошли... Господин Меньшиков в "Новом времени" очень нападает... Да и другие... Это самое трудное, когда друзья... И знаете вы, что вы правы, а доказать не можете... Через это они все нападают на вас... А если бы могли "доказать", то ничего этого бы не было, всех этих неприятностей...

Я теперь догадался, в чем дело. Он говорил о той

травле, которая поднялась против меня в правой печати по поводу того, что ''Киевлянин'' не одобрил затеи Замысловского и Чаплинского заставить русский судебный аппарат служить политической игре в еврейском вопросе. Словом, о той кампании, которую мои единомышленники по многим другим вопросам повели против меня по поводу знаменитого дела Бейлиса. Он продолжал:

— Надо вам ''доказать'' правду... Я тоже знаю, что не Бейлис убил... Но кто?.. Надо вам узнать, кто же убил Андрюшу Ющинского?..

Он смотрел на меня, и я чувствовал, что его взгляд тяжел и настойчив. Но он был прав. Я ответил:

— Разумеется, для меня, и да разве только для меня, было бы важно узнать, кто убил Ющинского?.. Но как это сделать?

Он ответил не сразу. Он смотрел на меня, точно стараясь проникнуть мне в мозг. Я подумал: ''Экий неприятный взгляд''...

А он сказал:

— Есть такой человек...

— Какой человек?..

— Такой человек, что все знает... И это знает...

Я подумал, что он назовет мне какую-нибудь гадалку-хиромантку. Но он сказал:

— Григорий Ефимович...

Сказал таинственно, понизив голос, но я его сразу не понял. Потом вдруг понял, и у меня вырвалось:

— Распутин?..

Он сделал лицо снисходительного сожаления.

— И вот и вы, как и все... Испугались... Распутин... А ведь он все знает... Я знаю — вы не верите... А вот вы послушайте... Вот я раз шел с ним тут в Киеве, когда он был, по улице на Печерске... Идет баба пьяная-распьяная... А он ей пять рублей дал. Я ему:

— Григорий Ефимович, за что?

А он мне:

— Она бедная, бедная... Она не знает... не знает... У нее сейчас ребенок умер... Придет домой — узнает... Она — бедная... бедная, — говорю...

— Что ж, действительно умер ребенок?

— Умер... Я проверил... Нарочно проверил, спросил ее адрес... А вот когда государь император был в Киеве, по Александровской улице ехали... Я тогда вместе с ним стоял...

— Где?

— На тротуаре... в первом ряду... Все мне было видно, очень хорошо... Вот, значит, коляска государя ехала... Государыня Григория Ефимовича узнала, кивнула ему. А он ее перекрестил... А второй экипаж — Петр Аркадьевич Столыпин ехал... Так он, Григорий Ефимович, вдруг затрясся весь... ''Смерть за ним!.. Смерть за ним едет!.. За Петром... за ним''... Вы мне не верите?..

Его взгляд был тяжел... Он давил мне на веки. Я не могу сказать, чтобы мне казалось, что он лжет. Я сказал:

— Я не имею права вам не верить... я вас не знаю...

— Верьте мне, верьте... А всю ночь я вместе с ним ночевал, это значит перед театром... Он в соседней комнате через тоненькую стеночку спал... Так всю ночь заснуть мне не дал... кряхтел, ворочался, стонал... ''Ох, беда будет, ох, беда''. Я его спрашиваю: ''Что такое с вами, Григорий Ефимович?'' А он все свое: ''Ох, беда, смерть идет''. И так до самого света... А на следующий день — сами знаете... в театре... Убили Петра Аркадьевича... Он все знает, все...

Его взгляд стал так тяжело давить мне на веки, что мне захотелось спать... Он продолжал:

— К нему вам надо... к Григорию Ефимовичу... Он все знает. Он вам скажет, кто убил Ющинского, — скажет... Поверьте мне... вам же польза будет... Пойдите к Григорию Ефимовичу, поезжайте к нему...

Нет, что это со мной такое?.. Взгляд его глаз ''точно свинцом'' давит мне на веки... Хочется спать. И вдруг мысль как-то ослепительно сверкнула во мне: уж не гипнотизирует ли он меня?..

Я сделал усилие, встрепенулся и сбросил с себя что-то. В то же мгновение он схватил меня за руку...

— Ну, и нервный же вы человек, Василий Витальевич!..

Я встал.

— Да, я нервный человек... И потому мне лучше не видаться с Григорием Ефимовичем, который такой же нервный, должно быть, как и я и как вы... До свидания...

Он ушел и больше ко мне не являлся. Но у меня надолго осталось какое-то странное чувство: точно ко мне прикоснулся фрагмент чего-то таинственного, что я бы мог узнать больше, если бы захотел...

Но можно ли свести рассказ этого человека с рассказом Р.? Можно: этот чиновник мог быть одним из ''молодцев'' Р., мог жить у него на квартире эти дни, мог стоять за Распутиным во время проезда государя.

* * *

Вот еще один рассказ. Рассказ некоего Г., петербуржца, не имевшего, по-видимому, никаких причин пропагандировать Распутина. Он рассказал мне нижеследующее:

— Мы потеряли двух детей почти одновременно. Старшей девочке было шестнадцать, младшей — четырнадцать. Моя жена была в ужасном состоянии. Ее отчаяние граничило с сумасшествием. Ей ничем нельзя было помочь. Она совершенно не спала. Доктора ничего не могли сделать. Я страшно за нее боялся. Кто-то мне посоветовал позвать Распутина. Я позвал. И можете себе представить, он поговорил с ней полчаса, и она совершенно успокоилась. Просветлела и вернулась к жизни. Пусть говорят все, что угодно, все это может быть правда, но и это правда — то, что я вам рассказываю: он спас мою жену.

Таких рассказов я слышал несколько. К сожалению, имена мною забыты, почему я их не привожу, за исключением рассказа Г., который помню точно.

* * *

Вот еще рассказ, в котором заметно нечто мистическое.

У баронессы, на Кирочной, где вообще полагалось бывать всему "замечательному", сидел Гришка. Это было за чайным столом. Сидел и разговоры разговаривал. Вдруг что-то заволновался...

— Не могу, мать моя, не могу...

— Что с вами, Григорий Ефимович?..

Он заерзал, привстал, хотел уйти.

— Куда вы?

— Уйти надо нам... враг идет... сюда идет... Сейчас здесь будет...

Позвонили. И в комнату вошла Машенька Х.

Она сама мне это рассказывала со слов баронессы и прибавила:

— Я Гришку действительно ненавижу...

* * *

— Скажите, что правда во всем этом... о Распутине? Что он действительно имеет влияние?.. Неужели это вер-

но, он пишет "каракули" и эти каракули имеют силу наравне... с высочайшим рескриптом?

У В. изящно-грубоватая речь, мало подходящая к посту товарища министра внутренних дел.

— Правда вот в чем... Распутин прохвост и "каракули" пишет прохвостам... Есть всякая сволочь, которая его "каракули" принимает всерьез... Он тем и пишет... Он прекрасно знает, кому можно написать. Отчего он мне не пишет? Оттого, что он отлично знает, что я его последними словами изругаю. И с лестницы он у меня заиграет, если придет. Нет Распутина, а есть распутство. Дрянь мы, вот и все. А на порядочных людей никакого влияния не имеет. Все же, что говорят, будто он влияет на назначения министров, — вздор: дело совсем не в этом... Дело в том, что наследник смертельно болен... Вечная боязнь заставляет императрицу бросаться к этому человеку. Она верит, что наследник только им живет... А вокруг этого и разыгрывается весь этот кабак... Я вам говорю, Шульгин, сволочь — мы... И левые и правые. Левые потому, что они пользуются Распутиным, чтобы клеветать, правые, т.е. прохвосты из правых, потому что они, надеясь, что он что-то может сделать, принимают его "каракули"... А в общем плохо... Нельзя так... хоть наследник и болен, а все-таки этого господина нельзя во дворец пускать. Но это безнадежно... Говорили сто раз... Ничего не помогает...

* * *

Вот рассказ в другом стиле.

— Я вчера познакомился с Распутиным... — сказал мне один мой молодой друг, журналист.

— Как это было?

— Да вот как... Он на меня посмотрел, рассмеялся и хлопнул по плечу. И сказал: "Жулик ты, брат"...

Надо сказать, что мой молодой друг, конечно, не жулик. Но ловкий парень из донских казаков с университетским образованием.

— А вы что?

— А я ему говорю: "Все мы жулики. И вы, Григорий Ефимович, — жулик"... А он рассмеялся и говорит: "Ну, пойдем водку пить".

— И пили?

— Пили. Он не дурак выпить...

— Что же это за человек?

— Да знаете, просто хитрый, умный мужик, и больше ничего... Пил, смеялся...

— Кто же там был?

— Да масса народа... Говорили речи. Все, конечно, в честь его. Он ничего, слушал... Только раз, когда мой патрон, вы его знаете, начал говорить, что вот земля русская была темна и беспросветна, а, наконец, взошло солнце — Григорий Ефимович, — он его вдруг остановил: "Ври, брат, ври, да не слишком"...

* * *

Член Государственной думы К., очевидно, не страдает теми предрассудками, которыми опутаны мы все. Вчера он пьянствовал с Гришкой.

То, что он рассказывает, определенно — водка и бабы...

— Кто же эти "бабы"?

Увы, это не демимонденки*.

Распутин есть функция распутности некоторых дам, ищущих... "ощущений". Ощущений, утраченных вместе с вырождением.

* * *

Вырождающиеся женщины часто страдают от того, что они ничего не чувствуют. Нередко они объясняют это тем, что муж — "обыкновенный, серый человек". Иногда это действительно так. У некоторых женщин чувственность просыпается только тогда, когда к ней прикоснется "герой". Герой нашего времени, разумеется. Ибо для каждой эпохи — свои герои. Это, вероятно, те, кто дают для данной эпохи наиболее нужное потомство. В этих случаях инстинкт женщины иногда на правильном пути. Она бессознательно стремится спасти вырождающуюся расу.

Героя не всегда бывает легко найти. Любовники, которые на первых порах берутся из своего круга, нередко оказываются такими же серыми людьми, как и собственный муж... Тогда начинают искать в других слоях, выше или ниже себя... Те, что пониже, могут искать выше и ожидают своего "принца". Но те, кто окружены принцами, должны искать ниже, потому что люди своего круга

---

* Женщины "полусвета" (от фр. demi-monde).

уже испытаны, — они оказались слишком серыми, вернее, слишком блестящими, т.е. вылощенными.

Во всяком случае, в поисках "за истинным счастьем", о котором женщины слышат от своих более удачливых подруг, "мятежные души" мятутся в стиле Вербицкой. Каждый новый "интересный" дает надежду, что это, быть может, "он"... Его берут, но увы, — опять ошибка... "Ключи счастья" не найдены... Мятежные души мятутся дальше и становятся все смелее. Они начинают презирать условности, классовую рознь, наследственные предрассудки и даже требования эстетики и чистоплотности...

И доходят до Распутина.

Разумеется, к этому времени они уже глубоко развращены, пройдя длинный путь великосветской проституции...

* * *

— Была мама — очень красивая... Наташа — прелесть, хорошенькая, я... конечно, не хорошенькая...

— Прикажете противоречить?

— Не надо... Словом, нас было трое и Гришка...

— Где ж это было?

— Это было у отца протоиерея... Он очень хорошо служил, вроде как отец Кронштадтский... Нервно так, искренно... И вообще он был очень хороший человек... Ему часто говорили: "Отчего вы не позовете к себе Григория Ефимовича?" А он все не хотел и говорил, что им не о чем разговаривать... Наконец позвал... И вот мы тогда тоже были...

— И вы его видели?..

— Ну да, как же... за одним столом сидела...

— Какой же он?

— Он такой широкоплечий, рыжий, волосы жирные... лицо тоже широкое... Но глаза!.. они маленькие, маленькие, но какие!

— Неприятные?

— Ужасно неприятные... Неизвестно какие, не то коричневые, не то зеленые, но когда посмотришь — так неприятно, что даже сказать нельзя. И Наташа то же самое говорила... Она его еще раз видела в Александро-Невской лавре, он на нее так посмотрел, что она во второй раз побежала прикладываться... чтобы "очиститься"... А

одет он шикарно, шелковая рубашка и все такое... На нем вроде как поддевка, и все особенное...

— Что же, он себя прилично держал?

— Вполне прилично. Он все разговаривал с батюшкой, все какие-то духовные разговоры... Но я вам вот что скажу... Есть такая М-анна...

— Русская?

— Ну да, русская...

— Почему же она М-анна...

— Потому что она просто Мария... это она сама себя так называла... Она дочь графини П. Вы знаете, кто графиня П.?

— Знаю.

— Ну, так вот... Эта М-анна носила красную юбку — вот до сих пор, задирала ноги выше головы, короткие волоса — цвета перекиси, лицо не без косметики, и вообще была совершенно, совершенно неприличная женщина. Была она, как это говорится: "развратная до мозга костей", и в лице это у нее даже было... И, подумайте, она бывала при Дворе и все такое... Сходилась, расходилась то с тем, то с другим; в конце концов, добралась до Распутина... И другая есть — Г. — она дочь сенатора... эта немножко лучше, но тоже очень низко опускалась... Все-таки с ней можно было разговаривать... И вот она мне рассказывала про Распутина, что он совершенно особенный человек, что он дает ей такие ощущения...

— Что же она... была с ним... как это сказать... в распутинских отношениях?..

— Ну да, конечно... И вот она говорила, что все наши мужчины ничего не стоят...

— А она что же, всех "наших мужчин" испытала?

— О, почти что... И она говорила, что Распутин — это нечто такое несравнимое... Я ее тогда спросила: "Значит, вы его очень любите, Григория Ефимовича. Как же вы его тогда не ревнуете? Он ведь и с М-анной, и с другими, и со всеми"... Конечно, я была дура... Она ужасно много смеялась надо мной, говорила мне, что я совсем глупенькая и "восторженная"... И говорила, что много таких есть, которые совершенно погрузились в мистицизм и ничего не понимают и не подозревают даже, что такое на самом деле Распутин.

* * *

Итак — вот...

Хоровод "мятежных душ", не удовлетворенных жизнью, любовью. В поисках за "ключами счастья" одни из них ударяются в мистицизм, другие в разврат... Некоторые и в то и в другое... Увы, они танцуют на вершинах нации... свой ужасный danse macabre*. Это своеобразный "журавль" начала века — grand rond** или, лучше сказать, cerclevicieux*** — вьется круговым рейсом через столицу: от дворцов к соборам, от соборов к притонам и обратно. Этот столичный хоровод, естественно, притягивает к себе из глубины России — с низов — родственные души... Там, на низах, издревле, с незапамятных времен ведутся эти дьявольские игрища, где мистика переплетается с похотью, лживая вера с истинным развратом... Что же удивительного, что санкт-петербургская гирлянда — мистически-распутная — притянула к себе Гришку Распутина, типичного русского "хлыста"!.. Вот на какой почве произошло давно жданное слияние интеллигенции с народом!.. Гришка включился в цепь и, держа в одной руке истеричку-мистичку, а в другой — истеричку-нимфоманку, украсил балет Петрограда своим двуликим фасом — кудесника и сатира...

Ужас в том, что хоровод этот пляшет слишком близко к престолу... можно сказать, у подножия трона... Благодаря этому Гришка получил возможность оказать свое странное влияние на некоторых великих княгинь... Эти последние ввели его к императрице...

"Хлыст" не обязан быть идиотом... "Хлыст" может быть и хитрым мужиком... Гришка прекрасно знал, где каким фасом своего духовного обличия поворачиваться...

Во дворце его принимали как святого старца, чудодейственного человека, предсказателя.

Скажи мне, кудесник, любимец богов...

Императрица во всякое время дня и ночи дрожала над жизнью единственного сына.

Кудесник очень хорошо все понял и ответил:

— Отрок Алексей жив моей грешной молитвой... Я, смиренный Гришка, послан богом охранять его и всю царскую семью: доколе я с вами, не будет вам ничего худого...

---

* Пляска смерти (*фр.*).
** Жуткий хоровод (*фр.*).
*** Порочный круг (*фр.*).

Грядущие годы таятся во мгле,
Но... вижу твой жребий на светлом челе.

И никто не понял, когда этот человек переступил порог царского дворца, что пришел тот, кто убивает...

Он убивает потому, что он двуликий...

Царской семье он обернул свое лицо "старца", глядя в которое царице кажется, что дух божий почивает на святом человеке... А России он повернул свою развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лешего-сатира из тобольской тайги... И из этого — все...

Ропот идет по всей стране, негодующий на то, что Распутин в покоях царицы...

А в покоях царя и царицы — недоумение и горькая обида... Чего это люди беснуются?.. Что этот святой человек молится о несчастном наследнике?.. О тяжелобольном ребенке, которому каждое неосторожное движение грозит смертью — это их возмущает. За что?.. Почему?..

Так этот посланец смерти стал между троном и Россией... Он убивает, потому что он двуликий... Из-за двуличия его обе стороны не могут понять друг друга... Царь и Россия с каждым часом нарастающей обиды в сердце ведут друг друга за руку в пропасть...

* * *

Это было во дворце великого князя Николая Михайловича на набережной... Большая, светлая комната, не имевшая определенного назначения, служившая одновременно и кабинетом и приемной... Иногда тут даже завтракали совершенно интимно — за круглым столиком...

Так было и на этот раз. За кофе великий князь заговорил о том, для чего он нас, собственно, позвал — Н.Н.Львова и меня:

— Дело обстоит так... Я только что был в Киеве... И говорил с вдовствующей императрицей... Она ужасно обеспокоена... Она знает все, что происходит, и отчасти после разговора с ней я решился... Я решился написать письмо государю... Но совершенно откровенно... до конца... Все-таки я значительно старше, кроме того, мне ничего не нужно, я ничего не ищу, но не могу же я равнодушно смотреть... как мы сами себя губим... Мы ведь идем к гибели... В этом не может быть никакого сомнения... Я написал все это... Но письмо не пришлось пос-

лать... Я поехал в Ставку и говорил с ним лично. Но, так сказать, чтобы это было более определенно... к тому же я лучше пишу, чем говорю... я просил разрешения прочесть это письмо вслух... И я прочел... это было первого ноября...

Великий князь стал читать нам это письмо.

Что было в этом письме?.. Оно было написано в сердечных родственных тонах — на "ты"... В нем излагалось общее положение и серьезная опасность, угрожающая трону и России. Много места было уделено императрице. Была такая фраза: "Конечно, она не виновата во всем том, в чем ее обвиняют, и, конечно, она тебя любит"... Но... но страна ее не понимает, не любит, приписывает ей влияние на дела, словом, видит в ней источник всех бед...

Государь выслушал все до конца. И сказал:

— Странно... Я только что вернулся из Киева... Никогда, кажется, меня не принимали, как в этот раз...

На это великий князь ответил:

— Это, быть может, было потому, что вы были одни с наследником... императрицы не было...

Великий князь стал рассказывать еще... Много ушло из памяти — боюсь быть неточным.

В конце концов Львов спросил:

— Как вы думаете, ваше высочество, произвели впечатление ваши слова?

Великий князь сделал характерное для него движение.

— Не знаю... может быть... боюсь, что нет... Но все равно... Я сделал... я должен был это сделать...

* * *

— Вы уезжаете?

Я уезжал в Киев. Пуришкевич остановил меня в Екатерининском зале Таврического дворца. Я ответил:

— Уезжаю.

— Ну, всего хорошего.

Мы разошлись, но вдруг он остановил меня снова.

— Послушайте, Шульгин. Вы уезжаете, но я хочу, чтобы вы знали... Запомните 16 декабря...

Я посмотрел на него. У него было такое лицо, какое у него уже раз было, когда он мне сказал одну тайну.

— Запомните 16 декабря...

— Зачем?

— Увидите, прощайте...

Но он вернулся еще раз.

— Я вам скажу... Вам можно... 16-го мы его убьем...

— Кого?

— Гришку.

Он заторопился и стал мне объяснять, как это будет. Затем:

— Как вы на это смотрите?

Я знал, что он меня не послушает. Но все же сказал:

— Не делайте...

— Как? Почему?

— Не знаю... Противно...

— Вы белоручка, Шульгин.

— Может быть... Но, может быть, и другое... Я не верю во влияние Распутина.

— Как?

— Да так... Все это вздор. Он просто молится за наследника. На назначения министров он не влияет. Он хитрый мужик...

— Так, по-вашему, Распутин не причиняет зла монархии?

— Не только причиняет, но он ее убивает.

— Тогда я вас не понимаю...

— Но ведь это ясно. Убив его, вы ничему не поможете... Тут две стороны. Первая — это то, что вы сами назвали "чехардой министров". Чехарда происходит или потому, что некого назначать, или кого ни назначишь, все равно никому не угодишь, потому что страна помешалась на людях "общественного доверия", а государь как раз к ним доверия не имеет... Распутин тут ни при чем... Убьете его — ничто не изменится...

— Как не изменится?..

— Да так... Будет все по-старому... Та же "чехарда министров". А другая сторона — это то, чем Распутин убивает: этого вы не можете убить, убив его... Поздно...

— Как не могу! Извините, пожалуйста... А что же, вот так сидеть?.. Терпеть этот позор. Ведь вы же понимаете, что это значит? Не мне говорить — не вам слушать. Монархия гибнет... Вы знаете, я не из трусливых... Меня не запугаешь... Помните Вторую Государственную думу... Как тогда ни было скверно, а я знал, что мы выплывем... Но теперь я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами — Россия... Вы знаете, что происходит? В кинематографах запретили давать фильму, где показывалось, как государь возлагает на себя Георгиевский крест. Почему?.. Потому что, как только начнут показы-

вать, — из темноты голос: ”Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием...”

Я хотел что-то сказать. Он не дал:

— Подождите. Я знаю, что вы скажете... Вы скажете, что все это неправда про царицу и Распутина... Знаю, знаю, знаю... Неправда, неправда, но не все ли равно? Я вас спрашиваю. Пойдите — доказывайте... Кто вам поверит? Вы знаете, Гай Юлий был не дурак: ”И подозрение не должно касаться жены Цезаря”... А тут не подозрение... тут...

Он вскочил:

— Так сидеть нельзя. Все равно. Мы идем к концу. Хуже не будет. Убью его, как собаку... Прощайте...

* * *

Когда наступило 16 декабря, они его действительно убили...

Это была попытка спасти монархию старорусским способом: тайным насилием...

Весь XVIII век и начало XIX прошли под знаком дворцовых переворотов. Когда ”случайности рождения” (выражение Ключевского) подвергали опасности ”самую совершенную форму правления — единодержавие”, какие-то люди, окружавшие престол, исправляли ”случайности рождения” тайным насильственным способом... При этом иногда обходилось без убийств, иногда нет...

В начале XX века эти люди стали мельче... На дворцовый переворот их не хватило... вместо этого они убили Распутина...

Цели это, конечно, не достигло. Монархию это не могло спасти, потому что распутинский яд уже сделал свое дело... Что толку убивать змею, когда она уже ужалила...

Но при всей его бесцельности, убийство Распутина было актом глубоко монархическим...

Так его и поняли...

Когда известие о происшедшем дошло до Москвы (это было вечером) и проникло в театры, публика потребовала исполнения гимна.

И раздалось, может быть, в последний раз в Москве:

Боже, Царя храни...

Никогда эта молитва не имела такого глубокого смысла...

15—3196

Предпоследние дни "конституции"

(Продолжение)

(Год — 1917. Месяцы — январь, февраль. Чисел не помню)

Я получил в Киеве тревожную телеграмму Шингарева: он просил меня немедленно вернуться в Петроград.

Кажется, я приехал 8 января. В этот же день вечером Шингарев пришел ко мне.

— В чем дело, Андрей Иванович?

— Да вот плохо. Положение ухудшается с каждым днем... Мы идем к пропасти... Революция — это гибель, а мы идем к революции... Да и без революции все расклеивается с чрезвычайной быстротой... С железными дорогами опять катастрофически плохо... Они еще кое-как держались, но с этими морозами... Морозы всегда понижают движение, — а тут как на грех — хватило!.. График падает. В Петрограде уже серьезные заминки с продовольствием... Не сегодня-завтра не станет хлеба совсем... В войсках недовольство. Петроградский гарнизон ненадежен. Меж тем, как вы знаете, наше военное могущество, техническое выросло, как никогда... Наше весеннее наступление будет поддержано невиданным количеством снарядов... Надо бы дотянуть до весны... Но я боюсь, что не дотянем...

— Надо дотянуть...

— Но как? Зашло так далеко, пропущены все сроки, я боюсь, что если наша безумная власть даже пойдет на уступки, если даже будет составлено правительство из этих самых людей доверия, то это не удовлетворит... Настроение уже перемахнуло через нашу голову, оно уже левей Прогрессивного блока... Придется считаться с этим... Мы уже не удовлетворим... Уже не сможем удержать... Страна уже слушает тех, кто левей, а не нас... Поздно...

— Чтобы додержаться, придется взять разгон... Знаете, на яхте... когда идешь, скажем, левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход... Если наступление будет удачно, мы сделаем поворот и пойдем правым галсом... Чтобы иметь возможность сделать этот поворот, надо забрать ход.

Для этого, если власть на нас свалится, придется искать поддержки расширением Прогрессивного блока налево...

— Как вы себе это представляете?

— Я бы позвал Керенского.

— Керенского? В качестве кого?

— В качестве министра юстиции, допустим... Сейчас пост этот не имеет никакого значения, но надо вырвать у революции ее главарей... Из них Керенский — все же единственный... Гораздо выгоднее иметь его с собой, чем против себя... Но ведь это только гадание на кофейной гуще... Реально ведь никаких нет признаков, что правительство собирается, говоря попросту, позвать нас?

— Реально — никаких. Но напуганы все сильно... Там большое смятение... Надо быть ко всему готовым.

* * *

Ко мне пришел один офицер.

— Зная вас, я хочу вас предупредить.

— О чем?

— О настроении Петроградского гарнизона... Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улице они "печатают" на снегу... С этой стороны за них взялись... Но этим их не переделаешь... Вы знаете, что это за публика? Это маменькины сынки!.. Это — все те, кто бесконечно уклонялись под всякими предлогами и всякими средствами... Им все равно, лишь бы не идти на войну... Поэтому вести среди них революционную пропаганду — одно удовольствие... Они готовы к восприятию всякой идеи, если за ней стоит мир. А кроме того, и объективные причины есть для неудовольствия. Люди страшно скучены. Койки помещаются в три ряда, одна над другой, как в вагоне третьего класса. А ведь все они имеют удобные квартиры здесь. И вот беснуются. Пойдет к себе домой и приходит совершенно красный. Для чего их тут держат? Это самый опасный элемент. Чуть что — они взбунтуются. Вот помяните мое слово. Гнать их надо отсюда как можно скорей.

Был морозный, ясный день. Едучи в Думу, я действительно чуть ли не на каждой улице видел эти печатающие шеренги. Под руководством унтер-офицеров они маршировали взад и вперед, приладонивая снег деревянными, автоматическими движениями.

Теперь я смотрел на них с иным чувством.

И вспомнилось мне, как еще в 1915 году жаловались

мне на одну дивизию, набранную в Петрограде. Ее иначе не называли, как "С.-Петербургское беговое общество". Куда ни пошлют ее в бой, она непременно убежит.

* * *

Я не помню хорошенько, когда это было. Кажется, в конце января. Где? Тоже не помню... Где-то на Песках. Это была большая комната. Тут были все. Во-первых, члены бюро Прогрессивного блока и другие видные члены Думы: Милюков, Шингарев, Ефремов, кажется, Львов, Шидловский, кажется, Некрасов... Кроме того, были деятели Земгора. Был и Гучков, кажется, князь Львов, Д.Щепкин и еще разные, которых я знал и не знал.

Сначала разговаривали — "так", потом сели за стол... Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Разговор начался на ту тему, что положение ухудшается с каждым днем и что так дальше нельзя... Что что-то надо сделать... Необходимо сейчас же... Необходимо иметь смелость, чтобы принять большие решения... серьезные шаги...

Но гора родила мышь... Так никто не решился сказать... Что они хотели? Что думали предложить?

Я не понял в точности... Но можно было догадываться... Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу. А может быть, что-нибудь совсем другое.

Во всяком случае — не решились... И, поговорив, разъехались... У меня было смутное ощущение, что грозное близко... А эти попытки отбить это огромное — были жалки... Бессилие людей, меня окружавших, и свое собственное в первый раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен и страшен...

* * *

Н. сказал мне, что он хотел бы поговорить со мной наедине, доверительно... Я пригласил его к себе.

Он пришел. У него на моложавом лице всегда были большие розовые пятна, — не знаю, от чахотки или от здоровья.

Он начал издалека и, так сказать, à mots couverts... * Но

---

* Намеками... (*фр.*).

я его понял. Он зондировал меня насчет того, о чем воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной, — то есть о дворцовом перевороте... Я знал, что бесформенный план существует, но не знал ни участников, ни подробностей. Впрочем, слышал я о так называемом "морском" плане. План этот состоял в том, чтобы пригласить государыню на броненосец под каким-нибудь предлогом и увезти ее в Англию как будто по ее собственному желанию. По другой версии — уехать должен был и государь, а наследник должен был быть объявлен императором. Я считал все эти разговоры болтовней.

Н. говорил о том, что государственный корабль в опасности и, можно сказать, гибнет и что поэтому требуются особые, исключительные меры для спасения экипажа и драгоценного груза.

— Если бы вам были предложены такие исключительные, из ряда вон выходящие меры для спасения экипажа и груза, а ведь вместе они составляют русский народ, — пошли бы вы на эти совершенно не вмещающиеся в обыденные рамки, совершенно экстренные меры, пошли бы вы на них для спасения родины?

Я ответил не сразу, потому что понял сразу. Мне вдруг вспомнилось, как однажды Столыпин произнес свою знаменитую фразу: "Никто не может отнять у русского государя священное право и обязанность спасать в дни тяжелых испытаний богом врученную ему державу"... Я вспомнил, как бешено обрушились на Столыпина тогда кадеты за эту "неконституционную фразу". Теперь они же, кадеты, или один из них, предлагают для спасения этой же державы меры, настолько менее конституционные сравнительно с третьим июня, насколько шлюпка меньше броненосца.

Наконец я ответил вопросом:

— Вы читали Жюль Верна?

— Читал, конечно, но что именно?..

— Это не важно, потому что я не уверен, что это из Жюль Верна... Во всяком случае, это теория моряков.

— Какая теория?

— Две теории. Или, вернее, две школы. Одна школа — это "суденщики", а другая — "шлюпочники"...

— Объясните...

— Это касается морских бедствий... кораблекрушений... "Шлюпочники" утверждают, что, когда корабль терпит так называемое "кораблекрушение", то надо

пересаживаться на шлюпки и этим путем искать спасения.

— Это понятно... А "суденщики"?..

— А "суденщики" говорят, что надо оставаться на судне...

— Да ведь оно гибнет!..

— Все равно... Они говорят, что из десяти случаев в девяти шлюпки гибнут в море...

— Но один шанс все же остается.

— Они говорят, что один шанс остается и у гибнущего корабля, потому не стоит беспокоиться...

— А вывод?

— Вывод тот, что я принадлежу к школе "суденщиков", а потому останусь на судне и в шлюпки пересаживаться не хочу...

Он помолчал.

— В таком случае забудем этот разговор.

— Забудем...

* * *

Однажды, это было, кажется, в феврале, рано утром ко мне пришли неожиданные посетители: один был бывший министр, другой товарищ министра.

П.Н. был единственным из министров, который одинаково был любезен и "двору" и "общественности". Он был умен, ловок, очень тактичен, по убеждениям — консерватор, но понимал мудрость латинской поговорки: "Bis dat, qui cito dat" *. Сделав в сущности пустяковые уступки по своему министерству, он стал весьма популярен и мог претендовать на то, что пользуется "общественным доверием"... Если бы его несколько месяцев тому назад назначили премьером, быть может, ему удалось бы поладить с Государственной думой.

— Вы знаете, — начал он, — мои воззрения: конечно, я не либерал... Те, что так думают, очень ошибаются. Но есть вещи и вещи... Есть положения, когда просто невыгодно упрямиться. Программа Государственной думы, т.е. Прогрессивного блока, ведь она в сущности очень приемлема...

— Вздор! Пустяки! — сказал товарищ министра. — Все это, конечно, можно дать без всякого колебания государства Российского...

---

* Вдвойне дает тот, кто дает быстро.

— За исключением одного пункта, — сказал министр. — Это о власти. Вы понимаете, — тут заупрямились... Я сказал государю все... Я объяснил, что мы все, наша семья, традиционно преданы престолу. Но что мы всегда были — земщина. Что я отнюдь не либерал, но считаю, что с земщиной нужно считаться. В особенности теперь, во время войны. И что Дума, олицетворяющая земщину, стоит на строго патриотической позиции. Что она взяла на свои плечи всю тяжесть лозунга — "война до победного конца"... И что правительству надо идти с Думой, и что поэтому я прошу отставки... Словом, все, что можно было сказать... Со мной лично были в высшей степени милостивы... Но... но это безнадежно... то есть безнадежно — насчет власти...

— Поймите, Шульгин, что в этом все, — сказал товарищ министра. — Все в этом пункте, все в том, что вы хотите, чтобы правительство было из лиц "общественного доверия", другими словами, от блока. Здесь вся загвоздка! А что касается остальной вашей программы, так только проведите ее через Думу, все будет принято правительством...

— В той же части вашей программы, — сказал министр, — которая может быть проведена правительством собственной властью, то она, например, по ведомству народного просвещения уже осуществлена. Впрочем, вы очень деликатно выразились об этом вопросе...

— "Вступление на путь постепенного ослабления". Кто это выдумал? Это почти гениально, — сказал товарищ министра.

— Но что касается вопроса о власти, — сказал министр, — увы! здесь стенка!.. И вот смысл нашего посещения нижеследующий... Мы, В.М. и я, достаточно вас знаем... Если Милюков и другие могут иметь какие-то мотивы, старые навыки борьбы с властью quand même*, то вы, конечно, преследуете одну цель — благо родины... А это значит в данную минуту: как-нибудь довести войну до конца, потому что иначе...

— Иначе России — конец, — сказал товарищ министра.

— И вот, если дело не выходит, — продолжал министр, — если стенка, — как быть? Мы хотели вам сказать: не обостряйте отношений... Ведь все равно — в лоб не возьмете...

---

* Наконец (*фр.*).

— Шульгин, вы знаете, — как дети, когда "играют", вдруг заупрямятся все... и вот зашли в тупик: ни тот ни другой не уступают. Вдруг один кричит: "Я умнее!" — и уступает... И разрешен тупик, и продолжается игра... Крикнете — "я умнее" и уступите... Вернее — отступите... на время хотя бы... Вы правы, вы совсем правы... Мы с вами согласны во всем... Но если нельзя...

Они сидели против меня честные и встревоженные... сильно встревоженные.

— Положение плохое, — сказал министр. — До чего мы дойдем?

— Доиграемся! — сказал товарищ министра.

Я отвечал:

— Вы знаете, я состою в "Совещании по государственной обороне". У нас сейчас столько снарядов, сколько никогда не было. Маниковский недавно объяснил: если взять расчет по Вердену (ту норму, сколько в течение пяти месяцев верденское орудие выпускало снарядов в сутки) и начать наступление по всему фронту, т.е. от Балтийского моря до Персии, то мы можем по всему фронту из всех наших орудий поддерживать верденский огонь в течение месяца... У нас сейчас на складах тридцать миллионов полевых...

— Великолепно, — сказал товарищ министра.

— Весной, по-видимому, начнется всеобщее наступление... Есть все шансы, что оно будет удачно... Если это будет так, то тогда вообще все спасено, — можно хоть прогнать Государственную думу...

— И прогонять не придется, потому что на радостях все забудется.

— Значит, весь вопрос — продержаться два-три месяца... Не допустить взрыва... Потому что, если наступление будет неудачное, взрыв все равно будет.

— Будет, — сказал товарищ министра.

— Весьма возможно... — сказал министр.

— Непременно будет. Я недавно из Киева... люди с ума сошли. Вы знаете, Киев достаточно черносотенный... И вот меня ловили за рукава люди самые благонамеренные: "Когда же наконец вы их прогоните?" Это они о правительстве... И вы знаете, еще хуже стало, когда Распутина убили... Раньше все валили на него... А теперь поняли, что дело вовсе не в Распутине. Его убили, а ничего не изменилось. И теперь все стрелы летят прямо, не застревая в Распутине... Итак, надо выиграть время... Два-три месяца...

— Это так, — сказал министр, — но как же это сделать?

— Вот тут-то и начинается вопрос. Было два пути... Первый путь — это Думу свести на нет. Правительство могло это сделать, не созывая ее. Может быть, и сама Дума могла это сделать, так сказать, отступив: предоставив правительству самому стать лицом к лицу с нарастающим неудовольствием России.

— Нет, — сказал товарищ министра, — этого Дума не могла сделать. Если большинство так бы и сделало, левые и кадеты подняли бы крик, только в гораздо более резкой форме.

— Вот в том-то и дело... В 1915 году во время великого отступления, когда созвали Думу, для нас, правого крыла, стал вопрос: или стать на сторону правительства, конечно, виноватого в непредусмотрительности и в бездарности, или же, признав справедливым нарастающее неудовольствие, попытаться ввести его в наименее резкие, в самые приемлемые формы... Другими словами, недовольство масс, которое легко могло бы перейти в революцию, подменить недовольством Думы... Наша цель была, чтобы массы оставались покойными, так как за них говорит Дума... Таким образом и создался Прогрессивный блок. Этим шагом мы приковали кадет к минимальной программе... Так сказать, оторвали их от революционной идеологии, свели дело к пустякам. Но кадеты, с другой стороны, вовлекли нас в борьбу за власть... Мы хотели стать между улицей и, я бы сказал, — между армией, в которой сильнейшее недовольство на "тыл", то есть на правительство, — и властью... Мы хотели успокоить армию, что ее никто не предаст и что о ней позаботятся, так как на страже ее интересов стоит Дума. Когда я уезжал с фронта в 1915 году, это был всеобщий голос: "Поезжайте и позаботьтесь, чтобы не было Мясоедовых и Сухомлиновых, а были снаряды... Мы не хотим умирать с палками в руках". Все это я говорю к тому, чтобы объяснить, почему мы избрали этот путь... Путь, так сказать, "суда", вместо "самосуда". Путь парламентской борьбы вместо баррикад...

— А вы не думаете, что так вы скорее дойдете до баррикад?

— Вот в этом-то и вопрос. Что мы — сдерживаем или разжигаем?.. Мне всегда казалось, что сдерживаем. Мне казалось, что мы такая цепь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, нас толкают в спину и зас-

тавляют двигаться вперед. Но мы упираемся. Держим друг друга за руки и не позволяем толпе прорваться... Так мы идем, упираясь, а нас давят в спину уже полтора года... бог его знает, если бы мы не сделали этой цепи, может быть, уже давно толпа прорвалась бы... Не забудьте, что цепь все время кричит: "Все для войны"... И этот наш вопль обращен одинаково к обеим сторонам: от армии мы требуем "всех жертв", а от правительства "хоть немного жертвы"... Успокаивает ли это или разжигает? Кто знает? Мне кажется — все-таки успокаивает. Ведь смотрите... до сих пор ни одного покушения. А помните 1905 год? Тогда дождило бомбами... Теперь ни одного бунта — пока... А помните, тогда?... Теперь наиболее бунтарским образом повели себя те, кто убил Распутина: они совершили первый и единственный пока акт террора. Значит, можно предполагать, что буйный элемент до известной степени считается с Думой и не делает, пока она говорит. Додержимся ли! Будем надеяться, что додержимся. А если не додержимся?.. А если не додержимся, тогда...

— Тогда — конец! А потому, даже принимая вашу схему, — не обостряйте...

— Да, конечно... Не думаю, чтоб и в планы кадет входило бы обострять. Ведь они знают: головы жирондистов оказались в одной корзине с монархистами...

— Они дают себе отчет в этом?

— Вполне... Они боятся революции. Ведь они три года кричали: "Все для войны". А следовательно, в случае революции это им припомнится. Жребий был брошен в 1915 году. А теперь что бог даст. Впрочем, разумеется, я буду, насколько могу, умерять блок, но если вы можете, действуйте там...

* * *

Я не могу сказать, чтобы это было заседание, хотя позвали меня, собственно, на заседание. Я не могу также вспомнить, где это было. Но было это в каком-то беспорядочном учреждении, которое не могло не иметь отношения к Земгору, ибо здесь были налицо все земгорские элементы: горы ящиков, горы барышень, стучащих на машинках, и какие-то господа в очках, представлявшие доклады, пересыпанные цифрами, через которые все же ясно чувствовалось, что докладчики проводят одну

заранее и сверху приказанную тенденцию, ничего общего с цифрами не имеющую...

Дело шло о ценах на хлеб. Тут были кадетствующие элементы, которые питали ко мне некоторое доверие; поэтому-то меня и позвали. Господин в очках, человек третьего элемента, левее кадет, бормотал свой доклад, который был только предлогом, чтобы начать обмен мнений. И обменивались. Все больше насчет того, что хлеб крестьяне не везут потому в достаточном количестве, что при "этом режиме" вообще ничего не может быть.

Я живо представлял себе своих волынских Бизюков и Сопрунцов, как они не повезут хлеб из-за того, что председатель Совета министров — князь Голицын, а не Милюков. Я понимал, что это чепуха. Заминка с хлебом происходила, по моему мнению, потому, что не повышали цену в то время, когда уже пришел срок ее повысить. Это я высказал.

Кто-то из господ левее кадетов не преминул мне возразить. Я не слушал его слов, потому что по его глазам я прекрасно видел, в чем дело. У этих высосанных злостью людей — "левее кадетов" — неистребимая ненависть, бессмысленная и жгучая... к помещикам. И так как от повышения цен на хлеб могли бы в некоторой мере выиграть и помещики (хотя подавляющее большинство хлеба — крестьянское), то эти озлобленные существа готовы были на что угодно, но только не на повышение цен. И мои возражения эти узенькие, конечно, рассматривали только как мнение "агрария". Впрочем, это общеизвестно...

Но меня поразил Шингарев.

Он встал и с влажными от вдохновения глазами произнес великолепную речь, горячую, прочувствованную, которую, право, не стоило метать перед девятью, и так убежденными, и десятым, не убедимым никаким красноречием... Но он говорил, и голос его, то мягкий, задушевный, то раскатистый, звенел о том, что неужели я не чувствую, что нужно одно: нужен порыв, нужен подъем, подъем, который будет, когда сбудется мечта, когда наконец у власти появятся другие светлые люди, разумные, любящие свою родину и уважающие свободу великого народа, и что тогда в этот день хлеб неудержимыми реками потечет туда, куда ему следует. А иначе, т.е. "рублем", ничего не сделаешь...

Шингарев был очень хорош в этом своем "контрруб-

левом" вдохновении, он был подкупающе мягок и увлекательно темпераментен.

По окончании его удивительной речи я сказал коротко:

— Я остаюсь при своем мнении. Надо назначить три рубля за пуд хлеба вместо двух пятидесяти...

Увы, прошло всего несколько дней, совершилась революция, и министр Шингарев первым делом назначил три рубля за пуд хлеба вместо двух пятидесяти... Ибо, несмотря на "сбывшуюся мечту", хлеб не двинулся.

* * *

Государственная дума должна была возобновить свою сессию в начале февраля. Ко дню ее открытия ожидали выступлений. Главным образом опасались рабочих. Кажется, 10 февраля появилось открытое письмо П.Н.Милюкова к рабочим Петрограда. В этот день, а может быть, днем раньше или позже, появился "приказ" генерала Хабалова, градоначальника Петрограда. Странным образом оба эти документа оказались не так далеко один от другого. Аргументация местами совпадала ("во имя родины"), и оба они, лидер оппозиции и градоначальник, требовали от рабочих сохранения спокойствия.

Но, по-видимому, тут было нечто более глубокое, чем то, что могло зависеть от коллективной воли рабочих или даже индивидуальных замыслов их вожаков. Что-то подточенное падало, и то, что падало, чувствовало сильнее подточенность и неизбежность падения, — чем те рабочие, которые должны были быть последним порывом ветра, свалившим трехсотлетнее дерево. Милюков и Хабалов махали на них руками, приказывая — noli tangere*, — очевидно чувствуя, что они могут свалить власть, хотя, по-видимому, сами рабочие были менее уверены в своих силах.

К этому времени относится совещание, о котором поведал впоследствии Н.Д.Соколов — человек, не то меньшевик, не то большевик, — но поведал при такой обстановке, что ему не имело смысла искажать истину. Слышал я это лично. Соколов сказал следующее:

— Перед тем как должна была собраться Государственная дума, произошло совещание революционных

* Не трогать, не прикасаться (*лат.*).

организаций Петрограда, как рабочих, так и солдатских. Представители рабочих предложили организовать уличные демонстрации. Солдатские же представители ответили: "Для чего вы нас зовете? Если для революции, то мы выйдем на улицу, но если для манифестации, — то не выйдем. Потому что вы, рабочие, после уличных манифестаций можете вернуться к себе на фабрики, а мы, солдаты, не можем — нас будут расстреливать!" Представители рабочих признали эти соображения правильными и заявили, что для революции они не готовы...

Они — революционеры — не были готовы, но она — революция — была готова. Ибо революция только наполовину создается из революционного напора революционеров. Другая ее половина, а может быть, три четверти, состоит в ощущении властью своего собственного бессилия.

У нас, у многих, это ощущение было вполне. Ибо все в России делалось "по приказу его императорского величества". Это был электрический ток, приводящий в жизнь все провода. И именно этот ток обессиливался и замирал, уничтоженный безволием. На почве этого последнего выросло три грозных болезни: Распутин, Штюрмер и Милюков. Последний мог организовать оппозицию Государственной думы. Думы 4-го созыва, законопослушной и монархической, только благодаря concours bienveillant* двух первых. Государственная дума считала своим долгом для спасения армии России — явно бороться со Штюрмером и тайно с Распутиным.

Результат: Штюрмер ушел, Распутин убит.

Но вместе с тем разрушен основной нерв России: сознание необходимости повиноваться "указу его императорского величества".

* * *

Это ощущение близости революции было так страшно, что кадеты в последнюю минуту стали как-то мягче.

Перед открытием Думы, по обыкновению, составляли формулу перехода. Написать ее сначала поручили мне. Я написал сразу, так сказать, не исправляя, и было это не столько формула перехода, сколько вылилось на бумагу то, что я чувствовал. Это было стенание на тему "до чего мы дошли"... И помню, была такая фраза: "В

* Благосклонному содействию (*фр.*).

то время, как акты террора совершаются принцами императорской крови"... Заключение было, что требуются героические усилия, чтобы спасти страну. Формула показалась всем слишком резкой. Милюков сказал, что она написана прекрасно, но признал, наравне с другими, что в настоящую минуту такая формула нежелательна. Я, разумеется, не настаивал. Приняли формулу Милюкова, более скромную...

* * *

Дума открылась сравнительно спокойно, но при очень скромном внутреннем самочувствии всех.

Затем центр тяжести перешел в бюджетную комиссию.

Там шел вопрос о хлебе. Я не помню хорошенько, в чем было дело, но помню, что сильно насиловали наши убеждения. Если не ошибаюсь, вопрос шел о "твердых ценах". Мы считали твердые цены источником расстройства государства. Это вообще была киевская точка зрения, которую с особенным упорством отстаивал А.И.Савенко. О том, как Киев боролся спокон веков с социалистическими замашками, будет когда-нибудь, надеюсь, отмечено. Но в данном случае мы, в конце концов, должны были уступить, чтобы не расстраивать блока и не уменьшать поступательной силы решения, которое было бы все равно принято. Я, помню, употребил тогда такое сравнение:

— Если человек хочет прыгнуть в пропасть — надо всеми силами удерживать его. Но если ясно, что он все равно прыгнет, — надо подтолкнуть его, потому что, может быть, в этом случае он допрыгнет до другого края.

* * *

Это было, быть может, последнее заседание Государственной думы. Шел все тот же вопрос о хлебе. На этом деле блок раскололся. Правая сторона поддерживала правительство, считая его план разверстки правильным. Левое крыло, очевидно полагая, что не может быть "ничего доброго из Назарета", отвергало предложение правительства. Милюков сказал речь — против, Шульгин — за. Товарищ министра А.А.Риттих говорил убедительно, горячо, только очень нервно, слишком нервно. Он умолял не губить дела.

С внешней стороны было все, как всегда. Но на самом деле было иначе.

Тревога и грусть были разлиты в воздухе. Во время речи Милюкова, возражений Шульгина и убеждений Риттиха и во время других речей чувствовалось, что все это не нужно, запоздало, неважно...

Из-за белых колонн зала выглядывала безнадежность... Она шептала:

— К чему? Зачем? Не все ли равно?

В кулуарах Думы говорили в этот день, что А.А.Риттих после речи, придя к себе, в "павильон министров", — разрыдался...

* * *

26 февраля.

В этот день, утром, неожиданно, ко мне пришел Петр Бернгардович Струве. Он был взволнован и полубольной, но предложил мне двигаться к Маклакову.

— У Василия Алексеевича мы узнаем. И Дума рядом...

В воздухе уже была разлита такая степень тревоги, что невозможно было сидеть дома: надо было быть там. Это я чувствовал и раньше, и в особенности почувствовал, когда пришел Петр Бернгардович.

Мы пошли... Был морозный день, ясный... Ни одного трамвая, — трамваи стали, и ни одного извочика. Нам надо было идти пешком к Таврическому дворцу — это верст пять. Петр Бернгардович еле шел, я вел его под руку.

На улицах было совершенно спокойно, но очень пусто. И было это спокойствие неприятно, ибо мы отлично знали, отчего стали трамваи, отчего нет извозчиков. Вот уже три дня в Петрограде не стало хлеба. И этот светлый день был "затишьем перед бурей", которая где-то пряталась за этими удивительными мостами и дворцами, таилась и накоплялась... Накоплялась не то на Невском, невидимом отсюда, не то вон там, на Выборгской стороне, около Финляндского вокзала...

Нева была особенно красива в этот день... Мы остановились передохнуть, опершись на парапет Троицкого моста... Расцвеченная солнцем перспектива набережных говорила о том, "что сделано", но от этого становилось только жутче, потому что, законченная в своей красоте,

она ничего не могла ответить на вопрос: ”Что сделается”...

* * *

Василий Алексеевич спешил: его вызывали к Покровскому. Н.И.Покровский, министр иностранных дел, разумный и честный, был человек наиболее приемлемый для ”думских сфер”. Маклаков же был самый умеренный из кадетов и самый умный. Он наиболее приемлем для ”правительственных сфер”. Вместе с тем он не был ”патриотом Прогрессивного блока”, вследствие своей всегдашней оппозиции Милюкову. Маклаков был тот человек, который мог стать связующим звеном между Думой и правительством. Его приглашение к Покровскому могло обозначать многое. В ожидании его возвращения мы пошли в Таврический дворец.

В комнате № 11, как всегда, заседал блок, вернее, бюро Прогрессивного блока. Председателем был Шидловский Сергей Илиодорович. От кадет — Милюков и Шингарев, прогрессисты в это время уже ушли, от левых октябристов — Шидловский, от октябристов-земцев — граф Капнист (маленький, т.е. Дмитрий Павлович), а от центра, кажется, Владимир Львов, от националистов-прогрессистов — Половцов-второй и я.

Хотя окна большие, но в 3 часа уже темно. За столом, крытым зеленым бархатом, мы сидели при свете настольных ламп, с темными абажурами. Сколько раз уже так сидели.

Я не помню, что обсуждалось... Но я чувствовал, что делается что-то не то... Я много раз уже это чувствовал.

Мы все критиковали власть... Но совершенно неясно было, что мы будем отвечать, если нас спросят: ”Ну хорошо, la critique est aisèe* — довольно критики, теперь пожалуйста сами! Итак, что надо делать?”... Мы имели ”великую хартию блока”, в которой значилось, что необходимо произвести некоторые реформы, но все это совершенно не затрагивало центрального вопроса: ”Что надо сделать, чтобы лучше вести войну?”

Я неоднократно с самого основания блока добивался ясной практической программы. Сам я ее придумать не мог, а потому пытал своих ”друзей слева”, но они отделывались от меня разными способами, а когда я бывал слишком настойчив, отвечали, что практическая про-

* Критиковать легко (*фр.*).

грамма состоит в том, чтобы добиться "власти, облеченной народным доверием". Ибо эти люди будут толковыми и знающими и поведут дело. Дать же какой-нибудь рецепт для практического управления невозможно — "залог хорошего управления — достойные министры" — это и на Западе так делается.

Тогда я стал добиваться, кто эти достойные министры. Мне отвечали, что пока об этом неудобно говорить, что выйдут всякие интриги и сплетни и что это надо решать тогда, когда вопрос станет, так сказать, вплотную.

Но сегодня мне казалось, что вопрос уже стал "вплотную". Явственно чувствовалась растерянность правительства. Нас еще не спрашивали: кто? Но чувствовалось, что каждую минуту могут спросить. Между тем были ли мы готовы? Знали ли мы, хотя бы между собой, — кто? Ни малейшим образом.

Поэтому я сделал следующее предложение, приблизительно в таких словах:

— Хотя это может показаться неловким, неудобным и так далее, но наступило время, когда с этим нельзя считаться. На нас лежит слишком большая ответственность. Мы вот уже полтора года твердим, что правительство никуда не годно. А что, если "станется по слову нашему"? Если с нами наконец согласятся и скажут: "Давайте ваших людей". Разве мы готовы? Разве мы можем назвать, не отделываясь общей формулой, "людей, доверием общества облеченных", конкретных, живых людей?.. Я полагаю, что нам необходимо теперь уже, что это своевременно сейчас, — составить для себя, для бюро блока, список имен, т.е. людей, которые могли бы быть правительством.

Последовала некоторая пауза. Я видел, что все почувствовали себя неудобно. Слово попросил Шингарев и выразил, очевидно, мнение всех, что пока это еще невозможно. Я настаивал, утверждая, что время уже пришло, но ничего не вышло, никто меня не поддержал, и списка не составили. Всем было — "неловко"... И мне тоже.

Таковы мы... русские политики. Переворачивая власть, мы не имели смелости или, вернее, спасительной трусости подумать о зияющей пустоте... Бессилие свое и чужое снова взглянуло мне в глаза насмешливо и жутко!..

По окончании заседания мы вышли в Екатерининский зал. В дверях я столкнулся с Маклаковым. Мы шли вме-

сте, разговаривая о том, что с Покровским ничего особенного не вышло.

В это время в другом конце зала показался Керенский. Он, по обыкновению, куда-то мчался, наклонив голову и неистово размахивая руками. За ним, догоняя, старался Скобелев.

Керенский вдруг увидел нас и, круто изменив направление, пошел к нам, протянув вперед худую руку... для выразительности.

— Ну, что же, господа, блок? Надо что-то делать! Ведь положение-то... плохо. Вы собираетесь что-нибудь сделать?

Он говорил громко, подходя. Мы сошлись на середине зала.

Кажется, до этого дня я не был официально знаком с Керенским. По крайней мере, я никогда с ним не разговаривал. Мы все же были в слишком далеких и враждебных лагерях. Поэтому для меня этот его "налет" был неожиданным. Но я решил им воспользоваться.

— Ну, если вы так спрашиваете, то позвольте, в свою очередь, спросить вас: по вашему-то мнению, что нужно? Что вас удовлетворило бы?

На изборожденном лице Керенского промелькнуло вдруг веселое, почти мальчишеское выражение.

— Что?.. Да в сущности немного... Важно одно: чтобы власть перешла в другие руки.

— Чьи? — спросил Маклаков.

— Это безразлично. Только не бюрократические.

— Почему не бюрократические? — возразил Маклаков. — Я именно думаю, что бюрократические... только в другие, толковее и чище... Словом, хороших бюрократов. А эти "облеченные доверием" — ничего не сделают.

— Почему?

— Потому, что мы ничего не понимаем в этом деле. Техники не знаем. А учиться теперь некогда...

— Пустяки. Вам дадут аппарат. Для чего же существуют все эти bureaux и sous-secrétaires*?!

— Как вы не понимаете, — вмешался Скобелев, обращаясь преимущественно ко мне, — что вы имеете д... д... д... доверие н... н... н... народа...

Он немножко заикался.

— Ну, а еще что надо? — спросил я Керенского.

— Ну, еще там, — он мальчишески, легкомысленно и

* Канцелярии и помощники секретарей (*фр.*).

весело махнул рукой, — свобод немножко. Ну там печати, собраний и прочее такое...

— И это все?

— Все пока... Но спешите... спешите...

Он помчался, за ним — Скобелев...

Куда спешить?

Я чувствовал их, моих товарищей по блоку, и себя...

Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать... Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи... под условием, чтобы императорский караул охранял нас...

Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала — у нас кружилась голова и немело сердце...

Бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца. И был этот взгляд презрителен до ужаса...

Последние дни "конституции"

(Продолжение)
(27 февраля 1917 года)

"Я шел один где-то у нас на Волыни... Подходил к какому-то селу. Было ни день ни ночь — светлые ровные сумерки, но все было как бы без красок... И дорога и село были какие-то самые обычные... Вот первая хата... Она немножко поодаль от других. Когда я поравнялся с нею, вдруг из деревянной черной трубы вспыхнуло большое синее пламя... Я хотел броситься в хату предупредить... Но не успел: вся соломенная крыша вспыхнула разом... Вся загорелась до последней соломинки... Громадным ярко-красно-желтым пламенем зарокотало, загудело... Я закричал от ужаса... Из хаты, не торопясь, вышла женщина...

Я бросился к ней...

— Диток, ратуй диток! (спасай детей!) — закричал я ей по-хохлацки.

Она ничего не ответила, но смотрела на меня сурово. Я понял, что она мать и хозяйка... Но отчего она так ра-

зодета?.. Как в церковь... Важная, красивая и такая суровая...

— Диток! — закричал я еще раз...

Она только сдвинула брови... Я бросился в хату.

Но в это мгновение разом вся рухнула крыша... Хаты не стало... Бешено пылал и ревел огромный пожар... Этот звук делался все сильнее и переходил в настойчивый резкий звон"...

Я проснулся...

* * *

Было девять часов утра... Неистово звонил телефон...

— Алло!

— Вы, Василий Витальевич?.. Говорит Шингарев... Надо ехать в Думу... Началось...

— Что такое?

— Началось... Получен указ о роспуске Думы... В городе волнение... Надо спешить... Занимают мосты... мы можем не добраться... Мне прислали автомобиль. Приходите сейчас ко мне... Поедем вместе...

— Иду...

* * *

Это было 27 февраля 1917 года. Уже несколько дней мы жили на вулкане... В Петрограде не стало хлеба — транспорт сильно разладился из-за необычайных снегов, морозов и, главное, конечно, из-за напряжения войны... Произошли уличные беспорядки... Но дело было, конечно, не в хлебе... Это была последняя капля... Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти... И даже не в этом... Дело было в том, что власть сама себе не сочувствовала...

Не было, в сущности, ни одного министра, который верил бы в себя и в то, что он делает...

Класс былых властителей сходил на нет... Никто из них неспособен был стукнуть кулаком по столу... Куда ушло знаменитое столыпинское "не запугаете"?.. Последнее время министры совершенно перестали даже приходить в Думу... Только А.А.Риттих самоотверженно отстаивал свою "хлебную разверстку".

Но, придя в "павильон министров" после своей последней речи, он разрыдался.

* * *

Мы жили с А.И.Шингаревым в одном доме на Большой Монетной № 22, на Петроградской стороне... Это далеко от Таврического дворца... Надо переехать Неву... Последнее время жизнь уже так расхлябалась в Петрограде, что вопрос о сообщениях стал серьезным для тех, кто, как Шингарев и я, не имел своей машины...

* * *

Мы поехали... Шингарев говорил:

— Вот ответ... До последней минуты я все-таки надеялся — ну, вдруг просветит господь бог — уступят... Так нет... Не осенило — распустили Думу... А ведь это был последний срок... И согласие с Думой, какая она ни на есть, — последняя возможность... избежать революции...

— Вы думаете, началась революция?

— Похоже на то...

— Так ведь это конец?

— Может быть, и конец... а может быть, и начало...

— Нет, вот в это я не верю. Если началась революция, — это конец.

— Может быть... Если не верить в чудо... А вдруг будет чудо!.. Во всяком случае, Дума стояла между властью и революцией... Если нас по шапке, то придется стать лицом к лицу с улицей... А ведь... А ведь в сущности надо было продержаться еще два месяца...

— До наступления?

— Конечно. Если бы наступление было неудачно — все равно революции не избежать... Но при удаче...

— Да, при удаче — все бы забылось.

* * *

Мы выехали на Каменноостровский... Несмотря на ранний для Петрограда час, на улицах была масса народу... Откуда он взялся? Это производило такое впечатление, что фабрики забастовали... А может быть, и гимназии... а может быть, и университеты...

Толпа усиливалась по мере приближения к Неве... За памятником "Стерегущему", не помещаясь на широких

тротуарах, она движущимся месивом запрудила проспект...

Автомобиль стал...

Какие-то мальчишки, рабочие, должно быть, под предводительством студентов, распоряжались:

— Назад мотор! Проходу нет!

Шингарев высунулся в окошко.

— Послушайте. Мы члены Государственной думы. Пропустите нас — нам необходимо в Думу.

Студент подбежал к окошку.

— Вы, кажется, господин Шингарев?

— Да, да, я Шингарев... пропустите нас.

— Сейчас.

Он вскочил на подножку.

— Товарищи — пропустить! Это члены Государственной думы — т. Шингарев.

Бурлящее месиво раздвинулось — мы поехали... со студентом на подножке. Он кричал, что это едет "товарищ Шингарев", и нас пропускали. Иногда отвечали:

— Ура т. Шингареву!

Впрочем, ехать студенту было недолго. Автомобиль опять стал. Мы были уже у Троицкого моста. Поперек его стояла рота солдат.

— Вы им скажите, что вы в Думу, — сказал студент. И исчез... Вместо него около автомобиля появился офицер. Узнав, кто мы, он очень вежливо извинился, что задержал.

— Пропустить. Это члены Государственной думы...

Мы помчались по совершенно пустынному Троицкому мосту. Шингарев сказал:

— Дума еще стоит между "народом" и "властью"... Ее признают оба... берега... пока...

На том берегу было пока спокойно... Мы мчались по набережной, но все это, давно знакомое, казалось жутким... Что будет?

На Шпалерной мы встретились с похоронной процессией... Хоронили члена Государственной думы М.М.Алексеенко... Жалеть или завидовать?

* * *

Выражение "лица Думы", этого знакомого фасада с колоннами, было странное... Такой она была в 1907 году, когда я в первый раз увидел ее... В ней и тогда было что-то... угрожающее...

Но швейцары раздели нас, как всегда... Залы были темноваты. Паркеты поблескивали, чуть отражая белые колонны...

* * *

Стали съезжаться... Делились вестями — что происходит... Рабочие собрались на Выборгской стороне... Их штаб — вокзал, по-видимому... Кажется, там идут какие-то выборы, летучие выборы, поднятием рук... Взбунтовался полк какой-то... Кажется, Волынский... Убили командира... Казаки отказались стрелять... братаются с народом... На Невском баррикады...

О министрах ничего не известно... Говорят, что убивают городовых... Их почему-то называют "фараонами"...

* * *

Стало известно, что огромная толпа народу — рабочих, солдат и "всяких" — идет в Государственную думу... Их тысяч тридцать.

* * *

С.И.Шидловский созвал бюро Прогрессивного блока... И вот мы опять собрались в той самой комнате № 11, где собирались всегда, где принимались решения... Решения, которые привели к этому концу, вернее, не сумели предупредить этого конца.

Шидловский, Шингарев, Милюков, Капнист-второй, Львов В.Н., Половцов, я... еще некоторые... Ефремов, Ржевский, еще кто-то... Все те, кто вели Думу последние годы... И довели...

Заседание открылось... Открылось под знаком того, что надвигается тридцатитысячная толпа... Что делать?..

Я не помню, что говорилось. Но помню, что никто не предложил ничего заслуживающего внимания... Да и могли ли предложить? Разве эти люди способны были управлять революционной толпой, овладеть ею? Мы могли под защитой ее же штыков говорить власти всякие горькие и дерзкие слова и, ведя "конституционную", т.е. словесную борьбу, удерживать массу от борьбы действием...

— Мы будем бороться с властью, чтобы армия, зная,

что Государственная дума на страже, — могла спокойно делать свое дело на фронте, а рабочие у станков могли спокойно подавать фронту снаряды... Мы будем говорить, чтобы страна молчала...

Этими словами я сам изложил смысл борьбы в своей речи 3 ноября 1916 года...

Но теперь словесная борьба кончилась... Она не привела к цели... Она не предотвратила революции... А может быть, даже ее ускорила... Ускорила или задержала?

Роковой вопрос повис над всеми нами, собравшимися в комнате № 11... Но не все его ощущали... Не все понимали свое бессилие... Некоторые думали, что и теперь еще мы можем что-то сделать, когда масса перешла "к действиям"... И что-то предлагали... Сидя за торжественно-уютными, крытыми зеленым бархатом столами, они думали, что бюро Прогрессивного блока так же может управлять взбунтовавшейся Россией, как оно управляло фракциями Государственной думы.

Впрочем, я сказал, когда до меня дошла очередь:

— По-моему, наша роль кончилась... Весь смысл Прогрессивного блока был предупредить революцию и тем дать власти возможность довести войну до конца... Но раз цель не удалась... А она не удалась, потому что эта тридцатитысячная толпа — это революция... Нам остается одно... думать о том, как кончить с честью...

Мы, конечно, ничего не решили в комнате № 11...

* * *

Потом было заседание в кабинете председателя Думы... это было заседание старейшин... Тут были представители всех фракций, а не только фракций Прогрессивного блока...

Председательствовал Родзянко...

Шел вопрос, как быть... С одной стороны, императорский указ о роспуске (прекращение сессии), а с другой — надвигающаяся стихия...

В огромное, во всю стену кабинета, зеркало отражался этот взволнованный стол... Мощный затылок Родзянко и все остальные... Чхеидзе, Керенский, Милюков, Шингарев, Некрасов, Ржевский, Ефремов, Шидловский, Капнист, Львов, князь Шаховской... Еще другие...

Вопрос стоял так: не подчиниться указу государя императора, т.е. продолжать заседания Думы, — значит стать на революционный путь... Оказав неповиновение

монарху, Государственная дума тем самым подняла бы знамя восстания и должна была бы стать во главе этого восстания со всеми его последствиями...

* * *

На это ни Родзянко, ни подавляющее большинство из нас, вплоть до кадет, были совершенно не способны... Мы были, прежде всего, лояльным элементом... В нас уважение к престолу переплелось с протестом против того пути, которым шел государь, ибо мы знали, что этот путь к пропасти... Поэтому вся работа Думы прошла под этим знаком... При докладах царю все, кто зависели или были вдохновляемы Думой, всегда твердили одно и то же: этот путь ведет династию к гибели... Открыто же в своих речах в Думе — мы бранили министров... При этой травле, однако, не переходили конституционной грани и не затрагивали монарха... Это было основное требование Родзянко и большинства Думы, которому должны были подчиниться все... Только раз Милюков прочел какую-то цитату из газеты по-немецки, в которой говорилось о ”кружке молодой государыни”... Но это был выплеск, отклонение от основного пути...

* * *

Я не помню, что говорилось. Но помню решение: ”Императорскому указу о роспуске подчиниться — считать Государственную думу не функционирующей, но членам Думы не разъезжаться и немедленно собраться на ”частное совещание”.

Чтобы подчеркнуть, что это частное совещание членов Думы, а не заседание Государственной думы, как таковой, решено было собраться не в большом Белом зале, а в ”полуциркульном”...

* * *

Он едва вместил нас: вся Дума была налицо. За столом были Родзянко и старейшины. Кругом сидели и стояли, столпившись, стеснившись, остальные... Встревоженные, взволнованные, как-то душевно прижавшиеся друг к другу... Даже люди, много лет враждовавшие, почувствовали вдруг, что есть нечто, что всем одинаково опасно, грозно, отвратительно... Это нечто — была ули-

ца... уличная толпа... Ее приближавшееся дыхание уже чувствовалось... С улицей шествовала та, о которой очень немногие подумали тогда, но очень многие, наверное, ощутили ее бессознательно, потому что они были бледные, с сжимающимися сердцами... По улице, окруженная многотысячной толпой, шла смерть...

* * *

Этой трепещущей, сгрудившейся около стола старейшин человеческой гуще, втиснутой в "полуциркульную" рамку зала, Родзянко доложил, что произошло... И поставил вопрос: "Что делать?"

В ответ на это то там, то здесь, то справа, то слева просили слова взволнованные люди и что-то предлагали... Что?

Я не знаю. Не помню. "Что-то"... Кажется, кто-то предложил Государственной думе объявить себя властью... Объявить, что она не разойдется, не подчинится указу... Объявить себя Учредительным собранием... Это не встретило, не могло встретить поддержки... Кажется, отвечал Милюков... Во всяком случае, Милюков говорил, рекомендуя осторожность, рекомендуя не принимать слишком поспешных решений, в особенности когда мы еще не знаем, что происходит и так ли это, как говорят, что старая власть пала, что ее больше нет, когда мы вообще еще не разобрались в обстановке и не знаем, насколько серьезно, насколько прочно начавшееся народное движение.

Кто-то говорил и требовал, чтобы Дума сказала, с кем она: со старой властью или с народом? С тем народом, который идет сюда, который сейчас будет здесь и которому надо дать ответ.

В эту минуту около дверей заволновались, затолпились, раздался какой-то повышенный разговор, потом расступились, и в зал вбежал офицер...

Он перебил заседание громким заскакивающим голосом:

— Господа члены Думы, я прошу защиты!.. Я — начальник караула, вашего караула, охранявшего Государственную думу... Ворвались какие-то солдаты... Моего помощника тяжело ранили... Хотели убить меня... Я едва спасся... Что же это такое? — помогите...

Это бросило в взволнованную человеческую ткань еще больше тревоги.

Кажется, Родзянко ответил ему, что он в безопасности — может успокоиться...

В эту минуту заговорил Керенский:

— Происшедшее подтверждает, что медлить нельзя!.. Я постоянно получаю сведения, что войска волнуются!.. Они выйдут на улицу... Я сейчас еду по полкам... Необходимо, чтобы я знал, что я могу им сказать. Могу ли я сказать, что Государственная дума с ними, что она берет на себя ответственность, что она становится во главе движения?..

Не помню, получил ли ответ Керенский... Кажется, нет... Но его фигура вдруг выросла в "значительность" в эту минуту... Он говорил решительно, властно, как бы не растерявшись... Слова и жесты были резки, отчеканены, глаза горели...

— Я сейчас еду по полкам...

Казалось, что это говорил "власть имеющий"...

— Он у них — диктатор... — прошептал кто-то около меня.

Кажется, в эту минуту, а может быть и раньше, я попросил слова...

У меня было ощущение, что мы падаем в пропасть. Бессознательно я приготовился к смерти. И мне, очевидно, хотелось сказать нам всем эпитафию, сказать, что мы умираем такими, как жили:

— Когда говорят о тех, кто идет сюда, то надо прежде всего знать — кто они? Враги или друзья?.. Если они идут сюда, чтобы продолжать наше дело — дело Государственной думы, дело России, если они идут сюда, чтобы еще раз с новой силой провозгласить наш девиз: "Все для войны", то тогда они наши друзья, тогда мы с ними... Но если они идут с другими мыслями, то они друзья немцев... И нам нужно сказать им прямо и твердо: "Вы — враги, мы не только не с вами, мы против вас!"

Кажется, это заявление произвело некоторое впечатление, но не имело последствий... Керенский еще что-то говорил... Он стоял, готовый к отъезду, решительный, бросающий резкие слова, чуть презрительный...

Он рос... Рос на начавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время как мы не умели даже ходить.

* * *

Кто-то предложил в горячей речи, что всем членам Думы в это начавшееся тяжелое время нужно сохранить полное единство — всем, без различия партий, для того, чтобы препятствовать развалу. А для того, чтобы руководить членами Думы, необходимо избрать комитет, которому вручить ”диктаторскую власть”. Все члены Думы обязаны беспрекословно повиноваться комитету...

Это предложение в этой взволнованной, напуганной атмосфере встретило всеобщую поддержку... Диктатура есть функция опасности: так было — так будет...

С большим единодушием, подавляющим числом голосов были избраны слева направо:

Чхеидзе — социал-демократ.

Керенский — трудовик.

Ефремов — прогрессист.

Ржевский — прогрессист.

Милюков — кадет.

Некрасов — кадет.

Шидловский Сергей — левый октябрист.

Родзянко — октябрист-земец.

Львов Владимир — центр.

Шульгин — националист (прогрессист).

В сущности, это было бюро Прогрессивного блока с прибавлением Керенского и Чхеидзе. Это было расширение блока налево, о котором я когда-то говорил с Шингаревым, — но, увы, при какой обстановке произошло это расширение...

Страх перед улицей загнал в одну ”коллегию” Шульгина и Чхеидзе.

* * *

А улица надвигалась и вдруг обрушилась...

Эта тридцатитысячная толпа, которою грозили с утра, оказалась не мифом, не выдумкой от страха...

И это случилось именно как обвал, как наводнение... Говорят (я не присутствовал при этом), что Керенский из первой толпы солдат, поползших на крыльцо Таврического дворца, попытался создать ”первый революционный караул”:

— Граждане солдаты, великая честь выпадает на ва-

шу долю — охранять Государственную думу... Объявляю вас первым революционным караулом...

Но этот "первый революционный караул" не продержался и первой минуты... Он сейчас же был смят толпой...

* * *

Я не знаю, как это случилось... Я не могу припомнить. Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным врывающимся потоком затопляла Думу...

Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди... Живым, вязким человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещение за помещением...

* * *

С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность "великой" русской революции.

Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица... Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное...

Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство...

Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя...

Увы — этот зверь был... его величество русский народ...

То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция началась.

* * *

С этой минуты Государственная дума, собственно говоря, перестала существовать. Перестала существовать даже физически, если так можно выразиться. Ибо эта ужасная человеческая эссенция, эта вечно снующая, все заливающая до последнего угла толпа солдат, рабочих и всякого сброда — заняла все помещения, все залы, все

комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться... своим бессмысленным присутствием, непрерывным гамом тысяч людей она парализовала бы нас даже в том случае, если бы мы способны были что-нибудь делать... Ведь и найти друг друга в этом море людей было почти невозможно...

* * *

Впрочем, еще некоторое время продержался так называемый ”кабинет Родзянко”. Все остальные комнаты и залы, в том числе, конечно, огромный Екатерининский зал, были залиты народом... Кабинет Родзянко еще пока удавалось отстаивать, и там собирались мы — Комитет Государственной думы.

* * *

Комитет Государственной думы был создан первоначально для руководства членами Государственной думы, которые обязались ему повиноваться.

Но сейчас же стало ясно, что его обязанности будут шире... Со всех сторон доходили вести, что власти больше нет, что войска взбунтовались, но что все они за ”Государственную думу”... Что вообще ”революционная” столица за Государственную думу... Это давало надежды как-нибудь, быть может, овладеть движением, стать во главе его, не дать разыграться анархии.

Поэтому в первый же набросок о задачах Комитета было включено, что Комитет образовался для поддержания порядка в столице и для ”сношений с учреждениями и лицами”.

Меня лично в эти минуты больно мучил вопрос: что будет с фабриками и заводами? Не разрушит ли ”революционный народ” все те приспособления, машины, станки и оборудование, которые с такой энергией воззвал к жизни генерал Маниковский по приказанию ”Особого совещания по государственной обороне”? Поэтому, по моему предложению, первое обращение, которое выпустил Комитет, — был призыв беречь фабрики, заводы и все прочее...

* * *

Затем обсуждалось положение...

* * *

Положение!..

Покрывая непрерывный рев человеческого моря, в кабинет Родзянко ворвались крикливые звуки меди...

"Марсельеза"...

Вот мы где. Вот каково "положение"!

Contre nous de la tyrannie,
L'étendart sanglant est levé!*

Доигрались. Революция по всей "французской форме"!

Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons!
Marchons! Marchons!
Qu'un sang impur
abreuve nos sillons.**

Чья "нечистая кровь" должна пролиться? Чья?

"Ура" такое, что, казалось, нет ему ни конца ни края, залило воздух какою-то темною дурманною жидкостью...

Стихло...

Долетают какие-то выкрики...

Это речь?.. да...

И опять... Опять это ни с чем не соизмеримое "ура". И на фоне его резкая медь выкрикивает свои фанфарные слова:

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils et vos compagnes.***

---

* Против нас тирания,
Кровавый стяг поднят! (*фр.*).

Широко известная с 1875 года "Русская Марсельеза" (на слова революционера-народника Петра Лаврова) является не переводом, а вольным переложением французской "Марсельезы", которую цитирует здесь и ниже В.Шульгин. Поэтому мы даем дословный перевод.

** К оружию, граждане!
Собирайтесь в отряды!
Вперед! Вперед!
Пусть нечистая кровь напоит наши поля. (*фр.*)

*** Слышите ли вы в деревнях
Рев этих свирепых солдат?
Они врываются в ваши дома
Убивать ваших сыновей и жен. (*фр.*)

Я помню во весь этот день и следующие — ощущение близости смерти и готовности к ней...

Умереть. Пусть.

Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда.

Ах, пулеметов сюда, пулеметов!..

* * *

Но пулеметов у нас не было. Не могло быть.

Величайшей ошибкой, непоправимой глупостью всех нас было то, что мы не обеспечили себе никакой реальной силы. Если бы у нас был хоть один полк, на который мы могли бы твердо опереться, и один решительный генерал, — дело могло бы обернуться иначе.

Но у нас ни полка, ни генерала не было... И более того — не могло быть...

В то время в Петрограде "верной" воинской части уже — или еще — не существовало...

* * *

Офицеры. О них речь впереди. Да и никому в то время "опереться на офицерские роты" в голову не приходило...

Кроме того...

Кроме того, хотя я, конечно, был не один, который так чувствовал, т.е. чувствовал, что это конец... чувствовал острую ненависть к революции с первого же дня ее появления... я ведь имел хорошую подготовку... я ненавидел ее смертельно еще с 1905 года... Хотя я, конечно, был не один, но все же нас было не много... Почти все еще не понимали, еще находились в... дурмане...

Нет, полка у нас не могло быть...

* * *

Полиция?

Да, пожалуй...

Но ведь разве мы-то сами к чему-нибудь такому годны? Разве мы понимали?.. Разве мы были способны в то время "молниеносно" оценить положение, предвидеть

будущее, принять решение и выполнить за свой страх и риск?..

Тот между нами, кто это сделал бы, был бы Наполеоном, Бисмарком или Столыпиным... Но между нами таких не было...

Да, под прикрытием ее штыков мы красноречиво угрожали власти, которая нас же охраняла...

Но говорить со штыками лицом к лицу... Да еще с взбунтовавшимися штыками....

Нет, на это мы были неспособны.

Беспомощные — мы даже не знали, как к этому приступить... Как заставить себе повиноваться? Кого? Против кого? И во имя чего?

* * *

Меж тем, в сущности, в этом был вопрос... Надо было заставить кого-то повиноваться себе, чтобы посредством повинующихся раздавить не желающих повиноваться...

Не медля ни одной минуты...

Но этого почти никто не понимал... И еще менее мог кто-нибудь выполнить...

* * *

На революционной трясине, привычный к этому делу, танцевал один Керенский...

Он вырастал с каждой минутой...

* * *

Революционное человеческое болото, залившее нас, все же имело какие-то кочки... Эти "кочки опоры", на которых нельзя было стоять, но по которым можно было перебегать, — были те революционные связи, которые Керенский имел: это были люди, отчасти связанные в какую-то организацию, отчасти не связанные, но признавшие его авторитет. Вот почему на первых порах революции (помимо его личных качеств, как первоклассного актера) Керенский сыграл такую роль... Были люди, которые его слушались... Но тут требуется некоторое уточнение: я хочу сказать, были вооруженные люди, которые его слушались. Ибо в революционное время люди только те, кто держит в руках винтовку. Остальные —

16—3196

это мразь, пыль, по которой ступают эти — "винтовочные".

* * *

Правда, "вооруженные люди Керенского" не были ни полком, ни какой-либо "частью", вообще — ничем прочным. Это были какие-то случайно сколотившиеся группы... Это были только "кочки опоры"... Но все же они у него были, и это было настолько больше наличности, имевшейся у нас, всех остальных, насколько нечто больше нуля...

* * *

Кому я, например, мог что-нибудь приказать? Своим же членам Государственной думы? Но ведь они не были вооружены. А если бы были? Неужели можно было составить батальон из дряхлых законодателей?

По психологии, наступившей через год (время Корниловской эпопеи), может быть, и можно бы было. Тогда председатель Государственной думы и несколько ее членов сделали корниловский поход. Но 27 февраля 1917 года? Я убежден, что, если бы сам Корнилов был членом Государственной думы, ему это не пришло бы в голову.

Впрочем, нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Государственной думы казаку Караулову. Он задумал "арестовать всех" и объявить себя диктатором. Но когда он повел такие речи в одном наиболее "надежном полку", он увидел, что если он не перестанет, то ему самому несдобровать... Такой же прием ожидал каждого из нас... Кому мог приказать Милюков? Своим кадетам? Это народ не "винтовочный"...

* * *

А у Керенского были какие-то маленькие зацепки... Они не годились ни для чего крупного. Но они давали какую-то иллюзию власти. Это для актерской, легко воспламеняющейся, самой себе импонирующей натуры Керенского было достаточно... Какие-то группы вооруженных людей пробивались к нему сквозь человеческое месиво, залившее Думу, искали его, спрашивали, что делать, как "защищать свободу", кого схватить... Керенский вдруг почувствовал себя "тем, кто приказывает"...

Вся внешность его изменилась... Тон стал отрывист и повелителен...

"Движения быстры"...

* * *

Я не знаю, по его ли приказанию или по принципу "самозарождения", но по всей столице побежали добровольные жандармы "арестовывать"... Во главе какой-нибудь студент, вместо офицера, и группа "винтовщиков" — солдат или рабочих, чаще тех и других... Они врывались в квартиры, хватали "прислужников старого режима" и волокли их в Думу.

Одним из первых был доставлен Щегловитов, председатель Государственного совета, бывший министр юстиции, тот министр, при котором был процесс Бейлиса (не потому ли он был схвачен первым?). Тут в первый раз Керенский "развернулся"...

Группка, тащившая высокого седого Щегловитова, пробивалась сквозь месиво людей, и ей уступали дорогу, ибо поняли, что схватили кого-то важного... Керенский, извещенный об этом, резал толпу с другой стороны... Они сошлись...

Керенский остановился против "бывшего сановника" с видом вдохновенным:

— Иван Григорьевич Щегловитов — вы арестованы!

Властные, грозные слова... "Лик его ужасен".

— Иван Григорьевич Щегловитов... ваша жизнь в безопасности... Знайте: Государственная дума не проливает крови.

Какое великодушие!.. "Он прекрасен"...

* * *

В этом сказался весь Керенский: актер до мозга костей, но человек с искренним отвращением к крови в крови.

Esslesia abhorret sanquinen*.

Так говорили отцы-инквизиторы, сжигая свои жертвы...

Так и Керенский: сжигая Россию на костре "свободы", провозглашал:

— Дума не проливает крови...

---

* Церкви отвратительно кровопролитие *(лат.)*.

* * *

Но, как бы там ни было, лозунг был дан. Лозунг был дан, и дан в форме декоративно-драматической, повлиявшей на умы и сердца...

Скольким это спасло тогда жизнь...

Комитет Государственной думы все заседал, что-то вырабатывал. Было уже поздно... Мне ужасно захотелось есть. И притом надо было посмотреть, что делается... Я стал пробиваться к буфету.

Все было забито народом. В большом Белом зале (зал заседаний Государственной думы) шел непрерывный митинг... В огромном Екатерининском стояли, как в церкви... В Круглом, около входа, непрерывный водоворот. Из вестибюля еще и еще лила струя людей... Казалось, им не может быть конца.

Чтобы пробиться, куда мне было нужно, надо было включиться в благоприятный человеческий поток... Иначе никак нельзя было... Так должны были мы передвигаться, мы, хозяева, члены Государственной думы. Я толкался среди этой бессмысленной толпы, своим нелепым присутствием парализовавшей всякую возможность что-нибудь делать... Тоска и бешенство бессилия терзали меня...

Наконец поток вынес меня в длинный коридор, который через весь корпус Думы ведет к ресторану. Я двигался медленно; в одном месте застрял... Чтобы не видеть хоть минуту всех этих гнусных лиц, — я отвернулся к окну... Увы, там, — там еще хуже... Сплошная толпа серо-рыжей солдатни и черноватого штатско-рабочеподобного народа залила весь огромный двор и толкалась там... Минутами толпу прорезали кошмарные огромные животные, ощетиненные и оглушительно рычащие... Это были автомобили-грузовики, набитые до отказа революционными борцами... Штыки торчали во все стороны, огромные красные флаги вились над ними. Какое отвращение... Вдруг кто-то, стоявший рядом со мной, сказал что-то. Я посмотрел на него. Это был солдат. Хмурый, как и я, он смотрел в окно. Потом повернулся ко мне. Лицо у него было какое-то "не в себе". Встретившись со мной глазами и, очевидно, что-то сообразив, он сказал, как бы продолжая то, что он бормотал:

— А у вас тут нет? В Государственной думе?

Сначала я подумал, что он, наверное, просит папирос... но вдруг понял, что это другое...

— Чего нет? Что вы хотите?

Он смотрел в окно... Мазал пальцем по стеклу... Потом сказал нехотя:

— Да офицеров...

— Каких офицеров?

— Да каких-нибудь... Чтоб были подходящие...

Я удивился. А он продолжал, чуть оживившись:

— Потому как я нашим ребятам говорил: не будет так ладно, чтоб совсем без офицеров... Они, конечно, серчают на наших... Действительно бывает... Ну, а как же так совсем без них? Нельзя так... Для порядка надо бы, чтоб тебе был офицер... Может, у вас в Государственной думе найдутся какие — подходящие?..

* * *

На всю жизнь остались у меня в памяти слова этого солдата. Они искали в Думе "подходящих офицеров". Не нашли... И не могли найти... У Думы "своего офицерства" не было... Ах, если бы оно было!.. Если бы оно было, хотя бы настолько подготовленных, насколько была мобилизована "противоположная сторона"... Тогда борьба была бы возможна...

* * *

А "противоположная сторона" не дремала. Во всем городе, во всех казармах и заводах шли "летучие выборы"... От каждой тысячи по одному. Поднятием рук... Выбирали солдатских и рабочих депутатов. "Организовывали" массу... То есть, другими словами, работали над тем, чтобы подчинить ее себе.

А мы? Мы весьма плохо подозревали, что это делается, и во всяком случае не имели понятия о том, как это делается, и безусловно не имели никакого плана и мысли, как с этим бороться...

* * *

В буфете, переполненном, как и все комнаты, я не нашел ничего: все съедено и выпито до последнего стакана чая. Огорченный ресторатор сообщил мне, что у него раскрали все серебряные ложки...

Это было начало: так "революционный народ" ознаменовал зарю своего "освобождения". А я понял, отчего вся эта многотысячная толпа имела одно общее неизреченно-гнусное лицо: ведь это были воры — в прошлом, грабители — в будущем... Мы как раз были на переломе, когда они меняли фазу... Революция и состояла в том, что воришки перешли в следующий класс: стали грабителями.

* * *

Я пошел обратно. Во входные двери все продолжала хлестать струя человеческого прилива. Я смотрел на них и думал: "Опоздали, голубчики, серебро уже раскрали"... Как я их ненавидел! Старая ненависть, ненависть 1905 года, бросилась мне в голову...

* * *

В одной проходной небольшой комнате был клубок людей, чего-то особенно волновавшихся. Центром этого кружка был человек в зимнем пальто и кашне, несколько растрепанный, седой, но еще молодой. Он что-то кричал, а к нему приставали. Вдруг он увидел как бы якорь спасения: очевидно, узнав кого-то. Этот кто-то был Милюков, пробивавшийся через толпу куда-то, белый как лунь, но чисто выбритый и "с достоинством". Человек, слегка растрепанный, бросился к сохранившемуся Милюкову:

— Павел Николаевич, что они от меня хотят? Я полгода был в тюрьме, меня вот оттуда вытащили, притащили сюда и требуют, чтобы я стал "во главе движения". Какого движения? Что происходит? Я ведь ничего не знаю... Что такое? Что от меня нужно?

Я не слышал, что ответил ему Милюков... Но когда последний проплывал мимо меня, освободившись, я спросил его — кто этот человек?

— Разве вы не знаете? Это Хрусталев-Носарь.

В это же мгновение какой-то удивительно противный, сухой, маленький, бритый, с лицом, как бывает у куплетистов скверных шантанов, протискивался к Милюкову:

— Позвольте вам представиться, Павел Николаевич, ваш злейший враг...

Он сказал свою фамилию и исчез, а Милюков сказал мне:

— Этого вы, наверно, не знаете... Это Суханов-Гиммер, журналист...
— Почему он ваш "злейший враг"?
— Он — "пораженец"... Злостный "пораженец"...

* * *

Я не помню. Может быть, кто-нибудь помнит... В газетах того времени, вероятно, есть подробности... У меня от этого дня осталась в памяти только эта толпа, залившая Таврический дворец каким-то серым движущимся кошмаром, кошмаром, говорящим, кричащим, штыками торчащим, порой извергающим из желтых труб "Марсельезу"...

* * *

В этой толпе, незнакомой и совершенно чужой, мы себя чувствовали, как будто нас перенесли вдруг совсем в какое-то новое государство и иную страну. Если иногда попадалось знакомое лицо, то его приветствовали так, как люди встречают соотечественников на чужбине, и притом на враждебной чужбине...

* * *

К вечеру, кажется, стало известно, что старого правительства нет... Оно попросту разбежалось по квартирам... Не было оказано никакого сопротивления... В этот день, если не ошибаюсь, никого не арестовали из министров... Правительство ушло как будто даже раньше, чем кто-либо этого потребовал.

* * *

Не стало и войск... Т.е. весь гарнизон перешел на сторону "восставшего народа"... Но вместе с тем войска как будто стояли "за Государственную думу"... здесь начиналось смешение... Выходило так, что и Государственная дума "восстала" и что она "центр движения"... Это было невероятно... Государственная дума не восставала... Но это паломничество солдат на "поклонение" Государственной думе создавало двусмысленное положение...

Родзянко то и дело вызывали на крыльцо, потому что та или иная "часть" пришла приветствовать Госу-

дарственную думу... Родзянко выходил, говорил о верности родине и о спасении России. Его слова пропускали мимо ушей, но в Думе видели новую власть — это было ясно...

* * *

И ужас был в том, что этот ток симпатий к Государственной думе, принимавший порой трогательные формы, нельзя было использовать, нельзя было на него опереться...

Во-первых, потому, что мы не умели этого сделать...

Во-вторых, потому, что эти приветствовавшие — приветствовали Думу как символ революции, а вовсе не из уважения к ней самой...

В-третьих, потому, что вовсю работала враждебная рука, которая отнюдь не желала укреплять власть Государственной думы, стоявшей на патриотической почве. Это была рука будущих большевиков, несомненно и тогда руководимых немцами...

В-четвертых, потому, что эти войска были уже не войска, а банды вооруженных людей, без дисциплины и почти без офицеров... И тем не менее...

И тем не менее когда стало очевидно, что правительства больше нет, стало ясно и другое, что без правительства нельзя быть и часу. И что поэтому...

И что поэтому Комитету Государственной думы, к которому начали бросаться со всех сторон за указаниями, приходится взвалить на себя шапку Мономаха...

Родзянко долго не решался. Он все допытывался, что это будет — бунт или не бунт?

— Я не желаю бунтоваться. Я не бунтовщик, никакой революции я не делал и не хочу делать. Если она сделалась, то именно потому, что нас не слушались... Но я не революционер. Против верховной власти я не пойду, не хочу идти. Но, с другой стороны, ведь правительства нет. Ко мне рвутся со всех сторон... Все телефоны обрывают. Спрашивают, что делать? Как же быть? Отойти в сторону? Умыть руки? Оставить Россию без правительства? Ведь это Россия же, наконец!.. Есть же у нас долг перед родиной?.. Как же быть? Как же быть?

Спрашивал он и у меня.

Я ответил совершенно неожиданно для самого себя, совершенно решительно:

— Берите, Михаил Владимирович. Никакого в этом

нет бунта. Берите, как верноподданный... Берите, потому что держава Российская не может быть без власти... И если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить... Ведь сбежали? Да или нет?

— Сбежали... Где находится председатель Совета министров — неизвестно. Его нельзя разыскать... Точно так же и министр внутренних дел... Никого нет... Кончено!..

— Ну, если кончено, так и берите. Положение ясно. Может быть два выхода: все обойдется — государь назначит новое правительство, мы ему и сдадим власть... А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах... Берите, ведь наконец, черт их возьми, что же нам делать, если императорское правительство сбежало так, что с собаками их не сыщешь!..

Я вдруг разозлился. И в самом деле. Хороши мы, но хороши и наши министры... Упрямились, упрямились, довели до черт знает чего и тогда сбежали, предоставив нам разделываться с взбунтовавшимся стотысячным гарнизоном, не считая всего остального сброда, который залепил нас по самые уши... Называется правительство великой державы. Слизь, а не люди...

* * *

С этой минуты во мне произошел какой-то внутренний перелом... Я стал искать выхода... какого-нибудь выхода...

* * *

До поздней ночи продолжалось все то же самое. Митинг в Думе и хлещущая толпа через все залы. Прибывающие части с "Марсельезой". Звонки телефонов. Десятки, сотни растерянных людей, требовавших ответа, что делать... Кучки вооруженных, приводивших арестованных... К этому надо прибавить писание "воззваний" от Комитета Государственной думы и отчаянные вопли Родзянко по прямому проводу в Ставку с требованием немедленно на что-нибудь решиться, что-то сделать, действовать.

Увы! Как потом стало известно, в этот день государыня Александра Федоровна телеграфировала государю, что "уступки необходимы".

Эта телеграмма опоздала на полтора года. Этот со-

вет должен был быть подан осенью 1915 года. ”Уступками” надо было расплатиться тогда — за великое отступление ”без снарядов”. Уплатить по этому счету и предлагало большинство Четвертой Государственной думы. Но тогда уплатить за потерю двадцати губерний отказались... Теперь же... Теперь же, кажется, было поздно... Цена ”уступкам” стремительно падала... Какими уступками можно было бы удовлетворить это взбунтовавшееся море?..

* * *

Кажется, этой ночью Дума вроде как бы вооружилась... Толпа схлынула... Но какой-то солдатский табор ночевал в Думе... В сенях стояли пулеметы... Учреждена была, кажется, должность коменданта Государственной думы. Под утро, выбившись из сил, мы дремали в креслах в полукруглой комнате, примыкающей к кабинету Родзянко, — в ”кабинете Волконского”... Просыпаясь от времени до времени, я думал о том, что можно сделать... Где выход, где выход?..

* * *

Я отчетливо понимал и тогда, как и теперь, как и всегда, сколько я себя помню, что без монархии не быть России. И мысль вертелась: как спасти монархию... Монархию, которая по тысячам причин, и, может быть, больше всего собственными руками, приготовила себе гибель. И должно быть, в эту бессонную ночь пришла мысль, которая, правильная или нет — об этом будет судить история, — свелась к следующему...

— Быть может, пожертвовав монархом, удастся спасти монархию...

Так, бесформенная, еще сама себя не сознающая, родилась мысль об отречении императора Николая II в пользу малолетнего наследника... Разумеется, родилась не у одного меня...

* * *

В эту же ночь, если не ошибаюсь, одну из комнат (бюджетной комиссии) занял ”Исполком Совдепа”... Это дикое в то время название обозначало: ”Исполни-

тельный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов"...

Кошмарная ночь... Где мы? Что, собственно, происходит? До какой степени развала уже дошли? Что с Россией? Что с армией? Знают ли уже?.. Если не знают, то завтра узнают... Как примут? Что произойдет?

Нужен центр. Нужен во что бы то ни стало какой-то фокус... Не то все разбредется... Все разлетится... Будет небывалая анархия... И главное — армия, армия. Все пропало, если развал начнется в армии. А он непременно начнется, если сейчас, сейчас же не будет кому повиноваться. Нельзя допустить, чтобы там произошло, как здесь — взбунтовавшиеся солдаты без офицеров... Надо, чтобы туда дошло готовое решение... Пусть думают, что власть взята Государственной думой... Они сразу не разберутся, что Государственная дума сама по себе не может быть властью — для них это будет звучать... Для них это лозунг — "Государственная дума"... И для России тоже... это звучит в провинции... Они будут верить несколько дней... Здесь будет некоторое время распоряжаться Комитет Государственной думы... Пока решится вопрос о государе...

* * *

О государе. Да, вот это главное, самое важное... Может он царствовать? Может ли? О, как это узнать, как? Нет... не может...Все это, что было... Кто станет за него? У него — никого, никого... Распутин всех съел, всех друзей, все чувства... нет больше верноподданных... Есть скверноподданные и открытые мятежники... Последние пойдут против него, первые спрячутся... Он один... Хуже, чем один... Он с тенью Распутина... Проклятый мужик!.. Говорил Пуришкевичу — не убивайте, вот он теперь мертвый — хуже живого... Если бы он был жив, теперь бы его убили, хоть какая-нибудь отдушина. А то — кого убивать? Кого? Ведь этому проклятому сброду надо убивать, он будет убивать — кого же?

Кого?.. Ясно...

Нет, этого нельзя. Надо спасти, надо?

* * *

Чтобы спасти... чтобы спасти... надо или разогнать всю эту сволочь (и нас вместе с ними) залпами, или...

Или надо отречься от престола...

Ценой отречения спасти жизнь государю... и спасти монархию...

* * *

Если подавить бунт можно, то и слава богу. Это сделают не только без нас, но и против нас...

Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет 50 000 "февралистов", то это будет за дешево купленное спасение России.

Это будет значить, что у нас есть государь, что у нас есть власть... Но если не удастся? Если для этого ни полков, ни полковников не найдется?..

Тогда... тогда — отречение... Царствовать будет малолетний царь... значит — регент. Регент? Кто? Михаил Александрович? Да, кажется... Потом Верховный Главнокомандующий... Ну, великий князь Николай Николаевич, конечно...

Затем... Затем — правительство... Но кто?

* * *

Кто? В сущности... В сущности — никого... Ломали, ломали копья, а для кого — неизвестно... Ну, Милюков, Шингарев, конечно... затем Керенский... да, Керенского необходимо... Он самый деятельный... сейчас... актер? Да, кажется... все равно... талантливый актер. На первых порах — это главное... Его одного слушают... да и нужно для левых. Родзянко? Родзянко пойдет только в премьеры, а в премьеры нельзя, не согласятся левые и даже кадеты... Пусть остается председателем Думы... А будет Дума? Что-то не похоже... В сущности, мы в плену... Ах, проклятая гуща... Неужели завтра возобновится весь этот кошмар?.. Надо вздремнуть... Хоть минутку покоя, пока их нет... Их... Кого? Революционного сброда, то есть я хотел сказать — народа... Да, его величества народа... О, как я его ненавижу!..

* * *

28-е февраля

Наступил день второй, еще более кошмарный... "Революционный народ" опять залил Думу... Не протис-

нуться... Вопли ораторов, зверское "ура", отвратительная "Марсельеза"... И при этом еще бедствие — депутации... Неистовое количество людей от неисчислимого количества каких-то учреждений, организаций, обществ, союзов, я не знаю чего, желающих видеть Родзянко и в его лице приветствовать Государственную думу и новую власть. Все они говорили какие-то речи, склоняя "народ и свобода"... Родзянко отвечает, склоняя "родина и армия"... Одно не особенно клеится с другим, но кричат "ура" неистово. Однако кричат "ура" и речам левых... А левые склоняют другие слова: "темные силы реакции, царизм, старый режим, революция, демократия, власть народа, диктатура пролетариата, социалистическая республика, земля трудящимся" и опять — свобода, свобода, свобода — до одури, до рвоты... Всем кричат "ура". Некоторые начинают уже приветствовать и "Совет солдатских и рабочих депутатов". Его исполнительный комитет сидит у нас под боком... Мы ясно чувствуем, что это вторая власть... Впрочем, Керенский и Чхеидзе избраны и там — они вошли в исполком... Они служат мостом между этими двумя головами. Да, получается нечто двуглавое, но отнюдь не орел. Одна голова кадетская, а другая еще детская, но по всем признакам "от вундеркинда", т.е. наглая и сильно горбоносая. Впрочем, и от "кавказской обезьяны" есть там доля порядочная...

Полки по-прежнему прибывают, чтобы поклониться. Все они требуют Родзянко... Родзянко идет, ему командуют "на караул"; тогда он произносит речь громовым голосом... крики "ура!"... Играют "Марсельезу", которая режет нервы... Михаил Владимирович очень приспособлен для этих выходов: и фигура, и голос, и апломб, и горячность... При всех его недостатках, он любит Россию и делает, что может, т.е. кричит изо всех сил, чтобы защищали родину... И люди загораются, и вот оглушительное "ура"... Но сейчас же вслед за этим выползает какая-нибудь кавказская обезьяна, или еще похуже, и говорит пораженческие мерзости, разжигая злобу и жадность... У них через каждое слово "помещики, царская клика, Распутин, крепостники, опричники, жандармы"... И им тоже кричат "ура", да, да — кричат... и напрасно Михаил Владимирович себя обольщает, что Государственная дума взяла власть. Вздор. Болото — кругом. Ни на что нельзя опереться. Это оглушительное "ура" — это мираж. Ведь я знаю, чему они так

рады... Потому что надеются не пойти на фронт. Почти все части без офицеров... Где офицеры?..

* * *

Тем не менее Комитет Государственной думы работает в этот день вовсю... Правительства нет, все брошено... Весь огромный механизм остановлен на полном ходу, остановлен и обезглавлен... Всеобщий развал неминуем, если не принять самых экстренных мер... Положение таково, что многих старых бюрократов нельзя оставить... Часть их даже арестована добровольными сыщиками и притащена сюда... Часть бежала... Часть надо заменить, потому что... Ну, потому что их не удержать. Кем заменить? Кто имеет авторитет — реальной силы ведь нет... Кто?

И решили послать членов Государственной думы... "комиссарами"... То есть временно "исполняющими должность сановников". Никто не смел отказаться... Ведь все обещали беспрекословное повиновение Комитету Государственной думы... И не было случая отказа... Мы назначали такого-то туда-то — Родзянко подписывал, и человек ехал. Из крупных назначений и удачных было назначение члена Думы инженера Бубликова комиссаром в "Пути сообщения". Он сразу овладел железными дорогами. Может быть, он и сделал кое-какие ошибки, но благодаря ему железные дороги не стали. Не помню остальных — их много было... Ведь всюду, всюду требовалось, все учреждения умоляли "прислать члена Государственной думы". Авторитет их был высок еще... Чем дальше от Таврического дворца — тем обаяние Государственной думы было сильнее и воспринималось пока как власть...

* * *

Но здесь... Здесь росло противодействие... Противодействие этого проклятого исполкома, который опирался на всю эту толпу, залепившую Государственную думу... Ах, если бы у нас был хоть один верный полк, чтобы вымести отсюда всю эту банду и занять караулы...

Но полка нет... И офицеров нет...

* * *

Еще одним бедствием были — аресты... Целый ряд членов Думы занят исключительно тем, чтобы освобождать арестованных... Еще слава богу, что дан лозунг: "Тащи в Думу — там разберут"... Дума обратилась в громадный участок... С тою разницей, что раньше в участок таскали городовые, а теперь тащат городовых... Их по преимуществу... Многих убили — "фараонов"... Большинство приволокли сюда, остальные прибежали сами, спасаясь, прослышав, что "Государственная дума не проливает крови"... За это Керенскому спасибо. Пусть ему зачтут это когда-нибудь. Жалкие эти городовые — сил нет на них смотреть! В штатском, переодетые, испуганные, приниженные, похожие на мелких лавочников, которых обидели, стоят громадной очередью, которая из дверей выходит во внутренний двор Думы и так закручивается... Они ждут очереди быть арестованными... Но, говорят, некоторые герои до сих пор сражаются... Отдельные сидят по крышам с механическими ружьями и отстреливаются. Или это все вздор — эти пулеметы на крышах... Не разберешь, кто их туда послал и даже были ли они там... Во всяком случае, какая невероятная ошибка правительства была разбросать полицию по всему городу... Надо было всех собрать в кулак и выжидать... Когда все части взбунтовались бы, потеряли дисциплину — стройному кулаку их легко было бы раздавить... Но кто это мог сообразить? Протопопов? Александр Дмитриевич? Министр внутренних дел с прогрессивным параличом. А ведь мы же сами его и подсунули... Ведь он был товарищем председателя Государственной думы... Это положение ведь и был тот трамплин, с которого он прыгнул в министры...

Как все это ужасно!

Арестованных масса. Арестовали и некоторых членов Думы... Кабинет Родзянко мы еще удерживаем... Сюда мы стараемся сконцентрировать арестованных, которых можно немедленно освободить...

* * *

Я не помню точно, когда это было. Но это было в кабинете Родзянко. Я сидел против того большого зеркала, что занимает почти всю стену. Вся большая комната бы-

ла сплошь набита народом. Беспомощные, жалкие — по стеночкам примостились на уже сильно за эти дни потрепанных креслах и красных шелковых скамейках — арестованные. Их без конца тащили в Думу. Целый ряд членов Государственной думы только тем и занимался, что разбирался в этих арестованных. Как известно, Керенский дал лозунг: "Государственная дума не проливает крови". Поэтому Таврический дворец был прибежищем всех тех, кому угрожала расправа революционной демократии. Тех, кого нельзя было выпустить хотя бы из соображений их собственной безопасности, направляли в так называемый "павильон министров", который гримасничающая судьба сделала "павильоном арестованных министров". В этом отношении между Керенским, который, главным образом, "ведал" арестным домом, и нами установилось немое соглашение. Мы видели, что он играет комедию перед революционным сбродом, и понимали цель этой комедии. Он хотел спасти всех этих людей. А для того чтобы спасти, надо было сделать вид, что, хотя Государственная дума не проливает крови, она "расправится с виновными"...

Остальных арестованных (таковых было большинство), которых можно было выпустить, мы передерживали вот тут, в кабинете Родзянко. Они обыкновенно сидели несколько часов, пока для них изготовлялись соответственные "документы". Кого тут только не было...

Исполняя тысячу одно поручение, как и все члены Комитета, я как-то, наконец, выбившись из сил, опустился в кресло кабинета Родзянко против того большого зеркала... В нем мне была видна не только эта комната, набитая толкающимися и шныряющими во все стороны разными людьми, но видна была и соседняя, "кабинет Волконского", где творилось такое же столпотворение. В зеркале все это отражалось несколько туманно и несколько картинно...

Вдруг я почувствовал, что из "кабинета Волконского" побежало особенное волнение, причину которого мне сейчас же шепнули:

— Протопопов арестован!..

И в то же мгновение я увидел в зеркале, как бурно распахнулась дверь в "кабинете Волконского" и ворвался Керенский. Он был бледен, глаза горели, рука поднята... Этой протянутой рукой он как бы резал толпу... Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. И тогда в зеркале я увидел за Ке-

ренским солдат с винтовками, а между штыками тщедушную фигурку с совершенно затурканным, страшно съежившимся лицом... Я с трудом узнал Протопопова...

— Не сметь прикасаться к этому человеку!..

Это кричал Керенский, стремительно приближаясь, бледный, с невероятными глазами, одной поднятой рукой разрезал толпу, а другой, трагически опущенной, указывая на "этого человека"...

Этот человек был "великий преступник против революции" — "бывший" министр внутренних дел.

— Не сметь прикасаться к этому человеку!..

Все замерли. Казалось, он его ведет на казнь, на что-то ужасное. И толпа расступилась... Керенский пробежал мимо, как горящий факел революционного правосудия, а за ним влекли тщедушную фигурку в помятом пальто, окруженную штыками... Мрачное зрелище...

Прорезав кабинет Родзянко, Керенский с этими же словами ворвался в Екатерининский зал, битком набитый солдатами, будущими большевиками и всяким сбродом...

Здесь начиналась реальная опасность для Протопопова. Здесь могли наброситься на эту тщедушную фигурку, вырвать ее у часовых, убить, растерзать — настроение было накалено против Протопопова до последней степени.

Но этого не случилось. Пораженная этим странным зрелищем — бледным Керенским, влекущим свою жертву, — толпа раздалась перед ними.

— Не сметь прикасаться к этому человеку!..

И казалось, что "этот человек" вовсе уже и не человек...

И пропустили. Он прорезал толпу в Екатерининском зале и в прилегающих помещениях и довел до "павильона министров"... А когда дверь павильона захлопнулась за ними — дверь охраняли самые надежные часовые, — комедия, требовавшая сильного напряжения нервов, кончилась. Керенский бухнулся в кресло и пригласил "этого человека":

— Садитесь, Александр Дмитриевич!..

* * *

Протопопов пришел сам. Он знал, что ему угрожает, но он не выдержал "пытки страхом". Он предпочел скрыванию, беганию по разным квартирам отдаться под покровительство Государственной думы.

Он вошел в Таврический дворец и сказал первому попавшемуся студенту:

— Я — Протопопов.

Ошарашенный студент бросился к Керенскому, но по дороге разболтал всем, и к той минуте, когда Керенский успел явиться, вокруг Протопопова уже была толпа, от которой нельзя было ждать ничего хорошего. И тут Керенский нашелся. Он схватил первых попавшихся солдат с винтовками и приказал им вести за собой "этого человека"

* * *

В этот же день Керенский спас и другого человека, против которого было столько же злобы. Привели Сухомлинова. Его привели прямо в Екатерининский зал, набитый сбродом. Расправа уже началась. Солдаты уже набросились на него и стали срывать погоны. В эту минуту подоспел Керенский. Он вырвал старика из рук солдата и, закрывая собой, провел его в спасительный "павильон министров". Но в ту же минуту, когда он его спихивал за дверь, наиболее буйные солдаты бросились со штыками... Тогда Керенский со всем актерством, на какое он был способен, вырос перед ними:

— Вы переступите через мой труп!!

И они отступили...

* * *

Выражение "великая, бескровная" теперь справедливо заплевано, ибо оно стало не только смешным, но кощунственным после тех потоков крови, которые пришли позже... Но Керенский, по крайней мере, свою "бескровную" точку зрения, свою "бескровную" тактику защищал со всей энергией, со всей актерской повелительностью, на которую был способен. Он не только не пролил крови сам, но он употребил все силы своего "драматического таланта", чтобы кровь "при нем" не была пролита.

Многие ли могут похвалиться, что они в известную минуту не закрывали глаз и не умывали рук?..

* * *

В этот день дела испортились в полках. Хотя почти все части, которые являлись в Государственную думу,

были без офицеров, но все же до сих пор открытых враждебных действий против офицерства, как такового, не наблюдалось. А сегодня это началось. И по телефону и личные делегации из разных петроградских полков стали просить, чтобы приехать повлиять на солдат, которые вышли из повиновения и стали угрожать. Комитет Государственной думы немедленно занялся этим. Сначала послали желающих, независимо от их левизны. Поехали те, кто чувствовал себя в силах говорить с толпой, — главным образом, звонкий голос... Они поехали, вернулись через некоторое время в очень хорошем настроении. Так, помню, в один из полков послали одного правого националиста, человека искреннего и с убедительными нотками в его несколько бочковатом басе. Он вернулся.

— Да ничего... Хорошо. Я им сказал, — кричат "ура". Сказал, что без офицеров ничего не будет, что родина в опасности. Они кричали "ура". Обещали, что все будет хорошо, они верят Государственной думе...

— Ну, слава богу...

Только вдруг зазвенел телефон...

— Откуда? Алло?

— Как? Да ведь только что у вас были... все же кончилось очень хорошо... Что, опять волнуются? Кого? Кого-нибудь полевее? Хорошо, сейчас пришлем.

Посылаем Милюкова. Милюков вернулся через час — очень довольный.

— Да вот... Они немного волнуются. Мне кажется, что с ними говорили не на тех струнах... Я говорил в казарме с какого-то эшафота. Был весь полк, и из других частей... Ну, настроение очень хорошее. Меня вынесли на руках...

Но через некоторое время телефон зазвонил снова и отчаянно.

— Алло! Слушаю! Такой-то полк? Как, опять? А Милюков?.. Да они его на руках вынесли... Как? Что им надо? Еще левей?.. Ну хорошо. Мы пришлем трудовика...

Мы послали, кажется, Скобелева. Он на время успокоил... Затем, кажется, посылали кого-то из эс-деков... Затем?

Затем офицерство стало разбегаться. Их жизни угрожала опасность. Часть покинула казармы, часть со страха сбежала в Государственную думу...

* * *

День прошел, как проходит кошмар. Ни начала, ни конца, ни середины — все перемешалось в одном водовороте. Депутации каких-то полков; беспрерывный звон телефона; бесконечные вопросы, бесконечное недоумение — "что делать"; непрерывное посылание членов Думы в различные места; совещания между собой; разговоры Родзянко по прямому проводу; нарастающая борьба с исполкомом совдепа, засевшим в одной из комнат; непрерывно повышающаяся температура враждебности революционной мешанины, залепившей Думу; жалобные лица арестованных; хвосты городовых, ищущих приюта в Таврическом дворце; усиливающаяся тревога офицерства — все это переплелось в нечто, чему нельзя дать названия по его нервности, мучительности...

В конце концов, что мы смогли сделать? Трехсотлетняя власть вдруг обвалилась, и в ту же минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на голову тех нескольких человек, которые могли бы что-нибудь скомбинировать. Представьте себе, что человека опускают в густую, густую, липкую мешанину. Она обессиливает каждое его движение, не дает возможности даже плыть, она слишком для этого вязкая... Приблизительно в таком мы были положении, и потому все наши усилия были бесполезны — это были движения человека, погибающего в трясине... По этой трясине, прыгая с кочки на кочку, мог более или менее двигаться — только Керенский...

* * *

Ночью толпа понемногу схлынула. Это не значило, что она ушла совсем. Какие-то военные части ночевали у нас в большом Екатерининском зале.

В полутемноте ряд совершенно посеревших колонн с ужасом рассматривает, что происходит. Они, видевшие Екатерину, они, видевшие "Думу народного гнева", эпоху Столыпина, наконец, неудачные попытки пресловутого "блока" спасти положение, — видят теперь его величество народ во всей его красе. Блестящие паркеты покрылись толстым слоем грязи. Колонны обшарпаны и побиты, стены засалены, меблировка испорчена, — в манеж превращен знаменитый Екатерининский зал.

Все, что можно было испакостить, испакощено — и

это символ. Я ясно понял, что революция сделает с Россией: все залепит грязью, а поверх грязи положит валяющуюся солдатню...

* * *

Я вернулся в кабинет Родзянко, который был еще прибежищем. Там все-таки было немного лучше, еще не допустили улицу, еще сохранилось кое-что. На ночь осталось ночевать несколько человек — членов Государственной думы.

Я улегся на какой-то кушетке. Рядом со мной поместился Некрасов. Он, после Керенского, оказался человеком, наиболее приспособленным для скакания по революционному болоту. Он проявлял энергию.

Укладываясь, он сказал мне:

— Вы знаете, что в городе еще происходят бои?

— Как?

— Да... еще кто-то там держится в Адмиралтействе. На Адмиралтейство идут штурмом. Там, кажется, Хабалов еще сидит... Их можно бы разогнать, если бы запалить из Петропавловской крепости...

— То есть как запалить? Ведь мы же, славу богу, не делаем революции.

— Ну да... Но видите... Ведь это же невозможно... Ведь власть все равно сбежала... Правительство сейчас — это Комитет Государственной думы... Он взял власть в свои руки... Какой же смысл в этом Адмиралтействе?.. Кто там засел и для чего?.. Вот поэтому и неприятно, что Петропавловка не в наших руках...

— Кто там?

— Да так... Гарнизон Петропавловской крепости сидит там, и комендант говорит, что он не может, что ему поручено охранять крепость... Ну, словом, они не с нами...

— То есть как не с нами?.. Да ведь с кем же мы? Что же мы в самом деле с этой... ну, словом, словом — "с ними"?

— Нет, конечно... Но все же необходимо делать вид... Ведь если нас хоть немного слушаются, то потому, что мы против старой власти...

— Позвольте!.. Мы были против министров... Но когда же мы были против военной власти? Вы же говорите, что там Хабалов — командующий войсками?

— Ну да, конечно, происходит путаница... Ведь надо

же, чтобы одному кому-нибудь повиновались... Ну, Дума — так Дума... Ну, словом, кому-нибудь из нас надо поехать в Петропавловскую крепость, чтобы все это уладить. Надо поговорить с комендантом... Вы не поехали бы?..

Я соображал...

Пустить несколько снарядов из Петропавловской крепости в Адмиралтейство — до чего додумался Некрасов!.. Этого именно как раз ни в коем случае нельзя допустить... Стрелять "по Хабалову"... В то время когда мы употребляем все усилия, чтобы сохранить авторитет офицеров? Что за галиматья?..

И я решил сам поехать в Петропавловскую крепость...

* * *

Но пришлось ждать утра... Потому что не были готовы воззвания от Комитета Государственной думы, которые где-то печатались и которые мне надо было отвезти. Я иногда засыпал на несколько минут, потом просыпался и в полутемноте видел родзянковский кабинет и несколько фигур, свалившихся от усталости... Они лежали там и сям в неудобных позах, истомленные, изведенные... это были современные "властители России"...

Последние дни "конституции"

(Продолжение)
(1 марта 1917 года)

Рано утром принесли свежепахнувшие типографской краской листки. Их принес кто-то — видимо, офицер, но без погон. Откуда он взялся — не знаю. Некрасов рекомендовал мне его взять с собой, так сказать, для сопровождения... Кроме того, мне дали не то простыню, не то наволоку — это должно было изображать белый флаг... Я вышел на крыльцо, — было холодно и сыро, чуть туманно, но день, кажется, собирался быть солнечным... Несмотря на ранний час, уже было достаточно народу на дворе. Все больше солдаты.

Мне подали автомобиль... Боже мой, неужели мне придется!..

Над автомобилем был красный флаг, и штыки торчали во все стороны... Мой офицер отворил мне дверцу... Ничего не поделаешь...

Стали мелькать знакомые, казавшиеся незнакомыми, улицы... Вот только двое суток прошло, а все кажется новым, как будто прошли годы... Шпалерная... Навстречу нам идут какие-то части с музыкой, очевидно, ”на поклон” Государственной думе... Набережная... Неужели это та самая Нева?.. Бродят какие-то беспорядочные толпы вооруженных людей, рычат и проносятся ощетиненные штыками грузовики... Зачем они несутся?.. Сами не знают, конечно... ”За свободу...”

Вот Троицкий мост... Толпа увеличивается по мере приближения к крепости...

На Каменноостровском, против длинных мостков, которые ведут через канал к крепости, — митинг... Откуда взялись эти люди так рано?

Подъехали к мосткам... Толпа все же не смеет еще проникнуть ”туда”. Она еще уважает часового... Мой спутник говорит, что надо ”махать белым флагом”.

Но я отлично вижу в том конце офицера, который явно нас ожидает... Я перед отъездом приказал позвонить из Государственной думы...

Я иду по мосткам. Он радостно срывается нам навстречу.

— Мы вас так ждали... Ах, как хорошо, что вы приехали... Пожалуйте — комендант вас ждет...

* * *

Пройдя по бесконечным коридорам, мне до той поры незнакомым, я нашел коменданта, почтенного генерала. С ним было несколько офицеров.

Я сказал коменданту:

— Я прислан сюда для переговоров... от имени Комитета Государственной думы... Как вы смотрите на положение вещей, ваше превосходительство?

Старый генерал заволновался:

— Да вот, видите... Ведь вы должны нас понимать... Пожалуйста, не думайте, что мы против Государственной думы... Наоборот, мы понимаем, мы очень рады... что в такое время какая-нибудь власть... Мы всецело подчиняемся Государственной думе, вот я и гг. офице-

ры... Но ведь, я думаю, для каждой власти, для всякого правительства необходимо сохранить то, что у нас под охраной?.. У нас, вы знаете, во-первых, — царские могилы, потом Монетный двор, наконец Арсенал... Ведь вы же подумайте... Это же невозможно, чтоб толпа сюда ворвалась! Это же необходимо охранять для всех, для каждого правительства... Мы не можем то, что нам поручили... мы не можем... Мы должны охранять... Это наш долг... присяги...

Я перебил старика:

— Ваше превосходительство, не трудитесь доказывать то, что совершенно ясно для каждого... здравомыслящего человека... Так как вы изволили сказать, что признаете власть Государственной думы, то я от имени Государственной думы — прошу вас и настаиваю... Очень рад, что могу это сделать в присутствии гг. офицеров... Крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало...

Генерал просветлел...

— Ну, вот... Теперь все ясно... Теперь мы спокойны... Теперь мы знаем, чего держаться. Но вы не согласны были бы оставить письменный приказ?

Я написал от имени Комитета Государственной думы приказ коменданту Петропавловской крепости — охранять ее всеми имеющимися в его распоряжении силами и ни в коем случае не пускать толпу на территорию крепости.

Но меня беспокоила одна мысль... Ведь почему Бастилию сожгли? Думали, что в ней политические арестованные, хотя ни одного арестованного в Бастилии тогда уже не было. Как бы не "повторилась история".

— Скажите, пожалуйста, у вас есть арестованные — политические?

— Нет... есть только одиннадцать солдат, арестованных уже за эти беспорядки...

— Этих вам придется выпустить...

— Сейчас будет сделано.

— Но я не этим интересуюсь... есть ли политические... освобождения которых могут "требовать"? Вы понимаете меня?

— Понимаю... Нет ни одного... Последний был генерал Сухомлинов... Но и он освобожден несколько времени тому назад...

— Неужели все камеры пусты?

— Все... Если желаете, можете убедиться...

— Нет, мне убеждаться не надо... Но вот те — там, на Каменноостровском — могут не поверить... И потому сделаем так: если от меня приедут члены Государственной думы и предъявят мою записку, — предоставьте им взять несколько человек из толпы и покажите им все камеры... Пусть убедятся сами...

— Слушаюсь, но только по вашей записке...

— Да, до свидания...

Мы стали уходить, но ко мне обратились с просьбой несколько офицеров — сказать речь гарнизону, который волнуется...

— Поддержите нас... офицеров... чтобы они знали, что Государственная дума требует дисциплины...

Во дворе был выстроен гарнизон... Раздалась команда: "Смирно!"...

Я сказал им речь... Я говорил о том, что в то время, когда происходят такие большие события, нужно помнить об одном, — что идет война, что все мы находимся под взглядом врага, который сторожит, чтобы на нас броситься, и, если чуточку ослабеем, — сметет нас... И все пойдет прахом... И вместо свободы, о которой мы мечтаем, — получим немца на шею... А всякий военнослужащий знает, что армия держится только одним — дисциплиной... Нравится начальник или не нравится, это не имеет никакого значения... об этом про себя рассуждай, у себя в душе, а повинуйся ему не как человеку, а как начальнику... В этом и есть разумная свобода... "Повинуюсь потому, что люблю родину, и не позволю, чтобы враг ее раздавил". Господа офицеры, с которыми я только что говорил, находятся в полном согласии с Государственной думой; Государственная дума в моем лице отдает приказ защищать крепость во что бы то ни стало!..

И так далее в этом роде...

Слушали, по-видимому, понимали и даже сочувствовали...

Когда я кончил, кто-то крикнул:

— "Ура" товарищу Шульгину...

Но, уходя под это "ура", я очень ясно чувствовал, что дело скверно...

* * *

Перейдя мостки, я видел, что толпа на Каменноостровском страшно увеличилась и возбуждена... Но тут сопровождавший меня офицер оказался как раз у места. Он

вскочил на автомобиль и, стоя, разразился своеобразной речью, из которой можно было понять, что Петропавловская крепость "за свободу" и все вообще благополучно... Толпа кричала "ура!" и почему-то пришла в благодушное настроение...

В это время я увидел, что через Троицкий мост несутся к нам несколько грузовиков, угрожающе разукрашенных красными флагами и торчащими штыками... Бешено рыча моторами, они остановились перед мостками, рядом с нашей машиной... Люди были в большом возбуждении, щелкали затворами и кричали:

— Почему она (крепость) красного флага не подняла? Открыть военные действия!..

Мой офицер перескочил с сиденья нашего автомобиля на мотор грузовика и завопил оглушительно:

— Дурачье набитое! Открыть ему "военные действия"! А какого черта тебе "действия"... когда она бездействует!.. Вот член Государственной думы!.. Все уже там сделал. Крепость — за свободу, за народ... а ему — "военные действия"... Повоевать захотелось?.. Не навоевались?!

Он сделал смешную, презрительную рожу. Толпа стала на его сторону...

— Ну, проваливай, "военные действия"! Тоже!

Те смутились. Мой офицер не дал им опомниться...

— Заворачивай...

Завернули и поехали...

Так я "взял" Петропавловскую крепость... Некрасов мог быть доволен.

* * *

Возвращаюсь в Государственную думу. Толпа стоит огромная, заняв не только двор полностью, но и Шпалерную... Наш автомобиль с трудом пробивает себе дорогу... Мой офицер кричит:

— Пропустите члена Государственной думы...

И пропускают. Теснятся... Мы продираемся сквозь это живое мясо. Я сидел прямо, глядя перед собой... Мне противно было смотреть на них... Бог его знает как — они это почувствовали... Когда автомобиль застрял в воротах, я разобрал насмешливое замечание:

— Какая величественность во взгляде...

Я предпочел "не услышать".

* * *

Все пространство между крыльями Таврического дворца набито людьми. Рыжевато-серо-черная масса, изукрашенная штыками. Солдаты, рабочие, интеллигенты... Революционный народ...

Господи, чего им надо? Моя машина под протекторатом красного флага пробивается через эту кашу...

Слава богу, наконец я опять в Таврическом дворце... Слава богу? Да... да — там, в кабинете Родзянко, есть еще близкие люди. Да, близкие потому, что они жили на одной со мной планете. А эти? Эти — из другого царства, из другого века... Эти — это страшное нашествие неоварваров, столько раз предчувствуемое и наконец сбывшееся... Это — скифы. Правда, они с атрибутами XX века — с пулеметами, с дико рычащими автомобилями... Но это внешне... В их груди косматое, звериное, истинно скифское сердце...

* * *

Вышел из автомобиля... Пробиваюсь через залы Таврического дворца...

Все то же.

Все та же толпа, все тот же митинг, все то же завывание ”Марсельезы”...

Но есть новое...

За столиками, примостившись где-нибудь между обшарпанных, когда-то белых колонн, сидят барышни-еврейки, с виду — дантистки, акушерки, фармацевтки, и торгуют ”литературой”...

Это маркитантки революции...

* * *

В разных комнатах на дверях бумажки с надписями... Какие-то ”бюро”, ”учреждения” с дикими названиями... Очевидно, они прочно оседают... они завоевывают Таврический дворец шаг за шагом...

* * *

Пробиваюсь в кабинет Родзянко. Но что же это такое? И тут ”они”!

Где же — ”мы”?

— Пожалуйста, Василий Витальевич, — Комитет Государственной думы перешел в другое помещение...

Вот оно — это ”другое помещение”. Две крохотные комнатки в конце коридора, против библиотеки... где у нас были самые какие-то неведомые канцелярии...

Вот откуда будут управлять отныне Россией...

* * *

Но здесь я нашел всех своих. Они сидели за столом, покрытым зеленым бархатом... Посередине — Родзянко, вокруг — остальные... Керенского не было... Но не успел я рассказать, что было в Петропавловке, как дверь ”драматически” распахнулась. Вошел Керенский... За ним двое солдат с винтовками. Между винтовками какой-то человек с пакетами.

Трагически-повелительно Керенский взял пакет из рук человека...

— Можете идти...

Солдаты повернулись по-военному, а чиновник — просто. Вышли...

Тогда Керенский уронил нам, бросив пакет на стол:

— Наши секретные договоры с державами... Спрячьте...

И исчез так же драматически...

* * *

— Господи, что же мы будем с ними делать? — сказал Шидловский. — Ведь даже шкафа у нас нет...

— Что за безобразие, — сказал Родзянко. — Откуда он их таскает?

Он не успел разразиться: его собственный секретарь вошел поспешно.

— Разрешите доложить... Пришли матросы... Весь гвардейский экипаж... Желают видеть председателя Государственной думы...

— А черт их возьми совсем! Когда же я займусь делами? Будет этому конец?

Секретарь невозмутимо переждал бутаду.

— С ними и великий князь Кирилл Владимирович...

— Надо идти, — сказал кто-то.

Родзянко, ворча, пошел. Был он огромный и внушительный. Нес он в эти дни ”свое положение” самоотвер-

женно. С утра до вечера и даже ночью ходил он на крыльцо или на улицу и принимал "поклонение частей". Солдаты считали каким-то своим долгом явиться в Государственную думу, словно принять новую присягу. Родзянко шел, говорил своим запорожским басом колокольные речи, кричал о родине, о том, что "не позволим врагу, проклятому немцу, погубить нашу матушку-Русь"... — и все такое говорил и вызывал у растроганных (на минуту) людей громовое "ура"... Это было хорошо — один раз, два, три... Но без конца и без счета — это была тяжкая обязанность, каторжный труд, который совершенно отрывал от какой бы то ни было возможности работать... А ведь Комитет Государственной думы пока заменял все... Власть и закон и исполнителей... Родзянко был на положении председателя Совета министров... И вот "положение". Премьер, вместо того чтобы работать, каждую минуту должен бегать на улицу и кричать "ура", а члены правительства: одни — "берут крепости", другие — ездят по полкам, третьи — освобождают арестованных, четвертые — просто теряют голову, заталкиваемые лавиной людей, которые все требуют, просят, молят руководства...

Я видел, что так не может продолжаться: надо правительство. Надо как можно скорее правительство...

Куда же деть эти секретные договоры? Это ведь самые важные государственные документы, какие есть... Откуда Керенский их добыл?

Этот человек был из Министерства иностранных дел... Очевидно, видя, что делается, он бросился к Керенскому, так как боялся, что не в состоянии будет их сохранить... А Керенский приволок сюда...

Что за чепуха!.. Так же нельзя! Ну, спасли эти договоры, — но все остальное могут растащить... Мало ли по всем министерствам государственно важных документов?.. Неужели же все их сюда свалить?

И куда? Нет не только шкафа, но даже ящика нет в столе... Что с ними делать?

Но кто-то нашелся:

— Знаете что — бросим их под стол... Под скатертью ведь совершенно не видно... Никому в голову не придет искать их там... Смотрите...

И пакет отправился под стол... Зеленая бархатная скатерть опустилась до самого пола... Великолепно. Как раз самое подходящее место для хранения важнейших актов Державы Российской...

Полно! Есть ли еще эта держава? Государство ли это или сплошной, огромный, колоссальный сумасшедший дом?

Опять Керенский... Опять с солдатами. Что еще они тащат?

— Можете идти...

Вышли...

— Тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства притащили... Так больше нельзя... Надо скорее назначить комиссаров... Где Михаил Владимирович?

— На улице...

— Кричит ”ура”? Довольно кричать ”ура”. Надо делом заняться... Господа члены Комитета!..

Он исчез. Исчез трагически-повелительный...

* * *

Мы бросили два миллиона к секретным договорам, т.е. под стол, — не ”под сукно”, а под бархат...

Я подошел к Милюкову, который что-то писал на уголке стола.

— Павел Николаевич...

Он поднял на меня глаза.

— Павел Николаевич, довольно этого кабака. Мы не можем управлять Россией из-под стола... Надо правительство...

Он подумал.

— Да, конечно, надо.. Но события так бегут...

— Это все равно... Надо правительство, и надо, чтобы вы его составили... Только вы можете это сделать... Давайте подумаем, кто да кто...

Подумать не дали.

Взволнованные голоса в соседней комнате... Несколько членов Государственной думы — нечленов Комитета — вошли, так сказать, штурмом...

— Господа, простите, но так нельзя... Надо сделать что-нибудь... В полках бог знает что происходит. Там скоро будут убивать, если не убивают... Надо спасти...

— Кого убивают? Что такое?..

— Офицеров... Надо помочь... надо!..

* * *

Конечно, надо помочь... Несколько офицеров было тут же... Растерянные, бледные... Мы спешно послали не-

сколько человек... Поехал и Милюков... Остальные... остальные остались, так сказать, дежурить, ибо было постановлено, что Комитет заседает всегда — не расходится до выяснения положения...

* * *

Опять? Что еще такое?

— В Екатерининском зале огромная депутация... Надо, чтобы кто-нибудь к ним вышел... их там обрабатывают левые... Ради бога, господа...

Мы переглянулись...

— Сергей Илиодорович, пойдите...

Шидловский поморщился, но сказал:

— Иду...

* * *

В сотый раз вернулся Родзянко... Он был возбужденный, более того — разъяренный... Опустился в кресло...

— Ну, что? Как?

— Как? Ну и мерзавцы же эти...

Он вдруг оглянулся.

— Говорите, их нет...

"Они" — это был Чхеидзе и еще кто-то, словом, левые...

— Какая сволочь! Ну, все было очень хорошо... Я им сказал речь... Встретили меня как нельзя лучше... Я сказал им патриотическую речь, — как-то я стал вдруг в ударе... Кричат "ура". Вижу — настроение самое лучшее. Но только я кончил, кто-то из них начинает...

— Из кого?..

— Да из этих... как их... собачьих депутатов... От исполкома, что ли, — ну, словом, от этих мерзавцев...

— Что же они?

— Да вот именно, что же?.. "Вот председатель Государственной думы все требует от вас, чтобы вы, товарищи, русскую землю спасли... Так ведь, товарищи, это понятно... У господина Родзянко есть что спасать... не малый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии, да какой земли!.. А может быть, и еще в какой-нибудь есть?.. Например, в Новгородской?.. Там, говорят, едешь лесом, что ни спросишь: чей лес? — отвечают: родзянковский... Так вот, Родзянкам и другим помещикам Государственной думы есть что спасать...

Эти свои владения, княжеские, графские и баронские... они и называют русской землей... Ее и предлагают вам спасать, товарищи... А вот вы спросите председателя Государственной думы, будет ли он так же заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля... из помещичьей... станет вашей, товарищи?" Понимаете, вот скотина!

— Что же вы ответили?

— Что я ответил? Я уже не помню, что и ответил... Мерзавцы!..

Он так стукнул кулаком по столу, что запрыгали под скатертью секретные документы.

— Мерзавцы! Мы жизнь сыновей отдаем своих, а это хамье думает, что земли пожалеем. Да будет она проклята, эта земля, на что она мне, если России не будет? Сволочь подлая. Хоть рубашку снимите, но Россию спасите. Вот что я им сказал.

Его голос начинал переходить пределы...

— Успокойтесь, Михаил Владимирович.

* * *

Но он долго не мог успокоиться... Потом...

Потом поставил нас в "курс дела"... Он все время ведет переговоры со Ставкой и с Рузским... Он, Родзянко, все время по прямому проводу сообщает, что происходит здесь, сообщает, что положение вещей с каждой минутой ухудшается; что правительство сбежало; что временно власть принята Государственной думой, в лице ее Комитета, но что положение ее очень шаткое, во-первых, потому, что войска взбунтовались — не повинуются офицерам, а, наоборот, угрожают им, во-вторых, потому, что рядом с Комитетом Государственной думы вырастает новое учреждение — именно "исполком", который, стремясь захватить власть для себя, — всячески подрывает власть Государственной думы, в-третьих, вследствие всеобщего развала и с каждым часом увеличивающейся анархии; что нужно принять какие-нибудь экстренные, спешные меры; что вначале казалось, что достаточно будет ответственного министерства, но с каждым часом промедления — становится хуже; что требования растут... Вчера уже стало ясно, что опасность угрожает самой монархии... возникла мысль, что все сроки прошли и что, может быть, только отречение государя импе-

ратора в пользу наследника может спасти династию... Генерал Алексеев примкнул к этому мнению...

— Сегодня утром, — прибавил Родзянко, — я должен был ехать в Ставку для свидания с государем императором, доложить его величеству, что, может быть, единственный исход — отречение... Но эти мерзавцы узнали... и, когда я собирался ехать, сообщили мне, что ими дано приказание не выпускать поезда... Не пустят поезда! Ну, как вам это нравится? Они заявили, что одного меня они не пустят, а что должен ехать со мной Чхеидзе и еще какие-то... Ну, слуга покорный, — я с ними к государю не поеду... Чхеидзе должен был сопровождать батальон "революционных солдат". Что они там учинили бы?.. Я с этим скот...

Меня вызвали по совершенно неотложному делу...

* * *

Это был тот офицер, который ездил со мной "брать Петропавловку".

— Там неблагополучно... Собралась огромная толпа... тысяч пять... Требуют, чтобы выпустили арестованных...

— Да ведь их нет!..

— Не верят... Я только что оттуда... Гарнизон еле держится... Каждую минуту могут ворваться... Я их успокоил на минутку, сказал, что сейчас еду в Государственную думу и что кто-нибудь приедет... Но надо спешить...

— Сейчас...

Я сел к столу и стал писать ту записку, о которой условился с комендантом...

Потом, — не знаю уже, как и почему, — передо мной очутились члены Государственной думы Волков (кадет) и Скобелев (социалист).

— Господа, поезжайте... Помните Бастилию: она была сожжена только потому, что не поверили, что нет заключенных... Надо, чтоб вам поверили!

Волков, с живыми глазами, сильно воспринимал... Скобелев, немножко заикающийся, тоже хорошо чувствовал — я видел.

Я сказал ему:

— Ведь они вас знают... Вы популярны... Скажите им речь.

Они поехали...

* * *

Я застал Комитет в большом волнении... Родзянко бушевал...

— Кто это написал? Это они, конечно, мерзавцы. Это прямо для немцев... Предатели... Что теперь будет?

— Что случилось?..

— Вот, прочтите.

Я взял бумажку, думая, что это прокламация... Стал читать... и в глазах у меня помутилось... Это был знаменитый впоследствии ''приказ № 1''.

— Откуда это?

— Расклеено по всему городу... на всех стенках...

Я почувствовал, как чья-то коричневая рука сжала мое сердце.

Это был конец армии...

* * *

Последствия немедленно сказались... Со всех сторон стали доходить слухи, что офицеров изгоняют, арестовывают... Офицерство стало метаться... Многие, боясь, пробивались в Государственную думу... помня лозунг: ''Государственная дума не проливает крови''. Другие стали по чьему-то приглашению собираться в зал ''Армии и Флота'', на углу Литейного и Кирочной... Стало известно, что около 2000 офицеров собралось там и что идет заседание... Настроение большинства за ''Государственную думу'' и ''за порядок''. Третьи увеличили число людей, осаждавших Комитет Государственной думы, прося указаний...

С каждым часом настроение ухудшалось... Из различных мест сообщалось о насилии над офицерами...

* * *

Это были решающие минуты... Если бы можно было вооружить собравшихся в зале ''Армии и Флота'' офицеров, а главное, если бы можно было на них рассчитывать, т.е. если бы это были люди, пережившие все то, что они пережили впоследствии, скажем, корниловского закала, если бы кто-нибудь понял значение военных училищ и, главное, если бы был человек калибра Петра I или Николая I, — эта минута могла спасти все... Можно бы-

ло раздавить бунт, ибо весь этот "революционный народ" думал только об одном — как бы не идти на фронт... Сражаться он бы не стал... Надо было бы сказать ему, что Петроградский гарнизон распускается по домам... Надо было бы мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению, выбросить весь сброд из Таврического дворца, восстановить обычный порядок жизни и поставить правительство, не "доверием страны облеченное", а опирающееся на настоящую гвардию... Да, на настоящую гвардию...

Гвардии у нас не было... Были гвардейские полки... Но чем они отличались от негвардейских? Тем, что гвардейские офицеры принадлежали к аристократическим фамилиям? Но аристократия далеко не всегда была опорой престола... Начиная с Иоанна Грозного и даже гораздо раньше, часть знати вела борьбу с монархией... Особенно резко это выразилось в выступлении декабристов, но и вообще было так: знатное происхождение совершенно не обеспечивало "политической благонадежности". Стоит только просмотреть списки кадет и "примыкающих", чтобы понять, где была знать...

Так было вообще. Что же касается государя Николая II, то здесь был еще специальный разрыв, вследствие личных качеств императора и императрицы. Поэтому гвардейские офицеры вовсе не были тем элементом, на который можно было опереться в ту минуту, когда даже династия переделилась...

Но главное не в этом... Главное состояло в том, что давно уже было утрачено, а может быть, его никогда и не было, — утрачено истинное понимание, что такое гвардия....

Лейб-гвардия, собственно, должна быть "телохранительницей верховной власти". Понимая это более широко — гвардия должна быть тем кулаком, который принудит к повиновению всякого, не подчиняющегося власти... Другими словами: назначение гвардии — повиноваться и действовать именно тогда, когда все остальное не хочет повиноваться, т.е. во время народных движений, волнений, бунтов, восстаний...

Достаточно ли, чтобы такой корпус имел только одних офицеров, на которых можно положиться? Это нелепость... Разве офицеры могут что-нибудь сделать во время солдатских бунтов? Опыт показал, что в гвардейских частях солдаты раньше, чем в других, бунтовались.

Что ж это за гвардия? Гвардия должна состоять из

солдат, не менее офицеров настроенных гвардейски... Поэтому в гвардии должны служить люди не по набору, а добровольно и за хорошее жалованье... И притом это должны быть люди с известной закваской — каждый персонально известный, а не вербоваться по росту: кто выше всех ростом — тот гвардеец. Как будто преданность верховной власти есть функция роста: все большие — монархисты, а все маленькие — республиканцы!..

И притом — нельзя пускать гвардию на войну... Пусть поклонники принципа "Pereat patria, fiat justitia"* говорят что угодно... Пусть сколько угодно возмущаются "сытыми краснощекими гвардейцами", которые сидят в тылу, — пусть называют их бездельниками и трусами — но на это не следует обращать внимания... Полиция тоже дородная и краснощекая, а посылать ее на войну нельзя, сколько бы ни возмущался этим А.И.Шингарев... Одно из двух: или гвардия нужна, или нет... Если не нужна, то ее вообще не должно быть, а если нужна, то больше всего, нужнее всего она во время тяжелой войны, когда можно ожидать бунтов, революций и всякой мерзости. Гвардия должна остаться в полной неприкосновенности, и назначение ее не против врагов внешних, а против врагов внутренних... Сражаться с врагом внешним можно до последнего солдата армии и до первого солдата гвардии. Гвардия должна быть на случай проигранной войны... Тогда она вступает в действие, одной рукой приводит в христианский вид деморализованную поражением армию, другой — удерживает в границах повиновения бунтующееся население...

Проигранная война всегда грозит революцией... Но революция неизмеримо хуже проигранной войны. Поэтому гвардию нужно беречь для единственной и почетной обязанности — бороться с революцией...

Представим себе, что в 1917 году мы бы имели нетронутую и совершенно надежную в политическом смысле гвардию. Никакой революции не произошло бы. Самое большое, что случилось бы, — это отречение императора Николая II. Затем, допустим, что разложившаяся армия бросила бы фронт. Новый император или регент заключил бы мир — пусть невыгодный, но что же делать?.. Затем при помощи гвардии восстановил бы порядок повсюду, ибо мы отлично знаем, что взбунтовавшиеся войска не способны бороться с полками, сохранившими

* Пусть погибнет Родина, но восторжествует законность (*лат.*).

дисциплину... Пусть беспорядки продолжались бы год, два, три... — все равно власть, опирающаяся на твердую силу, восторжествовала бы, тем более что с каждым днем анархия надоедала бы...

Итак, быть может, главный грех старого режима был тот, что он не сумел создать настоящей гвардии... Пусть это будет наукой будущим властителям...

* * *

Я отвлекся. Продолжаю. Вернулись Волков и Скобелев. Они были возбуждены и довольны.

— Ну, удалось?

— Удалось... Кажется, теперь уже успокоятся...

— Расскажите...

— Мы застали толпу в сильнейшем возбуждении...

— Большая толпа?..

— Огромная... Весь Каменноостровский сплошь — много тысяч...

— Чего же они хотели?

— Выдачи арестованных... Рвались в крепость... Вы недаром упомянули о Бастилии... Так оно и было...

— Гарнизон?

— Гарнизон еще держался... Но они были страшно перепуганы... не знали, что делать... пустить оружие в ход?! Боялись... Да и не знали, будут ли солдаты действовать...

— Что вы сделали?

— Мы, во-первых, заявили, что мы члены Государственной думы... Нас приняли хорошо, кричали "ура". Тогда мы объявили, что пойдем осматривать камеры... И предложили... Словом, захватили с собой, так сказать, понятых...

— Ну?

— Предъявили ваш пропуск... Нас очень любезно приняли и водили повсюду...

— Никого нет?

— Никого решительно... Мы тогда вышли к ним... Объяснили, что никого нет... Очень помогал этот офицер ваш — молодец! И потом, понятно, конечно, они тоже говорили и объясняли... Были, конечно, сомневающиеся... Но громадное большинство поняло, что дело чистое... Благодарили, кричали "ура". Мы им сказали речь. Просили их разойтись по домам... не затруднять,

так сказать, ”дела свободы”... Скобелев очень хорошо говорил.

* * *

Это, кажется, единственное дело, которым я до известной степени могу гордиться... Петропавловскую крепость с могилами императоров удалось спасти таким маневром. Уцелела ”русская Бастилия”, в которой в течение двух веков консервировались ”борцы за свободу”, те, которые столько времени сеяли ”разумное, доброе, вечное” и, наконец, дождались всхода своих посевов...

О, скажет вам спасибо сердечное, скажет — русский народ...

Подождите только...

* * *

Я не помню. Тут начинается в моих воспоминаниях кошмарная каша, в которой перепутываются: бледные офицеры; депутации, ”ура”, ”Марсельеза”; молящий о спасении звон телефонов; бесконечная вереница арестованных; хвосты несчетных городовых; роковые ленты с прямого провода; бушующий Родзянко; внезапно появляющийся, трагически исчезающий Керенский; спокойно обреченный Шидловский; двусмысленный Чхеидзе; что-то делающий Энгельгардт; весьма странный Некрасов; раздражительный Ржевский... Минутные вспышки не то просветления, не то головокружения, когда доходят вести, что делается в армии и в России. Отклики уже начали поступать: телеграммы, в которых в восторженных выражениях приветствовалась ”власть Государственной думы”...

Да, так им казалось издали... Слава богу, что так казалось... На самом деле — никакой власти не было. Была, с одной стороны, кучка людей, членов Государственной думы, совершенно задавленных или, вернее, раздавленных тяжестью того, что на них свалилось. С другой стороны, была горсточка негодяев и маниаков, которые твердо знали, чего они хотели, но то, чего они хотели, было ужасно: это было — в будущем разрушение мира, сейчас — гибель России... ”Приказ № 1”, который валялся у нас на столе, был этому доказательством...

Но все-таки что-то надо было делать и во что бы то ни стало надо было ввести какой-нибудь порядок в над-

вигающуюся анархию. Для этого прежде всего и во что бы то ни стало надо образовать правительство. Я повторно и настойчиво просил Милюкова, чтобы он наконец занялся списком министров. В конце концов он "занялся".

* * *

Между бесконечными разговорами с тысячью людей, хватающих его за рукава, принятием депутаций, речами на нескончаемых митингах в Екатерининском зале; сумасшедшей ездой по полкам; обсуждением прямопроводных телеграмм из Ставки; грызней с возрастающей наглостью "исполкома" — Милюков, присевший на минутку где-то на уголке стола, — писал список министров...

И несколько месяцев тому назад и перед самой революцией я пытался хоть сколько-нибудь выяснить этот злосчастный список. Но мне отвечали, что "еще рано". А вот теперь... теперь, кажется, было поздно...

* * *

— Министр финансов?.. Да вот видите... это трудно... Все остальные как-то выходят, а вот министр финансов...

— А Шингарев?

— Да нет, Шингарев попадает в земледелие...

— А Алексеенко умер...

Счастливый Алексеенко. Его тело везли в торжественном катафалке навстречу революционному народу, стремившемуся в Таврический дворец.

— Кого же?

Мы стали думать. Но думать было некогда. Ибо звонки по телефону трещали из полков, где начались всякие насилия над офицерами... А терявшая голову человеческая гуща зажимала нас все теснее липким повидлом, в котором нельзя было сделать ни одного свободного движения.

Надо было спешить... Мысленно несколько раз пробежав по расхлябанному морю знаменитой "общественности", пришлось убедиться, что в общем плохо...

Князь Львов, о котором я лично не имел никакого понятия, "общественность" твердила, что он замечательный, потому что управлял Земгором, непререкаемо въехал в милюковском списке на пьедестал премьера...

А кого мы, не кадеты, могли бы предложить?

Родзянко?

Я бы лично стоял за Родзянко, он, может быть, наделал бы неуклюжестей, но, по крайней мере, он не боялся и декламировал "родину-матушку" от сердца и таким зычным голосом, что полки каждый раз кричали за ним "ура"...

Правда, были уже и такие случаи, что после речей левых тот самый полк, который только что кричал: "Ура Родзянко!", неистово вопил: "Долой Родзянко!" То была работа "этих мерзавцев"... Но, может быть, именно Родзянко скорее других способен был с ними бороться, а впрочем, — нет, Родзянко мог бы бороться, если бы у него было два-три совершенно надежных полка. А так как в этой проклятой каше у нас не было и трех человек надежных, то Родзянко ничего бы не сделал. И это было совершенно ясно хотя бы потому, что когда об этом заикались, все немедленно кричали, что Родзянко "не позволят левые".

То есть как это "не позволят"?! Да так. В их руках все же была кой-какая сила, хоть и в полуанархическом состоянии... У них были какие-то штыки, которые они могли натравить на нас. И вот эти "относительно владеющие штыками" соглашались на Львова, соглашались потому, что кадеты все же имели в их глазах известный ореол. Родзянко же был для них только "помещик" екатеринославский и новгородский, чью землю надо прежде всего отнять...

Итак, Львов — премьер... Затем министр иностранных дел — Милюков, это не вызывало сомнений. Действительно, Милюков был головой выше других и умом и характером. Гучков — военный министр. Гучков издавна интересовался военным делом, за ним числились несомненные заслуги. Будучи руководителем III Государственной думы, он очень много сделал для армии. Он настоял на увеличении вдвое нашего артиллерийского запаса. Он старался продвинуть в армию все наиболее талантливое. Он первый дешифрировал Мясоедова...

Шингарев, как министр земледелия, тоже был признанным авторитетом. Неизвестно, собственно говоря, почему, ибо придирчивая критика реформы Столыпина была не плюс, а минус... Но это в наших глазах. А в глазах кадетских — совсем наоборот.

Прокурор святейшего Синода? Ну, конечно, Владимир Николаевич Львов. Он такой "церковник" и так

много что-то "обличал" с кафедры Государственной думы...

С министром путей сообщения было несколько хуже, но все-таки оказалось, что инженер Бубликов, он же член Государственной думы, он же решительный человек, он же приемлемый для левых, "яко прогрессист" — подходит.

Но вот министр финансов не давался, как клад...

И вдруг каким-то образом в список вскочил Терещенко.

* * *

Михаил Иванович Терещенко был очень мил, получил европейское образование, великолепно "лидировал" автомобиль и вообще производил впечатление денди гораздо более, чем присяжные аристократы. Последнее время очень "интересовался революцией", делая что-то в военно-промышленном комитете. Кроме того, был весьма богат.

Но почему, с какой благодати он должен был стать министром финансов?

А вот потому, что бог наказал нас за наше бессмысленное упрямство. Если старая власть была обречена благодаря тому, что упрямилась, цепляясь за своих Штюрмеров, то так же обречены были и мы, ибо сами сошли с ума и свели с ума всю страну мифом о каких-то гениальных людях, — "общественным доверием облеченных", которых на самом деле вовсе не было...

Очень милый и симпатичный Михаил Иванович, которому, кажется, было года 32, — каким общественным доверием он был облечен на роль министра финансов огромной страны, ведущей мировую войну, в разгаре революции?..

Так, на кончике стола, в этом диком водовороте полусумасшедших людей, родился этот список из головы Милюкова, причем и голову эту пришлось сжимать обеими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историки в будущем, да и сам Милюков, вероятно, изобразят это совершенно не так: изобразят как плод глубочайших соображений и результат "соотношения реальных сил". Я же рассказываю, как было. Тургенев утверждал, что у русского народа "мозги — набекрень". Все наше революционное движение ясно обнаружило эту мозгобекренность, результатом которой и был этот спи-

сок полуникчемных людей, как приз за сто лет "борьбы с исторической властью"...

* * *

Тяжелее и глупее всего было в этой истории положение наше — консервативного лагеря. Ненависть к революции мы всосали если не с молоком матери, то с японской войной. Мы боролись с революцией, сколько хватало наших сил, всю жизнь. В 1905-м мы ее задавили. Но вот в 1915-м, главным образом, потому, что кадеты стали полупатриотами, нам, патриотам, пришлось стать полукадетами. С этого все и пошло. "Мы будем твердить: все для войны, — если вы будете бранить власть"... И вот мы стали ругаться, чтобы воевали. И в результате оказались в одном мешке с революционерами, в одной коллегии с Керенским и Чхеидзе...

* * *

Нерассказываемый и непередаваемый бежал день... зарываясь в безумие... и грозя кровью...

* * *

Вечером додумались пригласить в Комитет Государственной думы делегатов от "исполкома", чтобы договориться до чего-нибудь. Всем было ясно, что вырастающее двоевластие представляет грозную опасность. В сущности, вопрос стоял — или мы, или они. Но "мы" не имели никакой реальной силы. Ее заменял дождь телеграмм, выражавших сочувствие Государственной думе. "Они" же не имели еще достаточно силы. Хотя в их руках была бесформенная масса взбунтовавшегося петроградского гарнизона, но в глазах России происшедшее сотворилось "силою Государственной думы". Надо было сначала этот престиж подорвать, чтобы можно было нас ликвидировать. Поэтому мы их позвали, а они — пришли...

* * *

Пришло трое... Николай Дмитриевич Соколов, присяжный поверенный, человек очень левый и очень глупый, о котором говорили, что он автор "приказа № 1".

Если он его писал, то под чью-то диктовку. Кроме Соколова, пришло двое, — двое евреев. Один — впоследствии столь знаменитый Стеклов-Нахамкес, другой — менее знаменитый Суханов-Гиммер, но еще более, может быть, омерзительный...

* * *

Я не помню, с чего началось. Очевидно, их упрекали в том, что они ведут подкоп против Комитета Государственной думы, что этим путем они подрывают единственную власть, которая имеет авторитет в России и может сдержать анархию. Я не помню, что они отвечали, но явственно почему-то помню свою фразу:

— Одно из двух: или арестуйте всех нас, посадите в Петропавловку и правьте сами. Или уходите и дайте править нам.

И помню ответ Стеклова:

— Мы не собираемся вас арестовывать...

* * *

Стеклов был похож на красивых местечковых евреев, какими бывают содержатели гостиниц, когда их сыновья получают высшее образование... Впрочем, это все равно. Разве иные русские, кончившие два факультета, были умнее и лучше его?.. Во всяком случае, это был весьма здоровенный человек, с большой окладистой бородой, так что на первый взгляд он мог сойти за московского "русака"...

Гиммер — худой, тщедушный, бритый, с холодной жестокостью в лице, до того злобном, что оно даже иногда переставало казаться актерским... У дьявола мог бы быть такой секретарь...

За этих людей взялся Милюков. С упорством, ему одному свойственным, он требовал от них: написать воззвание, чтобы не делали насилий над офицерами.

Сама постановка дела ясно показывала, куда мы докатились. Чтобы спасти офицеров, мы должны были чуть ли не на коленях умолять двух мерзавцев "из жидов" и одного "русского дурака", никому не известных, абсолютно ничего из себя не представляющих.

Кто это — мы? Сам Милюков, прославленный российской общественности вождь, сверхчеловек народного доверия! И мы — вся остальная дружина, которые,

как-никак, могли себя считать "всероссийскими именами".

И вот со всем нашим всероссийством мы были бессильны. Нахамкес и Гиммер, неизвестно откуда взявшиеся, — они были властны решить, будут ли этой ночью убивать офицеров или пока помилуют...

* * *

Каким образом это произошло, даже трудно понять, но это так.

И Милюков убеждал, умолял, заклинал...

* * *

Это продолжалось долго, бесконечно... Это не было уже заседание. Было так... Несколько человек, совершенно изнеможенных, лежали в креслах, а эти три пришельца сидели за столиком вместе с седовласым Милюковым. Они, собственно, вчетвером вели дебаты, мы изредка подавали реплики из глубины прострации...

Керенский то входил, то выходил, как всегда, — молниеносно и драматически. Он бросал какую-нибудь трагическую фразу и исчезал. Но в конце концов, совершенно изнеможенный, и он упал в одно из кресел...

Милюков продолжал торговаться...

* * *

Неподалеку от меня, в таком же рамольном кресле, маленький, худой, заросший, лежал Чхеидзе.

Не помогло и кавказское упрямство. И его сломило...

В это время Милюков с этими тремя вел бесконечный спор насчет "выборного офицерства". В этот спор иногда припутывался Энгельгардт, который, как полковник генерального штаба, считался специалистом военного дела. Милюков доказывал, что выборное офицерство невозможно, что его нет нигде в мире и что армия развалится.

Те трое говорили наоборот, что только та армия хороша, в которой офицеры пользуются доверием солдат. В сущности, они говорили совершенно то, что мы твердили последние полтора года, когда утверждали: то правительство крепко, которое пользуется доверием народа. Но все думали при этом, что гражданское управление —

это одно, а военное — другое. Милюкову это было ясно, но Гиммер не понимал...

Не знаю почему, меня потянуло к Чхеидзе. Я подошел и, наклонившись над распростертой маленькой фигуркой, спросил шепотом:

— Неужели вы в самом деле думаете, что выборное офицерство — это хорошо?

Он поднял на меня совершенно усталые глаза, заворочал белками и шепотом же ответил, со своим кавказским акцентом, который придавал странную выразительность тому, что он сказал:

— И вообще все пропало... Чтобы спасти... чтобы спасти — надо чудо... Может быть, выборное офицерство будет чудо... Может, не будет... Надо пробовать... хуже не будет... Потому что я вам говорю: все пропало...

Я не успел достаточно оценить этот ответ одного из самых видных представителей "революционного народа", который на третий день революции пришел к выводу, что "все пропало", не успел потому, что их светлости Нахамкес и Гиммер милостиво изволили соизволить на написание воззвания, "чтобы не убивали офицеров"...

* * *

Пошли писать. В это время меня вызвали.

В соседней комнате было полным-полно всякого народа. Явственно чувствовалось, как измученная человеческая стихия в качестве последнего оплота бьется в убогие двери Комитета Государственной думы.

Кто-то из членов Думы, кажется Можайский, схватил меня за рукава:

— Вот, ради бога. Поговорите с этими офицерами. Они вас добиваются.

Взволнованная группа в форме.

— Мы из "Армии и Флота"...

— Что там такое?

— Там собрались офицеры... Несколько тысяч... Настроение такое — наше, словом, "за Государственную думу"... Вот мы составили резолюцию... Хотим посоветоваться... Еще можно изменить....

Я прочел резолюцию. В общем все было более или менее возможно, принимая во внимание сумасшествие момента. Но были вещи, которые, с моей точки зрения, и

сейчас нельзя было провозглашать. Было сказано, не помню точно что, но в том смысле, что необходимо добиваться Всероссийского Учредительного Собрания, избранного "всеобщим, тайным, равным" — словом, по четыреххвостке. Я кратко объяснил, что говорить об Учредительном Собрании не нужно, что это еще вовсе не решено.

— А мы думали, что это уже кончено... Если нет, тем лучше, еще бы! Черт с ним...

Они обещали Учредительное Собрание вычеркнуть и провести это в собрании.

— Мы имеем большинство... Как скажем — так и будет...

* * *

Но они не смогли... Перепрыгнуло ли настроение или что другое помешало, но, словом, когда я прочел эту резолюцию позже в печатном виде, в ней уже стояло требование Учредительного Собрания.

Это надо запомнить. 1 марта вечером, т.е. на третий день революции, самая "реакционная" и самая действенная часть офицерства в столице, ибо таковы были собравшиеся в зале "Армии и Флота", все же находилась под таким гипнозом или страхом, что должна была "требовать" Учредительного Собрания...

* * *

Гиммер, Соколов и Нахамкес написали воззвание. "Заседание" как бы возобновилось. Чхеидзе и Керенский в разных углах комнаты лежали в креслах... Милюков с теми тремя — у столика... Остальные более или менее — в беспорядке.

Началось чтение этого документа...

Он был длинный. Девять десятых его было посвящено тому, какие мерзавцы офицеры, какие они крепостники, реакционеры, приспешники старого режима, гасители свободы, прислужники реакции и помещиков. Однако в трех последних строках было сказано, что все-таки их убивать не следует...

Все возмутились... В один голос все сказали, что эта прокламация не поведет к успокоению, а, наоборот, к сильнейшему разжиганию. Гиммер и Нахамкес ответили, что иначе они не могут. Кто-то из нас вспылил, но

Милюков вцепился в них мертвой хваткой. Очевидно, он надеялся на свое, всем известное, упрямство, перед которым ни один кадет еще не устоял. Он взял бумажку в руки и стал пространно говорить о каждой фразе, почему она немыслима. Те так же пространно отвечали, почему они не могут ее изменить...

* * *

Чхеидзе лежал. Керенский иногда вскакивал и убегал куда-то, потом опять появлялся. К нему вечно рвались какие-то темные личности, явно оттуда — из Исполкома. Очевидно, он имел там серьезное влияние... Может быть, шла торговля из-за списка министров.

* * *

Я не помню, сколько часов все это продолжалось. Я совершенно извелся и перестал помогать Милюкову, что сначала пытался делать. Направо от меня лежал Керенский, прибежавший откуда-то, по-видимому, в состоянии полного изнеможения. Остальные тоже уже совершенно выдохлись.

Один Милюков сидел упрямый и свежий. С карандашом в руках он продолжал грызть совершенно безнадежный документ. Против него эти трое сидели неумолимо, утверждая, что они должны квалифицировать социальное значение офицеров, иначе революционная армия их не поймет. Мне ясно запомнились они — около освещенного столика и остальная комната — в полутьме. Этот их турнир был символичен: кадет, уламывающий социалистов. Так ведь было несколько месяцев, пока мы, лежавшие, не взялись за ум, т.е. за винтовку.

* * *

Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира. В это время Керенский, лежавший пластом, вскочил, как на пружинах...

— Я желал бы поговорить с вами...

Это он сказал тем трем. Резко, тем безапелляционно-шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни...

— Только наедине... Идите за мною...

Они пошли... На пороге он обернулся:

— Пусть никто не входит в эту комнату.

Никто и не собирался. У него был такой вид, точно он будет пытать их в "этой комнате".

* * *

Через четверть часа дверь "драматически" распахнулась. Керенский, бледный, с горящими глазами:

— Представители Исполнительного Комитета согласны на уступки...

Те тоже были бледны. Или так мне показалось. Керенский снова свалился в кресло, а трое снова стали добычей Милюкова.

На этот раз он быстро выработал удовлетворительный текст: трое, действительно, соглашались...

* * *

Бросились в типографию. Но было уже поздно: революционные наборщики прекратили уже работу. Было два или три часа ночи.

Гиммер, Нахамкес и Соколов ушли. Родзянко опять вызвали на улицу. Пришел какой-то полк, который хотел засвидетельствовать свою верность Государственной думе. На дворе была вьюга, они шли верст сорок пешком. И в три часа ночи пришли поклониться Государственной думе. Родзянко пошел с ними разговаривать, и скоро обычный рев донесся оттуда. Очевидно, "родина-матушка" подействовала еще раз, — кричали "ура"...

* * *

В это время приехал Гучков. Он был в очень мрачном состоянии.

— Настроение в полках ужасное... Я не убежден, не происходит ли сейчас убийств офицеров. Я объезжал лично и видел... Надо на что-нибудь решиться... И надо скорее... Каждая минута промедления будет стоить крови... будет хуже, будет хуже...

Он уехал.

* * *

Вернувшись, Родзянко без конца читал нам бесконечные ленты с прямого провода. Это были телеграммы от

Алексеева из Ставки и Рузского из Пскова. Алексеев находил необходимым отречение государя императора.

* * *

Эта мысль об отречении государя была у всех, но как-то об этом мало говорили. Вообще же было только несколько человек, которые в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях. Все остальные, потрясенные ближайшим, занимались тем, чем занимаются на пожарах: качают воду, спасают погибающих и пожитки, суетятся и бегают.

Мысль об отречении созревала в умах и сердцах както сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас.

Обрывчатые разговоры были то с тем, то с другим. Но я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался Комитетом Государственной думы, как таковым. Он был решен в последнюю минуту.

В эту ночь он вспыхивал несколько раз по поводу этих узеньких ленточек, которые сворачивал в руках Родзянко, читая. Ужасные ленточки! Эти ленточки были нитью, связывавшей нас с армией, с той армией, о которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все... Весь смысл похода на правительство с 1915 года был один: чтобы армия сохранилась, чтобы армия дралась... И вот теперь по этим ленточкам надо было решить, как поступить... Что для нее сделать?..

* * *

Кажется, в четвертом часу ночи вторично приехал Гучков. Он был сильно расстроен. Только что рядом с ним в автомобиле убили князя Вяземского. Из каких-то казарм обстреляли "офицера".

* * *

И тут, собственно, это и решилось. Нас было в это время неполный состав. Были Родзянко, Милюков, я, —

остальных не помню... Но помню, что ни Керенского, ни Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно. Он сказал приблизительно следующее:

— Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземского убили только потому, что он офицер... То же самое происходит, конечно, и в других местах... А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра... Идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной думы: они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... Надо на что-нибудь решиться... На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... что дало бы исход... что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями... В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию... Без монархии Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя... Высочайшее повеление от его лица — уже не повеление: его не исполнят... Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выхода... И сам расправится с монархией... Меж тем это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук.

Родзянко сказал:

— Я должен был сегодня утром ехать к государю... Но меня не пустили... Они объявили мне, что не пустят поезда, и требовали, чтобы я ехал с Чхеидзе и батальоном солдат...

— Я это знаю, — сказал Гучков. — Поэтому действовать надо иначе... Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с кем не советуясь... Если мы сделаем по соглашению с "ними", то это непременно будет наименее выгодно для нас... Надо поставить их перед свершившимся фактом... Надо дать России нового государя... Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... для отпора... Для этого надо действовать быстро и решительно...

— То есть — точнее? Что вы предполагаете сделать?

— Я предполагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу наследника...

Родзянко сказал:

— Рузский телеграфировал мне, что он уже говорил

об этом с государем... Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются...

— Я думаю, надо ехать, — сказал Гучков. — Если вы согласны и если вы меня уполномочиваете, я поеду... Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь...

Мы переглянулись. Произошла продолжительная пауза, после которой я сказал:

— Я поеду с вами...

* * *

Мы обменялись еще всего несколькими словами. Я постарался уточнить: Комитет Государственной думы признает единственным выходом в данном положении отречение государя императора, поручает нам двоим доложить об этом его величеству и, в случае его согласия, поручает привезти текст отречения в Петроград. Отречение должно произойти в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича. Мы должны ехать вдвоем, в полной тайне.

* * *

Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с Чхеидзе... Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии.

Кроме того, было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих лучших надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему. Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были как никогда. Я знал, что в случае отречения... революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, — передаст эту власть новому правительству. Юридически революции не будет.

Я не знал, удастся ли этот план при наличии Гимме-

ров, Нахамкесов и "приказа № 1". Но, во всяком случае, он представлялся мне единственным. Для всякого иного нужна была реальная сила. Нужны были немедленно повинующиеся нам штыки, а таковых-то именно и не было...

* * *

В пятом часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузнаваемой, чужой Сергиевской довез нас до квартиры Гучкова. Там А.И. набросал несколько слов. Этот текст был составлен слабо, а я совершенно был неспособен его улучшить, ибо все силы были на исходе.

Последние дни "конституции"

(Продолжение)
(2 марта 1917 года)

Чуть серело, когда мы подъехали к вокзалу. Очевидно, революционный народ, утомленный подвигами вчерашнего дня, еще спал. На вокзале было пусто.

Мы прошли к начальнику станции. Александр Иванович сказал ему:

— Я — Гучков... Нам совершенно необходимо по важнейшему государственному делу ехать в Псков... Прикажите подать нам поезд...

Начальник станции сказал: "Слушаюсь", и через двадцать минут поезд был подан.

* * *

Это был паровоз и один вагон с салоном и со спальными. В окна замелькал серый день. Мы наконец были одни, вырвавшись из этого ужасного человеческого круговорота, который держал нас в своем липком веществе в течение трех суток. И впервые значение того, что мы делаем, стало передо мной если не во всей своей колоссальной огромности, которую в то время не мог охва-

тить никакой человеческий ум, то, по крайней мере, в рамках доступности...

* * *

Тот роковой путь, который привел меня и таких, как я, к этому дню, 2 марта, бежал в моих мыслях так же, как эта унылая лента железнодорожных пейзажей, там, за окнами вагона... День за днем наматывался этот клубок... В нем были этапы, как здесь — станции... Но были эти "станции" моего пути далеко не так безрадостны, как вот эти, мимо которых мы сейчас проносились...

* * *

В первый раз в своей жизни я видел государя в 1907 году, в мае месяце. Это было во время Второй Государственной думы.

Вторая Государственная дума, как известно, была Думой "народного гнева" и невежества, — антинациональная, антимонархическая, словом — революционная. Она так живо вспоминалась мне теперь! Ведь все эти гнусные лица, которые залили Таврический дворец, — я их видел когда-то... не их именно, но такие же. Это именно было тогда, когда 1907 год выбросил на кресла Таврического дворца самых махровых представителей "демократической России".

Нас было сравнительно немного тогда — членов Государственной думы умеренных воззрений. Отбор был сделан в первый же день "провокационным" с нашей стороны способом. Когда Голубев читал указ об открытии Думы, при словах "по указу его императорского величества" — все "порядочные" люди встали. Все "мерзавцы" остались сидеть. "Порядочных" оказалось, кажется, 101, и сто первым был П.Б.Струве.

Сто человек удостоились высочайшего приема, причем мы были приняты небольшими группами в три раза.

Это был чудный весенний день, и все было так внове. И специальный поезд, поданный для членов Государственной думы из Царского Села, и придворные экипажи, и лакеи, более важные, чем самые могущественные вельможи, и товарищи по Думе во фраках, разряженные, как на бал, и, вообще, вся эта атмосфера, которую испытывают, так сказать, монархисты по крови — да еще

провинциальные, когда они приближаются к тому, кому после бога одному повинуются.

* * *

Это было в одном из небольших флигелей дворца. В небольшом зале мы стояли овальным полукругом. Поставили нас какие-то придворные чины, в том числе князь Путятин, который, помню, сказал мне: "Вы из Острожского уезда? Значит, мы земляки". Он хотел сказать этим, что они ведут свой род от князей Острожских.

Прием был назначен в два часа. Ровно в два, соблюдая французскую поговорку: "L'exactitude c'est la politesse des rois"*, — кто-то вошел в зал, сказав:

— Государь император...

Полуовальный кружок затих, и в зал вошел офицер средних лет, в котором нельзя было не узнать государя (в форме стрелков — малиновая шелковая рубашка у ворота), и дама высокого роста — вся в белом, в большой белой шляпе, которая держала за руку прелестного мальчика, совершенно такого, каким мы знали его по последним портретам, — в белой рубашонке и большой белой папахе.

Государыню узнать было труднее. Она не похожа была на свои портреты.

Государь начал обход. Не помню, кто там был в начале... Рядом со мной стоял профессор Г.Е.Рейн, а потом — Пуришкевич. Я следил за государем, как он переходил от одного к другому, но говорил он тихо, и ответы были такие же тихие, — я их не слышал. Но я ясно слышал разговор с Пуришкевичем. Нервно дергаясь, как было ему свойственно, Пуришкевич — я видел — накалялся.

Государь подвинулся к нему, так как он имел, видимо, привычку это делать, так сказать, скользя вбок по паркету.

Кто-то назвал Владимира Митрофановича. Впрочем, государь его, наверное, знал в лицо, ибо обладал, как говорили, удивительной памятью на лица.

Нас всех живейшим образом интересовало — скоро ли распустят Государственную думу, ибо Думу "народного гнева и невежества" мы ненавидели так же страстно, как она ненавидела правительство. Этим настрое-

---

* Точность — вежливость королей *(фр.)*.

нием Пуришкевич был проникнут более, чем кто-либо другой, и поэтому, когда государь приблизился к нему и спросил его что-то, — он не выдержал:

— Ваше величество, мы все ждем не дождемся, когда окончится это позорище! Это собрание изменников и предателей... которые революционизируют страну... Это гнездо разбойников, засевшее в Таврическом дворце. Мы страстно ожидаем приказа вашего императорского величества о роспуске Государственной думы...

Пуришкевич весь задергался, делая величайшие усилия, чтобы не пустить в ход жестикуляцию рук, что ему удалось, но браслетка, которую он всегда носил на руке, все же зазвенела.

На лице государя появилась как бы четверть улыбки. Последовала маленькая пауза, после которой государь ответил весьма отчетливо, не громким, но уверенным, низким голосом, которого трудно было ожидать от общей его внешности:

— Благодарю вас за вашу всегдашнюю преданность престолу и родине. Но этот вопрос предоставьте мне...

Государь перешел к следующему — профессору Г.Е.Рейну и говорил с ним некоторое время. Георгий Ермолаевич отвечал браво, весело и как-то приятно. После этого государь подошел ко мне.

Наследник в это время стал рассматривать фуражку Г.Е.Рейна, которую он держал в опущенной руке, как раз на высоте глаз ребенка. Он, видимо, сравнивал ее со своей белой папахой. Рейн наклонился, что-то объясняя ему. Государыня просветлела и улыбнулась, как улыбаются матери.

Государь обратился ко мне.

Я в первый раз в жизни увидел его взгляд. Взгляд был хороший и спокойный. Но большая нервность чувствовалась в его манере подергивать плечом, очевидно, ему свойственной. И было в нем что-то женственное и застенчивое.

Кто-то, кто нас представлял, — назвал меня, сказав, что я от Волынской губ/ернии/. Государь подал мне руку и спросил:

— Кажется, вы, от Волынской губернии, — все правые?

— Так точно, ваше императорское величество.

— Как это вам удалось?

При этих словах он почти весело улыбнулся. Я ответил:

— Нас, ваше величество, спаяли национальные чувства. У нас русское землевладение, и духовенство, и крестьянство шли вместе, как русские. На окраинах, ваше величество, национальные чувства сильнее, чем в центре.

Государю эта мысль, видимо, понравилась. И он ответил тоном, как будто бы мы запросто разговаривали, что меня поразило:

— Но ведь оно и понятно. Ведь у вас много национальностей... кипят. Тут и поляки и евреи. Оттого русские национальные чувства на Западе России — сильнее... Будем надеяться, что они передадутся и на Восток...

Как известно, впоследствии эти же слова высказал в своей знаменитой телеграмме Киеву (киевскому клубу русских националистов) и П.А.Столыпин*.

Государь спросил еще что-то, личное, и, очень милостиво простившись со мною, пошел дальше. Государыня сказала мне несколько слов.

Меня поразила сцена с одним из наших священников. Он при приближении государя стал на колени и страшно растроганным басом говорил какие-то нескладные слова.

Государь, видимо сконфуженный, поднял его и, приняв от него благословение, поцеловал ему руку.

Был среди представляющихся членов Думы — Лукашевич, от Полтавской губернии, очень немолодой, очень симпатичный, но хитрый, как настоящий хохол. Нам всем, как я уже говорил, очень хотелось узнать, когда распустят Государственную думу. Но пример Пуришкевича показал, что государь не разрешает об этом говорить. Лукашевич же сумел так повернуть дело, что мы все поняли.

Государь спросил Лукашевича, где он служил. Он ответил:

— Во флоте вашего императорского величества. Потом вышел в отставку и долго был председателем земской управы. А теперь вот выбрали в Государственную думу. И очень мне неудобно, потому что сижу в Петербурге и дела земские запускаю. Если это долго продолжится, я должен подать в отставку из земства. Так вот и не знаю...

И он остановился, смотря государю прямо в глаза с самым невинным видом...

Государь улыбнулся и перешел к следующему, но,

---

* "Твердо верю, что загоревшийся на Западе России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию..." *(Прим. авт.).*

по-видимому, ему понравилась эта своеобразная хитрость. Он еще раз повернулся к Лукашевичу и, улыбаясь, сказал ему:

— Погодите подавать в отставку...

В эту минуту мы все поняли, что дни Государственной думы сочтены. И обрадовались этому до чрезвычайности. Ни у кого из нас не было сомнений, что Думу "народного гнева и невежества" надо гнать беспощадно.

Обойдя всех, государь вышел на середину полукруга и сказал короткую речь.

Я не помню ее всю, но ясно помню ее конец:

— Благодарю вас за то, что вы мужественно отстаиваете те устои, при которых Россия росла и крепла...

Государь говорил негромко, но очень явственно и четко. Голос у него был низкий, довольно густой, а выговор чуть-чуть с налетом иностранных языков. Он мало выговаривал "ѣ", почему последнее слово звучало не как "крѣпла", а почти как "крепла".

Этот гвардейский акцент — единственное, что показалось мне, провинциалу, чужим. А остальное было близкое, но не величественное, а, наоборот, симпатичное своей застенчивостью.

Странно, что и государыня производила то же впечатление застенчивости. В ней чувствовалось, что за долгие годы она все же не привыкла к этим "приемам". И неуверенность ее была бóльшая, чем робость ее собеседников.

Но кто был совершенно в себе уверен и в ком одном было больше "величественности", чем в его обоих царственных родителях, — это был маленький мальчик — цесаревич. В белой рубашечке, с белой папахой в руках, ребенок был необычайно красив.

После речи государя мы усердно кричали "ура". Он простился с нами общим поклоном — "одной головой" — и вышел из маленького зала, который в этот день был весь пронизан светом.

Хороший был день! Веселый, теплый. Все вышли радостные...

Несмотря на застенчивость государя, мы все почувствовали, что он в хорошем настроении. Уверен в себе, значит, и в судьбе России.

Под мягкий рокот колес придворных экипажей, по удивительным аллеям Царского Села, мы, радостно возбужденные, говорили о том, что безобразному кабаку, именовавшемуся II Государственной думой, скоро конец.

И действительно, недели через две, а именно 2 июня, она была распущена, и ”гнев народа” не выразился абсолютно ни в чем. В этот день один из полков несколько раз под музыку прошел по Невскому в полном порядке, и 3 июня совершало свое победоносное вступление над Россией.

Я целый день ходил по городу, чтобы определить, как я сказал своим друзьям, — есть ли у нас самодержавие?

И вечером, обедая у Донона, чокнулся с Крупенским, сказав ему:

— Дорогой друг, самодержавие есть...

* * *

С тех пор прошло года полтора. Это было в начале 1909 года. III Государственная дума приступила под дуумвиратом Столыпин — Гучков к своим большим задачам.

Оппозиция, по крайней своей ограниченности, не понимая, какое большое дело происходит перед ее глазами, всячески мешала реформационным работам. Одной из очередных пакостей был ни к селу ни к городу внесенный законопроект ”Об отмене смертной казни”. Моя фракция (”правых”) поручила мне говорить ”против”.

Но когда на следующее утро это дело стало разбираться, возник обычный вопрос о ”желательности” передачи этого законопроекта в комиссию.

По тогдашнему наказу, против желательности передачи в комиссию мог говорить только один оратор. Случилось так, что двое подали записки одновременно. Это были Гегечкори и я. Гегечкори — потому, что он хотел ”отменить” смертную казнь немедленно, без комиссий, а я — потому, что я хотел точно так же без комиссии ее ”утвердить”.

Пришлось тянуть жребий. Я его вытащил. Помню, как Крупенский с места своим характерным басом воскликнул:

— Есть бог!

Я сказал свою речь...

* * *

А на следующий день (это было случайно) мы должны были представляться государю — все члены от Волынской губернии, по следующему поводу:

Из Волынской губернии приехала депутация во главе с архиепископом Антонием и знаменитым архимандритом Виталием, монахом Почаевской лавры. Остальные члены депутации были крестьяне, по одному от каждого из двенадцати уездов Волынской губернии.

Архимандрит Виталий, вопреки всему тому, что о нем писали некоторые газеты, был человек, достойный всяческого уважения. Это был "народник" в истинном значении этого слова. Аскет-бессребреник, неутомимый работник, он день и ночь проводил с простым народом, с волынскими землеробами, и, действительно, любил его, народ, таким, каков он есть... И пользовался он истинной "взаимностью". Волынские мужики слушали его беспрекословно — верили ему... Верили, во-первых, что он — "за них", а во-вторых, что он учит хорошему, божескому.

И действительно, архимандриту Виталию удалось сделать большое дело... Быть может, ему единственному удалось тогда перебросить мост между высшим, культурным классом, то есть "помещиками", и черным народом, "хлеборобами"... В его лице духовенство стало между землевладельцами и крестьянами. Оно подало правую руку одним, левую — другим и повело за собой обоих, объединяя их, как "русских и православных"...

При этом архимандрит Виталий умел держаться на границе демагогии. Он утверждал, что крестьяне получат землю, но не грабежом, не революцией, не всякими безобразиями, а только волей государя и "по справедливости", т.е. чтобы "никого не обижать".

Точно так же умел он направить волынских крестьян и в еврейском вопросе. Он призывал к борьбе с еврейством и не мог не призывать, так как революцию 1905 года вело еврейство "объединенным фронтом" — без различия классов и партий. Но, помня и свой пастырский долг и все остальное, что надо помнить, архимандрит Виталий призывал к противодействию еврейству путем экономической борьбы, а также национальной организованности. Характерен для него был лозунг, который оглушительно повторяли толпы народа, шедшие за ним. Этот лозунг был не "бей жидов", а — "Русь идет!".

Ни одного еврейского погрома, несмотря на все его горячие речи, призывавшие к борьбе с революцией, на совести у архимандрита Виталия не было, как не было и ни одной помещичьей "иллюминации", как вообще не было ни одного насилия.

Разумеется, его не поняли, разумеется, его оклеветали, но кого не изругивали в те дни! Разве эти безумные люди понимали хоть что-нибудь? Разве они не смешали с грязью Столыпина?

* * *

Свою работу архимандрит Виталий вел посредством образования почти в каждом селе так называемого ”Союза русского народа”. Говорят, что в других местах этот союз был не то подставным, не то хулиганским. Но на Волыни дело было иначе. Села совершенно добровольно делали ”приговоры” о том, что хотят образовать ”союз”, и образовывали: такой союз был и в нашей деревне, и я был его почетным председателем.

Между прочим, в последнее время архимандрит Виталий занялся следующей мыслью.

Он, как и другие правые, был озабочен тем, чтобы ”историческая русская власть”, иначе ”самодержавие”, не получила ущерба. Ne quid detrimentum capiat*...

...Всем нам было страшно, как бы не пошатнулась эта власть. Мы считали, что Государственная дума — Государственной думой, но всецело принимали лозунг Столыпина: ”Никто не может отнять у русского государя право и обязанность спасать богом врученную ему державу”.

С этой целью архимандрит Виталий составил верноподданнический адрес, в котором было выражено желание, чтобы царь был самодержцем, как и раньше было.

Под этим адресом стали собирать подписи по всей Волыни, и, когда собрали 1 000 000 подписей (все население Волыни — 3 1/2 миллиона, считая женщин и детей), решили поднести его государю императору.

* * *

Дворец. Один из небольших зал. Мы собрались за четверть часа до назначенного времени. Оглядев нас, я подумал, что эта группа и красива и знаменательна.

Посередине, в великолепной лилово-белой шелковой мантии — архиепископ Антоний, опираясь на посох. Рядом с ним, в черной рясе (его уговорили надеть шелковую на этот день), аскет-монах, страшно худой, с вырази-

---

* Дабы правосудие не понесло ущерба *(лат.)*.

тельными глазами — архимандрит Виталий... Налево от владыки — член Думы, князь В.М.Волконский, в мундире предводителя дворянства. За ним фраки, сияющие белой грудью, — члены Думы — русские помещики — культурный класс. Направо от владыки — около двадцати "свиток". Настоящие волынские свитки, темно-коричневые и светло-серые, обшитые красной тесьмой. Они пришли сюда, во дворец, точно такими же, какими ходят в свою церковь в воскресенье... Лица были торжественные, серьезные, но не рабские... Нет, не рабские!

Мне казалось тогда, что это день глубокого мистического значения.

Государь в этот день увидел лоскуток своей державы в ее идеальном представлении; такой, какой она должна была быть; такой, какой она, увы! за исключением этого клочка — Волыни — не была...

Почти повсюду (натравленные друг против друга "работой" города над "вопросом о земле") — дворянство и крестьянство, помещики и землеробы — были враждующими лагерями... Железом Столыпина едва удалось образумить низы... да и верхи...

Здесь же церковь, протянув одну руку помещикам и дворянам, золотошитым и "фрачным", а другую огромному, черному, землеробному крестьянству, этим коричневым и серым свиткам, — подвела их к престолу царя, как братьев...

Господи, да ведь и правда же мы — братья!.. Разве не ясно, что не жить нам одним без других, что, если натравят на нас, панов, эти "свитки", — мы погибнем в их руках, но и они, "свитки", погубивши нас, скоро погибнут сами, ибо наше место займут новые "паны" — такие "паны из города", от которых стон и смерть пойдут по всей черной, хлебородной, земляной земле...

Церковь это знает, знает, может быть, не индивидуальным разумом этих вот ее слуг, а знает потому, что голос веков звучит под ее сводами. Церковь это знает и знает, где искать примирение, где найти утишающее слово...

Здесь... У престола...

Церковь взяла нас и привела сюда, чтобы мы сказали вместе с нею:

— Помазанник божий! Верим тебе. Суди нас, мири нас. Хотим быть братьями... потому что мы одной крови, одной веры, одной земли...

* * *

Разве не это хотят сказать эти огромные книги, что торжественно лежат вокруг иконы божьей матери, Почаевской, которую владыка Антоний подносит царю?

Эти книги в грубых кожаных переплетах, числом двенадцать, — это адрес государю... Каждая книга от каждого уезда Волыни... Адрес — за "самодержавие", т.е. чтобы царь был самодержавен... Подносят его волынцы, объединившиеся в "Союз русского народа". Поэтому же на свитках и фраках маленькие серебряные кружки — значок "Союза русского народа".

* * *

Беру одну из этих тяжелых книг в руки... Мелькают знакомые деревни, мелькают знакомые имена... "Бизюки, Сопрунцы, Ткачуки, Климуси, Романчуки"... Вместо неграмотных стоят кресты...

Все это подлинное... Подписи настоящие... Сколько их? Миллион...

* * *

Миллион! Миллион подписей при населении в три с половиной миллиона, считая женщин и детей.

Миллион волынцев сказали в этот день царю, что они не "украинцы", а русские, ибо зачислились в "Союз русского народа"... Миллион сказали, что верят в бога, потому что пришли сюда по зову царя... Миллион сказали, что любят родину... Миллион сказали, что они не грабители и не социалисты, потому что хотят земельный вопрос решить не силой, а по царской воле... Миллион сказали, что на земле превыше всего верят царю и просят его по-старому править Русскою землею...

...Царствуй на славу нам...
Царствуй на страх врагам...

* * *

Время приближалось...

Нас поставили в порядок... Все замолкло. Стало очень тихо. На часах ударило два... В это же мгновение отворилась дверь, арап, сверкнув белой чалмой над чер-

ным лицом, колыхнул широкими шароварами... Он сказал негромко, но картаво:

— Государь император...

* * *

Государь вышел один... Все поклонились...

Государь принял благословение от владыки...

Владыка начал свою речь.

Архиепископ Антоний говорил, как всегда, умно и красиво. Опираясь на посох, он сказал все, что было можно и нужно... Больше говорить было нечего... Так и было условлено... Было решено, что никто не будет говорить ни из "панов", ни из "хрестьян".

Но тут произошло неожиданное...

* * *

На самом правом крыле стоял невзрачный мужичок, желтоватой масти, полещук из одного болотного уезда. Из тех, что люди, ненавидящие мужиков, называют иногда "гадюка"... Но он не был гадюка... Его фамилия была Бугай... "Бугай" называют у нас птицу выпь... За то, что она вопит, конечно... Засядет в болото и вопит...

Неожиданно Бугай оправдал свою фамилию и "завопил":

— Ваше императорское величество!..

Государь повернул к нему голову... Архимандрит Виталий хотел остановить, "цыкнуть" на неожиданного, но удержался, заметив, что государь приготовился слушать.

И полещук развернулся...

* * *

Я всегда удивлялся красноречию простого народа. В то время как средний интеллигент ищет, подбирает слова, говорит с трудом, с напряжением, — простой человек, если начнет говорить, то "зальется"...

Серенада полесской выпи продолжалась минут десять. Он говорил тем языком, который так блестяще опровергает все украинские теории. Он говорил малорусской речью, — но такой, что его нельзя было не понять даже человеку, который никогда в Хохландии не был.

Что он говорил?

Он, не останавливаясь, бранил Государственную ду-

му... За что про что — понять нельзя было совсем или можно было слишком понять. Вот так, как птица "бугай"... Заберется в камыш и кричит...

Он кричал о том, что наш народ волынский не хочет, чтобы Дума была "старшей", а чтобы царь был старший... И как царь с землей решит, пусть так и будет... А Дума "пусть себе не думает"; потому мы только царю верим, а на Думу сдаваться не желаем... И еще и еще...

Государь выслушал его до конца. Но когда он кончил, после этих его криков наступила напряженная тишина... Мы понимали, что речь Бугая была неожиданной, и потому — почти скандал, нам было очень неловко и неприятно, и больно сжалось сознание, как государь выйдет из этого положения...

* * *

Выход был тоже очень неожиданный.

Государь сделал несколько раз подергивание плечом, которое было ему свойственно... Потом кивнул Бугаю, полуулыбнувшись... Но не сказал ему ни слова... Наоборот, он повернулся к нам, членам Думы, и прошел глазами по нас... И вдруг спросил немного как бы застенчиво:

— Кто из вас — Шульгин?

Больше всего это, конечно, поразило меня... До такой степени, что, не очень отдавая себе отчет в том, что я делаю, я сделал большой шаг вперед, "по-солдатски".

— Я, ваше императорское величество...

Государь посмотрел на меня и сказал, довольно застенчиво, улыбаясь, но так, чтобы все слышали:

— Мы только что... за завтраком... прочли с императрицей вашу вчерашнюю речь в Государственной думе... Благодарю вас. Вы говорили так, как должен говорить человек истинно русский...

Я пробормотал несколько довольно бессвязных слов. И отступил на свое место...

Потом?.. Потом государь сказал несколько слов с другими и всем... Затем?.. Затем все было как всегда... При криках "ура" государь удалился...

* * *

Потом произошла довольно смешная сцена.

Матрос Деревенько, который был дядькой у наслед-

ника цесаревича и который услышал, что волынские крестьяне представляются, захотел повидать своих...

И вот он тоже — ”вышел”...

Красивый, совсем как первый любовник из малорусской труппы (воронова крыла волосы, а лицо белое, как будто он употреблял creme Simon*), — он, скользя по паркету, вышел, протянув руки — ”милостиво”:

— Здравствуйте, земляки!.. Ну, как же вы там?..

Очень было смешно...

Нам был предложен завтрак. Меня поздравляли с ”царской благодарностью”... и было очень радостно...

Уезжая, мы, по обычаю, разобрали ”на память” цветы, которыми украшен был стол...

Эти цветы, ”царские цветы”, сохраненные заботливой рукой, и сейчас на моем письменном столе под стеклом царского портрета там, в Петрограде...

А я мчусь в Псков?.. Как? Отчего?

* * *

Трон был спасен в 1905 году, потому что часть народа еще понимала своего монарха... Во время той войны, также неудачной, эти, понимавшие, столпились вокруг престола и спасли Россию...

Спасли те ”поручики”, которые командовали ”по наступающей толпе — пальба”, спасли те, кто зажглись взрывом оскорбленного патриотизма, — взрывом, который вылился в ”еврейский погром”, спасли те ”прапорщики”, которые этот погром остановили, спасли те правители и вельможи, которые дали лозунг ”не запугаете”, спасли те политические деятели, которые, испросив благословение церкви, — громили словом лицемеров и безумцев...

А теперь?

Теперь не нашлось никого...

Никого... потому что мы перестали понимать своего государя...

И вот...

И вот... Псков...

* * *

И еще раз...

Это было 26 июля 1914 года... В тот день, когда на

---

* Крем Симон *(фр.)*.

один день была созвана Государственная дума после объявления войны.

В Петербург с разных концов России пробивались сквозь мобилизационную страду поезда с членами Государственной думы... Поезду, который пробивался из Киева, было особенно трудно, почему он опоздал... С вокзала я колотил извозчика в спину, чтобы попасть в Зимний дворец... Я объяснял ему, что ”сам государь меня ждет”... Извозчик колотил свою шведку, но все же я вбежал в зал, когда уже началось... Государь уже вышел...

И вот тут было совсем по-иному, чем всегда, во время больших выходов. Величие и трудность минуты сломили лед векового каркаса. Была толпа людей, мятущаяся чувством, восторженная, прорвавшая ритуал... Эта восторженная гроздь законодателей окружала одного человека, и этот человек был наш государь...

Я не мог протолкаться к нему, да этого и не нужно было... Ведь я и такие, как я, всегда были с ним душой и сердцем, но бесконечно радостно было для нас, что эти другие люди, вчера еще равнодушные, нет, мало сказать равнодушные, — враждебные, что они, подхваченные неодолимым стремлением сплотиться воедино, в эту страшную минуту бросились к вековому фокусу России — к престолу... Эти другие люди были — кадеты, т.е. властители умов и сердец русской интеллигенции... О, как охотно мы уступили бы им наши места на ступенях трона, если бы это означало единство России!..

В мой потрясенный мозг стучались три слова, вылившиеся в статье под заглавием:

”Веди нас, государь!..”

* * *

А вот теперь — Псков... Вот куда ”привел” нас государь... Он ли — нас или мы — его, кто это рассудит? На земле — история, на небе — бог...

* * *

Станции проносились мимо нас... Иногда мы останавливались... Помню, что А.И.Гучков иногда говорил краткие речи с площадки вагона... это потому, что иначе нельзя было... На перронах стояла толпа, которая все

знала... То есть она знала, что мы едем к царю... И с ней надо было говорить...

* * *

Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-адъютантом Николаем Иудовичем Ивановым. Он был, кажется, в Гатчине. Он сообщил нам, что по приказанию государя накануне, или еще 28-го числа, выехал по направлению к Петрограду... Ему было приказано усмирить бунт... Для этого, не входя в Петроград, он должен был подождать две дивизии, которые были сняты с фронта и направлялись в его распоряжение... В качестве, так сказать, верного кулака ему было дано два батальона георгиевцев, составлявших личную охрану государя. С ними он шел до Гатчины... И ждал... В это время кто-то успел разобрать рельсы, так что он, в сущности, отрезан от Петрограда... Он ничего не может сделать, потому что явились "агитаторы", и георгиевцы уже разложились... На них нельзя положиться... Они больше не повинуются... Старик стремился повидаться с нами, чтобы решить, что делать...

Но надо было спешить... Мы ограничились этим телеграфным разговором...

* * *

Все же мы ехали очень долго... Мы мало говорили с А.И. Усталость брала свое... Мы ехали, как обреченные... Как все самые большие вещи в жизни человека, и это совершалось не при полном блеске сознания... Так надо было... Мы бросились на этот путь, потому что всюду была глухая стена... здесь, казалось, просвет... здесь было "может быть"... А всюду кругом было — "оставь надежду"...

* * *

Разве переходы монаршей власти из рук одного монарха к другому не спасали Россию?

Сколько раз это было...

* * *

В 10 часов вечера мы приехали. Поезд стал. Вышли на площадку. Голубоватые фонари освещали рельсы. Через

несколько путей стоял освещенный поезд... Мы поняли, что это императорский...

Сейчас же кто-то подошел...

— Государь ждет вас...

И повел нас через рельсы. Значит, сейчас все это произойдет. И нельзя отвратить?

Нет, нельзя... Так надо... Нет выхода... Мы пошли, как идут люди на все самое страшное, — не совсем понимая... Иначе не пошли бы...

Но меня мучила еще одна мысль, совсем глупая...

Мне было неприятно, что я являюсь к государю небритый, в смятом воротничке, в пиджаке...

* * *

С нас сняли верхнее платье. Мы вошли в вагон.

Это был большой вагон-гостиная. Зеленый шелк по стенкам... Несколько столов... Старый, худой, высокий, желтовато-седой генерал с аксельбантами...

Это был барон Фредерикс...

— Государь император сейчас выйдет... Его величество в другом вагоне...

Стало еще безотраднее и тяжелее...

В дверях появился государь... Он был в серой черкеске... Я не ожидал его увидеть таким...

Лицо?

Оно было спокойно...

Мы поклонились. Государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно...

— А Николай Владимирович?

Кто-то сказал, что генерал Рузский просил доложить, что он немного опоздает.

— Так мы начнем без него.

Жестом государь пригласил нас сесть... Государь занял место по одну сторону маленького четырехугольного столика, придвинутого к зеленой шелковой стене. По другую сторону столика сел Гучков. Я — рядом с Гучковым, наискось от государя. Против царя был барон Фредерикс...

Говорил Гучков. И очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил негладко... и глухо.

Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо.

Я не спускал с него глаз. Он изменился сильно с тех пор... Похудел... Но не в этом было дело... А дело было в том, что вокруг голубых глаз кожа была коричневая и вся разрисованная белыми черточками морщин. И в это мгновение я почувствовал, что эта коричневая кожа с морщинками, что это маска, что это не настоящее лицо государя и что настоящее, может быть, редко кто видел, может быть, иные никогда ни разу не видели... А я видел тогда, в тот первый день, когда я видел его в первый раз, когда он сказал мне:

"Оно и понятно... Национальные чувства на Западе России сильнее... Будем надеяться, что они передадутся и на Восток"...

Да, они передались. Западная Россия заразила Восточную национальными чувствами. Но Восток заразил Запад... властеборством.

И вот результат... Гучков — депутат Москвы, и я, представитель Киева, — мы здесь... Спасаем монархию через отречение... А Петроград?

Гучков говорил о том, что происходит в Петрограде. Он немного овладел собой... Он говорил (у него была эта привычка), слегка прикрывая лоб рукой, как бы для того, чтобы сосредоточиться. Он не смотрел на государя, а говорил, как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нем же, Гучкове, сидящему. Как будто бы совести своей говорил.

Он говорил правду, ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Он говорил то, что мы все видели в Петрограде. Другого он не мог сказать. Что делалось в России, мы не знали. Нас раздавил Петроград, а не Россия...

Государь смотрел прямо перед собой, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице: "Эта длинная речь — лишняя..."

В это время вошел генерал Рузский. Он поклонился государю и, не прерывая речи Гучкова, занял место между бароном Фредериксом и мною... В эту же минуту, кажется, я заметил, что в углу комнаты сидит еще один генерал, волосами черный, с белыми погонами... Это был генерал Данилов.

Гучков снова заволновался. Он подошел к тому, что, может быть, единственным выходом из положения было бы отречение от престола.

Генерал Рузский наклонился ко мне и стал шептать:

— По шоссе из Петрограда движутся сюда вооружен-

ные грузовики... Неужели же ваши? Из Государственной думы.

Меня это предположение оскорбило. Я ответил шепотом, но резко:

— Как это вам могло прийти в голову?

Он понял.

— Ну, слава богу, простите... Я приказал их задержать.

Гучков продолжал говорить об отречении.

Генерал Рузский прошептал мне:

— Это дело решенное... Вчера был трудный день... Буря была...

— ...И, помолясь богу... — говорил Гучков...

При этих словах по лицу государя впервые пробежало что-то... Он повернул голову и посмотрел на Гучкова с таким видом, который как бы выражал: "Этого можно было бы и не говорить..."

* * *

Гучков окончил. Государь ответил. После взволнованных слов А.И. голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой — гвардейский:

— Я принял решение отречься от престола... До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея... Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила... Надеюсь, вы поймете чувства отца...

Последнюю фразу он сказал тише...

* * *

К этому мы не были готовы. Кажется, А.И. пробовал представить некоторые возражения... Кажется, я просил четверть часа — посоветоваться с Гучковым... Но это почему-то не вышло... И мы согласились, если это можно назвать согласием, тут же... Но за это время столько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую...

Во-первых, как мы могли "не согласиться"?.. Мы приехали сказать царю мнение Комитета Государственной думы... Это мнение совпало с решением его собственным... а если бы не совпало? Что мы могли бы сделать? Мы уехали бы обратно, если бы нас отпустили... Ибо мы

ведь не вступили на путь "тайного насилия", которое практиковалось в XVIII веке и в начале XIX...

Решение царя совпало в главном... Но разошлось в частностях... Алексей или Михаил перед основным фактом — отречением — все же была частность... Допустим, на эту частность мы бы "не согласились"... Каков результат? Прибавился бы только один лишний повод к неудовольствию. Государь передал престол "вопреки желанию Государственной думы". И положение нового государя было бы подорвано.

Кроме того, каждый миг был дорог. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых мы достаточно насмотрелись в Петрограде и знали, что это такое, и которые генерал Рузский приказал остановить (но остановят ли?), но еще и вот почему: с каждой минутой революционный сброд в Петрограде становится наглее, и, следовательно, требования его будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию, но надо думать и о том, чтобы спасти хотя бы жизнь членам династии.

Если придется отрекаться и следующему, — то ведь Михаил может отречься от престола...

Но малолетний наследник не может отречься — его отречение недействительно.

И тогда что они сделают, эти вооруженные грузовики, движущиеся по всем дорогам?

Наверное, и в Царское Село летят — проклятые...

И сделались у меня:

"Мальчики кровавые в глазах"...

* * *

А кроме того...

Если что может еще утишить волны, — это если новый государь воцарится, присягнув конституции....

Михаил может присягнуть.

Малолетний Алексей — нет...

* * *

А кроме того...

Если здесь есть юридическая неправильность... Если государь не может отрекаться в пользу брата... Пусть будет неправильность!.. Может быть, этим выиграется время... Некоторое время будет править Михаил, а по-

том, когда все угомонится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу...

* * *

Все это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты... Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий...

* * *

И мы ”согласились”...

* * *

Государь встал... Все поднялись...

Гучков передал государю ”набросок”. Государь взял его и вышел.

* * *

Когда государь вышел, генерал, который сидел в углу и который оказался Юрием Даниловым, подошел к Гучкову. Они были раньше знакомы.

— Не вызовет ли отречение в пользу Михаила Александровича впоследствии крупных осложнений, в виду того что такой порядок не предусмотрен законом о престолонаследии?

Гучков, занятый разговором с бароном Фредериксом, познакомил генерала Данилова со мною, и я ответил на этот вопрос. И тут мне пришло в голову еще одно соображение, говорящее за отречение в пользу Михаила Александровича.

— Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии. Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства. Ибо если на престол взойдет малолетний Алексей, то придется решать очень трудный вопрос: останутся ли родители при нем или им придется разлучиться. В первом случае, т.е. если родители останутся в России, отречение будет в глазах тех, кого оно интересует, как бы фиктивным... В особенности это касается императрицы... Будут говорить, что она так же правит при сыне, как при муже... При том отношении,

какое сейчас к ней, — это привело бы к самым невозможным затруднениям. Если же разлучить малолетнего государя с родителями, то, не говоря о трудности этого дела, это может очень вредно отразиться на нем. На троне будет подрастать юноша, ненавидящий все окружающее, как тюремщиков, отнявших у него отца и мать... При болезненности ребенка это будет чувствоваться особенно остро...

* * *

Барон Фредерикс был очень огорчен, узнав, что его дом в Петрограде горит. Он беспокоился о баронессе, но мы сказали, что баронесса в безопасности...

* * *

Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:

— Вот текст...

Это были две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке.

Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль, и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать... Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают...

"В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной думой признали мы за благо отречься от пре-

стола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие нашему брату, нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены. Во имя горячо любимой родины, призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний помочь ему, вместе с представителями народа, вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет господь бог России.

Николай".

* * *

Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. Государь принес и его и положил на стол.

* * *

К тексту отречения нечего было прибавить... Во всем этом ужасе на мгновение пробился один светлый луч... Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности... Половина шипов, вонзившихся в сердце его подданных, вырывались этим лоскутком бумаги. Так благородны были эти прощальные слова... И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть, гораздо больше, любит Россию...

* * *

Почувствовал ли государь, что мы растроганы, но обращение его с этой минуты стало как-то теплее...

* * *

Но надо было делать дело до конца... Был один пункт, который меня тревожил... Я все думал о том, что, может быть, если Михаил Александрович прямо и до конца объявит "конституционный образ правления", ему легче будет удержаться на троне... Я сказал это госу-

дарю... И просил его в том месте, где сказано: "...с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены...", приписать: "принеся в том всенародную присягу".

Государь сейчас же согласился.

— Вы думаете, это нужно?

И, присев к столу, приписал карандашом: "принеся в том ненарушимую присягу".

Он написал не "всенародную", а "ненарушимую", что, конечно, было стилистически гораздо правильнее.

Это единственное изменение, которое было внесено...

* * *

Затем я просил государя:

— Ваше величество... Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здесь, ибо в эту минуту вы приняли решение...

Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог сказать, что манифест "вырван"... Я видел, что государь меня понял, и, по-видимому, это совершенно совпало с его желанием, потому что он сейчас же согласился и написал: "2 марта, 15 часов", то есть 3 часа дня... Часы показывали в это время начало двенадцатого ночи...

* * *

Потом мы, не помню по чьей инициативе, начали говорить о верховном главнокомандующем и о председателе Совета министров.

Тут память мне изменяет. Я не помню, было ли написано назначение великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим при нас или же нам было сказано, что это уже сделано...

Но я ясно помню, как государь написал при нас указ Правительствующему Сенату о назначении председателя Совета министров...

Это государь писал у другого столика и спросил:

— Кого вы думаете?..

Мы сказали:

— Князя Львова...

Государь сказал как-то особой интонацией, — я не могу этого передать:

— Ах, Львов? Хорошо — Львова...

Он написал и подписал...

Время по моей же просьбе было поставлено для действительности акта двумя часами раньше отречения, т.е. 13 часов.

* * *

Когда государь так легко согласился на назначение Львова, — я думал: "Господи, господи, ну не все ли равно, — вот теперь пришлось это сделать — назначить этого человека "общественного доверия", когда все пропало... Отчего же нельзя это было сделать несколько раньше... Может быть, этого тогда бы и не было"...

* * *

Государь встал... Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там — ближе к выходу... Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказать... И у меня вырвалось:

— Ах, ваше величество... Если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого...

Я недоговорил...

Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще:

— Вы думаете — обошлось бы?

* * *

Обошлось бы? Теперь я этого не думаю... Было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, то есть после нашего великого отступления, может быть, и обошлось бы...

* * *

Государь смотрел на меня, как будто бы ожидая, что я еще что-нибудь скажу. Я спросил:

— Разрешите узнать, ваше величество, ваши личные планы? Ваше величество, поедете в Царское?

Государь ответил:

— Нет... Я хочу сначала проехать в Ставку... проститься... А потом я хотел бы повидать матушку... Поэтому я думаю или проехать в Киев, или просить ее приехать ко мне... А потом — в Царское...

* * *

Теперь, кажется, было уже все сделано. Часы показывали без двадцати минут двенадцать. Государь отпустил нас. Он подал нам руку с тем характерным коротким движением головы, которое ему было свойственно. И было это движение, может быть, даже чуточку теплее, чем то, когда он нас встретил...

* * *

Мы вышли из вагона. На путях, освещенных голубыми фонарями, стояла толпа людей. Они все знали и все понимали... Когда мы вышли, нас окружили, и эти люди наперебой старались пробиться к нам и спрашивали: "Что? Как?" Меня поразило то, что они были такие тихие, шепчущие... Они говорили, как будто в комнате тяжелобольного, умирающего...

Им надо было дать ответ. Ответ дал Гучков. Очень волнуясь, он сказал:

— Русские люди... Обнажите головы, перекреститесь, помолитесь богу... Государь император ради спасения России снял с себя... свое царское служение... Царь подписал отречение от престола. Россия вступает на новый путь... Будем просить бога, чтобы он был милостив к нам...

Толпа снимала шапки и крестилась... И было страшно тихо...

* * *

Мы пошли в вагон генерала Рузского, по путям — сквозь эту расступавшуюся толпу.

Когда мы пришли к генералу Рузскому, через некоторое время, кажется, был подан ужин. Но с этой минуты я уже очень плохо помню, потому что силы мои кончились и сделалась такая жестокая мигрень, что все было как в тумане. Я не помню поэтому, что происходило за этим

ужином, но, очевидно, генерал Рузский рассказывал, как произошли события.

Вот вкратце что произошло до нашего приезда.

28 февраля был отдан приказ двум бригадам, одной, снятой с Северного фронта, другой — с Западного, двинуться на усмирение Петрограда. Генерал-адъютанту Иванову было приказано принять командование над этими частями. Он должен был оставаться в окрестностях Петрограда, но не предпринимать решительных действий до особого распоряжения. Для непосредственного окружения ему были даны два батальона георгиевских кавалеров, составлявших личную охрану государя в Ставке. С Северного фронта двинулись два полка 38-й пехотной дивизии, которые считались лучшими на фронте. Но где-то между Лугой и Гатчиной эти полки взбунтовались и отказались идти на Петроград. Бригада, взятая с Западного фронта, тоже не дошла. Наконец, и два батальона георгиевцев тоже вышли из повиновения.

Первого марта генерал Алексеев запросил телеграммой всех главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти запрашивали у главнокомандующих их мнение о желательности при данных обстоятельствах отречения государя императора от престола в пользу сына. К часу дня второго марта все ответы главнокомандующих были получены и сосредоточились в руках генерала Рузского. Ответы эти были:

1) От великого князя Николая Николаевича — главнокомандующего Кавказским фронтом.

2) От генерала Сахарова — фактического главнокомандующего Румынским фронтом (собственно главнокомандующим был король Румынии, а Сахаров был его начальником штаба).

3) От генерала Брусилова — главнокомандующего Юго-Западным фронтом.

4) От генерала Эверта — главнокомандующего Западным фронтом.

5) От самого Рузского — главнокомандующего Северным фронтом.

Все пять главнокомандующих фронтами и генерал Алексеев (ген. Алексеев был начальником штаба при государе) высказались за отречение государя императора от престола.

В час дня второго марта генерал Рузский, сопровождаемый своим начальником штаба генералом Даниловым и Савичем — генерал-квартирмейстером, был при-

нят государем. Государь принял их в том же самом вагоне, в котором через несколько часов было отречение.

Генерал Рузский доложил государю мнение генерала Алексеева и главнокомандующих фронтами, в том числе свое собственное. Кроме того, генерал Рузский просил еще выслушать генералов Данилова и Савича. Государь приказал Данилову говорить.

Генерал Данилов сказал приблизительно следующее:

— Положение очень трудное... Думаю, что главнокомандующие фронтами правы. Зная ваше императорское величество, я не сомневаюсь, что, если благоугодно будет разделить наше мнение, ваше величество принесете и эту жертву родине...

Савич кратко сказал, что он присоединяется к мнению генерала Данилова.

На это государь ответил очень взволнованно и очень прочувственно, в том смысле, что нет такой жертвы, которой он не принес бы для России.

После этого была составлена краткая телеграмма, извещавшая генерала Алексеева о том, что государь принял решение отречься от престола. Генерал Рузский взял телеграмму и удалился, но несколько медлил с отправкой ее, так как он знал, что Гучков и Шульгин утром выехали из Петрограда: он хотел посоветоваться с ними особенно по вопросу о том, кто станет во главе правительства. Генерал Рузский не доверял Львову и предпочитал Родзянко.

Гучкова и Шульгина ожидали с часу на час.

Но уже в три часа дня от государя пришел кто-то с приказанием вернуть телеграмму. Тогда же генерал Рузский узнал, что государь передумал в том смысле, что отречение должно быть не в пользу Алексея Николаевича, а в пользу Михаила Александровича. После повторного приказания вернуть телеграмму, телеграмма была возвращена и, таким образом, послана не была. День прошел в ожидании Гучкова и Шульгина.

* * *

Все это, должно быть, тогда же рассказал нам генерал Рузский. Во всяком случае, события этого дня можно считать точно установленными в таком виде, как я их изложил. Позднее это подтвердил мне генерал Данилов, который лично был свидетелем вышеизложенного.

* * *

Около часу ночи, а может быть двух, принесли второй экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Рузскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе Временного правительства князю Львову.

Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде ночью же...

* * *

Мы выехали. В вагоне я заснул свинцовым сном. Ранним утром мы были в Петрограде...

Последние дни ”конституции”

(Продолжение)
(3 марта 1917 года)

Не помню, как и почему, когда мы приехали в Петроград, на вокзале какие-то люди, которых уже было много, что-то нам говорили и куда-то нас тащили... И из этой кутерьмы вышло такое решение, что Гучкова куда-то потянули, я уже хорошенько не знаю — куда. А мне выпало на долю объявить о происшедшем ”войскам и народу”. Какие-то люди суетились вокруг меня, торопили и говорили, что войска уже ждут — выстроены в вестибюле вокзала.

Сопровождаемый этой волнующейся группой, я пошел с ними. Они привели меня в то помещение, где продаются билеты, — словом, во входной зал.

Здесь действительно стоял полк, или большой батальон, выстроившись на три стороны — ”покоем”. Четвертую сторону составляла толпа.

Я вошел в это каре, и в ту же минуту раздалась команда. Роты взяли на караул, и стало совершенно тихо...

* * *

Стало так тихо, как, кажется, никогда еще... У меня очень слабый голос... Но я чувствовал, что каждое слово летит над строем и дальше в толпу, и слышно им было все ясно.

Я читал им "отречение"...

* * *

Слова падали... И сами по себе они были — как это сказать? — вековым волнением волнующие... А тут — в этой обстановке... Перед строем, замершим в торжественном жесте, перед этой толпой, испуганной, благоговейно затихшей, они звучали неповторяемо... И я чувствовал, что слова падают во что-то горячее, что могло быть только человеческим сердцем...

* * *

...Да поможет господь бог России.

* * *

Я поднял глаза от бумаги. И увидел, как дрогнули штыки, как будто ветер дохнул по колосьям... Прямо против меня молодой солдат плакал. Слезы двумя струйками бежали по румяным щекам...

Тогда я стал говорить... Хорошо ли, плохо, — не знаю... Это кто-то другой говорил — кто больше, сильней, горячее меня...

— Вы слышали слова государя?.. Последние слова... императора Николая II? Он подал нам всем пример... нам всем — русским... как нужно... уметь забывать... себя для России. Сумеем ли мы так поступить? Мы... люди разные... разных званий, состояний... занятий... офицеры и солдаты... дворяне и крестьяне... Инженеры и рабочие... Богатые и бедные... Сумеем ли мы все забыть для того, что у нас у всех есть единое... общее?... А что у нас — общее? Вы все это знаете... это общее — родина... Россия... Ее надо спасать... О ней думать... Идет война... Враг стоит на фронте... Враг неумолимый, который раздавит

нас... раздавит, если не будем все вместе... Если не будем едины... Как быть едиными?.. Только один путь... Всем собраться вокруг... нового царя... Всем оказать ему повиновение... Он поведет нас... Государю императору... Михаилу... Второму... провозглашаю — "ура!"

И оно взмыло — горячее, искреннее, растроганное...

И под эти крики я пошел прямо перед собой, прошел через строй, который распался, и через толпу, которая расступилась, пошел, не зная куда...

* * *

И показалось мне на одно короткое мгновение, что монархия спасена...

* * *

Я очнулся в каком-то коридоре вокзала... Кто-то из железнодорожных служащих твердил мне что-то, и наконец я понял, что Милюков уже много раз добивается меня по телефону...

* * *

Я услышал голос, который я с трудом узнал, до такой степени он был хриплый и надорванный...

— Да, это я, Милюков... Не объявляйте манифеста... Произошли серьезные изменения...

— Но как же?.. Я уже объявил...

— Кому?

— Да всем, кто здесь есть... какому-то полку, народу... Я провозгласил императором Михаила...

— Этого не надо было делать... Настроение сильно ухудшилось с того времени, как вы уехали... Нам передали текст... этот текст совершенно не удовлетворяет... совершенно... необходимо упоминание об Учредительном Собрании... Не делайте никаких дальнейших шагов, могут быть большие несчастия...

— Единственное, что я могу сделать, — это отыскать Гучкова и предупредить его... Он тоже где-то, очевидно, объявляет...

— Да, да... Найдите его и немедленно приезжайте оба на Миллионную, 12. В квартиру князя Путятина...

— Зачем?

— Там великий князь Михаил Александрович... и все мы едем туда... пожалуйста, поспешите...

* * *

Я спросил кого-то из тех, кто меня почему-то окружил:

— Где Гучков?

— Александр Иваныч в железнодорожных мастерских на митинге рабочих, — ответили голоса.

На митинге рабочих... Значит, мне надо сейчас пробраться туда к нему и вытащить его оттуда... Но как же быть с текстом отречения?.. Вот я его чувствую под рукой в боковом кармане... И с таким документом на митинг к рабочим?.. Войти-то войдешь, — но выйдешь ли?.. Могут отнять, уничтожить... И бог его знает, что еще может быть...

Как быть? Вокруг меня, ни на секунду не оставляя, была толпа людей, следившая за каждым моим движением... Но ни одного — не то что верного, но просто знакомого лица... Кому передать документ? В это время меня опять позвали к телефону.

— Это я, Бубликов... Я, знаете, на всякий случай послал человека вам... один инженер... совершенно верный... он найдет вас на вокзале... скажет, что от меня... Можете ему все доверить... Понимаете?

— Понимаю.

* * *

Через несколько минут из толпы, меня окружавшей, какой-то господин протискался, сказав, что он от Бубликова... Я сказал ему:

— Вас никто не знает... За вами не будут следить... Идите пешком совершенно спокойно... и донесите... Понимаете?

— Понимаю.

Я незаметно передал ему конверт. Он исчез...

Теперь я мог идти на митинг...

* * *

Я насилу втиснулся...

Это была огромная мастерская с железно-стеклянным потолком. Густая толпа рабочих стояла стеной, а

там вдали, в глубине, был высокий эшафот, то есть не эшафот, а помост, на котором стоял Гучков и еще какие-то люди...

Я стал пробиваться сквозь толпу, заявляя, что у меня ”срочное поручение”. С трудом я пробился к подножию ”эшафота”. На помост вела приставная лестница... Я вскарабкался по этой лестнице после целого ряда ссор и объяснений, что у меня ”срочное поручение”. Когда я вскарабкался, председатель этого собрания, рабочий, который стоял рядом с Гучковым, говорил речь такого содержания:

— Вот, к примеру, они образовали правительство... кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь?.. Так сказать, от того народа, кто свободу себе добывал? Как бы не так... Вот читайте... князь Львов... Князь...

По толпе пошел рокот... Председатель продолжал:

— Ну, да, князь Львов... Князь... Так вот для чего мы, товарищи, революцию делали... От этих самых князей и графов все и терпели... Вот освободились — и на тебе... Князь Львов...

Толпа забурлила... Он продолжал:

— Дальше... Например, товарищи, кто у нас будет министром финансов?.. Как бы вы думали? Может быть, кто-нибудь из тех, кто на своей шкуре испытал... как бедному народу живется... и что такое есть финансы... так вот, что я вам скажу... Теперь министром финансов будет у нас господин Терещенко... Кто такой господин Терещенко? Я вам скажу, товарищи... Сахарных заводов штук десять... Земли — десятин тысяч сто... Да деньжонками — миллионов тридцать наберется...

Толпа заволновалась...

Я добрался до Александра Ивановича и тихонько передал ему свой разговор с Милюковым.

— Нам надо уходить отсюда...

— Да, но это не так просто... Они меня пригласили, — я должен им сказать...

— Я попробую добиться от этого председателя, чтобы он дал мне слово вне очереди и заявлю, что у нас очень срочное дело...

В это время председатель уже окончил свою речь под оглушительные рукоплескания... И передал слово кому-то другому, такому же, как и он...

Я пристал к нему, объясняя, что мне надо. Он нетерпеливо от меня отбояривался и твердил: ”Подождите”.

В это время другой оратор распространялся:

— Я тоже скажу, товарищи!.. Вот они поехали... Привезли... Кто их знает, что они привезли... Может быть, такое, что совсем для революционной демократии — неподходящее... Кто их просил?.. От кого поехали? От народа?.. От Совета Солдатских и Рабочих Депутатов? Нет... От Государственной думы... А кто такие — Государственная дума? Помещики... Я бы так советовал, товарищи, что и не следовало бы, может быть, Александра Ивановича даже отсюда и выпустить... Вот бы вы там, товарищи, двери и поприкрыли бы...

Толпа задвигалась, затрепетала и стала кричать:

— Закрыть двери...

Двери закрылись... Это становилось совсем неприятным.

В это время председатель сказал тихонько Гучкову, стоявшему с ним рядом:

— Александр Иванович... А вы очень оскорбитесь... если мы документик-то у вас — того...

Гучков ответил:

— Очень оскорблюсь и этого не позволю... А вы вот дайте мне слово.

А я подумал: "Опоздали, голубчики... Документик-то — "того", отослан, куда надо..."

В это время неожиданно нам протянули руку помощи. Какой-то человек, по виду рабочий, но с интеллигентным лицом, должно быть, инженер, стал говорить:

— Вот вы кричите: "Закрыть двери!", товарищи... А я вам скажу — неправильно вы поступаете... потому что вот смотрите, как с ними — вот с Александром Ивановичем — старый режим поступил... Они как к нему поехали? С оружием? Со штыками? Нет... Вот как стоят теперь перед вами, — так и поехали — в пиджачках-с... И старый режим их уважил... Что с ними мог сделать старый режим? Арестовать. Расстрелять... Вот — они приехали. В самую пасть. Но старый режим, обращая внимание... как приехали, ничего им не сделал — отпустил... И вот они — здесь... Мы же сами их пригласили... Они доверились — и пришли к нам... А за это, за то, что они нам поверили... и пришли так, как к старому режиму вчера ездили, за это — вы — что?.. "Двери на запор"? Угрожаете?.. Так я вам скажу, товарищи, что вы хуже старого режима...

* * *

Ах — толпа... В особенности — русская толпа... Подлые и благородные порывы ей одинаково доступны и приходят мгновенно друг другу на смену...

* * *

Слова инженера родили обратную волну. Закричали там и здесь:

— Верно, верно говорит. Что там... Открыть двери!

Но двери некоторое время сопротивлялись.

Тогда взвыли сотни голосов — уже грозных:

— Открыть двери!!!

Двери открылись.

Стал говорить Гучков. Я не помню что — какие-то успокаивающие слова. Во время его речи мне удалось добиться от председателя обещания дать мне слово вне очереди. Он наконец понял, почему это нужно, и когда Гучков кончил, дал мне слово. Я сказал им:

— Вот мы тут рассуждаем о том, о другом: хорош ли князь Львов и сколько миллионов у Терещенко. Может быть — рано. Я прислан сюда со срочным поручением: сейчас в Государственной думе между Комитетом Думы и Советом Рабочих Депутатов идет важнейшее совещание. На этом совещании все решится. Может быть, так решится, что всем понравится. Так, может быть, и это все, что здесь говорится, — зря говорится... Во всяком случае, нам с Александром Ивановичем надо немедленно ехать.

— Ну и езжайте... Кто вас держит?

Как раз было время. Мы слезли с Гучковым с эшафота по приставной лестнице и стали пробиваться к выходу. Толпа расступилась скорее дружелюбно, как бы заглаживая, что хотела "закрыть двери".

Мы вышли на залитый солнцем и морозом день. Когда мы прошли несколько шагов, к нам бросилось несколько офицеров:

— Ну, слава богу...

Они были мне незнакомы. Но один из них прошептал мне на ухо:

— Нам сказали, что вас арестовали, там, в мастерских... Так вот мы приготовились...

Он показал рукой. На некотором расстоянии обра-

щенный лицом к дверям мастерских притаился приземистый, зеленый, толстоватый, бесхвостый ящер на колесиках, — то есть пулемет...

* * *

Эти офицеры, должно быть, были саперы. Это потому я так подумал, что Гучкова сейчас же окружили и просили зайти "на минутку" в саперные казармы, которые "тут же". А.И. пошел.

Он быстро вернулся. В это время откуда-то появился приземистый человек — весь в коже, но не черный, а желтый, как будто бы интеллигентный рабочий. У него висел револьвер на поясе. Кто он был, я не знаю, но, словом, он объявил, что автомобиль подан. Мы пошли, неизменно сопровождаемые откуда-то берущейся толпой. Пошли через вокзал на площадь... На площади перед вокзалом была масса народу... У ступеней перрона стоял автомобиль под огромным красным флагом. Из окон торчали штыки. Кроме того, два солдата лежали на двух крыльях автомобиля, на животе, штыками вперед.

Мы полезли в автомобиль. Человек в желтой коже тоже втиснулся. Он сел против меня, вынул револьвер и сказал шоферу, чтобы ехал. Машина взяла ход, тогда он спросил:

— Куда ехать?

Я ответил:

— На Миллионную, 12.

Он сказал шоферу и прибавил как бы в объяснение:

— Чтобы там не слышали... куда едем...

Я понял, что он наш... Я его больше никогда не видел. Он чего-то боялся. По-видимому, боялся, не преследует ли нас какая-нибудь машина.

* * *

Мы неслись бешено. День был морозный, солнечный... Город был совсем странный — сумасшедший, хотя и тихим помешательством... пока.

Трамваи стали, экипажей, извозчиков не было совсем... Изредка неистово проносились грузовики с ощетиненными штыками. Куда? Зачем? С одним из них мы имели "объяснение"... Он отстал после ругани нашего "желтокожего".

Все магазины закрыты... Но самое странное то, что

никто не ходит по тротуарам. Все почему-то выбрались на мостовую. И ходят толпами. Главным образом — толпы солдат. С винтовками за плечами, не в строю, без офицеров — ходят толпами без смысла... На лицах не то радостное, не то растерянное недоумение... Чего они хотят? Ничего... Они сами не знают... Празднуют "слободу"... И "что, значит, на фронт уже, товарищи, не пойдем"... Вот это в их глазах твердо написано.

И вот это — ужас... Стотысячный гарнизон — на улицах. Без офицеров. Толпами... Значит — конец... Значит — дисциплина окончательно потеряна... Армии — нет... Опереться не на что...

* * *

Машина резала эту бессмысленную толпу... Для чего-то мы крутили по каким-то улицам... Это, должно быть, знал "желтокожий". Два "архангела" лежали на брюхах, на крыльях автомобиля, и их выдвинутые вперед штыки пронзали воздух... Мне все казалось, что они кому-то выколют глаза. На одном углу я заметил единственный открытый магазин: продавали... цветы!.. Как глупо...

* * *

Вот Миллионная... Вот знакомый дом с колоннами... И тут бродит какая-то солдатня. Автомобиль останавливается где-то, не доезжая... Не хотят "обращать внимания".

Мы идем несколько шагов пешком. Вот двенадцатый номер. Вошли. Внутри — два часовых... Значит, есть какая-то охрана.

Поднялись... квартира Путятина... В передней ходынка платья. И несколько шепчущихся. Спрашиваю:

— Кто здесь?

— Здесь все члены правительства.

— Когда образовалось правительство?

— Вчера...

— Еще кто?

— Все члены Комитета Государственной думы... Идите — ждали вас...

— Великий князь здесь?

— Да...

Посредине между ними в большом кресле сидел офицер — моложавый, с длинным худым лицом... Это был великий князь Михаил Александрович, которого я никогда раньше не видел. Вправо и влево от него на диванах и креслах — полукругом, как два крыла только что провозглашенного мною монарха, были все, кто должны были быть его окружением: вправо — Родзянко, Милюков и другие, влево — князь Львов, Керенский, Некрасов и другие... Эти другие были: Ефремов, Ржевский, Бубликов, Шидловский, Владимир Львов, Терещенко, кто еще, не помню.

Гучков и я сидели напротив, потому что пришли последними...

* * *

Это было вроде как заседание... Великий князь как бы давал слово, обращаясь то к тому, то к другому:

— Вы, кажется, хотели сказать?

Тот, к кому он обращался, — говорил.

* * *

Говорили о том: следует ли великому князю принять престол или нет...

Я не помню всех речей. Но я помню, что только двое высказались за принятие престола... Эти двое были: Милюков и Гучков...

* * *

Направо от великого князя стоял диван, на котором ближе к великому князю сидел Родзянко, а за ним Милюков.

Пять суток нечеловеческого напряжения сказались... Ведь и Наполеон выдерживал только четыре... И железный Милюков, прячась за огромным Родзянко, засыпал сидя... Вздрагивал, открывал глаза и опять засыпал...

— Вы, кажется, хотели сказать?..

Это великий князь к нему обратился.

Милюков встрепенулся и стал говорить.

Эта речь его, если можно назвать речью, была потрясающая...

* * *

Головой — белый как лунь, сизый лицом (от бессонницы), совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах, он не говорил, а каркал хрипло...

— Если вы откажетесь... Ваше высочество... будет гибель. Потому что Россия... Россия теряет... свою ось... Монарх... это — ось... Единственная ось страны... Масса, русская масса, вокруг чего... вокруг чего она соберется? Если вы откажетесь... будет анархия... хаос... кровавое месиво... Монарх — это единственный центр... Единственное, что все знают... Единственное общее... Единственное понятие о власти... пока... в России... Если вы откажетесь... будет ужас... полная неизвестность... ужасная неизвестность... потому что... не будет... не будет присяги... а присяга — это ответ... единственный ответ... единственный ответ, который может дать народ... нам всем... на то, что случилось... Это его — санкция... его одобрение... его согласие... без которого... нельзя... ничего... без которого не будет... государства... России... ничего не будет...

* * *

Белый как лунь, он каркал, как ворон... Он каркал мудрые, вещие слова... самые большие слова его жизни...

И все же...

И все же он оставался тем, чем он был... Милюковым...

* * *

Великий князь слушал его, чуть наклонив голову... Тонкий, с длинным, почти еще юношеским лицом, он весь был олицетворением хрупкости...

Этому человеку говорил Милюков свои вещие слова. Ему он предлагал совершить подвиг силы беспримерной...

* * *

Что значит совет принять престол в эту минуту?

Я только что прорезал Петербург. Стотысячный гар-

низон был на улицах. Солдаты с винтовками, но без офицеров, шлялись по улицам, беспорядочными толпами...

А за этой штыковой стихией — кто? — Совет Рабочих Депутатов и "германский штаб — злейшие враги": социалисты и немцы.

Совет принять престол обозначал в эту минуту:

— На коня! На площадь!

Принять престол сейчас — значило во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами.

* * *

Терещенко делал мне какие-то знаки. Я понял, что он просит меня выскользнуть в соседнюю комнату на минуту.

Я сделал это.

— Что такое?

— Василий Витальевич! Я больше не могу... Я застрелюсь... Что делать, что делать?..

* * *

— Да, что делать... С ума можно сойти.

* * *

— Бросьте... Успеете... Скажите, есть ли какие-нибудь части... на которые можно положиться?..

— Нет... ни одной...

— А вот внизу я видел часовых...

— Это несколько человек... Керенский дрожит... Он боится... каждую минуту могут сюда ворваться... Он боится, чтобы не убили великого князя... Какие-то банды бродят... боже мой!..

* * *

Мы вернулись...

Керенский говорил:

— Ваше высочество... Мои убеждения — республиканские. Я против монархии... Но я сейчас не хочу, не буду... Разрешите нам сказать совсем иначе... Разрешите вам сказать... как русский... — русскому... Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спа-

сете России... Наоборот... Я знаю настроение массы... рабочих и солдат... Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии... Именно этот вопрос будет причиной кровавого развала... И это в то время... когда России нужно полное единство... Пред лицом внешнего врага... начнется гражданская, внутренняя война... И поэтому я обращаюсь к вашему высочеству... как русский к русскому. Умоляю вас во имя России принести эту жертву!.. Если это жертва... Потому что с другой стороны... я не вправе скрыть здесь, каким опасностям вы лично подвергаетесь в случае решения принять престол... Во всяком случае... я не ручаюсь за жизнь вашего высочества.

Он сделал трагический жест и резко отодвинул свое кресло.

* * *

Много лет тому назад, 14 декабря 1825 года, были, как и теперь, — Николай и Михаил...

Николай был государь. Михаил — его брат...

Как и теперь...

Как и теперь, разразился военный бунт...

Бунт декабристов...

Что сделал Николай?

Николай сказал:

— Завтра я или мертв, или император...

Завтра он вскочил на коня, бросился на площадь и картечью усмирил бунт...

Что сделал Михаил?

Он последовал за старшим братом...

Как и теперь...

Да, как и теперь, потому что и теперь Михаил пошел за братом Николаем...

* * *

За принятие престола говорил еще Гучков.

* * *

Я, кажется, говорил последним. Я сказал:

— Обращаю внимание вашего высочества на то, что те, кто должны были быть вашей опорой в случае принятия престола, то есть почти все члены нового прави-

тельства, этой опоры вам не оказали... Можно ли опереться на других? Если нет, то у меня не хватит мужества при этих условиях советовать вашему высочеству принять престол...

* * *

Великий князь встал... Тут стало еще виднее, какой он высокий, тонкий и хрупкий... Все поднялись.

— Я хочу подумать полчаса...

Подскочил Керенский.

— Ваше высочество, мы просим вас... чтобы вы приняли решение наедине с вашей совестью... не выслушивая кого-либо из нас... отдельно...

Великий князь кивнул ему головой и вышел в соседнюю комнату...

Образовались группы... Я был у окна. Подошел Милюков и что-то стал мне говорить.

Вдруг Керенский с трагическим жестом схватил меня за руку.

— Я не позволю... мы условились... Никаких сепаратных разговоров. Все сообща.

Глаза у него сверкали. Лицо — повелительное...

Я немного рассердился:

Александр Федорович! Нельзя ли другим тоном?..

Он вдруг деформировался совершенно... Лицо стало ласковое, умоляющее...

— Ну, дорогой мой, ну, золотой, ну, серебряный, ну, не расстраивайте!.. ну, не расстраивайте же!..

И побежал к другим...

Он был, должно быть, не ”в себе”... Мы пожали плечами и продолжали разговор.

* * *

Великий князь позвал к себе Родзянко. Против этого почему-то Керенский не протестовал. Родзянко пошел.

* * *

Кто-то подошел ко мне и сказал:

— Не грустите... существует легенда: будет царствовать Михаил и при нем буд...

* * *

Великий князь вышел... Это было около двенадцати часов дня... Мы поняли, что настала минута.

Он дошел до середины комнаты.

Мы столпились вокруг него.

Он сказал:

— При этих условиях я не могу принять престола, потому что...

Он не договорил, потому что... потому что заплакал...

* * *

Керенский рванулся:

— Ваше императорское высочество... Я принадлежу к партии, которая запрещает мне... соприкосновение с лицами императорской крови... Но я берусь... и буду это утверждать... перед всеми... да, перед всеми... что я... глубоко уважаю... великого князя Михаила Александровича...

* * *

Он сорвался и, наскоро одевшись, умчался... Кто-то объяснил мне, что он все время дрожал, что ворвутся... что напряжение очень сильно...

* * *

Великий князь ушел к себе. Стали говорить о том, как написать отречение.

* * *

Некрасов показал мне набросок, им составленный. Он был очень плох. Кажется, поручили Некрасову, Керенскому и мне его улучшить. Милюков объяснил мне, что накануне Комитет Государственной думы признал необходимым под давлением слева в той или иной форме упомянуть об Учредительном Собрании.

* * *

Княгиня Путятина попросила всех завтракать.

Узкую часть стола занимала сама хозяйка. По правую ее руку — великий князь. По левую — посадили меня. Рядом с великим князем был, кажется, князь Львов. Рядом со мной, кажется, Некрасов или Терещенко. Напротив княгини — Керенский. Остальных не помню.

За завтраком великий князь спросил меня:

— Как держал себя мой брат?

Я ответил:

— Его величество был совершенно спокоен... Удивительно спокоен...

Затем я рассказал все, как было...

* * *

После завтрака мы, то есть те, кто должен был редактировать акт, перешли в другую комнату. Это была детская. Стояли кроватки, игрушки и маленькие парты...

На этих школьных партах и писалось...

Скоро вызвали Набокова и Нольде.

Они, собственно, и обработали более или менее записку Некрасова, потому что Некрасов и Керенский то уходили, то приходили.

Керенский все торопил, утверждая, что положение очень трудное.

Однако он же и затевал споры.

Особенно долго спорили о том, кто поставил Временное правительство: Государственная ли дума или ”воля народа”? Керенский потребовал от имени Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, чтобы была включена воля народа. Ему указывали, что это неверно, потому что правительство образовалось по почину Комитета Государственной думы.

Я при этом удобном случае заявил, что князь Львов назначен государем императором Николаем II, приказом Правительствующему Сенату, помеченным двумя часами раньше отречения. Мне объяснили, что они это знают, но что это надо тщательнейшим образом скрывать, чтобы не подорвать положение князя Львова, которого левые и так еле-еле выносят.

Наконец примирились на том, что было ”волею наро-

да, по почину Государственной думы", но в окончательном тексте "воля народа" куда-то исчезла. Как это случилось, не помню.

* * *

Наконец составили и передали великому князю. В это время в детской оставались Набоков, Нольде и я. Через некоторое время секретарь великого князя, не помню его фамилии, высокий, плотный блондин, молодой, в земгусарской форме, принес текст обратно. Он передал, что великий князь всюду просит употреблять от его лица местоимение "я", а не "мы" (у нас всюду было "мы"), потому что великий князь считает, что он престола не принял, императором не был, а потому не должен говорить — "мы". Во-вторых, по этой же причине, вместо слова"повелеваем", как мы написали, — употребить слово "прошу". И наконец, великий князь обратил внимание на то, что нигде в тексте нет слова "бог", а таких актов без упоминания имени божия не бывает.

Все эти указания были выполнены, и текст переделан. Снова передали великому князю, и на этот раз он его одобрил.

Набоков сел на детскую парту переписывать набело.

* * *

"*Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных. Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Посему, призывая благословение божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное возможно в кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное Собра-*

ние своим решением об образе правления выразит волю народа".

* * *

За это время все разъехались. Великий князь несколько раз говорил со мной. Говорил, так сказать, попросту. Хотя он не знал меня раньше, но, видимо, инстинктивно чувствовал, что мне династия дорога не только разумом, но и чувством. Великий князь, кроме того, внушал мне личную симпатию. Он был хрупкий, нежный, рожденный не для таких ужасных минут, но он был искренний и человечный. На нем совсем не было маски. И мне думалось:

"Каким хорошим конституционным монархом он был бы..."

Увы... Там, в соседней комнате, писали отречение династии.

* * *

Великий князь так и понимал. Он сказал мне:

— Мне очень тяжело... Меня мучает, что я не мог посоветоваться со своими. Ведь брат отрекся за себя... А я, выходит так, отрекаюсь за всех...

* * *

Это было часов около четырех дня — у окна в той комнате, где много ковров и мягких кресел...

* * *

К сожалению, от меня совершенно ускользает самая минута подписания отречения... Я не помню, как это было. Помню только почему-то, что Набоков взял себе на память перо, которым подписал Михаил Александрович. И помню, что появившийся к этому времени Керенский умчался стремглав в типографию (кто-то еще раз сказал, что могут каждую минуту "ворваться").

Через полчаса по всему городу клеили плакаты:

"Николай отрекся в пользу Михаила. Михаил отрекся в пользу народа".

Я вспоминаю опять все ясно с той минуты, когда я шел домой через Троицкий мост.

Я пять суток не был дома.

За это время...

За это время я присутствовал при отречении двух государей... Когда, пять дней тому назад, я шел через этот же мост, — Россия была империей... Теперь что она?

* * *

И не республика и не монархия... Государственное образование без названия.

Впрочем...

* * *

Впрочем, разве уже не одиннадцать с лишним лет мы "без названия"?

"Empire constitutionelle sous un Tsar autocrate".

"Конституционная Империя под Самодержавным Царем".

Так назвал Россию международный альманах Гота с 1906 г.

"Scheinkonstitutionalismus",* — говорили немцы...

"Никакой закон не может восприять силы без одобрения Государственной думы", — говорили Основные Законы.

"Самодержавие мое остается при мне, как и встарь", — говорил создавший этот строй государь.

* * *

Последний государь...

Вот она — "Русская Конституция"... Началась еврейским погромом и кончилась разгромом династии.

* * *

Я оперся на парапет. Закат вычертил за Петропавловской кровавые плакаты... Я вспомнил...

* * *

Я вспомнил, как в 1905 году, после Манифеста 17

---

* Мнимый конституционализм *(нем.)*.

октября, за то, что не было в нем равноправия, жиды сбросили царскую корону.

И как жалобно зазвенел трехсотлетний металл, ударившись о грязную мостовую.

И как десятки, сотни, миллионы русских вдруг почувствовали смертельную обиду и страх, бросились, подняли царскую корону и коленопреклоненно вернули ее царю:

Царствуй на страх врагам...
Царствуй на славу нам...

* * *

И царь царствовал...

* * *

Увы...

Прошло одиннадцать лет...

И вот уж не "жидовскими происками" стала вновь падать корона.

Государственная дума бросилась подхватить ее из ослабевших рук императора Николая...

И поднесла Михаилу...

Но Михаил не мог принять ее из рук Государственной думы... Ибо и Дума была уже — ничто...

И корона покатилась...

* * *

Жалобно звонит она и о гранит мостовых.

Но на этот раз никого не будит этот звон.

Народ не бежит взволнованный и ужасный, как тогда...

И казаки на зов Палия
Не налетят со всех сторон...

* * *

И пройдут месяцы, может быть, годы, вернее — долгие годы...

Пока...

Пока зазвучит набат.

* * *

Какой это будет год?

* * *

Петропавловский собор резал небо острой иглой. Зарево было кроваво...

* * *

Да поможет господь бог России...

1920

ПРЕДИСЛОВИЕ

Воспоминания Шульгина "20-й год" во многом отличаются от его воспоминаний "Дни". Прежде всего, в "Днях" превалировали крупные политические моменты. Сам Шульгин в дореволюционной России играл если не крупную, то, во всяком случае, шумную политическую роль. Революционные бури сбросили Шульгина с его привычной трибуны в Государственной думе, вырвали у него из рук и уничтожили редакцию "Киевлянина". Сами социальные группировки, вступившие в смертельную схватку в годы гражданской войны, далеко отбросили от себя крайне правого националиста и монархиста Шульгина. В годы гражданской войны сталкивались и боролись, с одной стороны, защищавшие советскую власть, строящие новый мир пролетариат и крестьянство, с другой стороны — стремящиеся к реставрации дореволюционных порядков — буржуазия и дворянство. Если в социальной своей программе буржуазия и дворянство стремились к полной реставрации дореволюционных отношений, то в политической области вопрос о монархии и самодержавии не являлся боевым и насущным в тот момент ни для одного из руководителей контрреволюционного лагеря. Новые организации, новые группировки, создавшиеся и руководившие вооруженной борьбой буржуазии и дворянства в Советской России, оставили в стороне Шульгина, предоставляя ему роль публициста и барда белого движения, но не предоставляя ему роли ни руководителя, ни организатора. Это новое положение Шульгина в период гражданской войны наложило печать на содержание его воспоминаний. От активной роли Шульгин не отказался. В годы гражданской войны, не играя руководящей роли, он все же играл чрезвычайно активную роль, принимая посильное участие и пером и оружием в борьбе белогвардейцев всех рангов и калиб-

ров с Советской Россией. Эта активность дала Шульгину большой круг наблюдений, массу фактов и впечатлений. Его воспоминания "20-й год" как раз и интересны тем, что они характеризуют быт белогвардейских организаций. Шульгин в них описывает быт занятой белыми Одессы перед ее занятием Красной Армией; подробно описывает он быт белогвардейцев в советском подполье, свою жизнь в той же самой Одессе, описывает переход из Одессы в Крым, к Врангелю и обратно, и т.д. Словом, "20-й год" Шульгина в центральной своей части основной массой своих показаний захватывает, затрагивает и описывает жизнь активного рядового белогвардейского стана. Он описывает жизнь и в момент боя, непосредственно после боя и в момент работы в подполье. Этот колоссальный размах бытовых наблюдений приводил Шульгина к определенным построениям и выводам. "20-й год" написан Шульгиным после совершения событий; на нем отразились, в нем сформулированы не только те настроения, которые переживались Шульгиным в момент совершения событий, но в "20-м годе" несомненно отразились и те настроения, которые владели Шульгиным тогда, когда после краха белого движения, после потери сына, он подытожил результаты того движения, певцом и бардом которого он состоял долгие годы в дореволюционной России. В деятельности белых в 1920 году Шульгин увидел на практике тот национализм, тот монархизм, всю ту третьеиюньскую Россию, которой он с огромным энтузиазмом и пафосом служил все дореволюционные годы. В своих воспоминаниях "20-й год" Шульгин описывает не только быт белых, но он дает и характеристику тех "красных", с которыми ему приходилось сталкиваться, дает характеристику советского режима, при котором ему приходилось жить в подполье. Очень небольшое количество мест в записках Шульгина содержит не только бытовой материал, но проливает свет и на политические комбинации и столкновения этого периода.

Описывая белых, сочувствуя белым и белой идее, Шульгин все же приходил к печальным для белого движения выводам. В описании белого движения в книге Шульгина можно выделить два крупных момента: это характеристика действий белых и отступление их из Одессы и те столкновения с белыми организациями, те впечатления от них, которые Шульгин получил во время поездок своих из Одессы в Крым и обратно, и от тех и от

других фактов впечатления и выводы Шульгина, в сущности говоря, одинаковы. Они совершенно безрадостны, они знаменуют собою полный крах, полное падение и уничтожение белого движения. Приводя массу фактов и описания того, как действуют, в какой обстановке живут участники белого движения, Шульгин констатирует полный организационный распад белого движения и полный его идеологический крах. По свидетельству Шульгина, белое движение организационно все время расслаивается и распадается, в нем нет связи, нет руководящего центра, нет охватывающей, объединяющей людские фаланги определенной идеологии, определенной идеи, определенной формы существования того класса, из которого рекрутируются кадры белого движения. Идеологически пустое, вырождающееся, объединенное только лишь ненавистью по отношению к большевикам, белое движение не имеет, по свидетельству Шульгина, своей собственной программы. Участники его идеологически не связаны одной целью, одними стремлениями. Все их помыслы сводятся лишь к реставрации потерянного положения, а это в процессе борьбы обрекает белых на борьбу не столько с большевиками, сколько со всем окружающим морем рабоче-крестьянского населения. Идейная пустота, отсутствие программы, борьба со всем окружающим миром за восстановление потерянных позиций, отсутствие связи и отсутствие организационной формы существования приводят белое движение в том его виде, как его описывает Шульгин, к вскрытию и проявлению чисто зоологических зверских требований, выражающих классовые требования потерявших свои места дворянства и буржуазии. Крестьянство и рабочие против них; белое движение окружено врагами со всех сторон.

Отсюда не попытка привлечь к себе, не попытка расширить свои социальные позиции, а лишь попытка удержаться, удержаться среди враждебного многомиллионного моря. Это приводит к организационному распаду, это приводит к сепаратным воздействиям на окружающий мир в виде грабежей, самосудов, убийств из-за угла отдельными кучками и т.д. и т.п. Отсутствие единства, отсутствие внутренней связности не дает белому движению создать даже единую форму военных выступлений, и Шульгин обрисовывает великолепными, чрезвычайно сочными штрихами так называемую отрядоманию, в которой выступает и преосвященный митрополит Платон, и Союз Возрождения, и немцы-колонисты. Все эти орга-

низации одинаково стремятся к борьбе с большевиками, но все они одинаково в тот момент, когда Красная Армия выступает на сцену, бесследно исчезают. Характерной чертой этих организаций является именно их множество, их огромное количество, свидетельствующее прежде всего о распаде движения организационно и об отсутствии идеологической связности, идеологической цельности движения. Одна мысль о восстановлении потерянного привилегированного положения, мысль, которая владеет потерявшими свои имения дворянами, гвардейскими офицерами и дамами "смольного" воспитания, не может связать движение, не может привести к движению миллионные массы крестьян и рабочих. Эти черты вырождения белого движения Шульгин отмечает всюду, где он с ним сталкивается. Вырождалась и разваливалась белая Одесса в конце 1919 года. Те же черты вырождения видит Шульгин и в отрядах Врангеля, и в моряках врангельского флота, и в самом Крыму. Но если в своих воспоминаниях Шульгин отмечает признаки вырождения белого движения, то, во всяком случае, он отмечает это без особой охоты и, скорее, даже против воли. Он пытается в то же самое время отметить и оттенить личные подвиги: доблесть, стойкость, мужество и преданность долгу отдельных участников белогвардейского движения. Шульгин всей душой сочувствует этому движению. Ведь он сам один из созидателей отряда; в белом движении принимает участие вся его семья, но все это лишь подчеркивает общий фон белого движения и лишь резче выявляет и выясняет его классовую сущность.

На фоне общего развала, организационного распада, идейного краха, грабежей и насилия немногие сохранившие человеческий облик представители белого движения являются лишь лишним доказательством того, что социальная сущность белого движения как раз и заключается не в них, а в том общем фоне организационного распада и идеологического краха, которыми характеризуется классовый лик российской буржуазии и дворянства. Но если Шульгин не находит при всем своем желании ничего светлого, ничего цельного в белогвардейском движении, то, сам того не желая, отмечает более высокие черты в том движении, с которым он с огромной энергией и настойчивостью ведет борьбу. Красным Шульгин не сочувствует, красным Шульгин враждебен. Изображая быт красной Одессы, Одессы при советской власти, Шульгин старается дать ряд фактов, желая подчеркнуть

глупость, ненужность, ходульность советского быта и советских выступлений. Он их не понимает, но в то же самое время двумя-тремя случайно брошенными черточками отмечает высокую идейную спайку, высокую идейность коммунистов. Изображая Красную Армию, Шульгин отмечает, против своей воли, ее организационную связанность, ее идейную спайку, ее высокую дисциплину, авторитет в глазах красноармейских масс ее руководителей и начальников. Изображая дивизию Котовского, партизанскую дивизию, Шульгин отмечает, как относятся, как уважают красноармейцы Котовского, как строго проводятся в жизнь его приказы, как дисциплинированна сама Красная Армия. Это изображение быта и нравов белых, изображение всего облика белых, какое дает им Шульгин, и изображение случайно забредших в воспоминания Шульгина отдельных черточек, рисующих быт красных, на которых сам Шульгин не остановился, рисуют два противоположных друг другу мира, два совершенно разных социальных уклада. Они рисуют, с одной стороны, мир падающий, разлагающийся, мир, не имеющий никакой программы, мир, ничем не связанный, мир, дышащий лишь злобой и ненавистью к огромному большинству трудящихся, и, с другой стороны, идущий ему на смену новый мир, мир организационно цельный, внутренне связанный, мир, полный выдержки, настойчивости и упорства.

Большую часть своих воспоминаний Шульгин отводит описанию своей работы в белом подполье в Одессе. Что в сущности делал Шульгин здесь, он не говорит, но он подробно описывает, как он жил, как он бегал от агентов ЧК, как избегал арестов и обысков. Это описание интересно тем, что, с одной стороны, оно рисует неизвестную сейчас область нелегального существования белогвардейских организаций в Советском Союзе; с другой стороны, оно интересно тем, что обрисовывает, какие социальные слои поддерживают эти организации, кто им покровительствует, кто дает им возможность укрываться и существовать. В белом подполье, поддерживающем Шульгина, и весьма близко поддерживающем, мы видим и представительницу партии эсеров, и советских служащих, и представителей разных разрядов бывшей буржуазии. В социальном отношении это — представители деклассированных групп буржуазии, представители той социальной среды, которые после Октябрьского переворота потеряли весь фундамент своего существования. Опи-

сание белого подполья интересно тем, что дает возможность судить о приемах борьбы белогвардейцев, об их материальных силах и средствах.

Последней частью "20-го года", имеющей не столько бытовой, сколько уже политический интерес, являются описания столкновений белогвардейских отрядов, в которых принимал участие Шульгин, с Румынией и описание Крыма в период Врангеля. Столкновения белогвардейских отрядов с Румынией, не вооруженные столкновения, а униженные просьбы белогвардейцев пустить их на румынскую территорию интересны тем, что обрисовывают политику Румынии в период 1920 года. Захватив в свои руки русскую Бессарабию, румыны старательно изолируют ее даже от русской белогвардейщины, русского дворянства и буржуазии. В этом отношении они ведут ту же самую зоологическую политику национализма, которую с необыкновенным азартом и пафосом проповедовал Шульгин и на страницах "Киевлянина" и с трибуны Государственной думы. По иронии истории, Шульгину пришлось самому на себе испытать практическое осуществление его идеологических поучений.

Воспоминания Шульгина о Крыме составляют интереснейшие страницы "1920 года", имеющие не только бытовой интерес. Хотя о Крыме времен Врангеля написано немало, хотя Врангелю, как это говорит в одном месте своих воспоминаний сам Шульгин, предстояло реставрировать позицию крымского татарского хана по отношению к России, все же, столкнувшись с врангелиадой на практике, беседуя с Врангелем и с его министрами, из которых многие были когда-то близкими соратниками Шульгина на политическом поприще, он приходит к тяжелым и невеселым мыслям о Врангеле. Эти мысли его настолько тяжелы и невеселы, что Шульгин не остается в Крыму, а совершает новое путешествие через красный фронт в Одессу, чем не только обогащает свои воспоминания, занесенные на страницы книги, но и подчеркивает полный крах белого движения и полный крах последней надежды белогвардейцев — врангелиады. В своих воспоминаниях Шульгин остается тем, чем он был на самом деле, — грубым юдофобом, не видящим ничего радостного, светлого, нового в Советской России.

"20-й год" Шульгина дает, главным образом, бытовой материал, но этот бытовой материал имеет огромнейший интерес и имеет огромное политическое значение, поскольку он вышел из-под пера Шульгина — редак-

тора "Киевлянина". Монархист до мозга костей, Шульгин сам, своими руками изобразил крах белогвардейского движения. Почти художественно Шульгин написал в своей книге "20-й год" авантюрную повесть жизни и деятельности белого движения. Но при всем своем пристрастии к нему, при всей своей связи с ним, старательно подчеркивая свою враждебность Советской России, Шульгин все же не смог написать идеологического оправдания белого движения. Он не смог своим пером привлечь к белому движению сочувствия. Он не нашел в белогвардейском стане ни новой объединяющей массы идеи, ни широкой массовой организации. Белое движение вызвало потоки крови, оно стоило рабочему классу и крестьянству миллионы человеческих жизней, но это белое движение лишь резче подчеркнуло необходимость силы, стойкости и организованности рабочего класса и крестьянства.

С. Пионтковский

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Бесполезно, конечно, напоминать, что мы живем в эпоху, которой будут весьма интересоваться наши потомки. Но, может быть, следует подумать о том, что о Русской революции будет написано столько же лжи, сколько о Французской. Из той лжи вытечет опять какая-нибудь новая беда. Для нас это ясно. Мы, современники Русской революции (начавшейся в 1917 году), прекрасно знаем, какую роль в этом несчастье сыграло лживое изображение революции Французской. Поэтому в высшей степени важно для нашего будущего правдивое изображение того, что сейчас происходит перед нашими глазами.

Разумеется, время для изображения нашей трагедии во всем ее объеме, так сказать, с журавлиной высоты, еще не наступило. Невозможно, с другой стороны, пока и интимное изображение нашей жизни, т.е. как мы любили, ненавидели, страдали и радовались, — ключ, без которого, конечно, будущие историки ничего не поймут. Или поймут вкривь и вкось, как это они всегда и делают...

Но можно и должно записывать то, что каждый из нас видел воочию. И можно рассказать свои переживания постольку, поскольку индивидуальность автора терпит публичное раздевание.

Настоящий очерк и представляет опыт записать в этих пределах ''кусочки жизни'', пробежавшие перед моими глазами. Я выбрал 1920 год, как ближайший... Если из этого что-нибудь выйдет, вероятно, перейду к временам, более отдаленным.

Новогодняя ночь

Вечером 31 декабря 1919 года я был у А.М.Драгомирова. Мы сидели с ним вдвоем в его вагоне, в его поезде. Поезд стоял в порту, в Одессе. Днем из окон видно было море. Дальше поезду некуда было идти.

Он сказал:

— Я все-таки убежден, что сопротивление начнется... Сейчас есть еще кое-что... Но когда останется только смерть в бою или смерть в воде — будет вспышка энергии... Сейчас вся масса хочет одного — уходить... Но когда некуда будет уходить? Неужели же не проснется решимость? Вы как думаете?

— Я все надеюсь, что еще здесь начнется... Потому что и здесь ведь уже некуда уходить. Ведь вся эта масса, что сюда отступает, она же не сядет на пароходы и в Крым не попадет. Следовательно, и ей придется выбирать между боем и морем. Беда только в том, что здесь совсем не то делается, что нужно.

— Вы думали, когда мы вышли из Киева, что будем сидеть с вами в порту в Одессе?

— Нет, я почему-то думал, что мы задержимся около Казатина... Но я понял положение, когда мы получили в Якутском полку приказ — это было, кажется, где-то около Фастова... Я тогда же развил своим молодым друзьям так называемую "крымскую теорию"...

— Это что?

— Крымская теория — это реставрация доекатерининских времен... Сидел же хан столетия в Крыму. Благодаря Перекопу взять его нельзя было, а жил он набегами... Он добывал себе набегами "ясырь", то есть живой товар — пленных, а мы, засев в Крыму, будем делать набеги за хлебом. Впрочем, и "ясырь" будем брать... для "пополнений"... Вы уезжаете в Севастополь?

— Я каждый день "уезжаю", но пока что еще не уехал, потому что пароход все задерживается. Здесь я ничем не могу помочь. Скорее я только мешаю... Я легко могу прослыть центром каких-нибудь интриг... чего я вовсе не желаю. "Главноначальствующий областью" без "области" — фигура неудобная... Ну а скажите, очень ругают?

— Вас? Ругают, конечно... При этих обстоятельствах это неизбежно. Одни бранят вас за то, что "допустили" погромы, а другие за то, что вы не позволили "бить жидов"... Конечно, вы взяли миллионы за последнее...

— Неужели и это говорят?

— Говорят... Вас это удивляет? А я привык... Меня столько раз "покупали" — жиды, немцы, масоны, англичане, — что это меня не волнует... Но больше всего, конечно, зла гвардия...

— За что? За мой приказ? Вам он известен?

— Да... Вы, покидая "область" и сдавая командование, благодарите войска и затем кончаете приблизительно так: "Не объявляю благодарности"... первое — волчанцам, за всякие безобразия, а на втором месте стоит в приказе гвардия, которая "покрыла позором свои славные знамена грабежами и насилиями над мирным населением". Что-то в этом роде...

А.М.Драгомиров человек очень добрый. Но у него бывают припадки гнева. Так было и сейчас.

— Я об этом не могу спокойно говорить... Я с очень близкими людьми перессорился из-за этого. Я пробовал собрать командиров полков, уговаривал, взывал к их совести. Но я чувствую, что не понимают... А я не могу с этим помириться. Я к этой гражданской войне никак не могу приладиться...

— Да, я помню. Вы, может быть, забыли, но я помню... Вы мне говорили больше года тому назад, еще в Екатеринодаре, что вы тяготитесь "гражданской" вашей деятельностью, что вы хотели бы делать свое прямое дело, то есть воевать... но что условия войны таковы... Словом, вы сказали тогда, в октябре 1918 года: "Мне иногда кажется, что нужно расстрелять половину армии, чтобы спасти остальную"...

— Половину не половину... Но я и сейчас так думаю. Но как за это взяться?.. Я отдавал самые строгие приказы... Но ничего не помогает... потому что покрывают

друг друга... Какие-нибудь особые суды завести? И это пробовал, но все это не то...

— Мое мнение такое. Вслед за войсками должны двигаться отряды, скажем, "особого назначения"... Тысяча человек на уезд отборных людей или, по крайней мере, в "отборных руках". Они должны занимать уезд: начальник отряда становится начальником уезда... При нем военно-полевой суд... Но трагедия в том, откуда набрать этих "отборных"...

— В том-то и дело... Нет, я часто думаю, что без какого-то внутреннего большого процесса все равно ничего не будет. Хоть бы орден какой-нибудь народился... Какое-нибудь рыцарское сообщество, которое бы возродило понятие о чести, долге — ну, словом, основные вещи, ну, что хоть грабить — стыдно. Или религиозное это должно быть движение... Словом, это должно быть массовое, большое, психологическое...

— И будет... "покаяния отверзи ми двери"... Этим мы отличаемся от Польши... Я убежден, что, если на этой равнине, что называется Восточной Европой, если устояли мы, а не поляки, то только благодаря нашей способности "каяться"... Поляки — нераскаянные... Они не могут каяться... Ведь, в сущности говоря, у поляков было больше шансов на гегемонию... Они раньше вышли к культуре, потому что ближе к Западу... но они нераскаянные... Мы говорили "земля наша... но порядка в ней нет, — приходите володеть и княжить нами"... А они говорили: "Polska stoi nierzadem"...

— Что это значит?

— Это старинная польская поговорка, которая употреблялась еще в XVI веке и значит: "Польша стоит беспорядком"... То есть они не только не хотели каяться во всех своих безобразиях, в вечной своей легкомысленной "мазурке", но, так сказать, "канонизировали" свою анархию... Были отдельные голоса, которые кричали: "Братья! Что вы делаете! Губите себя"... На одно мгновение "карнавал" останавливается... но потом кто-нибудь вспоминал: ведь Polska stoi nierzadem!.. И традара... та... традара... та... tempo di mazurka... И все продолжалось по-старому, пока не "промазурили" свою "королевскую республику"... А мы каялись... Набезобразим во всю "ширину русской натуры" и потом каемся... "Придите володеть и княжить"... и приходят и княжат... И тогда оправляемся, укрепляемся, возвеличиваемся — пока опять не расхулиганимся... Волна... То "сарынь на

кичку", то "волим под царя восточного православного"... Так и живем... И будем жить.

Принесли бутылку красного вина.

И мы, "главноначальствующий областью" — без области и "редактор "Киевлянина" — без Киева, чокнулись...

В данную минуту мы равно были "бывшие люди"... И с одинаковым основанием могли пожелать друг другу "нового счастья", ибо "старое" изменило...

* * *

Как-то случилось, что в эту новогоднюю ночь я был совершенно один... От А.М. я пришел рано, — до "нового года" было еще далеко... Я пришел к себе и никуда не пошел.

"Встречать новый год"... При этих обстоятельствах это было бы слишком печально... И я предпочел "встрече" — "проводы". Я уселся у изголовья умирающего старого года и читал ему отходную...

Где-то, на каком-то горном перевале, стоит заиндевевший придорожный столб... К этому столбу всегда пробивается умирать старый год... На столбе сидит "крук" — одинокая птица... Воет вьюга, и крук каркает умирающему его дела — добрые и злые...

Я чувствовал себя в этом роде: в роли крука.

* * *

Личное перемешивалось с общим в эту новогоднюю одинокую ночь.

Отчего не удалось дело Деникина? Отчего мы здесь, в Одессе? Ведь в сентябре мы были в Орле... Отчего этот страшный тысячеверстный поход, великое отступление "орлов" от Орла?..

Орлов ли?..

"Взвейтесь, соколы, орлами"... (солдатская песня).

Я вспомнил свою статью в "Киевлянине" в двухлетнюю годовщину основания Добровольческой армии... два месяца тому назад...

"Орлы, бойтесь стать коршунами. Орлы победят, но коршуны погибнут".

Увы, орлы не удержались на "орлиной" высоте. И коршунами летят они на юг, вслед за неизмеримыми

обозами с добром, взятым... у "благодарного населения".

"Взвейтесь, соколы... ворами" ("единая, неделимая" в кривом зеркале действительности).

* * *

Красные — грабители, убийцы, насильники. Они бесчеловечны, они жестоки. Для них нет ничего священного... Они отвергли мораль, традиции, заповеди господни. Они презирают русский народ. Они озверелые горожане, которые хотят бездельничать, грабить и убивать, но чтобы деревня кормила их. Они, чтобы жить, должны пить кровь и ненавидеть. И они истребляют "буржуев" сотнями тысяч. Ведь разве это люди? Это "буржуи"... Они убивают, они пытают... Разве это люди? Это звери...

* * *

Значит, белые, которые ведут войну с красными именно за то, что они красные, — совсем иные... совсем "обратные"...

Белые — честные до донкихотства. Грабеж у них — несмываемый позор. Офицер, который видел, что солдат грабит, и не остановил его, — конченый человек. Он лишился чести. Он больше не "белый" — он "грязный"... Белые не могут грабить.

Белые убивают только в бою. Кто приколол раненого, кто расстрелял пленного — тот лишен чести. Он не белый, он — палач. Белые не убийцы: они воины.

Белые рыцарски вежливы с мирным населением. Кто совершил насилие над безоружным человеком, — все равно, что обидел женщину или ребенка. Он лишился чести, он больше не белый — он запачкан. Белые не апаши — они джентльмены.

Белые тверды, как алмаз, но так же чисты. Они строги, но не жестоки. Карающий меч в белых руках неумолим, как судьба, но ни единый волос не спадет с головы человека безвинно. Ни единая капля крови не прольется — лишняя... Кто хочет мстить, тот больше не белый... Он заболел "красной падучей" — его надо лечить, если можно, и "извергнуть" из своей среды, если болезнь неизбывна...

Белые имеют бога в сердце. Они обнажают голову

перед святыней... И не только в своих собственных златоглавых храмах. Нет, везде, где есть бог, белый преклонит — душу, и, если в сердце врага увидит вдруг бога, увидит святое, он поклонится святыне. Белые не могут кощунствовать: они носят бога в сердце.

Белые твердо блюдут правила порядочности и чести. Если кто поскользнулся, товарищи и друзья поддержат его. Если он упал, поднимут. Но если он желает валяться в грязи, его больше не пустят в "Белый Дом"; белые не белоручки, но они опрятны.

Белые дружественно вежливы между собой. Старшие строги и ласковы, младшие почтительны и преданны, но сгибают только голову при поклоне... (спина у белых не гнется).

Белых тошнит от рыгательного пьянства, от плевания и от матерщины... Белые умирают, стараясь улыбнуться друзьям. Они верны себе, родине и товарищам до последнего вздоха.

Белые не презирают русский народ... Ведь если его не любить, за что же умирать и так горько страдать? Не проще ли раствориться в остальном мире? Ведь свет широк... Но белые не уходят, они льют свою кровь за Россию... Белые не интернационалисты, они — русские...

Белые не горожане и не селяне — они русские, они хотят добра и тем и другим. Они хотели бы, чтобы мирно работали молотки и перья в городах, плуги и косы в деревнях. Им же, белым, ничего не нужно. Они не горожане и не селяне, не купцы и не помещики, не чиновники и не учителя, не рабочие и не хлеборобы. Они русские, которые взялись за винтовку только для того, чтобы власть, такая же белая, как они сами, дала возможность всем мирно трудиться, прекратив ненависть.

Белые питают отвращение к ненужному пролитию крови и никого не ненавидят. Если нужно сразиться с врагом, они не осыпают его ругательствами и пеной ярости. Они рассматривают наступающего врага холодными, бесстрастными глазами... и ищут сердце... И если нужно, убивают его сразу... чтобы было легче для них и для него...

Белые не мечтают об истреблении целых классов или народов. Они знают, что это невозможно, и им противна мысль об этом. Ведь они белые воины, а не красные палачи.

Белые хотят быть сильными только для того, чтобы быть добрыми...

Разве это люди?.. Это почти что святые...

* * *

"Почти что святые" и начали это белое дело...

Но что из него вышло? Боже мой!

* * *

Я помню, какое сильное впечатление произвело на меня, когда я в первый раз услышал знаменитое выражение:

"От благодарного населения"...

Это был хорошенький мальчик, лет семнадцати-восемнадцати. На нем был новенький полушубок.

Кто-то спросил его:

— Петрик, откуда это у вас?

Он ответил:

— Откуда? "От благодарного населения", конечно.

И все засмеялись.

* * *

Петрик из очень хорошей семьи. У него изящный, тонкокостный рост и красивое, старокультурное, чуть тронутое рукою вырождения, лицо. Он говорит на трех европейских языках безупречно и потому по-русски выговаривает, немножко как метис, с примесью всевозможных акцентов. В нем была еще недавно гибко-твердая выправка хорошего аристократического воспитания...

"Была", потому что теперь ее нет, вернее, ее как будто подменили. Приятная ловкость мальчика, который, несмотря на свою молодость, знает, как себя держать, перековалась в какие-то... вызывающие, наглые манеры. Чуть намечавшиеся черты вырождения страшно усилились. В них сквозит что-то хорошо знакомое... Что это такое? Ах, да, он напоминает французский кабачок... Это "апаш"... Апашизмом тронуты... этот обострившийся взгляд, обнаглевшая улыбка... А говор. Этот метисный акцент в соединении с отборнейшими русскими "в бога, в мать, в веру и Христа" — дают диковинный меланж "сиятельнейшего хулигана"...

Когда он сказал: ”От благодарного населения”, все рассмеялись. Кто это ”все”?

Такие же, как он. Метисно-изящные люди русско-европейского изделия. ”Вольноперы”* как Петрик, и постарше — гвардейские офицеры, молоденькие дамы ”смольного” воспитания...

Ах, они не понимают, какая горькая ирония в этих словах. Они — ”смолянки”. Но почему? Потому ли, что кончили Смольный под руководством княгини НН, или потому, что Ленин-Ульянов, захватив Смольный, незаметно для них самих привил им ”ново-смольные” взгляды...

— Грабь награбленное!

Разве не это звучит в словах этого большевизированного рюриковича, когда он небрежно-нагло роняет:

— От благодарного населения.

Они смеются. Чему?

Тому ли, что, быть может, последний отпрыск тысячелетнего русского рода прежде, чем бестрепетно умереть за русский народ, стал вором? Тому ли, что, вытащив из мужицкой скрыни под рыдания Марусек и Гапок этот полушубок, он доказал насупившемуся Грицьку, что паны только потому не крали, что были богаты, а как обеднели, то сразу узнали дорогу к сундукам, как настоящие ”зло́дии”, — этому смеются? ”Смешной” ли моде грабить мужиков, которые ”нас ограбили”, — смеются?

Нет, хуже... Они смеются над тем, что это население, ради которого семьи, давшие в свое время Пушкиных, Толстых и Столыпиных, укладывают под пулеметами всех своих сыновей и дочерей в сыпно-тифозных палатах, что это население ”благодарно” им...

”Благодарно” — т.е. ненавидит...

Вот над чем смеются. Смеются над горьким крушением своего ”белого” дела, над своим собственным падением, над собственной ”отвратностью”, смеются — ужасным апашеским смехом, смехом ”бывших” принцев, ”заделавшихся” разбойниками.

* * *

Да, я многое тогда понял.

Я понял, что не только не стыдно и не зазорно грабить, а, наоборот, модно, шикарно.

---

* Вольноопределяющиеся Добровольческой армии.

У нас ненавидели гвардию и всегда ей тайком подражали. Может быть, за это и ненавидели...

И потому, когда я увидел, что и "голубая кровь" пошла по этой дорожке, я понял, что бедствие всеобщее.

"Белое дело" погибло.

Начатое "почти святыми", оно попало в руки "почти бандитов".

* * *

Я не гвардеец... Я так же мало аристократ, как и демократ. Я принадлежу к тому среднему классу, который "жнет там, где не сеял". Все — наше. Пушкин — наш, и Шевченко — наш. (Слышу гогот "украинцев". Успокойтесь, друзья: Шевченко в роли "украинского большевика" я оставляю вам, себе я беру — Шевченко-бандуриста, "его же и Гоголь приемлет".)

Все русское — наше. Аристократия и демократия нам одинаково близки, поскольку они русские, поскольку они талантливы и прекрасны, поскольку они наше прошлое и будущее. Аристократия и демократия нам одинаково далеки, поскольку они узкоклассовы, поскольку они изящно, надменно или грубо фамильярны.

Я скорблю над угасающими, "сходящими на нет" старинными родами, я радуюсь нарождению новых, "входящих", которые "сами себе предки".

Я жну там, где не сеял. Все высокое, красивое и сильное русское — мое, и я ношу мое право на них на острие моей любви к родине... Я люблю ее всю, с аристократами и демократами, дворцами и хатами, богатыми и бедными, знатными и простыми.

Ибо все нужны. Как нужны корни, ствол, листья... и цветы...

* * *

Я не гвардеец... Но если я особенно больно чувствую падение аристократии, то это потому, что все же noblesse oblige*... Как русский, я несравненно более оскорблен метаморфозой "Петрика" в апаша, чем "Петьки" в хулигана. Ведь, в сущности, вся белая идея была основана на том, что "аристократическая" честь нации удержится среди кабацкого моря, удержится именно белой, несокру-

---

* Аристократизм обязывает... *(фр.)*.

шимой скалой... Удержится и победит своей белизной. Под аристократической честью нации надо подразумевать все лучшее, все действительно культурное и моральное, порядочное без кавычек. Но среди этой аристократии в широком смысле слова, аристократии доблести, мужества и ума, конечно, центральное место, нерушимую цитадель должна была бы занять родовая аристократия, ибо у нее в крови, в виде наследственного инстинкта, должно было бы быть отвращение ко всяким мерзостям...

И вдруг...

"От благодарного населения"...

"Tout est perdu sauf l'honneur"*, — говорили французские дворяне.

"L'honneur a été perdu avant tout"**, — можем сказать мы...

Но белое дело не может быть выиграно, если потеряна честь и мораль.

Без чести, именно отрицанием чести и морали — временно побеждают красные.

Для белых же потерять честь — это потерять все.

C'est tout perdre...

* * *

И я видел...

Я видел, как зло стало всеобщим.

Насмешливый термин "от благодарного населения" все покрыл, все извинил, из трагедии сделал кровавый водевиль в m'en fich'истском*** стиле.

* * *

Я видел...

Я видел, как почтенный полковой батюшка в больших калошах и с зонтиком в руках, увязая в грязи, бегал по деревне за грабящими солдатами:

— Не тронь!.. Зачем!.. Не тронь, говорю... Оставь! Грех, говорю... Брось!

Куры, утки и белые гуси разлетались во все стороны,

---

* Все потеряно, кроме чести... *(фр.)*.

** Честь потеряна прежде всего *(фр.)*.

*** Наплевательском *(фр.)*.

за ними бежали "белые" солдаты, за солдатами батюшка с белой бородой.

Но по дороге равнодушно тянулся полк, вернее, пятисотподводный обоз. Ни один из "белых" офицеров не шевельнул пальцем, чтобы помочь священнику... единственному, кто почувствовал боль и стыд за поругание "христолюбивого" воинства.

Зато на стоянке офицеры говорили друг другу:

— Хороший наш батюшка, право, но комик... Помнишь, как это он в деревне... за гусями... в калошах... с зонтиком... Комик!

* * *

Я видел, как артиллерия выехала "на позицию". Позиция была тут же в деревне — на огороде. Приказано было ждать до одиннадцати часов. Пятисотподводный обоз стоял готовый, растянувшись по всей деревне. Ждали...

Я зашел в одну хату. Здесь было, как в других... Половина семьи лежала в сыпном тифу. Другие ожидали своей очереди. Третьи, только что вставшие, бродили, пошатываясь, с лицами снятых с креста.

— Хоть бы какую помощь подали... Бросили народ совсем... Прежде хоть хвельшара пришлют... лекарства... а теперь... качает... всех переберет... Бросили народ совсем, бросили... пропадаем... хоть бы малую помощь...

Дом вздрогнул от резкого, безобразно-резкого нашего трехдюймового... Женщина вскрикнула...

— Это что?

Это было одиннадцать часов. Это мы подавали "помощь" такой же "брошенной", вымирающей от сыпного тифа деревне, за четыре версты отсюда...

Там случилось вот что. Убили нашего фуражира. При каких обстоятельствах — неизвестно. Может быть, фуражиры грабили, может быть, нет... В каждой деревне есть теперь рядом с тихими, мирными, умирающими от тифа хохлами — бандиты, гайдамаки, ведущие войну со всеми на свете. С большевиками столько же, сколько с нами. Они ли убили? Или просто большевики? Неизвестно. Никто этим и не интересовался. Убили в такой-то деревне — значит, наказать...

— Ведь как большевики действуют — они ведь не церемонятся, батенька... Это мы миндальничаем... Что там с этими бандитами разговаривать?

— Да не все же бандиты.

— Не все? Ерунда. Сплошь бандиты — знаем мы их! А немцы как действовали?

— Да ведь немцы оставались, а мы уходим.

— Вздор! Мы придем — пусть помнят, сволочь!..

Деревне за убийство приказано было доставить к одиннадцати часам утра ”контрибуцию” — столько-то коров и т.д.

Контрибуция не явилась, и ровно в одиннадцать открылась бомбардировка.

— Мы, — как немцы, — сказано, сделано... Огонь!

Безобразный, резкий удар, долгий, жутко удаляющийся, затихающий вой снаряда и наконец чуть слышный разрыв.

Кого убило? Какую Маруську, Евдоху, Гапку, Приску, Оксану? Чью хату зажгло? Чьих сирот сделало навеки непримиримыми, жаждущими мщения... ”бандитами”?

— Они все, батенька, бандиты — все. Огонь!

Трехдюймовки работают точно, отчетливо. Но отчего так долго?

Приказано семьдесят снарядов.

— Зачем так много?

— А куда их деть? Все равно дальше не повезем... Мулы падают...

Значит, для облегчения мулов... По всей деревне. По русскому народу, за который мы же умираем...

* * *

Я сильно захромал на одном переходе. Растянул жилы... Примостился где-то, в самом конце обоза, на самой дрянной клячонке, только что ”реквизированной”... Обоз — пятьсот повозок, но примоститься трудно, все везут что-то. Что угодно. Даже щегольские городские сани везут на повозке.

Скоро клячонка упала. Я заковылял пешком. Обоз обтекал меня медленно, но верно... Вот последняя повозка. Прошла... Хочу прибавить шагу, не могу. Обоз уходит. Надвигается конный арьергардный разъезд — это последние. За ними никого. Мы с сыном одни — бредем в поле...

Увы, ”освободителям русского народа” нельзя оставаться в одиночку... Убивают.

Сколько ужасной горечи в этом сознании... Убивают! Кто? Те, за спасение которых отдаем все...

Я сказал сыну, чтобы шел вперед и попросил кого-нибудь из офицеров прислать мне лошадь.

Он ушел. Впереди деревня. Когда я добрел до нее, — вижу впереди хвост обоза.

Но что это такое? Плач навзрыд, причитания, крики. Я заковылял в этот двор...

Лежит павшая лошадь. С нее казак снимает седло и перекладывает на другую, свежую. Крестьянская семья — старик, женщины и дети — хватается за нее... это их лошадь.

— Что ты делаешь? Брось!..

— Я же им оставлю коня — он отойдет. Я же не могу пеший, что же мне делать?

Баба бросается ко мне.

— Помилуйте... змилуйтесь! Одна у нас — последняя. Ой, змилуйтесь! Сердце, золотко, не обижайте, — бедные мы, самые бедные. Земли нема у нас. Только и живем с коня, — змилуйтесь! От жеж есть, которые богатийший, — от старосту спросыть, змилуйтесь, господин!

Но тем временем казак, вскочив на коня, скачет.

— Стой, я тебе говорю, стой!

Он не обращает внимания. Что я офицер, не производит на него никакого впечатления. Я думаю о том, что надо бы выстрелить ему вслед, но, подумав, ковыляю дальше. Надо сказать там.

Когда я подхожу наконец, я вижу странное... Все вдруг стали "белыми". В белых новых кожухах. Очевидно, тут же ограбили — эту же деревню. А кто-то из старших офицеров спрашивает:

— Это ты здесь, Аршак, себе этого серого достал? Хороший конь!

— Так точно, господин полковник. Добрый конь.

Смотрю — это мой казак. Безнадежно...

И это "белые"? Разве потому, что в краденых кожухах... белых...

* * *

Хоронили нашего квартирьера. Опять убили в деревне. Нельзя в одиночку. Он сунулся ночью в деревню. Устроили засаду — убили. Кто — неизвестно. Выбросили тело на огород, собаки стали есть труп. Ужасно...

Опускают в могилу. Тут несколько офицеров, командир полка.

Могилу засыпают местные мужики. Первые попавшиеся в первой хате. Один из них в новых сапогах. Тут же солдат в старых.

— А вы, мерзавцы, убивать умеете... А в новых сапогах ходите... Снимай сейчас — отдай ему!

— Господин полковник, да разве я убивал? Я бы их, проклятых, сам перевешал...

— Снимай, не разговаривай, а не то...

Снимает. Раз командир полка приказывает, да еще при таком случае — не поговоришь...

— А на деревню наложить контрибуцию!

Весело вскакивает на лошадей конвой командира полка — лихие "лабинцы"... Мгновение, и рассыпались по деревне. И в ту же минуту со всех сторон подымается стон, рыдания, крики, жалобы, мольбы... Какая-то старуха бежит через дорогу, бросается в ноги... Целая семья воет вокруг уводимой коровы.

А это еще что? Черный дым взвился к небу. Неужели зажгли?

Да... Кто-то отказался дать корову, лошадь... И вот...

Могилу квартирьера засыпают... Завтра в следующей деревне убьют нового... Там ведь уже будут знать и о сапогах и о контрибуции... А если не будут знать о нас, то ведь впереди идут части, перед которыми мы младенцы... Мы ведь "один из лучших полков"...

* * *

В одном местечке мальчишка лет восемнадцати, с винтовкой в руках, бегает между развалин, разгромленных кем-то (нами? большевиками? петлюровцами? "бандитами"? — кто это знает) кварталов.

— Что вы там делаете?

— Жида ищу, господин поручик.

— Какого жида?

— А тут ходил, я видел.

— Ну, ходил... А что он сделал?

— Ничего не сделал... жид!

Я смотрю на него, в это молодое, явно "кокаинное" лицо, на котором все пороки...

— Какой части?

Отвечает...

— Марш в свою часть!..

Пошел.

Ищет жида с винтовкой в руках среди белого дня. Что он сделал? Ничего — жид.

— Что сделал этот человек, которого вы поставили "к стенке"?..

— Как, что! Он "буржуй"!

— А, буржуй... Ну, валяй!

Какая разница? Мы так же относимся к "жидам", как они к "буржуям".

Они кричат: "Смерть буржуям", а мы отвечаем: "Бей жидов".

Но где же "белые"?..

* * *

— Да что вы, батенька... Все они бандиты... Я вам говорю — не суйтесь, будьте осторожны... А это село — известное. В каждом доме — большевики — я вам говорю. Будьте осторожны — поближе к штабу... Все бандиты!

Но мы "сунулись"... Нас была небольшая "стайка" — мои молодые друзья и я... Сунулись в хатку на самой окраине "сверхбандитской" деревни...

Результат. Полчаса были хмурыми, явно скрыто-враждебными. Полчаса присматривались. Еще через полчаса стали растаивать. К концу вечера стали ласковыми и угостили превосходным ужином. На ночь устроили как только могли получше. А утром, когда мы уходили, провожали нас, как лучших друзей. Улыбались на прощанье так, как только умеют улыбаться хохлушки...

— Як вам бог поможе, може ще побачемось... Заходьте до нас... Счастливо!

И так было почти в каждой деревне на расстоянии трехсот верст...

..."Батенька — не суйтесь!"... Мы все же "совались" и утром уходили, провожаемые ласково звенящим:

— Счастливо!..

* * *

За это или за другое нас в полку за глаза насмешливо называли "джентльмены".

Я понимаю эту насмешку и эту скрытую враждебность. Мы шли триста верст, они — может быть, три тысячи. Мы имели при себе свои деньги (заработок

"Киевлянина" за последние дни), и притом "керенки" — у них денег не было... Мы шли добровольно, только что променяв перья на винтовки, — они тянули уже бесконечно эту безотрадную лямку.

Поход, бой, вши... Бой, вши, поход... Вши, поход, бой...

Этими тремя элементами ведь исчерпываются все комбинации войны à la longue*... Легко быть "джентльменами" неделю, месяц, два... Но год, три, шесть лет. Ведь некоторые воюют непрерывно с 1914 года.

Еще хорошо, пока лето, солнце, тепло, есть речки, где выкупаться. Но осенью, зимою... В эти безотрадно-грязные, серые дни или безжалостно-белые, морозные... Какая тоска нападает, наконец, отвращение к этому "роду занятий", жгучая потребность, непреодолимая жажда культурного центра, электричества, театра, нарядной толпы, музыки, книги, газеты... Все это локализируется в одной мечте:

"Выпить кофе у Фанкони... Настоящий кофе... с сладкими булочками, чисто поданный... и прочитать газету"...

Об этом мечтают на всех бесконечных "отступательных" дорогах... Воевать надоело, противно...

Прежде всего, конечно, этой до конца утомленной армии надо отдохнуть. Она больше не может — ведь они работают без конца...

"Вечно без смены"...

Вечно без смены! Но почему нет смены?

Ах, я никого не осуждаю, не имею права осуждать. Быть может, если бы я воевал столько, сколько они, я сам бы опустился. Но пока, пока все же мне так приятно наблюдать своих молодых друзей, крещенных "джентльменами"...

Мне приятно, что на тридцатой версте дневного перехода они такие же, как на первой. Леденящий душу мороз, крайняя усталость, разваливающаяся обувь, растертые ноги не способны вырвать у них ни одного грубого слова. Мне приятна их неподчеркнутая, но настоящая военная и невоенная вежливость, их строгое разграничение "службы" и "дружбы". Беспрекословное исполнение "приказаний", братские отношения между собой и трогательная заботливость обо мне, во внимании к моей "старческой слабости".

---

* В конечном счете *(фр.)*.

Но в особенности меня радует, как они умеют ладить с тем "русским народом", ради которого и ведется борьба. Когда они за несколько часов "шармируют" неизбалованную лаской семью "бандитов", я горд, как будто бы выиграл сражение.

Я, конечно, не выиграл сражения, но я выиграл "пополнение", я выиграл "смену".

Потому что я убежден в этом, как в том, что миром правит добро, а не зло, если бы армия не смеялась над "джентльменами", у нее была бы смена...

Мы "отвоевали" пространство больше Франции. Мы "владели" народом в сорок миллионов с лишко́м... И не было "смены"?

Да, не было. Не было потому, что измученные, усталые, опустившиеся, мы почти что ненавидели тот народ... за который гибли. Мы, бездомные, бесхатные, голодные, нищие, вечно бродящие, бесконечно разлученные с дорогими и близкими, — мы ненавидели всех. Мы ненавидели крестьянина за то, что у него теплая хата, сытный, хоть и простой стол, кусок земли и семья его тут же около него в хате...

— Ишь, сволочь, бандиты — как живут!

Мы ненавидели горожан за то, что они пьют кофе, читают газеты, ходят в кинематограф, танцуют, веселятся...

— Буржуи проклятые! За нашими спинами кофе жрут!

Это отношение рождало свои последствия, выражавшиеся в известных "действиях"... А эти действия вызывали "противодействие"... выражавшееся в отказе дать... "смену".

Можно смеяться над "джентльменами", но тогда приходится воевать без "смены".

Конечно, большевики — те добывают "смену" просто — террором. Но ведь мы боремся с большевиками. Из-за чего? Неужели только для того, чтобы сесть на их место и делать все так же, как они? Но к чему же тогда все "жалкие слова"?..

* * *

В одном месте, в одной хате, куда мы зашли погреться и отдохнуть, старик сидел на лавке и долго молчал. Но я чувствовал, что он за нами наблюдает. Вслушивается, старается понять...

Наконец он неожиданно спросил:

— Кто вы, господа, такие?

Он это так сказал, что нас всех поразило. Кто-то ответил ему:

— Мы?.. Мы — деникинцы.

Но он хитро покачал головою:

— Ни, господа. Вы не деникинцы...

Я не знаю, почему я его вдруг понял. Бывает так, что поймешь вдруг... не умом... скорее концами пальцев, словом, я понял его.

И сказал:

— Кто мы, диду?.. Мы те... что за царя. Только мовчить, диду, никому не говорить... Бо ще не время...

Но ему трудно было молчать.

— От жеж бачу, что вы не деникинцы. Хиба такие деникинцы!

Хоть мы и темны люди, а все ж свит бачимо. Видно по вас, яки вы люди. Так буде нам свит? Буде государь?

— Мовчить, диду. Об этом не можно ще. Буде царь, буде! Только мовчить. Прийде время, будут вас усих пытать, чи хочете царя, чи ни. О тоди кажить, — не ховайтесь. Кажить, — хочемо!

— Та хочемо! Як не хочемо! От що зробылось без царя! А доживу ж я, старый?

— Доживете... Только тихо. Не время ще, диду, — мовчить!

И мы ушли, таинственно прикладывая палец к губам.

Каким образом старик учуял, кто мы!.. Вероятно, в его представлении "те, что за царя" и должны быть такие... Ведь государь старческой душе рисуется, как в старых сказках. И "его люди" не могут же не быть несколько иными... Они не могут безобразить или ругаться в бога, в мать, в веру и Христа... как большевики, как петлюровцы, махновцы... деникинцы...

Ах, в этом и трагедия, что народ не делает между всеми ними особого различия...

Шведы ль, наши шли здесь утром,
Кто их знает — ото всех
Нынче пахнет табачищем,
Ходит в мире, ходит грех...

Если бы хоть мы, монархисты, следовали примеру первого русского императора и, вместо грабежа, насилия и матерщины, старались исправлять репутацию деникинской армии...

Тогда, может быть:

И развел старик руками,
Шапку снял и смотрит в лес...
Смотрит долго в ту сторонку.
Где чудесный гость исчез.

* * *

Я хочу думать, что это ложь. Но мне говорили люди, которым надо верить.

В одной хате за руки подвесили... "комиссара"... Под ним разложили костер. И медленно жарили... человека...

А кругом пьяная банда "монархистов"... выла "боже, царя храни".

Если это правда, если они есть еще на свете, если рука Немезиды не поразила их достойной их смертью, пусть совершится над ними страшное проклятие, которое мы творим им, им и таким, как они, — растлителям белой армии... предателям белого дела... убийцам белой мечты...

* * *

Так думалось в одинокую новогоднюю ночь...

* * *

Конечно, в этих мыслях был перехват... И одиночество и горечь... ретушируют больше, чем нужно... Бессонная ночь — плохой советник... Не так уж безнадежно. Выход есть, выход где-то есть...

* * *

Ведь вот везде, и в том полку, где я был, — есть люди. Есть "комик" батюшка, есть и другие... "комики": Вот тот полковник, например, — разве не золотой полковник... Шесть лет воюет, а все еще полон огня. Есть же такие бессносные люди. И у него не грабят в батальоне. Памятник при жизни таким ставить.

Есть они, есть всюду. Только разрозненно все это. Если бы как-нибудь объединиться — подать друг другу... перекликнуться...

Да, перекликнуться. Подать друг о друге голос. Чтобы человек, который борется за белое дело не только против красных, но и против серых и грязных, знал, что он не одинок. Что есть и другие, такие же, как он, кото-

рые где-то там, в своих углах, в своих батальонах и ротах "гребут против течения":

> ...Други, гребите!
> С верою в наше святое значение,
> Дружно гребите
> Во имя прекрасного — против течения...
>
> *(Алексей Толстой)*

Ангел смерти

Я пробовал зажигать фонарь и в роли Диогена искал "человека". В Одессе его не было.

И это стало особенно ясно, когда в Одессу приехал В.А.Степанов.

С В.А.Степановым мне пришлось сделать "кусочек политической жизни", несколько верст пути, рука об руку. Он обладал счастливейшим и ценнейшим свойством возбуждать в других людях энергию мысли. Как-то с ним всегда все "пересматривалось" по существу, так сказать, сначала. Он был отнюдь не революционер, но мозг его был всегда счастливо открыт для новой мысли. Он никогда не застывал и все время эволюционировал в лучшем смысле этого слова. Очень твердый в основном стремлении, он обнаруживал большую гибкость в способах. И отнюдь не в том смысле, что "цель оправдывает средства", а в том, что "суббота для человека, а не человек для субботы"...

А.М.Драгомиров еще не уехал в то время из Одессы. Мы собрались втроем. И...

Слушали:

Мнение присутствующих о том, что генерал Деникин находится в опасности. "Такое" отступление, по всей вероятности, не может обойтись без "личных перемен". Это закон истории. Может быть три случая. Генерала Деникина убьют, он застрелится, он совершит "отречение". Необходимо подготовиться к каждой возможности.

Постановили:

Поддерживать генерала Деникина до последней возможности и повиноваться ему до самого конца. Преемником ему почитать генерала Врангеля. Как передать власть генералу Врангелю в случае трагического конца — сейчас установить невозможно. Если же будет "отречение", то употребить усилия в том направлении, что-

бы перед отречением произошло "назначение" нового главнокомандующего.

Слушали:

В Одессе может организоваться отпор в том случае, если будет найден "человек".

Постановили:

Зажечь Диогенов фонарь и искать "человека".

Слушали:

Кроме Врангеля другого человека не найдено.

Постановили:

Принять зависящие меры, чтобы генерал Врангель стал пока во главе Одессы.

Эти зависящие меры были приняты. В точности мне неизвестно, привели ли они к какому-нибудь результату. Но думаю, что генерал Врангель опоздал бы.

Ангел смерти витал над Одессой.

* * *

Надо было "зарегистрироваться".

Большое здание. Два этажа сплошь набиты офицерами. Очередь совершенно безнадежная. Здесь надо стоять часы.

Это все "регистрирующиеся". Здесь всякие. Явные старики и инвалиды. Всякого рода "категористы", потом бесконечное количество служащих в тыловых учреждениях. Здешние — одесские и эвакуировавшиеся из самых разных губерний... "Командировщики", получившие всякие поручения. Часть из них действительно что-то здесь делает, а остальные — "ловчилы". Наконец... наконец, просто "дезертиры"... хотя все они, конечно, имеют удостоверения.

Я потолкался некоторое время среди этой толпы и ушел в "отвратном" настроении.

Толпа... Толпа офицеров. Не знаю почему, на меня всегда офицеры производят самое тяжелое впечатление, когда они собираются "толпами"... Офицер по существу "одиночка"... Он должен быть окружен солдатами. Тогда понятно, почему он "офицер"...

Но офицерство "толпами"... Тут есть какое-то внутреннее противоречие, которое создает тяжелую атмосферу... Такое же тяжелое впечатление на меня производят "офицерские роты"... некоторые, по крайней мере... В них чувствуется какая-то внутренняя горькая насмешка...

И это впечатление особенно ярко, если сравнить "офицерские роты" с "юнкерами"... Казалось бы, "офицерские роты" самые совершенные части... А вот нет... В них какой-то надлом, нет здоровья, нет душевного здоровья... И как это ни странно — не чувствуется дисциплины. А юнкера всегда производят какое-то бодрящее душу впечатление: сжатой пружины, готовой каждую минуту развернуться по знаку своего начальника.

Душевной упругости, пружинчатости я совершенно не почувствовал в этой офицерской регистрирующейся толпе... Плохая психика, ужасная психика.

Такое учреждение, где регистрируются, не единственное вот это. По всему городу, в разных участках, происходит то же самое. Везде стоят такие же толпы офицеров, понурые, хмурые, озлобленно подавленные и требовательные...

Сколько их?

Никто не знает толком, называют самые фантастические цифры... Кто говорит, что уже "зарегистрировалось" восемьдесят тысяч... Но это явно преувеличено... Но не меньше двадцати пяти тысяч, наверное...

Целая армия. И казалось бы, какая армия. Отборная...

Да это только так кажется...

На самом деле эти выдохшиеся люди, потерявшие веру, ничего не способны делать. Чтобы их "встряхнуть", надо железную руку и огненный дух... Где это?

* * *

Принцип регистрации нелеп. Офицеров "заносят" куда-то, и этим ограничивается все.

Меж тем...

Меж тем настроение этого города, самого города, начинает портиться...

Явственно чувствуется какая-то подземная работа. Хорошо бы держать самый город "под прицелом"... И это было бы легко, может быть. Каждый регистрирующийся офицер должен был бы тут же получать приказ, "в какую часть он зачислен на случай тревоги и куда должен явиться, кто его начальник". Так однажды было сделано в Екатеринодаре. И дало прекрасные результаты.

А так — эти списки? Для чего они? Для облегчения

работы большевиков, когда займут город, по отыскиванию офицеров?

Ангел смерти реет над Одессой-мамой...

* * *

Ко мне пришел один офицер.

Молодой, энергичный... С наклонностью к необузданному фантазерству. Он мне казался белым по мыслям и чувствам, но испорченным доктриной "цель оправдывает средства". Он стал во главе группы офицеров, поднимавших большой "бум"... Они были решительны, смелы. Достаточно смелы для "бумных" историй, недостаточно отважны, чтобы быть беспощадными к своим...

Теперь он пришел ко мне продемонстрировать, так сказать, свое "беспристрастие"...

— Вот прочтите.

Читаю. Это собственноручное признание начальника одной из очень крупных "контрразведок" в том, что он, будучи больным, был соблазнен своим помощником присвоить и разделить между собой (четырьмя соучастниками) крупную сумму в иностранной валюте. "Будучи почти в беспамятстве", "он поддался на уговоры". Теперь он приносил чистосердечное раскаяние и просил предать его суду.

Я знал этого человека. Он приходил ко мне, приносил стихи, иногда недурные, был "мистиком", рассказывал, как он борется с злоупотреблениями "нашей чрезвычайки", и вообще казался мне честным человеком.

И вдруг...

— Этого мы помилуем... С ним это в первый раз... Кроме того...

Он рассказал мне на ухо историю, которую я по этой причине не рассказываю.

— А остальных расстреляем...

— По суду, надеюсь.

— Ну, конечно... Но вот будет другое дело — это уже не по суду...

* * *

Оба "дела" были сделаны...

Начальник той контрразведки, "мистик и поэт", был

помилован... каким-то способом. Его соучастники расстреляны.

А через несколько дней был убит начальник одесской контрразведки полковник Кирпичников.

Он ехал поздней ночью. Автомобиль был остановлен офицерским патрулем. Кирпичников назвал себя. Его попросили предъявить документ. Когда он вытаскивал "удостоверение" из кармана, раздался залп из винтовок...

Всю сцену рассказал шофер, которому удалось тихонько исчезнуть...

* * *

Это было дело "без суда"...

Участники его, вероятно, гордились этим подвигом. С точки зрения "брави", он действительно был сделан чисто. Но с точки зрения нашего "белого дела", это был грозный призрак, свидетельствовавший о полном помутнении, если не покраснении умов.

Кто был убит? Начальник контрразведки, т.е. офицер или чиновник, назначенный генералом Деникиным.

Кем убит? Офицерами генерала Деникина же.

Акт убийства Кирпичникова является, прежде всего, "актом величайшего порицания и недоверия" тому, кому повинуешься... Это весьма плохо прикрытый "бунт"... Отсюда только один шаг до убийства ближайших помощников главнокомандующего, вроде генерала Шиллинга или генерала Романовского... Генерал Шиллинг уцелел, а генерал Романовский погиб, как известно...

Когда я узнал об убийстве полковника Кирпичникова и вспомнил свою речь, которую я говорил когда-то во Второй Государственной думе по поводу террористических актов. Левые нападали на полевые суды, введенные тогда П.А.Столыпиным. Они особенно возмущались юридической безграмотностью судей, первых попавшихся офицеров, а также тем, что у подсудимых не было защитников. Отвечая им, я спрашивал:

— Скажите мне, а кто эти темные юристы, которые выносят смертные приговоры в ваших подпольях? Кто назначил и кто избрал этих судей? Кто уполномочил их произносить смерть людям? И есть ли защитники в этих подпольных судилищах, по приговорам которых растер-

зывают бомбами министров и городовых на улицах и площадях?

Эти слова мне хотелось тогда сказать убийцам полковника Кирпичникова. Кто уполномочил их судить его, и выслушали ли они если не его защитников, то его самого?

Но дело даже не в этом, а дело в том, что производить самосуд — значит отрицать суд. Отрицать суд — значит отрицать власть. Отрицать власть — значит отрицать самих себя.

Так оно, конечно, и было. Этим убийством белые пошли против белых понятий.

Красный ангел веял над городом.

* * *

Громадная зала кафе Робина была набита народом. Сквозь табачный дым:

Оркестр вздыхал, как чья-то грудь больная.

Впрочем, не совсем так, а гораздо хуже. С трудом я нашел столик. Сейчас же и меня нашли. Нашлось неопределенное количество знакомых, которые подсаживались и, по русскому обычаю, начинали изливать свои горести.

По странному совпадению — это иногда бывает — у моего столика периодически сменялись Монтекки и Капулетти. Впрочем, это не совсем точно. Здесь было больше враждующих родов: столько, сколько штабов. А штабов... имена их, ты, господи, веси...

— Он? Вы не можете себе представить! Это злой гений. Это удивительно. Непременно должен быть злой гений! Вот у генерала Деникина — Романовский, а здесь этот. Пока его не уберут, ничего не будет! Про Кирпичникова слышали? Вот и его бы туда же...

Смылся.

— Ах, это вы! Слышали про убийство Кирпичникова? Конечно, это безобразие, но, в конце концов... Я видел, с вами был только что офицер... Вы будьте с ним осторожнее. Их штаб, я вам скажу, такая лавочка... Еще вопрос, кто лучше, они или Кирпичников...

После моего неопределенного отношения к делу и этот уходит. Первые два были из враждующих штабов. Они грызутся и обвиняют друг друга приблизительно в

одном и том же: в безделье, пьянстве, воровстве. Подсаживается третий.

— Я очень рад, что с вами встретился. Надо поделиться с вами некоторыми фактами, быть может, вам неизвестными. Вы, конечно, слышали про эту... певицу. Вот чрез нее идет открытое и грандиозное взяточничество. А генерал у нее пропадает. Что там делается! И потом... если бы только это одно, а ведь дело гораздо хуже.

Он наклоняется ко мне ближе и шепчет что-то про одну высокопоставленную даму. В его рассказах перемежаются жиды, контрразведка, масоны, Осваг, спекулянты, штабы, большевики, Вера Холодная, галичане, Иза Кремер, городская дума, Анна Степовая...

Дикий кавардак. Оркестр вздыхает, "как чья-то грудь больная", неизвестно только, какою болезнью. Дыму столько же, сколько чада в этих рассказах...

И все это пустяки, а самое важное, главное и смертельное — это то, что весь этот огромный зал, все это энное количество столиков занято офицерами.

— Что они здесь делают?

— Пьют кофе. Читают газеты. Слушают щемящие душу терпко-сладкие звуки скрипок.

Мечта всех "отступательных" дорог, морозных и грязных, исполнилась.

Они пьют кофе у Робина.

— А большевики опять продвинулись. Наши драпанули в два счета! Придется играть в ящик! Ну и прекрасно! Черт с ним!

А пока...

А пока мы все-таки будем пить кофе со сладкими булочками, читать газеты и слушать скрипки.

* * *

Для освежения мысли я вынул из кармана записку, составленную моими друзьями. Эта записка если не была совсем точна, то, во всяком случае, рисовала то, что считалось установленным в городе.

Передо мной замелькали описания всевозможных штабов и учреждений с одной и той же убийственной характеристикой. А это еще что?

"Все высшее начальство уверяет население, что опасности со стороны большевиков для Одессы нет, но вместе с тем во второй половине декабря семьи многих

высших лиц были отправлены в Варну. Это стало известным всему городу и вызвало панику. Вообще(?) большинство стоящих во главе ведомств должностных лиц заняты одной целью — набрать возможно больше денег, потому взяточничество процветает. Лица, заведывающие эвакуацией, берут взятки за предоставление мест на пароходах; комендатура порта — за освобождение судов от мобилизации; управление начальника военных сообщений — за распределение тоннажа в Черном море. Описать хищения, которые происходят на железных дорогах, нет возможности — там пропадают целые составы поездов с казенным грузом. Началась пляска миллионов..."

И так далее и так далее, все в этом же роде.

Даже если бы все это была неправда, то всеобщее убеждение, что это так, означало гибель дела.

Ангел смерти витал над самое себя заклеймившей Одессой.

* * *

Улицы Одессы были неприятны по вечерам. Освещение догорающих "огарков". На Дерибасовской еще кое-как, на остальных темень. Магазины закрываются рано. "Сверкающих" витрин не замечается... Среди этой жуткой полутемноты снует толпа, сталкиваясь на углу Дерибасовской и Преображенской. В ней чувствуется что-то нездоровое, какой-то разврат, quand même, — без всякой эстетики... Окончательно перекокаинившиеся проститутки, полупьяные офицеры...

"Остатки культуры" чувствуются около кинотеатров. Здесь все-таки свет. Здесь собирается толпа, менее жуткая, чем та, что ищет друг друга в полумраке. Конечно, пришли смотреть Веру Холодную. После своего трагического конца она стала "посмертным произведением", тем, чего уж нет...

Меня потянуло взглянуть на то, чего уж нет, — на живущую покойницу. Я вошел в один из освещенных входов.

Что это такое? Офицерское собрание или штаб военного округа? Фойе было сплошь залито, как сказали бы раньше, "серой шинелью" и, как правильней сказать теперь, — "английской"...

Нельзя сказать, чтобы Верочка Холодная все же не доставила мне удовольствия. Как жадно стремимся мы

все насладиться хотя бы в последний раз тем, чего уже нет, и много ли нас осталось бороться за то, чего еще нет...

Ангел смерти витал над "поставленным к стенке" городом...

"Отрядомания"

Все чувствовали тогда в Одессе, что так дальше нельзя. Разложение армии по тысяча и одной причине было ясно. Ясно было, что именно потому она и отступает, что наступила осень и зима не только в природе...

> В душе моей зима парила,
> Уснули светлые мечты...
> *(Романс барона Врангеля)*

Что делать?

Прямой путь был ясен. Надо было встряхнуть полки железной рукой. Но для этого надо было, во-первых, где-то их собрать. На бесконечных "отступательных" дорогах этого нельзя было сделать. Ибо можно было писать сколько угодно приказов, и они писались, но исполнять их было некому. Командиры частей частью сами "заболели", частью были бессильны. Надо было иметь возможность, опершись на какую-нибудь дисциплинированную часть, привести остальных в "христианскую веру"...

Таких "мест", центров, куда стекала отступающая стихия, было собственно три: Кубань, Крым и район Одессы.

В каждом из этих центров было одно несомненно данное: дальше было море. Дойдя до моря, надо было или сдаваться или "драться"... Но был еще третий выход — корабли... Конечно, ясно было, что всем не сесть на пароходы, но каждый думал про себя, что он-то сядет, а остальные... ну что остальные — chacun pour soi, dieu pour tous!*

Однако, конечно, везде были элементы, которые не желали садиться на пароходы. Они готовы были драться

---

* Каждый сам за себя, один бог за всех! *(фр.)*.

и уже поняли, что спасение в покаянии и в дисциплине. Были такие элементы и в Одессе.

Если бы в Одессе оказался "человек", сопротивление было бы... Но человек этот непременно должен был быть получен "иерархическим" путем, т.е. сверху. Короче говоря, это должен был бы быть назначенный главнокомандующим Деникиным генерал. Естественным генералом был бы, конечно, главноначальствующий Новороссийской областью генерал Шиллинг.

Но генерал Шиллинг ни в какой мере нужным "человеком" быть не мог.

Я совершенно не касаюсь всего этого дурного, что о генерале Шиллинге говорили. Все это я слышал, все это я впускал в одно ухо и выпускал в другое, твердо памятуя, что человеческая гуща вообще легкомысленно-лживая, "отступающая" стихия непременно озлобленно-несправедлива, а "Одесса-мама", сверх того, всегда была виртуозно изобретательна в смысле сочинения всяких мерзостей... Этому мутному потоку вообще не следует поддаваться.

Но что генерал Шиллинг не был "человеком" в нужном смысле, человеком момента, — это для меня совершенно ясно. Он не мог решиться на то, что должен был сделать: расстрелять нескольких командиров полков для того, чтобы привести остальных в сознание действительности. Не мог он и собрать около себя дисциплинированного кулака, который сумел бы внушить расхлябавшейся массе, что главноначальствующий имеет возможность заставить себе повиноваться.

Раз генерал Шиллинг, т.е. естественный "человек", человек "сверху", не мог ничего сделать, а революционный путь, т.е. путь нахождения "неестественного" человека "снизу" или "сбоку", был исключен, то мысль заработала еще в каком-то третьем направлении.

Это "еще какое-то" направление действительно было "какое-то", т.е. несуразное.

Возникла мысль почти у всех одновременно такая: если старые части разложились, значит надо формировать новые.

В сущности говоря, это было повторение пройденного: ведь когда погибла старая русская армия, генерал Алексеев сейчас же взялся за формирование новой — добровольческой армии. Но существенная разница состояла в том, что тогда во главе стал бывший верховный главнокомандующий, старый техник, хорошо знавший

свое ремесло. Теперь же, здесь, в Одессе, за негодностью "генералов", за дела схватились кто как мог, и получилась эпоха одесской "отрядомании".

Кто только не формировал отряды! И "Союз Возрождения", и "немцы-колонисты", и владыка митрополит высокопреосвященнейший Платон, и экс-редактор "Киевлянина"...

Генерал Шиллинг помогал этим начинаниям так, как говорят хохлы: "Як мокре горыть"... Шаг вперед, два назад, а в это время большевики делали три шага к Одессе.

* * *

Я пошел к митрополиту Платону.

Я люблю бывать у владыки иногда.

Во-первых, уже самое настроение этих митрополичьих покоев действует как-то утешающе... Ну, что же такое, что придут большевики! Они уже были и ушли. Еще придут и еще уйдут. А митрополичьи покои стоят и будут стоять. И так же в них будет, как было. Государства валятся, троны рушатся, а церковь устоит... Устоит русская церковь, устоит русский язык... Эти две силы создадут третью: единого двуглавого орла... Одной головой он будет смотреть на наше Великое (да, великое, безумцы) Прошлое, другой зорко искать путей к Великому (верю, господи, помоги моему неверью) Будущему...

Владыка митрополит был очень увлечен своим "священным отрядом". И митрополит Платон, как тогда в Одессе было обязательно, тоже "формировал" что-то... Но до меня уже дошли кое-какие сведения о том, что там делалось. Увы, в "священный отряд" вошли каким-то образом... "уголовные элементы". Я в осторожной форме предупредил владыку, как легко погубить дело и как особенно на виду отряд, создаваемый под покровительством митрополита.

Все-таки стало легче на душе, когда я ушел оттуда. Я почти был убежден, что из священного отряда ничего не выйдет священного. Я получил достаточные сведения о "священных людях", которые туда пошли... И все же...

И все-таки соприкосновение с "духовным" миром всегда освежает. Я вовсе ничего не идеализирую... Я знаю и вижу нашу русскую церковь... И все-таки среди этого расцвета зла, когда поля и нивы заросли махровыми,

буйными, красными будяками, церковь уже потому утешает, что она молится...

Молитва богу всегда белая. Белая — вековечно... А бог — сама Вечность.

* * *

Очень большой какой-то дом. Не помню, где это.

Тут формируется "самый важный" отряд. Этот отряд, кажется, находится под "сильным покровительством"... Но чьим? Хорошенько не разберу.

Кажется, он называется... впрочем, оставим это. Nomina sunt odiosa.*

Словом, это должен быть "полк"... Первый батальон такой-то организации, второй — такой-то общины, третий — такого-то учреждения... четвертый — мог бы быть наш "отряд особого назначения"...

Я добираюсь до командира полка. Двигаюсь постепенно из этажа в этаж, из комнаты в комнату. Внизу меня слегка коснулся запах спирта. Затем этот запах все усиливался, по мере того как я двигался выше, по всяким "отросткам" мгновенно сформировавшегося штаба... Вообще мы двигались беспрепятственно. Мой спутник называл меня. И тогда пьяные и полупьяные лица, перед этим скользившие по моим "подпоручицким" погонам полупрезрительным взглядом, делались любезными и милыми, поскольку они могли быть милыми. Потому что... ведь так много разрушено за это время. Разрушалось и искусство быть любезным...

Запах спирта достиг наивысшего напряжения, когда я достиг командира полка.

Этот полковник был пьян. Он был молод, и лицо у него было тонкое. Бритое, худощавое, оно носило отпечаток энергии. Но какой "энергии"? Это было почти очевидно.

Полковник принял меня в высшей степени любезно. Но из его "повышенных" объяснений я понял, что денег ему еще не дано — раз и что полк его еще не "утвержден" — два. Что кто-то (кто, неизвестно, но какие-то люди или "силы") мешает... Что генерал Шиллинг сочувствует, но...

— Впрочем, мы их зажмем! В два счета! Церемониться не станем... Нет, уж не до церемоний... Куда же

---

* Не будем называть имена *(лат.)*.

дальше... ведь штабы будут на пароходе... а мы? Нас, как цыплят, угробят? Нет! Довольно!

Запах спирта усилился, потому что пришел кто-то с докладом...

— Господин полковник, разрешите доложить...

Офицер тянулся, хотя был пьян...

Полковник, приняв доклад, продолжал громить кого-то.

Я его плохо слушал. Я понял.

Все пьяны, денег нет, разрешения нет... и это при сильном "покровительстве".

А большевики в этот день опять сделали большой скачок.

Мы "драпанули" — "в два счета"...

* * *

Опять здание. Опять этажи. Но спирта что-то не слышно.

Добираюсь еще до одного формирующего полковника. Молодой очень, но энергичный, производит симпатичное впечатление. Из "осважников"*. Переменил перо на винтовку. Тут "что-то слышится родное".

— Деньги получили?

— Нет — какое там...

— Как же?

— Да как-то наскребаем пока.

— Утверждение?

— Да вот хлопочем.

— Много у вас...

— Пока около ста человек.

— А ведь большевики движутся...

— Конечно, движутся...

— А знаете что, будем связь держать...

— Хорошо... а зачем?

— Да мало ли что может случиться... драпанут в два счета... теперь не на кого надеяться... только на себя... в случае чего... перебирайтесь к нам...

Мы уславливаемся.

В городе по самому скромному счету двадцать пять тысяч одних офицеров. А тут два отряда, общей численностью не превышающие двести человек, "договариваются" о "совместных действиях".

---

* ОСВАГ - Осведомительное агентство, крупнейший идеологический центр "белого дела".

* * *

Еще какое-то формирование. Та же картина. Здание, этажи.

* * *

Штаб. Денег пока нет. Разрешение — "хлопочут"...

* * *

И еще... и еще...

Есть еще немцы-колонисты. У них свой "генерал". У них свой комитет — какой-то немецко-русский совдеп, где одерживаются бескровные победы на внутреннем фронте.

Деньги? Кажется, есть.

Люди? Говорят, были. Но разошлись... И вообще они желают защищать только каждый свою колонию, а другой не желают. Кроме того, немцы говорят: "Мы пойдем, если русские (крестьяне) пойдут". А русские крестьяне будто бы говорят: "Мобилизуйте нас — тогда пойдем, а добровольно не пойдем — страшно"...

* * *

Есть еще "Союз Возрождения". У него дело чуть лучше. Они получили и деньги и разрешение. В благодарность за явное покровительство "белых" генералов "розовенькой общественности" эта последняя умеренно политиканствует. Создают какой-то совдеп. Как он называется? "Комитет защиты Одессы", кажется... Чуть ли не "Комитет Спасения". Они никак без этого не могут обойтись. Большевики уже давно поняли, что в совдепе несть спасения, а у этих все еще к ним "влечение — род недуга".

* * *

Городская дума. Она отнюдь не розовенькая... Наоборот. Мы победили в Одессе на городских выборах в декабре 1919 г. Казалось, это было невероятно. В Одессе победить нам — русским... А вот победили.

Выборы вели мои друзья, сгруппированные в органи-

зацию, привыкшую к дисциплине. Победу дало изобретенное ими в высшей степени удачное название. Как все "гениальное", это было в высшей степени просто: "христианский блок". Никаких программ, никаких угроз и никаких обещаний. Но все, кому нужно было, поняли друг друга.

Однако "наша" дума, как всякий совдеп, не избежала общего закона совдепов: она собирается делать "скопом" дело, которое делается только "в одиночку", т.е. защищать город.

Она тоже что-то "формирует".

* * *

У генерала графа Х. Крайне любезен. Он получил специальную задачу и имеет свой штаб. Он должен "объединить" все формирования. Для этого он разбил весь район Одессы на "секторы". Каждый сектор предполагается отдать примерно какому-нибудь отряду, так сказать, "в лен". Но все-таки не совсем так. В каждый сектор будет послан полковник без отряда. Потом придет отряд и поступит в распоряжение полковника.

— А что же будут делать полковники, формирующие отряды?

— Да, это надо уладить...

Уладить этого никак нельзя. Ведь если лю́ди при этой агонии еще идут в какие-то формирования, то они идут к офицерам, которых они знают или авторитет которых высок. К "каким-то полковникам" они не пойдут, ибо авторитет "погон" потерян в развале отступления — ищут людей...

Но генерал граф Х. не понимает, какую смесь "французского с нижегородским" он устраивает. Или "партизанщина" — отрядомания, или "все по уставу". Но эта смесь митрополитов, редакторов, "атаманов" всякого сорта и совдепов всякого рода с старорежимными генералами дает нечто несуразное...

Да и вообще...

Нет, общий сумбур не уменьшится от того, что изобрел новый штаб генерала графа Х.

* * *

Куда еще?

Да вот еще есть отряд инженера Кирсты. Это рабо-

чие, которых он вывел из Киева. Их называют "кирстовцы", еще "крестовцы"... В Киеве они назывались "рабоче-офицерская рота".

Утверждение есть — киевское... Денег, конечно, нет. Ни киевских, ни одесских... Отряд, если не ошибаюсь, сидит безвыездно в каком-то этаже какого-то здания... за "босостью".

Вхожу с ними в контакт.

* * *

Есть еще атаман — Струк — "малороссийский отряд". Он бывал у меня в Киеве. Тут он тоже что-то формирует. И, говорят, у него много народу.

Разрешение — киевское. Деньги?

Денег нет, но, очевидно, он им что-то обещает.

Но что?..

* * *

Довольно. Пойду к себе в "свой" отряд.

* * *

"Отряд особого назначения" был попыткой создать кадр "просвещенных исполнителей" хотя бы для одного уезда.

Разумеется, теперь ясно, что это был кустарный дилетантизм, Kinderspiel*, покушение с негодными средствами... как и вся одесская "отрядомания", впрочем. Однако нельзя не сказать, что это обычный путь человеческой мысли: когда теряют надежду спасти целое, пытаются начинать с атомов...

Мой "атом" формировался почти исключительно из учащейся молодежи. Денег мы пока не получали — содержали отряд всяческими ухищрениями, "утверждение" самого отряда бесконечно тормозилось в разных штабах. И то и другое было получено накануне занятия Одессы большевиками.

* * *

Я вошел в гимнастический зал.

— Смирно! Равнение налево! Господа офицеры!

---

* Детская игра *(нем.)*.

Это командовал полковник А., "назначенный" начальником отряда.

Кем он назначен? Пока никем. Мною. А я кто такой?

Да, вот тут-то и начинается "часть неофициальная".

Передо мной, вытянувшись, как полагается, замерла горсточка. Мой "атом". Это были почти сплошь гимназисты. Им нелепо было сказать "здорово, ребята, молодцы, орлы" или что-нибудь подобное. Я сказал им:

— Здравствуйте, господа.

— Здравия желаем...

И смешались. Одни сказали: "господин подпоручик", другие: "господин полковник", третьи: "ваше превосходительство"...

Так и должно было быть. Кто же я был в самом деле?

Если бы они были искренни, они бы ответили:

— Здравия желаем, господин редактор "Киевлянина".

Но этого, конечно, нельзя ответить. Почему? Да потому, что "редакторы" не формируют отрядов. По крайней мере, там, где все обстоит благополучно. И если произошел такой случай, что не только редактор, но и митрополит делаются "начальниками отрядов", то, значит, все пошло шиворот-навыворот...

Так оно, конечно, и было.

Но le vin est tiré, il faut le boire*.

Исход

Дело становилось окончательно ясным: Одессу сдадут. Я, кстати, заболел и, лежа в постели, подписывал бесконечное количество "удостоверений" на английские пароходы. На этих удостоверениях английские власти ставили визу, и это служило пропуском на пароход. Но приходилось выдерживать характер. Добивались удостоверений и те, кому, по моим понятиям, надо было бы сесть на пароходы "последними", т.е. совсем не садиться, ибо на всех места хватить не могло...

Итак, все строилось на "драп". В ушах у меня все время звучала фраза из модернизированного романса, которая стала с некоторого времени канонической.

Das war ein Drap...**

---

* Вино откупорено, и нужно его пить *(фр.)*.

** Это было бегство *(нем.)*.

Впрочем, это, вероятно, было потому, что у меня начинался легкий жар.

* * *

В городе шла эвакуационная лихорадка.

Ко мне постоянно забегали разные люди со всякими сенсациями. Большевики там, большевики здесь... Такой-то генерал уже сел на пароход. Такой-то штаб укладывается, и такая-то дама сунула им столько-то чемоданов со столькими-то платьями.

Генерал Шиллинг еще был на берегу: Он будто бы сердится, когда ему говорят об эвакуации, и обещает еще держаться десять дней, но, между прочим, уложено все до последнего ящика.

* * *

Итак, я подписывал удостоверения. Для моего развлечения, очевидно, прибежал кто-то "в паническом" и сообщил, что "атаман" Струк сегодня ночью собирается меня арестовать. Это был, конечно, вздор, но на всякий случай я написал Струку письмо, в котором я предупреждал его, что к нему, вероятно, прибегут сообщить, что я собираюсь его убить, так чтобы он не пугался. Однако я чувствовал, по некоторым другим признакам, что нечто украинообразное выскочит в последнюю минуту. Среди "кофейного" офицерства внезапно наступило успокоение: они вдруг возложили все свои надежды на какого-то генерала Сокиро-Яхонтова, выплывшего "из-за острова на стрежень".

Это было совсем нелепо, но...

Впрочем, об этом дальше.

С каждым часом атмосфера уплотнялась. Положительно всем, кто хотел попасть на пароходы, надо было укладываться.

Самая грустная вещь в этих эвакуациях это, кажется, та минута, когда приходится решать, что спасти из... "архивов".

В Киеве мне пришлось сжечь интереснейшие вещи. Но многое я вывез. Для чего? Для того, чтобы утопить в одесской воде то, что не сжег в киевском огне.

В общем от всего, что было написано или записано в течение всей жизни, не осталось ни строчки...

* * *

24 января, вечером, я решил, что довольно болеть. Ясно было, что каждую минуту можно было ожидать ”перемены обстановки”.

Надо было переходить на ”военное положение” т.е. идти в ”отряд”.

Я оделся. Мы вышли. На улицах было ”соответственно”. Обозы, часть артиллерии— вошли в город. Напротив моей квартиры происходила какая-то каша из англичан и ”Союза Возрождения”. На Екатерининской площади вырастали горы чемоданов и ящиков, среди которых сновали автомобили. На Дерибасовской был кой-какой свет. Сновали люди. В полутемноте была жуть, но город еще жил. Вдруг неожиданно и тяжело по улицам прошелся звук очень большого орудия, очевидно, с английского дредноута. Это должно было обозначать, что большевики заняли такой-то ”квадрат”, доступный обстрелу с моря. И сразу все изменилось. Все огни потухли. Толпа куда-то смылась, и только мальчишка на углу, который перед этим продавал папиросы за сто рублей коробка, стал требовать триста.

* * *

Образовалась плотная темнота, которую от времени до времени буравили выстрелы винтовок, где и по ком, впрочем, неизвестно. Темнота эта была совершенно пустынная, улицы вымерли.

* * *

Но в эту ночь мне еще пришлось вернуться к ”источнику осведомления”. В это время командование уже перешло в руки полковника Стесселя, ”начальника обороны города Одессы”. Его штаб был в английском клубе. Я пробрался туда через зловеще-пустынный город. Тяжелые английские орудия еще два или три раза всколыхнули темноту, такую густую, как повидло. В клубе масса народу, толпа. Очевидно, сюда жмутся. Светят какие-то жалкие огарки. Мрачно. В этой мрачности непрерывно снуют, входят и выходят, и чувствуется, что происходит какая-то пертурбация. Какие-то украинские офицеры приезжали и уезжали в автомобиле. Раза два

раздалась "балакающая" "мова". Конечно, это было так, а не иначе: происходила сдача командования "господину нашему" генералу Сокире-Яхонтову.

Зачем генерал Шиллинг, сев на пароход, передал командование неизвестно откуда взявшемуся и не имевшему никаких сил (триста галичан, да и то лежавших в госпиталях) и явно внушавшему всем недоверие генералу Сокире-Яхонтову, — это секрет изобретателя. Однако это было проделано. Полковник Стессель получил от генерала Шиллинга письмо с приказанием подчиниться украинскому спасителю.

Эта передача власти, несомненно, ускорила сдачу Одессы дня на два, ибо кто-то стал надеяться на кого-то, и даже те немногие, что могли что-нибудь сделать, были сбиты с толку.

Узнав, что "такое-то отношение", т.е. что генерал Шиллинг украинизировал нас с парохода, я отправился обратно в свой отряд со смутной мыслью распустить его по домам. Ибо если можно еще донкихотствовать под трехцветным флагом, то под "живто-блакитным"... покорнейше благодарю... "Довольно колбасы", как говорили в таких случаях на доброармейском жаргоне.

* * *

Но распустить отряд не пришлось. События пошли таким темпом, что пришлось не распускаться, а, наоборот, "всим збираться до купы"...

* * *

Рано утром 25 января я был в порту. В порту в это время было еще сравнительно прилично. Правда, люди бегали по всем направлениям, усаживаясь на всякие суда, но особых инцидентов не происходило. Поддерживали порядок юнкера. Им было обещано, что их возьмут на пароход после окончания погрузки. Было чуть морозно, но ярко светило солнце.

Я пришел на нашу "собственную" баржу. Тут мне стало жутко. Баржу должен был тащить наш "собственный" пароход. И пароходик и баржа внушали невольную мысль, что они никак не выйдут в море, а если выйдут — погибнут. А между тем все было уже битком набито народом. Среди них у меня столько было близких и друзей. Я никак не мог решить, прощаясь с ними, кто подвер-

гается большей опасности. Они провожали меня слезами, считая, что я "обрекаюсь" на верную гибель, оставаясь на суше, а я, конечно, не сказал им, что думаю то же о них, "плавающих, путешествующих"... Ужасны эти разлуки при такой обстановке...

На обратном пути из порта я имел благоразумие зайти в штаб Стесселя. Не знаю, какова была бы судьба всех нас, собравшихся в "мой" отряд, если б я этого не сделал. Начальник штаба, полковник Мамонтов, дал мне приказание немедленно привести отряд к штабу, ибо, как он выразился, "надо сжаться в кулак".

— Неужели город очищается? А Сокиро-Яхонтов?

Мамонтов махнул рукой.

— Принял командование ночью, а утром прислал сказать, что снял с себя командование. "Кончилось счастье"...

— Ну а районные коменданты? Есть же что-нибудь?

Он посмотрел на меня выразительно.

— Отжимайтесь к штабу. И немедленно...

* * *

К своему удовольствию, я застал отряд весьма готовым к выступлению. Большевики были где-то неподалеку. На соседних улицах что-то уже происходило. Что именно, в то время узнать нельзя было.

Мы вышли. "Отряд особого назначения", выведенный на улицу, представлял из себя приблизительно следующее.

Первая рота: человек тридцать офицеров самого разнообразного происхождения. Несколько из них, испытанных друзей, другие — прибежавшие в последнюю минуту, не зная, куда деться.

Вторая рота: около пятидесяти человек молодежи, преимущественно гимназистов.

Сверх того, около десяти дам, несколько мужчин штатского вида, способных и неспособных носить винтовку, двенадцатилетняя Оля и четырнадцатилетний Димка, мой младший сын.

Хозяйственная часть: одна подвода неизвестного происхождения, но переполненная вещами.

Мы шли по городу. Пулеметы трещали на соседних улицах, но пока мы двигались благополучно. Кто с кем там дерется, никак нельзя было сообразить. По тротуа-

рам бежали люди с чемоданчиками и узелками. Очевидно, в порт.

"Нормальной", обычной публики не было.

Без особых приключений мы дошли до английского клуба — на углу Пушкинской и Ланжероновской. Тут мы увидели "главные силы".

Полковник Стессель со своим штабом стоял уже на улице. За штабом находились какие-то части в таком количестве, что прибытие нашего отряда, в котором не было ста человек, оказало заметное влияние.

Итак, это было все. Я понял, что мы подошли последними. В критическую минуту от двадцатипятитысячной "кофейной армии", которая толкалась по всем "притонам" города, и от всех частей, вновь сформированных и старых, прибившихся в Одессу, — в распоряжении полковника Стесселя, "начальника обороны", оказалось человек триста, считая с нами.

* * *

Трескотня усиливалась. Стессель приказал сделать разведку по Ришельевской и Пушкинской. Я пошел с несколькими офицерами и молодежью по Пушкинской. Развернулись в цепь. Мальчики несколько путали, но держались смело. С Дерибасовской стали долетать пули. Тут поднялся крик:

— Из окон стреляют!

Я приказал им укрыться и стал присматриваться.

У окон действительно появились какие-то дымки — в верхних этажах. Я начал соображать: почему дымки при бездымном порохе? И почему дымки там, где окна закрыты? И скоро понял, в чем дело.

Эти дымки производили пули, ударявшиеся о штукатурку. По Дерибасовской из-за горки кто-то палил. Попадая в дома под острыми углами, пули рикошетировали, рождая эти желто-серые дымочки из пыли известкового камня. Ларчик открывался просто, а меж тем сколько раз в гражданской войне оба противника обвиняли мирное население в стрельбе из окон. Это в некоторых случаях, конечно, бывало, но по большей части это были, вероятно, только "штукатурные" дымки.

Мы не успели "вступить в бой", как пришло приказание оттянуться.

Вернувшись к Ланжероновскому спуску, мы увидели, что уже никого нет.

"Главные силы" отступили в порт.

На что, собственно, рассчитывали, мы хорошенько не знали: должно быть, на посадку на пароходы. Словом, мы отошли вместе с прочими.

* * *

В порту была каша. Куда-то тянулись части, повозки, отдельные люди, публика в нелепой смеси

имен и лиц, племен, наречий, состояний.

Где-то кого-то куда-то почему-то не пускали юнкера. Потом пустили.

В общем, мы очутились на том молу, который ведет к маяку. Другими словами, больше деваться было некуда: с трех сторон вода, с четвертой мятущаяся каша людей, повозок, лошадей, орудий, броневиков, автомобилей.

Мы расположились чего-то ждать около каменных сараев. Так выжидательно бессмысленно продолжалось некоторое время. Очевидно, столько времени, сколько большевикам понадобилось, чтобы установить пулеметы в Александровском парке и вообще на высотах, окружающих порт. Мы поняли, что это сделано, когда они стали обстреливать нас. Люди бросились за каменные сараи. Какой-то броневик поднял трескотню с нашей стороны. Эта наша трескотня была в высшей степени неприятная: сознаюсь, мои нервы не созданы для такого шума. Большевики стреляли плохо. Они могли бы, выражаясь по-старозаветному, "залить нас свинцом", но в общем ранили несколько человек. Однако этого было совершенно достаточно, чтобы все пароходы "драпанули в два счета" в море.

В это время среди горсточки людей, дошедших до последнего предела и жавшихся к каменным сараям на молу, родилось наконец то, чего столько времени ожидали, — инстинкт сопротивления.

Вдруг вырвались какие-то люди, насколько помню, это были даже не офицеры, а солдаты-драгуны. Они, неистово жестикулируя, стали кричать, яростно кого-то упрекая:

— Ну что же, господа! Еще долго так будет? Куда еще? Море кругом! Дальше не пойдете, нет! Так вот, вот так и пропадем? Пойдем, трам-тарарам, выбьем их,

трам-тара-рам, с их пулеметами к трам-тарарамной матери!.. Идем!!

Хотя эта речь была брошена к толпе, почти наполовину состоявшей из женщин, детей и никчемников, однако она произвела впечатление. Была подана мысль — пробиться. Был найден исход. Первоначально ругнулись, по обычаю, жестко друг с другом. Помню, я ругал какого-то офицера, чтобы он не расстраивал частей и чтобы действовали по какому-нибудь плану... Но все же эта вспышка энергии произвела желаемое действие, и штаб зашевелился. Получено было приказание нашему ”отряду особого назначения” выгнать всех, способных носить оружие, из-под сараев для атаки высот.

Я пошел ”выгонять”. Это было дело скучное и противное. Приходилось торговаться и спорить с офицерами всяких чинов, утверждавшими, что они ”больны” или что-нибудь в этом роде.

* * *

Скоро мне надоели эти обязанности ”особого назначения”, и вместе с теми, кого удалось вытащить, я двинулся по молу по направлению высот.

По дороге к нам присоединялись еще какие-то люди, а во главе всех очутился полковник Мамонтов. Он неистово кого-то ругал и показывал кулак Одессе. Удивительно, что это не было смешно, а, наборот, производило впечатление чего-то подбадривающего.

Большевистские пулеметы в это время замолчали, точно испугались того решительного вида, с которым наша горсточка быстро двигалась по молу. На самом деле это было не так. Драгуны, побежавшие раньше нас, уже были на высотах, — большевики отступили еще перед ними. Но там что-то еще происходило, потому что навстречу нам бежали люди, которые неистово нас торопили, требуя помощи. Мы пустились бегом и стали подниматься по какой-то лестнице. Я помню, что у меня была только одна мысль — не задохнуться к концу ступеней...

Наверху, в парке, среди его редких деревьев двигались какие-то цепи, по-видимому, без всякого руководства. Я со своей горсточкой взял почему-то вправо, но мог с тем же успехом взять и влево. Мы прошли парк, причем нас все время уверяли, что большевики ”идут”, но увидеть их я никак не мог. Таким образом, мы вышли на Мараз-

лиевскую, с ее большими домами и шикарными подъездами. Из какой-то поперечной улицы будто бы стреляли. По крайней мере, на углу столпилась горсточка наших и не решалась перейти улицу. Кто-то упорно утверждал, что "они" засели в таких-то окнах и оттуда палят. Это всегда бывает в таких случаях. Основное правило — не верить очевидцам в бою, ибо людям мерещится бог знает что. На самом деле никого в переулке не оказалось, и, когда это стало ясным, все двинулись гурьбой за нами. Однако еще через поворот наконец мы "вошли в соприкосновение с противником". Оттуда действительно постреливали. В это время около меня образовалась горсточка людей, которые почти все были мне незнакомы, но почему-то исполняли мои приказания. Я поставил одного из них на самом углу, а остальных спрятал вдоль стенки. Этому одному передавали заряженные винтовки, и он открыл пальбу. С колена, спокойно, на мушку. Это возымело действие. Какие-то черные фигуры, которые копошились через несколько кварталов, побежали и исчезли в боковых улицах. Мы двинулись дальше гуськом, под стенами. Доходя до углов, осматривались вправо и влево и двигались дальше. Несколько трупов оказалось на тротуарах...

Прошли еще несколько улиц. Постреляли еще. Меня начало брать сомнение, не стреляем ли мы в прохожих. За газетным тамбурином, через два квартала, ютилась кучка людей. Я начинал думать, что это не большевики, а случайные прохожие, которых зажали — ни туда ни сюда. Я приказал прекратить пальбу. Но какой-то пришедший в азарт продолжал расстреливать тамбурин. Взглянув ему в лицо, я увидел, что это "восточный человек". Я снова приказал ему перестать. Он не послушался: черно-масляные восточные глазки горели неистово; он был в трансе. Я вынул револьвер. Это привело его в чувство; он заявил мне, что он офицер, адъютант такого-то полковника, но стал слушаться.

Вперед больше не приходилось идти. Мы потеряли связь со штабом, планы которого были мне совершенно не известны. Но в общем я думал, что взять весь город не входит в нашу задачу, а достаточно освободить порт от обстрела. Кроме того, нас могли обойти. Мы стали отходить. По дороге поймали какого-то мальчишку лет двадцати, который сказал, что он "не жид", но на требование "восточного человека" "перекреститься" — перекрестился неправильно. И я опять должен был употре-

бить угрозу, чтобы этого еврейчика отпустили, ибо восточный адъютант был совершенно убежден, что это большевик, только что бросивший винтовку, тогда как для меня было совершенно ясно, что вздор.

На Маразлиевской мы встретили еще другие группки. Всем страшно хотелось пить. Какие-то дамы поили нас водой, но с большой опаской, боясь мести большевиков.

* * *

Пришло приказание оттянуться на гребень Александровского парка и держать его. Мы отошли, заняв позицию неподалеку от Александровской колонны.

Я пошел посмотреть, что делается в парке. Сверху все было видно. Все пароходы ушли из порта. На молах копошились люди и обозы. Как-никак, мы чувствовали себя победителями, ибо заняли вершину и защитили порт, где у каждого из нас были близкие и родные.

Ужасно хотелось есть. И вдруг, как бывает в сказках, появились добрые феи. Это были три молоденькие барышни-мещаночки, путешествовавшие по гребню с огромным чайником и с белым хлебом. Мы сначала даже не поверили, что они вышли специально кормить нас. Но это было так. Я сказал им:

— Вы очень рискуете.

На что они ответили:

— Умирать один раз... И ничего нам не будет...

Этот чай был замечательно вкусным. Уже не в первый раз я делал наблюдение, что средний слой гораздо более отзывчив и смелее, чем высший. То-то большевики и боятся больше "мелких буржуев", чем крупных.

Так, в общем, дело дотянулось до вечера. Я очень беспокоился, что нигде не вижу своих сыновей. Становилось холодно. Мы тщетно разводили какие-то костры, проявляя при этом обычную интеллигентскую никчемность.

Через долгое томительное время пришло сообщение из штаба, что, если до десяти часов вечера нас не заберут на пароходы, мы выйдем из города в направлении на Румынию. Вместе с тем стало известно, что полковнику Стесселю лично было неоднократно предложено сесть на пароход, на что он ответил:

— Что, вы меня подлецом считаете?..

Это произвело хорошее впечатление.

До десяти часов еще было время, почему я решил обойти порт. Меня беспокоила баржа, где было столько моих друзей. Я знал, что она отойти не могла, и думал вытащить их и взять в отряд. В темноте мы долго бродили по молам. В одном месте, где было темно и пусто, мы услышали какие-то стоны.

— Кто это?

— Помогите... Замерзаем...

— Кто вы?

— Мы жены офицеров. Я еще ничего... Мама совсем замерзла...

Это были две женщины. Они лежали у стенки, на молу.

— Помогите... Нас бросили...

Мы с трудом подняли их и повели. Куда — мы сами не знали хорошенько. На счастье, мы наткнулись на какую-то большую толпу, которая в темноте рвалась к какому-то только что пришвартовавшемуся судну. Я понял, что это одно "специальное" судно, о котором я уже что-то слышал. Покрывая крики и шум, с судна неистово вопил голос, показавшийся мне знакомым:

— Поручик Б.! Поручик Б.!

Я понял. Это была компания... словом, теплая компания... Та самая, что "гробила" полковника Кирпичникова...

Они и здесь проявили свои качества, захватив судно в свое распоряжение. Но на этот раз — fiat justitia* — они делали благое дело: принимали на борт, кроме своей "шпаны", женщин, больных и раненых. Английские солдаты составили цепь и пропускали по указанию. Но в общем был кавардак. Толпа напирала и жаловалась на все голоса в темноте. Нам удалось протиснуть замерзших женщин. Тут же мы увидели несколько человек близких друзей, офицеров, шатающихся после всяких тифов и воспалений. Они тоже пробивались на пароход. Ужасно было оставить их такими беспомощными и слабыми, но немыслимо взять их в поход. Мы простились тяжело. Некоторых из них я видел в последний раз. Не выдержали дальнейшего.

Баржи я не нашел.

---

* Да восторжествует справедливость *(лат.)*.

* * *

Около десяти часов мы тронулись. Наш "отряд особого назначения" вошел в колонну полковника Стесселя. Не пойму хорошенько, откуда и как образовался колоссальный обоз. Тут была и артиллерия, и броневики, и автомобили, и невероятное количество повозок. Все это сначала никак не могло найти своего места, шло не по той дороге, поворачивало обратно, причем автомобили неистово рычали, слепили глаза, повозки приходили в беспорядок: словом, происходил обычный в этих случаях кавардак... Я не могу сказать, чтобы настроение было жуткое или подавленное. Наоборот, как будто бы найден какой-то исход. В воздухе было морозно, но мягко. Меня лично очень беспокоила мысль о семье, которой я нигде не находил.

Мы стали подниматься бесконечным обозом по Военному спуску. Около моста я вдруг увидел характерную фигуру старшего сына Ляли (имя не очень подходящее для "юнкера флота" восемнадцати лет, но что же я поделаю, если его так все называют "от века"). Он стоял с винтовкой в своей знаменитой папахе "халды-балды", которая придавала ему вид османлиса. Оказалось, что он сторожит меня. Тут же оказались и остальные: другой сын, жена, племянник — Филя Могилевский. Все были в бою, все были живы, что и требовалось. Они были в какой-то вновь образовавшейся роте полковника Н.Н. Рота стояла тут же, у парапета. Они мне рассказали все, как было.

— Страшно интересно... Полковник, правда, симпатичнейший человек...

Ляля моментально производит людей в "симпатичнейшие" и в свои "личные друзья" — счастливое свойство молодости. Димка, младший, более замкнутый и питается переживаниями старшего. В общем первый бой, в котором он участвовал, произвел на него самое лучшее впечатление. Жена рассказывает о том, как перевязывала какого-то большевика в какой-то чайной. Филя дошел до самого собора. Странно видеть его сугубо-штатскую фигуру с винтовкой. Он как-то мало понимает, что с ним происходит, какой-то рассеянный. Пуля оцарапала ему руку.

Пошли.

По-видимому, большевики были основательно отжаты. Наше отступление решительно никем не было потре-

вожено. Наш отряд шел в арьергарде, последним. В арьергарде отряда шли мы вдвоем с Лялей.

Было совершенно тихо. Улицы были абсолютно пусты, но и не очень темны. Кое-где что-то горело — не то фонари, не то окна. Мы двигались шагов на сто позади колонны, в качестве дозора. Все было мирно. Единственным происшествием была кем-то брошенная повозка. В ней мешок сахара-рафинада. Это было страшно приятно. Удивительно, как сахар поддерживает расположение духа. Ляля набил полные карманы, перемешав его с патронами, которыми он всегда нагружен. Он держался молодцом, что меня удивляло, так как он был болен — температура поднялась. Обычный припадок малярии, имеющий обыкновение присасываться к нему во всяких подходящих и неподходящих случаях.

* * *

Постепенно колонна вытянулась за город, и пошли бесконечные "фонтаны". Утомление целого дня, к тому же без пищи, сказывалось. Но в общем все держались. Держались и дамы, которых было много в колонне. Бодро двигалась маленькая Оля, напоминавшая Фрикетту из романов Буссенара. На какой-то "станции", под каким-то забором, Ляля свалился. Я положил его как можно ниже головой, и обморок прошел. Боясь, что причитания матери его расслабят, я взял его под руку, и он пошел бодро. К счастью, мы натолкнулись на какое-то учреждение — какая-то больница, — где, несмотря на поздний час (два или три часа ночи), почему-то давали чай. Комната набилась народом. Откровенно говоря, это было приятно. Сестры очень заботились, чтобы не стащили кружек, что, по-видимому, было в моде. Тут было тепло, силы восстановились.

Когда мы вышли, мы вдруг заметили, как стало холодно и что снег уже запорошил дорогу. Пошли. Шли до рассвета. Шли часть следующего дня. Пришли в какую-то немецкую колонию, где назначен был отдых. Разместились в школе. Отдыхали на партах, закусывали хлебом и салом. Проходили какие-то немцы-колонисты, что-то обещали, о чем-то совещались, но ничего не сделали. В три часа вышли опять.

Спускаясь с пригорка, почему-то пришли в хорошее расположение духа. Запели.

Удивительно, как эти песни действуют. Физиологическое действие музыки требует более вдумчивого и тщательного изучения. Повеселели, и кстати, ибо идти было трудно. В особенности трудно было дамам и с неприспособленной обувью.

К ночи пришли в колонию, где было недурно. Долго выбирали свободную хату, где бы не было тифа. Поели и крепко заснули.

На следующий день с утра поход возобновился. В следующем селе было некоторое развлечение. Над нами разорвалось несколько шрапнелей, и наш броневик "Россия" открыл ответную стрельбу. Куда и в чем было дело, — кажется, никто не знал. Во всяком случае, мы пошли дальше. К вечеру добрались до каких-то хуторов, где втиснулись в какую-то хатку обогреваться. Шли дальше. Через некоторое время на горизонте очень красиво засверкали огни. Этот город казался совершенно сказочным, так, как рисуют на картинках. Мы думали, что это Овидиополь. Но когда ночью вошли наконец в этот последний, крайне замерзшие и усталые, то сказочный город был все так же далеко, где-то на краю земли. На самом деле он был не на краю земли, а на краю воды, или, вернее, льда, ибо это был Аккерман. Между ним и нами был замерзший лиман девять верст шириной.

Какая мука искать квартиры глухой ночью, когда человек уже на пределе усталости и замерзания. Но мы искали. Я разослал самых энергичных своих молодых друзей в разные стороны. Долго ничего не удавалось, но наконец поручик Л. явился с радостной вестью, что квартира найдена.

* * *

Удивительно, как люди нелепо эгоистичны. В хатке было трое. Они заявили, что никого не могут впустить, потому что их собственно не трое, а пятнадцать. На это изведенный поручик Л. сказал:

— Я подожду полчаса здесь. И если те двенадцать не придут, то я вас расстреляю...

Это фантастическое заявление имело то следствие, что и эти трое куда-то скрылись. Разумеется, никаких двенадцати не оказалось.

О, род людской!..

* * *

Льду почти столько, сколько хватает глаз. Почти — потому, что на той стороне замерзшего лимана виден город. Это — Аккерман.

По этому льду в одну колонну движется бесконечный обоз. Туда, к Аккерману, к городу спасения, румынскому городу Аккерману, куда не придут большевики. Бесконечный обоз движется в порядке. Задолго до назначенного времени выступили все части, проявив редкую аккуратность.

Теперь они идут осторожно, соблюдая дистанцию, чтобы не провалился лед, почти торжественно. Идут с белыми флагами, которые несут, как знамена.

Печальные знамена... Здесь на льду — часть одесской отрядомании — то, что от нее осталось. Главного отряда, который должен был быть полком, того отряда, где неистово пахло спиртом, "под чьим-то высоким покровительством", — этого нет. Он "не состоялся". Нет и "священного отряда" митрополита Платона. Не видно никаких следов немецких колонистов. Ни Кирсты, ни Струка.

Зато торжественно выступает "Союз Возрождения России", тут же отважное начинание и отряд экс-редактора "Киевлянина" и другие. Кроме того, какие-то отдельные части, прибывшие сюда, артиллерийские парки и дивизионы, без пушек, но с подводами, с сахаром, учреждения, уездная полиция и еще разные. Затем просто гражданские беженцы. Но главным образом ничем не объяснимые подводы... Подводы, очевидно, обладают свойством саморазмножения. Голова обоза уже прошла пять верст, а хвост еще на берегу.

Я смотрю на этот почти величественный "исход", и в ушах у меня неотвязно звучит знакомая фраза:

Das war ein Drap...

Стесселиада

Почему все эти люди и повозки были убеждены, что их примут на той стороне с распростертыми объятиями? Потому, очевидно, что был отдан точный и ясный приказ выступить на лед в восемь часов утра. Но несомнен-

но также и то, что на шестой версте на льду стоял столик. У столика сидели румынские офицеры, за столиком стояли румынские солдаты. И совершенно достоверно, что этот столик приказал всем этим людям и повозкам возвращаться обратно. Румыны не пустили никого.

Впрочем, нет. Пропустили "польских подданных". В числе их оказался комендант города Одессы, полковник Маглевский, очень мило семенивший вдоль обоза в весьма приличном штатском платье и с изящным чемоданчиком в руках.

Впереди всего шествия шли маленькие кадеты. Они начинались с десяти лет. Жалко было смотреть на эту детвору, замерзавшую на льду.

И начался "Анабазис". Великое отступление от Аккермана. Надо, впрочем, сказать, что торжественное шествие с белыми флагами имело в себе нечто настолько унизительное, что обратный путь был как-то веселее. Остаток гордости, впоследствии вытравленный лишениями, еще таился тогда в некоторых сердцах.

* * *

Совершенно неинтересно, что на другой день было проделано то же самое и с тем же результатом. Кажется, было еще холоднее на льду. Было меньше порядка и больше усталости.

* * *

У полковника Стесселя. Совещание командиров частей. Полковник Стессель говорит:

— Во-первых, к черту эти повозки... С ними пропадем.

— Совершенно правильно, господин полковник. Оставить только самое необходимое, — говорит один из командиров частей.

— Да ведь у нас, господин полковник, ничего нет. Пусть и другие бросят, — говорит другой.

— Все бросим, — продолжает Стессель. — Это, во-первых. Во-вторых, переформироваться. Довольно балагана. Отряды называются... На самом деле роты нет. Согласны, господа? Вот вы — первая рота, вы — вторая....

Все согласны.

— Затем, вот мой план: пробиться. Раз румыны не

пускают, надо пробиваться на север, вернее, на северо-запад, вдоль Днестра... на соединение с Бредовым, а если нет, — в Польшу. Я уверен, что если захотим, то пройдем. Вы согласны, господа?

Мы согласны.

Нам даются сутки на приведение себя в порядок, главным образом на уничтожение подвод.

Легче всего это было сделать моему отряду. У нас была одна подвода, которая, несмотря на все наши усилия, не размножалась.

* * *

Рассвет. На пригорке начальник штаба Мамонтов. Делает как бы смотр в том смысле, сколько изничтожили подвод.

Я остановился около Мамонтова.

Печально. Эти подводы бессмертны. На мой взгляд, число их не уменьшилось, а увеличилось. Бесконечной цепью они продвигаются в полутемноте. Ни конца им ни края. Между ними редко, редко проходит часть. Жалкие горсточки. А за ними все то же.

Так было, так будет.

* * *

Солнце заходит. Шли целый день. В общем благополучно. Откуда-то издалека большевики обстреляли из трехдюймовых, но обошлось без потерь.

Пора отдохнуть. Удивительно, как держатся все эти женщины, дети, которых много. Они не теряют даже хорошего расположения духа. А маленькая Оля даже совсем нарядна. Детское лицо остается свежим среди осунувшихся взрослых и веселит глаз. Но страшно смотреть на ротмистра Ч. Он только что встал с постели после сыпного тифа. Идет, пошатываясь то вправо, то влево, но твердо держит свою кавалерийскую саблю. Глаза опущены, на изможденном лице какая-то внутренняя сосредоточенность, как будто бы он решает трудную задачу. Он идет напряжением воли. Другой бы не смог идти.

* * *

Немецкая колония. Какие они характерные, тоску наводящие необычайной одинаковостью всех домов. Бога-

тые дома, каменные, массивные, с явным отпечатком вековой традиции. Если бы наши крестьяне так жили! Но, боже мой, — отчего от них такая скука?

Вздор, сентиментализм. Остатки вековечной потребности "садочка, ставочка, вишеньки"...

Ой сказала мени маты, тай приказывала...
Штоб я хлопцив до садочку не приваживала...

Тут этого не услышишь.

* * *

Ночь. Опять идем. Темно. Впереди идет какой-то автомобиль с прожектором, который часто останавливается, берет куда-то вбок, что-то ищет. Эти его похождения в темноте, с этим бродящим лучом, вызывают какое-то жуткое чувство. Что ему надо? Чего он бродит? Когда он останавливается, — вся колонна останавливается. Усталость уже очень большая. Как только станут, люди ложатся там, где стоят. Прямо на дорогу. Я помещаю наших дам между двумя ротами, ставшими после "переформирования", слава богу, взводами. Если нам трудно, то каково им? Но они держатся. Ложатся на дорогу, как и мы, тотчас же засыпая. Я временами отыскиваю глазами белый полушубок ротмистра Ч. Боюсь, что он не встанет.

Чудовище там впереди заревело, поводило своим страшным взглядом и пошло.

— Встать! Шагом марш...

И все поднимаются. Мальчики, женщины, дети.

* * *

Каша. Обозы стоят. Образовалась какая-то толпа. Она всего гуще у высокого, тонкого здания, которое неясным черным пальцем торчит в небе. Это водокачка, которая снабжает водой Одессу.

Что такое происходит?

Пролезаю между перепутавшимися возами, переступая через спящих вповалку людей. Я пробиваюсь к митингу, что около башни.

Нет, это не митинг, это толпа, окружающая и жадно прислушивающаяся к "совещанию" генералов и полковников.

Прижавшись к стенке башни, при свете какого-то огарка, они рассматривают карту.

Что произошло?

Прислушавшись, я понимаю следующее. Впереди деревня, где засели большевики. Надо их выбить. Часть совещающихся за то, чтобы выбить. Но генерал Васильев, командующий всей колонной, не решается. Кто-то возражает, по-видимому, после чего генерал Васильев впадает в обиду и хочет совершить отречение.

— Если я, быть может, не умею руководить или не угоден, то могу отказаться. И прошу выбрать вместо меня начальника.

Его убеждают, что, наоборот, он очень хорош.

К такому поучительному разговору жадно прислушивается окружающая толпа. Обычная картина. Уступательные книксены там, где надо взять на себя ответственность и приказывать. Наконец принимают решение.

Двигаться куда-то без дорог, прямо через поля, по компасу, чтобы обойти деревню.

Печальная мысль.

Расходятся. Обозы начинают распутываться и устремляются двумя параллельными колоннами в поля, покрытые снегом.

* * *

Рассвет. Привал. Ясно, что мы сбились с направления. Какие-то обещанные хутора, которые должны были быть недалеко от башни, словно заколдованные. Шли всю ночь — никуда не пришли. Бесконечная белая степь. Все изнемогли.

Наша семья собралась вместе. Лежим на снегу. Нас тут восемь человек родственников. Сильно устали. Мучает жажда, кроме голода. В виде лакомства преподносят друг другу кусочки чистого снега. Лица очень осунулись. У Ляли начинают становиться глаза старадающей газели. У него опять припадок малярии, хотя его и пичкают хиной. Но в общем держится.

* * *

Добрались до каких-то хуторов. Домик. Боже, какая теснота. Ни сесть ни стать. Но хоть тепло. Среди этой "бисовой тесноты" Ната, мать Оли, самоотверженно печет какие-то оладьи. Голодные люди смотрят на них

жадными глазами и получают по мере того, как они зажариваются. Смрад дикий. Но хоть малый отдых.

Впрочем, не все отдыхают. Часть послали в сторожевое охранение, ибо где-то поблизости большевики.

Иду в штаб, к полковнику Стесселю. Он спит, совершенно выбившийся из сил. Я рад, что Раиса Васильевна Стессель приютила Олю. Она уютно примостилась где-то в уголочке, кажется, ее тут немножко подкармливают. Удивительно, что дети выносят эти невзгоды легче, чем взрослые.

За окном полупомешанный есаул А. стреляет из револьвера кур. Он сегодня расстрелял какого-то старика. За что про что — неизвестно. Так, потому что азиатские руки чешутся убивать. Если есть — убивают стариков. Если нет — убивают кур.

Узнаю, что отдых будет короткий. Ночью опять пойдем.

* * *

Опять ночь. Опять поход. Как мы держимся? Идем уже двое суток. Ели что-то неуловимое.

Двигаемся все-таки. Все та же картина. На остановках люди ложатся в снег и моментально засыпают. Холодно. Но в этих суровых скитаниях проявляется характер. Твердо держатся несколько офицеров, на которых все это не производит влияния. Конечно, им холодно и они устали, но это не отражается на их расположении. Алеша Т. все так же жизнерадостен и так же мил. Я назначил его командиром роты. Его звонкий молодой голос иногда приятно звучит в темноте.

Владимир Германович непоколебим. Надо сказать, что он и был настоящей душой и созидателем нашего отряда. Человек, полный неукротимой энергии, он променял свою муниципальную деятельность на газетную и почти создал четыре газеты — "Голос Киева" и три "России" — екатеринодарскую, одесскую и курскую. Теперь же, после сдачи Киева, он променял перо на винтовку и вот, имея полсотни лет за плечами, бродит по дорогам. Но его не сломишь. Он все так же оптимистично настроен, он в восторге от нашего отряда. И действительно, эти мальчики хорошо держатся: ни жалоб, ни недовольства... И Вл. Г. находит, что все к лучшему. Правда, все его немножко ругают, потому что хотят есть, а он обязан кормить, а кормить трудно...

Ляля больше сгорбился и сильнее тянет свои декадентские ноги. Но по-прежнему внезапно начинает хохотать без всякой причины, и так заразительно, что все хохочут кругом. Алеша называет его за это plusquamperfectum*. Это потому, что он вспоминает вдруг что-то смешное, что случилось бог знает когда, и закатывается без всякого предупреждения.

Я чувствую твердую опору в поручике Л. Он самую малость сноб. В сущности говоря, ему гораздо более нравится следующее: взять ванну, сесть за стол, накрыть чистой скатертью; выпив кофе, он покурил бы и написал бы небольшую статью; потом бы сел за рояль и сыграл valse triste** Сибелиуса.

Но за неимением всего этого, он сохраняет только неизменную любезность ко всем и ласковость к некоторым. И этим держится. Это защитный цвет своего рода, выработанный ''драпом''.

* * *

''Кошмарическая'' корчма. Я не знаю, сколько сот людей в нее втиснулось. Часа два провели мы в ней, засыпая сидя, стоя, кто как может. Состояние полубессознательное. Но после ледяного холода на дороге — это блаженство. Курят до сумасшествия. Дышать нечем. Тем скорее впадаешь в летаргию. По привычке окидываешь взглядом — все ли тут, не пропал ли кто-нибудь. И погружаешься в небытие.

Приказывают выйти. Никто не двигается. Вторично и в третий раз приказывают, но ничего не помогает. Наконец, угрожают, что все уже прошли и ушли, обоз уже черт знает где. Начинают выползать. Надо идти.

* * *

Опять день, опять солнце, опять идем. Многие слабеют. Жена упорно держится, но я вижу, что приходит конец ее силам. Я отвожу ее в сторону, помогаю ей переобуть израненные ноги. Ужасно жалко смотреть, как она надевает эти мужские казенные башмаки, которые подарил ей какой-то из наших гимназистов. Переобувшись, она упрямится еще некоторое время и потом согла-

---

* Преждепрошедшее время *(лат.)*.
** Грустный вальс *(лат.)*.

шается сделать то, что надо было сделать с самого начала. Я устраиваю ее на какую-то подводу.

Снова идем. Бесконечная степь, бесконечный обоз. Когда же мы наконец остановимся? Надо хоть где-нибудь хоть что-нибудь съесть и отдохнуть несколько часов.

* * *

Ну вот, кажется, какое-то село — немецкая колония. Обоз втянулся. По-видимому, здесь будет отдых. Я иду селом, разыскиваю своих, от которых отстал. Большое село, массивные немецкие дома с треугольными фасадами. Тут, наверное, масса белого хлеба. И наверное, можно что-нибудь сварить. И наверное, наши отыскали уже хорошее, теплое, просторное помещение. Квартирьером послан поручик Л., который немножко любит комфорт. Как знать — может быть, в какой-нибудь культурной немецкой семье отыщется и рояль. Тогда будет и valse triste Сибелиуса.

Так-так-так-так-так-так-так-так... вот тебе и вальс Сибелиуса!..

Кто-то "занимается" по нас пулеметом — вдоль улицы. Неужели большевики в конце села? Я не успел сообразить этого, как шрапнель разорвалась над домом, где поместился штаб. В ту же минуту высыпали оттуда и стали кричать, сзывать всех, кто под рукой. Я бросился через какие-то ворота в поле. Со мной несколько человек, в том числе Алеша. С других сторон тоже бежали люди. Сейчас же на огородах образовалась беспорядочная цепь. Это было нечто скифское. Все вопили, стреляли куда-то в пространство. Никаких организованных звеньев не было. Вообще, ничего не было. Ни командиров, ни подчиненных. Все командовали, т.е. все вопили и в общем стихийно двигались вперед. Кажется, нас обстреливали, даже наверное. Несколько пулеметов трещало. Но это не производило никакого впечатления. Бежали, останавливались. Ложились, опять бежали. Наконец отошли довольно далеко от деревни. Кто-то и к нам притащил пулемет. В это время я увидел Лялю. Он был правее меня, видимо, в большом одушевлении. Османлиская папаха, худой, сгорбленный, волочащиеся ноги. Скоро мы оказались рядом. Я почувствовал, что он в каком-то особом состоянии. На его лице, всегда немножко напоминавшем девочку, выражение какого-то забавного фанфа-

ронства. В это время неприятельский пулемет нас нащупывает. Все ложатся. Но Ляля набит "традициями". Он торчит османлиской кривулькой во весь рост и думает, что это совершенно необходимо. Я приказываю ему лечь, что он исполняет с видом "если вам угодно, то пожалуйста".

С нашей стороны беспорядочная пальба не прекращается. Но она достигает апогея, когда появляется большевистская кавалерия на горизонте. Некоторые теряют головы. Престарелые полковники командуют:

— Прицел три тысячи!.. По наступающей кавалерии!..

И дают залпы на три тысячи шагов. По наступающей кавалерии, которая вовсе не наступает, по-моему, а движется шагом. Я понимаю, что это бессмыслица, у нас мало патронов, но ничего не могу сделать в этом дьявольском шуме, — голоса не хватает. Подзываю Алешу, приказываю ему взять командование над ближайшими, прекратить пальбу и сохранить патроны на случай действительной атаки кавалерии. Его металлический голос начинает звенеть в этом смысле. Кто-то протестует, возмущается, кричит, что кавалерия нас обходит.

Обходящая кавалерия на самом деле оказывается нашей кавалерией. Она выезжает справа, имея, по-видимому, желание атаковать неприятельскую. Но почему-то это не происходит. В это время за нашими спинами начинают работать наши орудия. Неприятельская кавалерия явственнно отходит, вытягивается гуськом на дороге вдоль фронта. Удачная шрапнель заставляет их прибавить ходу. Они уходят вскачь.

Мы победили. В это время справа что-то происходит. Там начинают кричать "ура", и потом это "ура" перекатывается по всем цепям, доходит до нас, мы тоже кричим "ура" и перебрасываем его следующим цепям влево. Затем приходит и объяснение. Начальник штаба объявил, что мы вошли в соприкосновение с войсками генерала Бредова. Хотя войска генерала Бредова были в это время не ближе ста верст, но все этому поверили.

Итак, победа. Но, боже, как хочется есть... В это время появляется спаситель — поручик Л., нагруженный белым. вкусным, чудным хлебом.

* * *

И все это повторилось снова. Через два часа большевики опять напали на нас. И мы снова защищались. Те

же цепи, те же крики, тот же беспорядок. Но на этот раз было хуже. Сильно крыли гранатами. Сверкнет ярким желтым пламенем, а затем густой взрыв дыма. Граната имеет в себе что-то оперное. Так проваливается Мефистофель сквозь землю. Пулеметы хуже. Когда они начинают насвистывать в воздухе свой узор, тогда гораздо опаснее. Знаешь, что они могут сейчас же вычертить кровавую надпись по земле, т.е. по нас.

Трещащую песню поет пулемет
И строчки кровавые пишет;
Кто грамоту смерти нежданно прочтет —
Тот песни уж больше не слышит...

Я накричал на Димку, чтобы он не поднимал головы, когда "строчки кровавые пишут". Моя группа, т.е. те, кто меня слушались, была налево от меня. На том конце был поручик Л. Я помню его внимательное лицо, часто поворачивающееся ко мне. Он делал то же, что и я, и тогда я почувствовал, что "ячейка" взята в невод и повинуется. Рядом со мной был Димка. На него гранаты как будто производили впечатление своим шумом, но опасности пулеметов он не понимал. Он перебегал за мной, держа в руках мой карабин, от которого я рад был избавиться, — терпеть не могу этих вещей в бою. За ним в штатском пальто и в барашковой шапке перебегала маленькая, худенькая фигурка. Это отец Оли, мирный податной инспектор.

Как странно... Когда мы были мальчиками, мы были очень близки. Затем долгие годы шли врозь. И вот пришлось на старости лет плечо о плечо перебегать под гранатами.

Дальше Владимир Германович, тоже в штатском. Перебегает с винтовкой в руках, ложится и опять перебегает. Думали ли когда-нибудь мирные киевляне, избиравшие его городским гласным, что, вместо мостовых и канализаций, он будет изучать преимущества гранат перед пулеметами...

Перебегая, мы сближались с цепями противника. Впереди меня был домик, брошенная хижина. Я знал, что надо добраться туда. Несколько перебежек, и мы с Димкой под защитой. Тут удобно. Он заряжает мне карабин, а я из-за угла дома "беру на мушку". Цепи сблизились шагов на двести. Но чувствуется, что мы не сдадим. Я выпустил несколько обойм, когда они побежали. Мы скифски их преследовали, вопили, размахивали винтов-

ками. Они поспешно отходили по почерневшим полям — снег стаял в этот день.

* * *

Штаб. Совещание. Дело плохо. Противника отогнали, но патронов нет. Пальба на три тысячи шагов залпами сказалась... Броневик "Россия", на котором наше единственное орудие, надо бросить — нет бензина. В сущности мы безоружны. Идем вот уже несколько суток без отдыха, почти без пищи.

Решено пробиваться еще раз в Румынию хотя бы силой. В значительной мере этот результат есть следствие роковой ошибки под водокачкой. Сколько мы потеряли времени и сил, шатаясь где-то по компасу без дорог. Быть может, если бы этого не было, мы бы успели уже пробиться...

* * *

Но где же все наши? Иду искать. Уже ночь. Улица невозможно черна. Несколько раз натыкаюсь на умирающую лошадь. Она тут валяется с утра. Кричим в темноту. Спрашиваем встречных. Хоть бы съесть что-нибудь... вот, кажется, свет в доме. Зашли. Неужели покормят? Да, собираются дать что-то...

* * *

Нашли своих. Собрались с разных концов. Но Ляли нет. Алеша ранен. Поручик Р. убит. Еще несколько человек ранены в нашем отряде; остальные, слава богу, целы. Вообще же потери в этом бою насчитывают около четырехсот человек.

Из штаба приходит приказание бросить все вещи. В маленькой хате битком набито. Кошмар. Кто спит, обессиленный до конца, кто хлебает какой-то чай. У кого есть, перерывают чемоданы, отыскивая, что можно взять в руки. У большинства ничего нет. Это гораздо спокойнее.

Приходит полковник А. и сообщает зловещую новость. Открыт какой-то заговор. Хотят убить полковника Стесселя и на его место поставить какого-то другого полковника. Выступить через полчаса.

Но где Ляля?..

* * *

Захожу в каждую хату.

— Здесь юнкер такой-то?

И всюду один ответ после некоторого молчания:

— Такого нет...

И холодная рука тревоги сжимает сердце...

* * *

Вышли. Очень темно. Спускаемся куда-то вниз, очевидно, к реке. Вдруг мысль: "Да, мне сказали, что Алешу и других раненых вывезли. Но ведь это всегда говорят. А вывезли ли?"

Выскальзываю из дружеских рук, убеждающих, что вывезли. Возвращаюсь. Но очень устал. В темноте попадается верховой. Прицепляюсь к его стремени. Он тащит меня в горку, что уже значительное облегчение. Ищу долго, безуспешно, отчаиваясь и опять надеясь, и окончательно прихожу в отчаяние. Не могу найти. В деревне как будто и нет никого. Очевидно, все ушли. Ухожу и я.

На душе так скверно, как только может быть...

* * *

Ужасная ночь. Силы на исходе. Слава богу, удалось пристроить на подводу женщин, детей и ослабевших. Я еще иду. Я не особенно понимаю, как я это делаю. Все горы и горы. Я все иду по обочине дороги. Я ясно понимаю, что все меня обгоняют. Но в конце концов я оказываюсь впереди всех. Почему? Они останавливаются, а я нет. Они лежат на снегу каждый раз, когда обоз станет, а я боюсь лечь. Мне кажется, что я не встану. Минутами снег озаряется каким-то зеленоватым светом. Мне кажется, что всходит луна. Но скоро я понимаю, что нет луны, а что это мгновениями я впадаю в забытье на ходу и мне мерещится этот свет. Вот наконец голова обоза. Перекресток. Стали. Куда идти? Тут надо лечь. Это что? Экипаж, тесно окруженный кучкой людей, держащихся за крылья. На козлах полковник в лохматой шапке. Кто-то говорит:

— Это раненую сестру везут...

А я слышу, как из глубины экипажа знакомый бас ругается:

— Куда вас черт несет?... Рессоры поломаете!

Я понимаю, в чем дело. Это близкие к полковнику Стесселю офицеры охраняют его по случаю "заговора"...

А он страшно зол на все это и потому ругается.

* * *

Рассвет. Какая-то деревня. Здесь краткий отдых. Ищу, куда приткнуться со своими. Очень трудно. Все переполнено. С величайшим трудом что-то нахожу и прячу полузамерзших в хату. На перекрестке сталкиваюсь вдруг с поручиком Л.

— Я привез Алешу...

Слава богу. Он таки нашел его. Когда он узнал, что я ушел тогда за Алешей, он пошел за мной. Меня он не нашел, но он нашел Алешу, которого я не мог разыскать. И все было так, как это бывает... Меня уверяли, что "вывезли всех раненых"... этому никогда не надо верить. И Алешу не вывезли... Он лежал вместе с другими ранеными в какой-то хате на самом краю села. Вокруг них беспомощно метался врач. Все ушли — что делать? Сами раненые не знали, что деревня оставлена... Три сестры, совершенно выбившиеся из сил, спали. Вот как было...

Поручику Л. удалось вместе с врачом где-то добыть несколько подвод. Они ловили брошенных бродячих лошадей, запрягали... С величайшим трудом вывезли эту хату.

Вывезли и Алешу...

Вот он.

Подвода — на ней двое... Алеша и какой-то другой. Алеша — желтый — стонет. Другой не шевелится. Неужели?..

Да, умер...

Надо снять прежде всего этого незнакомого мертвеца... Похоронить? Но как?

Нет, просто положим в садике. Похоронят, может быть, добрые люди.

— Алеша, больно вам?

— Больно... Это вы?.. Спасибо... Больно... Холодно... Холодно...

Надо внести его в хату. Согреть и перевязать. И потом... мы переложим его на рессорную площадку — у нас есть. А главное — доктор... быть может, нужна операция немедленно.

Разыскиваю доктора. Спрашиваю, прошу...

— Да я рад все сделать... Конечно, нужно операцию... и немедленно. У него контузия в спинной хребет. Но главное сейчас не это. Осколок в легком... Надо удалить немедленно. Но инструменты? Нет инструментов... Надо вынуть два ребра... Как без инструментов?.. Что я сделаю!

Вот где ужас...

Переносим Алешу. Трудно. Ему все так больно. А мы ослабели до такой степени, что падаем и сами. Сквозь калитку так трудно пронести.

Внесли. Хата полным-полна. Все так замерзли и устали. Куда его положить, беднягу? На скамейку?

— Ах, больно... Пожалуйста, не надо... на пол лучше. Василий Витальевич... спасибо... Вам тяжело... не беспокойтесь... ах, больно... так... да... хорошо... спасибо...

Перевязывают. Кругом стеснились. Маленькие хозяйские дети смотрят со страхом и любопытством. Сестра делает свое дело внимательно, несмотря на предел утомления.

Сделано. Чаю теперь — хоть полстакана. Выпил. Ему легче немножко. Согрелся... перестал стонать... благодарит...

Да, он все такой же... лицо у него желтое... он очень плох. Но благодарит. Все так же внимателен и ласково-тверд, как раньше, как всегда, как тогда в походе... Как часто он вел меня, когда по "старчеству" своему я изнемогал. Он не такой, как почти все. Это у него не внешнее, а в крови. Вот он умирает. И все тот же. Он, значит... настоящий такой... это его настоящая природа. Он никогда себе не изменит... никогда... Да и когда уже? Уже — некогда...

Кругом стоят, сидят, лежат. Как все страшно устали. Засыпают сейчас же... Хоть на мгновение.

Почему я держусь? Не знаю: что-то меня держит изнутри.

Но где же Ляля? Убит? Где-то брошен раненый, как Алеша? Мать плачет тихонько, засыпает, опять плачет... Нет, я не верю. Найдется...

Но надо двигаться. Бедный Алеша, опять его надо мучить.

Переносим. Уложили на площадку, укрыли тепло... Здесь все же будет ему легче.

— Спасибо, Василий Витальевич... спасибо, Вовка...

Неужели нельзя его спасти? Лицо все так же красиво, и выразительны правильные губы. Брови только свелись

над закрытыми глазами. Но эта желтизна... восковое лицо.

Нет инструментов... из-за этого надо, чтобы он умер.

* * *

— Ляля!..

Да, это был он. Худой, сгорбленный, — декадентская кривулька больше, чем когда-либо, но все с той же заражающей детской улыбкой.

— Где же ты был?.. глупый!.. Отчего не нашел меня? Дайте ему что-нибудь... ел?

— Ел... Ах, очень интересно!.. Знаешь, полковник Н. — симпатичнейший человек! и кроме того, он — мой личный друг!..

— Уже?.. говори по порядку!

Рассказывает. Он был вместе с Алешей сначала. Там было тяжело. Когда Алешу ранили гранатой, он бросился к нему. Сначала думал, что убило; лицо было в крови; он был в беспамятстве. Потом пришел в себя.

— И он, когда пришел в себя, увидел меня, сказал: ''Ляля, передайте Василию Витальевичу... что я умираю за Россию''... И потом дал мне портрет... один... Еще сказал... чтобы я передал и чтобы... Словом... он завещал мне... нам... Это ''боевое завещание'', правда?..

Да, это было ''боевое завещание''... И это завещание... В жизни больше мистического, чем думают... Но это потом... Ляля рассказывает дальше:

— Потом я его относил...

— Куда?

— В деревню... Я очень беспокоился, где ты и Дима. Но нельзя было искать... Я опять вернулся...

— Куда?

— В цепь... Но уже никого не было из наших... Я попал в ''Союз Возрождения''. Там был один полковник... очень симпатичный... он мой личный друг.

— Где же вы были?..

— Там, в этой другой деревне... Мы их далеко загнали. Наконец, ночь уже... Знаешь, я там заснул... очень хорошо... два часа... и поел... Они были в том конце деревни, а мы в этом...

— Когда же вы вышли?

— Мы — поздно... Позже всех... только что пришли...

— Я так боялся, где ты...

Итак, он жив, Ляля... На этот раз...
Но в следующий?..

* * *

Есть хочется до нестерпимости. Отчего ничего нельзя достать? Денег не берут. Мы с Владимиром Германовичем шарим по избам и наконец находим несколько фунтов кукурузной муки. Баба уступает ее за чашку какую-то, что нашлась у меня. Насыпаем в ладошку, и такая "понюшка" уже блаженство. В сущности говоря, человек может есть удивительно мало. И все же днем легче.

И опять идем. Бесконечно идем. Даже непонятно, откуда берутся силы. Ведь вот ночью я шел почти в полубессознательном состоянии, а сейчас иду почти бодрый. Впрочем, так много значит, что Алешу не бросили и Ляля нашелся.

* * *

Плавни. Что такое плавни? Это вот что. Очень много камыша, лозы и достаточно старых верб. Между этими растениями большие лужайки из льда. На этих лужайках мы.

Кто это мы? Собственно говоря, это движется колонна под командой генерала Васильева. У него помощник — еще какой-то генерал. Генералу Васильеву подчинены наш отряд, т.е. полковника Стесселя, "Союз Возрождения" и еще что-то. Отряд Стесселя состоит из превращенных в роты отрядов полковника Н., полковника Л., полковника А., т.е. моего, гвардейских саперов и еще чего-то. А в общем — одни обозы.

В этих плавнях мы чего-то ждем. Ждем долго. Развлечение состоит в том, что вода временами проступает сквозь лед и делает озера. Тогда приходится перебираться поближе к вербам.

Алеша лежит тихо. Но лицо его сильно пожелтело и становится восковым. Неужели он умрет? Я иногда подхожу и говорю с ним несколько слов. Он отвечает, как всегда, т.е. совсем не как всегда, потому что он умирает, но я ясно чувствую, что его сущность, душа его — та же.

Приходит приказание бросить все подводы. Мы готовы ко всему, но как же быть с Алешей? Я приказываю делать носилки. От нашей платформы отпиливают оглобли и делают носилки из брезента. И это была ошибка.

Конечно, надо исполнять приказания, но иногда, когда поторопишься...

Двинулись. Тропиночками, сквозь камыши выходят на Днестр. Алешу несут на носилках и выбиваются из сил. Зачем я приказал отпилить эти оглобли! Это приказание бросить подводы было исполнено немногими. Обозы движутся и, хотя с трудом, соскальзывают по обрывистым берегам на лед реки.

* * *

Итак, мы в Румынии, т.е. в Бессарабии. Перешли лед беспрепятственно. Румынской охраны нет или она ушла. Все какие-то сады, совершенно пустынны. В садах летние брошенные шалаши. Движемся, вышли на какую-то лужайку.

Что такое? Неужели по нас?!

Да, по-видимому. Пулеметы высвистывают мелодии над нашими головами, и пули начинают цокать в землю. Укрываемся в ложбине. Удивительно, что дамы совсем не боятся.

Очевидно, эти румыны таким способом заявляют нам: ''Не ходите дальше''. Мы и не идем. Люди разбились по садам, пережидают. Обозы тоже где-то стали.

Я иду на разведку, т.е. по дороге, которая, по-видимому, идет в деревню. А деревня эта, очевидно, у подножия этих обрывистых гор, с которых нас и поливают из пулеметов. Меня нагоняет экипаж полковника Стесселя. Он приглашает меня сесть... Раиса Васильевна говорит мне несколько любезных слов. Мы едем для переговоров с румынами.

* * *

Домик в деревне. Румынские офицеры, с одной стороны, с другой — генерал Васильев, Стессель и еще кто-то...

Генерал Васильев говорит переводчику:

— Скажите им, что мы совершенно замерзли и умираем от голода... Что мы безоружны, потому что у нас нет патронов... Что мы просим оказать нам приют, ибо мы погибаем... И что я заявляю им, что если мы не будем приняты, то мне ничего больше не остается, как застрелиться тут же...

Румынские офицеры что-то отвечают. Это продол-

жается долго. Мы говорим жалкие слова, румыны отказывают, но, в конце концов, как будто соглашаются на то, чтобы мы заняли нижнюю часть деревни до утра. Иду к своим. Уже в совершенной темноте привожу их в деревню, отыскиваем какие-то хатки...

* * *

Крохотная молдавская хатка. Человек тридцать. Умирающего Алешу устроили, как могли. Остальные вповалку. Почти все спят. Но хозяева готовят у круглого низенького столика мамалыгу для нас. Когда это готово, я бужу всех, кого могу разбудить. Лялю и Димку добудился. Хочу поднять Олю. Спит так глубоко, что нет возможности. Я подымаю ее за руки, ставлю в вертикальное положение и трясу что есть силы. Но бедная девочка не просыпается. Я выпускаю ее, и она бесчувственным телом сваливается на солому. Это сильнее всякого хлороформа.

Ужинаем при каганце. Мамалыга, кислые огурцы... Сумасшедшая роскошь...

Что сделать для Алеши? Ничего нельзя сделать. Он умирает оттого, что у него осколок гранаты в легких. Надо немедленно сделать операцию, причем придется вынимать два ребра. А эту операцию нельзя сделать, потому что нет инструментов. Завтра будем упрашивать румын отвезти его в соседнее местечко, где есть больница. Но доживет ли он до утра?

Все уже спят. Многих так и не добудились. Хозяева сбились все на кровать. Там старуха, молодые женщины, дети... Весь пол густо, густо уложен телами. Алеша на скамье. Мы устроили его на подушках, как могли. Моя жена легла около него на полу. Она спит чутко, чтобы помочь... Хата чуть освещена каганцом...

Я укладываюсь рядом с сыновьями. Усталость сильнее всего... Засыпаю — проваливаюсь в пропасть...

Но ненадолго... Алеша стонет... И просит воздуха. В хате действительно душно так, что и здоровым нечем дышать...

Я говорю, чтобы отворили дверь.

Струя свежего воздуха входит в эту юдоль земную...

— Ах, хорошо... хорошо... так вот... спасибо... хорошо...

Но и здесь, даже здесь, неизбежна "разность интересов". Умирающему Алеше нужна эта струя кислорода, а

живым, и в особенности тем, что около дверей, она, эта струя холода, мучительна и опасна. Они ропщут...

Они тоже правы... Я лавирую между ними... Когда Алеша начинает просить и задыхаться, я приказываю отворить дверь... И он тогда говорит порывисто, убежденно, благодарно:

— Ах, хорошо... хорошо... спасибо...

Через несколько минут я тихонько передаю, чтобы дверь затворили...

Наконец, один раз открыто заворчали. Я рассердился и повторил, чтобы открыли...

Тогда откуда-то из груды лежащих раздался голос:

— Что ж, Василий Витальевич, ведь он... уходит... а мы остаемся...

Жестокие слова!.. К счастью, Алеша их не слышал... Он минутами забывается. Я сказал жене, чтобы она перешла на мое место, и лег около Алеши...

Он иногда просит воды... Чаще воздуху... Иногда я перекладываю его...

— Спасибо, Василий Витальевич... Спасибо... Ах, больно, больно. Вот так.. да, так... спасибо... вам тяжело?.. не беспокойтесь... да, да... спасибо...

Минутами он забывается. Но остальное время в сознании...

— Мне надо операцию... операцию... я знаю... надо сделать...

— Сделаем... вот только придет утро — сейчас отвезем вас, Алеша, в соседнюю деревню... Там есть больница... хирурги...

— Разрешат?.. румыны... разрешат?..

— Конечно, разрешат... Они уже говорили.

Вдруг он делает такое движение, что я понимаю: он хочет мне сказать так, чтобы никто не слышал.

— Василий Витальевич... правду... скажите только правду... я ранен в спину... в позвоночник... если я буду калекой... не буду ходить... не хочу жить... не хочу... дайте мне револьвер... умоляю вас... я знаю, вы мне скажете правду... я вам верю... только правду!

Бедняжка, я знаю, о чем он думает...

— Слушайте, Алеша... Я вам скажу, как есть... Если бы вы были ранены в позвоночник, это было бы так... но вы не ранены — вы контужены... от этого вылечиваются почти всегда... электричеством... это в этих случаях удивительно действует... это — пустяки, об этом не думайте... это обойдется...

— Ну, хорошо... спасибо... Только душно мне... Кислорода бы мне... Василий Витальевич... подушку бы, если бы с кислородом подушку...

Я чувствую, как сквозь эту мертвящую усталость, которая туманом покрыла всю мою восприимчивость, все-таки пробивается какое-то отчаяние... Господи, ну как ему помочь!..

Он затихает... Кажется, уснул... Слава богу... меньше страданий... я тоже не могу... прилягу...

Я заснул, может быть, на несколько минут... И вдруг проснулся сразу... вскочил...

Прямо против меня на кровати сидела старуха... она кивала мне и рукой указывала на Алешу...

Он умирал... Началась агония... Он хрипел... Кто-то проснулся, что-то сказал... Старуха замахала на него руками, чтобы было тихо...

Я стоял на коленях около Алеши... это было недолго.

Несколько минут, и он затих... Я закрыл ему глаза...

Потом прочитал молитву, какую вспомнил... Все спали... Только старуха сидела на кровати и смотрела на нас... Окончив молитву, я тотчас же заснул... Я ему больше был не нужен... Я спал крепко, до самого утра...

* * *

Так умер Алеша... Он был... белый...

* * *

Ровно в 8 часов утра румыны начали обстреливать деревню из пулеметов: это чтоб мы ушли...

Пули цокали по заборам и стенам. Я приказал пойти за водой и больше не выходить из хаты... а сам пошел в штаб. Штаб помещался в домике, выходившем в большой пустырь. На улице никого не было — попрятались... Но у конца улицы, под забором, залегло много нашего народа. Я спросил, что это такое. Мне объяснили, что это вновь сформировавшийся отряд какого-то полковника. Этот самый полковник хотел запретить идти мне через пустырь; румыны, мол, обстреливают "нарочно", кто показывается...

— На нас навлечете...

Удивительно, почему во всех самых трагических случаях жизни бывают такие глупости. Ну, какое же реше-

ние вопроса лежать под забором, в то время как румыны стреляют именно для того, чтобы мы ушли...

Я объяснил ему, что иду в штаб по приказанию полковника Стесселя. Он отстал.

Никто, конечно, меня не обстреливал ”нарочно”. Стреляли вообще по деревне. Были уже раненые и убитые. Надо было принять решение.

У Стесселя были все ”начальники частей”... Накануне еще мы собирались у него и почему-то (хорошенько не помню почему) ”выбрали” его своим начальником... Нет, вспомнил, вот почему: общий начальник генерал Васильев был задержан румынами, и тогда отряды ”Союза Возрождения”, полковника Стесселя и другие решили действовать отдельно, каждый на свой страх и риск. Тут-то Стессель и захотел ”проверить свои полномочия”... Мы, значит, вновь ему присягнули...

Стессель приказал: бросить все здесь — больных, раненых, стариков, по возможности женщин, все обозы — и выйти с одними винтовками только тем, кто готов на все... Собраться к десяти часам к штабу... В десять часов румыны обещали начать артиллерийский обстрел, если мы не уйдем. Стессель послал им письмо, что мы уйдем в десять.

С этим я вернулся к своим... Обстрел из пулеметов временно прекратился... Алеша уже лежал в садике под плетнем... В хате пили чай...

В это время подбежали румынские солдаты... Они врывались в хаты и кричали:

— Гайда! На апой!

Это значило: ”Вон! Назад!” Они требовали, чтобы все выходили из хат и уходили.

Тут наступило самое тяжелое. Жена, Ната, Оля — эти не могли больше идти... Я знал, что им нужен отдых во что бы то ни стало, и потом... Куда мы идем? Если мы и пробьемся, то ведь только самые железные. Остальные погибнут в дороге — это неминуемо... Их надо оставить здесь: неужели же эти румыны выгонят женщин и детей?

Я стараюсь объяснить румынскому сержанту, что мы уйдем, но что ”домны” (дамы) должны остаться... Он понимает меня... Но и слышать не хочет:

— Все, все — гайда! На апой!

Несчастные женщины выходят тоже на улицу. Не понимая ужаса будущего, они рады не расставаться. Румыны бегут дальше по хатам — выгонять. Но к нам набегает новая партия. Я опять к ним:

— "Домны" должны остаться...

Этот соглашается, но торопит нас — мужчин...

И под этими непрерывными "выгоняющими" криками мы прощаемся. Делим деньги, последние наставления...

— Пробивайтесь в Сербию. Я буду искать вас в Белграде...

— Гайда, на апой! — кричат румыны...

Да подождите, проклятые! Как быть с Димой? Я беру его в сторону...

— Димка, останься с мамой... Она одна...

Я вижу его огорченное побледневшее лицо...

— Тебя убьют... И Лялю...

— Какие глупости!.. выкрутимся... Ляля со мной... ты с мамой... ну, прощай...

— Гайда! На апой!

Конечно. Ушли.

* * *

Мы выступили из деревни. В руках вели какого-то вола (провиант) и были очень довольны. Эта деревня, из которой мы уходили, называлась Раскайцы.

* * *

Перешли Днестр. Опять плавни. Остановка. И долгая. Что-то здесь происходит. Почему так уменьшилась наша рота? Где кадеты, которых к нам присоединили? Мне сообщают, будто какие-то большевистские делегаты бродят кругом. Я приказываю выставить посты. Ничего не могу понять. Многих нет...

Неужели?..

Возможно... В той стороне, откуда можно "их" ждать, стоит Ляля на посту... Я не теряю его из глаз, а он меня...

* * *

Приказание двигаться...

Выходим из перелеска, из зарослей, на какие-то заледеневшие пустыри. Тут можно определить, что мы такое...

Все-таки нас порядочно. Человек шестьсот. Обозов действительно никаких... Есть только экипаж полковника

Стесселя, несколько конных... У нас есть какая-то несчастная кляча, которую бородатый фельдфебель ведет в руках.

Меня беспокоит Филя... Он от голода съел какую-то мерзлую луковицу, которую он нашел на дороге. Теперь он жалуется... У него нехорошее лицо... посерело, и морщины резко легли вокруг рта... На остановках он лежит на снегу, скорчившись... Что делать, если он не сможет идти?..

Я подзываю бородатого фельдфебеля с клячей... Подсаживаю Филю на клячу без седла... Он обхватывает ее шею руками, голову кладет на гриву... Ноги в городских ботинках и гетрах беспомощно болтаются... Так его везут...

Ляля держится хорошо. Сегодня у него "не малярийный" день. Сегодня меня ломает... Мы с ним напеременку. Но у меня легче. И я чувствую, что я ее переупрямлю при помощи... свежего воздуха... голода... бессонницы... и переходов...

* * *

Это был сад, занесенный снегом, как полагается в Бессарабии. Отряд полковника Стесселя как-то сбился в кучу... Где-то за деревьями что-то происходит... Какие-то крики... но выстрелов не слышно. Никто ничего хорошенько не понимает, но идут разговоры о том, что кто-то у кого-то взял пулемет. Я чувствую, что-то делается непонятное. Но не могу определить — что. Ясно, что это связано с большевиками. Но отчего нет боя?.. Отчего мы остановились?

Мои сталпливаются поближе ко мне, поглядывают на меня, а я поглядываю на Стесселя. Что это все значит?

Вдруг на лужайке появляются два всадника. Они приближаются, направляясь прямо к нам. Они без оружия. Подъехав, они останавливаются и глазами кого-то ищут.

— Де тут полковник Стесселев?

Стессель ответил своим характерным басом, чуть хриплым, как будто с одышкой.

— Это я. Что вам?

Это были по виду как будто унтер-офицеры, но без погон. Один из них начал так:

— Ну что ж, товарищ полковник... Надо кончать... Зачем вы против нас цепи выслали?.. Так шо вы в таком положении, что мы с вами драться не желаем...

— Да кто вы такие?
— Мы те самые, с которыми вы позавчера бой вели... дивизии товарища Котовского... Товарищ Котовский нас прислал, чтобы, значит, кончать...
Тут он повернулся ко всем нам, к толпе.
— Если которые господа офицеры опасаются, что им что будет, то пусть не опасаются. Потому товарищ Котовский не приказал... и вещей отбирать тоже не будут... И ежели при господах офицерах которые дамочки есть, то тоже пусть не опасаются... Ничего им не будет... Приказал товарищ Котовский сказать, чтобы все до нас шли и чтобы не опасались.
В это время кто-то из толпы, кажется, единственная сестра милосердия, которая была с нами, спросила:
— Да кто вы такие?
— Мы? Мы — большевики!
— Так как же, если вы большевики... как же вы обещаете то, другое... а вчера кто убивал?.. кто резал?.. кто отнимал?
— Мы? Нет, мы не обижали!..
— Как не обижали? Вы же коммунисты?
— Какие мы коммунисты! Мы большевики, а не коммунисты!.. Мы с коммунистами сами борьбу ведем... Вот, к примеру сказать, господа офицеры... разве среди вас все хорошие люди?... Есть которые хорошие, а есть... сами знаете... Так и у нас — коммунисты... Сволочь коммунисты!..
В нашей толпе произошло заметное волнение. Эти слова производили впечатление. Делегаты Котовского, очевидно, это поняли.
— Вот, господа офицеры, тут наш штаб недалеко... И ваш полковник Мамонтов там. Вчера его взяли... Кто к нам — пожалуйста... Всем хорошо будет. Кто хочет к нам на службу — принимаем. А кто не хочет — так себе пусть идет домой... А не желаете, ну тогда — драться будем...
Полковник Стессель, очевидно, в эту минуту принял решение.
— Вот что. Вы себе поезжайте, а мы поговорим... Неудобно нам при вас. А что решим — сообщим вам...
Те сейчас же согласились:
— Пожалуйста, пожалуйста...
И поехали.
Настала решительная минута. Ко мне подошел поручик Л. и спросил деловым тоном:

— Василий Витальевич! Уже пора стреляться?

Я ответил почти сейчас же, но помню, что в это мгновение я как-то сразу все взвесил или, вернее, взвесил только одно, именно, что большевики нас еще не окружили, что в одну сторону дорога еще свободна. И ответил:

— Надо немного подождать...

В это же мгновение ко мне подошел Владимир Германович.

— Мне кажется, что дальнейшее сопротивление бесполезно... Сделано все возможное; дальнейшее бесплодно...

Я ответил:

— С этой минуты я предоставляю каждому свободный выбор. Сам же я буду держаться Стесселя до конца...

Я подошел к Филе. Сказал ему, что освобождаю его от обязанности следовать за мной ввиду его болезни, советую сдаться и пробиваться в Одессу. Дал ему денег. Мы простились. Он слез с лошади и лег на снег.

В эту минуту Стессель своим хриплым, задыхающимся басом обратился к толпе:

— Ну, вот что... Я к ним не пойду... Кто со мной, тот за мной!..

И, повернувшись, он пошел по дороге в сторону от большевиков.

Тут произошли быстрые сценки, которых передать нельзя. Очевидно, каждый колебнулся в душе. Полковник А. что-то сказал нашему отряду не особенно определенное. Впрочем, это соответствовало моей инструкции предоставить всем свободу.

Я пошел вслед за Стесселем. За мной пошли несколько человек нашего отряда, в том числе: полковник А. с сыном, поручик Л., мирный податной инспектор, друг моего детства, и Ляля.

* * *

Лужайка в лесу. Мы сидим на снегу. Кружком.

— Начинается ''майнридовщина'', — сказал кто-то.

Действительно, мы похожи на какую-то шайку ''охотников за черепами'' или ''искателей следов''. Нас всего пятьдесят два человека, в том числе две дамы: Раиса Васильевна Стессель и та сестра милосердия, что разговаривала с большевиками. Это все, что осталось от отряда

полковника Стесселя. Остальные сдались большевикам. Впрочем, есть еще две лошади. Полковник Стессель долго упрямился и не хотел бросить экипаж. Но пришлось бросить, потому что переправа через Днестр была слишком крута. Лошади же в руках сползали по ледяному откосу и теперь служат нам под вьюками.

Сейчас мы опять в Румынии. Полковник Стессель разрешил говорить только шепотом. Чуть темнеет. Все мы голодны, и у всех нас ничего нет. Кое-какие запасы есть только у самого полковника. Его жена делит скудные запасы между всеми: на долю каждого выпадает кусочек сала и понемножку сахара. Хлеба нет. Но и это уже кажется нам блаженством.

Затем полковник Стессель шепчет своим задыхающимся голосом:

— Будем пробиваться... Еще лучше, что нас так мало... Маленьким отрядом легче пройдем. Но вот что... У меня есть деньги... казенные... Что-то... словом, несколько миллионов... Я их больше не могу таскать... Экипаж пришлось бросить. Поэтому сейчас разделю их между вами — поровну.

Началась дележка. Долго мы считали. В конце концов вышло 140 с лишком тысяч на человека — "колокольчиками".

Кончили. Встали. Пошли.

Началась "майнридовщина".

* * *

Ночь. Идем лесом, гуськом, след в след, стараясь не шуметь, молча... Кажется, это называется ходить "волчьей тропой". Действительно, наша жизнь становится звериной. Сколько мы будем так бродить, не смея никуда прибиться?

Куда деться? По ту сторону Днестра — большевики, по эту — румыны. План полковника Стесселя, очевидно, — скользить между теми и другими, пользуясь плавнями, зарослями и лесами, вдоль Днестра. Но ведь есть-то надо. И отогреваться от времени до времени тоже надо. Идти еще можно, но спать в лесу на снегу...

Не выдержим... Мороз уже больше девяти градусов, вероятно.

Неожиданно в лесу в полной темноте натыкаемся на кого-то. Оказывается, генерал Васильев. Каким образом он пошел сюда, невозможно понять. Он совершенно ис-

тощен. У кого-то еще находится, по счастью, кусок сала... Впрочем, не все ли равно... Дни этого человека уже были сочтены...

* * *

Трудный поход. Поминутно приходится перебираться с одного берега на другой. Берега обрывистые, крутые, обледенелые. На этих переправах скоро бросаем лошадей. Невозможно втащить их на ледяную крутизну: они остаются на льду. Последние вьюки бросают. Но ординарцы полковника Стесселя навьючивают на себя два узла. У остальных ровно ничего, кроме винтовок. Впрочем, у меня, слава богу, и винтовки нет — обхожусь револьвером.

* * *

Нет, положительно изнемогаем. Как трудно идти ночью через все эти проклятые переправы, канавы, овраги, сады, заборы... Проваливаешься, скользишь, падаешь, снова подымаешься, чтобы снова провалиться...

Мы, шесть человек, держимся рядышком, цепочкой! Все-таки легче, уютнее, когда около тебя — свои.

Ох, эти переправы через Днестр. Когда они кончатся? Раиса Васильевна упала и расшибла висок. Это становится, в общем, непереносимо. Надо во что бы то ни стало куда-нибудь зайти погреться, отдохнуть. Нет же просто сил...

Сейчас мы на большевистском берегу. Это что такое?

Домик. Кажется — пустой. Надо зайти. Решаемся. Втягиваемся.

Но не успел я еще войти — стоял в сенях, набитых людьми, как около дома что-то произошло. Я смутно почувствовал, что нас окружают. Бросился из сеней на двор.

Действительно, это были какие-то люди с винтовками. Они кричали своим:

— Товарищи, в цепь!

Нам было категорически запрещено полковником Стесселем пускать в ход оружие, но все же кто-то выстрелил из револьвера. В то же мгновение все наши высыпали из хаты, и раздалось приказание:

— К реке! На тот берег!

Мы стали поспешно драпать по глубокому снегу.

"Товарищей" было, очевидно, немного: они нас не преследовали. Впрочем, раздалось несколько выстрелов.

Перебежав реку, мы опять очутились на румынском берегу. Здесь мы ждали долго, потому что нескольких человек не хватало. Из них кое-кто пришел, но не все. В том числе не пришел генерал Васильев. Позднее я узнал, что он не миновал своей судьбы и застрелился, как обещал тогда румынам. Его труп нашли на льду румыны, откуда это и стало известно.

* * *

Нечего делать. Надо устроить спальню в лесу, на снегу. Отдохнуть необходимо во что бы то ни стало, хоть два-три часа. Полковник Стессель приказывает сделать привал. Холодно невозможно.

Мы думаем над тем, как улечься. Решаем улечься вчетвером, пробуем так: снять две шинели, постелить на снег. Улечься всем четырем рядом, крепко прижавшись друг к другу. Накрыться двумя остальными шинелями.

Улеглись. Задремали. Но через короткое время — "кончилось счастье". Нет возможности!.. Средние еще кое-как, но крайние замерзают. Вскакиваем, ходим, запускаем "бег на месте". Потом опять укладываемся, уже каждый одетый в свое, но опять прижавшись друг к другу. Задремали.

Нет возможности! Определенно замерзнем...

И так до рассвета. Что за пытка!

* * *

Рассвет. Пошли. Осторожно пробираемся в румынском лесу. Вышли на какую-то полянку, за которой начинаются сады. Вот брошенный шалаш. Дождемся здесь солнца.

Вот оно взошло. День ясный. Красиво ложатся синие тени на снегу. Ах, если бы это солнце поскорее грело. Как это Ляля выдерживает в своей несчастной английской шинели! "Страдающая газель" с каждым часом усиливается в его лице. Декадентские ноги беспомощно смотрят внутрь. Османлиская шапка плотнее наехала на брови. Что за несчастная замерзающая кривулька! Но иногда он все-таки разражается хихиканьем...

— Ляля, что с тобой?

Алеша, если бы был жив, сказал бы:

— Ляля, plusquamperfectum?
Бедный Алеша...

* * *

Полковник Стессель все рассматривает карту. Тут где-то, неподалеку, должна быть деревня Талмазы, верстах в трех. Идти туда нельзя: румыны выгонят. Но если бы послать кого-нибудь в одиночном порядке за провизией...

Кстати, среди нас оказывается офицер, который говорит по-румынски. Он называется у нас ”поручик-переводчик”.

Решаем так: добраться до первой дороги и послать поручика-переводчика в Талмазы. Остальным ждать его возвращения в лесу.

* * *

Ждем. Ждем давно. Уже за полночь. Слава богу, день яркий; на солнце стало тепло. Мы четверо держим бессменный караул на лужайке, где солнце особенно греет. Прислонившись к дереву, можно и подремать. Какое это счастье, в особенности для Ляли, у которого опять припадок малярии. Счастье еще усиливается, когда поручик Л. приносит откуда-то полчашки снега, смешанного со спиртом. К тому же еще оказывается у кого-то кусочек сахару. О, блаженство...

* * *

Когда солнце заходит, становится хуже. Мороз сразу забирает ход. Он метит подобраться к пятнадцати градусам. Поручика-переводчика все еще нет. Темнеет. Все холоднее. Что делать? Костра развести нельзя.

Я иду поговорить со Стесселем.

— Поручика-переводчика не будет. Он или сбежал, или его захватили. Надо двигаться... Замерзли...

— Подождем до восьми вечера.

Легко сказать... Я жалуюсь ему, что сын замерзает.

— Давайте его сюда.

У Стесселя есть большая шуба. Он заворачивает Лялю в нее и укладывает его на снег. Из Ляли и шубы образуется соблазнительная подушка, которой немедленно пользуются человек двадцать пять.

Теперь он не замерзнет!

Мы бродим вокруг этого сосредоточия тел, жмущихся друг к другу. В полковнике Стесселе все-таки чувствуется центр и начальник.

Удивительно, как держится эта сестра. Совсем не теряет бодрости и подкармливает нас кусочками сахара, который оказался у нее в сумке. Двое вестовых жадно грызут какие-то кости. На них ничего нет, на этих костях, но все-таки многие смотрят на вестовых с завистью.

Мы пробуем с поручиком Л. улечься вдвоем. Задремали. Вскочили — замерзли. Нет, лучше попробовать там, со всеми, в общей куче. Я кладу голову на чью-то спину; кто-то, в свою очередь, наваливается на меня и, к моему удовольствию, накрывает мои ноги. Так легче. Я засыпаю.

Просыпаюсь оттого, что Раиса Васильевна будит мужа.

— Пора, — шепчет она ему тихонько.

— Еще минуточку...

Он, большой полковник с хриплым басом, в эту минуту совсем как ребенок...

Что-то теплое и человеческое проходит где-то около сердца, несмотря на пятнадцать градусов мороза...

* * *

Нечего делать. Пошли. Поручика-переводчика нет. Сгинул куда-то. С ним потеряна и надежда на провизию. Голод мучает, но надо идти... А то замерзнем.

Куда идти? Стессель решает обойти лесом Талмазы, в которых он предчувствует румынскую стражу, и добраться до другой деревни, верстах в пяти от Талмаз.

— Но как же мы будем держать направление ночью в лесу?

— По компасу. Вот полковник пойдет вперед... А вы, пожалуйста, еще возьмите кого-нибудь и будете цепочкой между ним и остальной колонной. Мы будем идти немножко сзади, потому что передовым надо прислушиваться...

Пошли. Теперь я знаю, что значит ходить по компасу ночью в лесу, да еще зимой. Первая беда, что темно: этого самого компаса не видишь. Вторая беда, что держать прямое направление через чащу, кусты, овраги, упавшие деревья, болота и реки — совершенно невозможно. Третья беда, что постоянно проваливаешься в снег. А четвертая беда в том, что полковник генерального штаба

думает, что ведет нас по компасу, а я думаю, что, наверное, мы крутим на одном месте.

Как бы то ни было, мы идем. Бесконечно идем. Бог его знает, что нас еще держит. Мороз все усиливается. Но мы становимся какими-то нерассуждающе-обреченными. Идем, и больше ничего.

И вот кончается лес, и начинается серия полузамерзших болот и речек. Кружим тут без конца. Двадцать раз переходим по тонкому льду, готовому ежеминутно провалиться. В других местах бесконечно обходим колена ручьев незамерзших, отыскивая переправу. Какой тут компас! Волчок, а не компас.

И вот еще какая-то речка. Я долго ищу более или менее надежного льда. Ну вот нашел. Прошел. За мной прошел Ляля. Потом мой податной инспектор. За ним на лед входит поручик Л. Но в эту минуту его нагоняет полковник Стессель, спеша почему-то к голове колонны. С ним его жена. И в то же мгновение все трое проваливаются по пояс.

Через несколько минут мы находим какой-то шалаш, где супруги переодеваются; благодаря богу, у них что-то нашлось сухое. Но у поручика Л. сухого нет. Пятнадцать градусов мороза... Это грозит совсем скверной историей.

* * *

Я настаиваю, чтобы бросить этот проклятый компас, выйти на дорогу и идти в первую попавшуюся деревню. Если румыны позволят нам остаться хоть до утра, мы все-таки на этом деле выиграем, потому что в противном случае мы определенно замерзнем...

Стессель соглашается, и скоро мы выбиваемся на дорогу. Хотя трудно сказать, что это в общем, река или дорога, — сплошь лед. Нет, кажется, дорога. Вот начинаются заборы, сады. Хотя эти сады бесконечны, но все же будет какая-то деревня. Так и есть. Несомненно, деревня близко.

Стессель приказывает мне идти в разведку вчетвером. Мы идем. Податной инспектор, поручик Л., Ляля и я. Колонна остается на месте.

Да, вот деревня. Пора, мы еле передвигаем ноги. Положительно, это последние силы. Вот какой-то глубокий овраг. Через него мост. Мы тихонько пробираемся по мосту.

Что такое? Крик, выстрел... румыны, конечно. Надо драпать.

Мы драпаем. Но как, боже мой!.. Так, как ходят калеки или глубокие старики. Ноги не отделяются от земли. За нами бегут, стреляют. Нам не уйти. И притом, куда бежать? К своим? Но Стессель запретил наводить на колонну. Значит, что? Значит, надо "сдаваться".

Мы останавливаемся, и набежавшие румыны берут нас "в плен". Отбирают оружие и почему-то часы. Затем ведут через этот самый мост и вводят в какой-то домик, очевидно, караульное помещение...

Горячий воздух совершенно опьяняет нас блаженством. Это надо испытать, чтобы понять. Тепло после стольких бесконечных часов замерзания имеет в себе что-то чарующее. К тому же выясняется, что можно купить хлеб за десять рублей фунт царскими деньгами.

Эти люди, в общем, весьма приличны. Когда мы поели, они предложили нам спать; на полу, конечно, но что-то постелили. Сами улеглись на скамейках. Мы заснули свинцовым сном, сняв только обувь. Чистое блаженство, если бы только не, не...

Почему-то всегда, когда описываются великие вещи, вроде войн и революций, забывают об этом. Ни у одного писателя вы этого на найдете. А между тем вши, это один из факторов мировой истории, о котором не следует умалчивать. Смейтесь, смейтесь, — но все же надо твердо себе навсегда заметить, что и война и революция процессы... "вшивые".

* * *

Странно. Я проснулся и вижу все кругом знакомые лица. Вот полковник такой-то, там поручик такой-то. Как они сюда попали? Соображаю, что, очевидно, прибились ночью, когда мы спали, может быть, пошли нас искать, а то просто не выдержали мороза.

Постепенно просыпаются. Приходит румынский офицер. Мы начинаем с ним разговаривать по-французски, конечно. Он выражает нам какое-то сочувствие. Я, по просьбе остальных, начинаю писать телеграмму румынскому генералу Коанда, с которым когда-то был знаком. В телеграмме изложена просьба ходатайствовать перед властями о разрешении временно остаться в Румынии. Я не дописал телеграммы, потому что выяснилось, что ее не пошлют.

Но где полковник Стессель? Оказывается, он лежит где-то неподалеку, совершенно больной. Его жена полузамерзла. Последние, прибившиеся сюда, передали просьбу прислать подводу. Я встаю. К удивлению моему, мои ноги сравнительно благополучны. Но другие... У Ляли скверно с ногами — сильно проморожены. То же самое с поручиком Л.

Румыны выпускают меня в соседнюю хату, где я нахожу поручика-переводчика, захваченного накануне. Тут же Одинец, киевский деятель. Он надеется, что его не выбросят отсюда, так как он бывший украинский министр. Попал он сюда вместе с отрядом "Союза Возрождения", судьба которого была, очевидно, вроде нашей.

Из его слов я понимаю, что нас ждет: по-видимому, нас отправят обратно к большевикам.

С этой веселой новостью возвращаюсь к своим. День чудный. Солнце ярко светит; часов двенадцать. В караулке битком набито; жадно едят и пьют вино, которое крестьяне приносят в флягах военного образца, кажется, рублей двенадцать за флягу царскими деньгами. Умиляемся дешевизной. Входят румынские солдаты, офицеры и что-то такое говорят в том смысле, что нас отведут в Бендеры, где есть иностранный консул, к которому мы и можем обратиться. Это в ответ на усиленные жалобы и просьбы не отправлять к большевикам.

Выстраивают на улице. Человек тридцать — все те, кого могли поднять. Часть осталась лежать или слишком истомленная, или с сильно отмороженными ногами. Румынский караул окружает нас. Пошли.

Какая же это была деревня? Оказывается, те самые Талмазы, которые мы в течение нескольких часов "обходили"... по компасу.

Идем какими-то бесконечными садами, тропинками, протоптанными в снегу, на которых лежат синие тени от фруктовых деревьев...

Куда нас ведут? Это что-то не похоже на дорогу на Бендеры...

Звезды

Хатка без окон и дверей. Хотя солнце ярко светит, но в общем порядочный мороз. В хатке развели костер. У Ляли сильнейший припадок малярии. Глаза, и так имею-

щие наклонность к стилю "страдающей газели", стали совсем умирающими. Он лежит у костра. Я варю ему чай в жестяной кружке. Я набил ее снегом за неимением воды, надел на палку и держу над костром. Румынские солдаты, которые минутами производят впечатление разбойников, умиляются, узнав, что он мой сын. Они немножко как дети — эти румыны. Их воображение, очевидно, поражает, что вот отец и сын воюют вместе и что сын тяжело заболел. По их глазам я вижу: они думают, что он умрет. Ляля, как будто инстинктивно чувствуя, что из этого может произойти что-нибудь толковое, артистически закатывает глаза; конечно, он сильно болен, но еще и притворяется на всякий случай.

* * *

Этот "всякий случай" представился. Когда наступил вечер, румыны развернули свою настоящую природу. Они приступили к нам с требованием отдать или менять то, что у нас было, т.е. попросту стали грабить. Сопротивляться было бесполезно. Один толстый полковник пробовал устроить скандал, вырвался, но его схватили, побили и отняли все, что хотели. Брали все, что можно. У одних взяли сапоги, дав лапти, у других взяли штаны, у третьих френчи, не говоря о всевозможных мелочах, как-то: часы, портсигары, кошельки, деньги, кроме "колокольчиков". Разумеется, поснимали кольца с рук. Словом, произошел форменный грабеж.

Вот тут-то и пригодилось Лялино закатывание глаз. Они настолько умилились нами двумя, что не позволяли друг другу нас трогать. Я отделался только тем, что с меня стащили обручальные кольца. Хотели снять и третье кольцо, особенно мне дорогое, но, когда я показал имеющееся на нем изображение божьей матери, не взяли.

* * *

Наступила темнота. Тогда румыны вывели нас из хаты и повели куда-то. Куда? Что это такое? Ясно. Это Днестр.

Весьма энергичными жестами они показали нам, что мы должны идти к себе, в Россию. К себе в Россию — значит, к большевикам.

Делать было нечего. Мы пошли. Спустились с крутого берега, вступили на лед. Чтобы мы не вздумали вер-

нуться, очевидно, румыны пустили нам несколько выстрелов вслед.

Не скажу, чтобы самочувствие наше было сладкое. Вправо и влево от нас река, напротив — чуть виднеется большевистский берег. Там...

Ясно, что "там" может быть...

Что делать? Мы пошли так — просто, прямо перед собой по льду. Ни в каком порядке, а кто куда. Мне вдруг показалось, что идти так — это самое нелепое из всего. Я позвал их и сказал им, что хотя мы и без оружия, но все-таки мы военные и что мы должны избрать кого-нибудь своим начальником, так как в этом случае у нас все-таки больше шансов на спасение, чем если каждый будет действовать в одиночку. Все согласились и, как бывает в таких случаях с "инициаторами", заставили меня "принять бразды правления". Я принял.

И вот мы пошли. Гуськом, волчьей тропой, — вверх по Днестру. Я шел впереди. Я решил идти по реке до тех пор, пока можно. Я рассчитывал так: если появятся большевики, можно броситься на румынский берег, если румыны, на большевистский. На всякий случай я запретил кому бы то ни было с кем бы то ни было разговаривать, сказав, что все переговоры буду вести я лично.

Так мы и шли. Вдруг с правого от нас берега, т.е. с большевистского, кто-то спросил из темноты:

— А куды ж це вы так идете?..

Я ответил:

— А куда же нам идти? С одного боку румыны в нас стреляют, с другого вы... Вот так и идем рекою...

После некоторой паузы из темноты донесся ответ:

— Та не вси же в вас стреляют...

Я понял.

Приказав колонне остаться на месте, я подошел к человеку.

— Кто вы будете?

— Здешний. Хлебороб.

— Ваша хата далеко?

— Ни, тута...

— Нельзя ли к вам зайти погреться? Замерзли сильно...

— Та можно... Только, чтобы чего не було.

— А что?

— А вчера также до меня зайшлы... так прибигли, да роздили до рубашки...

— Кто?

— Да эти... свои... хлопцы...

— Дивизии Котовского?

— Ни, ни... Котовский хороший человек. Котовский не приказывает, чтобы раздевали... Ну, заходите ж до мене... Много вас?

Человек тридцать.

— Ну, як-нибудь... Погрейтесь...

* * *

Уютная, хотя маленькая хатка. Мы набили ее ”до отказа” — все втиснулись. Молодая хозяйка смотрит на нас с печки добрыми, сочувствующими глазами. Я говорю:

— Итак, господа, вы ставите мне задачу довести вас до Котовского, чтобы вы могли сдаться ему... это общее мнение всех?

Все ”соизволяют” единогласно.

— Хорошо... Я выведу вас к Котовскому. Но предупреждаю, что лично для себя оставляю свободу действий... Ну, дорогой хозяин, как же нам пройти к Котовскому?

Оказывается, это очень трудно. Котовский находится в Тирасполе. Отсюда верст двадцать. Две серьезные опасности на пути. Во-первых, вот это ближайшее село, на окраине которого мы сейчас находимся. Здесь живет самый ”раздевальный народ”. Все они вооружены и, если попасться к ним, пустят нагишом по морозу. Вторая опасность — на большом шляху, что ведет в Тирасполь, — большое село Слободзея. Его непременно нужно обминуть: там такие разбойники живут, что никак не пройти. Всю ночь караул держат и грабят донага.

Я предложил ему проводить нас хоть часть пути. Он колеблется. Мы упрашиваем. У меня есть ”керенки” — последняя выручка ”Киевлянина”. Я предлагаю вознаграждение.

— Та иди вже. Треба людям допомогти, — говорит молодица с печки.

За тысячу ”керенок” он соглашается.

Отогрелись, надо идти. Но вот еще одно дело, крайне неприятное: надо снимать погоны.

Недолго я их носил. Но все же как-то ужасно неприятно их спарывать. Ощущение полученной оплеухи...

* * *

Какими-то таинственными садами, останавливаясь, прислушиваясь, соблюдая величайшую осторожность, он ведет нас. Крадемся бесшумно. Эту деревню прошли благополучно. Вот степь. Мы упрашиваем его немного проводить нас; он немного идет, но наконец решительно останавливается.

— Куда ж теперь нам идти?

Перед нами бесконечная степь, покрытая снегом. Яркое звездное небо. Сильный мороз.

— А вот я вам расскажу. Все идите степом...

— Да куда же степом?

— А вот так, на эту звезду возьмите. Город будет трошки левее. А вы — на эту звезду... Так, чтобы большак у вас всегда был с левой руки.

— Да как же так? Где же этот большак? И как же мне его не потерять?

— Вы так идите, чтобы собаки у вас завсегда брехали с левой руки. Близко к деревне не подходите. А самое главное, чтобы вам Слободзею обминуть... Це большое село. Верст семь будет... Як не будете слышать собак, так левей берыть... А як зайдете так, що село блызко, — опять правей в степ... Так и идыть, — от на цю звезду... А под самым городом выходить на большак — там вже ничего...

И пошли. Я во главе колонны, они все за мной, гуськом, держа пока на звезду. Холодно, дьявольски холодно...

* * *

Все веду. Меняю звезды, потому что они движутся — и я "делаю поправки". Кроме того, у кого-то оказывается компас. Все-таки он дает возможность ориентироваться, хотя несколько. Это не то что лес. Я помню приблизительно карту. Мы находимся на углу, образуемом большаком и железной дорогой; если мы уклонимся на запад, мы рано или поздно наткнемся на большак; если уклонимся на восток, попадем на линию железной дороги. И большак и колея ведут к Тирасполю.

Но почему так холодно? Вероятно, градусов около пятнадцати. Поручик Л. определенно начинает замерзать. Ляля идет, как сомнамбула. Мой податной инспек-

тор ничего — оказывается неожиданная выносливость в этом тщедушном теле. Побаиваюсь за одного старого полковника, как бы не упал.

Веду. Ох, эти яркие звезды. Блестящие, лучистые. Это от них идет этот нестерпимый холод.

Где-то я видел уже все это. Да, да. Это было в Одессе. Мне приснились алмазы — огромные, сверкающие. Это вот они были...

* * *

Пересекаю какие-то сады. Понять трудно, что это такое. Но, по-видимому, это где-то в степи. Жилья нет. Впрочем, это что? Да, пустая, очевидно, летняя хатка без окон и дверей. Все равно надо зайти, все-таки согреемся. Все равно до рассвета далеко. Нам невыгодно приходить в Тирасполь ночью. А тут все же хоть на полчаса избавишься от этой ледяной струи, которая незаметно, но неумолимо вымораживает душу, веет над степью...

Ночной зефир струит эфир...

Может ли быть еще холоднее!..

* * *

Чуточку отогрелись в хатке. Ссоримся, конечно, по русскому обычаю. Одни хотели еще погреться, другие все время нервничали и уверяли, что мы губим себя и теряем время. Я не слушаю всех этих ламентаций и засыпаю на полчаса.

* * *

Но надо идти. Мороз стал еще резче.

Веду. Нет, эти звезды положительно нестерпимы. Они становятся такими яркими и огромными. От них тянутся невероятные лучи... эти лучи неясным светом освещают снег вокруг меня... Отчего они светят только здесь — какое-то сияние передо мной...

Я просыпаюсь в канаве. Случай маловероятный, но факт: я вел их во сне. Спал весь организм, кроме глаз. Глаза были гипнотически прикованы к этим звездам, и я вел их верно, но сознание остальной действительности

исчезало. И я просыпался то в канаве, то в яме, то наткнувшись на что-нибудь.

Что это такое? Брешут собаки слева? Да, брешут. Ну, слава богу, значит, идем верно...

* * *

Верно, верно, а вот почему у меня выросла деревня впереди? Сначала не понимаю, а потом соображаю. Это, должно быть, поперечная улица этой самой Слободзеи. Значит, что? Значит, надо ее обмануть, взять прямо на восток, потом на север, потом на запад и снова подойти к большаку.

Обхожу. Увожу довольно далеко в сторону. Чувствую, что колонна за мной начинает нервничать. С правой стороны меня нагоняет какой-то полковник.

— Куда вы нас ведете? Собак больше не слышно...

Я поворачиваю на запад. Через некоторое время собаки начинают заливаться, и смутные очертания села вырисовываются. Слышу слева от себя торопливые шаги. Подбегает другой полковник.

— Что вы с нами сделали? Собаки под самым носом!

Беру снова больше в степь быстрым шагом. Опять бежит кто-то.

— Слушайте, не у всех же такие длинные ноги, как у вас. Не бегите так!

Замедляю шаг. Бежит кто-то слева. Четвертый полковник.

— Ради бога, идите скорее! Мы замерзаем...

С меня было довольно. Я разозлился и какой-то резкостью прекратил балаган. Но, впрочем, в одном месте — заснул ли я опять, глядя на звезды, или уже не помню отчего — но я увидел деревню перед собой только тогда, когда вспыхнул огонек трубки, которую, очевидно, кто-то курил. Положительно, я плохой вожак по волчьей тропе...

Но ведь эти звезды могут с ума свести человека...

* * *

Как бы там ни было, но перед рассветом я их вывел на большак. Впереди была какая-то деревня, очевидно, последняя перед Тирасполем. В хатках уже светились огни, что называется, ”на досвитки”. Мы теряли последние

силы и буквально замерзали. Я решил, что бы с нами ни случилось, зайти в эти хатки, так тепло зовущие огоньками. Была не была.

* * *

Зашли, и очень хорошо. Никто нас не тронул. Было тепло: пили чай и подремывали до рассвета. Хозяева спрашивали, кто мы такие. Публика усиленно называла друг друга "товарищи", что было нелепо. Ибо мужики вовсе не такие глупые, как иногда кажутся...

Наступил рассвет. Я считал свою миссию оконченной.

— Господа, вот Тирасполь. Задачу, вами мне поставленную, я выполнил... С этой минуты снимаю с себя бразды правления и советую следующее. Разбиться на мелкие группы и в таком "строю" идти к Котовскому сдаваться кто хочет. Прошу также от меня держаться подальше, ибо у меня с большевиками счеты особые; я могу совершенно без нужды отягчить чью-нибудь участь...

Так и сделали.

У Котовского

Мы шли вчетвером — поручик Л., мой податной инспектор, Ляля и я. Шли по дороге, залитой солнцем. Даже нельзя себе представить, что было так невыносимо холодно ночью.

Вот идет какая-то конная часть. Очевидно, эскадрон дивизии Котовского. Очень приличный внешний вид. Хорошие лошади, седла, амуниция — все в порядке. Если бы они носили погоны, это напоминало бы старую русскую армию.

Мы бредем по дороге вдоль плетней.

— Вы кто такие?

Это спрашивает офицер не офицер, ну, словом, то, что у них заменяет офицера — "товарищ командир".

— Мы... мы пленные...

Это тут так принято отвечать. Не в первый раз нас уже спрашивают. Эта дорога в Тирасполь очень напоминает мне что-то такое. Где это было? Да, это было в Галиции, когда мы брали в плен австрийцев. Они вот так

шли по дорогам, от одного этапного коменданта к другому. Никто их не трогал, шли себе. Так и мы идем. И много таких же стаек, как наша.

— Так вы пленные... полковника Стесселя?

— Да.

— Ну, так вам к коменданту... В Тирасполь — прямо...

* * *

Вошли в предместье города.

— Товарищи, будем меняться.

Это он ко мне обращался. В воротах стоял мальчишка-красноармеец.

— Что менять?

— Вот папаху менять...

Я стараюсь сообразить, что может из этого выйти. Пожалуй, моя офицерская папаха действительно мне сейчас "без надобности".

И в то же мгновение мелькнула мысль, вернее, план — переодеться этим способом. Мальчишка как бы понял мои мысли. Он сказал:

— Вам, товарищ, в вашем положении лучше меняться.

Я согласился и выменял папаху. То, что он мне дал, было нечто сногсбишательное: какая-то собачья шапка какой-то дикой формы. Моя внешность в "товарищеском" смысле от этого сразу выиграла.

Мы пошли дальше. Теперь я уже сам посматривал, нельзя ли выменять и бекешу на какое-нибудь штатское пальто. Одновременно я стал соображать, что все же тут не обойдется без какого-нибудь обыска. Во всех воротах стояли "товарищи", и в воздухе пахло заставой. Мой податной инспектор был в штатском пальтишке. Я решил, чтобы он отделился от нас и шел вперед самостоятельно, взяв с собой все деньги. Его пропустят.

Это было сделано вовремя. Действительно, к нам подошел патруль или что-то в этом роде. Во главе был молодой офицер не офицер, словом, человек весь в кожаном. Но лицо у него было симпатичное. Я почувствовал, что надо взять инициативу, и предупредил его вопрос:

— Товарищ, не хотите ли меняться на мою бекешу?

Бекеша была у меня очень недурна. Он окинул меня взглядом и ответил:

— А вам, наверное, надо штатское пальто... У меня есть, вам подойдет... черное... Идите со мной.

Мы пошли по улицам. День был теплый, и солнце ласково грело. Не помню, как начался разговор. Он сказал:

— Как мы все довольны, что товарищ Котовский прекратил это безобразие...

— Какое безобразие? Расстрелы?

— Да... Мы все этому рады. В бою, это дело другое. Вот мы несколько дней назад с вами дрались... еще вы адъютанта Котовского убили... Ну бой так бой. Ну кончили, а расстреливать пленных — это безобразие...

— Котовский хороший человек?

— Очень хороший... И он строго-настрого приказал... И грабить не разрешает... Меняться — это можно... У меня хорошее пальто, приличное.

Не знаю почему, разговор скользнул на Петлюру. Он был очень против него восстановлен.

— Отчего вы так против Петлюры?

— Да ведь он самостийник.

— А вы?

— Мы... мы за "Единую Неделимую".

Я должен сказать, что у меня, выражаясь деликатно, глаза полезли на лоб. Три дня тому назад я, с двумя сыновьями с правой и левой руки, с друзьями и родственниками, скифски-эпически дрался за "Единую Неделимую" именно с этой дивизией Котовского. И вот, оказывается, произошло легкое недоразумение: они тоже за "Единую Неделимую".

Мы подходим к караулке. Тут он, правда, пониженным голосом, стал чистить коммунистов. К этому уже я был несколько подготовлен: я вспомнил тех двух делегатов Котовского на берегу Днестра:

— Сволочь коммунисты...

Этот говорил в том же роде. Я посмотрел на него сбоку: "Не наш ли ты?" Нет, он не был офицер. Это красный командир большевистской формации.

Мы вошли в караулку. Как я и предвидел, без обыска не обошлось. Наступила решающая минута, когда дело дошло до паспортов. У меня их была целая куча. Я решил пойти напрямик. Я сказал ему:

— Товарищ, я скрываться не буду. Вот мой настоящий паспорт... А это подложные... А это совсем мне ненужный... случайный... а вот эти — женские паспорта. Их мне надо отдать... Так вы этот заберите, ненужный, а остальные мне отдайте...

Я внимательно смотрел ему в лицо, когда он просматривал мой настоящий паспорт.

— Василий Витальевич Шульгин...

Нет, он, по-видимому, не знал, ничего не слыхал обо мне. Проехало...

Он сделал так, как я ему говорил. Взял паспорт, который я объявил ненужным, а остальные отдал мне. Вещей у меня, собственно, никаких не было. Несколько фотографий. Впрочем, тут была одна маленькая подробность, которую, я не знаю, стоит ли рассказать. У меня в круглой коробке от лепешек Вальда была целая коллекция иконок, подаренных мне в разное время. Он спросил:

— Можно взять одну на память?

— Возьмите.

Остальное он мне все вернул.

Затем началась мена. Я обменял бекешу на черное штатское пальто, не очень приличное, но возможное, самое подходящее к моему положению; обменял френч на нечто достаточно невозможное. Уже не в порядке мены, а просто потому, что "вам, товарищ, это не подходит, и все равно дальше отберут", — содрали с меня кожаные хорошие краги. Их мне было жалко.

В это же время происходила мена с поручиком Л. и с Лялей. Тут дело не обошлось без некоторых легких недоразумений. Поручик Л. отказался менять свое пальто, которое было, во-первых, штатское, во-вторых, теплое. А у "товарищей" из караулки разгорелись глаза. Они стали "примушивать" (чисто украинское слово от немецкого "mussen").

Тогда "товарищ командир" вступился:

— Товарищи, нельзя принуждать... Помните, приказано только по соглашению.

У Ляли оказались "колокольчики", которых он не успел передать. Их быстро разобрали — "в карты гулять".

В общем — переодетые, мы продолжали путь. Ляля, впрочем, плохо переоделся; ему дали вместо его английской новой шинели — рваную серую.

Еще произошел маленький инцидент. У Ляли была золотая ложечка, которую ему подарила какая-то барышня на счастье, почему он ею дорожил. Один из "товарищей" отобрал ее у него в караулке. Но не прошли мы и ста шагов, как он нагнал нас.

— Возьмите вашу ложечку, товарищ. Не хочу...

Все шло благополучно. Но на каком-то перекрестке к

нам прицепились субъекты мрачного вида. В лаптях, в шинелях с обтрепанными полами, худые, видимо, голодные.

Они задержали нас.

— Давайте деньги!

— Какие деньги? Нас уже обыскали там...

Один из них мрачно смотрел на меня исподлобья.

— А я вам говорю, товарищ, что у вас есть деньги.

— Почему?

— Потому, что вы казначей кадетской партии...

Почему он вообразил меня казначеем кадетской партии, вряд ли может объяснить даже Милюков. Но чем бы это кончилось, неизвестно, если бы поручик Л. вдруг не впал в злость. Он стал кричать на них и показывать какие-то случайно оказавшиеся у него доисторические документы советского происхождения. Устрашенные не то печатью, не то его криками, они оставили нас в покое.

Мы пошли дальше и вскоре встретились с податным инспектором, который благополучно пронес наши деньги сквозь все заставы.

* * *

Грязный еврейский заезжий двор в предместье Тирасполя. Комнатка крохотная, как каюта. Кипит самовар, сравнительно тепло, сладкий чай, белый хлеб.

Морозные испытания, а в особенности эти ужасные звезды, начинают казаться только кошмаром. Неужели это было?

Но живой свидетель этому — совершенно израненные ноги, с почерневшими ногтями и гноящимися пальцами. Кроме того, это ясно видно по психическому состоянию, в которое впали молодые — Ляля и поручик Л.

Как странно. Мы, двое старших, почти стариков, психически как-то меньше поддались. Очевидно, все же наша впечатлительность значительно притуплена. А молодые, которые великолепно держались весь поход, попав в эти безопасные условия, впали в какое-то состояние ”не в себе”. Ляля совсем отсутствует. Правда, у него не прекращаются припадки малярии. Я пичкаю его хиной с знаменитой ложечки. У него уже глаза не страдающей, а полупомешанной газели. Поручик Л., которого пора уже называть Вовкой хотя бы уже потому, что в новом нашем положении он стал моим племянником, — тоже слегка помешался. Такова реакция тепла, сытости и безопасно-

сти после всех испытаний. Впрочем, есть еще одно условие: грязь и вши. Если бы помыться и надеть чистое белье, пожалуй, "сомнамбулизм" сразу прошел бы.

Но где наши? Где остальные?

* * *

В Тирасполе мы жили десять дней под чужими фамилиями. Старорежимные паспорта оказывались хорошими документами пока. Мы ходили свободно по улицам, иногда встречая кое-кого из офицеров, участников нашего совместного похода. За это время мы присмотрелись к тому, что происходит в городе.

Увы, пожалуй, сравнение (а его делали местные жители) было бы не в пользу "белых"; судя по рассказам, наши части, которые стояли здесь раньше, произвели обычный для этой эпохи дебош. А дивизия Котовского никогда не обижала — это нужно засвидетельствовать — ни еврейского, ни христианского населения.

Мы несколько раз ходили к коменданту, чтобы выяснить, что делается. У коменданта стояла, как полагается, бесконечная очередь в два хвоста. Хвосты вели к столику, где сидело два еврейчика. Субъекты эти записывали имена и фамилии солдат, а также куда они хотят ехать. Все это были наши солдаты, сдавшиеся в плен. Офицеров тут не было видно. Мы с Лялей охотно посиживали у коменданта, потому что там было тепло.

Мы отслужили панихиду по Алеше и по другим. Священник служил как-то особенно хорошо, и удивительно приятно было в церкви. Церковь среди большевизма имеет какую-то особенную, непонятную в обычное время прелесть. Если бы от всей нашей земли ничего не осталось среди враждебного, чужого моря, а остался бы только маленький островочек, на котором все по-старому, так вот это было бы то, что церковь среди красного царства.

Да, они пока не обирали, не расстреливали, не грабили. Может быть, в такой дивизии Котовского гораздо больше близкого и родного, чем мы это думаем. Но все это пока... Пока здесь работает что-то человеческое, вернее сказать, что-то общее всем нам, русским. Но ведь за этим стоит страшная изуверская сектантская сила, кровожадная, злобная, ненавидящая, которой,

увы, подчинены все эти Котовские и близкие ему по духу...

Кстати, о Котовском.

Этот человек окружен легендой. Но вот что мне удалось более или менее установить.

Он родом из Бессарабии... Кажется, получил какое-то среднее агрономическое образование. Будучи еще совсем молодым человеком, он убил. Убил человека, который оскорбил его сестру. Был сослан на каторгу. Бежал, вернулся в Бессарабию под чужим именем. Поступил управляющим к одной помещице. Образцово управляя имением, он вместе с тем производил самые дерзкие нападения и грабежи во всей округе, причем грабил только богатых будто бы и широко помогал бедным. Долгое время полиция никак не могла установить, что этот полулегендарный не то Дубровский, не то Робин Гуд и Котовский, образцовый управляющий, — один и тот же человек. Но наконец его выследили: подробности его ареста рассказываются со всякими украшениями; словом, он был ранен, арестован, снова судим и снова сослан. Революция 1917 г. освободила его, и он появился в Одессе. В городском театре, в фойе, одна из ограбленных им дам узнала его и упала в обморок. Он весьма галантно привел ее в чувство. Затем отправился на митинг, который шел в театре, и весьма шикарно продал с аукциона в пользу чего-то, наверное свободы, свои кандалы за 5000 рублей. Как он стал командиром дивизии, я не знаю, но могу засвидетельствовать, что он содержал ее в строгости и благочестии, бывший каторжник, — "honny soit, qui mal y pense"*. В особенности замечательно его отношение к нам — "пленным". Он не только категорически приказал не обижать пленных, но и заставил себя слушать. Не только в Тирасполе, но и во всей округе рассказывали, что он собственноручно застрелил двух красноармейцев, которые ограбили наших больных офицеров и попались ему на глаза.

"Товарищ Котовский не приказал" — это было, можно сказать, лозунгом в районе Тирасполя. Скольким это спасло жизнь...

Надо отдать справедливость и врагам. Я надеюсь, что, если "товарищ Котовский" когда-нибудь попадет в наши руки, ему вспомнятся не только "зло",

---

* Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает (*фр.*).

им сделанное, но и добро... И за добро заплатят добром.

* * *

Обедать мы ходили в одну столовую. Это куда-то в подвал; там были своды. На кровати лежала больная хозяйка, еще молодая, рыжевато-растрепанная. Она кляла весь мир, как-то забавно-жалобно ругаясь последними словами.

— Большевики, меньшевики — черт, дьявол... чтобы они все подохли, проклятые. Лазят тут... Что им надо?..

После этого начинались дальнейшие ламентации на ту тему, как было хорошо при старом режиме, когда ни большевики, ни меньшевики, ни черт, ни дьявол не лазали, и все было прекрасно.

Впрочем, кормила она нас хорошо и сравнительно довольно дешево.

Цены в это время в Тирасполе были следующие: бублик стоил полтинник фунт, фунт белого хлеба десять рублей, чулки сто рублей, сахарный песок сорок рублей, перочинный ножик сто рублей, обед из двух блюд обходился нам в 60 рублей; стакан чаю три рубля.

Но все же оставаться долго в Тирасполе не представлялось возможным. Скрываться в маленьком городке трудно. Пришлось думать о том, что с собой сделать. Решено было пробраться тем или иным способом в Одессу. Для этого прежде всего нужен был пропуск.

* * *

Вагон где-то на запасном пути... Около дверей, как всюду и везде, очередь. Топчутся на морозе часами жаждущие пропусков на выезд из Тирасполя. Впрочем, нашелся благодетель, один из "товарищей красноармейцев", роздал билетики, чтобы те, которые сегодня не достоялись, уже завтра не мерзли.

Пришли завтра. Наконец вызывают. Я был под фамилией... к чему имена? Nomina odiosa sunt. Если бы этой поговорки не выдумали римляне, то ее следовало бы изобрести в Совдепии.

Купе. У столика сидит товарищ. При мне он отказывает какой-то еврейке в пропуске.

"Ну, — думаю, — если ей отказал, то что же нам?"

Еврейка ушла, товарищ вопросительно смотрит на меня.

— Прошу пропуск в Одессу. Обстоятельства следующие.

Тут я ему рассказал целый роман о том, почему я пробивался в Румынию и как румыны меня выгнали.

Он выслушал всю мою тираду, не прерывая. Затем взял мой паспорт и стал меня экзаменовать. Элементарный прием. Часто люди забывают вызубрить фальшивый паспорт и на этом попадаются.

По-видимому, я выдержал экзамен вполне, но дело было не в этом. Весь трюк состоял в том, что в этом фальшивом паспорте была румынская виза от ноября 1918 года. Эта виза подтверждала вполне мой рассказ о том, почему я пробивался в Румынию.

Словом, товарищ комиссар написал мне пропуск.

"Разрешается такому-то с племянником Владимиром свободное следование в Одессу".

Поставил печать и подписался.

Это был первый советский документ, который я получил в моей жизни.

По шпалам

Выехать из Тирасполя было не так просто. Много раз мы приходили на станцию, ободранную, грязную, словом, революционного вида. В Тирасполе было очень много вагонов. Конечно, без окон, разбитых, исковерканных, но масса. Все это столпилось сюда, очевидно, при отступлении бредовских частей. Торчали, впрочем, кое-где и роскошные вагоны, заново отделанные; это по большей части были "кают-компании" бронепоездов. Тут же красовались каким-то чудом уцелевшие вагоны штаба гвардейской дивизии. Ни надписи, ни гвардейские андреевские звезды не были даже замазаны. И было как-то больно на это смотреть.

Вот эти всякие вагоны сгоняли в составы, к ним прицеплялась какая-нибудь калека в виде локомотива, и такой караван от времени до времени посылался куда-то по рельсам. Надо было втиснуться в один из этих, с позволения сказать, поездов. Да еще билет надо было

брать, что было уже совершенно возмутительно с точки зрения социалистического строя.

Мы втискивались. Ждали несколько часов в этих нетопленных, искалеченных коробках. Потом приходили товарищи и выгоняли нас, заявляя, что поезд не пойдет. Однажды лежали мы в вагонах полночи. Было, конечно, совершенно темно, но полно народом. В одном углу шел усиленный разговор. По голосам я понимал, что это какие-то интеллигентки беседуют с военнопленными солдатами, прибывшими из Франции. Дикой ненавистью ко всему на свете были наполнены разговоры этих солдат. Я от времени до времени засыпал и просыпался и сквозь сон слышал:

— А я бы его, если бы запопал, то так бы не убил... А мучил бы, долго мучил бы... Сначала нос бы отрезал... а потом уши... а потом глаза бы выколол...

Интеллигентки возмущались и ахали, впрочем, осторожно и в таком тоне:

— Неужели бы вы так сделали, товарищ?

А он отвечал убежденно:

— Сделал бы!

Я лежал и думал о том, что если бы его как-нибудь выманить из вагона и пойти с ним в черную ночь, то я бы его не мучил, но застрелил бы как собаку: "Хай злое не живе на свити"...

* * *

Наконец, отчаявшись в социалистическом транспорте, мы прибегли к историческому русскому передвижению "пехотой". Словом, пошли по шпалам.

Шли до вечера. Заночевали в какой-то хатке около какой-то станции. Этот день прошел без приключений. Впрочем, мы встретили два раза конных товарищей, которые двигались по пути, очевидно, в качестве патруля. Вид у нас был, скорее всего, "мелкоспекулянтский". Три субъекта в штатских "пальтах", с физиономиями достаточно небритыми. Плох был Ляля. Его какая-то страдающая шинель и лицо больного юнкера явно выдавали нечто деникинское. Но нас выручали "пропуска". Просмотрев их, товарищи пропускали.

Приключения начались утром, потому что мы проспали единственный поезд. Однако на станции был еще паровоз, который собирался в Кучурганскую, изрыгая белый пар. Я назвал машиниста "товарищем механи-

ком", и он пустил нас на паровоз. А если бы я сказал "товарищ машинист", — отказал бы.

Паровоз очень стонал и, кажется, собирался совершить "надрыв". В этих случаях он пускал массу пара, становилось тепло — и тогда... Впрочем, об этом довольно. Я уже сказал однажды, что революция и "паразиты" неразлучны. Не следует повторяться.

Но, в общем, паровоз догнал тот поезд. Он стоял на станции среди других составов, таких же разбитых, вопиющих к небу. Мы пошли лазать из вагона в вагон, отыскивая место потеплее. Наконец нашли. К удивлению, в этом вагоне были целы все окна — и какие окна! — великолепные, толстые, зеркальные. Солнце грело сквозь них, и было совсем ничего. Но внутренность вагона, это было нечто ламентабельное. Это, видимо, когда-то был очень роскошный вагон, должно быть, служебный, ибо здесь были и маленькие салончики и купе, в былое время снабженные всем "слипинкаровским" комфортом. Сейчас ничего не было, кроме кой-где торчащих пружин. Одно купе показалось мне целее других; тут можно было хотя бы сесть. Однако, осмотрев его внимательнее, я ушел. Тут, очевидно, несколько часов тому назад произошло убийство или самоубийство. Мозги и кусок черепа валялись тут же...

* * *

В этом вагоне мы доехали до Раздельной.

На этой станции мы несколько часов ждали какого-нибудь поезда. Тут стояла целая армия всяких составов, и целые воинские части жили в поездах. Кажется, это были галичане, в энный раз кого-то предавшие. Но никакого поезда не шло. Мы ходили пить чай в местечко.

И вдруг встретились. Да, это был Владимир Германович. Он тогда в саду у Днестра сдался делегатам Котовского. Солдат отпустили, офицеров, изъявивших желание поступить в Красную Армию, куда-то отправили, а отказавшихся держат на положении арестованных, заставляют что-то работать и собираются отправить в Одессу. Однако надзор слабый, что и дало возможность поговорить с ним. Здесь же целый ряд других из нашего отряда. Пока никого не расстреляли. Но вид у них был ужасный. Недоедание, тяжелая работа... Одна-

ко бессменный Владимир Германович не терял бодрости духа.

* * *

Мы не дождались поезда. Пошли пешком. Был дивный солнечный день. Но когда мы прошли несколько верст, я почувствовал ломоту в пальцах. Потом как будто стало немножко холодно. Идти стало гораздо труднее. И заходящее солнце с его желто-красными переливами почему-то было противно. Мы отдыхали где-то на рельсах, и против нас бродили индюки. Меня тошнило от этих индюков. Я чувствовал, что заболеваю.

Ночевали в "казарме" у какого-то "старшего рабочего" — это такой железнодорожный чин. Он просмотрел наши пропуска и принял нас очень радушно. Хозяйка сделала нам ужин и чай.

За ужином "старший рабочий" говорил много и вразумительно, ссылаясь на Священное писание. Он читал Апокалипсис вслух и объяснял нам, что все, что сейчас происходит, вся эта резня, и убийства, и грабежи, и ужасы, и ненависть — все это предсказано. Потом он прочел из Библии то место, где в пророчестве Даниила говорится, что придет "Великий князь Михаил". Под этим он подразумевал великого князя Михаила Александровича. Тогда кончатся все беды. Надо сказать, что я уже не в первый раз наталкиваюсь на таких людей. Сидят где-нибудь, в какой-нибудь станционной будке и в Священном писании ищут утешения и объяснения всех тех ужасов, которые происходят.

* * *

Нет, это проклятое пятно, белое пятно на солнце среди черных полей, сведет меня с ума.

Идем по шпалам. Я болен. Чувствую жар и невероятную слабость. Иду от версты до версты. На этой прямой как стрела линии далеко видно верстовой столбик. Я иду только потому, что знаю: вот этот столбик с дощечкой, где написана верста, — надо дойти до него. Там я лягу на рельсы и буду лежать... Пять минут по часам... Потом дальше до следующего...

Но вот это проклятое пятно справа от дороги, там на холмах, где-то за несколько верст, — это, я знаю,

немецкая колония. Я ее ненавижу всей душой. Потому что, сколько мы ни идем, она торчит тут, и кажется, что мы не двигаемся. И кажется, что от этой кучки игрушечных домиков эта болезнь и эта валящая на землю слабость... Все равно... дойти до столбика только.

Но мы дошли в этот день не только до столбика, но до станции Карповка... Тут, в ожидании какого-нибудь поезда, мы залегли в какой-то грязной комнате на станции. Комната была полна всяким народом. Какой-то безрукий, который прекрасно шьет обувь одной рукой, какая-то разбитная хохлушка с яйцами и с целым ворохом деревенских рассказов из современной жизни, больше на тему о том, что "всех этих разбойников надо вырезать". Кого она подразумевала под разбойниками, не всегда можно было определить — не то деникинцев, не то коммунистов. Вообще, она, видимо, за порядок и какое-то неосмысливаемое, но явственно ею самой понимаемое "благопристойное житие". Определенной здоровой "мещанской" моралью веет от "розгепанных" манер. И еще много всякого народа. Я лежу на лавке, жар усиливается. Иногда, раза два-три в сутки, проходят поезда, в которые мы не можем влезть, — слишком набито или у нас слишком мало энергии. Не надо думать, что это обыкновенные поезда нормального типа. Это какой-то сброд вагонов с издыхающими паровозами...

* * *

Ночью мне было нехорошо. Жар все усиливался. Я не спал. Остальные все спали. Все эти однорукие, бабы и много еще каких-то людей. Я не спал и заметил, что мой податной инспектор начинает метаться. Так как я хорошо знаю его с детства, то знал и то, что он сейчас начнет разговаривать во сне, и притом на всю комнату. У меня мелькнула мысль, не сболтнул бы чего-нибудь опасного, и в то же мгновение он сделал резкое движение и совершенно ясно и отчетливо произнес:

— Да... Но я требую, чтобы все пели гимн... Все, все, и женщины... "Боже, царя храни!"

Я с ужасом растолкал его. По счастью, все спали. Но мораль сей басни такова: кто говорит во сне, пусть не спит у большевиков в публичных местах...

* * *

Пропустили еще какой-то ”поезд”. Потом еще прошел один... Мы лежали на станции уже третьи сутки. Почти ничего не ели. Наконец ”комиссар станции” окончательно рассердился на нашу никчемность. Он нас ругал всякими скверными словами и кричал, указывая на меня:

— Ну а если он умрет у вас тут... Что я с ним буду делать!

После этого, очевидно, устыдившись докучать ”товарищу комиссару” в качестве мертвого тела, я перестал капризничать и влез на какой-то ”холодный” паровоз, по указанию комиссара. Этот паровоз был, очевидно, совершенно искалеченный, а тащил его полукалека. Последний доставил нас до станции Одесса-товарная. Там мы лежали до рассвета. Было абсолютно темно, очень холодно и противно...

* * *

Одесса. Вот она, под властью красных. Изменилась?

Изменилась. Толпа совсем другая. Да и нет ее почти. Уныло на улицах. А впрочем — жар усиливается, — может быть, это от жара такая тоска. Болезнь — это болезнь...

Recurrens*

С первой квартиры, куда мы прибились с сыном, пришлось уходить через несколько часов: меня узнали. ”Вся улица”, т.е. некоторое количество евреев, говорили про то, что я вернулся. Мы ушли.

Не забуду этого ”перехода”. У меня была температура около 41°. Мне казалось совершенно немыслимым, что я пройду два квартала, которые надо было пройти. Но, пробираясь, держась за стенки домов, я увидел Владимира Германовича. Он шел мне навстречу, и вид у него был тоже нехороший. Он был не один, и по лицу его я понял, что не надо признаваться: я отвернулся к стенке, и он прошел около меня... Это был последний раз, что я его видел.

---

* Возвратный тиф (*лат.*).

В эту же ночь он заболел сыпным тифом. И в эту же ночь его арестовали и отвезли в чрезвычайку. Там он и умер. Умер в ужасных условиях. Много дней к нему никто не входил, и когда наконец пустили близких... словом, это было ужасно...

В эту ночь случилось и другое событие. Был внезапно обыск в той квартире, где я приютился сначала. Арестовали всех, кто там был. Правда, через некоторое время выпустили. Но меня бы, вероятно, не выпустили...

* * *

Владимир Германович И. был одним из тех людей, которые так ценны в русской жизни. Происхождением немец, он был русским патриотом; давно известным типом — Штольцем среди Обломовых...

Последнее дело, в которое он вложил свою удивительную энергию, был так называемый "Отряд В.В.Шульгина", проделавший весь поход с полковником Стесселем. Весьма возможно, что все это была ошибка и этого отряда не надо было, но нельзя не отметить этой настоящей deutsche Treue*, которая побуждала В.Г. стоять до конца, сделать все возможное, исполнить свой долг до последней черты...

* * *

Все мы четверо (один из фрагментов стесселиады) переболели возвратным тифом. Об этом не стоило бы упоминать, если бы это не было так типично для нашей эпохи. Мало кто из русских времен борьбы белых с красными избежал того или иного тифа. "Abdominalis", "Exanthematicus" и "Recurrens"** были истинными архангелами русской революции. Многие испытали все три тифа. Мы обошлись одним.

* * *

Может быть, читателю будет интересно знать, что моя семья, с которой я расстался где-то в румынской деревне и собирался встретиться в Белграде, очутилась... в Одессе.

---

* Немецкой Трои (*нем.*).
** Брюшной тиф, сыпной тиф, возвратный тиф (*лат.*).

Румынам неприятно будет, быть может, прочесть эти строки. Но "сами боги не могут сделать бывшее небывшим", — говорит греческая поговорка. На следующий день после нашего ухода румыны выгнали из своей страны оставленных нами женщин и детей. Напрасно сочинялись пламенные телеграммы королеве румынской о помощи и милосердии. Конечно, если бы ее величество получила эти телеграммы, вероятно, что милосердие было бы оказано. Но в том-то и дело, что никаких телеграмм румынские офицеры не принимали, и вот произошла эта невозможная история: доведенных до последней грани отчаяния и усталости женщин выгнали к большевикам. Некоторые не выдерживали и искали в своих сумочках яду. По счастью, у других хватило мужества перенести все до конца и удержать ослабевших.

К чести "товарища Котовского" надо сказать, что его штаб принял этих несчастных прилично. Особых издевательств не было, они получили даже возможность нанять подводу за "царские пятисотки" и приехать в Одессу.

* * *

Свет не без добрых людей. В этом я убедился...

Нас приютили всех... Когда меня раздевали, я пробовал бормотать этим, до той поры мне незнакомым, людям:

— Вы ведь не знаете, что у меня... Может быть, "сыпняк"...

На что хозяйка ответила:

— Это будет восьмой в моей квартире...

* * *

Recurrens был как recurrens... Четыре приступа...

Меня лечил один врач... Он приходил каждый день и очень хорошо знал, кто я.

Это я пишу так, на всякий случай, для тех, кто обуян жаждой расстреливать "комиссаров"... Смотрите, не расстреляйте в припадке святой мести тех, кто, ежедневно рискуя головой, спасал жизнь вашим близким и друзьям...

Такие случаи бывали и будут... Ибо не все ведают, что творят...

* * *

Этот доктор был окном нашей больной комнаты в мире, которого я не могу назвать божьим, ибо он был большевистским.

Перевязывая сыну отмороженные ноги, он начинал говорить о политике. Разговоры эти сводились к обсуждению тех слухов, которыми питалась Одесса. Каждый день она изобретала что-нибудь новое, — без промаха лживое... Но все же все верили и надеялись.

Я обыкновенно в этих случаях светил доктору огарком свечи, который немедленно гасился, как только операция кончалась. Ибо свечи были в то время уже предметом роскоши. Тогда разговор продолжался в сумерках масляной коптилки — инструмент, бывший в эту зиму во всеобщем употреблении в Одессе.

* * *

Recurrens длился приблизительно март месяц. Я имел время подумать. Я думал и во время приступов, и в перерывы, и во время выздоровления.

И странно... Жизнь окрашивалась то в терпимые, то в мутные, то в безысходно мрачные тона.

Все от точки зрения.

Когда я смотрел назад, в недавнее прошлое, теперешняя наша жизнь казалась чуть ли не раем... Давно ли мы замерзали на снегу ночью, скрываясь, как волки, в зарослях и лесах... А теперь мы имеем кров и пищу... нас лечили, о нас заботились, сколько возможно...

Когда же я сравнивал с далеким прошлым, давно прошедшим, на душе становилось серо до мути.

Следующие строки я пишу только потому, что ведь так, как мы, жили все в этом большом городе... А в других больших городах жили неизмеримо хуже.

* * *

Маленькая комната, где нас трое или четверо. Не топлено... Никто не топил этой зимой в Одессе. А измученный после болезни организм просит тепла. Тепло иногда и приходит утром с солнцем. Проснешься рано и долго ждешь этого красноватого, первого луча, который, загоревшись красным пятном, желтея и теплея, двигается

по стене. По его движению мы научились узнавать и время.

Часов ведь нет...

Когда немножко нагреет комнату, начинается комично мерзкое занятие. Ужасно трудно от них избавиться. Для этого надо постоянно менять белье. Если перемен нет, мыть надо. И моется, но ведь в холодной воде. Для горячей надо дров. А другие вещи, например, которыми укрываешься, разные фрагменты бывших пальто, их надо бы продезинфицировать. Но это не так просто. Конечно, в конце концов, справляются, но путем упорной борьбы. Борьба ведется: или просто охотой, или стиркой, или утюгом... Сильно горячим утюгом выгладить вещи по швам очень хорошо... Рекомендую всем впавшим в социализм...

* * *

Затем следует приготовление какого-то суррогата чая или кофе на керосинке... Ого, какая это возня!.. Фитили не горят, вечно что-то портится... Скучно и грязно... И никаких способностей.

Мы ведь были артисты, поэты и писатели и...

...рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

* * *

А тут...

Надо стоять в очереди за керосином несколько часов, потом бежать куда-то за хлебом, потом... Потом уборка комнаты, мытье посуды, стирка, починка, тысяча этих изводящих мелких дел. Потом надо взять обед. Опять бежать куда-то в очередь. С обедом мы устроились поразительно дешево. 18 рублей обед... Но это потому, что... словом, через кого-то мы стали семьей какого-то "спеца". Обед состоял из какого-то варева вроде супа или борща, без мяса, конечно. Кроме того, каша. Каша перемежалась: гречаная, пшенная и "шрапнель". Шрапнель многие саботировали. Другие, более смиренные, съедали. Мы брали два обеда на троих.

Общее правило после тифов: зверский голод. Надо жиров. Их и покупают. За деньги все можно достать по-

ка. Но ведь денег хватит еще на некоторое время, а дальше что?..

Что дальше?..

Гонишь эту мысль, пока светло.

Почитаешь у окна в кресле. Окно низкое и выходит на улицу. Видишь людей, иногда они любопытно засматривают в окошко. Тогда непременно кто-нибудь обеспокоится, не выследили ли уже!..

* * *

Я читал что попало. Но больше всего мне нравился один польский роман. Действующие лица исключительно графы и князья. Описывается великосветская охота, балы и все это remue-ménage* большого света. Княжна Гальшка Збаражская правит четверкой великолепных лошадей, окруженная свитой не ниже барона. Ее брат никак не может жениться на девушке колоссального состояния, потому что она не записана в какую-то родословную книжку.

Мне доставляло искреннее удовольствие сопоставление этого мира с тем, что шмыгало у меня за окном... Для любителей контрастов это было весьма недурно...

* * *

Сыну, Ляле, который лежит с отмороженными ногами и голодает между приступами "возвратного" тифа, тоже нравится польский роман. Но иногда он швыряет книжку и с неподражаемым выражением апострофирует:

— Буржуи проклятые...

Когда же дело осложняется какой-нибудь психологической драмой, он презрительно прибавляет:

— С "нравственного жиру" бесятся...

* * *

И действительно...

Немножко смешными кажутся эти "душевные страдания", когда все "живы и здоровы" и находятся в полной безопасности.

---

* Суета (*фр.*).

Мы знаем только две "психологические" муки: когда близким людям грозит тяжкая болезнь или смертельная опасность...

* * *

Но они возвращаются, эти мысли о том, что будет дальше, когда стемнеет. Когда стемнеет, в комнате почти мрак. Электричества нет, керосин слишком дорог, горит коптилка на масле. Она дает столько света, сколько лампадка, но последняя — утешение сердцу, а эта наводит мрак на душу.

* * *

Что впереди? Какой выход из этого положения?

Ну хорошо, — теперь я болен. Стесселевские деньги еще есть. Но дальше?

Служба?.. У кого? У большевиков? Нет!..

Частную найти очень трудно. Где? Все закрывается, и притом... Не сказать, — кто я, — подвести... А сказать... кто примет?..

* * *

От собственного положения мысли бегут к общему.

Что делается?

* * *

Это был первый период, когда большевики покончили, как они думали, с Деникиным и пытались или симулировали попытку смягчить террор. В Москве была объявлена амнистия и даже отменена смертная казнь. Правда (и это, кажется, единственный раз, когда "Украинская Социалистическая Советская Республика" воспользовалась своей самостийностью), было разъяснено из Харькова, что все это к Украине не относится: здесь, мол, продолжается контрреволюция и потому и террор должен продолжаться. Но все же общее настроение сказалось и в Одессе.

Конечно, чрезвычайка должна убивать кого-нибудь. Для власти, держащейся только на крови, опасно не упражнять людей в убийстве: отвыкнут, пожалуй. Поэто-

му убивателям нашли дело. На этот раз, впрочем, это еще была наиболее благоразумная локализация кровожадности: чрезвычайкам приказали убивать ”уголовных”.

Одесса спокон веков славилась как гнездо воров и налетчиков. Здесь, по-видимому, с незапамятных времен существовала сильная грабительская организация, с которой более или менее малоуспешно вели борьбу все пятнадцать (нет, их было, кажется, 14), — все четырнадцать правительств, сменившихся в Одессе за время революции. Но большевики справились весьма быстро. И надо отдать им справедливость, в уголовном отношении Одесса скоро стала совершенно безопасным городом.

* * *

Остальных пока не трогали. В отношении офицеров несколько раз объявлялись сроки, когда все бывшие белогвардейские офицеры могут заявить о себе, за что не будут подвергнуты наказаниям. Часть ”объявилась”, часть — нет.

Разумеется, все это не относилось к лицам, имевшим с большевиками особые счеты, вроде меня.

* * *

Однако в направлении ”смягчения” были даже довольно странные факты.

В один прекрасный день пришел циркуляр из Москвы, по-видимому, от Луначарского, — предписывающий читать лекции рабочим и солдатам с целью развития в них ”гуманных чувств и смягчения классовой ненависти”. Во исполнение этого те, кому сие ведать надлежит, обратились к целому ряду лиц с предложением читать такого рода лекции и с представлением полной свободы в выборе тем и в их развитии. Эти лекции состоялись. Одна из них имела особенно шумный успех и была повторена несколько раз. Это была лекция об Орлеанской Деве. Почему коммунистам вдруг пришла мысль поучать ”рабочих и крестьян” рассказами о французской патриотке, спасавшей своего короля, объяснить трудно. Но это факт...

* * *

Что же, можно из этого сделать какой-нибудь вывод?.. Неужели большевики действительно поумнели?..

Вздор! Все это на первых порах. За "эскападами" товарища Луначарского стоит власть, которую так ненавидят, что ей остается одна дорога: дорога террора. И они начнут его опять, непременно начнут.

Единственное, что могло бы "изменить курс", это если бы кто-нибудь из них, например Ленин, поняв, что они идут в пропасть, расстрелял бы всех своих друзей и круто повернул бы прочь от социализма... Но ведь это невозможно.

* * *

Где фронт? Существует ли он вообще? Как будто бы Крым еще держится. Но какая слабая надежда, чтобы он удержался. Что там происходит?

Слухи... Да ведь как верить этим слухам! Разве давно вся Одесса поверила тому, что украинцы где-то совсем близко? Потом их заменили румыны. Затем румын сменили какие-то союзники. После союзников была очередь сербов. Затем исправили: не сербы, а болгары. После болгар была очередь поляков. Наконец, самое последнее изобретение: столько-то полков немцев перешло румынскую границу и находится уже в немецких колониях. Все это вздор, все эти слухи плодит страстная жажда освободиться от большевиков какою угодно ценой.

Обыкновенно в бессонные ночи я додумывался до трех часов. Я знал, что это три часа, потому что в это время кто-то оглушительно среди мертвой тишины стрелял из нагана перед самым окном. Выстрел этот звучал неприятно, как-то жутко...

Иногда глубокой ночью проходили моторы, и всегда казалось, что это едут расстреливать...

Может быть, и расстреливают — только мы не знаем...

* * *

Так тянулись дни и ночи. На страстной неделе я в первый раз вышел. Как трудно было передвигать ноги! Я зашел в церковь. Служили панихиду по ком-то, а после панихиды какая-то женщина обносила "церковных старичков" кутьей и колевом, как принято. И мне дали. Я ел, во-первых, потому, что был голоден, а во-вторых, потому, что я был очень рад, что меня приняли за церковного

старичка. Значит, мне нечего было опасаться: теперь меня никто не узнает. После этого я поплелся на свидание, которое было у меня назначено с моим родственником Ф.А.М. Свидание должно было произойти в Александровском парке у колонны.

Когда я подходил, я увидел, что у колонны один человек. Это должен был быть он. Я подходил тоже совершенно один. Кроме нас двоих никого не было. Но мы долго стояли друг против друга, не решаясь подойти. Я никак не мог определить, он это или нет. А он смотрел на меня, очевидно, с той же мыслью. Наконец я решился. Да, это был он. Действительно, узнать его было невозможно. Он же, со своей стороны, утверждал, что никто в целом мире меня не узнает.

Когда я шел обратно, я хорошо рассмотрел себя в большой зеркальной витрине.

Да, действительно. На меня смотрел человек лет около шестидесяти пяти с большой седой вьющейся бородой. Согнутый, еле двигающий ногами... "Церковный старичок" — одно слово.

Это была работа рекурренса. Оказывается, что болезнь искусный гримировщик. Это, впрочем, было донельзя кстати...

* * *

На Пасху, которая была 29 марта, было большое торжество. Очевидно, еврейская власть захотела сделать любезность по отношению к христианскому населению, потому что после целой зимы беспросветного мрака на три дня Пасхи дали электричество во все квартиры.

Кроме того, у нас был роскошный домашний обед. Главное блюдо составляли мидии — ракушки, которых во множестве выбросило сжалившееся над несчастными белыми доброе Черное море... Вера и Ваня (дети хозяев) целый день их собирали...

Страхи

Ирина Васильевна поступила в театр. Объявила у себя "балетную студию", что, по большевистским законам, давало ей право на лишнюю комнату: большевики покровительствуют искусствам. Вот именно эту комнату

заместо балерин после Пасхи заняли бывший редактор "Киевлянина" и поручик инженерных войск В.А.Л.

Отвыкшие от всякого комфорта, мы умели ценить то, что, обыкновенно, в прежние времена даже не замечалось.

* * *

Удобная кровать... чистые простыни... одеяла... подушки... два мягких кресла... диванчик... даже маленький письменный стол... на дверях портьеры... из хорошей старорежимной серой парусины...

Я помню, сколько раз, просыпаясь по утрам, мечтательно смотрел на эти портьеры и думал:

"Вот рубашка, вот гм... гм... а, впрочем, вышел бы и верхний, летний костюм..."

Пол был паркетный. Я тщательно выметал его по утрам и мечтал хоть один раз "ополотериться", как сказал бы Игорь Северянин, то есть натереть его воском.

И потом... ведь в этой квартире можно было прилично вымыться... Правда, при социалистическом режиме вода в водопроводе не всегда идет и никогда не идет в верхние этажи. В этом доме воду можно было получить только во дворе. И это была моя обязанность. Я отправлялся в маленький садик, где среди цветов был не фонтан, но кран, или, как говорят в Одессе, "крант", и таскал ведрами воду. Норма была восемь ведер, которые я вливал в ванну, и было всем благо.

Иногда я пилил дрова, но это, так сказать, по большим праздникам.

Но кроме всех этих благ в этой квартире оказалась еще... гитара...

Да, смейтесь...

Нужда пляшет, нужда скачет...

Я решил, что пора "песенки петь".

* * *

Дело в том, что деньги быстро таяли...

Все мое состояние заключалось в двадцати английских фунтах и остатке от тех "колокольчиков" (деникинские тысячерублевки), которые тогда в лесу были розданы Стесселем...

Кстати, должен сказать, что "колокольчики", не-

смотря на официальное запрещение под страхом расстрела, котировались на подпольной бирже Одессы. Стоимость их, кажется, не падала ниже трехсот советских рублей, но порою подымалась до "al pari".

Огромное количество людей в Одессе занималось спекуляцией на деньгах. Да могло ли это быть иначе? Куда же могли деваться эти "кошмарические" стада всевозможных биржевиков, которые наполняли Фанкони и Робина и густой толпой стояли на углу Дерибасовской и Екатерининской, торгуя кокаином, сахаром и валютой?

Одесская чрезвычайка вела с ними борьбу, многих расстреливала, но остальные продолжали работать. Но, разумеется, теперь работа шла в самом строгом подполье. Итак, деньги таяли. Служить у большевиков я не мог и не хотел. Пристраиваться к каким-нибудь кооперативам было трудно; незнакомые меня не приняли бы, а знакомые, боясь не столько за себя, сколько за меня, всячески отговаривали. Что делать?

И вот выходом из положения явилась гитара.

Старик с седой бородой... Ясно, что человек знал лучшие времена... какое-нибудь небольшое кафе... разбитый, надтреснутый голос... такой же разбитый, как и безвозвратное прошлое... старинные романсы.. исключительно старинные, такие забытые и такие незабываемые... Жалобный звон струн... очень тонно...

И вот я действительно подготовлял себе такое местечко. Составил себе уже целый репертуар, мобилизовал голос...

Помню, мне когда-то П.Н.Милюков сделал комплимент. Я жаловался, что совсем не могу говорить в Думе из-за крайней слабости голоса. Он мне ответил:

— Да, голос у вас слабый... Но он поставлен, как у певца. Вы не поете?..

И вот на старости лет оказалось, что я пою... для развлечения пролетариата...

Нужда песенки поет...

"Кто не трудится, тот да не ест..."

* * *

Ирина Васильевна (настоящее ее имя другое) в этот день очень беспокоилась...

Ей почудилось, что кто-то следит не то за ней, не то за мной, — вообще что-то жуткое. Я кое-как ее успокоил. Но к вечеру "инцидент" всплыл снова, в форме категорического "предчувствия" у Ирины Васильевны, что ночью придет чрезвычайка, а потому мне совершенно невозможно остаться в квартире. И это предчувствие росло в такой угрожающей форме, что мы с поручиком Л. решили уйти, ибо совершенно было ясно, что все равно в эту ночь оно никому спать не даст.

* * *

И мы ушли...

Но это легко уйти, когда знаешь, куда пойти. А ведь мы отлично понимали, что во всякой квартире нам, быть может, и не откажут, но особого счастья не ощутят: ведь везде каждую ночь может быть обыск, и тогда хозяин квартиры будет отвечать за укрывательство контрреволюционеров.

Поэтому мы решили ночевать на улице. Но опять-таки это удобно можно было сделать "под игом самодержавия". Но в свободном социалистическом государстве всякого человека, который осмелится показаться на улице позже известного часа, ловят, как преступника, и тащат в участок. Почему при социализме нельзя ходить по ночам, никак не могу понять.

Мы решили ночевать где-нибудь в подъезде.

* * *

Нет, это слишком холодно. Эти камни обладают удивительной способностью быстро остывать. И притом эта ниша, куда мы залезли, плохо защищает от взоров патрулей. А сейчас патрули пойдут. На улицах уже ни одного человека. Идет тихий, мирный дождь. Удивительно, как быстро большевики покончили с грабителями, налетчиками и всякими уголовными.

Надо пройтись. Ну в конце концов наскочим на патруль, как-нибудь вернемся. И потом — блестящая мысль: пусть патруль нас забирает. В конце концов, не расстреляют же за это, за позднее хождение, переночуем в участке, во всяком случае, теплее...

Пошли... На одном из перекрестков:

— Стой!..

Мы остановились.

— Откуда так поздно, товарищи?..

— Да разве ж поздно?.. Вот беда, часов нет!.. Что, будете забирать нас, товарищи, в район?

— А вы кто такие?.. Далеко вам?

— Да нет, не далеко нам... Тут на Канатной.

Патруль, собравшись вокруг нас кучкой, раздумывал.

— Ну идите... домой... все равно...

Вот неудача...

* * *

Идем дальше. Дождик перестал, — работает луна. Это большое подспорье социалистическому хозяйству. При социализме, как общее правило, — электричество не горит. Совершенно тихо. Вдруг снова наткнулись на патруль.

Эти нас взяли. Мы едва успели условиться, что сочинять, как нас разделили.

Старший подошел к Вовке и о чем-то с ним беседовал на ходу. Потом подошел ко мне.

— Откуда вы идете, товарищ?

— С Ришельевской.

— А номер?

Я сказал условленный номер.

— У кого же там были?

Я сделал застенчивое лицо.

— Да это... его знакомые... он молодой... я там в первый раз и был...

— Ну да, а фамилия как?

Я сказал нарочно исковерканную фамилию, но похожую на ту, которую должен был сказать Вовка. При этом прибавил, что, может быть, и не так, потому что я этих барышень не знаю, мне, старому, неинтересно...

— Значит, выпивали, товарищ?

— А что же я пьяный, что ли?

Я дунул ему в нос.

— А чем занимаетесь?

— Артист... музыкант... Раньше на рояле и на скрипке давал уроки, а теперь на гитаре... Специальность "старые романсы"... Ученики ко мне ходят... Сам голос я уже потерял, не выступаю... После тифа...

Заинтересовавшись, подошел другой патрулист.

— Так вы, товарищ, гитарист?.. Я тоже на гитаре играю. Хорошая у вас гитара?

— Ничего себе... Только раньше я привык играть на

одиннадцатиструнной, а эта обыкновенная — семиструнная... Ничего, сходит...

— А какие романсы, товарищ?

— Исключительно самые старинные. Ну вот, например, "Тигренок", "А из рощи, рощи темной", "Три создания небес" — вот тоже замечательный романс... это не то, товарищ, что теперь пошло — Вертинский-Верединский... "Лиловый негр ей подает манто"... ну, какой смысл!.. Почему он "лиловый", когда все негры черные?

Тут я решил остановить поток своего красноречия: кажется, было довольно. Патруль явно убедился в нашей невинности и подлинности. Старший сказал дружелюбно:

— Ну если, товарищи, у вас документы в порядке, то вам ничего не будет... Сейчас и отпустят...

* * *

Район... Темень полная. Патруль, ругаясь, поднимается по лестнице на ощупь. Вводят нас в какое-то помещение. Тут тоже абсолютно темно. В темноте старший кому-то докладывает про нас. Происходит ругань ввиду того, что нет ни света, ни спичек. Наконец с трудом находят. Зажигают какую-то коптилку, которая считается лампой. Участок. За перегородкой начальство, в виде какого-то еврея. Нотабена: патруль, как, по-видимому, вся низшая милиция, — из русских. А начальство, так, приблизительно с чина околоточного надзирателя, — евреи.

Начальство спрашивает, кто мы, где живем, документы. Предъявляем...

Комиссар занялся тем, что вызвал по телефону адресный стол: проверить, живет ли такой-то по указанному мною адресу. Но, видимо, с ответом что-то не ладилось...

— Что? Нет света в адресном столе?.. Не можете дать справки? Что? Разбили себе голову?.. Обо что?... О шкаф?.. Что за безобразие...

В конце концов, проэкзаменовав нас еще о роде наших занятий, причем снова на сцену выплыла гитара и старинные романсы, нам объявили, что мы свободны. Но это совсем не входило в мои планы.

Прежде всего, я рассудил, что прятаться от чрезвычайки выгоднее всего в районе, ибо карающей руке Советской власти не придет в голову искать контрреволю-

ционеров в своей собственной полиции. А во-вторых, куда же нам идти?.. Опять на улицу?.. Но первый патруль схватит нас снова.

Поэтому я попросил разрешение переночевать здесь, в районе, каковое милостиво получил.

Мы улеглись на широком подоконнике. Начальство "дормировало" на деревянных скамейках.

* * *

Утром мы были разбужены довольно странным инцидентом.

Начальство хотя и грозно, но довольно беспомощно взвывало:

— Вестовой!.. Что вы не слышите, вестовой!..

Да, у них есть "вестовые"... В этом государстве социалистов, тех самых социалистов, которые чуть ли не краеугольным камнем своей программы ставили борьбу против "денщиков"...

— Вестовой!..

В ответ на последний отчаянный призыв неожиданно раскрылся... шкаф... Большой шкаф для дел... И с верхней полки раздалось:

— Чого?

Потом свесились громадные сапоги, которые вместе с нечесаной головой и прыгнули в комнату.

Посмотрев на нас, "вестовой Украинской Советской Социалистической Республики" добродушно изрек:

— Такая наша квартира...

* * *

Было уже совсем светло. Мы пошли. Но так как в пять часов утра возвращаться не приходилось, решили пройтись по базару, благо он под боком.

Какая красота, этот базар...

Правда, ничего, кроме редиски... Но зато ее-то уже вдоволь. Она собрана в большие корзины, которые напоминают огромные чудовища с сотнями усиков, — это хвостики редисок. Чудовища розовые, красные и лиловатые всех оттенков, впрочем, есть желтые и белые.

Мы купили по пучку (50 рублей пучок) и лазали по базару, аппетитно закусывая... Захотелось бубликов. Торговка долго почему-то смотрела на Вовку. Наконец сказала:

— Извиняюсь, вы русский?

— Русский...

Она перекрестилась...

— Вот, поверите, первый раз, как ушли деникинцы, на русском человеке студенческую фуражку вижу... Ах, жиды проклятые...

* * *

В это утро была суббота.

А потому, пробродив изрядное количество времени по улицам, мы сподобились увидеть "субботник"...

Субботник — это последнее слово социалистической изобретательности.

Субботник — это значит, что каждую субботу, в таком-то часу, все истинные сыны Советской Республики должны собираться на такую-то улицу... Сегодня они собрались здесь...

Впереди — колоссальный красный плакат с золотой надписью: "Кто не трудится, да не ест". За плакатом оркестр военной музыки. За оркестром — небольшая военная часть, которой командует товарищ командир, расписанный, как картинка. Красные чакчиры, гусарские сапоги, голубой доломан... Без погон, но на рукаве роскошно вышитая золотом и серебром звезда. На голове кубанка, ноги пружинят, голос звенит... Смотря на него, вспоминаешь песню:

Я возьму воровскую дубину
И разграблю я сто городов,
Разукрашу себя, как картину...

Сам же "субботник" стоит вдоль улицы, в некотором роде поротно. Вглядываюсь в лица — почти сплошь евреи... Вглядываюсь подробнее — вижу массу студентов или, во всяком случае, еврейчиков в студенческих фуражках... Стараюсь сообразить, почему бы это, — и догадываюсь: ведь это цвет нации, это "партийные коммунисты", для которых участие в субботниках — обязательно...

Впереди плакат, посредине плакат, сзади плакат...

Музыка играет марш, товарищ командир в красных штанах командует с непередаваемой интонацией наглости и презрения, и субботник дефилирует...

Куда? Зачем?

Совершать "пресловутое русское дело"... В завтрашней официальной газете в отделе известий можно прочесть, что сегодняшний субботник прошел с громадным

успехом и что собравшиеся "истинные граждане Советской Республики" без всякого вознаграждения "перенесли с места на место столько-то десятков шпал, вымели столько-то квадратных аршин такого-то двора, перетолкали без помощи паровоза целых пять ужасно тяжелых нагруженных вагонов"...

* * *

Лиловый ирис стоял на балконе... Это был знак, что можно безопасно входить в квартиру.

Никого, конечно, ночью не было, все это были только призраки.

Но что такое "факт"?.. Когда он светит из прошедшего, тогда его называют воспоминанием. Когда же его луч пробивается сквозь "туман будущего", — это предчувствие...

"Беспричинные страхи" Ирины, конечно, были предчувствием факта. Она только не могла справиться с четвертой координатой — с временем.

То, чего она боялась теперь, случилось несколько позже.

Курьер

Мы знали к концу апреля, что Крым держится, что борьба возобновилась, что во главе армии стал генерал Врангель. Однако меня удивляло, почему наши крымские друзья не подают никаких известий.

Правда, несколько раз бывало так, что по Одессе бежал слух: высадилось столько-то человек. Но это обыкновенно сопровождалось через некоторое время разъяснением, что все они или часть попали в чрезвычайку и расстреляны...

* * *

Я получил приглашение от своего родственника Ф.А.М. увидеться с ним по важному делу. Я пришел к нему ночевать. Он жил далеко, на Молдаванке.

Был май месяц, на улицах было много цветов и много жизни. Правда, особенной жизни... Веселящегося, жизнерадостного русского лица здесь нельзя было встретить. Но еврейская молодежь "фетировала"* весну...

---

* От франц. fête — праздник.

Я добрался до Молдаванки. Научились мы, контрреволюционеры, ходить необычайно. Ведь лучшее средство, если существует опасность, что за вами следят, — это бешеная быстрота ходьбы. Ибо те, которые следят, тоже должны будут неистово нестись, обгоняя всех, и вам скоро это станет ясно.

* * *

У Ф.А. я застал ошарашивающую новость: курьер из Севастополя. Он был тут же, в комнате, этот человек, и мало того — он был одним из тех людей... словом, Ф.М. его хорошо знал. Его инициалы Н.Л.Б.

Вот, наконец, первые, более или менее достоверные известия о Крыме.

Да, армия существует... Перешейки держат крепко и не думают уступать. Армию нельзя узнать — дисциплина восстановлена, грабежи и всякие мерзости прекращены беспощадными, но умелыми действиями генерала Слащева.

Был бунт капитана Орлова, но он подавлен. Теперь положение прочное. Намечаются реформы — земельная, волостная... С рабочими отношения урегулировались в Севастополе. Вообще, в Крыму полны надежд...

Он приехал за информацией, просит дать ему всякие письменные сообщения обо всем, что мы знаем. На днях он едет обратно, тем же путем — через Тендру...

Было решено, что Ф.А.М. поедет с ним...

* * *

Ф.М. пришел ко мне перед отъездом проститься. Выяснилось, что Н.Л.Б. ехать еще не может. Но взамен себя он предложил одного из своих товарищей. Они, оказывается, вчетвером приехали из Крыма. Один из этих четверых, совершенно верный человек, должен был сопровождать Ф.М.

* * *

Ф.М., или Эфем, как он иногда подписывался, был мне близким человеком. Я любил его, как младшего брата. Поэтому больно мне было, что он такой грустный и даже совсем как-то "не в себе" был при нашем расставании...

Я вышел провожать его на лестницу... Он, спускаясь, смотрел на меня своими красивыми глазами, и были они

полны чего-то прощального и обреченно-смирившегося, и вся его удаляющаяся, слегка согнутая фигура сжала мне сердце тоской...

* * *

Я приписывал его состояние, "не в себе", тому настроению, которое было для него характерно последнее время...

* * *

Это подготовлялось в нем давно. Но окончательно утвердилось в последнее время.

Он пришел к Богу. В особенности к Христу...

Он был необычайно талантлив, но очень непостоянен. Он бросил политехникум для живописи, живопись для беллетристики, беллетристику для скульптуры, скульптуру для Красного Креста, Крест ради изобретения какого-то нового мотора и, наконец, во время революции принял участие в политической борьбе. И вот тут и сформировалось это...

Он разуверился в силе разума. Он понял, что идут верно только те, кто имеет бога в сердце. Он стал искать веры. И она пришла к нему, пережившему и передумавшему все ухищрения ума, — простая и бесхитростная...

На этой почве у него родилась мысль... Чисто христианская... Он все мечтал о создании, как он говорил, "Политического Красного Креста"... Чтобы было такое учреждение в гражданской войне, которое при красной власти имело бы право "печаловаться" о белых, а при белой — о красных... Такое учреждение, которое признавали бы обе стороны... Это учреждение он мечтал назвать "Обществом имени св. Николая Мирликийского"... Чтобы это понять, надо вспомнить картину Репина, где св. Николай останавливает меч, занесенный над головой осужденного...

* * *

На следующий день мне сообщили, что он ушел со своей квартиры, — так было условлено — вместе с приятелем Н.Л.Б. Они должны были добраться до знакомых рыбаков, которые переправят их на Тендру. На Тендре уже наши — генерал Врангель... Переход морем верст семьдесят... может быть, бог поможет

* * *

Если бы Эфем добрался благополучно и оттуда, из Крыма, прислал бы деньги и инструкции, можно было бы кое-что сделать. Хотя из Одессы бежали все, кто мог, но все же кое-кто остался, волей или неволей. Мы могли бы работать... Этот курьер из Крыма подбодрил всех нас...

Появился просвет... Ведь этот курьер значит, что есть еще земля обетованная, клочок русской земли, где нет этих проклятых красных знамен, где не слышно гнусного "Интернационала", где люди вольно и легко дышат.

Надо работать для них, для тех, кто борется, кто идет нам на помощь...

"Котик"

Я помню хорошо этот день. Это было начало мая, кажется, 6-е число. Я, по обыкновению, сидел около раскрытого окна и пробовал набросать на бумагу то, что было очень давно. В окошко мне виделась часть города с садиками и двориками.

В этих садиках всюду шевелились работающие на земле люди. Можно было без всякого колебания сказать, кто они. Это, конечно, были буржуи, контрреволюционеры, парии советского режима. В социалистической республике почему-то устроено так, что чиновники, профессора, писатели, адвокаты, торговцы, офицеры, словом, люди интеллигентных профессий, должны работать физическим трудом. А люди мускульного труда должны работать головой.

Что же делают эти "буржуи" на хорошеньком квадратике, где зеленые узоры на желто-коричневом фоне раскалившейся одесской земли?.. Кажется, ухаживают за розами... Неужели розы есть в Советской Республике?.. Представьте себе — есть... Не только розы — масса цветов на улице. Просто удивительно, — почему нет декретов об уничтожении всех цветочных заведений и запрещении продажи цветов на улице. Что может быть буржуазнее цветов... Есть, пить — это ведь во всяком случае и пролетарское занятие. Но цветы? Ленин и нарциссы... Троцкий и фиалка...

Глупые люди... Я бы на их месте этого не потерпел... Как они не понимают, что, пройдя по городу, в котором там и здесь на углах огромные, яркие пятна масси-

рованных в одном месте этих чудных существ — цветов, самый жалкий, самый забитый, самый загнанный в щель буржуй вздохнет полной грудью и станет напевать:

Ще не вмерла Украина...

* * *

Итак, был чудный майский день... В окошко, кроме мыслей о буржуях, трудящихся над розами, врывались звуки военной музыки.

Удивительно, как большевики полюбили военный оркестр. Бедна все-таки человеческая изобретательность. Для того, чтобы поддерживать бодрость духа в армии, гимн которой "Отречемся от старого мира", — не нашли иного средства, кроме средства старого, как мир, — медь бряцающую.

Против моей квартиры за квадратиками с розами — большое красивое здание. То есть оно, собственно, потому кажется красивым, что оно свеже оштукатурено. В социалистическом раю не моются не только люди, но и дома. Это подлинное царство "неумытых рыл", и по весьма простым причинам... нет воды для лица, нет денег для ремонта домов. Кто будет ремонтировать?.. Частная собственность уничтожена. Дома управляются "домкомами", т.е. комиссиями, избранными населением дома. "Избранный" домком, разумеется, не может потребовать с "избирателей" такой платы за квартиру, которая дала бы возможность ремонтировать дом. И потому дома постепенно разрушаются, и уже, конечно, не до того, чтобы штукатурить фасады...

И вот посреди этих угрюмых, постаревших, покрывшихся преждевременными морщинами домов нарядненько, чуть голубоватой свежей штукатурочкой кокетничает это большое здание...

Что это такое?.. Ну, разумеется, это то, чем только интересуются в царстве "трудящихся"... Это — штаб, т.е. место, где разрабатывают способы, как принудить 150 миллионов народа трудиться не покладая рук, для того чтобы 150 тысяч бездельников, именующих себя "пролетариатом", могли бы ничего не делать. (Этот строй, как известно, называется "диктатурой пролетариата"...)

Так вот, против нарядного советского штаба, влезшего в здание, которое было построено до революции для Военного округа, всегда происходят какие-то парады.

Парадомания у большевиков ничуть не меньше, чем в эпоху Павла I. Вот играют "встречу". Кого это встречают?.. Ах, да... наш город посетил высокий гость — товарищ Луначарский... Питомец Киевской императорской Александровской гимназии, ныне нечто вроде министра искусств Социалистической Республики. Почему ему устраивают военную встречу, — понять трудно: это пахнет Гоголем...

Музыка замолкает. Слышны какие-то отдельные нечленораздельные звуки, как испорченного, поставленного на чердаке граммофона. Очевидно, товарищ Луначарский говорит речь. Затем... ах, что это такое?! Да, это оно... Знакомое, могучее, непобедимое... Ах, глупые, глупые люди, несчастное русское стадо!.. Кричат "ура"... Волной перекатываясь, затихая и снова взмывая, волнующее, щемящее...

Есть ли предел русской дури...

Кому кричат "ура", заветное русское "ура", прокатившееся по всему миру, от Парижа до Пекина, от Швеции до Персии?.. Кому? Одному из тех негодяев, которые заставили русскую громаду резать друг друга и в награду за море крови подарили им голод, холод и темноту...

И кричат "ура"...

Значит, еще не конец... Значит, дурацкие головы, судьба будет еще хлестать вас по щекам до тех пор, пока не поумнеете...

* * *

— Вас желает видеть какая-то дама...

Следует продолжительное совещание. Общее правило в Социалистической Республике, что каждый незнакомый человек может быть шпионом. Я вдруг начинаю понимать, почему образовался этот обычай при встречах протягивать открытую руку.

Это вот почему... В век звериный, когда по мрачной земле бродили люди, видевшие за каждым стволом дерева смертельную опасность, — люди свирепее скифов, — они все же иногда встречались... И если у них не было враждебных намерений, что бывало не часто, они показывали друг другу открытую ладонь, в доказательство того, что в руке нет камня. Затем тихонько, с опаской подходили друг к другу, ближе и ближе и наконец, чтобы убедиться окончательно, ощупывали друг другу руки. И с течением времени это превратилось в дружественное рукопожатие.

Так и сейчас... В этом царстве XX века, неозверином, люди опять ощущают справедливость старинной поговорки: homo homini lupus est*.

И они не смеют прямо и просто подойти друг к другу. Подозрительно и долго по разным, неуловимым для свежего человека, но явственным для истого контрреволюционера признакам определяется — не из чрезвычайки ли этот человек, в данном случае — эта дама.

Но скоро я понял, что это просто Вера Михайловна.

* * *

Когда я с ней познакомился, мы очень быстро сблизились... как это бывает только у большевиков, — на почве общей опасности и взаимопомощи. Оттенки ведь в Совдепии не в моде. Наказание, например, одно — "к стенке"... Так и в человеческих отношениях...

Вчера вы не были знакомы... сегодня у вас дружба в буквальном смысле слова не на жизнь, а на смерть... ибо завтра вы спасли ее или она вас... а послезавтра вас вместе расстреляют...

И вот она сказала мне:

— Вы знаете, что, кажется, из всех людей на свете я больше всего ненавидела вас...

— За что?

— За ваши речи в Государственной думе... Ведь я — убежденная эсерка... то есть была...

— А теперь?

— И теперь тоже... то есть нет... то есть не знаю... во всяком случае...

Я не стал расспрашивать об этом "всяком случае"... Дело было и так ясно...

Как много теперь таких на свете... сознавшихся... несознавшихся... и полусознавшихся, как Вера Михайловна...

* * *

Вера Михайловна была очень взволнована.

Вот что произошло.

В кафе, куда она случайно зашла, пришел какой-то субъект. Он обратился к прислуживающей в этом кафе даме. Известно, что революция произвела в России революцию также и в кафе. Образовался целый ряд предприятий, содержимых так называемыми "дамами из об-

---

* Человек человеку — волк (*лат.*).

щества". Поэтому вы никогда не можете быть уверенным, что барышня, которая подает вам кофе или пирожок, не какая-нибудь звонкая русская фамилия или что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, профессия, именуемая на Западе кельнершами, почти целиком перешла к интеллигентным русским женщинам.

Это кафе было в этом роде. Между столиками бродили придымленной походкой "бывшие дамы".

Этот субъект пил кофе и говорил непонятные вещи. Он, мол, приехал из Крыма и имеет важное поручение. От кого?.. От "Слова"? К кому?.. К "Веди"*?.. Усталые дамы с придымленной походкой ничего не поняли в этой таинственности. Они не знают никакого "Слова" и никакого "Веди"...

Тогда субъект стал говорить прямее. Он прислан к В.В.Шульгину, и в Крыму ему сказали, что он доберется до него через это кафе...

На бледных лицах "бывших дам" отразилось изумление и страх. Конечно, они слыхали мою фамилию и очень понимали, что вести со мной знакомство в настоящую минуту не безопасно. Но ведь они по-настоящему никакого понятия обо мне не имели. А вдруг этот человек провокатор...

Вера Михайловна слушала все это, не подавая виду. И вот прибежала сообщить мне. Субъект говорил о том, что он имеет очень важное поручение из Крыма, что ему совершенно необходимо меня повидать, что он привез деньги для меня. Он будет ожидать завтра целый день в такой-то квартире. Он называл себя "Котиком".

Вера Михайловна сидела на подоконнике. Обвивая ее с двух сторон, врывались желтые звуки медных инструментов. Какому еще великому человеку играли встречу?..

В эту минуту, несмотря на запрещение, в комнату вошла Ирина. У нее был румянец на щеках, и голубые глаза явственно доказывали, что она или скажет дерзость, или будет плакать. За ней с виноватым и хмурым видом вошел Вовка — поручик Л. Очевидно, ему не удалось ее удержать, как ему было приказано. Я понял, что ничего не поделаешь, и познакомил этих дам.

Обсуждение положения началось вчетвером.

Ирина сразу приняла агрессивное положение.

— Ясно, что этот "Котик" провокатор... От "Слова"

---

* Псевдоним В.В.Шульгина, которым он подписывал свои письма в годы гражданской войны.

к "Веди"!.. Ведь это прямо очевидно... Ваши письма были озаглавлены от "Веди" к "Слову"... Естественно, что провокатор, чтобы заслужить доверие, употребит те же выражения в обратном порядке... И потом этот рассказ...

Она запнулась, потому что этот рассказ обозначал, что Эфема схватили... Рассказ был такой. Будто в день, когда он должен был уехать с товарищем того курьера, который был прислан из Крыма, его видели на улице на извозчике с какими-то вооруженными красноармейцами. Этот рассказ страшно взволновал меня, и я дал сейчас же ордер по всей линии узнать через наши связи, — не попал ли Эфем в одно из мест заключения, которых было несколько. Главное было на Маразлиевской, огромный дом, который одной стороной выходил на Канатную, 29. Потом была еще чрезвычайка на Екатерининской, потом была тюрьма и еще несколько мест... Всюду были наведены точные справки, ибо списки во всех этих местах ведутся. Но нигде его не было обнаружено. Это меня успокоило, и мы объяснили то, что его видели на извозчике с красноармейцами, так, что его спутник переоделся красноармейцем для безопасности. Ирина В. утверждала, что субъект, появившийся в кафе, — провокатор... Но ведь можно было предположить и другое... Именно, что Эфем благополучно доехал и действительно передал письма "Веди" — "Слову" и что "Котик" привез ответ.

Расчет времени, правда, плохо выходил. Прошла ведь только одна неделя со дня отъезда Эфема. За это время ему доехать до Севастополя, а "Котику" приехать из Севастополя в Одессу было почти невозможно. Но "почти" не есть полная уверенность... А вдруг Эфем все же доехал, там мои друзья переполошились и в тот же день послали в Одессу мне на помощь...

Мы долго обсуждали этот вопрос. Шансы почти уравнивались. Может быть, и настоящий курьер, может быть, и провокатор.

В конце концов я решил пойти на свидание с этим "Котиком"... Благо он устроил это очень удобно — завтра он будет ждать меня целый день.

* * *

"Завтра" с утра собиралась гроза. И разразилась она тогда, когда Ирина с Вовкой ушли.

План кампании был таков. Вовке было поручено войти в ту квартиру, которая была указана, под предлогом,

что он отыскивает комнату. Сделать рекогносцировку, так сказать, на взгляд, насколько квартира подозрительна, и, если возможно, не спрашивая ничего, а только "ловкостью рук", повидать этого "Котика", как он себя назвал. Сделав рекогносцировку, прийти в одну квартиру, где я его буду ждать.

Ирине было приказано (именно приказано, — она только что вступила в "организацию", и психологически душа ее жаждала приказания) неотступно следить за Вовкой, когда он будет выходить из той квартиры, и вообще на всякий случай. Самому человеку очень трудно определить, следят ли за ним. Для этого случая обязательно должен быть сопровождающий, который легко выследит следящих. Это слежка за слежкой.

Они ушли, и пошел дождь, как говорится в каком-то глупом каламбуре. Этот дождь сыграл роль во всей этой истории.

Я слушал в продолжение часа, как он барабанил по крыше, потом надел какое-то непромокаемое пальто, которое я случайно нащупал в полутемной передней, свою черную фетровую шляпу и вышел.

Люблю грозу в начале мая...

* * *

Дождь стих, и очень пахло свежестью и цветами. Я страшно люблю эту минуту, когда после пустынности разогнанной дождем улицы вновь с феерической быстротой закипает жизнь. Люди почему-то в эти минуты какие-то веселые и молодые... Я думаю, всем, даже самым старым, хочется пошлепать по лужам...

Я поднялся в эту квартиру.

Две молоденькие барышни... Они были предупреждены, что я приду. Но им не было сказано, кто я. Им было сказано, что придет господин, которому надо видеться с Вовкой. И это было для них достаточно.

Я сказал с ними несколько слов. Они были киевлянки... У них не было почти никакой мебели в комнате. Одна лежала на полу и что-то учила. Другая сказала мне, что она сестра милосердия. Обе были в большой нужде, но бодрые и радостные радостью молодости. И улыбались так, как могут улыбаться только киевлянки.

Узнали ли они меня?.. Может быть, да, может быть, нет.

Говорят, что женщины болтливы... Но как бы они могли, если бы это было, так обманывать? Ни один мужчина, самый скрытный, не так скрытен, как самая откровенная женщина. Это у них в крови.

* * *

Пришел Вовка. Он вошел в квартиру и нашел, что все в порядке, спросил "Котика" и даже привел его сюда...

— Как... Где же он?...

— В передней...

Мы попросили барышень "очистить помещение", и Вовка ввел этого человека.

Это был человек маленького роста, неопределенных лет, от 25 до 40... Совершенно бритый, голова и лицо. Характерно было следующее: он производил впечатление мертвой головы с этими глубоко втянутыми щеками и запавшими глазами.

— Вы — "Веди"?.. Я прислан от "Слова" к "Веди"...

— Да, я — "Веди"... Садитесь, пожалуйста...

По классическому обычаю всех Шерлоков Холмсов, я опустился в кресло спиной к свету, чтобы мое лицо было в тени. То есть я это сделал потому, что мои глаза не выносят света, но он-то, вероятно, подумал, что я это делаю из предосторожности. Он сидел около стола, маленький, незначительный, одетый в темно-синий люстриновый костюм. Такие стали почему-то входить в моду среди советского чиновничества (очевидно, прислали какую-то партию). Это мне не понравилось. Но ведь разве он не мог переодеться здесь?..

Он начал:

— Я очень боюсь... как бы меня не выследили... Правда, я переоделся совершенно...

Вот и ответ...

— У вас есть ко мне письмо?..

— Нет, письма не успели написать. Меня спешно вызвали к капитану Александросу, то есть к моему начальнику...

— Где?..

— В Севастополе... Я служу в военной разведке... Вдруг меня зовут и приказывают спешно ехать в Одессу, найти вас... Ведь вы господин Шульгин?

— Да, я Шульгин.

— Найти вас и передать вам хоть на первое время

деньги. Эти деньги лично для вас... Немного... Тут же был и "Слово"... господин Л.

"Слово" вовсе не господин Л. ... Это на мгновение возобновило мои подозрения... Но, с другой стороны, — откуда бы он мог знать, кто такой "Слово"... Очень естественно, что "Слово" не оказалось в Севастополе. Л. вскрыл письмо и поспешил прислать мне прежде всего деньги... Но подозрительно было, почему нет хоть бы маленькой записки, как это у нас было принято... Но, с другой стороны, ведь деньги не имеют запаха, а записка... записка всегда может погубить курьера.

— Хотите получить куш?..

Меня это выражение "куш", под которым он подразумевал присланные деньги, покоробило. Но ведь мало ли какой у них жаргон, в этих разведках!

— Пожалуйста.

Он вынул пачку денег.

— Тут немного... Лично для вас... Сейчас же после меня или я сам или другой курьер привезут вам деньги на "дело". Вы только напишите, что вы предполагаете делать, ваши планы и размер организации и сколько вам приблизительно нужно... А тут разными деньгами... царскими, советскими... понасобирали...

— Это же, собственно, чьи деньги?..

— Это... право, не знаю... Мне передал Александрос, но я думаю, что эти деньги господина Л. ... Вы мне расписку можете написать?

— Пожалуйста...

— Еще одно...

По его лицу прошло нечто, что я сразу понял... Он будет просить какое-нибудь вознаграждение.

— Если вы можете, я вам часть этих "царских" дам "советскими".

Дело было ясно... "Царские" стоили во много раз дороже, чем "советские". На этом обмене он зарабатывал порядочную сумму...

Я его сразу понял, но решил ему не отказывать, — человек сто раз рисковал своей жизнью, чтобы добраться до меня, как ему не дать?

Я дал ему расписку, сообразив, что и после этого вычета останется порядочная сумма по нашим средствам. Деньги перешли в мой карман.

Я стал расспрашивать его о Крыме...

— Как армия?.. Дисциплина восстановлена?..

— Восстановлена. В некоторых частях очень хоро-

шо... Был бунт Орлова, но это кончилось... Земельная реформа производится. С рабочими теперь стало лучше... Дорого, но хлеб есть...

— Что же, есть какое-нибудь правительство?..

— Да... во главе стоит, как... его фамилия!.. он еще был при старом режиме министром...

— Кривошеин? — подсказал Вовка.

— Да, да, Кривошеин...

— Как вы ехали?

— Через Тендру... на Тендре — там пункт... а оттуда знакомые рыбаки переправили.

— Сколько времени вы ехали?..

— Три дня... там очень просят, чтобы вы как можно скорее прислали план вашей работы... Что вы предполагаете делать и все прочее... как можно скорее... я завтра хочу ехать обратно, я бы и отвез...

Я принял решение. Мне он казался настоящим курьером. Держал он себя просто, интеллигентности был средней. Я спросил его еще.

— Вы офицер?

— Нет... я из рабочих... Ропитовец...

Значит, и в этом пункте не врет: мне ясно было, что он не офицер. Среди же ропитовцев, т.е. рабочих "Русского общества пароходства и торговли", действительно было очень много сочувствующих нам элементов.

И я решил так. То, что он от меня просит, я дам ему завтра. За сутки что-нибудь выяснится. Нужно назначить ему второе свидание. Если выяснится что-нибудь подозрительное, я не пойду.

И я сказал ему:

— Вот что... я приготовлю план. Он будет изложен коротко, но по возможности полно; я заделаю его так, чтобы вам легко было его везти. Например, вы получите завтра коробку с папиросами, и в одной из папирос будет все, что вам нужно. Вы передадите папиросы "Слову".

— Хорошо... только, пожалуйста, отметьте хотя бы точкой, какая будет папироса.

Эта фраза сильно усыпила мои подозрения. Если он провокатор, неужели он будет заботиться о какой-то точке на папиросе. Очевидно, в нем говорит добросовестность добросовестного разведчика. К тому же для провокатора он поразительно спокоен. Ведь он один в квартире, в совершенно незнакомой ему квартире, и в сущности в наших руках. Допустим, каким-нибудь образом мы узнаем, что он провокатор. Нам нечего терять, потому

что мы в мышеловке — наверное, подъезд окружен, — и тогда в отчаянии, из злобы и мести можем и отправить его на тот свет. Провокатор все-таки бы волновался. А этот абсолютно спокоен.

В это мгновение распахнулась дверь, и в комнату ворвалась... Ирина. Именно ворвалась. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что она сильно взволнована.

— Простите, что я так вошла... мне нужно поговорить с вами, Владимир Александрович.

Мы встали при ее появлении. Встал и "Котик". Она подала ему руку и по привычке и в растерянности ткнула ее ему в губы. Тут произошло мгновенное замешательство. "Котик", может быть, не привыкший целовать дамам ручку, сильно покраснел, смутился...

— Владимир Александрович, можно вас на минутку...

Они ушли в коридор.

Я остался вдвоем с "Котиком" и, пытаясь сообразить, что обозначает появление Ирины, продолжал расспросы о Крыме. Но предварительно я сказал ему на всякий случай:

— Вы простите, пожалуйста... и не опасайтесь... Она ни во что не посвящена и совершенно даже не догадывается... Очевидно, какая-то история...

При этом я сделал такое выражение лица, чтобы можно было подумать, что Ирина закатывает какую-то сцену молодому студенту, т.е. Вовке.

Мы поговорили еще о Крыме. "Котик" оправился от смущения и отвечал на расспросы толково. Для меня было ясно, что он во всяком случае был в Крыму.

Вошел Вовка.

— Необходимо вам сказать два слова.

Я извинился перед "Котиком" с видом "о, господи боже". Я чувствовал, что что-то случилось.

В темном коридоре Ирина взволнованно шептала.

— Я следила за Вовкой... он вошел в квартиру "Котика"... Был сильный дождь... никого не было на улице... А у подъезда, куда он вошел, я увидела двух... бритые... должно быть, жиды... Один побольше, другой — поменьше... и толстый... Высокий в желтых ботинках, низкий в черных лакированных... Они не уходили, несмотря на дождь. Я тоже не уходила... Стояла напротив... Они меня заметили... я делала вид, что пережидаю дождь... Вовка вышел... с "Котиком"... желтые и лакированные пошли за ними... на углу к ним подошли еще двое — их четве-

ро... я не могла больше следить, потому что все они меня хорошо заметили... этот мой клетчатый костюм бросается в глаза... и золотые волосы... я должна была уйти... я обежала несколько кварталов, чтобы их сбить, и пришла сюда... Но они тут!.. у подъезда... желтые и лакированные!.. Что мне было делать?! Они вас схватят, как только вы выйдете, они вас схватят.

Я понял, что опасность действительно есть. В сущности, мы были в мышеловке... Но надо выкручиваться как-нибудь...

— Позовите сюда этих барышень... Пусть переоденут Ирину.

Все с этой минуты пошло очень быстро. Я вернулся к "Котику", сообразив, что надо быть особенно осторожным сейчас. Конечно, он провокатор. Каким образом эти "желтые" и "лакированные" могли очутиться здесь, у подъезда этой квартиры, после того как они стационировали у квартиры "Котика"? Совпадение... Нет, таких совпадений не бывает.

Я сказал ему:

— Вы знаете, эти барышни, в комнате которых мы сейчас, они глупенькие барышни, которые, по счастью, ничего не понимают... Но они начинают волноваться... Ведь я им даже незнаком, вы — тоже... Какое-то таинственное заседание у них в комнате... Они боятся... Вот почему приходится их успокаивать...

Сказав ему еще несколько фраз, я опять вышел в коридор. Ирина была уже готова. Передо мною стояло незначительное существо в каком-то длинном стареньком бурнусе, закутанное в темную вуаль... Неопределенного возраста женщина, скорее пожилая, и бедная...

Я сказал барышням:

— Проводите ее черным ходом... Ирина, выходите через ворота... И не возвращайтесь домой... Ночуйте у знакомых.

Теперь очередь была за Вовкой. Вовку "желтые и лакированные" хорошо видели. И надо было, чтобы он ушел незаметно во что бы то ни стало, ибо если его и не схватят, то за ним будут следить, пока не откроют нашу квартиру. Вот тут-то сыграло роль то непромокаемое пальто, которое я случайно захватил, так как шел дождь. Я одел в него Вовку и нахлобучил на него свою черную фетровую шляпу. Из студента, если и не нарядного, то, во всяком случае, вполне студента, вдруг получился какой-

то молодой еврейчик, не то скрипач в дешевеньком ресторане, не то мальчик для подозрительных поручений.

В это время барышни донесли, что Ирина выбралась благополучно.

— Ну, поручик... ваша очередь...

Он ушел. А я пошел к провокатору.

Теперь вопрос состоял в том, как мне уйти... Но это меня мало затрудняло. Из нас троих я был единственный, которого "желтые и лакированные" не видели. Узнать же меня как Шульгина, если даже они меня и знали раньше, почти невозможно. Они увидят перед собой старика с большой седой бородой в какой-то фуфаечке, не то шарманщика, странствующего по дворам, не то мастерового. Эта вязаная куртка, что была на мне, она очень меня выручала.

Главный вопрос состоял в том, даст ли мне "Котик" выйти первым. Если он уйдет первым, он, конечно, укажет меня, и меня уже не выпустят. Но если я уйду первым, то "желтые и лакированные" не могут знать, что я — я...

Я сказал ему:

— Знаете что... Я немножко побаиваюсь за вас... Как бы вас не выследили... Поэтому подождите еще четверть часа, пока стемнеет. И выходите черным ходом... вас проводят... А я пойду... Завтра к вам придут с папиросами, и, если успеете, я бы хотел еще вас повидать... Вы тогда условитесь с тем, кто вам принесет папиросы.

К удивлению моему, он согласился. Значит, он выпускает меня. Или он был уверен в своих "желтых и лакированных", или испугался и боялся себя выдать. Чувствовал ли он, что открыт, и если не исполнит того, что я ему говорю, то с ним поступят плохо... Во всяком случае, он остался сидеть в комнате, а я спустился по лестнице и вышел на улицу.

Тут только я сообразил, что мне нечего надеть на голову. В руках у меня была Вовкина студенческая фуражка, но не мог же я ее надеть с седой бородой. Шел мелкий дождь. Я сделал вид, что мне жарко и я подставляю голову "освежающей влаге". Растирая голову рукой, одновременно я маскировал верхнюю часть лица, то есть собственно глаза. Говорят, по глазам легче всего узнать... Я сделал несколько шагов и стал пересекать улицу.

В это мгновение с другой стороны улицы ко мне бросились двое. У меня было определенное ощущение, что они меня схватят за руки. Я опустил глаза и увидел спра-

ва от себя "желтые"... а слева "лакированные"... Это были они...

Это продолжалось одно мгновение... Они заглянули мне в самое лицо с двух сторон. Тогда я поднял глаза и изумленно посмотрел на одного и другого. Этот взгляд решил дело.

Очевидно, они оба сказали себе: "Нет, не может быть"... Они пропустили меня, и я прошел между ними. Мне даже не хотелось оглянуться. Я так сильно чувствовал, что я старик-мастеровой, которому никакого дела нет до этих господ.

Я обернулся, пройдя два квартала. По-видимому, никто за мной не следовал. В это мгновение я наткнулся на переодетого Вовку, который бродил около, опасаясь, что со мной. Из предосторожности я не подошел к нему, а только сказал:

— Идите прямо... я нагоню вас...

* * *

Я нагнал Вовку, который внимательно читал у какого-то тамбурина.

— Вовка, этого не следует делать... эти объявления наклеены три месяца тому назад...

Он вздрогнул и обрадовался:

— Ну погуляем... Если эти господа следят, то пусть поработают.

И мы гуляли... хорошим шагом... контрреволюционным... Наконец мы вышли на длинную улицу, которая была хорошо видна и на которой не было ни одного человека. Тогда я сказал Вовке:

— Теперь мы гарантированы... начисто...

Рекомендую вниманию тех, кому приходится скрываться от слежки, что это единственный способ действительно быть уверенным, что за вами не следят. Если на улице есть хоть несколько человек, каковы с виду они бы ни были, у вас нет уверенности. Но если вы выйдете в такое место, где, насколько доступно оку, нет ни единого человеческого существа, ваша игра отыграна...

В этот вечер по совершенно пустынным улицам, среди дождя и темноты, мы все же разыскали Ирину. Она ночевала у какой-то своей подруги и утверждала, что за ней не следили. У нее на этот счет был очень хороший прием, но о нем умалчиваю, может быть, пригодится еще когда-нибудь...

Мы же с Вовкой вернулись домой.

Мы выскочили на этот раз... Но что же с Ф.М.?! Если этот человек провокатор, то, значит, Эфема схватили. Откуда они могли знать "Веди" и "Слово", как не из писем, которые были на нем...

Письмо от главнокомандующего

Вера Михайловна вызвала меня на свидание. Она назначила мне собор. Я пошел туда. За мной на таком расстоянии, чтобы не терять меня из глаз, шел сын — Ляля.

Я чувствовал, что вокруг меня и всех нас шарят ищущие руки чрезвычайки. И потому надо было принимать меры. Мы никогда не выходили из дому, не осмотревшись хорошенько, и взяли себе за правило всегда обращать внимание, не следит ли кто-нибудь. Но вдвоем это гораздо легче.

Мне предстояло пройти через большой кусок города. По дороге вышла задержка. Впереди раздались какие-то выстрелы. Люди шарахнулись во все подъезды. Улица опустела.

Я сначала не понял, что это такое, но потом сообразил. Это было в своем роде поучительное зрелище.

Сначала показалась цепь красноармейцев, она захватила улицу поперек и от времени до времени палила в воздух. За этой цепью шла толпа людей с маленькими узелочками, мужчины и женщины. Одного взгляда мне было достаточно, чтобы понять, что это наш брат — контрреволюционеры... Их переводили из центральной чрезвычайки куда-то в другое место, должно быть, в тюрьму. Очевидно, это были важные преступники, если судить, с какой помпой их вели. Не только передняя цепь красноармейцев, но и боковые, которые шли по тротуарам, вдоль самых домов, палили в воздух. Для чего это они делали?.. Чтобы в панике население разбегалось по домам и было им свободно вести добычу...

Я думал о том, что вот Эфем, может быть, среди них? Но его не было.

* * *

Было еще приключение...

Мы натолкнулись на облаву. Облава — это одно из обычных явлений "социалистического рая". Идут люди

по улице тихо, мирно, все, как всегда... Но вдруг начинается бегство. Навстречу мчатся люди... Это значит, они там, впереди, наткнулись на цепь. Часть этих бегущих успеет проскочить. Остальных поймают. Ибо такие же цепи внезапно вынырнут в противоположном конце улицы и на всех боковых. Эти цепи постепенно сближаются и сгоняют людей в одно место. Тогда начинается процедура пересмотра "лова". Иногда таким образом ловят тысячу-две, один раз поймали 8000 человек. Тут же, на улице, начинается проверка документов, ибо цель этих облав поймать контрреволюционеров, дезертиров, спекулянтов и всяческих врагов Советской Республики.

Облавы эти колоссально глупы потому, что у настоящих врагов Советской власти, активных, документы всегда в блестящем порядке. Длится эта процедура много часов, затем подозрительных ведут в чрезвычайку. Естественно, что подозрительными оказываются главным образом те, у кого есть деньги. Деньги остаются в чрезвычайке.

Мы с Лялей удачно юркнули в переулок. Как только мы прошли, он замкнулся цепью. Но мы уже выскочили.

Эти люди имели совершенно особый вид и наводили панику. Рассказывали, что одесская чрезвычайка получила из Москвы 400 абсолютно верных и прекрасно выдрессированных людей. Было ли это так, не знаю, но внешний вид их был действительно, если не устрашающий, то действующий на воображение. На головах у них были только что примененные тогда новые головные уборы. Они несколько напоминали шеломы былинных русских витязей, но были сделаны из сукна защитного цвета, на каком-то черкасе. На шлеме была нашита большая красная звезда. Остальная одежда была обычная — форменная, одинаковая у всех и хорошего качества. Люди имели сытый и довольный вид. Очевидно, этих верных псов чрезвычайки холили и лелеяли... На взгляд, все это были русские, но великороссы, не здешние...

* * *

Белый одесский собор. Народу немного... Сейчас нет богослужения.

Я сел на скамейке. Вера Михайловна долго не приходила. И приятно мне было, страшно приятно в храме...

Мне припомнилось, как перед эвакуацией Одессы я был в митрополичьих покоях и думал:

"Ну что же... придут большевики, а это останется..."

И вот "это" осталось. Стоит этот собор, как и остальные церкви в Одессе, и всем своим существом невидимо, ненащупываемо противится красному миру.

Отчего большевики переменили свою политику в отношении религии, — я не знаю. Я даже не знаю, переменили ли они ее там, в Великоруссии, в Москве... Но здесь, в Одессе, я должен засвидетельствовать, что отправление богослужения, как такового, не преследовалось. Все храмы открыты, кроме домовых церквей. Домовые почему-то закрыты.

Отчего это произошло? Оттого ли, что большевики не посмели тронуть религию вообще, или потому, что пришлось бы тронуть одну религию? Ведь невозможно было бы закрыть церкви, но не закрыть синагог...

* * *

Наконец она пришла... бледная, расстроенная...

Это ужасное известие подтверждалось. Нашлись люди, она говорила с ними лично, которые видели, как несчастного Эфема везли. Это были чрезвычайщики. Они держали револьверы у его висков, он был очень бледен и, по-видимому, узнав тех людей, его знакомых, что стояли на тротуаре, отвел глаза...

* * *

И вместе с тем она принесла еще другое.

"Котик" опять был. Он очень обижен, что, по-видимому, ему не поверили и прервали с ним сношения; ему совершенно необходимо со мной увидеться еще раз. Он побывал у Варвары Петровны — дамы, у которой жил Эфем. И совершенно убедил ее в том, что он настоящий, а не провокатор. Варвара Петровна в ажиотаже и умоляет с ней повидаться.

* * *

Я вышел из собора, но не увидел сына, который должен был меня дожидаться. Зная, что мальчик ни за что не уйдет со своего "поста", я начал сильно беспокоиться. Пример Эфема действовал на меня, и мне мерещилось, что Лялю схватили. Я долго его разыскивал и пережил несколько ужасных часов.

Но дело объяснилось... К вечеру он пришел на одну из наших квартир. Он потерял меня из виду, когда я пошел в собор, бросился разыскивать в соседние улицы, пропустил меня поэтому, когда я уходил, и, верный "долгу службы", метался до вечера вокруг собора, пока ему не пришло в голову искать по квартирам.

Проклятая жизнь... Это вечное беспокойство, дрожание за жизнь людей... Хоть мы и привыкли к этому, но все же...

* * *

Я увиделся с Варварой Петровной...

— Помилуйте, Василий Витальевич...

— Сколько раз я вам говорил, что я не Василий Витальевич, а Иван Дмитриевич...

— Ну Иван Дмитриевич... Подумайте... что это в самом деле... Да ведь он честнейший человек.

— Кто?..

— Да "Котик"... Я же его прекрасно знаю... он десять дней каждый день ко мне приходил...

— Как? когда? почему?

— Да потому, что он тот самый, с которым Ф.М. уехал. Господи!.. Да я их сама выправляла в дорогу. И то, что у них было, все эти бумаги и письма, все я "Котику" собственными руками зашивала. Да что вы, Василий Витальевич... Честнейший он человек...

— А вы знаете, что Ф.М. арестован?

— Да что вы!.. Врут они все... врут, все врут... а ваша Вера Михайловна сумасшедшая... и ничего этого не было... я вот перекрещусь вам, чтобы вот так моим сыновьям было, как сейчас Ф.М. ... так ему хорошо, как никогда не было... я и на карты бросила... верно говорю вам...

— "Котик" был у вас теперь?

— Да был...

— Что же он говорил?..

— Да говорит, что довез благополучно Ф.М. до этого острова, как он называется... Тендра... И там передал его нашим... а сам вернулся.

— Как вернулся?.. Да ведь мне он сказал, что он прямо из Севастополя... А деньги как он получил?.. Тоже на Тендре?.. А господина Л. тоже видел на Тендре?..

— Да я уже не знаю... Может быть, перепутал он что, как увидел, что ему не верят...

— А почему же он не сказал, что это именно он ездил с Эфемом?

— Да ведь вы его не спрашивали?

— Я не спрашивал... но Владимир Александрович спрашивал, и он сказал, что не знает никакого Ф.М.

— А как же он мог сказать неизвестному студенту?.. Если бы вы его спросили, он бы сказал. А вы не спросили... Василий Витальевич?

— Иван Дмитриевич... В соседней комнате слушают...

— Иван Дмитриевич, не губите вы дело... Подумайте, вам письмо, личное от самого Врангеля...

— Как, это еще что?..

— А то, что вслед за "Котиком" прислали они второго курьера. С письмом от Врангеля к вам и с деньгами, чтобы вы работу открыли... Иван Дмитриевич, не слушайте вы тех... Большое дело можете сделать...

Мне было совершенно очевидно, что "Котик" провокатор и что он погубил Эфема. И что этот второй курьер с письмом от Врангеля тоже провокатор. И все-таки...

И все-таки... Когда женщина смотрит вам в глаза и вы читаете в них, что не, скажем прямо, трусость, а просто "излишняя осторожность" может погубить дело, — это плохая атмосфера для принятия благоразумных решений.

Я решил рискнуть... Она, оказывается, видела уже этого второго курьера.

— Честнейший человек... Офицер... фронтовик... так и видно... Целый день у меня вас ждал. Приходите завтра, я им скажу, в семь часов...

Я согласился.

* * *

Я шел обратно через какой-то базар. Ах, какие там за 200 рублей можно было поесть щи!.. Мне очень хотелось. Но это было слишком дорого для меня.

Но зато я не отказал себе в удовольствии пощупать гитару... Хорошая гитара продавалась на базаре. И сверкала так на солнце медными струнами, как золото. 10 000 рублей...

И когда я взял несколько аккордов на этой золотострунной гитаре, внутренний голос совершенно явственно и отчетливо зашептал:

— Берегись... берегись.. берегись...

Мне не было страшно, и он не отговаривал меня от моего решения... Он только настойчиво твердил:

— Берегись... берегись... берегись...

* * *

Бывают же такие случайности...

Когда я шел при белом свете солнца по Н-ской улице, я столкнулся лицом к лицу с человеком, который был тогда в ”желтых”. Теперь я рассмотрел его вполне. Он был одет иначе: в темно-синем люстриновом, а на голове форменная фуражка, вроде как у заграничных моряков. И вообще в его облике было что-то заграничное. Он был еврей — это несомненно. Но я бы сказал — иностранный еврей.

Встретив его, я подумал:

”А не будет сейчас маленький толстый, что был в черных лакированных...”

И через несколько шагов столкнулся с этим последним. И этот, несомненно, был тоже евреем. Он был одет одинаково с тем первым, с тем же заграничным отпечатком. Теперь я их великолепно рассмотрел...

* * *

Отправляясь на свидание с почти заведомым провокатором, я должен был принять некоторые меры. Я сделал так.

Во-первых, я решил опоздать на час. Я понимал, что провокатор приведет с собой хвост, который расположится на улице. И мне было выгодно, чтобы они пришли раньше меня, потому что, если бы мне удалось установить наличность агентов чрезвычайки у дома, я бы просто не вошел.

Но для этого мне нужно было иметь свою полицию. Так и было сделано. Я решил поставить дело семейным образом. Я поручил главное начальство Ляле. У него под началом был младший сын — Димка, а в резерве моя жена. Она очень беспокоилась, и я чувствовал, что ей легче будет на ”поле сражения”.

Они должны были занять свои места раньше условленного времени. Ляля — против дома, Димка — через квартал, так, чтобы видеть Лялю и исполнять его телеграфные приказания, жена — около ограды одной церкви поблизости. Я должен был прийти с опозданием на час к

церковной ограде. Здесь мне бы сообщили, что там делается около дома.

* * *

Я пришел к ограде, как было условлено. Знакомая фигура жены, которую никак нельзя было подогнать под защитный цвет, стояла у ворот. Ее внешность, так же как и вид обоих сыновей, всегда меня беспокоила. За три улицы от них веяло белогвардейщиной.

— Мальчики не приходили?

— Нет...

Значит, все благополучно. Я пошел, думая о том, какой жестокой пытке я подвергаю близких. Но как-то мы все дисциплинировались. Надо так надо. Ни протестов, ни упрашиваний... В общем, мы научились понимать, что в трудных положениях только отчетливое исполнение того, что надо, спасает дело.

* * *

На условленном углу я нашел Димку. Он в своей красной рубашке и с вьющейся шевелюрой совсем напоминал Ваню из "Жизни за царя". Опера не совсем подходящая к случаю, хотя...

— Благополучно?..

— Можно идти... Вон Ляля...

* * *

Ляля, по классическому обычаю, применяемому в таких случаях, лускал семечки. Удивительно, как семечки действуют успокаивающим образом на чрезвычайку. А еще, говорят, верный способ, если кто-нибудь вас подозревает, — пройти мимо и пустить ему дым в лицо. Впрочем, не пробовал — некурящий... Но знаю, что очень хорошо почаще сплевывать... Плевки и до сих пор служат гарантией демократичности...

— Ну как дела?..

— Тех нет.

Под словом "те" он подразумевал бывших "желтых и лакированных", ныне называемых "заграничные жиды в морских фуражках". Благодаря сегодняшней встрече я мог с совершеннейшей точностью описать их наружность.

— А кто-нибудь входил в дом?

— Входили, многие... Но невозможно определить... На улице никто не дежурит, это я знаю...

— Ну я пойду... Тебе хорошо виден балкон?

— Виден...

— Я буду сидеть на этом балконе. В случае чего — наш условленный знак... Если со мною что-нибудь случится, — я запрещаю делать глупости... Понимаешь?

Он приложился головой к моему виску и несколько раз как-то особенно постукал. Это с детства было у него выражением нежности, повиновения и беспомощного протеста...

* * *

Расположение было такое.

Вход был только через ворота. Нужный мне дом стоял во дворе, квартира была в третьем этаже. С балкона хорошо было видно улицу, потому что по фасаду были только одноэтажные здания.

Я вошел в квартиру. Варвара Петровна встретила меня:

— Нет его еще...

Это было скверно... Они меня перехитрили. Я опаздывал на час, они, очевидно, решили опоздать на два... Теперь я в западне, если сейчас не уйду отсюда. Когда он придет, то, разумеется, оставит свой хвост у ворот. А ведь это единственный выход. Значит, он будет у меня отрезан. Впрочем, я заметил рядом с воротами лавочку. Лавочка, наверное, имеет черный выход во двор, а значит, в крайнем случае можно будет выйти через нее.

Я стал ожидать. Варвара Петровна продолжала убеждать меня в том, какой хороший человек "Котик" и что новый курьер — тоже хороший. Я сидел на балконе и ясно видел Лялю на скамеечке, напротив. Я даже видел Диму через квартал, по крайней мере, его красную рубашку. Ляля сидел смирно, изредка мельком взглядывая в мою сторону, так что я понял, что он меня видит. Но он не подавал никаких тревожных знаков.

Во дворе под нами появилась высокая фигура в сером.

— Это он, — сказала Варвара Петровна.

* * *

— Вы господин Шульгин?..

— Да... с кем имею честь?..

Это был неприятный человек. Очень испорченные передние зубы, маленькая, сильно морщинистая голова. Морщины шли кругом, через весь лоб, переходя на щеки и подбородок. Зеленоватый цвет лица, лицо — порочное, злое.

— Моя фамилия Петров. Но это вам ничего не скажет... На самом деле моя фамилия другая... У меня есть удостоверение, которое я предъявлю... Я прислан к вам от военной партии... Надо вам сказать, что в Крыму две партии. Во главе военной стоит генерал Слащев... У меня письмо к вам от Слащева... Я... я — фронтовик... ничего в политике не понимаю... Но мне приказано доставить письмо вам... Приказали ехать в Севастополь... там явиться в разведку... я так и сделал, и мне там указали, как добраться сюда... Есть, кроме того, куш...

Опять этот "куш"...

— Куш — кушем, но, прежде всего, письмо...

Тут я сделал ошибку. Конечно, прежде всего надо было получить деньги... Но меня так интересовало это письмо, что я даже мало обратил внимания на одно обстоятельство: Варвара Петровна говорила мне о письме от Врангеля, а этот говорит о письме от Слащева.

— Итак, письмо?

— Письмо... вот видите... его сейчас нет при мне...

— Вы забыли?..

— Нет. Я не забыл... я вам скажу откровенно... Мне приказали вручить письмо лично Шульгину.

Я посмотрел на него, не понимая.

— Вот видите... не угодно ли вам взглянуть... вот мое удостоверение...

Он протянул мне клочок холста, на котором было написано удостоверение от какого-то штаба. Была и печать. Для меня, разумеется, это не могло служить никаким доказательством. Сколько таких же удостоверений, только большевистских, было изготовлено в свое время по моему поручению.

Но я сделал вид, что это для меня вполне убедительно.

— Да, все в порядке... А дальше?..

— Так вот, видите ли, я, значит, удостоверяю свою личность... а чем вы можете удостоверить, что вы именно и есть Шульгин?..

Этого поворота я меньше всего ожидал. Очевидно, я действительно так изменился, что не только меня не мо-

гут узнать, но даже когда я сам заявляю, что я — я, мне не верят.

— Потому что, видите ли, — продолжал он, — я получил сведения, что Шульгин, или, что то же, "Веди", великолепно скрывается или маскируется и что он очень осторожен. И в особенности после того, что произошло вчера, Варвара Петровна, я в особенности...

— А что же произошло вчера?.. — удивилась Варвара Петровна.

— А вот что... Я, как вы знаете, целый день ждал у вас прихода "Веди", но он не пришел... Но когда вы поздно вечером меня провожали, то около ворот я увидел высокую темную фигуру, которая там притаилась... Это, конечно, и был "Веди"... И правильно, так и надо поступать...

В течение этого разговора я не терял Лялю из глаз. Мне казалось, что он проявляет признаки беспокойства. Наконец я определенно увидел, что он делает мне тревожный знак большой опасности... Этот знак был в том, что он подносит платок к носу, будто бы у него насморк... Он несколько раз сделал этот жест, сидя на скамейке, потом, очевидно, боясь, что я не заметил этого жеста, он перешел через улицу, все время держа платок у лица.

Какая могла быть это опасность, о которой мальчик так определенно сигнализировал? Для меня это было очевидно. Это значит, что агенты чрезвычайки у ворот и что предо мной сидит подлинный провокатор. Это значит, что надо попытаться вырваться отсюда... Для этого нужно: с одной стороны — дотянуть до темноты, чтобы облегчить себе бегство, если оно понадобится, а с другой — надо поддержать в нем сомнение, что человек с седой бородой, который сидит перед ним, не Шульгин, а подставное лицо. Тогда ему будет полный расчет меня выпустить, чтобы проследить меня и, таким образом, добраться до настоящего "Веди"...

В это время Варвара Петровна решила прийти мне на помощь.

— Да что вы, голубчик... Я Василия Витальевича десять лет знаю. Самый он и есть, настоящий, перед вами... Что вы выдумываете!..

Эта женщина была необычайно сообразительна...

Я сказал:

— Вполне вас понимаю... Но, если хотите, давайте сделаем так... Все равно у вас нет письма с собой, так да-

вайте сойдемся еще раз... ну завтра... вы принесете письмо, а я достану вам доказательства... Ну, хотите, например, паспорт Шульгина?..

— Нет, какое же это доказательство... паспорт...

— Вы что же думаете, что вы, как не специалист, не сумеете отличить подложного паспорта от настоящего?..

— Нет, я-то специалист...

Тут я подумал: "Странный фронтовик, который в то же время специалист по подложным паспортам".

— Нет, я-то специалист, но это так ведь просто... Шульгин даст вам настоящий свой паспорт, и вы с ним и придете... Какое же это доказательство!

— А какое же вы хотите?

— Да вот давайте поговорим. Например, если бы вы могли мне рассказать что-нибудь о лицах, несомненно близких к Шульгину... Вот, например, у вас был племянник, редактор газеты...

Я понял, что он хочет...

— Вы говорите о Ф.А.М.?

— Да... Он же Петр Иванович З-ов...

Он хотел этим еще больше уверить меня в своей подлинности, называя мне фальшивое имя Эфема, то самое имя, под которым он жил здесь у Варвары Петровны, вон там, через эту столовую, где уже становилось сильно темно...

Но не в моих интересах было убедить его, что я — я...

Я сказал:

— Ну, какое же это доказательство!.. Пол-Одессы знает, что Ф.М. племянник Шульгина... Знаю это, конечно, и я — и могу знать и в том случае, если я — не я, то есть не Шульгин, кто-то другой...

* * *

Я не видел больше Ляли... Он, очевидно, переменил позицию. Я перевел разговор и стал расспрашивать о Крыме, чтобы затянуть время... Быстро темнело... Больше напряженными нервами, чем слухом, я почувствовал стук во входную дверь. Варвара Петровна, которая перед тем ушла в глубину квартиры, вернулась на балкон.

— Там ваш Ляля пришел. В передней...

Я извинился перед "фронтовиком Петровым" и вышел в переднюю. Там была абсолютная темнота. Ляля не заговорил до тех пор, пока я не нащупал его руками. Он боялся говорить в этой квартире.

— Ну, что?..
— Никаких сомнений... это они...
— Кто?..
— ''Заграничные жиды в морских фуражках''... Я их хорошо рассмотрел... Они пришли за этим серым, высоким... и стоят у ворот.
— Это они — наверное?
— Наверное... Один большой, другой меньше — толстый... Оба бритые, в морских фуражках... совсем как ты рассказал, это они...
— Ну, хорошо... Беги, Ляля... Я сейчас за тобой... тоже буду бежать...
Он постукался лбом о мой висок...
— Я подожду тебя у скамейки...
Ему нельзя было отказать.
— Ну, жди...

* * *

Я не пошел больше на балкон.
Я стал шарить по квартире в полной темноте, отыскивая спальню Варвары Петровны. В спальне я искал туалетный столик. На туалетном столике я нашел ножницы... Потом нашел умывальник. И над умывальником на ощупь стал снимать свою знаменитую седую бороду.
В это время входную дверь кто-то открыл ключом. Я сообразил, что это, должно быть, сестра Варвары Петровны. Что с нею будет, если она войдет сюда со светом и увидит эту дикую картину. Перепугается насмерть, подымет сумасшедший крик. А она чиркнула спичку и идет сюда... Тогда я пустил в ход фразу почти что из ''Пиковой дамы''.
— Ради бога, не пугайтесь...
Она испугалась, но не крикнула. В это время, покончив с бородой, я изменил свой туалет... Я сбросил пиджак и пустил рубашку навыпуск.
— Дайте мне какой-нибудь поясок.
Она послушно стала шарить, запалив ночничок, и подала мне огрызок какого-то ремешка. Он не сходился наполовину, но терять времени больше не стоило. Я схватил огрызок и вышел из квартиры...
Сбежал по лестнице во двор. Тут мне пришла в голову лавочка. Вот какой-то ход, очевидно, сюда. Спрошу папирос... И выйду через тот ход на улицу...
Вошел... У них светло... По странным лицам каких-то

девушек, которые что-то кому-то продавали, я сообразил свой вид. Вероятно, борода подстрижена невозможно, и потом, эта рубаха навыпуск, лиловая, ночная... Однако они продали мне папиросы. Но когда я хотел выйти на улицу, сказали:

— Нет, заперто... выходите через двор...

Если бы эти женщины знали, как мне неудобно, как меня "не устраивает" выходить через двор... Но делать нечего... надо выходить.

Я закурил папироску для большей ноншалантности* и переступил порог.

* * *

Я решил уходить не вправо и не влево, а прямо перед собой, поперек улицы и затем по улице, упирающейся в эту.

Прямо от ворот я пошел очень быстрым шагом. Было полутемно, но, очевидно, меня выдала походка. Я не успел перейти улицу, как почувствовал за собой спешащих людей. Должно быть, я на одно мгновение обернулся, мне кажется, я видел, как они отделились от стенки. Я ускорил свой шаг и, быстро проходя мимо Ляли на скамейке, пыхнул папироской, чтобы он увидел мое лицо... Народу было мало на улице, и я чувствовал за собою торопливые шаги. Я знал, что за этим кварталом будет улица налево, та еще пустынней... Дойдя до угла, я брошусь влево и побегу. Черт с ними! Неужели я дамся этим мерзавцам, не испробовавши быстроту ног! В молодости я бегал, не как Ахиллес, конечно, но все же недурно...

* * *

За собой слышу бег этих людей, кажется, какие-то крики... Я пробежал улицу, бросился вправо, влево, еще куда-то... не слышно больше? Да... Потеряли? Или задохлись?..

"Заграничные жиды в морских фуражках"!.. Ведь он был толстый, этот маленький, очевидно, задохся... А русские контрреволюционеры, вышколенные на голодных хлебах, легки на бегу...

"Потворствуй русской силе"!..

---

* От франц. nonchalance — беспечность, беззаботность.

* * *

Покрутившись еще по улицам, я пошел на условленное место сбора. Оно было у ограды этой церкви. Ни жены, ни Димы уже не было. Меня беспокоил Ляля...

Но вот из темноты вынырнула его белая рубашка.

Те, кто не жили в "советском раю", не знают, что значит выражение: "Жив и невредим"... "Кто на море не бывал — богу не маливался"... Кто ищет сильных ощущений, например скучающие английские денди или эксцентричные янки, могли бы излечиться от сплина и скуки... Меня удивляет, отчего они не совершают увеселительных прогулок в Совдепию с женами и детьми...

— Ах... как они бежали!..

— Ты видел?..

— Да, видел все!.. Я в восторг пришел, когда ты помчался... а они за тобой... большой и толстый... но как ты бежал!..

— Да ты же как за этим следил?..

— А я бежал за вами... они за тобой, а я за ними... Будто бы я тоже преследую... Но они не могли... тот толстый скоро задохся, остановился и стал по-жидовски ругать того большого и кулаками ему в нос... это они так разозлились, что выпустили... А потом ко мне бросились... поняли... Я побежал от них не очень скоро, так, чтобы посмотреть, что они сделают... Но они сейчас же отстали...

Положительно было жарко в этот теплый майский вечер. Он даже был душный: как бывает, когда звезд нет, а тучи как бы ватным одеялом прикрывают город. Это было 28 мая по старому стилю...

Мы пошли с Лялей... Уже было совсем темно. И эта темнота была приятна, как безопасность. На одном углу светился рундук. Я купил Ляле... не семечек, а шоколаду... за "спасение отца"... Он был очень тронут...

* * *

Нам предстояло еще очень много в этот вечер.

Теперь чрезвычайка ясно понимает, что я вижу их карты. Бег за мною "заграничных жидов" ясно доказал, что и "Котик", и этот второй, "фронтовик Петров", — провокаторы... Значит, я больше не пойду на эти удочки; им остается одно: захватить тех лиц, которые, по их мне-

нию, имеют с нами связь. Надо было предупредить теперь же их, какой оборот приняло дело, и посоветовать кой-кому в эту же ночь переменить квартиры.

Но ничего этого нам не удалось сделать. Ибо никак нельзя было добиться в квартиру. По советскому декрету в то время в десять часов закрывались все ворота, и добиться какого-нибудь толка от смотрителей двора (новый титул дворников) было в высшей степени трудно.

Мы ходили долго, наблюдая, как быстро замирает жизнь среди темных, только кое-где отдельными фонарями освещенных улиц.

Впрочем, все было по-иному.

* * *

Но надо было еще добраться на квартиру, где жил Ляля с матерью и братом. Как они должны были беспокоиться! Эта квартира была очень удобная. Она выходила окнами на улицу, и подоконники ее были на аршин от земли. При этих условиях сдать Лялю через окошко в темную комнату, откуда несся взволнованный шепот и протягивались дрожащие руки, не представляло затруднений.

* * *

Я пошел один... Время становилось совсем позднее, я чувствовал, что наскочу на патруль. Если бы не мой туалет и эта ужасно обстриженная борода, это мне было бы безразлично. Я уже ночевал в районе за позднее хождение и знал, что там делается. Но тут, в таком виде...

Совсем недалеко от дома я таки "влип"...

— Кто идет?..

Что им ответить?..

— Человек идет... вольный...

Слово "вольный" обозначает штатский. Кто мог быть в этом патруле? Конечно, солдаты.

— Отчего так поздно, товарищ?..

— Да разве поздно?..

— Три часа было...

Советские часы переведены на три часа вперед. Три часа обозначают полночь.

— Ну, вот, так я и знал... Я же им говорю, что поздно... а они все: успеете да успеете!.. Вот и успел... Часов нет. Если бы я еще необразованный человек, а ведь я же

знаю, что надо закон исполнять... Сказано нельзя, — значит, нельзя...

— Да откуда вы, товарищ, идете... Из больницы, что ли?..

— Почему из больницы?.. от знакомых...

— В рубашке? А пояс где?..

По счастью, огрызок был у меня до сих пор в руках.

— Пояс вот!.. оборвался...

Они пощупали ремень...

— Документ есть?..

— Есть...

— Какой?..

— Паспорт...

— Только?.. а советский документ?..

— Ну, на что мне советский документ?.. Мне пятьдесят лет, значит, я не дезертир, на должности не состою, — на что мне советский документ?..

— Как же так, товарищ... Столько времени, как Советская власть настала, а у вас документа советского нет... Пойдем в район!..

— Товарищи, ей-богу, тут живу, совсем близко... Мне что! — в район так в район, — да дома беспокоиться будут, сами знаете: время какое...

— Да нельзя никак, товарищ... Вы же понимать должны, что мы службу должны исполнять...

— Я к вам не имею претензий. Эх, черт!.. Вот так всегда русский человек... Все авось да авось, дойду да дойду, вот и дошел...

— Да вы чем, собственно, занимаетесь?

Тут меня осенило вдохновение... Патруль обступил меня кругом, вроде как публика. И я внезапно "впал в роль".

— Чем я занимаюсь?.. Ведите меня в район — вот что!.. Мне все равно... чем я занимаюсь? Как вы меня спросили, — так лучше бы не спрашивали!.. Потому — я человек пропащий... Все равно — в район так в район!..

Наступила почти драматическая пауза...

— Чем я занимаюсь?.. Как бы не так... Чем я з а н и м а л с я!.. Скрипачом был, скрипку имел хорошую... Вот в оркестр договорился... Так вот нате... заболел!.. Сыпняк. Денег нет... Продал скрипку... Теперь какой я человек?! Скрипач без скрипки... Где ее возьму?.. Что мне с этой чертовой гитары!.. Гитара у меня осталась. Учу романсы распевать... Так много ли их, дураков, ко мне ходит? Сыт с этого будешь?!

Длинная пауза. Кажется, они были растроганы... Из заднего ряда кто-то сказал:

— Отпустить бы...

Тогда старший, почувствовав "глас народа", который действительно был для меня в данном случае почти что "гласом божьим", сказал:

— Ну, как вы скрипач, товарищ...

И прибавил:

— Только не попадитесь другому патрулю... Тихонько идите, не шумите...

* * *

О, русский народ... Зверь-то ты, зверь... Но самый добрый из зверей...

* * *

Добрался домой благополучно... но без "письма главнокомандующего", конечно...

У моря

Вкратце говоря, наступил период, который можно было бы обозначить:

> Мной овладело беспокойство —
> Охота к перемене мест,
> Весьма мучительное свойство...

Чрезвычайка каким-то образом выследила, где я живу, и узнала фамилию, под которой я скрываюсь. По этому поводу пришлось менять не только квартиру, но и имена и пройти практический курс подделывания паспортов, метрик и других документов как для меня, так и для других лиц, запутавшихся в эту историю. Итак, я жил сначала у одного украинца, потом у одной гречанки, затем у немки и в других местах. В одном доме меня едва не избрали председателем домкома, в другом хотели привлечь за кражу (по счастью, истинный вор вовремя нашелся). Профессии мои также менялись: я был музыкантом, артистом, учителем, библиотекарем... Из одного дома мне пришлось спешно выехать, потому что... j'ai touché du piano* неосторожно... По особенностям моего "туше" соседи безошибочно определили, что я человек

* Я дотронулся до пианино (*фр.*).

весьма подозрительный. В конце концов, я перешел к системе жить в нескольких местах одновременно под разными фамилиями. Но эта система требует некоторого напряжения памяти, чтобы не перепутать своих прежних жизней, а также ясно помнить историю о жизни всех сродников каждого отдельного "я". Но в общем я справлялся.

Квартира у немки была мрачная. Она действовала на меня угнетающе. Вечная мысль о судьбе несчастного Эфема довела меня до поступка, достаточно бессмысленного.

Я знал адрес "Котика". Знал также, что там бывают "фронтовик Петров" и "заграничные жиды". Я послал по этому адресу письмо, приблизительно следующего содержания:

"Высшим представителям Советской власти в Одессе:

Милостивые государи. Обращаюсь к вам по нижеследующему поводу. Распоряжением Чрезвычайной Комиссии арестован Петр Иванович З-ов, в судьбе которого я принимаю ближайшее участие. Я предлагаю вам обмен: я готов явиться в Чрезвычайную Комиссию в том случае, если вы выразите согласие возвратить П.И. З-ву свободу. Если вы согласны на этот обмен, напечатайте в "Известиях" в отделе справок нижеследующую фразу: "Товарища Веденецкого просят явиться немедленно". Если это будет напечатано, я буду считать это вашим согласием освободить З-ова, в течение трех дней после напечатания явлюсь в Ч.К.

Я знаю, что у социалистов совершенно иные понятия о чести, чем у нас. Поэтому я не исключаю возможности, что вы меня обманете. Но, с другой стороны, я думаю, что, несмотря на всю разницу, существующую между нами, не все человеческое вам чуждо. Для того же, чтобы вам было ясно, почему я решаюсь на этот шаг, я должен объяснить, что З-ов арестован исключительно из-за меня, так как лично он имеет весьма мало отношения ко всему этому делу. Я буду ждать вашего ответа в течение трех недель. (Подпись)".

* * *

К беспокойству за Эфема присоединился страх за других. Дело в том, что чрезвычайка, добравшись до моей первой квартиры (мне повезло: я ушел с этой квартиры утром того дня, когда они явились), захватила в

свои когти Ирину Васильевну. Правда, они не арестовали ее, но подвергнули утонченным пыткам, в виде ежедневных допросов, и окружили непрерывной слежкой.

Мне удалось при помощи целого ряда хитроумных комбинаций поддерживать с ней связь. Между прочим, она успела сообщить, что, если она будет вызывать нас на свидание или что-нибудь подобное, не верить ни единому ее слову. Это было не особенно понятно, но главное состояло в том, чтобы она всегда знала мой адрес для того, чтобы в нужную минуту знать, куда бежать.

* * *

И бессознательно и сознательно я все время стремился устроиться поближе к морю. Я чувствовал, что при сложившихся обстоятельствах я бессилен помочь Эфему, что я с каждым днем вовлекаю в опасность новых лиц, помогавших мне так или иначе, что инициатива вырвана из моих рук и перешла к чрезвычайке, что борьба становится совершенно неравной, главным образом, из-за отсутствия денег. Я пробовал действовать подкупом через третьих лиц, но скоро мне стало ясно, что те суммы, которые я бы мог собрать, недостаточны.

Как следствие всего этого, вырисовывалось одно определенное решение: надо бежать в Крым. Надо бежать и пробовать сделать что-нибудь оттуда.

Сухопутный путь был на Александровск в то время. Ибо у нас было предчувствие, что его рано или поздно возьмут войска генерала Врангеля. Но здесь было много трудностей. Мои друзья работали по подготовке соответствующих документов, удостоверений и командировок. Рядом с этим разрабатывался "морской драп", как мы выражались.

В связи с этим, но и по другим причинам, я очутился "у самого синего моря"...

* * *

Да, оно было пленительно синее... Никогда, кажется, за всю жизнь оно так не манило меня. Море всегда — "зовущее". Даже в самое спокойное, золотое, "старорежимное" время. А теперь...

Теперь ведь за этой синей пустыней лежит спасение — земля обетованная...

* * *

У "самого синего моря" я устроился весьма удобно. Я изображал из себя советского служащего одного из бесчисленных советских учреждений, получившего отпуск для поправления здоровья и нуждающегося в морских купаниях. На этот предмет у меня был документ, в котором были подделаны подписи, а бланк и печати были самые подлинные.

Делается это так. Впрочем, оставим это... вспомним с благодарностью тех, кто это делал, а рецепт оставим про себя: пригодится...

* * *

Мы жили с сыном, Лялей, вдвоем. Неудобство этой квартиры было в том, что, кроме садовых скамеек, никакой другой меблировки не имелось. К тому же у нас к этому времени совершенно не стало вещей, почему мы спали на голом полу. Кроме того, у нас была одна выходная рубашка на двоих. Но это уже относится к разряду удобств, ибо вследствие этого мы никогда не выходили вместе, а только поочередно и, следовательно, меньше привлекали внимание.

К неудобствам этой квартиры можно, пожалуй, отнести то обстоятельство, что у нас систематически не хватало денег. Но в самую трудную минуту обыкновенно судьба выручала.

Иногда бывали инциденты, которые меня глубоко трогали. Почему люди, совершенно мне далекие, о которых я даже не знал, вдруг оказывались такими близкими, заботились обо мне, доставали мне все необходимое?..

* * *

Однажды я особенно долго лежал на высоких обрывах... Ах, оно в этот день было особенно приглашающее... Типичное "драп-море". Легкий ветерок, чтобы не было жарко и чтобы не было большой волны. Ничего грозного, опасного в нем, только что-то большое. Пора... положительно пора...

Когда я вернулся домой под вечер, Ляля встретил меня в саду.

— У нас гости... одна дама, она говорит, что ты ее знаешь, но она не хочет себя назвать...

Я вошел и поздоровался с этой молоденькой женщиной, которая действительно казалась мне несколько знакомой. Но только когда она не выдержала и рассмеялась, я узнал Ирину Васильевну: она была в темном парике и загримирована "четвертым номером", то есть под смуглянку...

* * *

— Когда вы ушли, они пришли в тот же день...

— Кто они?

— "Заграничные жиды"...

— Как они узнали?

— Они выследили меня, должно быть... но меня не было дома, когда они пришли. Они пришли под видом служащих жилотдела... На самом деле это были чрезвычайщики, мне хозяин дома сказал. И через два дня я получила повестку явиться в Чрезвычайную Комиссию... Я пошла. Сначала хотела бежать... А потом решила пойти. Он стал меня спрашивать.

— Кто он?

— Следователь, которому было поручено все это дело. Он меня спросил, куда исчезли мои жильцы. Я сказала, что я не знаю и что сама очень беспокоилась. Он спросил фамилии, хотя он их знал от хозяина и дворника, но стал вас называть почтительно Иван Дмитриевич и Владимир Александрович... Тогда я ему стала рассказывать все, как мы условились... Он всему как будто верил. И потом вдруг спросил: "А зачем вы 7 мая были в квартире такой-то?" Тут он меня поймал. Потому что он спрашивал о той квартире, где было свидание с "Котиком"... Я видела, что я сейчас запутаюсь и будет мне конец, и чувствовала, что надо сделать что-нибудь особенное. А надо сказать, что нас вызывали вдвоем с мужем... и вдруг мне мелькнуло... Я сказала ему тихонько: "Удалите мужа..." Он под каким-то предлогом выслал Владислава... Когда мы остались одни, я стала сильно плакать и сказала, что если он меня не выдаст мужу, то я все скажу... Он обещал, и я ему созналась, что у меня в этой квартире было любовное свидание с Владимиром Александровичем, а что Иван Дмитриевич покровительствовал нам... После этого мы стали как бы друзьями... Он мне сказал, что Иван Дмитриевич и Владимир Александрович — честнейшие люди, но что над ними повисло обвинение в злостной спекуляции и так как это карается

очень строго, то они и сбежали... Но на самом деле Чрезвычайной Комиссии известно, что они не виноваты и что им надо вернуться, чтобы себя обелить... Больше в этот день ничего не было. Он отпустил меня домой. На следующий день он ко мне приехал... Тут опять была масса разговоров, я еще больше плакала. И немножко стала возмущаться Владимиром Александровичем, что он меня бросил и ничего не сообщил и что я не знаю даже адреса. И даже я стала чуточку сомневаться, любит ли он меня... А если любит, то, вероятно, постарается увидаться, хотя бы это и грозило опасностью. Потом я настойчиво спрашивала, может быть, он настоящий спекулянт, так я не хочу иметь с ним дела... Он меня разубеждал и говорил, что В.А. честнейший человек... В конце концов, я согласилась помогать ему в его деле "обеления В.А. и И.Д." и сказала, что сделаю все возможное, чтобы как-нибудь отыскать след В.А. Но перед этим я устроила бенефис слез и повела его к иконе.

— Да ведь он жид?

— Нет, русский... Я его заставила клясться перед иконой, что он никакого зла Ив. Дм. и Вл. Ал. не сделает. Он говорил: "Да почему вы так о нас думаете?" Я ответила: "Вы все-таки чрезвычайка, вы людей убиваете и пытаете"... Он мне клялся, что никого они не пытают уже больше... Так продолжалось несколько дней... Наконец он стал уже нетерпеливый... некоторое время мне удавалось смягчать его тем, что я ездила с ним кататься по Французскому бульвару (у него своя лошадь), потому что он почему-то был убежден, что Ив. Дм. живет где-то на Французском бульваре. Про каждого высокого седого он спрашивал: "А это не Иван Дмитриевич?" А я дрожала: а вдруг я действительно вас увижу и выдам, — он ведь мне в самое лицо смотрел... и ловил выражение... Наконец он мне сказал, что, если я до такого-то дня ничего не сделаю, он меня арестует, а если я сбегу, арестует мужа... Тогда я стала думать о том, что надо услать куда-нибудь мужа... это удалось, он получил командировку. А я... мне очень помогло то письмо, которое вы мне написали... Оно было так написано, что я могла показать ему. Он был очень обрадован, узнав, что Вл. Ал. просит свидания... Я написала вам письмо, назначая свидание, и ему показала... Свидание было назначено в одном скверике... Я сидела как дура на скамейке три часа... Я насчитала, что вокруг меня было семь сыщиков... Один из них одно время даже сел на ту же скамейку, на

которой я была, и из кармана его торчал револьвер... Конечно, никто не пришел, и он страшно рассердился... Но я ему сказала, что, если он будет ставить таких дураков-сыщиков, которые будут садиться на ту же скамейку, то Вл. Ал. совсем не придет, потому что он-то не дурак: он, наверное, был, но увидел мой антураж и ушел. И теперь, наверное, будет мне не верить. И опять плакала. Он очень ругался и говорил, что с "этими болванами" ничего нельзя сделать...

* * *

— Ну, и так далее... Все это продолжалось в этом духе... То он заставлял меня приходить к себе, то ко мне приходил... То он мне верил, то начинал подозревать... Труднее всего мне было изображать, что я — дурочка... А на этом все шло... Между прочим, этот человек...

— Он идейный, по-вашему?

— Идейный?.. нет... Но он и не продажный... Между прочим, я видела, как он сам себе рубашку стирал... У него не было много денег... Но честолюбец... упрямый... и без всякой жалости... О, я дрожала... он бы всех, всех вас расстрелял... совершенно спокойно... Страшный человек.

— Как вы думаете, они пытают по-прежнему?

— Нет... не думаю... не из жалости... а просто сочли, должно быть, невыгодным... Я страшно боялась, что они будут меня пытать. А вдруг я не выдержу... мне даже не хотелось, чтобы мне сообщили ваш адрес... Но нет... видимо, у них другие способы, более совершенные... Раз он рассердился, вышел из себя и сказал: "Знаете что, я несколько месяцев буду работать, но я их поймаю всех..." Они думают о нас, что мы — сильнейшая организация... Они не знают, что у нас нет денег. Между прочим, он знает про ваше письмо "высшим представителям Советской власти"... Он мне сказал: "Иван Дмитриевич с нами в переписке"...

— Почему же они ничего не ответили, не напечатали?

— Не верят... боятся ловушки... Они думали, что если они это напечатают, то подадут кому-то условный знак, которого вы хотите... Они ни за что не могут поверить, что вы придете... Между прочим... Эфем жив... Я знаю наверное... Они его держат под страшным секретом, но

одна дама, которую выпустили из чрезвычайки, его видела, с ним говорила. Он совершенно помирился со своей участью... и готов к смерти... Но бодр... И всех там поддерживает...

* * *

— Как-то они меня позвали на Екатерининскую, № 3... Там у них было что-то вроде вечеринки...

— Зачем же они вас позвали?

— Дело в том, что он мне все-таки верил... Но другие, видимо, над ним смеялись... И вот он привел меня, чтобы им показать, чтобы и они убедились, что я дура... Это был вечер!.. Там и жены их были и любовницы... И эти были, "заграничные жиды"... они действительно — заграничные... Они из Германии... Даже по-русски плохо говорят. Одного из них зовут Макс... Ах, это был вечер, пили вино... играли... веселились... я думаю, что через этих дам можно было бы кое-что сделать... им легче всего всунуть взятку... им хочется одеваться...

* * *

— Мне очень трудно было бежать... За мной следили неотступно... но я их все-таки обманула... Правда, меня нельзя узнать... Недаром я в театре... Но где же я буду спать?..

* * *

Ирине Васильевне не прошло даром это напряжение нервов. Игра в "кошки-мышки" с чрезвычайкой сказалась теперь, когда она очутилась в сравнительной безопасности...

Днем все было хорошо. На даче никого не было, кроме нас, она никуда не выходила за пределы сада. Но ночью...

Но ночью дело принимало скверный оборот.

Ночь мы проводили под знаком — "идут!".

Ей все казалось, что агенты чрезвычайки идут нас арестовывать. Никакие убеждения не действовали. Она всегда придумывала новый способ, каким нас могли бы "выследить". На счастье, дача имела два выхода, так что можно было бежать даже в случае, если бы вошли в одни

из ворот. Но можно было бежать даже в том случае, если бы окружили с двух улиц, — через другие дачи. И вот из-за этого все и происходило: если возможно спастись, то преступно проспать! Поэтому она и не спала всю ночь напролет, прислушиваясь, приглядываясь, постоянно вскакивая и обходя сад по всем дорожкам в ночной темноте. Чтобы ее успокоить, я пробовал устраивать дежурство, наконец, ложиться в разных местах сада, откуда могли войти, но беда в том, что у нее слух и зрение обострились до такой степени, что она слышала шаги на таком расстоянии, с которого мой слух совершенно ничего не улавливал, и видела там, где зоркие глаза Ляли ничего не усматривали. Поэтому она никому не верила, кроме как самой себе. Никогда не спала и не давала никому спать.

— Слышите... тише... да как же вы не слышите!.. идут!..

— Ну, допустим, идут... Ну, пусть себе идут...

Но она не успокаивалась, пока, пройдя мимо, шаги не затихали. Через десять минут она слышала новые шаги, и так до бесконечности...

Это, в конце концов, переходило в пытку. Но кончилось самым неожиданным образом. Изведенный, я сказал ей однажды:

— Неужели вы так боитесь смерти?.. Ну, хорошо, идут, придут, возьмут, расстреляют... Ну, черт с ними!.. Ведь хуже смерти ничего не бывает...

И это странное рассуждение подействовало. По-видимому, она боялась чего-то, что хуже смерти. Когда она ясно поняла, что рискует только этим, — она заснула. Заснула, хотя совершенно негде было спать. Ничего, кроме садовых скамеек...

* * *

Надо было поскорее устраивать "морской драп". Для этого я решился на одно путешествие: надо было пройти верст 35 по берегу моря. Конечно, мне нужны были документы. И мне смастерили превосходные. Я получил приказание от соответствующего советского учреждения "осмотреть помещения для расстановки конных постов" по берегу.

Как необычайно ретивый службист, я вышел в тот же день. Ведь Врангель каждую минуту может сделать десант, расстановка постов дело важное и спешное.

* * *

По дороге я встретил трагикомичное и вместе с тем поучительное зрелище.

Навстречу мне, по шоссе, шла группа людей; не то большая артель, не то рабочих, не то арестантов. Когда они приблизились, я увидел, что это среднее между тем и другим: это государственные рабы Советской власти.

В это время декретом Советской власти в Одессе все вообще люди были разделены на несколько разрядов или категорий. Первая категория — это привилегированная, получающая полный паек от Советской власти. Вторая категория — это те, которые почти ничего не получают, — им предоставляется околевать с голоду, но на свободе. Третья же категория, которых кормят впроголодь, но лишают свободы.

За какое-нибудь преступление? Нет. Просто известная часть одесского населения, не имевшая, по мнению Советской власти, достаточно почтенных занятий, была заключена в концентрационные лагеря и гонялась партиями на работу.

Одна из таких партий шла мне навстречу. Поучительность этого зрелища была в том, что вся партия состояла сплошь из евреев.

Что это были за люди? Самые разнообразные. По всей вероятности, наибольший процент здесь был из тех спекулянтов, что тучами бродили около кофейни Робина в былое время. Теперь всех этих гешефтмахеров дюжие солдаты гнали по пыльной жаркой дороге на какие-то сельскохозяйственные работы.

Воображаю, что они там наработают! Для того чтобы судить об этом, я как бы нарочно встретил другую партию, тоже исключительно из евреев. Эту уже пригнали на место. Они починяли мостовую. Поистине жалкие до комизма были эти типичные еврейские никчемные и в физическом труде фигуры с кирками и лопатами в руках. Они впятером ковыряли ровно столько, сколько сделал бы один деревенский парнишка.

* * *

Я думал...

Вы, бессмысленно ковыряющие одесскую мостовую под лучами палящего солнца, поняли ли вы, наконец... При "самодержавии" вы торговали всласть, кушая мо-

роженое у Фанкони, а теперь — не угодно ли... Долбите камень, приготовляйте щебень и прославляйте Великую Русскую Революцию, которая принесла вам равноправие...

* * *

Когда я прошел верст 20, мне стало жарко до нестерпимости. Вот какая-то деревня. Зайду, попрошу пить.

Зашел. Спиной ко мне сидел человек. Я попросил у него воды. Он обернулся и оказался красноармейцем. И вместо воды оглядел меня с головы до ног и потребовал у меня... документ.

Я счел за лучшее рассердиться.

— Я по казенной надобности иду, а вы мне документ!.. А вы сами кто такой?

Он посмотрел на меня так, как обыкновенно в этих случаях смотрят солдаты. И сказал:

— Ну, так пожалуйте...

Я понял, что надо идти за ним. Он ввел меня в хату. Очевидно, это было караульное помещение.

За большим столом сидело человек пятнадцать красноармейцев. Мой солдат, вытянувшись, обратился к одному из них:

— Товарищ командир, разрешите доложить: вот не хотят документы предъявлять.

Товарищ командир перевел на меня вопросительный взгляд. Я сказал:

— Вам, товарищ командир, я, конечно, предъявлю документ. Только, пожалуйста, — про себя...

Это значило, что у меня секретная командировка, которую я не могу предъявлять всякому. Но ему, в виде особого доверия, предъявляю.

Он взял документ и внимательно прочитал. И, посмотрев на меня, отдал мне документ.

— Вы свободны, товарищ... Только я вам советую идти не большой дорогой, а тропинкой... ближе...

Он стал объяснять мне, куда идти, причем я в глазах его ясно прочел: "Вот эти старорежимные. Контрреволюционеры они — все, а службу знают; ведь вот действительно, секретная командировка, — правильно поступает".

В ответ мои глаза говорили: "Ну, конечно, я буржуй... и не скрываю; но раз я у вас на службе, я ее исполняю за совесть".

Он приказал солдату проводить меня, и тот, наконец,

напоил меня водой. Но когда я вышел оттуда, мне все-таки было жарко.

* * *

К вечеру я пришел туда, куда мне нужно было. Когда я переступил порог хаты, пожилая хохлушка-хозяйка встретила меня фразой:

— Отчего вы так согнулись?.. Отчего вы ходите все так, в землю смотрите?.. А они вот так!..

И она выпрямилась...

Этой загадочной фразой она давала мне понять, что она прекрасно знает, из какого я роду-племени и чего мне нужно.

Впрочем, она прибавила:

— За полверсты, как я вас увидела — вы шли по берегу, то уж знала, кто вы и зачем идете... Только плохо... сейчас нельзя отсюда, стерегут... по ночам все шаланды в одно место собирают... и солдат ставят... сейчас у нас нельзя. Вот на днях расстреляли наших четырех... свои выдали... Но уж мы-то доберемся до них...

* * *

Я остался у нее ночевать. Она угостила меня великолепным ужином, и наслушался я от нее...

— Когда деникинцы были, жил тут у меня один полковник. Я ему все жаловалась, что неправильно деникинцы поступают... Надо снисхождение иметь к народу... Так нельзя... А он мне все говорил: "Верно, верно, хозяйка... неправильно мы поступаем... нехорошо... а вот как мы уйдем... будете по нас плакать"... А я не верила... думала, как неправильно поступают, чего же я плакать буду... А вот теперь плачу... День и ночь все плачем за деникинцами...

Ее сын, 17-летний хлопец, слушал этот разговор. И когда я случайно взглянул ему в лицо, я увидел такое выражение...

Нет, я бы не хотел быть на месте большевиков, попавшихся в руки этих людей.

* * *

Утром я возвращался. У меня еще было несколько встреч с разными людьми, преимущественно "простыми". Они узнавали меня сразу, с одного взгляда, то есть

узнавали мое бывшее "социальное положение". Правда, я уже давно расстался со своей знаменитой седой бородой и являл миру обыкновенное лицо бритого интеллигента.

И вот что я ощутил. Трудно формулируемый, но несомненный ток симпатий, который все время меня окружал. Все эти люди оказывали мне всякие услуги с такой готовностью, которая говорила без слов.

И все мне вспоминались слова старой хохлушки, у которой я ночевал:

— А я вам правильно говорю: с Гершки да со Стецька не будет нам того, что нам нужно... Надо нам людей как следует образованных, чтоб знали свое дело... Только чтобы... снисхождение имели к народу...

* * *

Там у нас на даче, в тени каштанов, иногда собиралось избранное общество. Избранное оно было уже потому, что безбоязненно вело со мной знакомство. Наш кружок, т.е. люди, которые знали друг друга и на которых можно было положиться, надо было считать человек в пятьдесят. Все это были люди верные, испытанные, с которыми можно было бы работать. Если бы не несчастный случай с Эфемом, мы действительно могли бы быть сильной организацией, по крайней мере, в смысле разведки. И тем более было это обидно, что несчастье произошло не по нашей вине, а потому, что из Севастополя в Одессу присылали вместе с действительными курьерами большевистских шпионов, служивших в севастопольской разведке. Ведь "Котик" был одним из таких.

Об этом случае следовало бы кой-кому подумать. Стремление во что бы то ни стало "развернуть штаты" приводит к тому, что на службу берут людей, не имеющих достаточных рекомендаций. И вот результат: такая разведка ничего не разведывает, но губит жизни.

* * *

Разумеется, у меня под каштаном никогда не собиралось много. Я видел всегда двух-трех людей, через которых и передавал все, что нужно.

На одном из таких собраний выяснилось, что две барышни, путешествовавшие по нашему поручению, нащупали случай купить шлюпку...

* * *

В это время террор уже опять возобновился. В газетах появились списки расстрелянных. Но туда не все попадали. Между прочим, погиб сын члена Государственной думы А.И.Савенко — Вася Савенко. Ему было лет двадцать. Его расстреляли за то, что он был сыном своего отца. Погиб и тот настоящий курьер, с которым прибыл "Котик". Разумеется, его погубил этот последний. Эфема пока щадили. Чего-то ждали...

* * *

Однажды до нас донеслись звуки отдельной бомбардировки. Эти глухие удары шли с моря, и ясно было, что работают тяжелые калибры. Что это могло быть?

Скоро мы узнали: это эскадра генерала Врангеля бомбардирует Очаков.

Мы слушали это с непередаваемым чувством. И каждый удар сжимал сердце радостью и волнением...

* * *

Там, за горизонтом, вот в этом направлении, длинный, как змея, остров Тендра. Там, у северной его оконечности, стоянка эскадры. Напрямик — верст семьдесят... Там — свои... свобода... безопасность... и борьба за тех, кто не может вырваться отсюда...

"Speranza"*

Надо было бежать. Море звало, манило и приглашало определенно. В этом не могло быть сомнений.

Однако, рассуждая хладнокровно, пересекать море в небольшой шлюпке было все же очень рискованно... и трудно было решить, в конце концов, что опаснее: бежать или оставаться... Поэтому я решил: пусть жребий укажет каждому его судьбу.

Под тенистым каштаном Ирина Васильевна вытаскивала бумажки из шапки. И вытащила: себя, моих двух сыновей, Вл. Ал. и меня. Надо к этому прибавить, что

---

* Надежда (*ит.*).

моей жене уже удалось выехать совсем особым способом.

* * *

Под видом купальщика я осмотрел эту шлюпку. Она была совсем маленькая, но на четыре весла. Паруса не было. Но и выбора не было. Или эту, или ничего.

Я сушил в ней только что выстиранное в море белье и раздумывал: быть или не быть. И решил — быть...

Иногда судьба людей решается за время, гораздо более короткое, чем сколько нужно июльскому солнцу, чтобы высушить рубашку...

В тот же вечер она была куплена. Главным действующим лицом был Ляля. Он уже несколько дней ходил в эту семью и присматривался. Надо сказать, что эта операция — покупка шлюпки при советском режиме — дело, требующее большой осторожности. Ляля, как многие русские, очень застенчив. Еще не так давно, если его послать в аптеку за аспирином или хиной, то он спрашивал: "А как я войду? А как я скажу?"

Но шлюпку он купил ловко. Заплатил он при этом двадцать девять серебреников (двадцать девять серебряных рублей — все состояние Ирины) и царскую пятисотку. И еще какую-то не то фуфайку, не то кацавейку...

* * *

Теперь надо было подумать о провизии. У меня была карта, по которой я видел, что нам идти верст 70. Это можно было сделать при тихой погоде за сутки. Но надо было рассчитывать на все, так как мы выходили в открытое море. Я решил пересекать напрямик, благо у меня был компас. Немалых трудов стоило его достать. Я взял провизии на три-четыре дня. Столько же и пресной воды.

Тут кстати упомянуть о ценах, которые стояли в то время. Хлеб — 150 рублей фунт, сахар — 1000 рублей фунт, сало — 1000 рублей фунт. Удивительно дешевы были дыни: они начинались от 5 руб., а за 50 можно было купить прекрасную дыню.

* * *

Наконец это совершилось...

Мой план был таков: действовать совершенно откры-

то при полном свете дня, так, чтобы большевикам в голову не пришло, что это может быть...

В 10 часов утра шлюпка, которую мы назвали "Speranza" (по некоторым причинам, не подлежащим пока оглашению), отошла от того места, где она была куплена, а в $10^1/_2$ часа утра под "мощными взмахами" весел Ляли и Вовки подошла к пустынному берегу, где должна была состояться посадка. К этому времени Димка привел туда Ирину Васильевну, а я принес огромный мешок с этими проклятыми дынями.

"Пустынный берег" очень хорошо был виден с большевистского поста береговой охраны. Это меня вполне устраивало: мы, мол, не скрываемся. Море было на высоте: легкий ветерок, чтобы не было жарко, почти никакого прибоя.

Посадка не задержала нас. Груз состоял из мешка с дынями и двух сулей воды.

Перекрестившись, ровно в одиннадцать мы отошли.

На берегу осталась маленькая хрупкая фигурка одной русской женщины с большим сердцем. Мы хорошо отходили, и белая статуэтка на обрывистом берегу становилась все меньше.

* * *

Тут надо пояснить следующее. По всему побережью большевиками установлена запретная полоса, проходящая версты полторы-две от берега в море. Эту черту очень легко узнать, потому что вдоль всего берега стоят рыбачьи лодки на якорях и удят рыбу. Дальше они не смеют выходить.

Через несколько минут мы вышли на высоту этой черты. Вправо и влево от нас, насколько хватало глаз, стояли рыбачьи лодки.

Тут мы остановились. Мы были против самого поста береговой охраны. Я решил продемонстрировать им "законопослушность".

Мы, мол, добрые граждане Советской Республики, вышли себе в море прокатиться, но отнюдь не желаем выходить за запрещенную черту. Наоборот, мы разделись и стали купаться, бросаясь с лодки в море, влезая из воды обратно, и еще раз в море. Ирина Васильевна нам не мешала, ибо вообще мы решили ее не показывать и потому запрятали ее на дно лодки и прикрыли мешком.

Так прошло столько времени, чтобы, по моим расче-

там, большевикам надоело следить за этими резвящимися купальщиками. Тогда мы оделись, сели на весла и как можно явственней запели ''Стеньку Разина''. Это, как известно, весьма уважаемая в Совдепии песня. И понятно, княжну, т.е. ''буржуйку'', ведь бросают за борт...

Под эти дозволенные звуки мы основательно налегли на весла. Я рассчитывал еще на то, что если лодку повернуть прямо кормой к человеку (в данном случае к посту), то куда она идет, вперед или назад, и с какой скоростью, определить в течение некоторого времени довольно трудно.

* * *

Мы налегли на весла в течение, быть может, получаса, когда на берегу раздались выстрелы. Сначала в одном месте, потом в другом, потом затарахтел пулемет.

Мы продолжали нажимать, и в то же время у нас произошел спор: по нас или не по нас. Впоследствии оказалось, что по нас. Как бы то ни было, мы, по-видимому, хорошо гребли, потому что берег заметно удалялся.

Через некоторое время у берега ''под постом'' появился парус.

Он почему-то очень беспокоил Ирину Васильевну, но Ляля непрерывно повторял ''ерунда'', пока я ему не запретил. На море становишься суеверным: а вдруг судьба подслушивает.

Тем не менее я рассуждал так. Ветерок с моря — слабый. Парус, если это погоня за нами, должен идти в лавировку. При таком слабом ветре, принимая во внимание, что мы уходим в четыре весла, нас не догонят или догонят к вечеру, когда мы скроемся в темноте. И притом, неужели это за нами?

* * *

Впоследствии я узнал совершенно с точностью, что это действительно было за нами. Пост, наконец, увидел, что мы уходим, поднял трескотню из винтовок и пулеметов, а затем в первой попавшейся рыбачьей лодке пустился в погоню.

Но ветер был такой слабый, а мы уходили так быстро, что, в конце концов, рыбаки определили: ''У них не

иначе как мотор". После этого погоня вернулась обратно, — за мотором ведь не угоняешься.

* * *

У нас на "Speranza" царило полное удовольствие. Погода была дивная, берег куда-то уходил, как принято говорить, "в туманную дымку", и через несколько часов пропал из глаз.

Мы были в открытом море.

Тут младший сын Димка вдруг спросил меня дрожащим голосом:

— Можно?..

Я посмотрел на его умоляющие и сверкающие глаза и понял, что он хочет.

— Можно... можно...

Тогда они торжественно встали с братом в лодке, и "открытое море" огласилось:

Боже, Царя храни...

Бедные мальчики. У них совсем не было голоса... но зато сколько чувства...

* * *

Мы шли всю ночь. Иногда все спали, я греб один.

Хорошо в море в такую ночь. И даже не очень жутко. Разве если где-нибудь всплеснет или, вернее, прошелестит гребешок в темноте, кажется, будто море хочет сказать: "А ведь я могу наделать и гадостей". Но...

Нам звезды кроткие сияли...

По этим кротким звездам я "держал путь"... Это очень просто: поставишь корму на звезду, которую определишь по компасу, и так и держишь. Гребешь, и даже оборачиваться не надо. Правда, звезда куда-то полезет, вследствие вращения земли, но ведь нас зато несколько сбивает в противоположную сторону легкий ветер. Значит, звезда как бы делает поправку на ветер. А впрочем, иногда сверишься по компасу и меняешь звезду.

Все-таки удивительно, что при таких элементарных способах нахождения курса, когда рассвело, мы увидели как раз в нужном направлении дымки.

Мы знали, что там должна быть где-то около Тендры наша эскадра. Эти дымки не могли быть ничем иным.

Кроме того, что это такое?

Что-то торчащее на горизонте, в виде какой-то палки. Должно быть, от движения зыби казалось, что этот шест куда-то стремится с большой быстротой.

Мы решили, что, должно быть, это "мачта бешено несущегося за горизонтом контрминоносца".

Но через некоторое время оказалось с несомненностью, что эта быстро несущаяся мачта был — маяк, неподвижный, как все маяки.

* * *

Итак, мы подходим к заветному острову Тендра...

Маяк

...Он приближался медленно, этот маяк. Мы гребли сутки и выбились из сил.

Но все же он приближался, рос в небе, становясь из "мачты бешено несущегося за горизонтом миноносца" — высоким столбом, на котором появилось два черных кольца.

Он вырастал над низкой, низкой песчаной косой, за которой опять виднелось море. Под ним — какие-то домики, два дерева — больше ничего. Коса бело-желтая, тянется сколько глаз хватит. Еще бы. Ведь эта коса — знаменитый остров Тендра "чуть заметен". Он имеет семьдесят верст длиной при ширине от полутора до двух. Говорят, что когда господь создал Крым, то черт этому позавидовал. Ночью подкрался и ухватился тащить Крым в преисподнюю. Ангел господен отбил — не дал. Но черт успел, выдирая Крым из рук ангела, вытянуть из полуострова эти две стрелки: Тендру и Арбатскую.

* * *

Неужели это правда, что это Тендра? Не верилось...

И потом... в конце концов, кто его еще знает...

* * *

Там, на этом низком берегу, виднелись две группы живых существ.

Одна левее, — нарядная, ослепительно сверкающая

белым, — это мартыны, большие морские чайки... Они красиво неподвижны.

Другая правее, ближе к маяку — грязно-коричневая. Это люди. Они загадочно копошатся.

* * *

Чего нужно ждать от этого копошения? Правда, рыбаки говорили нам, что Тендра у добровольцев, но кто ж его знает... Сегодня у нас, а завтра у "них".

Но нет, не может быть. Ведь вот там за этим диковинно-узким островом опять море. Это, должно быть, Ягорлыцкий залив. И там явственно видны суда— морские суда. Откуда у большевиков может быть флот? Это наши!

Во всяком случае, отступать некуда. Наши или нет, все равно, если мы повернем обратно, в море, эта копошащаяся коричневая кучка откроет по нас пальбу...

* * *

Мы выбросились на песок с одним из валов прибоя. За минуту перед этим я понял, почему кучка людей была коричневая: они были полуголые, в одних штанах, и загорелые, как полинезийцы.

Но в ту минуту, когда я, "изящно перебежав" с кормы на нос по банкам "Speranz'ы", прыгнул на песок, от полинезийской группы отделился человек во "френче".

Ура, — на нем были погоны!

* * *

Произошла сцена из Жюль Верна.

— Я комендант острова Тендра. Кто вы и откуда?

Я ответил в том же стиле:

— Шульгин... из Одессы...

— У вас есть документы?..

— Исключительно фальшивые...

— Пожалуйте...

Он пригласил нас следовать за ним.

Мы пошли, увязая в песке. Коричневая кучка любопытных надвинулась на нас с расспросами, но ее отодвинули.

Я успел, однако, рассмотреть, что все это была молодежь. По-видимому, интеллигентная или полуинтелли-

гентная, но страшно загорелая, поздоровевшая, бронзово-неузнаваемая...

Но отчего они все так одеты, то есть не одеты? Что это — форма?

* * *

Итак, мы пошли за комендантом.

Маяк смотрел на всю эту сцену, — и "пусть меня повесят", как говорят герои Жюль Верна, если у него, этого маяка, при этом не было какое-то странное выражение.

Он смотрел на нас с сочувствием, даже ласково, но какая-то складка печальной иронии угадывалась в этих двух черных кольцах...

Я не понял тогда, к чему она относилась...

* * *

Мы были как пьяные. Нас качало во все стороны после шлюпки, а кроме того, все смеялось кругом... Небо, море, песок и даже эта палящая жара, от которой единственное спасение в пене прибоя...

Но люди...

Люди были коричневатые.

Они не смеялись.

Они посмеивались...

* * *

Некоторая часть "полинезийцев" приоделась и оказалась молодыми морскими офицерами.

Они шутили на наш счет, то есть больше насчет Ирины...

* * *

— Ты сегодня дежурный?

— Я...

— Значит, тебе...

— Что?..

— Выводить в расход блондиночку...

— Ну вот...

— А ты думал... Явно шпионка!..

— Я не дежурный...

— Не хочешь... ничего, брат, привыкай!

* * *

Через некоторое время мы уютно обедали в кают-компании эскадренного миноносца ''Капитан Сакен'', причем ''расстрельщики'' ухаживали за ''жертвой''.

Не к этому ли относилась ирония маяка?

Нет, к другому...

* * *

Этой же ночью мы ушли в Севастополь на ''Лукулле''.

Маяк не сверкнул нам в темноте на прощание — керосину не было...

''Лукулл''

Это был тот ''Лукулл''... ''тот самый''...

''Лукулл'' — яхта. Теперь многие знают его очертания. Это тот самый ''Лукулл'', на котором впоследствии держал ставку главнокомандующий генерал Врангель.

Но тогда это был мало кому известный ''Лукулл'', замечательный, впрочем, тем, что на нем шел командующий флотом адмирал Саблин.

Итак, мы в гостях у ''комфлота''...

* * *

Адмирал пригласил нас к обеду.

Обедали на юте, на открытом воздухе.

Погода была дивная. ''Лукулл'' ''пенил воду'', как принято выражаться в этих случаях, и все было, как полагается.

Обед очень скромный по старым меркам, но для наших совдеповских желудков нестерпимо сытный... Сервировка тоже скромная, — но все же, боже мой...

У нас там, ''на берегу моря'', был один разбитый стакан ''за все''.

А тут...

— И белая скатерть!..

Это не удерживается Ирина.

Белые офицеры (моряки сохранили белые кителя) учтиво расспрашивали, что значит "и белая скатерть"... А у адмирала на плечах среди золота — черные двуглавые орлы...

И обедают, как раньше обедали культурные люди, и не надо каждую минуту прислушиваться, почему скрипнула садовая калитка, и читать в испуганных глазах:

— Идут?..

Нет, идет только "Лукулл", спокойный среди спокойного моря, и идет мирная беседа на юте.

Спрашивают...

* * *

Мы рассказываем... И не знаешь хорошенько, что же сон: "это" или "то". Может быть, и то и другое... Настоящая жизнь была до революции. Мы проснемся, когда все кончится.

Но когда же?..

* * *

Теперь я расспрашиваю.

— Не грабят?..

— Нет. В общем нет. Бывают, конечно, случаи... но в общем нет. Это надо сказать...

— Каким же образом удалось?..

— Да сначала, конечно, мерами строгости... Расстреливали... А потом как-то поняли сами. Конечно, не все... но значительная часть поняла... отчего мы в Крыму, а не в Москве...

— А население? Переменили отношение?

— Переменили безусловно... К нам, по крайней мере, морякам, хорошо относятся. Но ведь у нас строго... конечно, в армии бывает, но в общем былых безобразий нет... и отношение населения иное...

Я знаю, как флот относится к армии и обратно. Потому для меня свидетельство моряков о сухопутных ценно.

Затем следует неизбежное. Начинаются жалобы, что флот забросили, притесняют, угнетают и т.д.

Но так как я твердо знаю, что нет ни одного рода оружия, и ни одной части, и ни одного полка, и даже ни одной роты, которая не была бы свято и нерушимо убе-

ждена, что она самая угнетенная из всех, — то я слушаю это вполуха.

В доказательство, однако, говорят:

— Нашу новую форму видели?.. Не дают флоту обмундирования, что поделаешь... Пришлось узаконить это "полуголое состояние"... Вот приедем в Акмечеть — и увидите...

* * *

Мы подходим...

Тут стоит несколько судов и, между прочим, тот несчастный крейсер, на котором в начале революции произошли душу раздирающие избиения офицеров.

Вахтенный докладывает:

— Подходим к "Алмазу"... Команда стоит во фронт.

Адмирал подходит к борту.

Все замерло здесь у них.

Вот там, на борту "Алмаза", ровным, ровным коричневым частокольчиком стоят застывшие "полинезийцы".

Адмирал здоровается в рупор.

Оттуда через несколько мгновений доносится дружное, размеренное, скандированное:

— Ррррprincipally... и... е...е...а... е...е...е..! рррррр... о!..

И чувствуется в этих гласных без согласных и согласие и сила.

И почему-то это волнует.

* * *

А когда мы всходили на судно и капитан поздоровался с Лялей, он отчеканил, как и полагается "юнкеру флота":

— Здравия желаем, господин капитан перррвого рранга...

И расплылся радостной улыбкой... Ведь полагается "весело приветствовать начальника"...

Почему и этот пустяк... "щемит"?..

* * *

Сигнал. Адмирал покидает "Лукулл".

Это торжественно. Все на судне должно чувствовать этот момент.

У трапа нарядный вельбот. На веслах бронзовые "полинезийцы".

— Встать! Смирно!..

Бронзовые вскакивают и застывают в вельботе.

Здороваются. Адмирал садится и берет в руки рулевые тросы.

— Садись!.. весла разобрать!..

Бронзовые опускаются, а весла лесом встают к небу.

— На воду!!!

Весла падают на воду.

Вельбот отваливает. Бронзовые тела красиво покрываются мускулами, и Андреевский флаг волнующим крестом вьется над струйкой у кормы.

* * *

— Что с вами, Ирина?...

— Ах, я не могу на все это смотреть... хочется плакать... Отчего это?..

* * *

Мы снова вышли в море. И тут оно доказало, как нам повезло и как оно было милостиво к нам накануне.

Разыгрался шторм. "Лукулл" держал себя хорошо, но море обращалось с ним безжалостно.

Меня каким-то чудом не укачало, и потому я мог оценить красивость шторма. Удивительно интересна взбесившаяся вода. Одно неприятно. Кажется совершенно невероятным, чтобы она когда-нибудь успокоилась.

А меж тем все придет в порядок, когда настанет "час определенный". Не то ли и с революцией?

Люди, испугавшись этих косматых чудовищ, уверовали, что их силе нельзя противиться...

Нет, "Лукулл" не верит. Он бодро прокладывает себе дорогу через скверные забавы этих исполинских катящихся гадов.

Летит корма меж водных недр...

* * *

На следующее утро, то есть 27 июля по старому стилю, мы пришли в Севастополь. Переход из Одессы, следовательно, занял трое суток.

Севастополь

Несмотря на то что мы пришли на адмиральском судне и обедали с "комфортом", нас для верности все же направили прямо с Графской пристани в "морскую контрразведку".

По дороге в окне одного дома я вдруг увидел знакомую фигуру Н.Н.Львова. В то же мгновение в окне оказались другие дружеские лица, а на дверях я прочел: "Редакция "Великой России". Основана В.В.Шульгиным".

Встреча была соответствующая.

— Господи, мы как раз обсуждали шестую версию вашей гибели. С того света вы, — с того света!..

* * *

И вот начались наши впечатления выходцев с того света.

В контрразведке нас признали окончательно. Выразилось это в том, что нас снабдили документами, восстановившими наше если не доброе, то настоящее имя. С этой минуты мы, так сказать, репатриировались, вновь стали гражданами "этого света"...

* * *

Мы вышли на какую-то улицу, которую я тогда не знал. И эта улица и все в ней казалось не то чтобы во сне, а как в кинематографе. Что-то свое, знакомое, страшно живое и реальное, но еще неухватимое. Казалось, что мы как бы не имеем права на все это, не можем с этим слиться, — словом, что это не "о трех измерениях", а только на экране...

* * *

Улицы полны народом, и каким народом. Прежним и даже как будто бы похорошевшим.

Масса офицеров, часто нарядных, хотя и по-новому нарядных, масса дам — шикарных дам, даже иногда красивых, извозчики, автомобили, объявления концертов, лекций, собраний, меняльные лавки на каждом шагу, скульптурные груды винограда и всяких фруктов, а глав-

ное, магазины... Роскошь витрин... особенная, крымская... и все тут, что угодно...

Кафе, рестораны...

Свободно, нарядно, шумно, почти весело...

* * *

Но почему же это не наше, почему?..

Потому ли, что мы не боролись за это, а только бежали сюда — на готовое?

Но ведь тогда, в порту, в Одессе... Разве не "за нашими спинами" многие из тех, что здесь, выехали сюда?

Или потому, что мы оборваны так, что на нас оборачиваются, и что у нас нет гроша в кармане!..

Или совсем, совсем по другой причине?

* * *

Как бы там ни было, хотелось бы выпить кофе. Ничего не поделаешь — буржуйская привычка.

— Василий Витальевич!.. Вы!.. С того света!

Объятия, удивления.

— Конечно, у вас нет денег... Я вам дам сейчас... Но, простите, только пустяки... вот сто тысяч...

Я раскрыл глаза:

— Сто тысяч — пустяки?..

Но когда мы зашли выпить кофе, неосторожно съели при этом что-то и заплатили несколько тысяч, — я понял...

* * *

— Квартира?

— Совершенно невозможно достать... Единственный способ — поместиться на судне.

— На судне?..

— Тут много кораблей стоит в порту. Много ваших друзей живет... Я вас устрою...

И действительно, нас устроили. И с тех пор мы, так сказать, пошли по флоту: сначала на "Весте", пока она не ушла в море, потом на "Добыче", которая через некоторое время ушла за "Вестой", и, в конце концов, на гиганте "Рионе", 13 000 тонн которого не беспокоят по пустякам.

* * *

Первые дни ушли на объятия и расспросы.

Друзей много, но скольких нет... Кто погиб, кто...

Иные погибли в бою,
Другие...

если не "изменили", то отошли в сторону.

* * *

Прежде всего, надо одеться...

Одевают...

Обувь — 90 000 рублей, рубашка — 30 000, брюки холщовые — 40 000...

— Но ведь если купить самое необходимое, то у меня будет несколько миллионов долгу!..

Я пришел в ужас. Но мне объяснили, что здесь все "миллионеры"... в этом смысле...

* * *

— Но как же живут люди? Сколько получают офицеры?

— Теперь получают около шестидесяти тысяч в месяц. Но на фронте — это совсем другое. Там дешевле. Вообще же как-то живут.

— И не грабят?

— Нет, не грабят, в общем... Пошла другая мода... Вы думаете, как при Деникине... Нет, нет, — теперь иначе... Как это сделалось — бог его знает, — но сделалось... Теперь с мужиком цацкаются.

"Цацкаются"... Так... Но все-таки многого не пойму. Например:

— Отчего такая дороговизна?

— Территория маленькая, а печатаем денег, сколько влезет.

— А что же будет?

— Ну, этого никто не знает.

— А вы знаете, что большевики остановились в этом смысле, не повышают ставок.

— Будто?.. Сколько у них жалованья?

— Не свыше десяти тысяч. А то пять, семь...

— А цены? Хлеб?..

— Хлеб — сто пятьдесят. А здесь?..

25—3196

— Здесь на базарах около трехсот.

— А другие предметы? Ну, виноград, например?

— Виноград — тысяча рублей.

— Что за чепуха! В Одессе хорошая дыня стоит пятьдесят.

— А вот вы увидите, что здесь действительно как раз все наоборот... Здесь верхам хуже, а низам лучше. Да, да... Представьте себе, что в этом "белогвардейском Крыму" тяжелее всего жить тем, кто причисляется к социальным верхам... Низы же, рабочие и крестьяне, живут здесь неизмеримо лучше, чем в "рабоче-крестьянской республике". И причина та, — что в Крыму цены на предметы первой необходимости, вот как на хлеб, сравнительно низкие. А на то, без чего можно обойтись, как, например, виноград, очень высокие.

Я убедился, что это правда. Для примера возьмем заработок рабочего в Одессе и Севастополе. В Одессе очень хороший заработок для рабочего — пятнадцать тысяч в месяц. А здесь тысяч шестьдесят, восемьдесят и много больше... А цена хлеба, главного предмета потребления, здесь только в два раза дороже. Следовательно, если измерять заработок одесского рабочего на хлеб, то выйдет, что на свой месячный заработок он может купить два с половиной пуда хлеба, а севастопольский — пять пудов и выше.

— Как же этого достигли здесь у вас в Крыму?

— С одной стороны, объявлена свобода торговли, а с другой стороны, правительство выступает как мощный конкурент, выбрасывая ежедневно на рынок большие количества хлеба по таксе, то есть вдвое дешевле рыночного...

— Но все же... в Севастополе очень трудно жить?

— Как кому... Иные спекулируют, другие честно торгуют, третьи подрабатывают... Вот видите этого офицера с этой барышней?

— Ну?..

— Они сейчас оба возвращаются из порта...

— Что они там делали?

— Грузили... тяжести таскали... мешки, ящики, дрова, снаряды... очень хорошо платят...

— Ну, например...

— Тысяч до сорока выгоняют некоторые за несколько часов... то есть за ночь...

— И офицерам разрешено?

— Разрешено.

* * *

Надо подняться по характерной для Севастополя крутой каменной лестнице, которая заменяет улицу. Там наверху — дом-особняк. У дверей почетные часовые — казаки конвоя, — эмблема ставки.

В небольшой приемной много народа. Происходит несколько встреч. Вот А.М.Драгомиров, экс-премьер деникинского периода и бывший наместник киевский... Человек долга, органически не способный к интриге, он не побоялся взять ответственность, когда его позвали, и ушел в мирную тень, когда оказалось, что его "не требуется"...

После установленных трансцендентальных удивлений и приветствий мы обмениваемся несколькими фразами по существу.

— Чем более я думаю обо всем, — говорит А.М.Драгомиров, — тем более я прихожу к убеждению, что все это только... этапы... Деникин был этап. Боюсь быть плохим пророком, но, мне кажется, то, что сейчас, — тоже этап...

К нам подходит "посеребренный" человек в чесуче и с шрамом на щеке... Он чуть постарел, но такой же... Это А.В.Кривошеин... Помощник главнокомандующего, теперешний премьер, гражданский правитель Крыма.

Я жадно всматриваюсь в его лицо. Когда-то правая рука Столыпина, этот человек сделал много в грандиозном деле Петра Аркадьевича, в той земельной реформе, которая одна только могла спасти Россию от социализма, — как он сейчас? Осталась ли былая энергия?

У меня остается смутное чувство. И верится, и нет. Кажется, надломилось что-то в нем... Выдержит ли?

Вот М.В.Бернацкий, мой сторонник в деле откроирования так называемой одесской автономии.

Петр Бернгардович Струве.

Он только что вернулся из Парижа, где удалось "признать Врангеля".

— Мне нужно с ним поговорить... как следует.

Мне тоже нужно, но я уже чувствую, какое напряжение здесь у всех. Знакомое напряжение... Так живут все люди, которым надо властвовать.

Ах, друзья "управляемые"... если бы вы знали, что

это за подлое ремесло, "ремесло правителей"... Самые несчастные люди в свете. Это так нестерпимо утомительно, — нужно быть вечным сторожем своего времени и своих сил, иначе вас разорвут или задавят алчущие и жаждущие "поговорить".

Для власти нужно быть рожденным.

Рожденна, не сотворенна...

И так как люди забыли, как "выводить породу властителей", то поэтому они и встречаются так редко.

Отворяется дверь, и на пороге появляется высокая фигура того, кого со злости большевики называют "крымским ханом".

* * *

Генерал Врангель встретил меня очень приветливо:

— Пожалуйте, пожалуйте... ужасно рад вас видеть... Мы ведь вас похоронили... Ну, позвольте вас поздравить.

Я не видел генерала Врангеля около года. Тогда (это было в Царицыне) он нервничал. Он только что пережил exanthematicus, у него были сильно запавшие глаза, но еще что-то кроме этого. Какое-то беспокойство, недовольство "общего порядка". Он сдерживался, привычный к дисциплине, но что-то в нем кипело. Мне казалось тогда, что он недоволен стратегией "влево", то есть на Украину, и хочет правофланговой ориентации — на Волгу, на соединение с Колчаком, но, может быть, дело было глубже.

Меня поразила перемена в его лице. Он помолодел, расцвел. Казалось бы, что тяжесть, свалившаяся на него теперь, несравнима с той, которую он нес там, в Царицыне. Но нет, именно сейчас в нем чувствовалась не нервничающая энергия, а спокойное напряжение очень сильного, постоянного тока.

Я ответил:

— Нет, позвольте мне вас поздравить... я спас только свою собственную персону, а вы спасли... я не знаю, как это выразить... нечто...

Я растрогался и не нашел слов.

Он пришел мне на помощь.

— Я всегда думал — так... Если уж кончать, то, по крайней мере, без позора... Когда я принял командование, дело было очень безнадежно... Но я хотел хоть оста-

новить это позорище, это безобразие, которое происходило... Уйти, но хоть, по крайней мере, с честью... И спасти, наконец, то, что можно... Словом, прекратить кабак... Вот первая задача... Давайте сядем...

Мы сели.

— Ну, эта первая задача более или менее удалась... и тогда вдруг оказалось, что мы можем еще сопротивляться... Оказалось то, на что, в сущности говоря, очень трудно было рассчитывать. Мы их выгнали из Крыма и теперь развиваем операции... Но я должен сейчас же сказать, что я не задаюсь широкими планами... Я считаю, что мне необходимо выиграть время... Я отлично понимаю, что без помощи русского населения нельзя ничего сделать... Политику завоевания России надо оставить... Ведь я же помню... Мы же чувствовали себя, как в завоеванном государстве... Так нельзя... Нельзя воевать со всем светом... Надо на кого-то опереться... Не в смысле демагогии какой-нибудь, а для того, чтобы иметь, прежде всего, запас человеческой силы, из которой можно черпать; если я разбросаюсь, у меня не хватит... того, что у меня сейчас есть, не может хватить на удержание большой территории... Для того, чтобы ее удержать, надо брать тут же, на месте, людей и хлеб... Но для того, чтобы возможно было это, требуется известная психологическая подготовка. Эта психологическая подготовка, как она может быть сделана? Не пропагандой же, в самом деле... Никто теперь словам не верит. Я чего добиваюсь? Я добиваюсь, чтобы в Крыму, чтобы хоть на этом клочке, с д е л а т ь ж и з н ь в о з м о ж н о й... Ну, словом, чтобы, так сказать, показать остальной России... вот у вас там коммунизм, то есть голод и чрезвычайка, а здесь: идет земельная реформа, вводится волостное земство, заводится порядок и возможная свобода... Никто тебя не душит, никто тебя не мучает — живи, как жилось... Ну, словом, опытное поле... До известной степени это удается... Конечно, людей не хватает... я всех зову... я там не смотрю, на полградуса левее, на полградуса правее, — это мне безразлично... Можешь делать — делай... И так мне надо выиграть время... чтобы, так сказать, слава пошла: что вот в Крыму можно жить. Тогда можно будет двигаться вперед, — медленно, не так, как мы шли при Деникине, медленно, закрепляя за собой захваченное. Тогда отнятые у большевиков губернии будут источником нашей силы, а не слабости, как было раньше... Втягивать их надо в борьбу по существу... чтобы они то-

же боролись, чтобы им было за что бороться... Меня вот что интересует... как вы думаете... большевики уже достаточно надоели?

— Я не берусь с точностью ответить вам за деревню. По сведениям, которые я имел, в деревнях их тоже ненавидят, но все-таки это не личные впечатления... я могу вам сказать об Одессе... Там большевиков русское население ненавидит сплошь... а евреи — наполовину...

— Так что вы думаете, что момент наступил. Сейчас нам, конечно, очень помогают поляки... Наше наступление возможно потому, что часть сил обращена на Польшу.

— А они не подведут, по своему обыкновению?

— Могут, конечно... Но нельзя же не пользоваться этим благоприятным обстоятельством.

— А если подведут, что тогда?

— Тогда, конечно, будет трудно... я надеюсь удержать Крым...

— И зимовать?..

— Да, зимовать, конечно. Надо обеспечиться хлебом... хлеб будет. Я сделал так: я дал возможность людям наживаться. Я разрешаю им экспорт зерна в Константинополь, что страшно для них выгодно. Но за это все остальное они должны отдавать мне. И хлеб есть. Я стою за свободную торговлю. Надоели мне эти крики про дороговизну смертельно. Публика требует, чтобы я ввел твердые цены. Вздор! Это испробовано, от твердых цен цены только растут. Я иду другим путем: правительство выступает как крупный конкурент, выбрасывая на рынок много дешевого хлеба. Этим я понижаю цены. И хлеб у меня, сравнительно с другими предметами, не дорог. А это главное. Но кричат они о дороговизне нестерпимо. Если бы вы написали что-нибудь об этом...

— Хорошо, я напишу... Но позвольте вас спросить...

Тут я спросил главнокомандующего об одном предмете, о котором я пока считаю излишним распространяться. Скажу только, что тут наши мнения несколько разошлись.

В конце разговора мы перешли к будущему. Нельзя же без этого...

— Как вы себе представляете будущую Россию?.. Она будет централизована?

— Отнюдь нет... я себе представляю Россию в виде целого ряда областей, которым будут предоставлены широкие права. Начало этому — волостное земство, ко-

торое я ввожу в Крыму. Потом из волостных земств надо строить уездные, а из уездного земства — областные собрания.

— Если уже мечтать, то мечтать... Как вы относитесь к тому, что когда-то раньше называлось "завершением реформ", то есть как установится государственный строй России?

— Да все так же. Когда области устроятся, тогда вот от этих самых волостных или уездных собраний будут посланы представители в какое-то Общероссийское Собрание. Вот оно и решит...

Тут я спросил о другом предмете, о котором пока тоже считаю излишним распространяться. Тут наши мнения сошлись.

* * *

Я чувствовал острое напряжение в приемной. Время правителей — это нечто, чем злоупотреблять просто безбожно... Надо было кончать этот разговор, несмотря на весь его интерес для меня...

* * *

Я ушел от главкома успокоенный и бодрый. В этом человеке чувствовался ток высокого напряжения. Его психологическая энергия насыщала окружавшую среду и невидимыми проводниками доходила до тех мест, где начиналось непосредственное действие. Эта непрерывно вибрирующая воля, вера в свое дело и легкость, с какой он нес на себе тяжесть власти, власти, которая не придавливала его, а, наоборот, окрыляла, — они-то и сделали это дело удержания Тавриды, дело, граничащее с чудесным...

Я вспомнил, как в начале этого года, еще в Одессе, с А.М.Драгомировым и В.А.Степановым мы зажгли "Диогенов фонарь" и искали человека... Мы никого не нашли тогда, кроме генерала Врангеля, но дальнейшие события показали, что наш выбор был правильным.

* * *

У раскрытого окна, из которого видна красивая севастопольская бухта, мы беседовали с А.В.Кривошеиным.

— Когда меня призвали, я думал об одном: хотя бы

клочок сохранить, хотя бы, чтобы кости мои закопали в русской земле, а не где-то там... Клочок для того, чтобы спасти физическую жизнь, спасти всех тех, кого не дорезали... Не скажу, чтобы я очень верил в то, что это удастся... Я бы и совсем не верил, если бы я не верил в чудеса... Но чудо случилось... мы не только удержались, мы что-то делаем, куда-то наступаем... то, что совершенно разложившейся армии вдруг на самом краешке моря удалось найти в себе силы для возрождения, — это чудо... И что бы ни случилось, я всегда буду считать это чудом...

Он стал нервничать. Я сказал:

— Это правда... ведь в России бывает... но что же дальше?

— Дальше... Прежде всего, вот что: одна губерния не может воевать с сорока девятью. Поэтому, прежде всего, не зарываться. Надо всегда иметь перед глазами судьбу наших предшественников. Деникин, помимо всяких других причин, прежде всего, не справился с территорией. Мы наступаем сейчас, но помним — mementō Деникин.

— Если так, то где же предел наступления?

— Необходимо держать хлебные районы, то есть северные уезды Таврии.

— Мне кажется, что удержать эту линию не удастся... Ведь настоящего фронта нет. Это не то, что война с немцами. Поэтому нас непременно или увлекут на север, или сомнут к югу до естественной границы...

— Да, конечно... Но хлеб нам нужен... Рассматривайте это, как вылазку за хлебом... Ведь если большевики называют генерала Врангеля "крымским ханом", то следует принять тактику крымского хана, который сидел в Крыму и делал набеги...

— Но зимовать в Крыму?

— Конечно... К этому надо быть готовым... Надо ждать...

— Ждать чего?..

— Одно из двух... Или большевики после всевозможных эволюций перейдут на обыкновенный государственный строй — тогда, досидевшись в Крыму до тех пор, пока они, если можно так выразиться, не опохмелятся, — можно будет с ними разговаривать. Это один конец... Весьма маловероятный... Другой конец — это так, несомненно, и будет; — они, вследствие внутренних причин, ослабеют настолько, что можно будет вырвать у них из рук этот несчастный русский народ, который в их

руках должен погибнуть от голода... Вот на этот случай мы должны быть, так сказать, наготове, чтобы броситься на помощь... Но для того, чтобы это сделать, прежде всего, что надо? Надо "врачу исцелися сам". Это что значит? Это значит, что на этом клочке земли, в этом Крыму, надо устроить человеческое житье. Так, чтобы ясно было, что там вот, за чертой, красный кабак, а здесь, по сю сторону, — рай не рай, но так, чтобы люди могли жить. С этой точки зрения вопрос "о политике" приобретает огромное значение. Мы, так сказать, опытное поле, показательная станция. Надо, чтобы слава шла туда, в эти остальные губернии, — что вот там, в Крыму, у генерала Врангеля, людям живется хорошо. С этой точки зрения важны и земельная реформа, и волостное земство, а главное, приличный административный аппарат.

— Насколько это вам удается?..

— Ах, удается весьма относительно... Дело в том, что ужасно трудно работать... просто нестерпимо... Ничего нет... Можете себе представить бедность материальную и духовную, в которой мы живем. Вот у меня на жилете эта пуговица приводит меня в бешенство, — я вторую неделю не могу ее пришить. Мне самому некогда, а больше некому... Это я, глава правительства, — в таких условиях. Что же остальные? Вы не смотрите, что со стороны более или менее прилично и все как по-старому. На самом деле под этим кроется нищета, и во всем так... Тришкин кафтан никак нельзя залатать. Это одна сторона. А духовная — такая же. Такая же бедность в людях!..

Он опять стал очень нервничать. Да, положительно надломилось что-то в этом человеке. Выдержит ли? Кажется, не выдержит...

— Но все-таки как-то мы держимся и что-то мы делаем. Трагедия наша в том, что у нас невыносимые соотношения бюджетов военного и гражданского. Если бы мы не вели войны и были просто маленьким государством, под названием Таврия, то у нас концы сходились бы. Нормальные расходы у нас очень небольшие, жили бы. Нас истощает война. Армия, которую мы содержим, совершенно непосильна для этого клочка земли. И вот причина, почему нам надо периодически, хотя бы набегами, вырываться...

— Ах, лишь бы только не зарваться...

— Да, да, конечно... Я же вам сказал "mementō Деникин"...

* * *

Итак (с моей, по крайней мере, точки зрения), и главком, и его помощник рассуждают совершенно правильно. Но удастся ли им? Удастся ли удержаться, чтобы не зарваться и, делая выпад, не подставить себя? Здесь требуется очень смелое, но очень осторожное фехтование...

* * *

Прошло три дня... Мы сидели на Приморском бульваре... Было так, как может быть в этих случаях: старший сын — Ляля — уезжал в полк.

* * *

Народу было тьма... Толпа нарядная, красивая — вся в белом — переливалась самолюбующейся жидкостью... И казалось, что кто-то собрал сюда, на этот красивый клочок земли у моря, какую-то дорогую эссенцию, — "цену сладких вин", — самый "цимес", как сказали бы у нас, в Одессе.

Что поразило многих в Севастополе — это здоровье, переходящее в красоту, женщин.

Обычная русская культурная толпа — "интеллигенция", как говорили во времена Чехова, "буржуи", как стали говорить вместе с Максимом Горьким, — поражала своей болезненностью... Редко, редко можно было встретить яркие краски без условности... Обычно это все были лица в "блеклых тонах"... блеклых тонах условного петроградского изящества, — alias* вырожденчества... Серо-желтовато-зеленое — вот колорит чеховско-блоковской красоты. Литературность манер, поза на изысканность, неестественная веселость, от которой грустно, — все это только подчеркивало бледную немочь догоревших родов и благоприобретенно-обреченных существ...

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым.
Хочу одежды с тебя сорвать...

Ах, Бальмонт, не надо...

---

* Иначе (*лат.*).

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман...

К чему обнажать хилое, измотанное, больное...

* * *

Здесь, в Севастополе, не то.

Ярко пульсирующая жизнь, молодость и здоровье, нащупывающие красоту.

Ведь так шли греки: они отыскали красоту через здоровье.

Но откуда здоровье после всех этих ужасов, трех архангелов: Abdominalis, Exanthematicus, Recurrens... После бесконечных эвакуаций — всех этих нечеловеческих лишений... Откуда?..

Очень просто. Все слабое вымерло в ужасах гражданской войны. Остались самые выносливые экземпляры, которые расцвели здесь ”под дыханием солнца и моря”...

Солнце и море соперничают и сейчас одно перед другим... Красивая толпа переливается самовлюбленной эссенцией, и хотелось бы, чтобы некто ”эстетный”, но умный, одновременно восторженный и насмешливый, сказал про нее стихотворение в прозе...

* * *

Мои сыновья сумрачны оба. Мальчикам не нравится Севастополь.

Молодость не понимает компромиссов жизни.

Там, в Одессе, за пять месяцев они привыкли к суровости... всегда полуголодные, всегда на пределе нищеты, всегда в опасности, — они научились легко выносить все это.

Но почему они какими-то недружелюбными глазами смотрят на эту несомненную красивость?

Да, почему?..

Это у них совершенно бессознательно. Они инстинктивно чувствуют, должно быть, что пока там, за горлышком Перекопа, лежит м о р е н и щ е т ы, этому пленительному полуострову нельзя разнеживаться. Нельзя, — рано. Рано потому, что суровые смоют изнеженных. Суровых могут остановить только те, кто, если нужно, откажутся от всего ”этого”...

А в этой самовлюбленной толпе чувствуется, что они не смогут отказаться... Даже перед угрозой смерти.

Меня немножко поразила Ирина. Ее синтез был категорический:

— Это не удержится...

* * *

Еще резче это настроение сказалось в Ляле.

Я уже несколько раз говорил с ним об этом.

Я обращал его внимание на то, что тыл — всегда тыл, что нужно сравнивать Севастополь с Екатеринодаром и Ростовом. И если сделать это сравнение, то все преимущества будут на стороне Севастополя. Жизнь, правда, течет здесь по старорежимному руслу, ну и слава богу... Надо же, чтобы люди жили, а не мучались. Нельзя только, чтобы было безобразие, безудержное пьянство и все прочее. А этого нет. Наоборот, все очень подтянуто, так подтянуто, как давно не было.

Он слушал все это, соглашался, но все же выдержал Севастополь только три дня. Он ему не нравился, ему хотелось в полк.

* * *

И он ушел... Ушел, простившись, прямо с этого красивого бульвара, где нарядная толпа переливала всеми красками жизни...

* * *

...Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви...

Тендеровский рецидив

(Драма в трех действиях с прологом)

В общем, как-то все складывалось так, что до известной степени я мог себя почитать свободным от общественных дел. Правда, и главком, и А.В.Кривошеин желали, чтобы я писал в "Великой России". Но это как-то не клеилось. Я написал две статьи "О дороговизне" и замолк. В сущности говоря, в данную минуту мне не то что

нечего было сказать, но я чувствовал более, чем когда-либо, что молчание — золото.

Много времени спустя, как-то отвечая на одно открытое письмо, П.Н.Милюков написал:

"С ужасом прочел я о том, что вы появились в Крыму..."

Если бы П.Н.Милюков видел, что я делал в Севастополе, он не ужасался бы.

* * *

Зато у меня были свои личные дела, о которых надо было подумать.

Я ломал голову над тем, как помочь несчастному Эфему, захваченному чрезвычайкой. И придумал такой способ.

Я выпросил у главнокомандующего отсрочку одного приговора. Это был видный большевик, пойманный в шпионаже и имевший по документам, захваченным при нем, серьезные связи. Я также получил разрешение главнокомандующего послать от своего имени радио председателю Украинского Совнаркома Раковскому.

11 августа из главной радиотелеграфной станции пошла телеграмма следующего содержания:

"Через председателя Одесской Чрезвычайной Комиссии председателю Совнаркома Украины Раковскому.

В Севастополе военным судом приговорен к смертной казни такой-то. Предлагаю обмен на арестованного Одесской Чрезвычайной Комиссией такого-то. В случае согласия, об условиях телеграфировать туда-то. Подпись".

Большевистская радиостанция в Николаеве приняла эту телеграмму и дала "расписку", по терминологии радиотелеграфистов. Харьков тоже, по-видимому, принял, но расписку не дал.

* * *

Кажется, это был первый случай за всю войну белых с красными. Жизнь за жизнь... Я ждал ответа первые дни лихорадочно. Ответа не было. Потом напряжение стало спадать и, наконец, надежда погасла. Тогда я решил действовать другим путем...

* * *

И это тем более, что...

* * *

Я жил тогда на "Рионе"... Приятно жить на судне. В особенности в то время, когда там почти никого не было. Весь огромный корабль был почти пустынный... На всех палубах, спардеках и мостиках можно было дышать воздухом и солнцем...

А вечером как приятно было возвращаться "домой" из города... По темным крутым каменным лестницам, затем по набережной, беспрестанно спотыкаясь через причальные канаты, потом по бесконечному понтонному мосту, переброшенному через бухту... В конце его, на том берегу, до самой поздней ночи всегда горят огоньки-свечечки, вроде как под Вербы или под Пасху. Это там такой своеобразный базарчик, — он торгует чуть ли не всю ночь...

Тут за триста рублей можно съесть вкусную котлету или выпить стакан молока. И винограду по 1000 рублей фунт — сколько угодно.

Потом идешь какими-то мрачными закоулками, среди замолкших черных мастерских и складов... Иногда тут останавливает охрана, но вежливо... Наконец, подходишь к тому месту, где темной громадой виднеется "Рион".

Кричишь:

— На "Рионе"!..

Через некоторое время ответ:

— Есть на "Рионе".

— Подайте плот.

— Есть подать плот.

Что-то плескает по воде, очевидно канат, подходит миниатюрный паром, и через несколько минут подымаешься по трапу "Риона". Проходишь все эти знакомые переходы и наконец в полной темноте находишь внизу свою каюту.

Правда, простынь нет, подушек нет, одеяла тоже нет, спишь на каком-то брезенте, но это неважно. Научились обходиться и без этого, лишь бы чисто.

Крысы?..

К ним быстро привыкаешь. Однажды они сволокли у меня целый хлеб в свою преисподнюю... И митинговали при этом нещадно.

* * *

Я проснулся оттого, что там происходило что-то в коридоре. Было абсолютно темно и зажечь нечего. Кто-то ходит, что-то спрашивает по каютам. Женский голос... Вдруг расслышал свою фамилию. Кто-то шарит по стене на ощупь, постучался ко мне.

— Вы здесь, Василий Витальевич?

Я вдруг узнал ее.

— Лена!..

Это была жена Эфема.

— Ну наконец я вас нашла... Я прямо с парохода... Из Варны. Там узнала, что вы спаслись... А он где?..

* * *

И я должен был ей сказать...

* * *

Всю ночь она билась у меня в руках... Ах, проклятый мир — ты слишком жесток...

* * *

На следующий день я сел на пароход, который должен был идти на Тендру.

Но сесть — не значит выехать. Так было когда-то раньше. А с революцией, куда ни ткнешься, всегда выйдет какое-нибудь глупое затруднение.

Так и с "Казбеком". Стояли мы, стояли бесконечно, потом ходили из угла в угол по бухте, от пристани к пристани, все никак не могли нагрузить топливо. Наконец пришли к какому-то молу, где стояли вагоны с дровами.

Казалось бы, слава богу. Так нет. Команда объявила, что не будет грузить, если ей сейчас же не заплатят денег за погрузку. А денег как раз не было наличных.

Но жизнь учит.

В кают-компанию, где все едущие на Тендру тоскливо ожидали, когда кончится вся эта история, вошел какой-то полковник и сказал:

— Господа офицеры. Судно не пойдет, если не погрузить дров. Команда не желает. Если вам угодно будет самим погрузить дрова, мы отойдем через три часа. Надо

погрузить восемьсот пудов. Деньги будут уплачены по расчету, но не сейчас, а через некоторое время. Кому угодно?

Переглянулись, и семь офицеров, в том числе и я с Вовкой, заявили, что нам угодно.

Сбросили френчи и взялись за дело.

Первый час был труден. Положат тебе полные руки этих неудобнейших в мире дров, — беги с ними по разным доскам до парохода. Кто покраснел, кто побледнел от натуги...

Второй час дело пошло значительно лучше. Хотя руки и шею уже пообдирало корой, но мускулы приспособились.

Третий час прошел совсем гладко. Образовался уже навык, и, когда все было кончено, показалось, что особенной усталости нет.

Как и обещал полковник, через три часа мы вышли в море. Мало того, было выполнено и другое обещание — были выплачены деньги. Недели через три я их получил.

Пришлось около шести тысяч на брата...

* * *

2 сентября я снова увидел загадочный маяк с двумя черными кольцами. Мы обогнули косу. "Казбек" подошел близко к эскадре. "Генерал Алексеев" в это время ушел, и центральным судном в Тендеровском заливе был крейсер "Генерал Корнилов", бывший "Кагул".

* * *

"Натриот", то есть "начальник третьего отряда", капитан первого ранга С., принял меня на юте. В это время откуда-то взявшийся орел, сделав несколько взлетов, опустился в двух шагах от нас на дуло орудия. Я склонен был это принять за доброе предзнаменование, но увидел, что у орла молодой желтый клюв, и тут же мне объяснили, что это воспитанник "Корнилова".

* * *

Так началась "Корниловская эпоха", иначе называемая эпоха "военно-морских ужасов".

Первый "ужас" разразился в тот же вечер. Было очень тихо и очень красиво. Маяк задумался о чем-то,

как будто бы о ”прошлом”, но скорее о будущем. Вокруг царственного ”Корнилова” мирно покачивались подвластные суда... ”Альма” с ее характерным, возмущающим душу моряков видом ”буржуа-жантильом”, коммерческое судно, обращенное в крейсер — ”шмага” по-морскому... Около ”Альмы” маленький ”Киев”, довольно невзрачный тихоход, но громкоход. По другой стороне большая баржа ”Тилли”, безутешная вдова, как ее почему-то прозвали. Там, впереди, не то ”Язон”, не то ”Скиф”, кто их разберет, они так похожи друг на друга, эти два тральщика... Далеко в море погибшая, севшая на дно ”Чесьма”. Около самого ”Корнилова” на должности пажа С.К.4 — быстроходный катер, изящный, приглашающий к прогулке.

У трапов две-три шаланды, наполненные арбузами...

Эти арбузы неотделимы от Тендры. Таких арбузов, кажется, нигде и в свете нет. А дешевизна сумасшедшая. Сто рублей штука. В Севастополе ”за порцию” надо платить триста. Но деньги берут неохотно. Вот если дать какую-нибудь вещь, какой-нибудь пустяк, старую рубашку, вот тогда начинается бомбардировка арбузами через борт. Их бросают с шаланды, и команда крейсера ловко ловит их в руки.

Мы мирно любовались всей этой картиной с юта, как вдруг произошло какое-то общее смятение. ”Альма” сорвалась с места и куда-то поползла с видом испуганной наседки. ”Киев” тоже неистово застучал своим нестерпимым ”балиндером”, баржа ”Тилли” осталась неподвижной, но пригорюнилась.

Вдруг рявкнуло орудие, и высоко в небе разорвалась шрапнель, сверкнув звездочкой. Это открыла военные действия ”Альма”. ”Киев” немедленно присоединился, и вдвоем они стали покрывать участок неба сверкающими огоньками, после которых оставались дымки.

— Вон, вон, видите...

Между дымками я действительно увидел черную точку. Это и была приближавшаяся большевистская ”гидра”. Только что я подумал о том, что это ”в честь нашего прибытия”, как меня совершенно оглушило орудие, рявкнувшее на самом ”Корнилове”.

После этого пошло. Стреляли уж, стреляли...

Но черная точка двигалась своим путем, по-видимому, даже не замечая этих дымков; их ведь, говорят, и не видно и не слышно летчику.

Цель ее посещения, в сущности, была ясна. Большеви-

ки от себя видели по дыму, который развел ''Казбек'' утром, что пришло какое-то судно. И вот гидра летела проверить. Но не долетев немного до ''Корнилова'', очевидно, для соблюдения этикета, что-то бросила, что произвело фонтанный всплеск в море. Бомбу — конечно.

В общем, все кончилось благополучно, как водится. Но, так сказать, вечерний ''военно-морской ужас'' удался на славу.

Но возмутительно себя вел маяк. Хотя какая-то наивная душа стремилась там достать гидру из пулемета, но маяк лично не принимал в этом ровно никакого участия. Выражение его было ироническое.

* * *

В числе наивных душ, обстреливавших гидру из пулемета, оказалась женщина и даже молодая девушка. Она прибыла сюда, на Тендру, в качестве ''разведчицы''. Когда налетела гидра, оказалось, что она к тому же ''пулеметчица''. И вот хотела достать гидру в небе.

Но вместо этого...

* * *

Это было через несколько дней. Я зашел в кают-компанию к ''натриоту'', — мне нужно было по делу.

Он жестом попросил меня подождать, пока кончит разговор.

Я опустился в уютное кожаное кресло. И задумался. Я полюбил эту кают-компанию... симпатичная... Сквозь раскрытые двери, которые вели на адмиральский мостик, на самой корме крейсера, виднелось море — очень ласковое сегодня... Оно играло с солнцем.

Я невольно прислушался к разговору.

Этот молодой офицер, что докладывал ''натриоту'', очевидно, ''заворачивал'' там, на маяке. Разговор шел о двух задержанных разведчиках, присланных из Севастополя, которых на маяке почему-то признали шпионами и жидами. Офицер говорил:

— Разрешите доложить... Он уже сознался, что он жид... Я думаю, что его надо бы пороть до тех пор, пока он ее не выдаст. Она тоже шпионка — это ясно...

''Натриот'' успокоил его:

— Бросьте... я запросил Севастополь... Пока я приказал ее перевести на ''Скиф''.

Я вышел на мостик. Вдоль крейсера медленно шла, направляясь к пришвартованному к "Корнилову" "Скифу", шаланда. На корме сидела женщина. Мне мелькнуло молодое, загорелое лицо из-под красного платка.

Это, должно быть, и есть шпионка...

* * *

Мне захотелось ее повидать. Кто-то сказал мне, что она уже была в какой-то разведке и потому может мне дать полезные указания. Кроме того, мне просто было любопытно. Неужели я не могу отличить "шпионку" от настоящей?

* * *

Она сидела за столом в маленькой кают-компании "Скифа" и с аппетитом кушала жареного поросенка... Видно, голодная...

Я извинился и подошел к столу. Она встала, и так мы остались стоять... это было молодое существо... сильно загорелое, с выразительными губами... еще жирными от поросенка...

Я стал ее спрашивать и по ответам почувствовал, что она затравленная, но все же доверчивая. Вдруг она спросила меня:

— Вы не... редактор "Киевлянина"?

И когда я сказал "да", вдруг в ее улыбке, внезапно снявшей всю затравленность и оставившей одну доверчивость, я поймал что-то знакомое и безошибочное.

— Так вы должны были знать мою сестру?

Вот!.. Конечно, я видел уже это когда-то.

— В семнадцатом году... она была у вас... тогда вам поднесли...

Она смутилась... Должно быть, поднесли цветы... Тогда эта бедная молодежь жалась к "Киевлянину". Но я вспомнил не это... Вдруг вспомнил, что еще так недавно в Одессе она оказала всем нам незабываемую услугу... Та, которая должна была быть ее сестрой. Но я не сказал ей этого из преувеличенной осторожности.

Но я вернулся на "Корнилов" и сказал "натриоту", что шпионка на "Скифе" — дочь генерала Н., семью которого я знаю.

"Натриот" ответил, что получен ответ из Севасто-

поля, устанавливающий и подтверждающий подлинность разведчицы.

"Расстрелять, расстрелять!.." — сумасшедшие люди!..

* * *

Мораль сей истории для молодых "расстрельщиков". Когда у вас будут чесаться руки непременно кого-нибудь "вывести в расход", подумайте о том, что, может быть, где-нибудь в другом месте, но с таким же легкомыслием, какой-нибудь из ваших товарищей расправляется с вашей сестрой или невестой...

* * *

В уютной адмиральской кают-компании за столом, "забросанным картами", обсуждалось предприятие. Тут я впервые узнал о тайнах мореплавания. Во-первых, для успеха всякого морского дела нужно говорить компа́с, а не ко́мпас. Полезно также говорить рапо́рт, а не ра́порт. Затем, нельзя называть веревку веревкой, а нужно говорить "трос", "шкот", "линь" и вообще так, чтобы было непонятно. Впрочем, все это описано Станюковичем гораздо раньше и гораздо лучше, а поэтому я могу не стараться.

В результате обсуждения оказалось, что на целой эскадре нельзя найти шлюпки, за полной бедностью, и что в дело придется пустить старого друга "Speranz'y", которая каким-то образом оказалась на каком-то судне, сохранившем ее для нас честно. Ее надо только отремонтировать. За это дело взялись рьяно.

* * *

Когда стемнело, "Альма" вышла в море, имея на буксире С.К.4, который, в свою очередь, буксировал "Speranz'y". В эту ночь требовалось сделать разведку в эту сторону, а следовательно, была оказия для нас.

На борту "Альмы" было приятно. Она шла без огней, прокрадываясь в темноте. Может быть, именно потому, что машина у нее на корме, у нее очень тихий и плавный ход, какой-то скользящий.

Звезды сияли, и командир "Альмы" объяснил нам, где Полярная звезда, и давал некоторые другие указания. Впрочем, у меня был компас.

Мы уютно поужинали в командирской рубке, которую наглухо закрывали, чтобы не было видно света. Конечно, не обошлось без арбузов. Что это за арбузы!..

Потом я пошел спать. Судно чуть-чуть покачивало, и все было как-то необычайно тихо и мирно. Я спал три часа, когда меня разбудили:

— Пора...

* * *

Я вышел из рубки. "Альма" остановилась. Было все так же тихо-торжественно и таинственно, как бывает в море...

В небесах торжественно и чудно...

С.К.4 завел машину и большой темной рыбой подошел с правого борта.

— Ну, дай вам бог...

Мы перешли на С.К.4, а с него на "Speranz'у", прибуксированную к нему.

Тут случилась первая неприятность: я безошибочно определил, что "Speranz'а" нестерпимо течет. Пришлось тут же откачивать. Немедленно после этого произошла вторая неприятность: я стал надевать изготовленный стараниями "Корнилова" руль, щедро кованный железом, но он оказался таким тяжелым, что при надевании в темноте на проклятый шпенек, который не хотел влезать на полагавшуюся ему петлю, я упустил этот богато кованный руль в море, и он потонул с ужасающей быстротой.

Я собирался очень над этим разволноваться, но времени не было. С.К.4 торопил, и мы тронулись.

Это было путешествие... Как только С.К.4 прибавил ходу, впереди "Speranz'ы" появилась гора фосфоресцирующей воды и пены. Два бурливых огненных потока побежали по бортам... Страшно красиво, но шаланда стала в косом положении — носом к небу, кормой погружаясь в сверкающую завируху. Я крикнул Вовке, чтобы он перебрался на самый нос... это чуть выпрямило шаланду. Но она стала бешено рыскать вправо и влево, и я с трудом удерживал ее веслом, заменявшим руль...

По счастью, это красивое испытание длилось минут двадцать... С.К.4 стал... Последние приветствия... Затем нам бросили наш шкот, и С.К.4 отошел, производя вин-

том световые эффекты. Через несколько мгновений он исчез, — мы остались одни в море.

* * *

Когда не бурно и шлюпка в порядке, то, хотя бы она была такая крохотная, как эта ”Speranz’a”, — ночью в море жутко уютно...

Но когда шлюпка отчаянно течет и вообще дело не ладится, тогда определенно можно сказать, что никакой уютности, а одна жуть.

А ”Speranz’a” текла неуклонно. Один из нас, а было нас двое, все время должен был выкачивать воду. И это при совершенно спокойном море. Что же будет, если разведет зыбь!

Другой, неоткачивающий, — это был Вовка, — должен был грести. Должен был, а на самом деле он не греб, а только ”привязывал”... Есть на этих шлюпках пренеприятные вещи, которые зовут ”шкармами”. Шкармы — это деревянные колышки, засунутые в борта... Они заменяют уключины, то есть к ним привязывают весла... но они же могут служить орудиями пыток.

Так было и в нашем случае. Эти проклятые шкармы почему-то все время вываливались из гнезд. Хорошо еще, что пока они падали в лодку. Но они грозили упасть и в море. Как их поймаешь тогда в темноте? Правда, я скоро определил, почему они вываливаются, — это происходило потому, что борт гнилой, но от этого открытия нам не стало ”уютнее”...

В довершение удовольствия очень скоро перетерлись веревки, которыми привязывались весла к этим ужасающим шкармам...

Тогда наступила скверная минута. Однако всегда есть выход. Я нащупал ремни на винтовках. Целая была история снять эти ремни, затем не менее трудно было привязать весла этими ремнями к шкармам. Я это сделал. Вовка тем временем выкачивал воду и ругался. Действительно, есть положения, когда надо ругаться... И прежде всего, надо ругать самого себя за то, что вышли в море, не осмотрев хорошенько шаланды. Поступили чисто по-русски...

Когда все было готово, оказалось, что грести почти невозможно. Ибо ремни по какому-то удивительному упрямству удерживали весло именно так, чтобы его ни

повернуть, ни вывернуть. Если бы мы не так сильно ругались, то, пожалуй, заплакали бы с досады.

К тому же подул ветер с берега. Да и берег этот был бог его знает где, его еще совсем не было видно. Если так грести, как мы гребем, надо было бы идти несколько часов. Между тем...

Между тем на востоке небо подозрительно побледнело. А звезды, огромные, крупные, прогнав куда-то всю мелочь и белесоватые разводы Млечного Пути, разгорелись так ярко, как они имеют обыкновение это делать перед рассветом.

* * *

Это и был рассвет... Через четверть часа это стало ясным. Итак, положение было такое. До берега несколько миль. Шаланда течет бешено, весла почти не работают. Ветерок, хотя слабый, но противный. При этих условиях высадиться на большевистский берег можно было только через несколько часов, то есть при полном свете дня.

Это было явно невозможно. Поэтому, пустив в море все ругательства, какие можно было изобрести, мы решились на позорное отступление.

Отступать, но куда?... Конечно, на Тендру. Правда, придется идти совершенно неопределенное количество времени с этими веслами и с этой течью, но у нас есть некоторые шансы, что мы найдем "Альму". "Альма" обещала ждать меня некоторое время в море в определенном пункте.

Мы взяли по компасу это направление. Шли, шли, шли, как нам казалось, бесконечно долго. Тупо гребли и обреченно выкачивали...

Солнце сияло, когда мы наконец ее увидели.

Да, это была "Альма" — безобразная "шмага", скользящая наседкой. Но как приятно было ее увидеть. Словно дом родной.

"Дым отечества", впрочем, и вился над нею.

Еще приятнее было, когда от "Альмы" отделилась какая-то точка и явно стала приближаться к нам с большой быстротой, на глазах увеличиваясь в размерах... Ясно было, С.К.4 спешил к нам на помощь. Кто-то там, очевидно, внимательно смотрел в бинокль, если разглядели нас с такого расстояния...

* * *

Репатриированные на борт ”Альмы”, мы решили так: будем высыпаться, а ”Speranz’y” в это время починят. В четыре часа вечера мы будем пытать счастье снова, благо ”Альма” должна еще побыть в этих водах.

Но когда отремонтированную ”Speranz’y” на талях спустили на воду, вода забила по всем швам.

Ничего не будет... Это ее С.К.4, когда вчера тащил на буксире, растянул. Ведь она гнилая...

Подошел командир ”Альмы”. Осмотрев, он сказал:

— Если вы непременно хотите покончить с собой, то у меня есть в каюте револьвер. Приятнее и сухо.

Хохол-матрос подошел к борту и уставился на шлюпку... Потом сказал негромко, не обращаясь ни к кому:

— Це сама смерть — цяя шаланда... — И отошел от борта.

* * *

Я понял, что действительно ничего не будет. Я сказал командиру ”Альмы”, что отступаю. В это время показался аэроплан. ”Альма” приготовилась к бою, но оказалось, что эта наша гидра. Единственная, которая была на Тендре. Она вылетала в особо важных случаях.

Зажужжав на все шмелиные напевы, гидра зашуршала по воде недалеко от ”Альмы” и затем беспомощно, какими-то самодельными движениями, подползла к борту.

Из авиаторских пеленок вылезла голова, которая оказалась знакомым профилем лейтенанта К.

Оказалось, что ”натриот” беспокоится, что сделалось с ”Альмой” и с прочими.

Мы немедленно собрались в обратный путь. Гидра приготовилась лететь, но ничего не вышло. Вычертив со свирепым рычанием несколько пенных полосок на поверхности моря, мотор окончательно дал понять, что ничего не будет. Тогда решили идти кильваторной колонной: то есть собственно шла ”Альма” и буксировала С.К.4, он буксировал гидру, а гидра — ”Speranz’y”.

Когда мы подходили к маяку, не скрывавшему на этот раз насмешки, налетели неприятельские гидры. Начался бой во всех направлениях. Несчастная ”Альма” трепетала по всем швам, потому что то ”носовое”, то ”кормовое” потрясали ее дряхлеющий корпус.

Все это было очень занятно, продолжалось довольно

долго и, как водится, никаких последствий не имело: обе стороны разошлись восвояси без потерь.

* * *

После неудачной попытки индивидуального действия, то есть вдвоем с Вовкой и на полугнилой ”Speranz’e”, я решил вступить на ”коммунистический” путь, то есть действовать сообща с другими.

* * *

Вечером, 17 сентября, в гостеприимной адмиральской кают-компании был сервирован уютный стол. Собирались кого-то фетировать, не то Любовь Надежды, не то Надежду Любви...

Увы, мы с Вовкой должны были покинуть ”свет и тепло” и пуститься в Черное море.

> Таков уж долг солдата:
> Вставать от сладких снов
> Для распрей и для битв...
>
> *(”Отелло”, Шекспир)*

* * *

Было две шаланды. Та, другая, шла впереди, и мы видели ее то белым, то черным привидением, в зависимости от перемены галса. Луна делала эти превращения. Всех нас было на обеих шаландах десять человек. Била зыбь, но не слишком. Мы шли бесконечно долго. Наконец, берег как будто бы стал угадываться. Но еще очень далеко.

Несколько раз поднимались разговоры о том, ”сбивать парус” или нет. Пока одерживало мнение: ”Чего сбивать! Что ж ты думаешь, его тебе видно, так и он тебя видит”.

”Он” — это был большевистский прожектор. Своим циклопским взглядом он водил по морю. В те минуты, когда этот несносный луч набегал на нас, становилось совсем светло... Парус вырастал над шаландой огромной белой птицей... И видны были наши лица, казавшиеся смертельно бледными, с резко прорубленными морщинами.

Это продолжалось одно мгновение, луч проносился дальше, очевидно не заметив нас.

— Если бы он заметил, то остановился бы, держал бы нас под лучом, — сказал кто-то. — Значит, не видит...

И шли дальше. Но наконец наступила психологическая точка. Все как-то заволновались разом, отчаянно переругнулись в мать, Христа и в веру, и мнение "сбивать парус" одержало верх.

"Сбили", то есть спустили, говоря по-русски. Рыбаки — те же моряки, и даже моряки par excellence*. А посему и они выражаются нечеловеческим языком.

Пошли на веслах.

Нас на шаланде было шесть. Двое отлынивали насчет гребли, в особенности один, самый здоровенный из всех нас. Ругались по сему поводу. Но все-таки шли.

Вдруг кто-то заметил два огонька. Красноватые, еле заметные, они где-то очень далеко мигали над самой водой.

— Это катера!..

Все переполошились. Стали спорить и ругаться. Кто-то возражал, что это не катера.

— Как же не катера!.. (В мать, Христа и веру) вот же бегут они.... вот же бегут по воде!.. Назад!..

— Постой, куда же они бегут?..

— Навстречу друг другу. У них два катера и есть... Сторожевые катера!..

— А почему же, если они бегут навстречу, между ними расстояние не уменьшается?.. Огни, это — костры на берегу... Какого черта катера с огнями будут ходить?!

— А это что?!!

Рыбак Тодька обладает каким-то удивительным голосом. Он сидит на корме у руля и иногда разговаривает по-человечески. Но в некоторых случаях он рявкает со всеми скрежетаниями, какие можно только выдумать в человеческой глотке.

— А это что?!!

Это?.. Это, действительно, было нечто... Там, за кормой, на востоке, небо чуть как будто подалось...

— Неужели заря?

— А что же такое?!!

Все звуки ада были в его голосе. Да, это была заря. И тут уже нечего было разговаривать. Катера — не катера, конечно, а костры, но заря... Заря — это заря. На эту ночь предприятие можно было считать неудавшимся. До берега грести еще бог знает сколько, — не-

---

* По преимуществу (*фр.*).

сколько часов, а это значит высаживаться при полном свете, то есть прямо в объятия сторожевой охраны большевиков.

* * *

Что делать?

Погода была приличная, а потому представлялся следующий выход. Вновь ставить парус, отойти дальше в море и там перестоять на якоре весь день вплоть до следующей ночи. Так и сделали.

* * *

Две шаланды стояли рядом. Море болтало без ветра. Было нестерпимо жарко. Время тянулось томительно, прерываясь короткими минутами сна.

Иногда ели консервы. Пробив противные дырки в жестянках, выцарапывали оттуда содержимое и ели с хлебом, который уже стал подмокать. Поев консервов, зарывались всеми челюстями в корки арбузов. Конечно, ругались. Но лениво, только потому, что нельзя же без этого.

Все они были между собой на ”ты”, звали друг друга Ванька, Колька, Сашка, Павка, Тодька... Тут были рыбаки и офицеры, но разобрать их было трудно. К тому же некоторые из них были родственники друг другу. Большой, который не хотел грести, очень ожил и много ел. Колька непрерывно пел какие-то шансонетки, но иногда заводился на Вертинского.

Где вы теперь...
Кто вам целует пальцы...
Куда ушел ваш китайчонок Ли...

Тодька с кормы подхватывал:

Вы, может быть, любили португальца...

А затем прервал себя ”скрежетом” собственного изобретения...

— Колька... Колька... ”Журавля”...

И ”над ленивыми волнами” несся волосы дыбом подымающий ”Журавль”.

На меня это производило такое впечатление, как будто бы грязной блевотиной рвали в чистое море.

Желто-коричневая мерзость струйкой опускалась в "хрустальный чертог". Впрочем, кой-кого тошнило на самом деле.

* * *

Мы с Вовкой чувствовали себя немножко чужими в этой среде. Но к этому можно было бы привыкнуть. Неистовый Тодька, одноглазый, помесь рыбака и апаша, положительно проявлял сквозь сетку грубости какую-то симпатичную даровитость. И, кроме того, к нему образовалось какое-то доверие — не выдаст человек.

А в общем мы довольно печально смотрели на дело. Судьба Эфема не могла не быть у нас перед глазами. Точно так, очевидно, отвалив от Тендры в такой же компании, замешавшись в их среду, высадился и "Котик", погубивший Эфема. Кто знает, из этих десяти человек, кто жертва и кто провокатор.

Поэтому я посоветовал Вовке при первой возможности перейти опять к "индивидуальной деятельности".

В три часа дня было неожиданное развлечение.

Надо сказать, что мы стояли в виду Одессы. Правда, очень далеко, так, чтобы и в бинокль нас нельзя было рассмотреть, но нам-то очертания города были видны. И вдруг над этой полоской земли взвился огромный клуб черного дыма. Взвился сразу, как взрыв гейзера.

Это, конечно, был взрыв, и взрыв сильный, судя по тому, что дымный фонтан поднялся на очень большую высоту. Через много времени глухим ударом донесся и звук.

Это было 18 сентября по старому стилю. Историки при желании докопаются, что это такое было. Но мне оно осталось неизвестным...

* * *

Между сном, убаюкиваемым морем, и бодрствованием, просоленным ругательствами, как-то почти незаметно подошел вечер.

Опять ночь, опять звезды. В десять часов вечера поставили парус и пошли.

Пошли по приметам, известным одному Тодьке, ко-

торому было указано общее направление. Впрочем, у меня был в руке компас, которым я сверял ход.

Время от времени Тодька скрежетал за моей спиной:

— Господин поручик... Посмотрите там на компас...

Я смотрел, но это было бесполезно, потому что он безошибочно держал направление, руководствуясь зыбью и ветром. Зыбь подкатывалась с левого борта, у которого я лежал, уютно прикорнувшись. Неприятно было то, что ноги были систематически в воде. Но к этому все привыкли. И еще с пулеметом были у меня недоразумения: при большом крене он стремился переломать мне ноги...

Почему-то не ругались. Было темно, луна еще не взошла. Загорелся прожектор. Теперь не надо было компаса. По прожекторам это легко. По этой азбуке легко читается весь горизонт: Большефонтанский, Воронцовский, Дофиновский... Все ясно...

Шли долго. Давно взошла луна, давно потухли прожекторы. Мы стали подходить: берег, в том, что принято называть "серебристой дымкой", явственно угадывался. Но в силу того, что нам пришлось сделать несколько галсов вправо и влево, мы потеряли ориентировку. Сам Тодька не мог разобрать в этой все нивелирующей мглистой серебряности, где мы, то есть против какого места большевистского берега...

Мы все еще шли под парусом, стараясь передвинуться как можно ближе... Если слишком рано перейти на весла, то опять заря застукает.

Наконец "сбили" парус. Впереди был берег, по-видимому обрывистый. Но какой берег — никто не мог определить.

Трудная штука — высадиться. Прежде всего морская опасность. Шторм, прибой, которые могут не дать высадиться. Затем береговая большевистская охрана, — могут тут же поймать на берегу. Затем, когда преодолеешь две эти опасности, еще остается третья: внутренний враг. Кто же их знает — не таится ли предатель вон в той другой шаланде, что идет впереди, или, быть может, вон он лежит рядом, плечом к плечу, и рассуждает о том, "сбить" ли парус или нет...

* * *

Тем не менее мы гребли и подвигались, хотя медленно, но подвигались. Когда я садился на весла, я видел,

что луна светила мне прямо в лицо, светила весьма энергично, и я понял, что мы находимся прямо в лунном столбе относительно берега. Мы еще далеко сейчас, но когда будем приближаться, нас легко будет видно...

* * *

Близко... Берег тянется ровными голубовато-серыми обрывками, вправо и влево. Почти прямо против, по носу, какие-то домики. Что это такое, господь его ведает...

Другая шаланда, ежась, подошла ближе к нам. Поручик, который, soi-disant*, командовал всей экспедицией, был на нашей шаланде. Он сказал той другой подойти к берегу и "попробовать"...

Шаланда пошла, но, покрутившись некоторое время против домиков, отошла обратно в море.

— Боятся, сволочи!.. Не пойдут... Я их знаю!..

Шаланда держалась на дипломатическом расстоянии и от берега и от нас. Приказать ей ничего нельзя было, потому что нельзя же вопить в таком положении, а знаков не видно... Намерения ее, впрочем, были ясны: она предоставляла нам "честь первенства".

— Ну и черт с ними... Трам-тараарам!.. Пойдем мы... пойдем, Тодька?!

— А они что же... трам-тараарам!.. Ну идем...

На корму втащили пулемет. Он притаился там злой ящерицей. На весла сели мы с Вовкой. Когда сидишь на веслах, то есть спиной к берегу, на котором можно ожидать некоторых неприятностей, то так поневоле и тянет обернуться. А потому гребут плохо.

Я шепнул на ухо Вовке:

— Давай не оборачиваться...

Мы налегли на весла сколько могли и обернулись только тогда, когда Тодька сказал:

— Кормой подходить надо...

Берег вырос над нами неожиданно большой, высокий, обрывистый. Домики куда-то исчезли, вместо них какие-то камни, скалы. Мы притаились на несколько мгновений, пытаясь разглядеть что-нибудь и расслышать. Но было удивительно тихо.

Сияла ночь... Луной был полон...

---

* Так сказать (*фр.*).

Все было полно луной... И море, и весь этот берег, на котором впадины и расщелины ложились черными морщинами. Маленький удобный кусочек белел впереди нас песком, а вокруг него — нависшие обрывы...

— Там можно выйти?..

— Можно... Вот там как будто бы тропинка по обрыву...

* * *

Шаланда стала поворачиваться кормой к берегу. Пулемет, раскорячившийся каракатицей, установился на обрыве. Около него поместился Р. Я положил винтовку рядом с собой. Шаланда тихонько подвигалась кормой вперед к белеющему местечку...

Дальше нельзя... Шаланда уперлась не то в дно, не то в камень. Не подойдет.

— Что же, надо в воду...

Еще раз внимательный взгляд кругом, прислушивание, приглядывание. Кажется, там кто-то стоит. Нет, это тень. Все тихо... удивительно тихо. Даже прибоя никакого.

— Ну, Вовка... с богом...

Он простился со мной, взял свою тяжелую корзину, которая ему была необходима, и пустился за борт в воду.

И когда он побрел в воде почти по пояс от камня к камню, должно было бы быть очень страшно. Но в этих случаях спасает то, что все силы организма сосредоточиваются во внимании. Я держал винтовку в руках, и у меня осталась только способность смотреть и слушать. Все остальное временно анестезировалось.

Дошел... на белом кусочке появился его черный силуэт. Стал двигаться куда-то вправо и потом подыматься... Значит, там действительно оказалась тропинка. Черная, еле заметная тень, которая была то, что осталось от Вовки, поднялась почти до самого верха. Потом вдруг поспешно спустилась обратно. Стало понятно, что он сбежал вниз, очевидно, что-то заметил...

Несколько мгновений, очень напряженных... Р. у пулемета.

Нет... ничего. Все тихо. Очевидно, он, поднявшись и осмотревшись, просто сошел вниз поджидать остальных.

Остальные двое, которые должны были высаживаться с нашей шаланды, лежат, однако, на дне ее, не выказывая никаких признаков того, что они собираются выйти.

— Ну, что же вы?

Не отвечают.

Р. начинает сердиться...

— Ну что же вы... долго будете валяться?.. Вон поручик вышел.

Молчание. И потом ответ:

— Не пойду в воду... у меня ноги болят...

Происходит сильная сцена. Ругаются. Постепенно Р. свирепеет. Те неподвижны — отругиваются лежа. Наконец Р. хватает винтовку и перебегает по банкам шаланды к ним.

— Стрелять буду, тра-тарарам!.. идите, говорю... стрелять буду!..

Я перебегаю вслед за ним, хватаю его за винтовку.

— Мы их в море пристрелим... Оставьте... Ведь поручик на берегу...

В это время, как бы на выручку, подходит та, другая шаланда, которую мы на время забыли. Увидевши, что мы благополучно пристали, они приближаются. Подходят, становятся рядом, и люди оттуда один за другим спускаются в воду и бредут к берегу. Там высаживается вся шаланда — четверо...

Когда они прошли, очевидно, совесть взяла и наших лежаков.

Не говоря ни слова, они поднялись, влезли в воду и побрели.

Теперь все... Р. говорит:

— Выйду посмотреть, как они там.

С винтовкой в руках бредет и он. Мы остаемся вдвоем с Тодькой на двух шаландах. Мне видно, как Р. доходит до белого места, потом подымается по тропиночке и исчезает где-то вверху. Все тихо... Через несколько минут он возвращается.

— Залегли там. До рассвета... Ваш поручик там в стороне. Холодно. Ну, ничего, как-нибудь... никого нет... спят большевики...

— Где мы?

Он говорит... Оказывается, мы совсем не там, где ожидали, но очень хорошо.

* * *

Ну, надо уходить. Мы отгребаемся немножко в море.

По-прежнему все тихо, но луна светит со всем усердием.

Отойдя на веслах от берега, мне вдруг становится ясным, почему так было тихо у берега, почему нет прибоя.

— Горышняк, — говорит Тодька. — Попутняк...

За это время ветер переменился, стал с берега, то есть вестовый — западный... Мы пойдем великолепно.

Обнаглев, ставим парус в четверть мили от берега и с постепенно все свежеющим "горышняком" идем обратно, взяв вторую шаланду на буксир. Берег быстро отходит от нас...

* * *

Где-то около рассвета я крепко заснул под разговор Р. и Тодьки.

Они иногда обменивались соображениями, нужно ли брать "пажей" или "горстей", то есть вправо или влево, причем Тодька утверждал, что он идет верно.

— От увидите... По самой прорве будет маяк... Господин поручик, посмотрите там на компас...

Я просыпаюсь, смотрю на компас и вижу, что он держит что-то около ста, что и требуется. Я еще крепче заснул, когда взошло солнце, хотя ветер все свежел и зыбь становилась ощутительней.

Меня разбудил Тодька.

— Господин поручик...

Он рукой указывал мне вперед. После продолжительного приглядывания я действительно увидел, по самой прорве, чуть виднеющуюся вертикальную черточку.

— Тендеровский... А туда посмотрите...

В совершенно противоположном направлении таким же едва угадываемым столбиком я увидел другой маяк...

— Большефонтанский...

* * *

Через несколько часов с некоторыми скандалами, ибо зыбь разбушевалась, нас выбросило к подножию двухкольцового маяка, который сейчас же засемафорил на "Корнилов", что шаланды вернулись... Я пересек пешком косу, которая местами превратилась в ковер каких-то красно-турецких молочаев и красивых лиловых цветов между шершаво-шелковистой осокой. Затем бот перетащил меня на "Корнилов", где меня ожидала дружеская встреча.

И горячая ванна. Нежась в теплой воде, я думал о

том, удалось ли Вовке избежать "врага внутреннего", и вообще, дошел ли он благополучно...

* * *

Я должен был прийти за ним через установленное число дней. Для того чтобы не пропустить как-нибудь и все наладить, я переселился с гостеприимного "Корнилова" на маяк, то есть в один из домиков, притаившихся у его подножия.

Ах, эти дни... Задул очень свежий норд-ост, переходящий в шторм. С возрастающей тревогой я следил за этим, все усиливающимся воздушным током, холодным и упрямым. Разговоры с рыбаками становились все неприятнее.

Наконец роковой день наступил, но их нельзя было уговорить.

Этот самый Тодька проявлял и изворотливость, и упорство. Но и вообще всюду была глухая стена. Куда ни ткнешься — там было много шаланд, — везде сопротивление. Для виду соглашаются, а на самом деле увиливают.

Они чувствовали погоду. К тому же у меня было очень мало денег, чтобы подействовать с этой стороны. Да и что такое деньги? Вот если бы я им подарил какую-нибудь шинель, или теплую рубашку, или обувь, — это они бы ценили...

Ведь все эти рыбаки жили на Тендре в собачьих условиях. Некоторые имели палатки, а другие и этого не имели. Ютились при жестком норд-осте где попало, а по ночам температура была уже очень низкая. Ничего у них не было, бежали они от большевиков в чем были и жили буквально волчьей жизнью.

В этот решающий день мне не удалось их уговорить. А в ночь, которая последовала, мне было совсем плохо: я знал, что там, на том берегу, кучка людей ждет меня до рассвета, веря моему обещанию.

И все же я ничего не мог сделать. Норд-ост свирепел с каждой минутой, и там, у того берега, накат должен был быть неистовый.

* * *

Что же было делать теперь? Теперь оставалось одно: так как условленный день или, вернее, ночь была пропу-

щена, то нужно было высадить кого-нибудь нового для того, чтобы восстановить связь. Партия, которой надо было высадиться, собиралась. Но не было среди них ни одного человека, достаточно мне знакомого, чтобы я мог ему доверить серьезные вещи. Поэтому выходило так, что высаживаться надо мне.

* * *

Норд-ост продолжал свирепствовать. Было очень холодно, хотя солнце было очень яркое.

Так прошло несколько дней вечных разговоров: ”идем” — ”не идем”. Совсем уже решили идти, но норд-ост опять наваливался, доходя ”до ракушек”.

Бывает норд-ост ”с песком” и ”до ракушек”. Если он подымает только песок, то это еще ничего. Но если летят уже мелкие ракушки, то хуже.

Развлечение в эти дни состояло в том, чтобы подыматься на маяк и следить оттуда за ”военно-морскими ужасами”. К тому же под стеклом так тепло...

Дело в том, что ”натриот” предпринял операцию. ”Корнилов” выходил как-то вечером в море и долго систематически кого-то долбил: разрушали батарею. С ним выходила вся эскадра, и все это было очень интересно. Старались тральщики, старалась ”Альма” и все вообще, и в лиловом море загорались эффектные вспышки...

* * *

Наконец, 29 сентября по старому стилю (я запомнил этот день), собрались. Две шаланды снарядились, как полагается, с пулеметами на кормах, и все честь честью. Норд-ост продолжал дуть, но надоело всем — решили плыть.

Во время норд-остов на берегу косы, обращенной к морю, совершенно тихо — нет зыби. Поэтому усаживались очень долго и с удобствами. Все остающиеся высыпали провожать. Напутствовали всякими благопожеланиями, даже некоторыми благополезными вещами: мне, например, дали теплую рубашку и барашковую шапку такого вида, который сильно гарантировал насчет большевистских подозрений.

В два часа дня мы отошли... имел неосторожность пересчитать, сколько человек было в шаландах, — оказа-

лось, тринадцать. К тому же кто-то засвистел на нашей шаланде.

Правда, Тодька заскрежетал на него самым невозможным образом, но тем не менее дело было сделано; нельзя свистеть в шаланде — не будет удачи... К тому же из тринадцати была одна женщина — это уж совсем плохо.

Я пересчитал также и тех, что оставались. Их было двенадцать. Они стояли все рядышком, в равных расстояниях друг от друга, ровненьким смешным строем на удаляющейся косе.

Нет, их тоже было тринадцать. За спинами людей, неподвижный, но выразительный, стоял двукольчатый маяк...

Он стоял дольше всех. Те двенадцать давно ушли домой, ушла и низкая коса под воду, а он все стоял и стоял, как будто не желая уйти, стоял до заката солнца, хотя шаланды, гонимые норд-остом, уходили с большой быстротой.

Но, наконец, и он пропал.

— Прости, двукольчатый...

* * *

Кроме Тодьки в моей шаланде были все новые. Второй рыбак — Федюша, затем — Жорж, Яша, Коля и еще один, который тогда засвистел...

Один из них неподвижно лежал на дне шаланды, сильно страдая морской болезнью. Впоследствии этот комок в серой шинели оказался Яшей. Меня пока не укачивало, хотя норд-ост свирепел и зыбь становилась все сильней.

Иногда две шаланды подходили ближе друг к другу и обменивались невозможными замечаниями. Впрочем, в той шаланде уже лежало несколько "трупов" — жертв морской болезни, в том числе и женщина, к счастью для нее, потому что говорили редкие гадости.

Без особых приключений докачало до вечера. Но ветер все усиливался. Мы шли с большой быстротой. Когда стемнело, зажглись прожекторы, и мы поняли, как мы уже близко. На этот раз, подгоняемые свирепым норд-остом, мы сделали переход в несколько часов.

Луч прожектора бродил по неприятному морю. Когда он набегал на ту, другую шаланду, видны были

огромные черные валы, с закипающей на них пеной, и мертвенно-белый парус, жутко чертящий на этом фоне...

Мы приближались, но было как-то плохо. Молчали... Даже тот, кто свистел, угомонился. Шаланда тяжело хлюпалась о валы, и все чаще нас окатывало гребешком, хватившим через край. Другой рыбак, Федюшка, все время откачивал воду, мы ему помогали — те, кого не укачивало. Впрочем, надо сказать, что откачивание воды самое укачивающее занятие. Стоит наклониться с этим черпаком, сейчас же начинает мутить. Было очень холодно.

Наконец мрачное молчание нарушил скрежещущий голос Тодьки:

— Как же будем высадку делать?! Там же такой накат теперь, что шаланду к трам-тарарам побьет...

Серый комок, который впоследствии оказался Яшей, проявил признаки жизни.

— Пусть ее бьет, трам-тарарам, только б качать перестало...

Тодька захохотал.

— Что тебе, Яша, хорошо?.. Качай воду!..

Комок возмутился:

— Иди ты к трам-тарарам... у меня порок сердца...

Это вызвало бурную веселость Тодьки.

— Кушать хочешь?.. Консервов, Яша, хочешь?..

Несчастный комок подымается и, бласфемируя на все лады, перегибается через борт. Слышны страдания, потом рассвирепевшая волна вымывает ему все лицо и окатывает всех нас.

— Сделайте тут высадку! — скрежещет Тодька. — А если и высажу, а назад как, трам-тарарам там... Как я отойду?! Говорил, нельзя... Как идти, когда шторм!.. Что это — лето? Это же осень — вода тяжелая...

Жорж пробует его успокоить.

— Чего ты разоряешься?..

Но Тодьку не так-то легко успокоить.

— Чего, чего!.. А вот к самому маяку подошли. Куда еще?! Парус сбивать надо!..

В это время подходит другая шаланда.

Сквозь свист ветра и шелест валов, после заряда отборной брани доносится:

— Как тут высадку делать?! К черту шаланды побьет!.. Накат!..

Шаланды подходят ближе, и через валы и всю злобу норд-оста продолжается отчаянная ругань, из которой

мне ясны две вещи: 1) что высадка действительно, по-видимому, невозможна, 2) что, во всяком случае, эти люди ее делать не будут. По прошлой высадке я знаю, что Тодька смелый и ловкий, — должно быть, действительно плохо.

Ругнувшись в последний раз, другая шаланда куда-то исчезла.

— Куда они пошли? — спрашивает Жорж.

— Куда! Отлавировываться будет!

— Куда отлавировываться?

— Куда!.. Против ветра... А куда, черт один знает, — куда...

Остается и нам делать то же. Шторм свирепеет. И теперь, когда мы идем в лавировку, то есть не с ветром, а под углом к волне, это становится особенно заметным. Бьет отчаянно и заливает поминутно.

Я тоже начинаю слабеть и чувствую, что близок мой час последовать за Яшей. Тем не менее я размышляю, что же будет.

Будет, очевидно, возвращение на Тендру. Но когда мы туда попадем? При таком курсе ходу почти нет, потому что вся сила парусов уходит на преодоление зыби. К тому же мы идем "пузырем", это значит, что выброшено дерево, придерживающее парус. Это пришлось сделать для безопасности, но это очень уменьшает ход. Удастся ли отлавироваться?..

После первых приступов морской болезни я засыпаю на некоторое время. Просыпаюсь от того, что что-то большое и тяжелое прыгнуло мне на грудь. Это "что-то" оказывается волною. Теперь мы мокрые с головы до ног. Откачиваемся бесконечно. "Кинбурн" свирепеет... Яша умирает от порока сердца, Жорж меланхоличен, "свистун" угомонился, а Колька, как улегся с самого начала на носу, так до сих пор не подал ни малейшего признака жизни. Потом я узнал причину: он невозмутимейший хохол, которого когда-нибудь видел свет. Товарищи его называли "Петлюрой".

— Эй, ты, Петлюра...

Никакого ответа.

— Колька...

Ноль внимания.

Возмущенный Жорж колотит его прикладом.

Наконец он подает голос:

— Ну, что?..

— Да ты умер, что ли!!

Молчание... Он опять заснул.

Свирепый "Кинбурн" и вообще вся эта история совершенно его не тревожат. Он спит... Ах, если бы можно было мне так заснуть, чтобы не чувствовать этих мук. Мне кажется, я скоро подарю морю свои внутренности.

Вода в шаланде прибывает, несмотря на откачивание. Тодька ругается и скрежещет хуже норд-оста — "Кинбурна", как он его называет.

* * *

Утро застало нас все в том же положении. Оказалось, что мы за ночь "отлавирования" почти не подвинулись вперед. Мы предполагали, что выйдем хотя бы на высоту Дофиновки. Но в рассвете начали вырисовываться Большефонтанские берега.

Взошло солнце и ярко осветило жуткую картину рассвирепевшего моря. Та шаланда исчезла. Куда она пошла, бог ее знает.

Наше положение скверное. Укачались все, кроме Тодьки. Даже и второй рыбак, Федюшка, лежит бледный и не в силах больше откачивать воду. Один Тодька сидит у руля, как будто ничего. На него это не действует. Он с тем большим презрением обрушивается на Федюшку.

— Рыбалка называется!.. трам-тарарам твою перетарарам... Отливай воду!..

Федюша, бледный как смерть, сползает с банки и начинает черпать. Я вижу, что ему плохо, у меня как будто бы легкий перерыв "занятий"; я пытаюсь тоже отливать...

— Лежите, господин поручик, лежите...

Эта неожиданная заботливость со стороны Тодьки меня трогает.

Он снова обращается ко мне:

— Что будем делать?..

Я соображаю. Потом говорю:

— Если не отлавируемся, — выбросимся в Румынию.

— А не расстреляют, господин поручик, румыны?..

Комок-Яша делает движение.

— Пусть расстреляют... только бы не качало...

Тодька хохочет...

— Как! У тебя порок сердца, так тебе все равно. Все равно умрешь...

Я говорю:

— Нет, расстрелять не расстреляют... За что другое не

ручаюсь... Ограбят, и все такое, арестуют, задержат, но расстрела не будет.

Жорж у мачты появляется.

— Держи ”горстей”, Тодька...

— Чего ”горстей”?.. куда ”горстей”?

— Держи ”горстей”, отлавируешься...

Тодька раздражается.

Он и так держит ”горстей” сколько может. По-настоящему ”пажей” надо держать.

— За неделю так не отлавируемся!.. Куда ж, шаланда полна воды, на волну не лезет...

Они некоторое время спорят друг с другом, сыпят названиями ветров: ”Кинбурн”, ”Горшняк”, ”Молдаванка”, ”Низовка”, ”Оставая Низовка” перемешиваются у них с каким-то ”пажей”, ”горстей” и ”прорвой”... Я наконец, понимаю, что ”прорва” — это нос.

— Что у меня по прорве?! — кричит Тодька. — Дофиновка? трам-рарам перетрам тарарам!.. Опять на Большой Фонтан выходим!

Затем ”разговор упадает, бледнея”... Еще час мы пробуем отлавироваться. Однако ясно, что, если ветер не переменится, — ничего не будет. Главное, что в шаланде слишком много воды и просто нельзя ее отлить. Что отольем большими усилиями, — какая-нибудь сумасшедшая дрянь — волна, побольше других, небрежным движением наплеснет в мгновение ока. И отяжелевшая шаланда, плохо подымаясь на волнах, больше дает ”дрейфу”, чем ”ходу”.

Солнце встает все выше, и еще не покидает нас надежда, авось ветер начнет стихать к полудню.

* * *

Полдень... Норд-ост все тот же. Без меры упрямый и холодный. Опять вспыхивает разговор о Румынии.

— Господин поручик... А как же с ними говорить?..

— По-французски... Они все знают...

— А вы можете?..

В это время ”свистун” вновь появляется на сцене. Неожиданно оказывается, что он прекрасно говорит по-румынски.

Но Жорж, который чувствует себя начальником экспедиции:

— А с пулеметом как будет? С винтовками?.. А как

они нас за большевиков примут!.. А и не примут, что же им, подарить пулемет? Держи "горстей", Тодька!..

* * *

И еще... и еще...

Солнце пошло уже немножко вниз, а норд-ост еще усилился. Дело плохо. Мы не выиграли ничего у ветра, но воды все прибавляется. Тодька сидит уже сутки бессменно у руля.

Что же делать?..

Решаем держаться до вечера и, если буря не угомонится к заходу солнца, выброситься в Румынию.

* * *

Румынский берег виден. Вот маяк, который должен быть в устье Днестра. Солнце низко. Норд-ост свиреп. Ничего не поделаешь — надо выбрасываться.

— А как пройдем? — говорит Федюша. — Накат большой...

Действительно, там под берегом творится что-то бешеное. Там море совсем желтое; это оно беснуется на мелком, замутив дно. Эта желтизна кончается мощной белой каймой, от которой нельзя ждать ничего хорошего, — это пена свирепого прибоя.

— Как пройдем? — говорит Федюша, показывая на это желто-белое.

Но Тодька скрежещет на него с бешенством:

— Рыбалка называется! А проход зачем?! А бакан зачем стоит?! От найду бакан, и чтобы был он у меня справа, трам тарамтатам! Тоже — рыбалка!..

Он ругается с такой особенной яростью потому, что шаланда уже чувствует приближение этого весьма подозрительного места. Вода уже мутная. А валы не такие, как в море, а с яростными гребешками и вообще совсем какой-то другой породы. И как найти этот бакан?!

Эта желто-белая завируха надвинулась с ужасающей быстротой. Было одно мгновение, когда казалось, что эти огромные чудовища будут все у нас на голове. Тут творилось что-то несуразное, и каким образом Тодька отыскал бакан — трудно понять.

— А это что?! Рыбалка называется! Говорил тебе есть бакан!..

Проскочили бакан. Справа и слева от нас воротило

такие горы из желтой мути с белыми оторочками, что просто было страшно... И мы прошли... И через несколько минут очутились в совсем спокойной воде, — даже до непонятности.

* * *

Низкий берег, остатки какого-то моста через не то пролив, не то устье реки и маяк.

Сбили парус и тихонько на веслах без всяких приключений мирным образом уткнулись в песок.

Это была Румыния...

Константинополь

(Из дневника 18/31 декабря)

...Если стоять вечером на мосту через Золотой Рог, на знаменитом мосту между Галатой и Стамбулом, то вдруг припоминается что-то живо-знакомое.

— Что?..

Вот что... так стоится на Троицком или, вернее, на Николаевском мосту в Петрограде. Золотой Рог — будто Нева. По одну сторону — как будто бы Петроградская сторона, там — набережная. Не очень похоже, но есть что-то общее.

Красиво... Очень красива эта симфония огней...

Толпа непрерывно струится через мост.

Тепло...

Как в теплый вечер в начале октября в Петрограде.

Боже, где все это?..

Твой щит на вратах Цареграда...

Увидев впервые в жизни этот неистовый, но такой красивый беспорядок, эту галиматью с минаретами, именуемую Константинополем, я сказал своему спутнику по вагону:

— Боже мой!.. Теперь я только понял, что я давным-давно страстный, убежденный... туркофил.

Я думаю, что это несколько утрированное утверждение в значительной мере применимо ко всем русским, волей судьбы здесь очутившимся.

В летописях 1920 год будет отмечен как год мирного завоевания Константинополя русскими.

Твой щит на вратах Цареграда...

* * *

Щит этот во образе бесчисленных русских вывесок, плакатов, афиш, объявлений... Эти щиты — эмблема мирного завоевания — проникли во все переулки этого чудовищного хаоса, именуемого столицей Турции, и удивительно к нему подошли.

Недаром:

Земля наша велика и обильна...

Тут тоже никакого порядка. Наоборот, этот город производит впечатление узаконенного, хронического, векового беспорядка. Поэтому, вероятно, когда русские, голодные и нищие, обрушились огромной массой на эту абракадабру, вместо естественной ненависти, которую всегда во всех странах и веках вызывают такие нашествия, — вдруг на удивление "всей Европе" к небу взмыл совершенно неожиданный возглас:

— Харош урус, харош...

Точно нашли друг друга... Русские и турки сейчас словно переживают медовый месяц... Случаев удивительно доброго, сердечного отношения — не перечесть... Одного почтенного деятеля остановил на улице старый турок и, спросив "урус?", — дал ему лиру. Русскому офицеру сосед по трамваю представился как турецкий офицер, предложил быть друзьями, потащил к себе и предложил ему половину комнаты за бесценок, лишь бы жить с "урусом". Третьего хозяин кофейни угощал как дорогого гостя и наотрез отказался взять плату. Все это часто очень наивно, но это есть... Русским уступают очереди, с русских меньше берут в магазинах и парикмахерских, высказывают всячески знаки внимания и сочувствия, и над всем этим, как песнь торжествующей любви, вместе с минаретами вьется к небу глас народа — глас божий.

— Харош урус, харош...

Чем все это объясняется?

Объяснений много. Во-первых, объяснение прозаическое: русские, несмотря на всю свою бедность, по обычаю предков, не торгуются в магазинах и не останавливаются перед тем, чтобы из последних пятидесяти пиастров десять бросить на чай.

"На последнюю пятерку..." И только русские щедры.

Все остальные, несмотря на свое богатство (сказочное в сравнении с русскими), скупы, как и полагается культурной западной нации. А между тем турки сейчас так бедны, в особенности чиновничество, которое бог знает сколько времени не получало жалованья, что еще неизвестно, чье положение хуже: этой бездомной русской толпы, которая залила все улицы и переулки гостеприимного города-галиматьи, или же самих хозяев, находящихся на краю голодной бездны.

Другое объяснение — "сытый голодного не разумеет". Значит — голодный разумеет голодного. Обе нации — русские и турки — почти одинаково несчастны. Обе почти лишены отечества. Обе включены, втоптаны в разряд побежденных "державами-победительницами".

Я помню, как профессор Петр Михайлович (международник) во всю мощь своего великолепного баритона возмущался на улицах одного города этим термином.

— "Державы-победительницы"!.. Кажется, в мировой истории не было случая, чтобы в официальных договорах или трактатах употреблялась такая терминология. Всегда все державы обозначались по имени: Англия, Франция, Италия... Да ведь мирный договор потому и называется мирным, что война кончилась... И нет уже войны — нет побед... Мирным договором восстанавливаются "дипломатические отношения" со всем изысканным ритуалом международной вежливости. И вдруг — "державы-победительницы"...

— Дичь! Средневековье!..

И вот, по-видимому, на фоне общей обиды разыгрывается эта русско-турецкая любовь...

"Chaque vilain trouve sa vilaine"*, — скажут французы...

Ладно... "Униженные и оскорбленные", — скажем мы. И если турки еще более унижены, то ведь мы еще более оскорблены.

Да, мы оскорблены, прежде всего, оскорблены... Эти константинопольские русские, эти дети бесконечных эвакуаций, живее всего чувствуют оскорбление... Ибо это те, которые, несмотря ни на что, оставались верными Антанте... Это те, которые хранить союзный договор, заключенный государем императором, почитали своей священной обязанностью... Это те, которые если не были уверены в помощи и благодарности, то все же были убеждены, что их будут уважать...

---

* Каждый урод найдет свою уродку (*фр.*).

Вместо уважения...

Вот на Grand'rue d'Opera французский "городовой" останавливает русских офицеров, проверяя документы... Тон, манеры, это наглое хватание за рукав или, что еще хуже, похлопывание по плечу, этот покровительственно-небрежный тон, жест, когда — полуграмотный — он, наконец, найдет на документе французское рукоприкладство: "Vue à l'arrivée"* — все это заставляет стиснуть зубы...

На каком основании этот господин не обращается ко мне так, как полагается солдату обращаться к офицеру? Разве я не офицер?

Но ведь я выдержал все офицерские экзамены... Я потерял все решительно на свете для родины, "кроме чести"...

"Sauf l'honneur"**... Так почему же меня оскорбляют, за что?

Ах, ведь они "державы-победительницы"...

Но, наконец, кого же они победили?.. Ведь Россия была с ними, и если она не дошла до бруствера, то потому, что была тяжело ранена в бою... Почему ее зачислили в разряд побежденных?..

Потому что...

Потому что французы и другие не доросли еще до того, чтобы щадить "больную нацию". В международных отношениях царит средневековье — век звериный.

Горе заболевшим!..

И вот два "больных человека" — Турция, давно заболевшая, и Россия, недавно тяжело занемогшая, — инстинктивно тянутся друг к другу... и к ним одинаково жестоки... жестоки презрением здоровых к больным...

Но помимо этого, есть, по-видимому, какое-то расположение рас. Русские и турки как будто бы чувствуют расовое влечение друг к другу. Явление противоположного свойства называется "haine de race"***. Не знаю, как перевести эту "расовую симпатию"... Вот, по-видимому, нравятся просто русские и турки друг другу. Только этим можно, в конце концов, объяснить этот доминирующий над всем возглас:

— Харош урус, харош...

---

* Проверено по прибытии (*фр.*).
** Кроме чести (*фр.*).
*** Расовая ненависть (*фр.*).

* * *

Не думаю, чтобы массы были посвящены в тайны и интриги политики. Не думаю, чтобы здесь играли роль замыслы Кемаль-Паши...

Да и каковы эти замыслы — кто их знает... Хотят ли действительно, чтобы генерал Врангель занял Константинополь?..

Во всяком случае, вчера торжественно и официально опровергалось известие, пущенное турецкими газетами:

"Генерал Врангель, во главе 10 000 отряда и имея в тылу 30 000 отборного войска, занял Фракию. Греческие войска бегут в панике". При этом был помещен портрет генерала Врангеля.

Это характерно для того, в каком направлении работает мысль. Эти газеты как будто толкают: "Выйдя из лагерей, займи Фракию, — греки побегут... И путь на Константинополь свободен..."

— Харош урус, харош...

Твой щит на вратах Цареграда...

* * *

С непривычки кипяток большого города как будто бы пьянит. Все куда-то несется... Непрерывной струей бежит толпа... трудно выдержать, столько лиц... Тем более что половина из них кажутся знакомыми, потому что они русские... Где я их видел всех, когда?.. В Петрограде, Киеве, Москве, Одессе... Одно время в 1914 году, во время мировой войны, я их видел всех в Галиции — во Львове. Когда большевики захватили власть в Петрограде и Москве, я видел их всех в Киеве, под высокой рукой гетмана Скоропадского... Потом их можно было видеть в Екатеринодаре... Позже они заливали улицы Ростова... В 1919 году они разбились между Ростовом, Киевом и Харьковом, но в начале 1920 года столпились в Одессе и Новороссийске... Наконец, последнее их прибежище был Севастополь.

И вот теперь здесь...

Твой щит на вратах Цареграда...

* * *

Все куда-то несется... Люди, экипажи, неистово звенящие трамваи, воющие на все голоса ада автомобили...

Все блестит, все сверкает... уличные фонари, пьянящие голодный русский дух витрины, слепящие глаза фарымтором.

Все кричит... все тревожит воздух нестройной смесью языков... но чаще всего слышен русский...

Или мне так только кажется!..

Нет, русских действительно неистовое количество... А если зайти в посольство или, упаси боже, в консульский двор, — тут сплошная русская толпа... Все это движется, куда-то спешит, что-то делает, о чем-то хлопочет, что-то ищет...

Больше всего — "визы" во все страны света...

Но, кажется, все страны "закрылись". Не хотят русских... никто не хочет, и даже великодушные, верные союзники...

И только тут, в столице народа, с которым мы воевали века, воевали и в последнюю войну, в столице, на которую мы столько раз и совершенно открыто претендовали, желая взять ее себе, только тут несется неумолчный крик:

— Харош урус, харош...

Чудесны дела твои, господи!..

* * *

Русская церковь в посольстве...

Всякий знает, как бывает у всенощной... Так и было...

Но эти слова, такие знакомые, только теперь получили настоящую цену. Только мы, русские, рассеянные по всему свету, вытерпевшие все, можем их понять до конца.

— О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их миром, господи, помолимся...

— Господи, помилуй!..

* * *

Помилуй, помилуй, помилуй, господи!..

Что можно сказать больше...

— О плавающих...

Это Димка — младший... Он же сейчас плавает где-то под Африкой, в Бизерте. Оставленный мною в Севастополе, он нанялся матросом на миноносец... Мальчику пятнадцать лет...

— О путешествующих...

Вот уж сколько я путешествую... это, значит, было последний раз, когда я видел Россию 29 сентября... Последнее, что я от нее видел, был этот двукольчатый маяк... Прости, двукольчатый... И вот отчего всегда на нем была какая-то печальная и ироническая усмешка!.. Даже тогда, когда мы бежали из Одессы и ликующие подходили к нему... Он знал, что это ненадолго... А где Вовка?.. Тоже "путешествующий"...

— Недугующих...

Вот получил телеграмму, что Саша, брат Эфема, где-то валяется в каком-то госпитале или на судне в очень тяжелой болезни... А где — найти не могу...

— Страждущих...

Сколько их, страждущих... но из всех них один, конечно, ближе... мне кажется, что он страждет больше других, хотя я знаю, что это не так... Он, как и все... Ляля... Если жив, выстрадал весь поход, все бои, все эвакуации и дострадывает в лагерях... Если жив... А если и жив, то, может быть, искалечен, изранен. Таким именно он приснился мне сегодня... На лбу, над левой бровью, страшный след... Другая пуля прошла около лопатки... а еще одну, говорит, надо вынуть... Это знакомое, кажущееся мне таким замечательным лицо с глазами страдающей газели какое-то стало другое, себя не находящее...

— Плененных...

Одного плененного уже нет... Несчастный Эфем погиб... Расстреляли... Это я уже здесь узнал...

И сколько их всех...

Господи, господи, помилуй!..

* * *

Сегодня наступает Новый год... Для всего мира, кроме нас.

Кто это мы?..

Мы — "вранжелисты"...

* * *

Мы будем праздновать Новый год по-старому.
Мы одни в целом мире.
И все-таки правы мы, а не они...
Ибо старое вернется...
Мировая реакция неизбежна.
— Вовка?!
Да, это был он.
Мы столкнулись на Grand'rue d'Opera...

* * *

— Как же вы? Как это случилось?!

— Моя история кратка... То есть ее можно кратко рассказать, а было всего... Ну, словом, 30 сентября (по-старому) меня выбросило на румынский берег у Цареградского маяка... Два месяца я пробыл в Румынии... Румыны все никак не могли сначала определить, кто мы — большевики или "вранжелисты"... А потом, когда убедились, что вранжелисты, просто тянулись всякие формальности... Обращались на этот раз недурно, не то что тогда... А иногда даже были очень милы. В начале декабря я попал в Болгарию... и затем вот вчера сюда... Ну, рассказывай...

— Все рассказывать, это очень долго...

— Ну, не все... самое важное...

— Самое важное... я старался выполнить все, что было мне поручено. Вначале все шло благополучно... Мы тогда пришли в ту ночь на берег, как условились... Прождали... вас не было... Решили, что, значит, нельзя было выйти... мы так и поняли, что шторм... Затем, — затем стало хуже.

— Что-нибудь узнал про Эфема?

— Узнал... Ваше радио было получено... и даже после этого его сейчас же перевели из чрезвычайки в тюрьму, улучшили пищу и стали иначе обращаться... Даже как-то от него пришло какое-то сообщение... он предупреждал, чтобы были осторожны, что они очень осведомлены... что он совсем было приготовился к смерти и был спокоен и готов... Теперь у него появилась надежда... на что, он не знает: что хуже...

— Он погиб?.. наверное?

— Да... в конце концов расстреляли... Это я уже здесь узнал — из списков расстрелянных...

— Но отчего? Какая окончательная причина?

— Нельзя понять... Когда-нибудь, может быть, узнаем...

* * *

— Я сделал все, что надо, и торговал шлюпку... в это время это и случилось.

— Что "это"?..

— Вы говорили мне записывать интересное... этот эпизод я записал...

— Ну, хорошо... пойдем куда-нибудь... Они празднуют Новый год. Нам нечего праздновать... все равно... за стаканом вина прочти мне...

Рассказ поручика Л.

Я жил тогда... ну, словом, вы знаете у кого... проснулся с сознанием, что еще очень рано. Проснулся оттого, что кто-то открыл двери из передней и сказал за дверью:

— Это к вам...

Я приподнял голову. В комнату быстро вошел человек. Рассмотреть его нельзя было, так как шторы были опущены. Человек быстро подошел к окну.

— Кто это?..

Человек поднял штору и сказал громко:

— Из Чрезвычайной комиссии... Вставайте все...

В эту же минуту в комнату вошел другой человек.

Я не могу сказать, чтобы я испугался, — это было бы не совсем точно. Но я почувствовал во всем организме какое-то особое напряжение... Как будто бы все точки организма оказались связанными, туго натянутыми нитями... Это совсем похоже на то, как бывает, когда услышишь свист первой пули и начинается бой.

Я рассмотрел этих людей. Вошедший первым был среднего роста, не брюнет и не блондин, полуеврейского, полувосточного типа. На нем было рыжеватое пальто и фуражка военного образца без какого-нибудь значка или кокарды. Другой — высокий, черный, моложе первого, видимо, русский, в черном пальто и кепи.

Один из них начал опрашивать всех. А в этой квартире было много народа. Он спрашивал всех по очереди. Затем обратился ко мне:

— А вы кто?..

Эти люди, жившие в этой квартире, дали мне приют почти случайно. Они не знали, кто я. Им рекомендовали меня их друзья, просили приютить. Потому я ответил спокойно:

— Я студент такого-то университета, такой-то. Три дня тому назад приехал сюда... Меня приютили здесь, потому что мне некуда было деться.

— Это ваши знакомые?

— Да...

Один из чекистов стал перебирать и просматривать бумаги на письменном столе. Меня это не очень беспокоило; вряд ли он мог там что-нибудь найти. Когда я оделся, рыжий протянул мне какую-то бумажку. Штамп и печать одесской чрезвычайки. Я прочел:

"Товарищу такому-то. Предлагается произвести обыск в квартире гражданки такой-то, такой-то адрес, и арестовать ее и всех находящихся в квартире".

Затем последовал полусочувственный жест — ничего не поделаешь — и пояснение:

— Придется сидеть в квартире до вечера, ждать публику. А затем...

И красноречивая пауза.

Оба представителя власти шарили довольно продолжительное время по ящикам стола, по углам, приподнимали тюфяки, открывали корзинки и картонки. Извлекался откуда-то запыленный и заплесневевший номер "Единой Руси", о присутствии которого в квартире никто раньше и не подозревал. Впрочем, они сами, кажется, не придали этому обстоятельству значения.

Самое скверное было то, что не было папирос. Попросили разрешения послать купить папирос и хлеба. Сначала они не согласились, потом позволили пойти четырнадцатилетнему гимназисту Жене. С мальчиком отправился один из чекистов. Когда он вернулся, то рассказал, что чекист все время шел за ним, и когда одна из дворовых девочек с ним заговорила, отогнал ее в сторону.

Рыжий уселся на диване в столовой, черный — в передней. Они не обращали внимания на передвижение публики из комнаты в комнату. Разрешили выходить и в ко-

ридор и в кухню. Предупредили, что заперли и парадную и черную выходную дверь на ключ и что ключи у них.

Я прошел в спальню. Там было несколько молодых женщин. В общем, они почти не проявляли испуганности. Больше всех была взволнована В.А. В глазах ее стояли слезы.

— Скажите же, ради бога, откуда это несчастие, зачем они пришли?

Решить это было довольно затруднительно.

Если бы они искали меня, то они бы обращались со мной иначе. Очевидно, я не внушал им особых подозрений. Не больше, чем все другие. Но если не я, то кто же?.. И хозяйка квартиры, и вся семья, и все, кто случайно у нее оказался, никакой политикой не занимались, жили изо дня в день, думая только о хлебе насущном. Я чувствовал, что здесь какая-то ошибка... Или, быть может, выследили, что здесь бывает кто-нибудь, за кем охотятся. Населению квартиры вряд ли грозит серьезная опасность, и если их арестуют, то, в конце концов, конечно, выпустят, если бы не я... Меня могли узнать, и тогда дело для всей семьи могло бы повернуться серьезно. В сущности, было очень важно, чтобы я отсюда смылся...

Хорошо было бы еще поговорить с представителями власти... Для этой цели была командирована в переднюю Е.А., как более подходящая разведчица.

Мы остались вдвоем с хозяйкой квартиры. Удивительно, что эта маленькая хрупкая женщина сохраняла все время великолепное самообладание.

— Вот в чем дело, — сказала она. — Мы ничем таким не занимались... очевидно, дело не в нас... Очевидно, они ловят кого-то, кто у меня бывает... Я в политику не хочу входить, но я не хотела бы, чтобы у меня в квартире кто-нибудь погиб...

Ее губы дрогнули в первый раз...

— Ах, боже мой... за себя я не боюсь... Ни капельки — даже странно... Но вы все...

Она помолчала минутку.

— А теперь уйдите, пожалуйста...

Она стала зажигать лампадку перед иконой. Быть может, хотела молиться...

В столовой я нашел альбом и углубился в стихи.

Стук в парадную дверь. Чекист, дремавший на диване, вскочил и бросился в переднюю. Впустили бабу-молочницу. Сдав молоко, забрав свои фляги в кор-

зину, она намеревалась уйти, но чекист заявил, что не выпустит ее. Баба подняла отчаянный вой.

— Як же так... ой лишеньки мини... Ратуйте, добри люды... Диты ж мои дома зостались... Што ж с ными буде... Што ж це такое за горе...

Плач и причитанья продолжались минут пятнадцать. Наконец, очевидно, нервы церберов не выдержали. Бабу выпустили со строгим предупреждением, чтобы она не смела говорить, что делается в квартире.

Инцидент с молочницей имел следующие последствия. Минут через десять после ее ухода кто-то начал энергично стучать, а потом ломиться во входную дверь. Оба чекиста бросились со всех ног в переднюю. Открыли дверь и впустили банду — человек пять-шесть милиционеров ближайшего района. Оказалось, что домовый комиссар узнал либо от молочницы, либо от дворовых детей о том, что в квартире засели какие-то личности, которые всех задерживают, допрашивают и чего-то ищут. Он предположил, что это могут быть налетчики, и поспешил в район, откуда немедленно был командирован патруль. Охранная служба у большевиков несется отчетливо.

Милицейские с шумом ворвались в квартиру.

— Кто такие?.. Сдавай оружие...

— Осторожней, товарищи... легче...

— Да кто вы такие? Чего разоряетесь, трам-тарарам, сдавай оружие...

— Мы — представители Чека... Ваш ордер!

— А ваш ордер, трам-тарарам... Много таких представителей...

Произошел обмен ордерами.

— Так чего же вы, товарищи, не предупредили домового комиссара? Правило ведь знаете...

— Так какая же тогда будет засада, если его предупреждать!.. Если все будут знать, так кто же в эту квартиру пойдет?..

— Да не все... а домовому комиссару нужно... надо, чтобы по закону...

Милиционеры ушли... Ушел и один из чекистов. Насколько можно было судить по фразам, которыми они обменялись, в ордере оказалась какая-то формальная неисправность, которую нужно было исправить. А может быть, он пошел за инструкциями. А может быть, по своим личным делам.

Прошло некоторое время. И вдруг в мозгу у меня мелькнула картинка, сохраненная зрительной памятью:

когда один чекист уходил, другой его не провожал в переднюю. Значит, выходную дверь он не мог запереть на ключ — ведь не унес же ушедший ключ с собой... Значит, дверь закрыта только на английский замок. Надо посмотреть, нельзя не посмотреть...

Стучат... Вот законный предлог: я пошел открывать. Тот чекист, что в столовой, задремал — стука не слышит.

Так и есть. Поворачиваю английский замок, дверь открыта. Sacraménto, — в дверях уходивший чекист. Не вовремя вернулся... Не судьба...

* * *

Е.А. произвела артистическую атаку на вернувшегося чекиста и затем сообщила результаты разведки. По словам представителей власти, причиной ареста был донос. Кем сделан донос и каково его содержание — они сами не знают... Это правдоподобно, ибо донос, вероятно, так же распространен в Совдепии, как в свое время в Венеции. Второе, что она узнала, это то, что около трех часов в квартиру должны явиться какие-то следователи, которые произведут вторичный обыск и допрос, и затем всех отправят в Чека.

У нас в квартире были дети. У этих детей, в свою очередь, было много приятелей и приятельниц из других квартир. Несколько из них пришли к нам в гости. Когда они хотели уходить, чекисты их не пустили. Тогда младенцы сомкнулись гурьбой и ворвались в столовую с воем. Представители власти сначала обозлились, потом рассмеялись. Один из них вытащил из кармана ключ и сунул мальчику постарше:

— На, открой им дверь... Выпусти их... к черту...

Мальчик вышел в переднюю, сопровождаемый всей ватагой. Затем вернулся и возвратил ключ чекисту.

Спустя минутку он отозвал меня в сторону:

— Вы можете уйти... Дверь не заперта.

Спасибо, мой маленький герой. Но я не уйду. Если бы я ушел, было бы слишком ясно, кто мне помог. И бог знает, какую плату получил бы ты за свой героизм от палачей чрезвычайки.

Но было больше двух часов. Обещанные следователи могли явиться каждую минуту.

Надо было действовать до их прихода. Я чувствовал, что мне надо во что бы то ни стало уйти, потому что я

был, так сказать, единственный, кто мог потопить остальных, если бы меня узнали. Если мне удастся уйти, их хотя и арестуют, но выпустят, — против них ничего нет. Они ничего не знают, ни во что не замешаны.

Но как уйти?.. Я подошел к окну. И вдруг у меня мелькнула мысль: ”А нельзя ли из этого или другого окна по карнизу перебраться в какую-нибудь соседнюю квартиру?”

Я спросил хозяйку дома, маленькую хрупкую женщину...

— Может быть, вам удастся... Ближе всего из кухни. В соседней квартире как раз никогда никого нет в это время. Дверь на английском замке...

Я колебался...

— Скажите мне совершенно откровенно: лучше для других, чтобы я ушел?..

— Если вы чувствуете что-нибудь за собой, — уходите... Нам будет лучше...

Она посмотрела мне в глаза.

Знал ли я что-нибудь за собой... Я знал слишком достаточно... И я решил бежать...

Сделали так. Прошли все поодиночке через столовую, где полудремали на диване оба чекиста. Простились... Затем я прошел через столовую обратно и вышел в коридор. В момент моего драпа все должны были находиться в комнатах для получения алиби.

Я высунулся в окно и осмотрел карниз. Раньше я как-то не подумал о том, что карнизы бывают разные, — не по каждому пролезешь... Это был не особенно удобный карниз, в особенности для четвертого этажа. Узенький — ладони полторы шириной, и покатый. Попробовал стать на него ногой, держась за раму окна. Куда там... на нем немыслимо удержаться ни одной секунды. А стена совершенно гладкая, без всяких выступов, держаться не за что.

Но вот что: внизу, на уровне пола комнаты, есть другой карниз. Такой же узенький и такой же покатый, правда, став на него, можно держаться за загиб того карниза, что идет на уровне подоконника. Попробовал. Да, можно удержаться, но только несколько секунд — всю тяжесть тела приходится держать на кончиках пальцев, ибо загиб карниза не более сантиметра. Острое железо режет руку... Вот в чем дело — надо упереться в нижний карниз коленями... Теперь верхний карниз приходится на уровне плеч... Так гораздо легче... Достигнуто правиль-

ное распределение тяжести тела между коленями и кончиками пальцев. Больно коленям, больно пальцам, но держаться можно. Теперь в путь... До спасительного окна — сажени две с половиной-три... Техника движения такая. Хватаюсь сначала правой, потом левой рукой возможно дальше вправо, а затем таким же образом передвигаю колени. В голове ничего — все ушло в мускульное напряжение. Так прополз почти половину дороги. Но что это? Дальше верхний карниз оборван — перерыв аршина два. Как я раньше не заметил этого, не рассмотрел, — не понимаю... Но не возвращаться же назад. Цепляюсь изо всей силы самыми кончиками пальцев за угол верхнего карниза и передвигаюсь коленями, сколько возможно, вправо. Теперь самый рискованный момент. Нужно выпустить карниз из рук, сильно податься корпусом вправо, схватиться за кончик карниза там, где он снова начинается... Это напомнило мне поразившую меня в детстве фотографию в "Ниве". Велосипедист висит в воздухе на большой высоте вверх ногами — это мертвая петля с прерванной наверху лентой.

Но это была лишь одна из тысячи мыслей, мелькнувших у меня в голове в это мгновение; я теперь понимаю, что значит, когда говорят, что в момент гибели разворачивается в одну секунду и проходит пред глазами вся жизнь.

Я удержался с трудом. Одно колено сорвалось с карниза, но в ту же секунду я "восстановил положение". Теперь я уже был почти уверен, что доползу. До спасительного окна оставалось аршина полтора. Но вдруг я почувствовал, что самый железный карниз, за который я держусь, начинает сползать с выступа стены... Оказалось, что два последних гвоздя, которыми он прикреплен к выступу стены, отсутствуют. Что делать? Если бы на стене была хоть какая-нибудь точка опоры и я мог бы сделать еще шаг, чтобы схватиться за раму окна... Но ни опереться, ни схватиться решительно не за что... Я продвинулся еще немножко по карнизу... Железная полоска гнется и ходит у меня в руках. До окна только аршин. Но даже расстояние в сантиметр человек перелететь не может. Возвратиться обратно — немыслимо. Мускулы рук и ног страшно устали, и я знаю, что место, где карниз оборван, мне уже никак не преодолеть второй раз. Оставалось одно.

Я повернул голову к окну и тихо сказал:

— Дайте руку.

Молчание. Я повторил громче:
— Дайте руку.
В окне оказалась голова... ребенка. И он протянул мне руку и, напрягши все силенки, помог мне.

* * *

Я не знаю, кто был этот мальчик и увижу ли я его когда-нибудь... Я ушел как можно скорей. Спустился по лестнице черного хода, вышел во двор. У ворот охраны не было. Я был свободен...

* * *

А теперь все без подробностей. Я был свободен, но стольких арестовали... Оказывается, большевики будто бы раскрыли какую-то обширную русско-польскую организацию и хватали направо и налево... Я ничего не мог сделать больше, кроме того, чтобы затруднять других укрывательством своей особы. И поэтому я решил бежать еще раз морем... Удалось... Вы можете себе представить мое состояние, когда я узнал, что вы ушли с Тендры искать меня... и погибли... Там все были уверены в вашей гибели... По обыкновению, существовало много версий на этот счет. В самом отвратительном состоянии я прибыл в Севастополь двадцать шестого октября... А через четыре дня, как вы знаете, произошла всеобщая эвакуация... Я поспел как раз вовремя.

Взгляд и нечто

Комната в посольстве... Роскошный ковер на всю комнату. Красивый стол, мрамор с золотом... камин.
У камина нас двое. Один бегает по комнате, я лежу в кресле. Он говорит:
— Да... и с этой точки зрения... поймите меня... я хочу, чтобы вы меня поняли... что?
— Ничего... я вас слушаю...
— Мне показалось, что вы не согласны... Моя мысль до вас не доходит... То, что вы говорите, неважно... неинтересно... А меж тем именно вы были правы...
— Когда?

— Тогда... когда вы приехали от большевиков... в июле, в Севастополь...

— Что я говорил?

— Вы говорили... это очень трудно формулировать... вы указали... вы рассказали... что под этой... корой... этой оболочкой советской власти... совершается процесс... процессы стихийные... огромной важности... ничего не имеющие общего... с ней... с корой... с властью... с большевизмом. Процессы, которые у нас не поняли... к которым мы даже... не присматривались...

— Конкретнее!

— Конкретнее?.. конкретнее — я теперь знаю... Для меня не может быть сомнений... У меня есть свидетельские показания... которым я не могу не верить... Я знаю, что война с Польшей вызвала движение, национальное движение... подъем...

— Подъем — это слишком сильно сказано. Раскол в душе многих — да... Брусиловское воззвание произвело некоторое впечатление. Оно было написано старым языком и в силу этого действовало на нервы... "За Русскую Землю" — это было уже так много.

— Нет... в Москве было больше... Был подъем... во всяком случае, было изменение психологии... Было... быть может, первое признание совпадений путей... и мы... мы этого... недооценили... что?.. вы согласны со мной?..

— Да... пожалуй... Но разве вы не замечали, что давно уже — давно уже наши идеи перескочили через фронт.

Против воли моей...
Против воли твоей...

Знаете этот романс или стих, ну что-то в этом роде? Он сказал ей: "Не надо, не нужно, не должно..." Мы поставим препятствия и сделаем все, чтобы этого не было. Но если "против воли моей, против воли твоей" это будет, значит, "так в высшем решено совете...". Я говорю вздор, но все-таки это имеет отношение к делу... "Против воли моей, против воли твоей" наши идеи перескочили через фронт... И это так было. Прежде всего, мы научили их, какая должна быть армия. Когда ничтожная горсточка Корнилова, Алексеева и Деникина била их орды, — била потому, что она была организована на правильных началах — без "комитетов", без "сознательной

дисциплины", то есть организована "по-белому", — они поняли... Они поняли, что армия должна быть армией... И они восстановили армию... Это первое... Конечно, они думают, что они создали социалистическую армию, которая дерется "во имя Интернационала", — но это вздор. Им только так кажется. На самом деле, они восстановили русскую армию... И это наша заслуга... Мы сыграли роль шведов... Ленин мог бы пить "здоровье учителей", эти учителя — мы... И это первая наша великая заслуга... злые силы, разрушившие русскую армию в 1917 году, мы заставили со всей энергией, на которую они способны (а ведь они самая волевая накипь нации), мы заставили работать по нашим предначертаниям на воссоздание нашей русской армии... Мы учили их не рассказом, а "показом"... Мы били их до тех пор, пока они не выучились драться... И к концу вообще всего революционного процесса Россия, потерявшая в 1917 году свою старую армию, будет иметь новую, столь же могущественную... Дальше... Наш главный, наш действенный лозунг — Единая Россия... Когда ушел Деникин, мы его не то чтобы потеряли, но куда-то на время спрятали... мы свернули знамя... А кто поднял его, кто развернул знамя? Как это ни дико, но это так... Знамя Единой России фактически подняли большевики. Конечно, они этого не говорят... Конечно, Ленин и Троцкий продолжают трубить Интернационал. И будто бы "коммунистическая" армия сражалась за насаждение "советских республик". Но это только так сверху... На самом деле их армия била поляков, как поляков. И именно за то, что они отхватили чисто русские области. И даже если этого настроения не было... Все равно... все равно...

— Я с вами совершенно согласен... это ясно... фактически Интернационал оказался орудием... расширения территории... для власти, сидящей в Москве... До границ... до границ, где начинается действительное сопротивление других государственных организмов, в достаточной степени крепких. Это и будут естественные границы будущей... Российской державы.

— Ну, конечно... Социализм смоется, но границы останутся... Будут ли границы 1914 года или несколько иные — это другой вопрос. Во всяком случае, нельзя не видеть, что руский язык во славу Интернационала опять занял шестую часть суши. Сила событий сильнее самой сильной воли... Ленин предполагает, а объективные усло-

вия, созданные богом как территория и душевный уклад народа, "располагают"... И теперь очевидно стало, что, кто сидит в Москве, безразлично, кто это, будет ли это Ульянов или Романов (простите это гнусное сопоставление), принужден, "мусит", как говорят хохлы, делать дело Иоанна Калиты. "Мусит" собирать воедино русские земли. "Против воли моей, против воли твоей..." И это два... А третье, что они у нас взяли, — это принцип единоличной власти. Они твердили о диктатуре пролетариата на Большом Московском Совещании в августе 1917 года. А мы говорили: "Вздор... Управление выборным коллективом в условиях войны и революции — вздор..." И вышло по-нашему... Обе половинки России — Северная и Южная — отвергли коллектив и перешли: Южная — к единоличной диктатуре генералов... а Северная — к "двуличной" диктатуре двух дворян: одного симбирского, а другого иерусалимского... Чтобы не надоедать вам, я кончаю... Резюме. "Против воли моей, против воли твоей" — большевики:

1) восстанавливают военное могущество России;

2) восстанавливают границы Российской державы до ее естественных пределов;

3) подготовляют пришествие самодержца всероссийского.

— Разве вы не конституционный монархист?..

— Если хотите, да... десять лет Государственной думы — меня испортили... Пожалуй, мне хотелось бы, чтобы была конституционная монархия. Но надо различать... желание от возможного... Мне кажется, что желанное невозможно... После всего, что произошло, конституционная монархия вряд ли мыслима... По крайней мере, в течение ряда лет и, главным образом, вследствие причин экономических... Чтобы выйти из положения, придется каждые полчаса подписывать героические решения... А ведь вы знаете, что русский парламент героических... ответственных... безумно смелых... решений принимать не может... Вы знаете... Где соберутся три немца, — там они поют квартет... Но где соберутся четыре русских, там они основывают пять политических партий... Поэтому и в русской действительности героические решения может принимать только один человек...

— Это будет Ленин?.. или Троцкий?..

— Нет... ибо он не будет ни психопатом, ни мошенником, ни социалистом... На этих господах висят несбрасы-

ваемые гири... их багаж, их вериги... — социализм... они не могут отказаться от социализма... они ведь при помощи социализма перевернули старое и схватили власть. Они должны нести этот мешок на спине до конца... и он их раздавит... Тогда придет Некто, кто возьмет от них их "декретность"... Их решимость — принимать на свою ответственность, принимать невероятные решения. Их жестокость — проведение однажды решенного. "Это нужно — значит это возможно" — девиз Троцкого... Но он не возьмет от них их мешка. Он будет истинно красным по волевой силе и истинно белым по задачам, им преследуемым. Он будет большевик по энергии и националист по убеждениям. У него нижняя челюсть одинокого вепря... И "человеческие глаза". И лоб мыслителя... Комбинация трудная — я знаю... Я помню, Маклаков часто рассказывал про Ключевского, как он говорил: "Конечно, абсолютная монархия есть самая совершенная форма правления... если бы... если бы не случайности рождения..." Да, это так... и все, что сейчас происходит, весь этот ужас, который сейчас навис над Россией, — это только страшные, трудные, ужасно мучительные...

— Что?..

— Роды...

— Роды?!

— Да, роды... Роды самодержца... Легко ли родить истинного самодержца, и еще всероссийского!..

Новогодняя ночь

Я уснул у трубы. У трубы тепло, неудобно немножко, но ведь там всюду — не у трубы — так холодно. Ведь сегодня 31 декабря. Ночь на палубе не так приятна в это время года... даже на Босфоре...

Мы давно уж тут стоим, на якоре, в сплошном тумане. От времени до времени мы запускаем сирену и звоним во все склянки. Туман иногда проясняется... иногда нет. Кругом нас, невидимые и потому таинственные, воют и звонят другие суда.

Я давно уж тут сижу у трубы. То засыпаю, то снова просыпаюсь для того только, чтобы убедиться, что туман стал еще непроницаемей. Через него с трудом пробираются огни, образуя расплывчатые пятна.

* * *

В полудремоте вспоминается эта последняя неделя... мало радости она принесла мне...

* * *

Вот я еду в Галлиполи. За бортом ”Soglassie” мягко-мягко слышна струя... лежу, зарывшись в прессованное сено... Мерзну, но не до отчаяния. Надо мною небо, то звездное, то туманное... когда туман, и ночь становится серо-мутной, делается как-то смутно на душе — плохое предчувствие...

Еду в Галлиполи. Буду искать там сына — Лялю. Найду ли? Неужели может быть так, что я никогда больше не увижу... не услышу, как он вдруг... Это называлось plus... quamperfectum... Неужели я видел его в последний раз тогда, 1 августа, в Севастополе, когда он уходил своей характерной, развинченной походкой, тянущей ноги?..

Неужели конец?..

* * *

Приехал... Долго возились... Наконец на каком-то парусном баркасе пошли на берег.

Разбитый город... Грязь... Среди грязи толчется и топчется толпа рыжих английских шинелей, от одного вида которых щемит. Это наша армия...

Пробиваюсь сквозь нее. Одни бездельничают, другие таскают дрова. Сквозь толпу движется рота сингалезцев: губы — ”полфунта”, странные волосы, которые вьются ”отвратно”... Черны соответственно.

Странно видеть их, этих черных, среди русской массы. Но чувствую ясно, кто здесь возьмет психический верх. Не устоят — черные. Огромный сингалез, на голову выше остальных, командует по-своему, со зверским выражением. Происходит смена караула. Исполняют как следует. Видно, сильно боятся этого огромного, высокого.

Русская масса смотрит на них без злобы. Раздражение, которое чувствуется, направлено против кого-то другого.

По грязи добираюсь к русскому коменданту. Охраняют юнкера. На них, как всегда, приятно взглянуть. И здесь они твердая опора, как были во всю революцию.

Удивительно, почему та же самая русская молодежь,

попадая в университеты, превращала их в революционные кабаки, а воспитанная в военных училищах, дала высшие образцы дисциплины и патриотизма...

Узнаю у коменданта дорогу в лагерь через горы.

* * *

Иду по шоссе, потом по тропинке... Путь указывают люди в английских шинелях, месящие глину тропинки. Их много, они беспрерывно идут туда и обратно. Иногда несут ветки можжевельника, очевидно, вместо елочек... Ведь сегодня сочельник...

Горы, пустые, глинистые. Грязно... Серо... Скучно... Тоскливо...

Шел несколько верст, шесть или семь... Наконец, — там, в долине... Белые домики с белыми крышами... Нет, это не домики — это такие палатки.

— Где они?..

— Вот... тут, направо, Корниловцы... налево — Марковцы... там дальше — Дроздовцы и Алексеевцы...

* * *

Вот, значит... Сейчас решится — Господи, помоги...

* * *

— Нет, в списке наличных такого нет...

И готов я был к этой минуте... Давно с ним простился мысленно... И все же...

Но надежда еще теплится... надо расспрашивать, — может быть, где-нибудь в госпитале.

Но как стало тяжело... пришибло... Думалось: "А вдруг здесь... вдруг сейчас увижу..."

— В числе наличных нет...

* * *

Узнал все про сына... нашел офицера, который был его начальником.

Он рассказал мне всю сцену. Все, как было.

Могло быть и то и другое. И жизнь и смерть... Надежда есть. Если Господь захотел, — он жив...

* * *

Отыскиваю генерала Е. Это еще за четыре версты в горах. Маленький домик... каменная хижина...

Есть же сердечные, славные люди...

Приняли, как родного...

* * *

Сочельник... Елочка-можжевельник. Горят свечки...

Маленькая комната. Но уютно. Железная крошечная печка. Белым полотном убраны стены. Не то землянка, не то палатка. Со мной так ласковы. Стараются смягчить, чем можно, удар.

* * *

Я провел там неделю, в Галлиполийском лагере... Меня очень спрашивали:

— Что же будет теперь?

Они старались, чем могли, скрасить свое существование. Издали журнал рукописный на машинке, в одном или двух экземплярах. Текст сопровождался иллюстрациями карандашом и красками. Инициаторами этого дела были полковник Х. и ротмистр Ч.

Я ответил на то, что от меня хотели, статьей...

Эта статья появилась в этом своеобразном журнале, который носил название: "Развей горе в голом поле...".

* * *

Еду обратно в Константинополь. Лежу где-то в трюме на грязных канатах. По-французски — parfait, по-русски — "наплевать"...

Откровенно говоря, я очень доволен, что наконец один. "Самое большое лишение каторги, — говорит Достоевский, — это отсутствие одиночества". Я так устал... И вот теперь наслаждаюсь... валяюсь на канатах.

Я зашел к французскому офицеру в каюту, чтобы показать ему своей документ, дававший мне право ехать в Константинополь на этом русском судне.

Он встретил меня фразой и жестом.

— Vous, vous restez sur le pont!*

Я протянул ему бумагу и сказал:

— Votre autorisation pour m'embarquer... Affaires de service...**

Он посмотрел бумагу и сказал:

---

* Вы останетесь на палубе! (*фр.*)

** Вот разрешение для посадки... По служебному делу... (*фр.*)

— Parfait...*

Я повернулся и ушел, pour rester sur le pont...**

Но тут пришел русский матрос и сказал:

— Которые желающие отдыхать — в первый номер...

Вот это и есть "первый номер" — в трюме на канатах.

— Parfait... По-русски — "наплевать"...

* * *

Всю ночь наслаждался в трюме на канатах. Когда очень замерзал, вставал и ходил, потом опять ложился. Одеяла, конечно, у меня нет, как и у всех нас, — и, вообще, никаких вещей. Хорошо не иметь вещей. Но когда очень холодно, хорошо бы иметь одеяло.

Зато я использовал всю роскошь одиночества. Я по-прежнему был один.

Мне спустили фонарь. На что мне фонарь?.. Крысы его не боятся. Зато хорошо думается в таком трюме ночью. Бегаешь, чтобы согреться, от времени до времени смотришь вверх в отверстие — не побледнели ли звезды к рассвету... Нет. Горят, яркие и холодные. Еще долго...

И мысли бегут... Какие? Все те же... Молишь бога, чтобы он был милостив к тем, кто еще жив, и тоскуешь по тем, кого уже нет.

* * *

Настало утро. Утро 31 декабря. Я вылез из своей норы. Холодно, сыро, туманно... Еще противнее... Теперь неприятно быть одному.

* * *

В сплошном тумане, неистово запуская сирены и звоня во все склянки, пришли куда-то, стали на якорь. Кругом нас выли и звонили другие суда. Все это не предвещало ничего хорошего.

В одном из перерывов тумана стало ясно, что мы в Босфоре. Подошел карантинный катер. Он немедленно взял всех французов и ушел. Русских — нет... Они должны ожидать "контроля".

Я не ел уже сутки. Аппетит начал ощущаться. На борту — ничего и ничего не подвозят. Холодно и голодно...

---

* Превосходно... (*фр.*)

** Чтобы остаться на палубе... (*фр.*)

27—3196

Подошел еще катер. Поговорил о чем-то с капитаном. Капитан — русский — бегло говорит по-французски, но стремится говорить, совсем как француз. Это удается ему только наполовину, и потому противно.

Они кричат друг другу через борт:

— D'ou venez vous?

— De Gallipoli.

— Ou'avez vous sur bord? Bagage?

— Caisses démolies... Par ordre Marine Française...*

Он тянул "çaise", чтобы выходило совсем по-французски. Но не выходило и было немножко неловко.

— Passagers?

— Vingt trois personnes... militaires...**

От тянул "taires".

И этим все ограничилось. Катер отошел, заявив, что нужно ждать "контроля".

Затем пришел еще третий катер. Вышли два француза.

— Bagage?***

— Caisses démolies...****

Они пошли смотреть разбитые ящики, а потом вернулись на палубу, собираясь уезжать. К ним пристали. Они заявили, что нужно ждать "controle"*****.

Но все же взяли с собой генерала, потому что он генерал, и одного полковника, который имел находчивость сказать, что у него:

— Lettre urgente pour le général Vrangel.

— Êt bien, alors, qu'il vienne, le colonel, mais lui seul...******

Полковник пошел за вещами.

— Mais... qu'il se débrouille, le colonel, quoi!*******

Тон был соответственный. Но ведь они — державы-победительницы...

---

* — Откуда вы едете?
— Из Галлиполи.
— Что у вас на борту? Багаж?
— Разберите ящики... По приказу французского военно-морского министерства... (*фр.*)

** — Пассажиры есть?
— 23 человека... военные... (*фр.*)

*** — Есть багаж? (*фр.*)

**** — Только разбитые ящики... (*фр.*)

***** Контроля (*фр.*).

****** — Срочное письмо для генерала Врангеля.
— Хорошо, пусть полковник тоже пойдет, но только он один... (*фр.*)

******* — Но пусть полковник сам выпутывается! (*фр.*)

* * *

Отошел и этот катер. Но вокруг парохода стали снова каюки, турецкие ялики. Их зовут "кардаш".

На "кардаш", опустившись по канатам, убежало тайком несколько человек. Мне было противно спускаться по веревке, потому что она в масле и угле. Оно и к лучшему. Все-таки неловко.

"Dura lex, sed lex"*.

Впрочем, в данном случае "dura" надо было бы понимать не в латинском, а в русском произношении этого слова. Кому нужно было, чтобы мы непременно встретили Новый год в такой обстановке.

* * *

Туман сгущался. Становилось все холоднее и голоднее. Надежды совсем упали. Ясно стало, что контроль не приедет сегодня.

Я уселся у трубы: там теплее. Около меня сидел какой-то простой человек. Он вдруг обратился к нам, то есть ко мне и еще трем голодающим у трубы:

— Вы, господа, тоже, наверное, ничего не кушали?

— Да, как будто...

— Ну, так будем есть... Вот у меня банка, консервная... Только без хлеба...

Я не отказался и с аппетитом проглотил то микроскопическое, что он мог уделить. Все-таки стало легче и от консервов, и от того, что он поделился последним...

Стемнело. Я крепче прижался к трубе. Туман падал холодной росой...

* * *

И мысли снова бегут... Мне вспоминалось...

* * *

Долина. Вдоль речки-ручья выстроились белые домики. Я знаю, что это палатки. Но издали они кажутся домиками. Они стоят аккуратненькими кварталами и кажутся городом. Вот по ту сторону реки — Корниловцы,

---

* Закон суров, но это закон (*лат.*).

Марковцы, Дроздовцы, Алексеевцы... По эту — кавалерия...

Все это появилось здесь, среди совершенно пустынных гор, словно по волшебству... Этот сказочно-игрушечный город — это есть итог... Итог трехлетних страданий, борьбы, пламенной Веры, неугасимой Надежды, неисчерпаемой Любви...

Любви к России...

* * *

Что же это — много или мало? Рыдать ли или благословлять и благодарно молиться? Смерть ли Старого или рождение Нового — этот белый городок?..

* * *

И то и другое...

* * *

Здесь умирает наш Старый Грех... Здесь нет места ни Серым, ни Грязным... Их мало пришло сюда... Они остались где-то... А те, что еще есть, — уйдут...

Здесь умирает наш старый грех: Серость и Грязь...

* * *

Здесь рождается Новое.

Здесь рождается Белый Городок, где в белых домиках будут только настоящие белые — белоснежные...

* * *

Много ли это или мало? Что же, это "большой итог"?..

* * *

Большой...

* * *

Эта горсть в течение трех лет смогла бороться одновременно на три фронта. Красные засыпали ее снаряда-

ми... Серые своим тупым равнодушием создавали вокруг нее вязкую гущу, сковывающую движения... Грязные грязью залепливали глаза, уши, рот... И все же эта горсточка белых не дала себя сломить, не дала задушить себя, не позволила себя загрязнить...

Вот они здесь...

Их мало, но они белые...

Они белые, как и прежде... Они белее прежнего.

И это — много...

Это итог не только большой, это итог величавый.

* * *

Это горсточка белых, эта новая столица на берегах безымянной речки, этот белый город — он уже или победил, или победит...

* * *

Он уже победил в том случае, если России суждено возродиться... через Безумие Красных...

* * *

Скажут, что это вздор.

Нет, это не вздор — это так...

* * *

Вы никогда не замечали, что сыпной тиф и Белая Мысль свободно и невозбранно переходят через фронт?

* * *

Странно, как вы этого не заметили. Вы говорите: ”Сыпной тиф — да, но наши идеи — ничего подобного”.

* * *

А я вам говорю, что наши идеи перескочили к красным раньше, чем их эпидемия к нам. Разве вы не помните, какова была Красная Армия, когда три года тому назад ген. Алексеев положил начало нашей? Комитеты, митинги, сознательная дисциплина — всякий вздор. А теперь, когда мы уходили из Крыма? Вы хорошо знаете,

что теперь это была армия, построенная так же, как армии всего мира... как наша...

Кто же их научил? Мы научили их, — Мы, Белые. Мы били их до тех пор, пока выбили всю военно-революционную дурь из их голов. Наши идеи, перебежав через фронт, покорили их сознание.

Белая Мысль победила и, победив, создала Красную Армию...

Невероятно, но факт...

* * *

Но отчего, скажут, мы все-таки в Галлиполи, а не в Москве?

Почему мы не воспользовались тем временем, когда Красные в военном отношении еще не мыслили ”по-белому” и потому были бессильны?

Потому что нас одолели Серые и Грязные... Первые — прятались и бездельничали, вторые — крали, грабили и убивали не во имя тяжкого долга, а собственно ради садистского, извращенного грязно-кровавого удовольствия...

* * *

Но ведь Красная Армия под своим красным знаменем работает ради Интернационала, то есть работает для распространения по всему миру Красного Безумия?

* * *

Это или так или не так...

* * *

Допустим первое. Допустим, что это так. В таком случае, мы еще с ними скрестим оружие. Белая Армия (наша русская) в союзе с другими белыми армиями будет вести бой, чтобы сломить, чтобы уничтожить Красное Безумие...

* * *

Допустим и второе... Допустим, что это не так... Допустим, что им, Красным, только кажется, что они сражаются во славу Интернационала... На самом же

деле, хотя и бессознательно, они льют кровь только для того, чтобы восстановить "Богохранимую Державу Российскую"... Они своими красными армиями (сделанными "по-белому") движутся во все стороны только до тех пор, пока не дойдут до твердых пределов, где начинается крепкое сопротивление других государственных организмов... Это и будут естественные границы Будущей России... Интернационал "смоется", а границы останутся...

* * *

Если так, то что это такое?..

* * *

Это то же самое... Если это так, то это значит, что Белая Мысль, прокравшись через фронт, покорила их подсознание... Мы заставили их красными руками делать Белое дело...

Мы победили...

Белая Мысль победила...

* * *

Но, Боже мой. Ведь они уничтожили, разорили страну... Люди гибнут миллионами, потому что они продолжают свои проклятые, бесовские опыты социалистические, Сатанинскую Вивисекцию над несчастным русским телом...

Это что же значит?

* * *

Это значит, что на этом направлении Белая Мысль еще не победила.

Еще не пришло время... И люди гибнут, и Всеобщая, Явная, Равная, Прямая Нищета носится над Свято-Грешной Русской землей, заметая свой след проклятиями и слезами.

Чтобы сократить страдания своих братьев, Белая Армия три года без счета лила свою кровь. Она думала, она надеялась, что Белое Оружие работает скорее и вернее, чем Белая Мысль.

И если будет на то Господня воля, мы еще раз бросимся в бой...

На помощь погибающим...

* * *

Во всяком случае, Белый Городок — новая русская столица над безымянной речкой среди пустынных гор — может встретить Новый год с ясной душой...

Если Белые еще не победили, их рано или поздно поведут в бой...

А если их не поведут, то, значит, они уже победили...

Значит, в стане Красных уже настолько окрепла Белая Мысль, что восстановление России придет через Красное Бессмыслие...

* * *

Белая Мысль победит во всяком случае...

* * *

Так было — так будет...

* * *

Я заснул... Мне приснился благовест... от этого я проснулся.

Что это такое?

* * *

Ах, это сирены... Туман еще сгустился... Чуть-чуть только пробиваются ближайшие огни, и то бледными пятнами... Поэтому сирены и звучат на всех судах Босфора.

* * *

Звучат не отдельными погудками, а непрерывными упрямыми алармистскими набатными голосами, звучат одна перед другой, как будто состязаясь на долгость и призывность, звучат каждая своим голосом, но все вместе, выпевая одно слово, слово, которое делается страшным, и это слово:

— Туман... туман... туман...

* * *

Звучат протяжные, глубоко-ревуче-певучие, как будто бы какие-то исполинские существа голосят со страху...

— Туман... туман... туман...

* * *

Звучат разные, — то двойными голосами в стройном созвучии, то в случайно сцепившихся странных соединениях, то в нестерпимо неверных сопряжениях, от которых рождаются тяжко-мучительные перебойные биения... И слышится в них иногда благовест, чаще — набат, но более всего страшное, тоскливо-ужасное, долго — внезапно-отчаянное:

— Туман... туман... туман...

* * *

Вдруг выстрел... Один, другой, третий... Что это?.. Здесь, там, справа, слева, со всех сторон. Что это?.. Все затихло... Вот опять разгорелось... охватывает кругом... Что это?.. Треск винтовок становится сплошным и заглушает долгий стон сирен.

Что это?

* * *

Это мы, русские, завороженные сплошным туманом, среди набатного рева в смертельном страхе тоскующих чудовищ, в тяжких мучительных судорогах перебойно бьющих биений, — празднуем свой русский Новый год...

* * *

Празднуем... Ну и слава Богу... если есть силы праздновать...

* * *

Привет тебе, тысяча девятьсот двадцать первый...

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* В Указателе даны все персоналии, упомянутые В.В. Шульгиным по фамилии. Монархи, члены царской семьи, титулованные особы и религиозные деятели указаны по имени.

СОДЕРЖАНИЕ

Шульгин В.В.

Ш95 Годы. Дни. 1920 год. — М.: Изд-во "Новости", 1990. — 832 с., ил.

Впервые под одной обложкой издаются три книги мемуаров видного политического деятеля царской России. Член Государственной думы с 28 лет, В.Шульгин в своей книге "Годы" повествует о предреволюционном десятилетии, "Дни" посвящены событиям Февральской революции и обстоятельствам, связанным с отречением от престола Николая II. В книге "1920 год" автор рассказывает о трагедии гражданской войны и выдвигает свои причины крушения "белого движения".

Книга рассчитана на массового читателя.

Ш $\frac{4502020000}{067(02)—90}$ **Без объявл.**

ISBN 7020 — 0073 — 0 **ББК 84Р7**

Василий Витальевич Шульгин

Годы. Дни. 1920 год.

Заведующий редакцией *К. Г. Ликутов*
Редактор *З. Е. Машкова*
Художник *В. Г. Прохоров*
Художественный редактор *А. И. Хисиминдинов*
Фоторедактор *Т. П. Макарова*
Технический редактор *Л. А. Крюкова*
Корректоры *Е. А. Тихонова, Л. В. Устинова*
Технолог *С. Г. Володина*

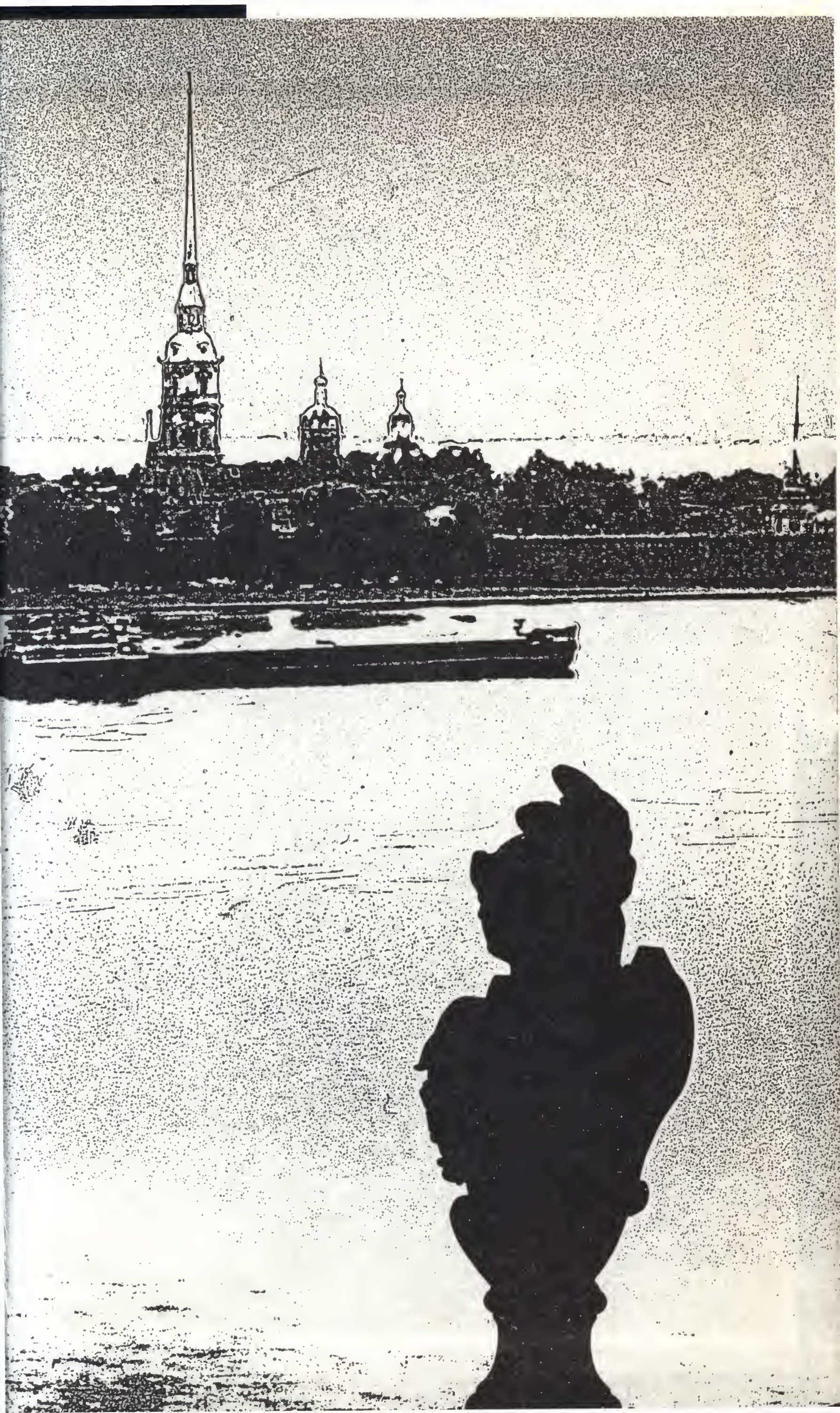
ИБ 10309

Сдано в набор 16.01.90. Подписано в печать 28.08.90.
Формат издания 84x108/32. Бумага офсетная 70 г/м^2.
Гарнитура таймс. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 44,52. Уч.-изд. л. 42,13.
Тираж 100 000 экз. (1-й завод 1—50 000 экз.)
Заказ № 3196. Изд. № 8580. Цена 5 р. 80 к.

Издательство "Новости"
107082, Москва, Б. Почтовая ул., 7.

Типография Издательства "Новости"
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.







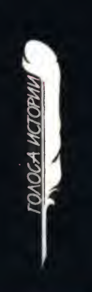
"Бесполезно, конечно, напоминать, что мы живем в эпоху, которой будут весьма интересоваться наши потомки. Но, может быть, следует подумать о том, что о Русской революции будет написано столько же лжи, сколько о Французской. Из этой лжи вытечет опять какая-нибудь новая беда.
...Поэтому в высшей степени важно для нашего будущего правдивое изображение того, что сейчас происходит перед нашими глазами".
В.Шульгин, "1920 год".

5 р. 80 к.

Новости

В. ШУЛЬГИН





Новости